неизвестный

ЮЛИАН Семёнов



ВОЗВРАЩЕНИЕ К ШТИРЛИЦУ

Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу

Юлиан Семенович Семенов, Алексей Репин

Аннотация
Юлиан Семенов. Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу
От составителя
Неизвестный Максим Исаев
  Исход
  Шифровка для Блюхера. Пьеса в трех действиях
    Действие первое
      Картина первая
      Картина вторая
      Картина третья
      Картина четвертая
      Картина пятая
      Картина шестая
      Картина седьмая
      Картина восьмая
    Действие второе
      Картина первая
      Картина вторая
      Картина третья

Картина четвертая
Картина пятая
Картина шестая
Картина седьмая
Картина восьмая
Действие третье
Картина первая
Картина вторая
Картина третья
Картина четвертая
Эпилог
Провокация. Действие с перерывом на ночь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Повести
«Держись за облака!»
Господин большевик

Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Жизнь комиссара Иванова
Август 1944-го
Май 1945-го
Сентябрь 1951-го
Октябрь 1951-го
Февраль 1952-го
Новеллы
Казнь атамана
Ночное дежурство
Ненаписанные романы
37–56
Летом тридцать седьмого
Осень пятьдесят второго
Та ночь в Ярославле
«Судьба солдата в Америке»
Канун Первомая
Первый день свободы
Да здравствует Вл. Ворошилов или Размышления уставшего человека
Дюкло
Отчеты по командировкам
Люди штурмуют небо (Восточная Сибирь, 1958)

Я знаком с Бетховеном
Руки, вдохновение и Бетховен
Несколько вопросов и одна иллюстрация к ним
Что такое вдохновение?
Я не голословен
Ссыльный в мечту
Его продолжатели
Продолжатели
Как они шли?
По льду Томи
Плот идет через порог
Сильнее стихии
Клад
Штурм продолжается
Взрыв
Как спасали цемент
В палатке над Кизиром
Через год
Встреча со старым знакомым
Он – хозяин
А палатки-то уж нет
Эдик Зайков
Эпопея с козой
Мост
Что же это такое?

Ночью в комнате для заезжих
Познакомьтесь: Черняков
Почему я пишу о нем?
Черное море на Козинском перевале
Вершина Козинского перевала
Имеет ли он право давать пощечину?
Масленица. Костры. Меч
Зарисовки с натуры
Что видно весной?
И видится
Вавилон, здравствуй! (Египет – Сирия – Ливан – Ирак, 1960)
Потный парень из Бонна
Отец, мать, он и его дети
Две точки зрения
Соседний балкон
Пристегнувшись к креслу...
К югу от Багдада
Она будет балериной
Здравствуй, Вавилон!
Поиск-891. Опыт театральной журналистики
Из архива писателя
Начало начал. Первая книга
Начало начал
1
2

3
4
<Вор>. Фрагмент ранней редакции новеллы «Судьба солдата в Америке»
Первая повесть
<Павел Северцев>
Примечания
Исход
Шифровка для Блюхера
Провокация
«Держись за облака!»
Господин большевик
Жизнь комиссара Иванова
Казнь атамана
Ночное дежурство
37–56
Да здравствует Вл. Ворошилов или Размышления уставшего человека
Дюкло
Люди штурмуют небо
Вавилон, здравствуй!
Поиск-891. Опыт театральной журналистики
Начало начал. Первая книга
Библиография
Основные прижизненные книжные издания Юлиана Семенова на русском языке

Издания в составе сборников, альманахов, «роман-газеты»

Основные публикации в периодической печати (проза)

Издания пьес

Публикации литературного наследия

Аннотация

Сборник рассказов и новелл Юлиана Семёнова поведает о различных событиях отечественной истории XX века. В центре внимания автора – Максим Исаев (Штирлиц) и герои Гражданской войны в России, а также участники послевоенных событий. Перо мастера создает яркие образы белых генералов и казачьих атаманов, советских разведчиков и простых людей.

Юлиан Семенов
Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу

От составителя

Нельзя делить историю на ту, которая делалась без нас, и ту, которую делаем мы; так или иначе мы есть правопреемники прошлого.

Юлиан Семенов

1968 год. В разгар работы над романом «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семенов делает пометку в дневнике: составить для издательства «Советский писатель» сборник повестей — «Исход», «Держись за облака!», «Господин большевик»…

Сегодня даже преданные читатели и знатоки творчества Юлиана Семенова удивятся, услышав эти названия. Только сейчас вы сможете прочитать эти повести и другие скрытые до сей поры в архиве произведения писателя в очередном томе издания «Неизвестный Юлиан Семенов».

Подзаголовок его — «Возвращение к Штирлицу» — не случаен. В первом разделе, «Неизвестный Максим Исаев», публикуются произведения — повесть и две пьесы, не вошедшие в известный цикл «политических хроник».

Повесть «Исход» — второе после романа «Пароль не нужен» произведение Юлиана Семенова с главным героем Владимировым-Исаевым-Штирлицем. В сокращенном варианте повесть была опубликована в газете «Московский комсомолец», затем планировалась к выпуску в сборнике «Приключения-1968» издательства «Молодая гвардия», однако опубликована не была. Рассогласование хронологии «Исхода» с другими произведениями «исаевского» цикла заставило автора в итоге изменить имя главного героя. Повесть была экранизирована в 1968 году режиссером Анатолием Бобровским, одноименный советско-монгольский фильм с популярными актерами Владимиром Заманским и Натальей Фатеевой стал одним из лидеров годового проката.

Пьеса «Шифровка для Блюхера» сочинялась автором параллельно с романом «Пароль не нужен» и развивает одну из сюжетных линий романа. А вот пьеса «Провокация» имеет вполне оригинальный и острый сюжет — действие происходит в 1938 году в Швейцарии, где разведчик Исаев проводит одну из своих операций…

Впервые публикуются (или переиздаются после полувекового перерыва) повести и рассказы,

показывающие эволюцию творчества писателя в 1960-х годах от лирико-романтической «молодежной» прозы к детективным и остросюжетным произведениям, политическому роману.

Главное место в разделе занимают повести «Держись за облака!» и «Господин большевик».

…1919 год. ЧК арестовывает бывшего личного пилота императора Николая II Ивана Савостьянова и предлагает ему совершить рискованный перелет через фронты Гражданской войны из Москвы в Будапешт и доставить туда агента Коминтерна Яноша Перцеля, за которым охотится контрразведка Вооруженных сил Юга России и Антанты… Повесть «Держись за облака!» в сокращенном виде была опубликована в газете «Московский комсомолец» в январе 1969 года. В 1971 году вышел одноименный советско-венгерский фильм, который, однако, имел мало общего с повестью, в связи с чем Ю. Семенов снял свое имя из титров и впоследствии повесть не переиздавал…

…1944 год. Бельгия. Гестапо разыскивает командира отряда Сопротивления, известного как «господин большевик»… История московского студента Степана Богданова включает в себя добровольный уход на фронт, окружение и плен,

три побега, подготовку диверсии в партканцелярии НСДАП в Берлине… Повесть написана в 1959 году и была второй повестью писателя (первая, «Дипломатический агент», в том же году была опубликована отдельной книгой). Попытки автора опубликовать «Господина большевика» продолжались до 1970 года. К повести предъявлялись претензии в легковесности, снижении образа подпольщиков и чрезмерной авантюрности сюжета. Однако в основу повести были положены реальные события. Дальнейшую судьбу героя повести — Степана Богданова — читатели узнают из романа «Майор Вихрь», где он появится в числе персонажей.

Впервые публикуется и начальная часть повести «Жизнь комиссара Иванова» — о бывшем политруке штрафной роты, попавшем в хитросплетения интриг послевоенной теневой экономики и коррупции. Новеллы о милиционерах, разведчиках, подпольщиках, в большинстве своем впервые публикуемые, с большим интересом будут встречены всеми любителями остросюжетной прозы.

Одним из последних произведений Юлиана Семенова были «Ненаписанные романы» — цикл историко-мемуарных эссе, созданных в период

работы над «Отчаянием» — последней «политической хроникой» об Исаеве-Штирлице. По трагическому предчувствию автора, это действительно были конспекты романов, которые Юлиан Семенов уже не успел написать. И в них он, как и его герой Исаев в «Отчаянии», размышляет о судьбах России, истоках революционного насилия и сталинского террора, путях преодоления этого тяжелого наследия. Составной частью «Ненаписанных романов» стали некоторые автобиографические рассказы из цикла «37–56», созданные в 1961–1964 годах. В нашем издании они впервые публикуются в полном объеме по авторским рукописям, как впервые с 1988 года переиздается рассказ «Да здравствует Вл. Ворошилов...» и публикуется новелла «Дюкло» — последняя из цикла «ненаписанных романов» и, вероятно, последнее написанное Юлианом Семеновым произведение.

Как отмечают исследователи творчества писателя, успех романов о Штирлице базируется, во-первых, на профессиональной работе автора с архивами и историческими источниками, а во-вторых, на личном жизненном опыте, в том числе полученном в различных журналистских командировках. Результатом командировок,

помимо статей, репортажей и интервью, были публикации, написанные в формате очень удачного сплава документально-художественного очерка и дневниковых путевых записей, который сам писатель назвал «отчетом по командировкам». Несколько «архивных отчетов» мы приводим в соответствующем разделе. Особо хочется отметить первый опыт такого рода — документальную повесть «Люди штурмуют небо» (единственный раз издана в 1960 году) — ведь впечатления от сибирских и дальневосточных командировок легли в основу соответствующих страниц литературной биографии Исаева-Штирлица. И совершенно особенным «отчетом», написанным по горячим следам событий, является документальная пьеса-детектив «Поиск-891», в свое время с успехом поставленная Галиной Волчек в театре «Современник».

Завершает сборник подборка архивных материалов. «Начало начал. Первая книга» — так автор подписал папку, в которой хранил свои первые опыты в художественной прозе. Возможно, он и не собирался их публиковать, однако, прочитав рукописи, мы убедились, что эти несколько страничек будут интересны не только филологам и историкам литературы, но и широкому кругу

читателей.

Обладая знаниями и опытом профессионального историка, литератора и кинематографиста, Юлиан Семенов на протяжении всего своего творческого пути старался пробудить у читателя интерес к истории своей страны, ее урокам и альтернативам развития, полагая, что только просвещенный гражданин и патриот может стать гарантом законности, социальной справедливости и экономического процветания России.

Лев Аннинский в свое время высказался так:

«Дело, которое Семенов сделал в русской литературе двадцатого века (и которое, как я убежден, обеспечит ему место в ее истории), можно в грубом приближении назвать созданием интеллектуально-милицейского жанра.

Тоньше: соединением высокой умственной аналитики и низкого, непредсказуемого, “авантюрного” материала.

Еще тоньше: попыткой стянуть хотя бы “общим туманом” края пропасти между разумом и невменяемостью в фантастической реальности, называемой Россией.

Если знать этот ключ, музыка будет услышана.

И двери отворятся».

Неизвестный Максим Исаев

Исход

Зима 1921 года в Европе выдалась странная и необычная. В январе было тепло, шли дожди, казавшиеся скорее весенними, а в начале февраля вдруг ударили морозы, деревья в Париже сделались игольчато-белыми, все в заледеневшем снегу; выпал снег; сначала он был мокрым, но свирепые предутренние морозы сделали его скользко-хрустким; люди, не ждавшие такого мороза, кутались в коротенькие пальто — последняя американская мода; высокий разрез сзади, кепи с длинным козырьком, тупорылые, бульдогами, ботиночки; покатилась волна таинственной инфлюэнцы; особенно страдали дети: маленькие гробики то и дело отвозили на кладбище, и промерзшая земля глухо ударялась в серо-желтые доски.

В один из февральских дней возле здания французского Генерального штаба было особенно оживленно.

То и дело останавливались машины, выскакивали генералы в легких шинелях и рысцой бежали к дубовым массивным дверям; подвозили машины и штатских — шляпа, низко надви-

нутая на глаза; идут неторопливо, видимо не французы — мороза не боятся; глаз от земли не поднимают, дышат тяжело, сквозь зубы — по всему видно, русские.

В этот неприметный морозный день во французском Генеральном штабе собрались на совещание высшие представители белогвардейской эмиграции, наблюдатели из Лондона и французские военачальники.

Указывая на большую — во всю стену — карту России, высокий сутулый человек с одышкой — по выправке видно, военный — негромко покашливая, говорил:

— Давайте научимся смотреть правде в глаза, господа. Увы, революция нас научила многому, однако умение смотреть правде в глаза — это великое умение, которому учат не революции, но жизнь. Ситуация такова. — Он взял со стола длинную черную указку и, заученно обернувшись, ткнул ею куда-то в желто-коричневые взгорья, простирающиеся между Сибирью и Дальним Востоком. — Созданная Лениным Дальневосточная республика, так называемая суверенная республика, с центром в Чите, по праву называется кремлевскими сатрапами красным буфером. Вопрос заключается в том,

сможем ли мы в ближайшее время превратить этот красный буфер в белую государственность. Тогда огромное пространство от Владивостока и до Байкала, — быстрый взгляд на французов и англичан, — территория, превышающая по своим размерам Европу раза в три-четыре, станет оплотом новой, демократической России, построенной на принципах свободы, равенства и братства, на принципах Учредительного собрания и конституционной законодательной власти. Опять-таки, ситуация такова, что история подарила нам последнюю возможность — да, да, именно последнюю возможность — попробовать взять реванш за разгром великолепных героев Деникина и Колчака. Таких возможностей больше не будет. Не воспользоваться сейчас этой возможностью не просто глупость — это преступление перед будущим, это преступление перед нашими русскими потомками. Почему я утверждаю, что сейчас, и только сейчас, мы, русские, мы, истинно русские патриоты, с помощью наших французских, английских и японских союзников можем утвердить в Сибири новую Россию? Во-первых, потому, что Россия Ленина задыхается в голоде и разрухе. Во-вторых, никогда еще силы Белого движения не были так

точно и могуче объединены в сокрушающей мощи, сконденсированной, — опять-таки жест указкой на карту, — от Харбина до Урги, столицы Монголии. Войска атамана Семенова, барона Унгерна, генералов Бакича и Резухина стоят вдоль по границам восточной российской окраины. Успех всякого начинания — я глубоко убежден в этом — зависит от того, кто начнет первым. Из перечисленных мною русских патриотов я считаю своим долгом выделить барона Унгерна фон Штернберга — философа, политика, востоковеда, дипломата, военачальника. Этот человек готов вступить в Монголию, подчинить эту страну своему влиянию и оттуда нанести сокрушающий удар по Иркутску.

Почему барон Унгерн придает такое большое значение вступлению в Монголию? Почему мы ставим на карту именно Монголию? Потому что Монголия в настоящее время оккупирована отрядами китайского генерала Чжан Цзо Лина. Народ Монголии ненавидит китайских оккупантов, нареченных этим страдающим народом гаминами. Следовательно, Унгерн будет иметь преданных ему союзников — монголов. Следовательно, таким образом, Унгерн будет иметь монолитный и крепкий тыл. Следовательно, он будет иметь

то, чего так не хватало всем белым освободительным армиям. А имея монолитный, крепкий тыл, Унгерн бесспорно разовьет победоносное наступление на Сибирь. Если он сможет перерезать одну-единственную нить, связывающую Владивосток с Москвой, — снова жест указкой, — я говорю о Транссибирской магистрали, тогда летом этого года наше дружеское совещание мы сможем продолжить если не в Петрограде, то, во всяком случае, в Иркутске.

Человек покашлял в кулак, осторожно положил указку на большой дубовый стол и сказал:

— Мой друг, генерал Балакирев, полковник Сомов и я готовы представить вам, господа, исчерпывающие материалы, которые будут со всей полнотой свидетельствовать о том, что мы предлагаем вам не мифическое прожектирование, но выверенную и выстраданную реальность.

ПОГРАНИЧНАЯ СТАНЦИЯ. В купе, где сидит один человек, входят двое пограничников.

Они проверяют паспорта пассажиров.

— Господин Лорс?

— Да.

— Подданный Франции?

— Да.

— Следуете в Харбин?

— Да.

— Пожалуйста. Счастливого пути.

Пограничники уходят. Поезд медленно трогается. В купе входят три пассажира. Один из них забрасывает на сетку баул, второй садится возле Лорса, третий прилипает к окну.

Лорс поднимается со своего места, хочет выйти из купе. Тот человек, который забрасывал баул в сетку, каким-то очень незаметным, но точным движением подставляет Лорсу ножку. Лорс падает, поворачивается на спину, выхватывает из бокового кармана пистолет. На него бросается один из троих. Быстрая борьба, сопение, ругательства. Поезд, дрогнув, останавливается. Тот, что боролся с Лорсом, спрятал его пистолет в карман, поднялся и сказал:

— Только давайте без цирка, Сомов. Пошли…

КАБИНЕТ НА ЛУБЯНКЕ, В МОСКВЕ. Сомов-Лорс кончает писать свои показания, передает их Всеволоду Владимирову — работнику Восточного отдела ЧК. Тот просматривает написанное и говорит:

— Вы так много пишете, что мне трудно выявить для себя главное.

— Побежденные всегда пишут много. Особенно любят мемуары сочинять в камере, — усмехается

Сомов.

Владимиров внимательно смотрит на Сомова и переспрашивает:

— Страшно?

— Да.

— Что ж, страх в данном случае неплохой базис для сотрудничества…

— Вы предлагаете мне…

— Я вам пока ничего не предлагаю. Я констатирую явление.

— Я готов сотрудничать с вами…

— Да?

— Да.

Владимиров чуть улыбается, снова листает материалы и спрашивает:

— Значит, как я могу понять из ваших показаний, в парижском эмигрантском центре барона Унгерна считают наиболее перспективной фигурой?

— Да.

— План его выступления распадается на две фазы: первая — поднять монголов против гаминов, прогнать их, а после — рывок на Москву? Не так ли?

— Вы правильно меня поняли.

— Вы посланы координационным парижским

центром для того, чтобы на месте, в Монголии, скорректировать планы совместных выступлений всех белых сил против нас — на Востоке и на Западе?

— Да.

— Хорошо… Можете идти…

Сомов медленно поднимается с табурета, стоящего посредине комнаты.

— Одну минуту, — останавливает его Владимиров. — Опишите мне, пожалуйста, вашего парижского шефа, генерала Балакирева.

— Старик. Брит наголо, с большой седой бородой. Очень высок… очень худ…

— Когда он должен выехать к Унгерну?

— Через две недели.

— За две недели вы надеялись ознакомиться со всеми планами Унгерна?

— Да. Дней за десять.

— Так же, как вы, — через нас?

— Нет. Через Японию…

— Ясно… Пожалуйста, распишитесь на этом листке.

— Нужен мой почерк? — спрашивает Сомов, медленно отходя к двери. Владимиров кивает.

— И последнее — назовите мне пароли и явки в Харбине. Кто вас должен переправить оттуда

к Унгерну.

Сомов оборачивается и напряженно, сосредоточенно всматривается в лицо Владимирова:

— Вы погибнете там. Я не пылинка, меня знают многие…

— Ваши знакомые — тема особого разговора. Итак, пароль.

— В русское консульство я должен явиться к генералу Бакичу…

МОНГОЛЬСКАЯ ЮРТА. Два гамина гонялись за девушкой. Молоденький высокий офицер стоял возле порога, придерживая старуху, которая плакала, рвалась и кричала:

— Дарима! Дарима!

Яростно отбивалась Дарима от гаминов, но они повалили ее, связали руки веревкой и вывели из юрты.

Когда они проводили ее мимо офицера, тот погладил ее по щеке и сказал:

— Девочка, ты так прелестна. Зачем кричишь ты? Тебя ждет счастье подле меня, а не горе.

Офицер вышел вслед за девушкой из юрты, а старуха ползала за ним на коленях, хватала его за сапоги и причитала:

— Отпустите Дариму, отпустите Дариму!

Офицер шел мимо десятков монголов, которые

стояли на коленях на поляне, а гамины выгоняли скот — баранов, коней, коров. Два солдата затолкали Дариму в машину — старенький открытый «линкольн», — она крикнула людям, стоящим на коленях:

— Скажите Мунго, скорее скажите Мунго!

Офицер сел подле девушки, гамины — один за руль, другой на первое сиденье, и машина умчалась. А люди продолжали стоять на коленях, потому что пять кавалеристов пересчитывали скот, который потом они погнали следом за автомобилем.

ЖЕЛТАЯ, СОЛНЕЧНАЯ МОНГОЛЬСКАЯ СТЕПЬ. На многие километры растянулась армия Унгерна: пешие, конница, автомобили, артиллерия, обозы. Головной отряд состоял из шести всадников. Это барон Унгерн, его заместитель — бурят Ванданов и личная охрана.

— Где монастырь? — спросил барон одного из охранников.

Охранник оглядел небо и, прищурившись, кивнул головой на восток:

— Там.

Унгерн пустил коня. Свита — следом.

Монастырь старика настоятеля Дамба Доржи — маленький: всего двенадцать юрт.

В самой большой юрте старик молился. Он строго смотрел на изображение.

В юрту, осторожно ступая, зашли Унгерн и Ванданов. Охранники стали у входа, а старик продолжал молитву:

— Бог, помоги, спаси из тюрьмы твоего сына, императора нашего Богдо Гэгэна.

Загремела снова музыка, заухали барабаны, простонали флейты.

— Бог, вырви из темницы Хатан Батора Максаржава.

Снова загремела музыка, и снова заухали барабаны. Унгерн обернулся к Ванданову и тихо спросил:

— Кто такой Хатан Батор?

— Это военный министр монголов.

Старик-настоятель услыхал шепот у себя за спиной, обернулся и увидел высокого, молодого еще, рыжего, вислоусого, поджарого человека в монгольском халате, подпоясанного красным кушаком, с генеральскими русскими погонами и с крестом Владимира на остром кадыке.

— Что тебе? — спросил старик.

— Отец, я хочу принять твою веру, — сказал Унгерн, — я хочу принять желтую веру Будды.

— Приняв новую веру, ты предаешь старую.

— Старой больше нет. Ее продали большевикам евреи и банкиры.

— Ты говоришь слова, не понятные мне. Кто ты?

— Я Унгерн.

— Тот Унгерн, который хочет освободить нас от гаминов?

— Да, отец. Я ничего не хочу, кроме одного: прогнать гаминов, спасти императора, поставить границу на юге и севере…

— Какой ты примешь обет? Первый обет для начинающих лам — гынин. Ты должен не красть, не пить, не лгать, любить старцев, не убивать.

— Я должен убить и старца, если он враг мне. Мне и монголам.

— Приняв обет, ты волен его нарушить, а после обратить молитвы к Будде, и он простит тебя, если ты был прав в своем гневе.

— Тогда я приму самый трудный обет.

— Ты примешь обет «второго гициля»: не иметь женщину, всем говорить правду, воздерживаться от роскоши, спать три часа и есть один раз в день. Готов ли ты к этому?

— Готов.

— За что ты любишь нас, Унгерн?

— За то, что вы чтите бога и скорбите о вожде,

который попран.

Старик улыбнулся какой-то непонятной, быстрой улыбкой и, хлопнув в ладоши, сказал:

— Придите все!

Из-за занавески в юрту вошли бритоголовые ламы. Они расселись на низеньких скамейках. Настоятель незаметно кивнул, и монахи запели молитву. Голоса их то сливались в один, то, распадаясь на восьмирегистровое многоголосье, звучали по нарастанию — мощному и трагическому: очень тихо, тихо, чуть громче, громко, очень громко, рев, тихое бормотанье, тишина.

Настоятель позвонил в колокольчик, вступила музыка: барабаны, дудки, флейты, трубы — грохот, мощь, сила, и снова тишина, и снова по нарастанию — шепот, песня, громкая песня, рев, молчание.

Настоятель подошел к Унгерну, положил ему руку на плечо. Барон опустился на колени.

— Говори вместе со мной святые слова пятизвучия жизни: ом мани пад ми хом.

— Ом мани пад ми хом, — певуче повторил Унгерн.

— Держи руки у лба щепотью покорности Будде, — шептал настоятель.

Ламы заревели молитву, запел Унгерн. Тишина.

Грохот оркестра. Тишина.

— Теперь ты сын Будды, — сказал настоятель, — брат монголов.

Слезы полились по щекам Унгерна, морщины разгладились, лицо просветлело — тихое, только глаза сияют стальным, несколько истерическим высветом.

Ванданов, чуть улыбнувшись, сказал Унгерну:

— А вы боялись чего-то, барон…

Унгерн, продолжая улыбаться, покачал головой.

— Позови Оэна, — попросил настоятель служку. Снова запели монахи, и в юрту вошел прокаженный — рот в язвах, глаза слезятся, руки покрыты коричневой бугорчатой коростой.

— Он заболел проказой, когда его угнали к себе гамины, — сказал настоятель. — Он брат твой перед богом. Побратайся с ним, как сын Будды с сыном Будды.

Старик достал из-за пазухи тряпицу, развернул ее и протянул Унгерну серебряную пиалу. Мальчик-служка налил в пиалу чай. Старик Дамба Доржи, не отводя глаз от побелевшего лица Унгерна, отхлебнул глоток, передал пиалу прокаженному; отпил и тот, протянул пиалу барону. Тихо, тихо запели ламы, не спуская глаз с

лица Унгерна. Барон прищурился — губы сжаты, уголки книзу, желваки вспухли, — взял пиалу, медленно поднес ее ко рту, резанул старика острым взглядом, сделал быстрый глоток и вернул пиалу Дамба Доржи. Тот тоже сделал глоток, только медленный. Поставил пиалу на пол и сказал:

— Он, — кивнул на прокаженного, — брат моего брата. А его брат — Хатан Батор Максаржав. Он сейчас в тюрьме. Освободи его, освободи императора — и твое имя станут повторять в молитвах.

Старик помолчал, раскурил свою маленькую трубочку, потом сказал:

— Покажи мне свои ладони!

Унгерн протянул настоятелю свои руки. Тот внимательно разглядывал линии жизни, воли и сердца и потом сказал:

— Тебя ждет счастье, сын мой, потому что именно сегодня ночью начинается праздник нашего мессии майдари — праздник веры.

ТЕМНЕЛО. Унгерн со свитой несся бешеным аллюром по степи. Вдруг он остановился.

— Водка есть?

Ванданов протянул штоф. Унгерн ополоснул горлышко, приник, пил жадно, полоскал рот, мыл водкой губы.

Лицо его морщилось гримасой брезгливости и

ужаса, всего его трясло, и он беззвучно шептал:

— Ох, братья, ну, ждите, братья, желтые братья!

Потом он ударил себя кулаками по рту — в кровь. Сплюнул кровь, размазал ее по лицу, промыл раны водкой, хрипя что-то жуткое и бессловесное, а потом отшвырнул штоф и, обмякнув в седле, тронул коня иноходью.

ДОЛИНА была стиснута со всех сторон коричневыми бугорчатыми спинами гор. Здесь шел праздник мессии майдари: состязаются всадники, распластав коней по степи; соревнуются люди в стрельбе из лука: борются сильнейшие «орлы» — люди, унаследовавшие от дедов и прадедов великое искусство национальной монгольской борьбы.

И вдруг весь этот шум и гам праздника перекрыл длинный, протяжный рев трубы. Люди обернулись и увидели глашатая, который восклицал:

— Сегодня праздник для желтых монголов. Посланник северного брата Унгерн принял нашу веру и ведет войска, чтобы освободить нас от гаминов.

Ликовали люди, радовались.

И среди этого многоголосого, шумного весе-

лья шел Мунго — известный по всей Монголии человек: разбойник не разбойник, анархист не анархист. А так — добрый малый. Живет себе один в горах, кобылиц доит, объезжает коней и охотится от зари до зари. Видно, как люди уважают его и чтят: вот он тронул рукой стрелка, и тот передал ему лук. И Мунго послал стрелу точно в красный центр мишени. То всаднику перед заездом подтянул подпругу — все принимали его с улыбкой и доброй уважительностью.

Мунго вошел в тесное кольцо зрителей, окруживших «орлов». В последней паре последнего тура двое борются: молодой и старик. Оба они сильны, даже, пожалуй, старый борец кажется мощнее и крепче — только кожа у него чуть дряблая, и виски изрезаны морщинами, и глаза все в мелкой сетке.

Борцы танцуют свой танец «орлов» вокруг своих секундантов. Секундант старика, то выкрикивая гортанным голосом, то переходя в плавную песню, возглашал:

— Великий борец Ванган не был побежден никем и никогда. Сила его рук, это сила его сердца, а сила его сердца, это мощь весенней Селенги. Пусть же молодой Лаусурен попробует сразиться с Селенгой, самой сильной рекой на земле,

пусть!

Как только замолчал секундант Вангана, секундант молодого Лаусурена ответил ему:

— Лаусурен очень уважает великого борца Вангана, но если Ванган силен мудростью старости, то Лаусурен богат дерзостью молодости. Пусть же честный бой решит, за кем победа на земле — за молодостью или за старостью.

— Бойся, бойся, маленький Лаусурен! — кричит, поет, закатывает глаза секундант Вангана. — Бойся поражения и радуйся ему, потому что ты уже получил честь сражаться с великим.

— Жди, Ванган, — поет секундант Лаусурена, — жди боя!

Бросались друг на друга противники, и пот заливал их глаза, мышцы были напряжены — то они замирали античной бронзой, то переходили в яростное, стремительное движение.

Закурив трубочку, Мунго наблюдал за борьбой.

Бросил наконец Лаусурен старика Вангана. Танцует танец «орла», летает по кругу вокруг поверженного. А после Ванган понуро уходит с круга и люди смеются над ним, а молодого Лаусурена славят и кричат ему слова лести.

Мунго быстро разделся, вышел на середину круга и начал танцевать танец «орла». Тут секун-

дант, что был с Ванганом, запел:

— Мунго Харцкай будет сражаться с молодым победителем, который слишком радуется победе над старым Ванганом!

Мунго кончил танцевать, обернулся на восток, поклонился людям. Потом поднял свою голову к нему и прошептал:

— Тебе, Дарима!

Мунго схватился с Лаусуреном и быстро, почти без труда, уложил его на обе лопатки. Яростно заулюлюкала толпа только что вознесенному Лаусурену, а Мунго подошел к Вангану и сказал:

— Я боролся с дерзостью, теперь я хочу сразиться с мудростью.

Красиво боролись Ванган и Мунго, красиво, точно артисты, кричали секунданты, подбадривая своих подопечных, прыгали вокруг них, хлопали ладонями по спинам, пели, кричали, шаманили.

— Подержись еще немного, старик, — шепнул Мунго Вангану, — еще чуть-чуть, а после я лягу. Когда силы кончатся — шепни.

— Они… уже… кончились…

Секундант Мунго, ликуя, кричал:

— Все видят силу и ловкость Мунго, пусть убедятся еще раз, — что нет в Монголии никого сильнее, чем он!

— Клади его, Мунго! — кричали зрители. — Старик кончился, — кричали они. — Он выдохся!

И вдруг — снова мертвая тишина: на земле лежал поверженным Мунго, а Ванган стоял над ним, протягивая ему обе руки. Он помог ему встать, из круга они вышли вместе, и тишина сменилась ревом восторга.

Ванган шепнул:

— Спасибо тебе, победитель. Я больше никогда не приду бороться.

А зрители неистовствовали:

— Слава Вангану непобедимому!

А Ванган шептал:

— Ты бы мог положить меня на первой минуте, Мунго.

А зрители кричали:

— Слава Вангану сильнейшему!

Маленькой точкой несется в горы всадник. Вот он все ближе, ближе, вот он спешился, вот он пробирается через кричащую, поющую, торгующую толпу. Это мальчик, лицо его заплакано — в копоти и кровоподтеках. Он продирается сквозь толпу, все время повторяя: «Мунго, Мунго, Мунго!» Он долго добирался к Мунго, который стоял в толпе, дернул его за рукав.

— Мунго, гамины увели Дариму!

— Куда они поехали?

— К Синей реке. Верст шестьдесят уже отъехали… на одном коне не догонишь.

Мунго стряхивает пальцы мальчика со своей руки, пробирается сквозь толпу и просит одного из всадников:

— Дай коня, Дембрель.

— Меня ждет больной сын, Мунго. Я еду к нему.

Мунго обращается ко второму:

— Продай коня, друг.

— На чем я вернусь сам?

Человек, который стоял чуть поодаль, слышал и то, что мальчик сообщил Мунго, и то, как Мунго просил себе коня.

Он обернулся к двум своим спутникам и закончил тихо:

— Всем нашим передашь — место встречи — Кяхта. Оттуда будем начинать.

Трое его спутников дали коням шенкеля и умчались в разные стороны. Человек долго наблюдал за тем, как Мунго продолжал просить то одного, то другого:

— Одолжи коня! Продай коня! Одолжи коня!

Всадник чуть приподнялся в стременах и негромко сказал:

— Поди сюда, друг.

Мунго подошел к всаднику.

— Что у тебя случилось?

— Невесту гамины угнали. А здесь все… Как бороться, так Мунго, Мунго!

— Возьми коня.

— Сколько хочешь?

— После сочтемся.

— Кто ты?

— Меня зовут Сухэ Батор.

— Куда мне вернуть коня?

— Держи его при себе, придет время — вернешь.

СТЕПЬ РАЗРЕЗАНА ПОПОЛАМ МЕДЛЕННОЙ СИНЕЙ РЕКОЙ. Пять гаминов-кавалеристов гнали стадо баранов и кобылиц. Наперерез им с горы несся Мунго — голова на гриве, ноги впились в бока коня. Он приблизился к гаминам и крикнул:

— Где девушка?

Гамины засмеялись, о чем-то поговорили между собой, снова посмеялись.

— Где Дарима? — спросил Мунго.

Гамины продолжали смеяться, что-то быстро говорили по-своему.

— Верните людям их скот, — тише, сдержаннее сказал Мунго.

Тогда один из гаминов приблизился к Мунго и хлестнул его поперек лица тонкой витой нагайкой. Взбухла синяя полоса от лба к подбородку.

После длинной паузы в одно мгновение прозвучали пять выстрелов — в обеих руках Мунго по маузеру, стволы дымятся. Тихо. Только четверо гаминов медленно сползали с седел, а пятый, видимо раненный, крича что-то длинное, заячье, уносился прочь. Мунго пустился вслед за ним. Он гнал его по степи словно волка, а потом, выбрав какое-то, инстинктом учуянное мгновение, остановил коня, вскинул руку, выстрелил — и пятый повалился с седла.

Мунго объехал отару баранов, крикнул что-то гортанное коням и погнал их в обратную сторону.

Поздний вечер. Мунго подогнал отару и табун кобылиц к поляне, на которой так и стояли старики, женщины, мужчины и дети — на коленях, со связанными за спиной руками. Мунго медленно ездил на своем скакуне между связанными людьми и кричал:

— Жалкие трусы! Сами не могли за себя заступиться?! Тех было пятеро, а вас сколько?! Отдали Дариму?! Ну?! Мужчины! Вы рождены в юртах, умереть должны в поле. Что молчите?! Ах?! Мун-

го вас освободит, да?! Кто пойдет сейчас со мной за Даримой?!

Молчат люди. Белый от гнева Мунго еле сдерживает коня.

— Ну?

— У тебя нет детей, Мунго, — говорит один из мужчин.

— Ваши дети будут такими же рабами, как и вы! Освобождайте сами себя!

И повернув коня, Мунго понесся в горы, к юрте, где жила Дарима с матерью.

Возле юрты он спешился, отбросил полог. Увидел у себя под ногами маленькую сережку, гранатовую, — словно капелька крови. Оглядел сережку, почистил ее от пыли, продел в мочку левого уха, шагнул в юрту, позвал тихо:

— Мама.

Никто не ответил ему.

— Не отчаивайтесь, мама, я найду нашу Дариму.

Никто не ответил ему. Мунго запалил фитиль, осветил юрту и попятился: возле очага лежала убитая старуха и, оскалившись, глядела широко открытыми глазами на иконописного Будду.

Мунго вышел из юрты, долго стоял возле коня и незряче смотрел вниз, на поляну, где стояли

люди на коленях со связанными руками, потом он вспрыгнул в седло, на всем скаку спустился вниз, не слезая с коня, острыми и точными ударами сабли перерезал веревки мужчинам и умчался в горы, в тугую багрово-синюю сумеречную темноту.

ПОЕЗД ОСТАНОВИЛСЯ НА ХАРБИНСКОМ ВОКЗАЛЕ.

Ах, Харбин, Харбин двадцать первого года! Кого здесь не было — русские академики, эмигрировавшие из Петербурга, ютились в одних подвалах с артистами Москвы и Киева; молодые физики снимали мансарды вместе с большими художниками, жили впроголодь, питались подаяниями спекулянтов, которые и тут, в далеком Китае, быстро акклиматизировались, сняли себе особняки, купили тупорылые американские машины и разъезжали от китайского банка к американскому, от французского консульства к эмигрантскому русскому посольству — и всюду лихо и быстро делали свои дела. А дела у них одни: перевести в зеленое долларовое золото российскую николаевскую, керенскую и колчаковскую дребедень.

Здесь же, в Харбине, можно было встретить на улицах тысячи штатских, но с такой военной

выправкой, что было ясно — эти люди только ждут сигнала, когда же взяться за оружие.

И казалось, что здесь, в этом китайском городе, громадном, разросшемся за последние десять лет, европейцев больше, чем местных. И это не было обманчивым первым впечатлением. Когда приходил поезд и из вагонов выходили люди, казалось, сюда, в Азию, приехала Европа.

И на этот раз из вагона вышел высокий человек, сел в коляску рикши и сказал:

— В русское консульство.

Рикша провез человека по вечерней, плохо освещенной белоэмигрантской столице к зданию под Андреевским стягом, с двуглавым орлом над входом.

Человек расплатился с рикшей, вошел в здание консульства. Казак, сидевший у входа, спросил:

— Вам кого?

— Генерала Бакича.

— Как доложить?

— Доложите: из Парижа Сомов.

Казак ушел. Человек сел на диван, подвинул к себе пепельницу, закурил, огляделся. Он услышал где-то в пустом здании консульства гулкие шаги. Казак подбежал к нему и сказал:

— Генерал Бакич вас ждут.

Человек пошел вслед за казаком. Они миновали несколько пустых темных комнат, остановились возле оцинкованной двери. Казак нажал кнопку. За дверью громко и нудно прогудел звонок, оцинкованная дверь медленно отворилась. Человек вошел в комнату шифровальщиков. Навстречу ему поднялся генерал, протянул руку и сказал:

— Бакич.

Визитер пожал протянутую руку и ответил:

— Сомов.

— Весьма рад, — сказал Бакич.

Они пошли во вторую комнату, устроились в креслах друг против друга. Бакич протянул Сомову руку ладонью вверх. Сомов достал из кармана портмоне, вытащил оттуда половинку фотографии, положил ее на ладонь Бакича. Бакич отпер сейф, достал оттуда вторую половинку фотографии, сложил их, поднялся и трижды — по-братски — поцеловался с Сомовым.

— Наконец-то, — сказал он, — теперь, когда Париж включился в борьбу, мы прижмем красных и с Востока, и с Запада! Вы с Унгерном знакомы?

— Нет.

— Эрудит, востоковед, умница! С ним мы поднимем национализм Востока под лозунгами ненависти к людям иного цвета кожи, иного

мыслия. Если Монголия станет нашим антибольшевистским плацдармом, полковник, через год в Кремле молебны служить станем. Кстати, как печень у графа?

— Вы имеете в виду…

— Графа Григория.

— Вы перепутали, генерал, вы все перепутали. Он страдал камнями в почках.

Бакич стал серьезным, посуровел:

— Простите, Сомов, не гневайтесь на двойной пароль. Уезжать вам к Унгерну надо сегодня. На днях он штурмом пойдет на Ургу. Это зависит от того, удастся ли ему на этих днях освободить императора из китайской тюрьмы.

— Я вижу, барон не только отменный востоковед, но и человек с младенческой душой: он любит обставлять войну подпорками рыцарских времен: Дюма, мушкетеры, император…

— В Азии это нельзя считать рыцарской подпоркой, полковник. Азия не может жить без императора. Поклоняться надо кому-то, обязательно надо азиату поклоняться…

Бакич хлопнул в ладоши, пришел казак, вытянулся в дверях.

— Чайку бы, Романыч, — попросил Бакич, — только не зеленого, надоел, спасу нет…

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — ответил Романыч и вышел.

— Да, совсем запамятовал, — сказал Бакич, подвигая Сомову пачку американских сигарет «Лаки страйк» в бело-красной металлической коробочке, — вам здесь письмо от вашего приятеля. Он просил вас немедленно связаться с ним, как только приедете.

— Это кто ж? — радостно удивился Сомов.

— А вот угадайте.

— Трудно.

— Кто из ваших давних приятелей сейчас на Востоке?

— Далькенброк из восемнадцатого уланского, брат Пысина, Валерьян Викторович в Мукдене… Погодите, погодите… Видимо, штабс-капитан Аросев?

Бакич, напряженно всматривавшийся в спокойное лицо Сомова, откинулся на спинку кресла и покачал головой. Улыбнулся:

— Профессор Юрасов здесь.

— Да? Где он?

— На море, верст десять отсюда. Едем?

— С удовольствием… Сегодня только каравана к барону нет?

Бакич наморщил лоб, вздохнул.

— Да, — сказал он, — ничего не выйдет. Караван уходит сегодня ночью. Черканите Юрасову несколько строк.

Бакич протянул Сомову перо и бумагу. Сомов написал несколько строк и размашисто расписался — точно, как Сомов, не зря он его заставлял это проделывать в Москве, на допросе.

Вошел казак с чаем. Бакич извинился и вышел. Он зашел к себе в кабинет и сказал одному из шифровальщиков:

— На графологическую экспертизу.

Медленно ползут в ночи три грузовика, груженные оружием. В первой машине возле русского шофера — Сомов. Фары машины утыкаются в воду.

— Снова река, — чертыхается шофер, — ни хрена мы к барону не попадем.

— Надо поспокойнее, — говорит Сомов. — Карта есть?

— Какие здесь, к черту, карты?! Нету здесь карт, господин полковник.

— Ну, станем, — просит Сомов, — по звездам поглядим.

Он вылез из машины, размял ноги, потянулся с хрустом.

Ночь — сине-багрово-голубая — лежала над

монгольской холмистой степью. Редкие порывы ветра несли в себе пьяные запахи полыни и одолень-травы.

— Во-он медведица, а рядом что это? Здесь Орион? А? — Сомов вдруг засмеялся чему-то, поглядев на злое лицо шофера.

Вдруг где-то неподалеку громыхнул выстрел. Второй, третий. Сомов быстро обернулся на выстрелы. Увидел в темноте, на фоне багрово-серого неба, высверки выстрелов. Четверо всадников преследовали одного, этим одним был Мунго: уже третий день он пробирался в Ургу, но и на этот раз неудача постигла его — она нарвался на заставу гаминов, которые держали все пути в Ургу под неослабным контролем.

Мунго подскакал к машине — конь в пене, сам он весь оскаленный, горячий с боя.

— Русские?

— Русские.

— Там гамины, отпугнем вместе!

Сомов, шофер и Мунго стреляют несколько раз в гаминов. Те, сделав круг возле машин, прокричав что-то свое, длинное и злое, скрылись в ночи.

Ехал караван машин дальше, а в первой машине возле Сомова сидел Мунго и показывал дорогу:

— Теперь влево и по Изумрудному ручью.

— Глаза у тебя как у филина.

Сомов несколько раз задерживался взглядом на сережке, которая болталась в ухе монгольского провожатого.

— Направо сворачивайте.

— Что это за сережка такая занятная?

— Таких только две в Монголии. Сам из граната сделал. Одна у моей невесты, другая у меня.

— А где невеста?

— Гамины в Ургу угнали. А пройти не могу: кругом кордоны. То Унгерна, то гаминов — черт вас всех забери. Стой! Здесь прямо, версты три: там Унгерн.

— Тебя как зовут?

— Мунго.

Сомов достал блокнот и записал что-то — четким, крупным почерком.

— Это пропуск. Русские кордоны вас пропустят всюду. Я написал, что вы — мой проводник. Держите.

Мунго спрятал записку за отворот шапки и, не сказав ни слова, вылез из кабины, свистнул коня, который шел следом, и скрылся в ночи — будто и не было его.

СТАВКА УНГЕРНА НА ГОРЕ. Внизу палатки

войск, обозы, кухни. Сомов спрашивает казака, попавшегося ему навстречу:

— Где барон?

Казак оборачивается, кивает глазами на большую юрту. Сомов входит туда.

Остановившись на пороге, видит Унгерна — в исподней рубахе, выпущенной поверх галифе. Тот склонился над картой, вычерчивает что-то циркулем.

— Полковник Генерального штаба Сомов прибыл к вам из координационного парижского центра.

Унгерн вскинул голову, оглядел Сомова и сказал:

— А на кой вы мне здесь ляд, любезнейший?

— Простите?

— Я говорю: какого черта вы сюда приехали? Я ненавижу все связанное с Европой. Милюкову ручки жмут, Савинкова-цареубийцу лобызают. Нет белого цвета, остался один желтый, на него и надежда.

— Генерал, я прибыл только для того, чтобы координировать план общего выступления.

— А мне на ваш план плевать. У меня свой.

— Отличный от того, который мы готовили в Париже?

— Отличный, батенька, отличный.

— Что мне передать в Париж?

— Послушайте, Сомов, в человеках я чту только одно — наличие у них детскости, пусть анфан тэррибль, только бы анфан. Так вот, детишки наиболее распространенным жестом своим считают фигу.

И Унгерн показал Сомову кукиш.

— Генерал, вы прикажете мне вернуться в Париж?

— А это как хотите. — И Унгерн крикнул: — Доктора мне!

Пошел за ширму. Скрипнула кровать. Бросил на ширму рубаху, галифе.

В юрту вошел доктор. Унгерн из-за ширмы сказал:

— Знакомьтесь, Сомов. Доктор Баурих.

Доктор и Сомов обменялись рукопожатием. Доктор с саквояжем зашел за ширму, и оттуда раздался громкий шепот Унгерна:

— В левую колите, в левую.

В юрту вбежал казак:

— Ваше превосходительство, от Ванданева гонец. Семь кордонов хунхузов прошли, сегодня ночью будут воровать императора ихнего.

— Где они стоят? — спросил Унгерн из-за шир-

мы.

— У Черного дуба.

— Скажите Ванданову, что завтра утром император должен быть здесь. Без императора мы не можем начинать штурм Урги.

Посыльный выбежал из юрты. Следом за ним, пожав плечами, вышел Сомов. Он сел на маленькую скамеечку возле юрты, закурил, наблюдая за тем, как казаки кончали разгружать машины с оружием.

Из юрты вышел доктор, посмотрел на растерянного Сомова и спросил:

— Возвращаетесь в Париж? Завидую.

Сомов поглядел на доктора, спросил:

— Что вы желтый такой?

— Малярия треплет, помирать пора.

— Странно, — сказал Сомов, — я не знаю больших пессимистов, чем доктора, врачеватели людских недугов. Боже мой — помирать пора!

Сомов достал блокнот и записал:

«Барон составил новый план выступления против Советов. Миссия моя пока проваливается. Но в интересах общего дела придется задержаться, с тем чтобы выполнить ваше задание по координации общих выступлений против Кремля. Постараюсь в ближайшее время дать о себе как-

нибудь знать.

Сомов».

Он спрятал эту записку в конверт и написал адрес: «Париж, рю де Ришелье, 17, Простынкину. Срочная телеграмма» — и протянул шоферу вместе с деньгами.

— Немедленно отправить из Харбина.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие.

ВЕЧЕР. Юрта близ черного, разбитого молнией дуба.

Старик монгол сидит возле люльки, укачивая ребенка. Ванданов — сейчас в халате без погон, в лисьей шапке, надвинутой на глаза, — мечется из края в край юрты, то и дело поглядывая на часы.

Старик напевает внуку:

Назови мне трех далеких,
И ответил старец внуку:
Солнце мертвому далеко,
Дом далек коням усталым,
Дня конец – голодным людям.
Назови мне трех небывших,
И ответил старец внуку:
Крыши не было над морем,
Пояса у гор высоких

И столбов, державших небо.

Отворился полог юрты, и вошли четверо разгоряченных бурят — все из личной охраны Унгерна, те самые, которые сопровождали Унгерна и Ванданова к старику настоятелю в монастырь Дамба Доржи.

Олин из охранников достал из-за пазухи большой ключ, протянул его Ванданову:

— Точный слепок.

Ванданов схватил ключ, ощупал его со всех сторон, сел возле очага, выдохнул облегченно и сказал:

— Ну вот, теперь можно считать — главное сделали.

Охранник сказал:

— Только пришлось ему еще сорок тугриков уплатить. У нас было тридцать, десять мы ему должны.

Ванданов пожал плечами, усмехнулся, достал деньги, дал их охраннику. Тот, попробовав на зуб, спрятал за пазуху.

— Резиной копыта обтянули? — спросил Ванданов.

— Да.

— Жеребчика Дамбреля не берите, он ржет, всех переполошит.

— Хорошо.

Отворился полог юрты, и вошел Мунго — глаза запали, лицо, одежда, сапоги запыленные. Старик бросился к нему, кланяясь на каждом шагу. Ванданов удивленно посмотрел на старика, потом на Мунго — что это за гость важный прибыл?

Старик усадил Мунго, полез куда-то в маленький шкафчик, достал оттуда самую почетную чашку для гостей — серебряную, с инкрустациями, — налил в нее чай и с поклоном протянул путнику.

— Знаю, знаю, все знаю, — говорил старик Мунго, — знаю про твое горе. Бог помогает добрым.

— Я не прошел в Ургу через кордон, — сказал Мунго.

— Как ты шел? — спросил старик. — Серой падью, Мунго?

— Да.

Ванданов быстро переглянулся с охранниками.

— Ты что, тот самый Мунго? — спросил Ванданов.

— Какой? — пожал плечами Мунго.

— Которого любят монголы.

Мунго снова пожал плечами.

— Ты шел Серой падью?

— Да.

— А в Ургу надо через другое место идти.

— Ты кто? — спросил Мунго.

— Ванданов я, полковник Ванданов, брат Унгерна. Пойдешь с нами? Ты нужен нам, Мунго, а мы добра не забываем.

— У вас своя дорога, у меня — своя.

— Чтобы войти в юрту, надо открыть полог, — сказал Ванданов. — Освободив императора из тюрьмы, мы освободим Ургу, мы освободим твою Дариму. Ты знаешь Ургу, помоги нам, Мунго, а мы поможем тебе, друг…

НОЧЬ. Караул гаминов у въезда в Ургу. Караульные — в островерхих желтых меховых шапках — напряженно вслушиваются в конский топот. К костру из темноты подъезжают пять всадников. Это Ванданов, Мунго и охранники.

Старший по караулу, снимая с плеча винтовку, спросил Ванданова:

— Кто такие?

Ванданов подъехал к охранникам еще ближе и сказал:

— С почтой к наместнику Сюй Ши Джену. — Он кивнул своим спутникам и сказал: — Покажите бумаги страже.

Те подъехали к караульным, в одно мгновение скатились с седел на гаминов — не успел никто и

крикнуть, всех сняли.

Тихо в Урге. Только вдруг всполошатся собаки, завоют, перетявкают, и снова воцаряется тишина.

Всадники ехали по темным улицам, мимо громадного буддийского храма Кандан — вниз, к берегу реки, туда, где растянулся длинный — без окон — барак тюрьмы.

Метров за тридцать до тюрьмы Ванданов и трое охранников спешились, а Мунго и один из охранников остались возле лошадей.

Ванданов и охранники ползли к часовым возле тюрьмы. Часовые ходят тихо — пять шагов вправо, пять шагов влево, штык острой тенью царапал белую в лунной ночи тюремную стену. В зубах у Ванданова был зажат нож. Он едва дышал, и движения его были по-кошачьи осторожны и точны.

Мунго достал из-за пазухи маузер, осторожно загнал в ствол патрон, наблюдая за тем, как Ванданов и его спутники ползли к часовым.

Ванданов взбросился с земли, ударил ножом одного часового, трое охранников бросились на другого. Но тот, сорвав с плеча винтовку, вскинул ее и — секунда — пальнул бы в Ванданова. Тогда — тревога, тогда — провал операции.

Мунго резким движением отвел назад левую руку. Остро высверкнул в ней нож, швырнул нож прямо перед собой, и часовой, выронив винтовку, тихо осел на землю, даже не вскрикнул.

Ванданов обернулся, оскалился благодарно. Достал из-за пазухи большой ключ, отпер ворота тюрьмы.

…Протяжно звонит звонок тревоги в здании караула.

…Гамины бросаются к винтовкам, составленным в козлы.

Медленно в кромешной тьме тюрьмы крадется Ванданов и, запалив спичку, отпирает оцинкованную дверь. Он видит, как на кровати, свернувшись в комочек, спит старый человек.

— Император, — шепчет Ванданов, — император, мы принесли тебе свободу.

Богдо Гэгэн испуганно прижался к стене, зашептал:

— Уходите, не надо, не надо мне ничего. Начнут стрелять, мы все погибнем. Не надо, не надо.

— Ваше величество, — шепчет Ванданов, — барон Унгерн ждет вас у ворот Урги, не медлите, ваше величество. Нам нужно вывести еще и Хатан Батора Максаржава. Скорее, ваше величество.

— Уходите! — взвизгнул Богдо Гэгэн. — Оставьте меня все!

Он пятился к стенке, заворачиваясь в одеяло, испуганно смотрел на Ванданова, часто икал и быстро-быстро моргал глазами, словно на ярком солнце.

— Берите его! — сказал Ванданов. — В одеяло заворачивайте!

И верещавшего императора, завернув в одеяло, потащили по тюремному коридору словно куль.

Ванданов, обращаясь к своим охранникам, говорит им:

— Ищите Хатан Батора, скорее.

И в это время тишину ночи взорвал выстрел — один, второй, десятый.

Это Мунго и оставшийся возле коней охранник отстреливаются от гаминов, которые бегут к воротам тюрьмы. Метко стреляет Мунго, не спеша, выборочно.

Застонал охранник, сидевший на лошади подле него, сполз с седла.

Мунго видит, как из ворот тюрьмы выбегает Ванданов с тремя спутниками, чуть не волоча под руки императора Богдо Гэгэна. Они сажают его на коня. Ванданов хрипит:

— Придержи их, придержи гаминов.

Мунго кивает головой. Всадники уносятся в ночь. Гамины кричат что-то, а Мунго неторопливо, прислушиваясь ко все удаляющемуся конскому ржанию, продолжает стрелять в солдат. Потом, когда топот коней стих, он дал шпоры своему коню и ринулся вслед за скрывшимися в ночи. Ему нужно было проскакать через площадь, залитую лунным светом, и когда ему оставалось еще два шага до темноты, до тени от высокого забора, шальная пуля свалила его лошадь.

Конь придавил Мунго, гамины бросились к нему, стали бить ногами в лицо. Они что-то кричали ему и волокли по лунной улице к тюремным воротам.

Тревожной ночью — где рацией, где по прямому проводу — неслась с Востока, через громадные просторы Сибири и Урала, через заснеженную голодную Волгу в Москву составленная из хитрых цифр шифровка в Реввоенсовет республики — Склянскому.

А когда усталые шифровальщики по знакомому им коду перевели колонку цифр в строчки слов, заместитель председателя РВС республики Склянский, зажав свою большую голову сухими ладонями, углубился в чтение:

«*Сообщаю, что положение на Востоке рес-*

публики крайне угрожающее. Войска барона Унгерна, которые в русской советской печати легкомысленно называют бандами, являются действительно серьезнейшей угрозой для жизни республики. Войска соединений Унгерна, прекрасно вооруженные, подчиненные воле и военному разуму барона Унгерна, захватили уже половину Монголии, прикрываясь лозунгом освобождения монголов от китайских империалистов. Народ Монголии обманут Унгерном и верит, что барон пришел освободить их по поручению всего русского народа. Как мне стало известно, в ближайшие дни Унгерн собирается атаковать столицу Монголии Ургу, выбить оттуда китайских оккупантов и провозгласить создание союзной ему монархической Монголии, которая пойдет следом за ним в его борьбе против нашей республики.

Всю дальнейшую информацию я буду пересылать по мере возможности по установленным заранее каналам».

Подпись под шифровкой — 974. Склянский знает, от кого эта шифровка. Склянский достает красный карандаш и в верхнем левом углу пишет: «Переслать товарищам Ленину и Дзержинскому для ознакомления».

ТЮРЬМА. Сумеречно. Два ящика. Из отверстий, проделанных в ящиках, с деревянными колодками на шее торчат две головы, одна против другой. Ящики маленькие — не повернуться. В ящиках двое — Хатан Батор Максаржав и Мунго. Мунго весь окровавлен, а лицо Максаржава желто и пергаментно, хотя и без следов побоев.

Мунго пробует вертеть шеей. Скулы играют на щеках.

Хатан Батор тихо спрашивает его:

— Что ты сделал такое, что они удостоили тебя такой чести? В эти ящики гамины сажают самых именитых врагов.

— Я помог освободить императора.

Хатан Батор кивнул, чуть улыбнулся:

— Сделал — не бойся… Боишься — не делай…

Мунго посмотрел на своего соседа и спросил:

— Кто ты, чтобы меня учить?

— Хатан Батор Максаржав.

Мунго посмотрел на него и сказал:

— За тебя поют молитвы во всех монастырях.

— Видно, без пользы. Может, неделю продержусь, сил нет больше.

Открылись ворота тюрьмы, и яркий солнечный свет ворвался в это жуткое вместилище пыток, крови и слез. Трое гаминов подошли к ящику,

в котором был заключен Мунго, и один из трех, развернув свиток, зачел:

«Бандит Мунго Харцкай приговаривается наместником к смертной казни — четвертованию — завтра утром, с восходом солнца».

Так же, как появились, гамины ушли — будто истуканчики. Ступают ровно, говорят тихо, в глаза не смотрят.

Затворили за собой дверь. Лязгнул ключ, и снова стало темно и сумеречно.

— Мне погибать не страшно, — сказал Мунго, — я сто раз умирал, я привык умирать. Хатан Батор Максаржав, спаси Дариму.

Хатан Батор пожевал губами, спросил:

— Жена?

— Невеста.

— Где она?

— Где-то в Урге… Гамины угнали…

— Как я ее узнаю?

Мунго долго молчал, а потом вдруг лицо его разгладилось от морщин, он вздохнул — как-то прерывисто, по-детски — и сказал, улыбнувшись:

— Она самая красивая под солнцем.

Гремит уличный бой. Ургу пытаются удержать гамины, но с сопок, тесня противника, растека-

ются лавиной войска барона Унгерна.

Унгерн со своим штабом стоит возле монастыря Кандан, наблюдая в бинокль за боем.

Оборачивается к свите и говорит:

— Возле реки гамины здорово держатся.

Встречается глазами с Сомовым, щурится, цедит:

— Ну что, координатор? Координировать легче, чем землю жрать?

— Барон, образность вашего языка меня подкупает.

— Мой маленький анфан тэррибль, история простит мне мой язык — история не простит только одного — бездействия…

— Вы позволите мне покинуть вас?

— Караван в Харбин ожидается послезавтра.

— Я имею в виду передовую, барон, передовую.

И не дождавшись ответа барона, Сомов пустил коня вперед.

Сомов пришпорил коня и пустил его туда, в самое пекло уличного боя. Унгерн долго смотрел ему вслед, потом подмигнул Ванданову и сказал:

— Скоро вернется. Штабист. А в седле, между прочим, держится неплохо. Только здесь не Елисейские Поля.

А то место, куда скачет Сомов сейчас, — гости-

ница для офицеров-гаминов, превращенная в крепость: два пулемета держат все улицы под обстрелом.

Сомов спустился в город, привязал коня к заборчику, лег рядом с казаками.

— Ну? — спросил он. — Что лежим? Устали?

— Ваше благородие, из пулеметов садят, головы не подымешь. Вон сколько наших покосили.

— Гранаты есть?

— А какой толк? Не достанешь их. Там штаб у них, офицеры живут.

— Отползайте за пагоду, — попросил Сомов, — не все, не все. Вы постреливайте, шумите больше.

Трое казаков отползли вместе с Сомовым к лошадям. Сомов достает из кожаного подсумка веревки, бросает их казакам.

— А ну привязывайте меня под брюхо.

— Ваше благородие, лошадь повалят, вас замнет.

— Ну! — прикрикнул Сомов. — Быстренько.

Выносится из-за маленькой пагоды конь, несется во весь опор через площадь к зданию хунхузского штаба, туда, где пулеметчики засели. Конь без седока, на седло накинута попона — цветастая, видно, какому князю конь принадлежал.

Пулеметчики смотрят на коня, который несется через площадь, смеются, говорят что-то друг другу. Один из них скручивает лассо, чуть поднимается с земли — хочет заарканить коня, но в это мгновение Сомов бросает две гранаты — одну за другой. Грохочут разрывы, ржет конь, поднявшийся на дыбы, ревут казаки, бросившиеся в штыковую.

Сомов берет левой рукой нож, который был зажат у него во рту, перерезает веревки, акробатически выпрыгивает из-под коня, катится кубарем по земле, быстро отползает к заборчику, перемахивает через него.

Тот молоденький, ласковый офицер, который захватил Дариму, сейчас хлещет девушку по щекам, тащит ее к машине. А она вырывается от него, то и дело оборачиваясь к востоку — туда, откуда гремят залпы унгерновских орудий. Гамины, пробегающие мимо офицера, который тащит за собой девушку, вытягиваются по стойке «смирно», козыряют офицеру. Он что-то кричит им на своем языке. Они помогают ему бросить Дариму в машину. Девушка пытается выбраться из машины, но офицер снова бьет по лицу и в яростном остервенении срывает у нее сережку — точь-в-точь как та, что у Мунго в мочке.

Сомов с казаками и с монгольскими солдатами вот-вот настигнет машину. Но нет, офицер приник к пулемету, установленному на заднем сиденье. Двое гаминов бросили Дариму на пол, прижали ее ногами, и, поливая огнем преследователей, машина скрылась в переулке.

Выскакивают из штаба гамины с поднятыми руками — и офицер, и унтер-офицер, и солдаты. Проходят мимо Сомова, который сидит на коне — запыхавшийся, шапка прострелена пулей, лицо исцарапано в кровь шальным осколком. Он смотрит на проходящих мимо гаминов и видит на каменистой твердой земле, как капельку крови, сережку. Он поднимает сережку с земли, смотрит в бинокль на машину, в которой увозят девушку, весь подается вперед и видит номер: Л-293.

Оборачивается, замечает медленно въезжающего в город Унгерна со свитой, козыряет барону.

Унгерн подъезжает к нему вплотную, улыбается.

— Умница, — говорит он, — не ждал.

И треплет Сомова по щеке, будто девушку. Ванданов и охранники бегут к тюрьме.

Они открывают тюремные ворота. Ванданов бежит мимо ящиков — заключенные провожают

его радостными, в слезах улыбками. Останавливается напротив ящика Мунго, срубает шашкой замки с ящиков, в которых томились Хатан Батор и Мунго, выводит их из тюрьмы — шатающихся, окровавленных, счастливых. Их окружают казаки, помогают им сесть на коней. Ванданов возвращается в тюрьму и спрашивает первого сидящего в ящике:

— За что сидел?

— Против гаминов говорил.

— И правильно говорил. Свободен.

Срубает замок, выпускает из ящика человека, переходит к следующему.

— За что сидел?

— Свою дочь гаминам не отдал.

— Свободен.

Разрубает ящик, выпускает человека. Подходит к следующему:

— За что сидел?

— За то, что большевик.

Ванданов молча стреляет человеку в лоб, подходит к следующему ящику с тем же вопросом…

ГРОМАДНАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ХРАМОМ БУДДЫ.

На трибуне — император, Унгерн, Хатан Батор вместе с Мунго, Сомов, доктор Баурих, Ванданов,

главы дипломатических миссий.

Медленным шагом на середину огромной площади выходит глашатай. Он объявляет:

— Великому воину Унгерну, освободителю Монголии, спасителю желтой веры, император дарует титул «дархан хошой чин ван» — великий богатырь, князь непобедимый.

Ревет площадь, взлетают в небо желтые лисьи шапки, палят из ружей стрелки.

Поднимается Унгерн, нервно мнет белую папаху в левой руке, говорит:

— Император! Братья солдаты! Бог привел меня к вам для того, чтобы отдать жизнь в борьбе против развращенного Запада. Вожди должны быть восстановлены на престолах! Народ изживет из себя яд либеральных веяний, а мы вернемся обратно сюда, в великую Азию, которая может принадлежать только азиатам. Отсюда идет великое избавление миру.

Грохочет оркестр. На площадь выскакивают маски драконов — черные, желтые, мелово-белые, красные — начинается мистерия ужаса. Разноцветные маски прыгают вокруг громадного желтого черепа, кланяются ему, завывающе поют в его честь древние гимны.

Вдруг маска желтого черепа, взмахнув неесте-

ственно длинными черными палками рук, что-то кричит — протяжное, длинное. И все остальные маски — а их больше тридцати, — падают ниц и медленно уползают в распахнутые ворота храма. Череп кланяется трибунам и, пятясь, скрывается в воротах.

С противоположной стороны вбегают два певца. Кланяются трибунам. Начинают соревноваться в песне.

Первый поет:

– Назови ты мне три острых!

Второй отвечает:

– Голодающего зубы,

Умирающего взоры,

Солнца луч меж облаками!

И спрашивает первого:

– Назови мне три обманных!

Первый отвечает:

– Эхо горное обманно,

Сон обманен в этой жизни

И мираж в пустыне знойной!

Убегают певцы с площади, провожаемые овацией. Из ворот храма медленно движется маска

«желтый череп», на распростертые его черные руки надеты две громадные клетки с орлами.

Череп приближается к тому месту, где сидит Унгерн, кланяется барону и говорит:

— Эти орлы сражают врагов, лис и дзейрин. Великий воин, желтая вера хочет, чтобы эти орлы охраняли тебя днем и ночью.

Унгерн, поднявшись, низко кланяется черепу. Два казака из его охраны ставят клетки с орлами возле барона.

На площадь выбегает глашатай:

— Император Богдо Гэгэн пожаловал славного воина Хатан Батора Максаржава должностью военного министра!

Ревут люди на трибунах, летят в голубое небо желтые лисьи шапки, палят в небо стрелки. Кланяется людям Хатан Батор Максаржав. Потом, опустив руку на плечо Мунго, говорит:

— Если я стал военным министром, то Мунго пусть будет эскадронным первого монгольского полка.

И снова на площадь выскакивают маски и продолжается мистерия. Гремит оркестр. Невидимый глазу хор лам поет буддийские песнопения.

И все это время, пока продолжается мистерия, Сомов медленно пробирается среди зрителей

ближе к Мунго, стараясь не упустить его из поля зрения.

А когда глашатай объявил перерыв в мистерии, а император пригласил Унгерна и Хатан Батора к себе во дворец выпить зеленого, пахучего, с салом ицахантасом, монгольского чая, Сомов подошел к Мунго и положил ему руку на плечо.

Тот, обернувшись, сразу узнал Сомова, и они обнялись, как старые знакомые.

— Слышал, слышал, — сказал Сомов, — теперь ты такой большой начальник, что можешь забыть мое имя.

Мунго ухмыльнулся и ответил:

— Тебя зовут Сомов, а начальником я быть отказался.

— Почему?

— Ищу Дариму.

— Где ты думаешь ее искать?

— Не знаю… Где-нибудь на юге.

Сомов, покачав головой, говорит:

— Нет, Мунго. Ты сделал одну ошибку, а сейчас хочешь сделать вторую: на юге ее нет.

— А мне хоть сто ошибок — лишь бы найти ее.

Сомов, достав из кармана красную сережку, положил ее на ладонь и сказал:

— Машина Л-293. Ушла с ней на север. Так что

погоди, Мунго. Погоди…

«*Генерал-лейтенанту Унгерну фон Штернбергу от агента 17–13. Почтительно докладываю:*

На севере Монголии, в Кяхте, бандитом Сухэ Батором образовано красное правительство Монголии, люди Сухэ Батора переходят границу, направляясь на юг, в области, освобожденные нашими белыми войсками. Здесь они ведут работу по разложению населения, стараясь привлечь людей на свою сторону, соблазняя их ленинскими лозунгами Сухэ Батора. Как мне стало известно от источника 24-А, несколько посланцев Сухэ Батора направлены в Ургу, где ищут связи с неизвестными мне красными подпольщиками и прямыми разведчиками Москвы. Прошу передать это мое донесение начальнику контрразведки Сипайло с тем, чтобы он принял все возможные меры для того, чтобы схватить означенных красных монгольских лазутчиков, допросить их с пристрастием и узнать все явки подполья в столице Монголии.

Вашего высокопревосходительства имею честь быть покорным слугою».

КАБИНЕТ ИМПЕРАТОРА. Сейчас здесь Унгерн, Ванданов и Хатан Батор Максаржав.

Император расхаживает по громадному ка-

бинету, подолгу задерживаясь возле чучел диковинных животных и рыб — он страстный коллекционер.

Унгерн, склонившись над картой, энергическим жестом правой руки делает бросок на север, к границам РСФСР.

— Запад есть Запад, Восток есть Восток, — говорит он. — И вместе им не сойтись. Так вот, я говорю вам: пора на север, дальше.

Хатан Батор Максаржав ответил ему:

— Монголия освобождена, дальше идти некуда, там Россия.

— На севере не только Россия, — сказал Ванданов, — на севере банды Сухэ Батора.

— Он монгол, — возразил Хатан Батор Максаржав.

Унгерн сказал:

— Нет, он не монгол. Монгол желтый, а он — красный.

Хатан Батор пожал плечами:

— О том, что он объявил красное правительство монголов, я не знаю, но я знаю, что он отдал аратам скот. Если это красный монгол, то мне это нравится…

Унгерн и Ванданов быстро переглянулись. Унгерн положил свою девичью, красивую, тонкую

руку на плечо Хатан Батора и сказал:

— Ну что ж, брат, может быть, ты и прав. Если говоришь так ты, народный воин и герой, мы должны прислушаться к твоим словам.

Унгерн и Ванданов, поклонившись императору и Максаржаву, уходят.

Идут Унгерн с Вандановым в окружении охранников по Урге — среди пьяного разгула победителей. В одном месте пьяные казаки. На пустыре пьяные идут с гармошкой, поют лихую песню, с присвистом и улюлюканьем, в другом молчаливо дерутся из-за водочной бутыли, в третьем дерутся с монголом, отбирая у него барана. Унгерн подошел к казаку, стукнул его ребром ладони по шее, остолбенел казак, вытянулся в струнку, Унгерн обнял монгола, похлопал его по плечу, сказал ему что-то на родном языке, монгол упал на колени, воздел к Унгерну руку. Барон сказал казаку:

— Сволочь! Глупая сволочь. Если сердце отдыха просит — на пустырь пойди, а не здесь — где глаз тысячи.

Бросил казаку монету, кивнул Ванданову, пошел дальше. На пустыре пьяное казачье колет шашками чучело, на груди у которого приколота бумажка: «Я — Сухэ Батор».

Идут среди этого дикого, пьяного разгула Ун-

герн и Ванданов не спеша, сосредоточенные, молчаливые.

— Собери штаб, — наконец говорит Унгерн, — будем думать, как поступать дальше. Каков орех, а!

— Орех крепок.

— Русские не такие орехи грызли.

— Ты же не русский, барон.

— Милый мой, если есть на земле русские, так это только остзейские немцы. — Унгерн усмехнулся чему-то. — Все-таки история изобилует массой элегантных благоглупостей, и в то же время, не зная истории — только дрова пилить. Ты представляешь себе, раскосый, — ну не сердись, не сердись, душа моя, люблю, знаешь, что люблю, — ты представляешь себе, как это будет элегантно, ежели народный герой отдаст богу душу… Ну, словом, подумаем. Обожаю ребусы. Это тренирует мозг. Надо все время тренировать мозг и пальцы ног — это йоги уверяют. Так вот, штаб собирай, штаб.

Ванданов спросил:

— А парижского координатора?

Унгерн, подумав минуту, ответил:

— А знаешь — он солдат, его — тоже.

МАЛЕНЬКИЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМИК НА

ОКРАИНЕ УРГИ. Здесь ночной бар и отдельные номера с проститутками содержит японец Бонаяси, пергаментный старик, свободно изъясняющийся на нескольких европейских языках.

Сейчас здесь в зале пусто. Где-то за бамбуковой занавеской женщина поет грустную песню. На ковре сидят доктор Баурих и Сомов. Оба изрядно пьяные, и Сомов предлагает:

— Послушайте, знахарь, теперь давайте выпьем за берцовую кость.

— Их две, за которую? Давайте за правую. Я люблю все правое. Левое и правое, центр. Тьфу, прошляпили Россию, левые — правые. Есть только правые и неправые. Ура!

— Ура! — соглашается Сомов, тоже выпивая. — Между прочим, очень вкусная гадость.

— Кругом самозванцы, психи и пройдохи, — говорит Баурих. — Послушайте, Сомов, неужели вы верите этому неврастенику? Неужели в Париже на него делают серьезную ставку? Мир населен полутора миллиардами одичавших, изверившихся зверей, которые сплющены страхом, — оттого и революции делают.

Сомов, оглянувшись, спрашивает:

— Вы что, плохого мнения о контрразведке барона?

Баурих махнул рукой:

— Они интеллигентов не понимают. Если бы я говорил «люблю жидов», или «готовлю покушение на Унгерна», или «Ленин — неглупый человек», — вот тогда к стенке. А такой язык им непонятен, пугает их только как детишек — и все. — Баурих засмеялся. — Парадокс: охранка без интеллигентов не может. Мы без них можем, они без нас — нет. Так сказать, неразделенная любовь. А потом, я ничего не боюсь — Унгерн врачей обожает. Он даже зубную врачиху здешнюю — еврейку Розенблюм — не разрешил подстрелить, потому что боится зубной боли. Скоро снова дальше, большая дорога предстоит.

— Большая?

— Он велел сорок ампул заготовить. На каждой двадцатой версте колется — восемьсот верст. А потом он что-то с этим красным монголом задумал.

— С Сухэ Батором?

— А черт его знает. Словом, все одно к одному.

Из-за бамбуковой занавески выходит женщина, которая пела песню. Она молода еще, в глазах льдинки остановившиеся, лицо белое, декольте громадное, безвкусное. Она стоит и шепчет:

— Скоты, скоты, грязные скоты!

А где-то за ее спиной из номеров раздается заунывная, с пьяным всхлипыванием казачья песня. Доктор хватает Сомова за руку и шепчет:

— Боже мой, Варя! Варенька Федорова! Господи, я же всю ее семью лечил! Неужели она? Варя, — говорит он. — Варенька, это вы?

Варя посмотрела на доктора. В лице ее что-то дрогнуло, сломилось ее лицо.

Доктор подбежал к ней, обнял ее, стал целовать ее, прижимать к себе, гладить по голове, повторяя:

— Варенька, боже ты мой, Варенька, девочка! Варенька, что же это с вами, милая? Ну сейчас, сейчас, золотко, сейчас, погоди, сейчас я закажу всего, будем вместе сидеть. Знакомься, это Сомов — полковник из Парижа, Андрей Лукич.

Варя, когда услышала слова доктора, как-то изумленно, с ужасом посмотрела на Сомова, шагнула к нему, сжав у горла худенькие свои кулачки, хотела что-то сказать, но вдруг, словно пьяная, упала к его ногам.

Доктор захлопотал над ней, стал дуть ей в лицо, хлопать по щекам, потом бросился за перегородку. Там он сшиб что-то, выругался и закричал визгливым, непохожим голосом:

— Бонаяси, Бонаяси, иди сюда! Воды! Воды!

Бонаяси!

Варя медленно вздохнула, поднялась, посмотрела на Сомова прежним, враз остановившимся заледеневшим взглядом, как-то непонятно, сквозь силу, усмехнулась и сказала:

— Между прочим, полковник Генерального штаба Андрей Лукич Сомов — мой муж.

Из-за занавески, куда только что скрылся доктор, вывалился горячечно пьяный офицер.

— Мамзель, — сказал он, — мы так не уговаривались. Я вам аплодировал, а вы — дёру! Я вам два доллара уплачу за нежность.

Сомов достает из кармана пятидолларовую бумажку, протягивает ее офицеру и говорит ему:

— Подите отсюда прочь, милейший.

Варя смотрит вслед ушедшему пьяному и говорит:

— А мой муж никогда не был таким щедрым. Что с вами, Андрей Лукич, эка вы переменились. И внешне, и внутренне. Усы сбрили, вместо лысины — ишь какой элегантный.

Сомов приблизил к Варе свое лицо и сказал:

— Так вот: ваш муж — в Москве, на Лубянке. Случись что со мной здесь, он заложником пойдет.

Варя усмехнулась. Что-то быстрое, яростно

животное, промелькнуло у нее в глазах, и она сказала:

— Мой муж Сомов в Стамбуле за два фунта стерлингов продал меня на ночь купцу. Так что не пугайте меня его жизнью.

Сомов откинулся к стене, полез за сигаретами, деревянно, зацепенело закурил, сказал:

— Ну, собственно, если вы хотите заглянуть в контрразведку, это четвертый дом отсюда. Видимо, вам, в вашем теперешнем состоянии, не поверят, скорее всего поверят мне. Ну ладно, даже если поверят, какой выигрыш? Я-то знал, на что иду, а вы? Сейчас платят два доллара — будут платить полтора. Каждая ночь — морщины и седина. Зеркальце-то есть? Посмотрите. А может быть, вам выгоднее пожить у меня дома хоть неделю, поспать спокойно, без блевотины? Может быть, вам лучше прийти в себя, а через неделю я вас отправлю куда хотите — в Париж, в Берлин.

— Какое вы имеете право говорить мне это? — жестко усмехнувшись, спросила Варя. — Я ненавижу вас, понимаете? Это вы лишили меня родной России моей, вы слышите? Это вы меня лишили и дома, и семьи, и чести, что вы мне про зеркальце-то? Это я такая по вашей вине, чьей же еще?

— Не будем считаться кровью, — тихо сказал Сомов. — Счет будет не в вашу пользу. Ваш папа, профессор Иннокентий Васильевич Федоров, ведет курс в Петроградском университете, а моего отца в девятьсот шестом повесили казаки. Ваш брат, Николай Иннокентьевич Федоров, служит в артиллерии Московского военного округа, служит нам, красным изуверам, а моего брата расстреляли в девятьсот девятнадцатом в Виннице. Так что не будем считаться кровью, Варенька, не будем.

— А мать? — спросила Варенька.

— Мать умерла от сыпняка в девятьсот двадцатом, — ответил Сомов.

Он достал из кармана френча маленький — с перламутровой ручкой — браунинг.

— Ну вот что, — сказал он, — времени у нас в обрез, так что давайте, как говорится, подобьем бабки. Я вас сейчас могу пристрелить, понимаете? Я скажу, что вы покончили с собой, и мне поверят. Мне очень противно это делать, но выхода нет. Ясно? Или, — он подтолкнул ей браунинг, — стреляйте вы в меня. Потому что мне незачем жить, если я не смогу сделать того, что я должен сделать. Валяйте, он на взводе.

Варя схватила браунинг, подняла его и стала

целить в грудь Сомову.

— В грудь не надо. Только раните. Цельте в лоб. Не бойтесь, не бойтесь, разворотит только затылок, вас не испачкает.

Вечность прошла. Варя выронила браунинг: не выдержала она взгляда Сомова, усталого, доброго, умного, не выдержала она, ткнулась лицом в грудь, заплакала, повторяя:

— Скоты, какие же вы все скоты… не ведаете, что творите, скоты…

Баурих выскочил из-за занавески с водой и полотенцем. Застыл, пораженный.

— Тсс, — сказал ему Сомов. — Тсс, я объясню все позже.

ШТАБ УНГЕРНА. Унгерн расхаживает по кабинету, говорит:

— Надо полагать, что знамена, под которыми идет быдло, только потому и остаются знаменами, что лозунги на них можно писать каждый год новые. Видимо, никто из вас не сомневался в том, что мои объяснения в любви здешнему племени есть не что иное, как высшее проявление жертвенной любви к России, к ее великому вождю, к ее растоптанной вере, к ее одураченному народу. Эрго, любыми средствами надо убрать Сухэ Батора — террористическими или мирными, но

убрать.

Ванданов сказал:

— Он ходит без охраны… Убрать его я берусь в неделю.

Унгерн обвел взглядом собравшихся здесь.

— Какие будут мнения?

— Поколения довольно точно реагируют на безвинно пролитую кровь, — сказал Сомов. — Зачем же нам ставить в нелепое положение человека, который взял на себя великое бремя искупительного антибольшевистского похода? — Сомов кивнул на Унгерна. — Не целесообразнее ли попробовать мирный путь: пригласить Сухэ Батора сюда, посулив ему должность в императорском правительстве?

— Вообще-то парижанин прав, — сказал Унгерн. — Кровь — это очищение. Но здесь необходим точный лекарь. Давайте попробуем. Кого мы можем послать к нему?

— Есть один человек, который может выполнить это поручение, — сказал Сомов, — Мунго.

Ванданов кивнул.

— Да, — согласился он, — этот пройдет.

Вскочив из-за стола, Унгерн снова забегал по кабинету, внезапно, толчком, остановился возле стола:

— Все это хорошо, но мне дорог каждый час, каждый день. Монголия — бушующее море, утонуть в нем ничего не стоит, сгинуть — тоже, а мне — жди?!

— Я его доведу до красных кордонов, — предложил Сомов. — Тогда мы, во всяком случае, будем уверены, что он у красных, и его невозвращение будет означать для нас сигнал к действию здесь в том аспекте, который предлагал наш друг Ванданов.

Снова забегал по кабинету Унгерн, потом остановился над Сомовым, взял его за уши, приблизил его лицо, спросил:

— Сколько времени ждать?

— Пять дней терпит? — спросил тот.

— Семь, — ответил Унгерн, — семь, парижанин. Я за это время в Харбин съезжу. В Харбине все обговорим. К этому времени здесь должна быть полная ясность: на кого ставим, кого в заклание — Сухэ или Максаржава. Все ясно, господа?

КВАРТИРА СОМОВА. Сейчас здесь Сомов и Варенька. Сомов собирает походные вещи, а Варя медленно разбрасывает на ломберном столике карты. Улыбается чему-то, мешает карты, отбрасывает их в сторону. Льет кофейную гущу на стенку чашки, подносит чашку к глазам, тихо

говорит:

— Хотите, я вам все расскажу про ваше будущее?

— Хочу.

— Вы принесете много зла людям, потому что вы добрый сердцем, но жестокий мыслью, видите, какие резкие углы сопутствуют вашей линии? А внутри они мягкие — это ваше сердце. Самое ужасное, когда добрые люди несут зло в себе… Вы еще никогда не любили, — она быстро, затаенно взглянула на Сомова, — но вы еще полюбите — неожиданно для вас и очень обреченно.

Сомов, усмехаясь, продолжал собирать вещи.

— Чтобы мои слова о вашем будущем были во всем верны, я должна знать хоть что-нибудь о вашем прошлом.

Сомов покачал головой, сказал:

— Через час после того, как я уеду, за вами придет доктор. В семь часов вас ждут у датского консула, там будет барон, вам надлежит быть обворожительной.

— Хотите подложить меня Унгерну?

Сомов даже споткнулся. Оборотившись, сказал:

— Должен оказать вам, что бестактность — это первейшее проявление душевного заболевания.

А мы так с вами не уговаривались.

— Любимый муж, лубянский сатрап в обличье Сомова. Хотя хрен не слаще редьки. Не мучайтесь запонкой, я ее вдену вам, идите сюда. Не бойтесь — я не стану вас обольщать, ну, сядьте, мне же неудобно. Вот так, — сказала она, вдев ему запонку в манжетку. — После тех офицеров, которые прошли через мою кровать, вы меня как-то ужасно угнетаете своей благопристойностью. Это как пытка: вы заставляете меня быть самой же себе отвратительной.

Сомов как-то неожиданно мягко улыбнулся и оказал:

— Наверное, это ужасно, когда для человека революция становится бранным словом, я не зову вас прощать кому бы то ни было ваше горе, я просто хочу, чтобы вы поняли, все поняли. — Он замолчал, потом снова усмехнулся. — Объяснить не умею, ужасно! А что касаемо моего прошлого, так оно не суть важно.

Варенька сидела за столом и смотрела на Сомова громадными глазами, и взгляд её сейчас был совсем иным — так еще она на Сомова никогда не смотрела. А потом опасливо протянула руку и дотронулась до пальцев Сомова и смутилась вдруг, отодвинулась в тень, запахнулась шалью, и

Сомов смутился, отошел в темный угол — только свет папиросы освещал его лицо и сощуренные, тревожные глаза.

В комнату входит Мунго, одетый по-походному.

Сомов целует паре руку. Мунго подхватывает его баул, и они вместе выходят. Слышен за окном топот копыт. Варя подходит к столику, берет карты, выбрасывает их из колоды. Все черные ложатся — пики, трефы. Она подходит к окну и долго смотрит в темноту, ничего не видно, только собаки лают.

Сомов и Мунго едут по равнине. Чуть поодаль — три стражника из унгерновской охраны.

— Ты зря на меня сердишься, Мунго. В Урге Даримы нет, она на севере. На север просто так не попадешь, там кордоны. Мне сдается, что тот офицер интернирован красными… Сдался в плен русским. Самому, по своей воле, туда не пробиться. С посланием от императора ты войдешь туда как хозяин.

Мунго прерывисто вздохнул:

— Я иногда себя бить по голове начинаю, когда верить перестаю. Бью, бью себя кулаками — тогда проходит.

— Когда кончится война, тебе, знаешь что нуж-

но будет делать? Читать учиться.

— Зачем? От книжек люди лысеют, зубы шатаются.

Едут по степи два всадника. Громадная луна висит в небе, и необозримая тишина кругом.

Сомов и Мунго подъехали к юрте того самого старика, у которого Мунго познакомился с Вандановым. Они вошли в юрту, и старик бросился к Мунго со слезами:

— Мунго, Мунго, бог тебя привел ко мне. Волки прирезали трех моих коней, я один, Мунго. Стая здесь волков, порежут и баранов, что нам делать тогда?

— Старик, — ответил Мунго, — у меня же времени нет.

— Где? — спросил старика Сомов.

Старик показал рукой на север:

— Там, возле ста деревьев.

Сомов сказал стражникам:

— Вы отдыхайте.

…Раннее утро. Через дубовый лес, который разбросался на вершине гористого холма, несутся на конях Мунго и Сомов. В желтой, красной, синей и зеленой траве мелькают серые волчьи спины. Ударяют тугие выстрелы.

Это Сомов и Мунго бьют с вытянутой руки из

короткоствольных американских карабинов.

Два волка падают. Сомов несется дальше, за остальной стаей, а Мунго делает над каждым стремительный круг и достреливает корчащегося в траве зверя в упор. А после догоняет Сомова, и они дальше гонят трех волков. Снова звучат выстрелы, и один волк падает. Двух волков гонят всё дальше и дальше. Волки уходят по каменистому склону пологой сопки, но полога она только с одной стороны, откуда их гонят в яростном охотничьем запале Сомов и Мунго. Там, куда несутся, отжав назад острые уши, длинные волки, — каменистый обрыв — будто трамплин, и — далеко внизу камни.

Снова гремят выстрелы. Еще один волк падает, а последний, самый большой, видимо вожак стаи, стремительным махом ведет за собой всадников к обрыву. Ахнул волк вниз, на маленькую каменную площадку, затаился, ждет. Сомов поехал направо, чтобы перерезать волку дорогу к спуску в равнину.

А Мунго, распластавшись на коне, — за ним, за волком. В самое последнее мгновение увидел он волчью ловушку — откинулся в седле назад, вырвал ногу из стремени, попытался было осадить коня — куда там, рухнул конь в пропасть,

на камни. Мунго полетел следом за ним, только в самый последний миг ухватился руками за выступ каменной площадки. Прервалось дыхание. Смотрит на волка, волк — на него. Уши прижал, крадется по камню, щерится, будто кошка.

Сомов не заметил, как пропал Мунго. Только-только он видел его наверху, на гребне сопки, а сейчас нету.

— Мунго! — крикнул он.

Молчание. Тихо. Только ветер вокруг просвистит, и снова молчание.

— Мунго!

Сомов пустил коня вверх, к тому месту, где только что был Мунго. Откуда-то снизу вдруг он услыхал волчий нутряной быстрый лай и хрипение человека.

Сомов соскочил с коня, бросился к краю сопки, заглянул вниз. Метрах в двух под ним, уцепившись одной рукой за край каменистой площадки, висит Мунго — вот-вот сорвется. В другой руке нож — отмахивается от волка, который рвет его грудь, тянется к шее, царапает острыми когтями руку.

Сомов ложится на край обрыва, выцеливает из маузера волка и всаживает в него несколько пуль. Волк, обмякнув, распластывается неподвижно на

каменистой площадке.

Мунго поднимает голову вверх, лицо у него мучнисто-белое. Шея расцарапана в кровь, руки изодраны. Сомов бросает ему кушак, а Мунго не в силах взять его. Тогда Сомов осторожно сползает вниз.

— Не надо, — хрипит Мунго, — зачем двоим погибать.

Сомов спускается все ниже по отвесной каменной стене, срывает ногти, судорожно ищет опору. Опоры нет. Тогда, повиснув в воздухе, он зажмуривается и, раскачавшись так, чтобы попасть на каменный выступ, прыгает вниз. Попал он на площадку. На какое-то мгновение кажется, что не устоит — так он балансирует руками, корпусом, нависнув над пропастью. Устоял. Вытащил на каменную площадку Мунго, судорожно выдохнул, засмеялся, поглядел вниз. Прижал Мунго к камням, вытер платком лицо. Мунго с трудом расцепил зубы, сказал:

— Теперь я тебе жизнью должен на всю жизнь.

Громадная равнина, далеко впереди, и то если смотреть в бинокль, виден кордон красных монголов.

— Ну, Мунго, — говорит Сомов, — давай, и сделай все так, как я тебя просил.

Они обнимаются, и Мунго уносится вперед. А Сомов в сопровождении стражников из личной охраны Унгерна возвращается назад, к Урге.

СЕВЕР МОНГОЛИИ. Революционная Кяхта — центр красного монгольского правительства.

Мунго в сопровождении трех монгольских красноармейцев с красными звездами на шапках идет по Кяхте, ведет за собой двух коней.

Возле кузни — табун кавалерийских коней. Два громадных, в одних шароварах кузнеца подковывают коней. Им помогает Сухэ Батор, оглядывает лошадей, пробует мышцы, смотрит зубы, без кавалерии в степной войне погибнешь.

Один из красноармейцев проводит Мунго через табун и окликает:

— Сухэ Батор, тебе привезли письмо из Урги.

Сухэ Батор оглянулся, увидел Мунго, улыбнулся ему:

— А, здравствуй, старый знакомый. Здравствуй, Мунго.

— Здравствуй, — ответил Мунго.

— Ты ко мне?

— Нет, я к Сухэ Батору с письмом от императора.

— Ну я и есть Сухэ Батор.

— Нет, ты не тот Сухэ Батор, ты просто Сухэ

Батор, а мне нужен Сухэ Батор — вождь красных монголов.

Сухэ Батор усмехнулся:

— Вождь, говоришь?

Смеются красноармейцы. Недоуменно смотрит на них Мунго — в своем командирском наряде с перьями на шапке, в цветном халате, с большим орденом на груди.

— Ну, давай твое письмо.

— Я отдам тебе коня, Сухэ Батор, — сказал Мунго, — я подарю тебе два тугрика за твою доброту, Сухэ Батор, но письмо императора я должен дать в руки вождю Сухэ Батору, а не просто Сухэ Батору — монголу.

Сухэ Батор кивнул:

— Ну, пошли.

И пошли по Кяхте Мунго и Сухэ Батор — в красной рубашке одет, как все, скромно одет, а Мунго разряжен, идет — перья на его шапке раскачиваются в такт шагам. Свернул Сухэ Батор к маленькому домику, у входа — двое охранников взяли под козырек, пропустили Сухэ Батора.

Мунго остановился, будто споткнулся. Он увидел, как Сухэ Батор надел халат с большим орденом Красного Знамени на груди. Мунго опустился на колени и пополз к Сухэ Батору, кла-

няясь ему и прикасаясь лицом к земле.

Сухэ Батор смеется.

— Знаешь, — говорит он, — когда перед вождем революции падают на колени, это значит, революция кончилась. Ну-ка встань, давай сюда бумагу и садись в кресло — в мягкое.

Он прочитывает послание Богдо Гэгэна и спрашивает Мунго:

— Ты знаешь, что в этом письме?

— Нет.

— Прочти.

— Я не умею.

— Они меня приглашают к себе в гости как брата.

— Не может быть.

— Почему?

— Они убьют тебя. Они твое чучело на улицах колют.

— Ну так что же мне делать — идти или нет?

— Не ходи.

— Как же это так получается: ты у них служишь, их письмо мне привез, а идти не советуешь?

— Я кому угодно служить буду, хоть дьяволу, только бы мне найти Дариму, — тихо, с болью сказал Мунго и виновато улыбнулся Сухэ Батору.

ПОЗДНЯЯ НОЧЬ. Пограничный пункт между

РСФСР и красной Монголией, который проходит через Кяхту.

Мунго подходит к русским пограничникам и говорит:

— Мне нужен командир погранотряда.

Молоденький красноармеец говорит:

— Мы все тут командиры. Чего тебе?

— Мне надо пройти к часовщику, который ремонтирует будильники с английским боем «бам, бим, бом».

Молоденький пограничник смеется:

— Ты в Лондон езжай, милок, в Лондон.

Но старший по караулу командир, услыхав пароль Мунго, говорит:

— Пойдем.

Он ведет Мунго по ночным улицам, оглядываясь, нет ли кого следом. Подходит к маленькому домику, звонит условным звонком в дверь. Дверь открывает пожилой мужчина в полувоенной форме без знаков отличия. Командир пограничников говорит:

— Товарищ к вам, просит отремонтировать часы с английским боем.

— Прошу вас, — говорит человек, впуская Мунго. Мунго входит в маленький, плохо освещенный кабинет — мягкая плюшевая мебель,

голые стены, только маленький портрет Фридриха Энгельса в простенке между окнами.

Мунго передает часовщику старомодную серебряную луковицу.

— Сказали, что вы в них разбираетесь.

Часовщик внимательно посмотрел на Мунго, кивнул головой, взял часы, пошел в другую комнату, бросив на ходу:

— Пожалуйста, отдохните здесь.

Во второй комнате шифровальный аппарат, радиостанция. Это отделение ЧК на границе с Монголией.

Часовщик разбирает серебряные часы. В них шелковка. Часовщик говорит шифровальщикам:

— Это от товарища 974, его пароль.

Шифровальщик берет шелковку, начинает читать:

«Первое. Как я уже сообщал через парижского Простынкина, Унгерн скрывает от всех план выступления. Поэтому я вынужден был внедряться в работу более тщательно и затяжно. Армия Унгерна оснащена первоклассным оружием, мощна и мобильна. В ближайшие дни Унгерн выезжает в Харбин на совещание по координации совместного выступления белогвардейцев вдоль всех восточных границ республики.

После того как совещание окончится, я постараюсь вернуться к вам вместе с планом — иначе моя миссия бесполезна.

Второе. Товарищу Сухэ Батору ехать на переговоры с императором ни в коем случае нельзя, это ловушка.

Третье. По предварительным данным, выступление Унгерна нужно ожидать в течение ближайшего месяца. Направление главного удара выяснить не удалось, ради этого остаюсь здесь.

Четвертое. По возможности окажите помощь человеку, который передаст вам эти часы. В лагере интернированных гаминов у офицера, которому принадлежит машина под номером Л-293, — невеста Мунго. Крайне важно помочь этому человеку.

974».

Часовщик потер переносье, попросил шифровальщика:

— Пожалуйста:

«Из Парижа через Харбин к Унгерну выехал генерал Балакирев — непосредственный начальник Сомова по координационному центру. Видимо, в ближайшие дни он появится в Урге. Вам необходимо закончить операцию в течение ближайших пяти-шести дней. Мы со своей стороны примем

все меры, чтобы не дать возможности Балакиреву поехать в Ургу из Харбина вместе с Унгерном. Желаем удачи».

И прячет шифровку в часы Сомова.

ЛАГЕРЬ ИНТЕРНИРОВАННЫХ ГАМИНОВ. Это целая улица палаток, разбросавшихся вдоль шоссейной дороги. В темноте солдаты грузят в повозки тюки с вещами. Русский возница наблюдает за погрузкой. Возле него пожилой китайский офицер.

— Эти повозки довезут нас только до границы? — спрашивает он русского.

— Да. Как только вы покинете нашу территорию и перестанете быть интернированными, наши повозки вернутся, — сердито ответил тот.

— А вы что сердитесь? Мы ж пока еще не воюем с вами.

— И не советую, — отвечает русский.

В одной из палаток горит яркий свет: шесть свечей установлены в красивом резном подсвечнике, их тени слабо мерцают сквозь зеленое полотно палатки.

Мунго ползет между палатками, замирая возле каждой, прислушиваясь к тому, что там происходит. Он подползает к той палатке, что освещена изнутри шестью свечами. Слышит голоса, доно-

сящиеся оттуда, вжимается в землю, медленным, кошачьим движением достает из деревянных ножен длинный кинжал, перерезает веревки, крепящие основание палатки к колышкам, врытым в землю.

А в палатке тем временем, на маленькой тахте, — Дарима и офицер. Он подвигается еще ближе к Дариме, обнимает ее, опрокидывает, ищет губами ее рот. И вдруг — какая-то сила поднимает офицера.

Это Мунго поднимает его с земли, бьет по лицу, швыряет в угол палатки.

Офицер скребет ногтями кобуру.

Мунго кричит:

— Дарима! Там кони! Беги!

Девушка выскакивает из палатки, Мунго кидается на офицера, и начинается яростная мужская драка. Свернул Мунго руки офицеру, поднял его, отвел к пологу, приблизил его лицо к своему, долго смотрел на него молча, а потом бросил офицера на столбик, стоявший посреди палатки, — на нем держалось полотно палатки. Успел выскочить Мунго, а палатка обрушилась на офицера, тот, вереща что-то, метался под полотном, стараясь выбраться, а Мунго и Дарима на всем ходу перемахивают через колючую проволоку — и вот

уже в Монголии они проносятся через спящую монгольскую Кяхту и скрываются в перелесках.

— …Мы заявляем решительный протест — бандиты похитили из палатки майора девушку, дайте нам возможность немедленно связаться с Харбином.

— Хорошо. Я доложу своему начальству. Пойдемте.

Кричит офицер-гамин, машет кулаками — и все трое скрываются в темноте.

Ночь. Но уже в том, как зыбок свет луны и как по-окаянному ярки звезды, видится приближающееся утро. Мунго и Дарима едут медленно. Им навстречу попался чей-то громадный табун, и они протискиваются сквозь сотню лошадей. И лошади провожают громадными своими синими глазами Мунго и Дариму.

ХАРБИН. Город в эти дни жил какой-то особой нервической жизнью. По всему чувствовалось — быть большим событиям. Шифровальщики в русском посольстве приняли совершенно секретные депеши государственной важности из Парижа, Лондона, Токио. Антанта не только одобрила план выступления всех белых сил на Востоке, но и обещала самую широкую помощь оружием, деньгами, людскими ресурсами. Через

дипломатические каналы Генеральные штабы Японии, Франции и Англии оказали давление на штаб китайского генерала Чжан Цзо Лина с тем, чтобы китайская военщина, правильно поняв действия барона Унгерна, не только не чинила никаких препятствий в борьбе белых сил против ленинской России, но, наоборот, оказывала самую полную, самую дружескую и самую серьезную поддержку белой контрреволюции.

В это утро один за другим к зданию русского посольства подъезжали автомобили, хроникеры делали фотографии атамана Семенова, барона Унгерна, генералов Бакича, Резухина, Балакирева, который только вчера прибыл из Парижа с совершенно секретным посланием и французского Генерального штаба, и русского эмигрантского центра во Франции.

Подъезжали машины с дипломатическим штандартом Японии, Франции, Англии. Бравые казаки у распахнутых дверей посольства, вытянувшись в струнку, поедали глазами и свое и иноземное начальство, провожали всех в большой мраморный зал.

Быстрые рукопожатия, улыбки, переброс ничего не значащими репликами, колючие настороженные взгляды, снова улыбки.

Председательское место занимает Унгерн. Поднимается, картинно замирает в молчании, потом начинает негромко, но очень весомо и жестко излагать свою программу.

— Мы достаточно долго жили эмоциями в восемнадцатом голу. Сейчас двадцать первый. У нас остался последний шанс, поскольку Ленин альтернативой голоду и разрухе выдвинул свою новую экономическую политику. НЭП — главная угроза патриотическому Белому движению. Следовательно, мы имеем сейчас последний шанс, и мы должны его использовать. Господа, желтый цвет, помноженный на белый, дает благородный колер слоновой кости. Теперь, когда план нашего совместного выступления утвержден, когда господа Бакич, Резухин и Семенов разъезжаются по своим частям, стянутым к красным границам, мы должны еще раз со всей определенностью поблагодарить наших азиатских коллег за помощь, оказанную нам в первый период. Мне нет нужды еще раз объяснять нашим братьям — гаминам, что принятая мною тактика панмонголизма не что иное, как разменная тактика, подчиненная основной стратегической идее, и вопрос обычных в такой операции человеческих жертв.

Китайский генерал поднялся и сказал:

— Для нас вопрос человеческих жертв вторичен, как все материальное, ибо для нас вопрос вопросов — это торжество идеи в борьбе против красной заразы. Во имя этого мы готовы на любые жертвы.

Генерал садится. Все аплодируют ему.

— Итак, господа, — говорит Унгерн, — я говорю вам: пора.

Снова все аплодируют. Потом переходят в соседний зал, где столы накрыты а-ля фуршет.

К Унгерну подходит генерал Балакирев.

— Мой дорогой Балакирев, — говорит ему Унгерн, — должен сказать вам, что полковник Сомов произвел на меня самое приятное впечатление. Он солдат. Поначалу, не скрою, я отнесся к нему с известной долей скептицизма. — Унгерн оскалился и закончил: — Как, впрочем, и к вам. Вы едете сегодня со мной?

— К сожалению, барон, в посольстве мне сказали, что послезавтра придет шифровка из Парижа, я вынужден задержаться на два дня.

— Не опоздайте, генерал, на скрижали заносят тех, кто начинает, а не заканчивает.

Балакирев тонко улыбнулся:

— Из всякого правила бывают исключения, барон.

Отошел к столику, положил себе на тарелочку ветчины, сухого сыра.

В это время к Унгерну приблизился генерал гаминов и сказал:

— Барон, у меня к вам личная просьба: в Кяхте, в лагере для интернированных наших войск, ваш эмиссар по имени Мунго похитил приятельницу моего сына.

Унгерн пожал плечами:

— Генерал, вы имеете в виду красных монголов или красных русских?

— Я имел в виду красных русских, только там есть наши интернированные части.

— Генерал, вы ошибаетесь. Я не посылал к красным русским своих эмиссаров. Мой эмиссар Мунго был только у красных монголов. Опять-таки тактика, тактика и еще раз тактика.

Лицо генерала стало непроницаемым, и он сказал:

— Барон, расследование, проведенное моими людьми, исключает ошибку.

— В таком случае я обещаю вам сразу по прибытии немедленно заняться этим вопросом. Для меня это такая же неожиданность, как и для вас.

Поздняя ночь. К Урге подъезжает Мунго. Крадется по улицам, минуя заставы.

Подъезжает к дому Сомова. Тихонько стучит кнутовищем в окно. В окне — испуганное лицо Вари.

— Сомов дома? — спрашивает Мунго.

Варя скрывается. Через мгновение распахивается дверь. На пороге стоит Сомов. Он улыбается, говорит Мунго:

— Заходи.

Та же ночь. Кабинет Унгерна. Сейчас здесь Унгерн и Ванданов. Унгерн оживленно снимает с себя дорожный френч, надевает просторную рубаху и говорит Ванданову:

— Ну что ж, вроде бы все хорошо, все хорошо. Все готовы, вот-вот выступим. Теперь так: что-то непонятно с этим вашим народным героем, кретином с перьями.

— Мунго, что ли? — говорит Ванданов.

— Да, с ним. Понимаешь, он был у красных. А если он был у красных, если его столько времени нет обратно, то я от этого ничего хорошего не жду. Посему…

Унгерн задумался, закурил трубочку, хмыкнул:

— Помнишь, я тебе говорил про кроссворды? Так вот, представь себе, что дней эдак через пять, в ночь перед наступлением на Россию, глашатаи всей Монголии сообщают народу, что от руки

Сухэ Батора пал народный герой Хатан Батор Максаржав.

— Это как?

— Хитер, хитер, а дурак. Где же азиатская сердцевина твоя? У русского ум, у азиата — коварство. Ну, думай, думай, тренируй извилины… Не понял?

Ванданов отрицательно покачал головой. Унгерн остановился перед ним и сказал:

— Так вот что. Сейчас я еду к императору. Ты готовь коней. Завтра утром, самое позднее — ночью, поедешь с новым главкомом Северной армией Хатан Батором к передовым красным позициям.

— Так он же еще пока…

— Будет главкомом, а ты — его заместителем. Пришлю тебе записочку: «Убирайся дома, пора ждать гостей». Это сигнал. Записку сожжешь. Максаржава хлопнешь, забьешь тревогу — мол, красные здесь были, от Сухэ Батора.

— Понял я, — сказал Ванданов, — понял.

— Ну и слава богу.

— Ух и хитер ты, барон. А меня следом за Хатан Батором не отправишь?

— Запомни: только тех помощников убирают с пути, которые умны, во-первых, и пользуются

любовью народа, во-вторых.

Унгерн снова улыбнулся непонятно:

— Не обижайся, ты у меня умен, умен, а вот с народной любовью туго — сатрапов-то не любят. Ничего, ничего, погоди, придет время, с тебя для Софийского храма икону прикажу написать. Ну, давай с Богом, собирайся.

КВАРТИРА СОМОВА. Мунго сидит в гостиной, а в маленькой комнатке Сомов сжигает на огне керосиновой лампы шелковку, прячет в карман часы — те, что вернул ему Мунго.

— Варя, — говорит он, — сегодня ночью уходит караван в Харбин. Вы сейчас уедете туда. Здесь вам оставаться больше нельзя ни часу.

Варя отрицательно качает головой. Сомов говорит ей:

— Вам не хочется ехать в Харбин?

Варя снова отрицательно качает головой.

— Вам хочется ехать в Москву?

Варя качает головой.

— В Париж?

— Нет.

— Полноте, — говорит Сомов Вареньке. — Полноте.

Он достает из кармана деньги, оставляет себе немного, остальную пачку протягивает жен-

щине:

— Этого вам хватит для начала. А если защемит и станет очень плохо, в Париже найдете наших торговых представителей и скажете им, что муж ваш Сомов, что он сейчас в Москве и что вы просите дать вам возможность увидеть его. И вам эту возможность дадут. Во всяком случае, если я доберусь до наших.

— А если не доберетесь?

— Вы знаете, я почему-то очень верю, что нужно требовательно, настойчиво в самом себе сохранять, как в Бога, верование в дело. И я считаю, что дело — мы, знаете, затаскали это слово, — дело, это обязательно удача.

— Я как кошка, — говорит Варя, — только мурлыкать еще не начала, боялась все. Как кошка.

Она вздыхает, поднимается, застегивает чемодан.

— На сентиментальность тянет. А раньше была груба ужасно. Дай вам Бог. Я даже не знаю, как зовут вас. И тем не менее — спасибо вам.

Сомов, Мунго и Варя идут по ночной Урге. Они подходят к тому месту, где гортанно кричат караванщики, собираясь в обратный путь на Харбин. Сомов подходит к хозяину каравана, который едет в большом крытом экипаже, и говорит ему:

— Эту даму в Харбине отвезешь в самый центр, к Дзянь Сюа.

Он протягивает караванщику деньги, кладет в экипаж чемодан Вари.

Варя смотрит на него, спрашивает:

— Может быть, вы хотите, чтобы я еще немножко притворилась — ваша жена, уезжаю — плакать надо, целовать. Я могу.

Сомов сильно сжимает ее руку, подводит к экипажу. Помогает сесть.

Караванщик кричит что-то протяжное. Варя высовывается в окошко экипажа, шепчет:

— Спасибо, Сомов, спасибо.

Экипаж трогается с места, скрывается в ночи.

Сомов обернулся к Мунго:

— Тебе в городе оставаться нельзя, сегодня до утра надо уходить. Еще час или два. Пошли к доктору.

Возле дома доктора Сомов попросил Мунго задержаться, а сам вошел в квартиру к Бауриху.

Доктор спал тревожным сном пьяного человека, сжавшись в комочек на широкой тахте. Сомов тронул его за руку. Доктор ошалело завертел головой.

— Кто? Что? Зачем?

— Это я. Док, вы можете послушать меня?

— Не совсем. Голова трещит чудовищно. Дайте-ка мне, милый, скляночку, там спиритус вини ректификатум.

Сомов принес доктору склянку со спиртом, Баурих налил спирт в стакан, выпил, завертел головой, засопел носом.

— Знаете, — сказал он, — если бы на земле не было той сволочи, которая выдумала, как можно из хлеба или сахара гнать спирт, то мир был бы спасен от войн и революций.

— Послушайте, док, — сказал Сомов, — в сейфе у барона, как я узнал сегодня точно, лежат страшные документы о моей жене. Ее трагедия стала достоянием гласности. Вы знали Варю раньше. Только вы можете мне помочь достать все это из сейфа Унгерна.

— Полковник сошел с ума?

— Полковник в своем уме.

— Вы знаете мое отношение к этому истерику, Сомов, но как я смогу помочь вам?

— Очень просто. В какое время вы его колете?

— Четыре раза в день.

— Вечером? Ночью? Утром?

Доктор посмотрел на часы.

— Черт возьми, сколько сейчас по вашим? Эти стоят.

— Сейчас три.

— Он просыпается в пять утра. В пять я его колю, и он начинает работать.

— Ясно. Так вот, вместо наркотика вы ему вкатите снотворное. И все. Только окно перед уходом отворите — то, что во двор выходит.

— Сомов, вы верите в сны?

— Верю.

— Мне снилось, будто черные быки наперегонки по полю гоняют, а поле выложено Врубелем — демоны лежат, руки по-бабьи запрокинули, а лица их все мелком крест-накрест перечеркнуты. К чему это, а?

— В бридж сегодня не играйте, просадите все.

— Когда вы хотите все это делать?

— Сегодня…

Та же ночь, только звезды ярче блещут — дело идет к утру. На приступке домика Унгерна дремлет казак. Он вытягивается по стойке «смирно», когда из дома выходит доктор с маленьким чемоданчиком под мышкой. Провожает доктора глазами, пока тот не скрывается в темноте. Снова садится, тяжело борется с дремотой.

Прокричал петух, второй, третий. Пролаяли собаки, и снова тихо.

К заборчику, окружающему внутренний двор

дома Унгерна, подкрадывались две тени.

Это Сомов и Мунго. Сомов перемахивает через забор и ждет мгновение. Потом быстро подходит к окну, бесшумно подтягивается на руках, залезает в комнату.

Унгерн во сне говорит какие-то жаркие, быстрые слова. Сомов осторожно подходит к его одежде, быстро ощупывает карманы, достает связку ключей, подходит к сейфу, отпирает его, достает бумаги, карты, документы. Отходит к столу, на который падает белый лунный свет, открывает папку с грифом «Святая святых», и чуть ниже — «План кампании». В папке — карты с направлением главного удара. И Сомов быстро перерисовывает план. Листает дальше.

На белом листе бумаги донесение:

«Сроки выступления Бакича, Резвухина и Семенова будут переданы послезавтра курьерами. Посол в Пекине Киселев».

Сомов чуть слышно ругается, захлопывает папку, открывает следующую. Там письмо, отстуканное на машинке:

«Бакичу, Семенову и Резвухину. В ближайшие дни будет уничтожен “красными агентами” Хатан Батор Максаржав, что послужит для монгольских частей сигналом к мести. Сроки

выступления будем ориентировать, подгоняясь к этому дню».

Сомов изумленно прочитывает документ еще раз. Потом прячет все это в сейф, подходит к окну. Видит, как казак, только что дремавший, сейчас, позевывая, прохаживается по двору взад-вперед. Сомов замер у окна, спрятавшись за занавеску. Ждет.

По-прежнему бредит во сне Унгерн — то шепчет что-то, то жалобно стонет, то закричит вдруг.

Сомов ждет, пока казак отходит в ту сторону, где притаился Мунго, появляется в лунном пролете окна и делает Мунго знак.

Казак поворачивается, чтобы отойти, но в то же мгновение Мунго каким-то акробатическим кошачьим движением перемахивает через забор, и казак плюхается лицом вниз, даже слова не вымолвив.

В те дни в Москве, в Российском телеграфном агентстве — РОСТА, — не спали до утра. В Кремле Ленин несколько раз принимал делегацию красной Монголии. Советники Чичерина в Наркоминделе самым тщательным образом выверяли текст коммюнике: опубликование такого коммюнике в газетах, естественно, вызвало бы взрыв во всей мировой империалистической и

эмигрантской белой прессе.

Впервые два руководителя великой и малой страны сидели за столом переговоров, как равный с равным, как братья в великой борьбе за дело освобождения угнетенных. И в Наркоминделе, и в РОСТА, и в Реввоенсовете республики понимали, что опубликование этого сообщения будет как гром среди ясного неба для всех, кто исповедовал право силы.

В эти же дни невидимыми путями пришла в Реввоенсовет республики Склянскому шифровка из Монголии: «Положение крайне напряженное, назревают события громадной важности. Прошу передать главкому 5-й армии Уборевичу и главкому Дальневосточной республики Блюхеру, что в ближайшие дни надо ждать чрезвычайно серьезных военных акций. 974».

В ЮРТУ МАКСАРЖАВА ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ МУНГО. Максаржав в юрте один, молится перед бронзовым изображением Будды.

— Хатан Батор, — шепчет Мунго.

Тот недовольно оборачивается. Видит Мунго, и лицо его добреет. Он поднимается с колен, идет к Мунго, здоровается с ним.

Мунго приложил палец к губам:

— Тише. Твой русский друг, твой красный рус-

ский друг велел передать, запомни его слова: «В тот час, когда тебя назначат главнокомандующим Северной армией и Ванданова — твоим заместителем, не спускай с Ванданова глаз, он враг тебе».

Максаржав снова опустился перед Буддой на колени, начал молиться. Потом, обернувшись, сказал:

— Как там Сухэ Батор?

Мунго пожал плечами. Продолжая молиться, Хатан Батор спросил:

— Что же ты молчишь?

Мунго снова пожал плечами:

— Что мне говорить? Мало не скажешь, много — не сможешь.

— Хочешь чаю?

— Мне надо уходить из города, Максаржав. Я нашел Дариму.

— Счастливого пути тебе.

— Запомни слова нашего друга, Хатан Батор.

Хатан Батор кивнул головой:

— Ладно, я запомню эти слова.

Мунго мягкой тенью выскочил из юрты.

Хатан Батор снова опустился перед Буддой на колени и стал жарко шептать:

— Пошли спокойствие моему народу, всемогу-

щий, пошли мир монголам.

Хатан Батор поднялся с колен, вышел из юрты. Медленно светало.

Во двор к Хатан Батору въехал на взмыленном коне Ванданов с пятью охранниками, он соскочил с коня, поклонился Хатан Батору и протянул ему свиток.

— От императора, — сказал он.

— Что это? — спросил Максаржав.

— Приказ о твоем назначении Верховным главнокомандующим Северной группой войск.

— А кто поедет со мной туда?

— Твоим заместителем назначен я, твой друг и раб.

— Когда нужно ехать?

— Сейчас. Кони ждут.

КОРИДОР ШТАБА УНГЕРНА ПРОНИЗАН СОЛНЦЕМ. Раскланиваясь со встречающимися офицерами, по коридору идет Сомов. Он спрашивает одного из штабистов:

— Что у вас здесь, как на Пасху, не протолкнешься?

— Пришло несколько машин из Пекина.

— А генерал Балакирев разве не приехал?

— Нет, он на легковой, видимо, — послезавтра.

— А Унгерн один? Он меня что-то вызывал?

— Да, барон один.

Сомов входит к Унгерну.

— Ваше превосходительство, вы просили меня?

Унгерн потер руку, сказал:

— Просил. Собственно, вызывал. Но не будем субординаторами — просил, Сомов, просил. Хорошие вести из Харбина. Прекрасные вести из Парижа. Запад зашевелился. Надолго ли хватит? Но тем не менее. Так вот, милейший, Ванданов у меня умница и душенька, но в военном деле он понимает столько же, сколько я в прободении кишечника. Вот вам письмецо к Ванданову, передайте ему, и, если по обстановке, которую вы сможете оценить без особого труда, придется командовать Северной группой войск, вы будете ею командовать.

— Но ведь там Максаржав.

— Арта эла герра, дес де фуэра — всякое может быть.

Унгерн протянул Сомову запечатанный сургучом конверт. Тот спрятал его в нагрудный карман, козырнул и вышел.

КВАРТИРА СОМОВА. Сомов, взломав сургучную печать, вскрыл конверт, читает письмо:

«Двадцать пятого убирайся в доме, пора ждать

гостей. В тот же день начинай».

Сомов быстро глянул на календарь. На листке была выведена цифра — 19. Сомов хлопнул рука об руку:

— Теперь можно уходить, порядок!

Он быстро сжигает бумаги, просматривает свои вещи — не оставить бы чего в карманах, сует в задний карман брюк плоский пистолет, в подсумок кладет несколько гранат и выходит.

Во дворе он отвязывает от коновязи коня, вскакивает в седло и пускает коня по улицам.

Он видит, как в Ургу вступают запыленные части казачьих войск. Он видит, как тянется по улицам артиллерия, и медленно едет навстречу этим колоннам войск.

На борту одной из тачанок написано: «Даешь Иркутск!»

Сомов едет неторопливо, чуть улыбаясь.

Проезжает мимо штаба и не замечает, что у подъезда стоит запыленный открытый «линкольн». Из ворот штаба выскакивает дежурный офицер и кричит:

— Господин полковник, барон вас обыскался…

— В чем дело? Я сейчас занят, позже можно?

— Барон очень просил, на две минуты.

Сомов спрыгнул с седла, привязал коней и по-

шел через большой мощеный двор к штабу.

А в кабинете Унгерна в большом кресле сидит генерал Балакирев. Унгерн кивает на мощеный двор, через который идет Сомов, и говорит:

— Ну вот, порадуйтесь, — ваш любимец.

Балакирев смотрит во двор, равнодушно оглядывает Сомова и спрашивает:

— Кто это?

— То есть — как кто? Полковник Сомов.

— В таком случае вы — Александр Федорович Керенский, — сказал Балакирев.

Унгерн даже обмяк в кресле. Потом открыл ящик стола, вытащил пистолет, спрятал под папку с бумагами.

— Не называйте свою фамилию, — быстро проговорил Унгерн, — я вас представлю как генерала Кудиярова из Владивостока.

Входит Сомов, кланяется Унгерну, кланяется генералу.

— Прошу вас, полковник, знакомьтесь — генерал Кудияров из Владивостока.

— Сомов.

— Очень приятно.

— Садитесь, батенька, — кивает Унгерн на кресло.

Сомов садится в кресло, закидывает нога на

ногу, любезно улыбаясь, спрашивает:

— Барон, вы требовали меня к себе, я пришел.

— Скажите, пожалуйста, полковник, — говорит Унгерн, — вам с генералом Балакиревым не приходилось встречаться? Он на днях должен сюда прибыть.

— Генерал Балакирев — мой непосредственный начальник.

— Будьте любезны, полковник, где конверт? Я запамятовал дописать там пару строчек.

Сомов резанул глазами Унгерна и генерала, сидящего напротив. Сработало все — вспомнил портрет Балакирева.

— Пакет дома, ваше превосходительство, — отвечает он, чуть склонив голову. А руки его, незаметно опустившись, открывают дверцы клеток, где сидят орлы. — Я могу съездить за пакетом сию минуту и вернусь.

— Ну полно, что ж вас гонять? Вестовые есть.

И Унгерн, достав из-под папки пистолет, направил его на Сомова.

— Вестовые есть, полковник, — повторил он. — Руки держать на столе! — вдруг визгливо закричал Унгерн. — На столе держать руки!

А в это время громадный орел вырвался из клетки. Затрещали крылья. Отшатнулся Унгерн.

Вскочил с кресла генерал Балакирев.

Второй орел выскочил. Сел на стол, размахивает крыльями. Тонко кричит Унгерн.

Сомов, схватив генерала Балакирева, прикрываясь им, пятится к двери. Грохот выстрела. Орел, обмякнув, падает на стол.

Сомов открывает дверь, швыряет Балакирева перед собой. Генерал падает на пол, Сомов несется по коридору, расталкивает встречных военных.

И возле самой двери, когда, казалось, еще секунда — и Сомов будет на свободе, какой-то маленький офицерик вытянул мысок, Сомов споткнулся и растянулся на полу. На него бросились сразу несколько человек, скрутили руки, подняли — бьют кулаками в лицо, рвут френч, дергают за волосы. Унгерн протолкался сквозь толпу, смотрит, как избивают Сомова, жадно глядит ему в глаза, наблюдает за тем, как ведет себя Сомов.

— Стоп, — медленно говорит он, — побежденный враг уже не враг, отведите его ко мне.

…Унгерн сидит в кресле напротив Сомова. Руки Сомова в наручниках. На столике перед Унгерном зеленый чай. Унгерн наливает чай в маленькие фарфоровые чашки.

— Угощайтесь, — предлагает он Сомову, — чаек отменно хорош.

— Благодарю, — Сомов кивнул на свои связанные руки, — но я пока еще не овладел тайной циркового мастерства.

— Я вас сам угощу, сам…

Унгерн сел на краешек кресла, совсем рядом с Сомовым, поднес к его рту чашечку, подождал, пока Сомов сделал несколько глотков, участливо глядя на него.

— Не горяч?

— Нет… Вполне…

— Как вы нелепо попались-то, а?

— Не говорите…

— Не ждали Балакирева?

— Почему? Ждал…

— Будем в открытую или придумали себе историю?

— А вы как думаете? Мне интересен, в общем-то, ваш опыт. Как бы вы поступили?

— Вы с моим досье знакомы?

— У вас занятное досье. Мы в Берлине им интересовались.

— Хотите выдать себя за агента Берлина? — спросил по-немецки Унгерн.

— А почему бы нет, — тоже по-немецки ответил Сомов. — Почему нет.

— Концы с концами не сходятся. Я не Берлину

интересен, я интересен Москве. Политический деятель интересен только тому, кому он угрожает. Еще чаю?

— С удовольствием.

— Прошу вас. Выпейте, а я буду говорить. Хорошо? Так вот, милейший мой, спасти вас может только одно: ваша работа как двойного агента.

— Я в эти игры не играю, барон.

— Салтыкова-Щедрина знаете?

— Я его люблю.

— Так вот, по Салтыкову — русский народ все сожрет, только б не на лопате… Ради идеи можно погибать, но во имя этого народа, право, смешно. Я обращаюсь к вашему разуму интеллигента. Чем страшнее народ, тем тоньше интеллигенция в этом народе. Правда за мной, дружище, правда за моей позицией: поверьте, это выстрадано. Я сделаю страну, в которой миллион элиты будет подтвержден ста миллионами концлагерных рабочих. И этот миллион элиты принесет в мир новый Рим и новые Афины, новое Возрождение, новый Ренессанс. Я отдам часть будущего сияния, которым благородный мир окружит мою элиту тем, кто подтверждал работу мысли работой рук в концентрационных лагерях. Следовательно, вся нация будет осиянна, вся. Это моя мечта,

я живу мечтой, но не честолюбием. А долг интеллигента — поддержать мечтателя. Ну как? А в довершение ко всему вы храбрый солдат, я ценю храбрость в интеллигенте, это редчайшее качество. Поэтому я предлагаю вам должность начальника моей политической разведки.

— Заманчиво.

— Согласны?

— А почему бы нет?

— Сейчас я вызову стенографиста, и вы продиктуете ему все про ваших прежних руководителей и расскажете про вашу работу здесь. Да?

Сомов отрицательно покачал головой, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза:

— Скорее кончайте, барон. Я здесь был один, так что надеяться мне не на что. Кончайте поджентльменски, без зверства.

— Я вас пальцем не трону. Но с природой я не в силах состязаться. Подойдите к окну, пожалуйста.

Сомов и Унгерн подошли к окну, Унгерн взял бинокль, приладил его, приложил к глазам Сомова.

— Нет, нет, правее смотрите. Это крыша тюрьмы.

И Сомов увидел окровавленные лица людей,

потрескавшиеся губы, вывалившиеся языки, волдыри на голых телах.

— Сорок три градуса показывает термометр, а на солнцепеке будет пятьдесят пять. Континентальный климат. А? Что делать, дружище? Будете диктовать здесь, или придется подумать под солнцем. А?

Едет по дороге все выше и выше в горы Мунго. Останавливается, оглядывается на город, поднимает к глазам бинокль, смотрит ургинские улицы, задерживается на штабе, видит большой «линкольн» возле подъезда, потом переводит бинокль дальше и охает: прямо перед ним окровавленное лицо Сомова на крыше тюрьмы.

Мунго, надвинув на глаза лисью шапку, подъехал к «линкольну», подошел к шоферу и сказал:

— Друг, у меня две девочки есть… Съездим… Тут рядом…

— Давай, давай отматывай отсюда, — лениво ответил шофер, разморенный жарой.

— Одна блондинка, другая черненькая, — продолжает Мунго, осторожно присаживаясь рядом с шофером.

Тот свирепо глянул на Мунго и осекся: в ребра ему уперся маузер.

— Пристрелю, — сказал Мунго шепотом. — Буд-

дой клянусь! Езжай.

Шофер включил мотор, тронул машину. Мунго свистнул коню, тот побежал следом.

Несется «линкольн» к тюрьме, навстречу машине выскакивают стражники, на всем ходу «линкольн» врезается в толпу стражников. Мунго палит в остальных, которые в ужасе разбегаются, машина тормозит возле стены, Мунго кричит:

— Прыгай, Сомов, прыгай вниз!

А Сомов лежит, обгоревший, и медленно ползет к краю крыши — еле-еле двигается, а уж стреляют где-то, визжат казаки, слышно конское ржанье.

— Ну! — кричит Мунго. — Скорей, Сомов!

Он успел заметить, как шофер тянется к ручке, чтобы выпрыгнуть из машины. Мунго ударяет шофера рукоятью маузера, кричит:

— Пристрелю! Сидеть!

Подполз к краю крыши Сомов, и здесь силы оставили его, Мунго подтянулся к нему, ухватил его за шею, Сомов громко застонал. Мунго сбросил его в машину, крикнул:

— Гони!

И начинается погоня казаков за машиной. Мунго отстреливается.

Сомов почти без сознания лежит на заднем сиденье. И вдруг машина начинает выделы-

вать восьмерки — вот-вот перевернется. Мунго оборачивается к шоферу, а тот лежит на руле с простреленной головой.

— Сомов! — кричит Мунго. — Сомов! Его убили, Сомов!

Машину разворачивает и несет обратно на преследователей.

— Сомов! Сомов!

— Помоги мне, — хрипит Сомов.

И Мунго перетаскивает его на переднее сиденье. Сомов берется за руль распухшими, обожженными пальцами, плачет от боли, матерится, шепчет что-то окровавленными губами, а Мунго стоит рядом с ним, широко расставив ноги, и выборочно стреляет в преследователей.

Отстает постепенно погоня. Несется вперед машина. Кипит вода в радиаторе.

ЮРТА СТАРИКА, У КОТОРОГО ОСТАЛАСЬ ДАРИМА. Хлещет яростный дождь. Грохочет гром. Зеленые молнии высвечивают низкое небо, затянутое причудливыми белыми тучами.

Мунго вносит в юрту Сомова, кладет его на кошму, говорит:

— Старик, молись за него. Дарима, вари травы дамбасу. Он обожжен до костей.

— Мунго, — тихо говорит Сомов, — возвращай-

ся поближе к Урге. Будь тенью Унгерна. Ходи по ночам следом за ним, не отставай от их армии, все время иди следом верстах в трех — пяти, чтоб тебя могли найти мои люди, если понадобишься. Ты отвечаешь за Унгерна, он нужен нам… Дарима, ну-ка покажись мне, — вдруг мягко улыбнулся Сомов.

Девушка смущенно закрылась рукавом. Сомов закрыл глаза, вздохнул и прошептал:

— Пусть старик помолится, чтобы завтра утром я смог встать…

Мунго отвел Дариму к котлу, в котором кипели травы, и, прислушиваясь к медленному песнопению старика, стоявшего перед трехглазым Буддой, говорил невесте:

— Дарима, старик даст коней, ты должна завтра отвезти Сомова к Хатан Батору Максаржаву, он возле Кобдо. Ты знаешь дорогу туда. Мимо синей реки. Там вы смените коней в юрте у Дугаржава. Потом пойдешь дальше, через Рысью падь, и там сменишь коней, в юрте Ценде. Потом вы пройдете еще полночи и смените коней у охотника Цевена. Ты запомнила, Дарима?

— Я запомнила, Мунго.

А Мунго вышел из юрты, исчез в кромешной темноте…

ЛАГЕРЬ СЕВЕРНЫХ ВОЙСК. Хлещет дождь, заливает лагерь. Запали щеки у Сомова, заострился нос, на лбу шрамы от ожогов. Он обнимает Дариму, говорит ей:

— Девочка, спасибо тебе. Возвращайся к Мунго, скажи ему: за ним Унгерн. Он поймет.

Палатка Хатан Батора Максаржава. Хатан Батор спит. В палатку входит Сомов, подбрасывает в очаг аргала. Вспыхнувшее пламя высвечивает его лицо, черные круги под глазами. Он зачерпывает из котла холодного чая, неотрывно выпивает громадную кружку.

Хатан Батор чуть приоткрыл глаза, наблюдает за ним. Лезет под подушку, достает маузер, спускает предохранитель, прячет маузер под одеяло.

Сомов подходит к спящему Максаржаву, садится на табуретку. С его одежды капает вода. Он тихо говорит:

— Хатан Батор, проснись.

Максаржав спрашивает его, не открывая глаз:

— Кто ты?

— Это долго объяснять. Я друг тебе. Я пришел с приветом от Мунго.

— Почему я должен тебе верить? Ты — Сомов, полковник из штаба Унгерна.

— Если бы я был полковником Унгерна, я бы

пришел сначала к Ванданову, а не к тебе. Барон приказал убить тебя завтра утром, двадцать пятого, в месяц большой курицы одиннадцатого года, многими возведенного.

— Почему я должен тебе верить? — снова спросил Максаржав.

— Максаржав, вспомни, что тебе говорил Мунго. Он говорил тебе: «В тот час, когда тебя назначат главнокомандующим Северной армией, а Ванданова твоим заместителем, не спускай с Ванданова глаз, он враг тебе».

Максаржав быстро глянул на Сомова. В лице его что-то дрогнуло, и он улыбнулся:

— Значит, завтра, говоришь? — спросил он.

— Да.

— Ну что ж, если утро должно принадлежать им, то ночь-то ведь наша.

Хатан Батор хлопнул в ладоши. Из-за перегородки в юрту вошел высокий парень.

— Это мой сын, — сказал Максаржав. — Он проводит тебя к красным.

— Вот это, — он написал что-то по-монгольски, — ты отдашь Сухэ Батору, — сказал он сыну. — А ты своим, — продолжал он, глядя на Сомова, — скажешь: завтра над Северным войском Максаржава будет развеваться красный

флаг Сухэ Батора. Пусть шлют помощь, один я не продержусь, одного меня Унгерн сломит, но вместе мы сломим его.

МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА ЧАСОВЩИКА В КЯХТЕ. Натяжно звонит звонок. Часовщик отпирает дверь, и в комнату вваливается Сомов. Он секунду стоит на пороге, а потом как подкошенный падает.

— Завтра, — прошептал он, — утром.

Достал листок бумаги, положил рядом с собой в лужу, которая стекает с его одежды.

— А теперь — спать.

ЯРКОЕ, ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ СОЛНЦЕ. Полощут по ветру багряные стяги русской и монгольской революции.

Горн разрезает пронзительным боевым призывом тысячные колонны всадников. Атака, атака, конная атака! Сверкают клинки, тонким свистом гонят врага монгольские конники, лавина несется с гор, лавина монгольских всадников, словно вся Монголия поднялась под знамена Сухэ Батора против Унгерна.

Бегут унгерновские войска, бросают технику, сдаются в плен.

Унгерн с монгольской сотней, полосуя нагайка-

ми всякого, кто боится вступить в бурную реку, заставляет людей переправляться вплавь. Тонут люди, гибнут люди. Ржут кони, захлебываясь в яростном потоке воды.

На тот берег, скрывшись от преследования, выбралась всего половина. Мокрые, яростно ругающиеся, скрываются в синем сосновом бору.

ВЕЧЕР. Лагерь Унгерна в горах. Возле костров сушатся солдаты. Тихо ропщут люди возле костров:

— Вандижанцана казаки расстреляли с внуками…

— А Харцкоя повесили…

— Надо к Сухэ Батору идти сдаваться…

— Как животные, в лесах гнием…

— Моего брата шомполами забили…

И не думают люди, что к их словам так жадно прислушиваются: Мунго, старый борец Ванган и Дарима, спрятавшиеся в кустарнике возле ручья.

Палатка Унгерна. Унгерн лежит на кошме — желтый, высохший, Усы обвисли, лицо то и дело сводит судорогой. Возле него — доктор. Унгерн шепчет:

— Ну, доктор, где же? Колите! Не могу!

— У меня кончились ампулы.

— Что?!

— Я запасался на победу, а не на бегство… Здесь нет аптек, барон.

— Что?! — визгливо спрашивает Унгерн, хватает доктора за отвороты френча. — Что?! Сволочь! Сволочь! Ну, миленький, ну, хороший, я молю тебя, уколи меня, а?

— Я пойду, — сказал доктор. — Не могу больше. Я был с вами, барон, я долго был с вами, но я не могу больше, я уйду.

— Доктор, ну что вы, доктор! Простите меня, доктор, только будьте со мной, доктор! Я же не могу один, доктор, я совсем не могу один.

Доктор отрицательно качает головой:

— Нет, я пойду. Я пойду. Медицина может принимать все, кроме бессмыслицы, я пойду, барон.

Он медленно и понуро идет к выходу.

Унгерн достает из-под кошмы пистолет и стреляет ему в спину.

Открывается дверь юрты Унгерна, шлепается на землю тело доктора, в ужасе вскакивает с кошмы Унгерн. Входит в палатку Ванган.

— Он полз к красным, — говорит Ванган. — Он хотел сказать, где ты стоишь лагерем. Я привез его тебе.

Унгерн медленно приближается к доктору,

трогает его носком сапога, поднимает глаза на Вангана, хватает его за руки:

— Ты сам пришел ко мне, сам?! Побудь со мной. Что тебе нужно, я все тебе дам, только побудь со мной. Я спать не могу один, я спать не могу. Побудь здесь, я досплю. Вот, сядь у полога. Смотри ты, какой здоровый, тебе ничего не страшно. Сядь, а я посплю.

Ванган садится у входа в палатку и говорит:

— Ну, спи.

Унгерн снова подходит к нему, заглядывает в лицо, щупает его лицо пальцами, будто слепой. Потом отходит на кошму, заворачивается в шинель и засыпает.

Тихо в лагере, только какая-то неведомая птица вдруг прокричала.

Ванган вышел из юрты и ответил таким же длинным и таинственным, протяжным криком.

РАННЕЕ УТРО. Выстроились всадники. Возле Унгерна на коне Ванган. Унгерн говорит:

— Братья, вы доверяли мне, и Бог воздаст вам сторицей за веру вашу. Никто из красных не знает, где мы. Горы велики, наш дух силен.

Вдруг он замолкает, потому что из кустарников медленно, бросив поводья, выезжает на коне Мунго. Унгерн сначала ничего не понимает. Потом

смотрит на Вангана. Достает из-за пазухи маузер, вскидывает его, направляет на Мунго — и — сухой треск, нет выстрела. Еще раз нажимает курок Унгерн, и снова нет выстрела. Еще и еще раз.

И вдруг спокойно, с каким-то чистым, старческим мудрым презрением начинает смеяться Ванган.

— Вязать его, что ли? — спрашивает он Мунго.

Унгерн дает шпоры своему коню.

Несется барон сквозь кустарник. Ванган пускается следом. Мунго кричит всадникам:

— Ну?! Будем так стоять, когда убегает тот, кто погубил старика Вандижанцана и запорол шомполами брата Давсана?

Срывается с места тот всадник Давсан, который ночью говорил о брате. Следом за ним — все.

Несутся Ванган и Унгерн. Ванган снимает с руки лассо и ловко швыряет его. Падает конь Унгерна, попав ногой в петлю. Летит на землю Унгерн; спрыгивает с седла Ванган — яростно дерется с Унгерном, — это его последний бой, — валит барона, вяжет его, бросает поперек седла, как пушинку, и спрашивает:

— Куда его везти, Мунго?

Мунго, не отрывая взгляда от Унгерна, говорит:

— На север, к красным. К Сомову.

Дарима тихо спрашивает:

— Мунго, а кто он такой, этот Сомов?

А Мунго, наблюдая за тем, как Ванган вяжет руки Унгерна, который окаменел и лицо его сделалось серо-пепельным, отвечает:

— Брат.

Улан-Батор, Монголия

Шифровка для Блюхера

Пьеса в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БЛЮХЕР — министр обороны Дальневосточной республики

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ПОСТЫШЕВ — комиссар Восточного фронта

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ ИСАЕВ, он же ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВ

ЧЕН

ВАНЮШИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — журналист

МЕРКУЛОВ — премьер белого правительства

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ — министр

САШЕНЬКА ГАВРИЛИНА

ГИАЦИНТОВ — начальник контрразведки

ФРИВЕЙСКИЙ — секретарь премьера

СЕМЕНОВ — казачий атаман

ГАВРИЛИН — профессор

МАША — цыганка

ЦЫГАН

КНЯЗЬ МОРДВИНОВ — резидент белых

ГРЖИМАЛЬСКИЙ — генерал

НАЧРАЗВЕДОТДЕЛА ПОТАПОВ
ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ
ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ
ИЦУВАМО — начальник разведки Японии
ТАЧИБАНА — японский генерал
ШИВУРА — японский консул
АППОЛИНЕР — жокей ЛЯЛЯ
КЛАРК — американский журналист
НОРС — американский консул в Чите
СЛЕСАРЬ — агент контрразведки
КОЛЬКА — анархист
ШРЕЙБЕР, ПРОСКУНЯКОВ, председательствующий, меньшевик — члены кабинета министров ДВР
ЧЕКИСТЫ,
КАЗАКИ, АДЪЮТАНТЫ, КОНТРРАЗВЕДЧИКИ БЕЛЫХ, ОФИЦЕРЫ, БОЙЦЫ, БАБЫ, МУЖИКИ, ОХРАННИКИ, ПОЛОВОЙ.

Действие первое
Картина первая

Сцена должна быть разделена на три части: пусть это деление сцены каждый постановщик решает по-своему. Смысл этого деления заключается в следующем: правая часть сцены

принадлежит Блюхеру и всем остальным эпизодам, связанным с ним. Левая сторона — это сцены у белых: в ресторане «Версаль», в контрразведке, на охотничьей заимке. А центр сцены — рельсы, уходящие в Москву, символизируют значение Дальнего Востока в 1921 году. Здесь, в центре, на фоне рельсов, будут разыгрываться массовые сцены. Но — повторяю — все это может быть решено каждым постановщиком по-своему. Сейчас в центре сцены, взяв под козырек, стоит БЛЮХЕР, глядя в зрительный зал. Он провожает глазами войска, которые проходят перед ним под звуки духового оркестра. Рядом с ним стоит ИСАЕВ, один из помощников Дзержинского.

БЛЮХЕР. Позорище. Один полк гоняют — я ж вижу. В третьей роте маленький солдатик каждый раз на тумбу налетает.

ИСАЕВ. Зато громко приветствуют нового главкома и министра Дальневосточной республики Блюхера.

БЛЮХЕР. У меня в горле эти приветствия стоят. Терпеть не могу показного молодечества. А вон еще мой заместитель принес текст, с которым я должен обратиться к бойцам. Полюбуйся. Сплошное ура, вперед и да здравствует! Все могу понять, но как можно врать людям в глаза — ни-

как уразуметь не могу… И песни-то своей нет, слышишь — царские марши шпарят.

Оркестр смолк. Слышны отрывистые крики команд.

БЛЮХЕР делает шаг к рампе. Слышен рев приветствий: «Слава Блюхеру! Ура!»

Партия говорит: революция — это правда! Только тот народ, который знает всю, пусть даже самую горькую правду — непобедим! Во Владивостоке произошел контрреволюционный переворот! Там организовано белое правительство братьев Меркуловых под защитой японо-американских штыков! Белые оснащены до зубов! Наш двадцать первый год будет решающим годом: победит революция на всей территории России или погибнет.

Рев голосов: «Победит!»

Криком победу не завоюешь! От каждого бойца, от каждого командира я потребую максимальной самоотдачи, полного подчинения нашему делу. Меньше пустой болтовни, больше учебы! Меньше криков о победе — и — да здравствует работа во имя победы!

Гремит оркестр. БЛЮХЕР и ИСАЕВ идут через

сцену в кабинет Блюхера. Входит АДЪЮТАНТ.

АДЪЮТАНТ. Гражданин Блюхер, к вам — начальник разведки штаба Потапов.

БЛЮХЕР. Да.

АДЪЮТАНТ уходит. Появляется начальник разведотдела штаба ПОТАПОВ.

ПОТАПОВ. Гражданин военный министр, вот мой рапорт.

БЛЮХЕР. Сначала введите меня в курс последних дел.

ПОТАПОВ. Я прошу принять рапорт.

БЛЮХЕР. Пожалуйста.

ПОТАПОВ. Прошу уволить меня из рядов армии, потому что таковой в Дальневосточной республике в настоящее время нет!

БЛЮХЕР. Еще что?

ПОТАПОВ. Это все.

БЛЮХЕР. Не знал, что начальник разведотдела штаба армии — трус.

ПОТАПОВ. У меня три солдатских Георгия, Красное Знамя и золотое оружие от Фрунзе.

БЛЮХЕР. Тем более.

ПОТАПОВ. Я не считаю возможным пререкания с министром.

БЛЮХЕР. И правильно поступаете. Мне совест-

но за вас.

ПОТАПОВ. А мне совестно за тех, кто вас назначил Главкомом несуществующей армии!

БЛЮХЕР. Сюда меня направил Ленин…

ПОТАПОВ. Я не трус! Но армии действительно нет! Снарядов нет! Лошадей нет! Кадровых военных нет! Если белые ударят вместе с японцами — мы покатимся до Москвы!

БЛЮХЕР. Только давайте без истерики! Ладно? Начнем с последнего. Вы говорите, что в штабах нет кадровых военных. Я в Москве выяснил, что здесь живут несколько генералов бывшего Генштаба. Отчего они не вызваны?

ПОТАПОВ. Их считают гнидами и недобитками.

БЛЮХЕР. Недобитков пригласите ко мне. День и час согласуем особо.

ПОТАПОВ. Я выполню ваше приказание, но прошу принять мою отставку.

БЛЮХЕР. Вы знаете, кто первым бежит с корабля?

ПОТАПОВ. Крысы. Но вы опустили определение — с какого корабля?

БЛЮХЕР. С тонущего.

ПОТАПОВ. Наконец я услышал первое слово правды о нашем сегодняшнем положении!

БЛЮХЕР *(срывается с места, подбегает к большой, во всю стену, карте)*. Да! Да! Во Владивостоке громадные соединения белых, японцев, казаков, американцев! В Маньчжурии белые банды, в Монголии — белые. Атаман Семенов собирается сюда из Токио, Врангель — из Парижа! Да — тонущий корабль, тонущий! Но есть две категории людей: одни — забиваются в щели или бегут прочь, а другие дерутся до последнего! Я отношу себя к последним! Давайте ваш рапорт! Я выпишу вам лежачую плацкарту — бегите! Только золотое оружие в панике не забудьте! Выменяете у спекулянтов на сало!

ПОТАПОВ. Вы не смеете говорить так, я прошел каторгу. Я пять лет дрался за революцию. Я готов погибнуть за наше дело — только зазря неохота.

БЛЮХЕР. Простите меня, если я был резок. Я говорил вам правду.

ПОТАПОВ. Такой правдой можно уничтожить.

БЛЮХЕР. То, что можно уничтожить правдой, — не существует.

ПОТАПОВ. Как вы сказали?

БЛЮХЕР. То, что можно уничтожить правдой, — не существует. И хватит словесных упражнений. Будет. Доложите нам лучше, что вам известно о плане белых: сроки выступления против нас,

направление главного удара, численность войск.

ПОТАПОВ. План кампании у генерала Молчанова, белого главкома. Доступ к нему имеют только начальник разведки полковник Гиацинтов, премьер Меркулов и его брат, министр иностранных дел. Мы бессильны тут что-либо сделать.

БЛЮХЕР. Познакомьтесь, этот товарищ из Москвы, от Дзержинского, уходит к белым.

ИСАЕВ и ПОТАПОВ обмениваются рукопожатием.

Сева, ты посмотрел эти материалы о белых?

ИСАЕВ. Там масса благоглупостей и сплетен. В донесениях пишут, что белые офицеры — болваны и кретины, Гиацинтов — глупый трус, японцы — хуже баранов, американцы — доживающие последний день империалисты. Если Меркуловы кретины, то мы, следовательно, кретины еще больше — кому Владивосток проиграли?! Если полковник разведки Гиацинтов — трусливый глупец, то почему он схватил почти все наше подполье?! Ужасно я зло принимаю фанфаронство и напыщенное коммунистическое чванство. Только одно интересное сообщение из всех, что секретарь Меркулова, господин Фривейский, — уголовный преступник. Да и то надо проверять…

Так что прости за злость.

БЛЮХЕР. Ничего, это куда как облегчает… Сева, у нас на тебя главная надежда. Скоро будем воевать, очень скоро. Ссорь их, сталкивай лбами, мешай им объединяться — во Владивосток, по агентурным данным, из Токио рвется атаман Семенов, а это сила казачья, не давай им превращаться в монолитную силу, но главное, самое главное — это план их зимней кампании. Тогда я с малыми силами смогу хоть как-то обеспечить оборону. Иначе нас сомнут, Сева. Итак: план их наступления, разъединение белых сил и зондаж в японских кругах: возможны ли переговоры. Но повторяю: самое главное — их план.

ПОТАПОВ. Вам будет интересно узнать: во Владивосток прибыл писатель и владелец газеты Ванюшин — мозг Белого движения.

ИСАЕВ. Я уже знаю. Мы с ним были друзьями… Как-то теперь свидимся…

Входит адъютант.

АДЪЮТАНТ. Гражданин министр, к вам журналист из Токио.

БЛЮХЕР. Здесь вторая дверь. Ну… До встречи. Связного своего от меня обними. И с Гиацинтовым — осторожно, хитер дьявол…

Исаев уходит из кабинета через вторую дверь. В открытые окна кабинета несется медленный перезвон колоколов.

ПОТАПОВ. Все за упокой да за упокой… Когда же во здравие ударят?

Картина вторая

Контрразведка белых. Здесь полковник ГИАЦИНТОВ и князь МОРДВИНОВ.

ГИАЦИНТОВ. Юрочка, князь, плюньте на все это, право. Вас непременно у красных схватят и шлепнут в чекистском подвале.

МОРДВИНОВ. И это мне говорит полковник Гиацинтов! Чтобы сохранить себя, белую демократию, свободу — надо драться.

ГИАЦИНТОВ. В России истинную демократию можно создать и сохранить только нагайкой и пулей. Иначе наш народец демократию прожрет, пропьет и проспит.

МОРДВИНОВ. Перестаньте, Кирилл, это цинизм.

ГИАЦИНТОВ. Отчего это всегда считается в России цинизмом умение смотреть правде в глаза?

МОРДВИНОВ. Можно подумать, что вы меня

пригласили для того, чтобы отговаривать…

ГИАЦИНТОВ. Ну что ж? Я испробовал все пути. Имейте в виду: я и мои люди играем в жмурки со смертью. Итак, князь, сейчас моим противником номер один становится Василий Блюхер, назначенный после нашей победы военным министром в Читу. Вы должны будете сделать все, чтобы не допустить кадровиков в его армию. Необходимо оставить красных с их быдлом. Без кадровых военных они нам противостоять не смогут. С красным быдлом у меня работают анархисты. Скоро в тылу у Блюхера вспыхнут анархистские бунты. Но это — помимо вас. Вы просто услышите отзвуки паники у красных — нет ничего труднее, как победить русскую стихийную анархию. Не помогайте вы, не надо. Занимайтесь одним: готовьте уничтожение Блюхера! Откровенно говоря, в случае, если вас схватят при попытке ликвидировать Блюхера, — вас ничто не спасет. Если вас схватят случайно, давайте чекистам показания, что вы — раскаявшийся связник, который был отправлен мной на встречу с руководителем белого подполья в Чите к генералу Гржимальскому.

МОРДВИНОВ. Неужели Гржимальский тоже наш?

ГИАЦИНТОВ. Увы. Нет.

МОРДВИНОВ. Тогда это подлость!

ГИАЦИНТОВ. Если вы пришли к нам, князь, вам придется пересмотреть прежние понятия подлости.

МОРДВИНОВ. У вас голос, как у актера, с модуляциями.

ГИАЦИНТОВ. Так понятно: мы тоже лицедеи, только без зрителей. Иной раз такой бенефис разыгрываешь, чтоб кого надо уломать, — боже мой! Может, останемся тут, в «Версале»? Скоро съедутся лучшие люди города, станем кутить.

МОРДВИНОВ. Кто приедет?

ГИАЦИНТОВ. Редактор «Вечерней газеты» Ванюшин, профессор Гаврилин с Сашенькой, секретарь премьера Фривейский.

МОРДВИНОВ. Гаврилинская дочка, по-моему, стихи пишет.

ГИАЦИНТОВ. Да. Ее издали в Париже. Талант. Едем.

МОРДВИНОВ. Ненавижу русские кабаки.

ГИАЦИНТОВ. Напрасно. Кабак — лучший барометр истинного положения в государстве. Наш народец в кабаке после подпития, словно тетерев на току, про осторожность забывает, все свое нутро вываливает, пташечка моя. Ну, я пошел…

Картина третья

Ресторан «Версаль». Входит ПОЛОВОЙ. Он быстро прибирает стол. В отдельном кабинете появляется ИСАЕВ. Он — подчеркнуто франтоват.

ПОЛОВОЙ. Ваш сиясь, пожалте за махонький столик к окошку, большой занят-с. Сей момент вам накрою к ужину…

ИСАЕВ садится лицом к окну, спиной к большому столу. Появляются ВАНЮШИН, САШЕНЬКА и ее отец, профессор ГАВРИЛИН.

ВАНЮШИН. Друзья, мы накануне великой победы! У меня сейчас такое веселое настроение, что все время хочется жрать водку. Зараза, сучий змей!

ГАВРИЛИН. Когда вы начнете браниться по «Толковому словарю» Даля — предупредите меня, я уведу дочь.

ВАНЮШИН. Сашуля, папа — ханжа! Гаврилин, ваша дочь — единственная одаренная поэтесса, ей не надо бояться жизненных гримас! Я учусь русскому языку, читая матерные надписи на заборах!

ГАВРИЛИН. К чему эта бравада, Николай Ива-

нович?

ВАНЮШИН. Любил барин нотации читать!

ГАВРИЛИН. Я читаю нотации только лакеям, если подают пересушенное мясо вроде этого.

ВАНЮШИН. А вот я мяса никому не подаю, а все равно — лакей! Газеты в России нужны только ожиревшим меценатам, на десерт к сладкому. Я им печатное слово и поставляю!

САШЕНЬКА. А интеллигенция?

ВАНЮШИН. Сашенька, наша интеллигенция похожа на существо с большой головой, но без рук! И с языком. Болтать можем, а делать — нет. И другу на ухо шептать о том, что плохо, и спиваться помаленьку.

САШЕНЬКА. Вам бы застрелиться.

ВАНЮШИН. Ха-ха! Я хочу жрать кислород — единственное, что человеку отпускают бесплатно!

В отдельный кабинет врывается пьяный казачий ОФИЦЕР/ В руке у него горн. Он стоит, раскачиваясь.

ГАВРИЛИН. Что вам угодно?

ОФИЦЕР. Попеть хочу.

ОФИЦЕР горнит кавалерийский марш.

ВАНЮШИН. Вы, случаем, не Бетховен?

ОФИЦЕР. Я те, сука, покажу Бетховена!

ОФИЦЕР идет к столу и ударяет по нему горном.

Вста-ать всем! Пойте за мной «На Дерибасовской открылася пивная! Там собиралася компания блатная!»

ВАНЮШИН. Вон отсюда, хам!

ОФИЦЕР начинает доставать пистолет из кобуры. Тогда ИСАЕВ, сидевший за отдельным столиком, быстро подходит к офицеру, вырывает у него из руки револьвер и бьет в ухо. ОФИЦЕР падает, что-то кричит. Вбегают два половых и уводят ОФИЦЕРА.

Господи, или я сошел с ума! Исаев? Максим Максимович! Откуда вы? Мы считали вас погибшим! Господа, это Исаев, мы вместе работали в пресс-группе Колчака! Откуда?

ИСАЕВ. Только-только из Берлина.

ВАНЮШИН. Кому служите?

ИСАЕВ. Идее.

ВАНЮШИН. Идеи идеями, а жрать тоже надо. С этой минуты вы служите в моей газете обозревателем. Знакомьтесь, господа, это наш друг.

ИСАЕВ обходит всех. Здоровается, повторяя: «Исаев, очень приятно. Исаев. Очень рад».

ГАВРИЛИН. Вот как в наше время делаются дела.

Входит секретарь премьера ФРИВЕЙСКИЙ.

САШЕНЬКА. И перемежайте свои будущие статьи сообщениями о бегах, тогда вас полюбит самый могущественный вельможа — секретарь премьера Фривейский.

ФРИВЕЙСКИЙ. Сашенька, вы без ярости ничего не можете. Разваливается голова, мечтаю о кофе.

ВАНЮШИН. Знакомьтесь.

ИСАЕВ. Очень приятно. Исаев.

ФРИВЕЙСКИИ. Фривейский. Вы тоже лошадник? Обожаю бега. Обожаю. Но это не от корысти, во всем виновата Анна Каренина.

Появляется ЧЕН — лощеный мужчина, похожий на корейца.

ВАНЮШИН. А вот и спекулянт. Присаживайтесь, Чен?

ЧЕН молча кланяется и садится за стол.

САШЕНЬКА. Кони, кони, бесы, люди. Николай Иванович, вы обещали меня в чумные бараки

сводить. Я слышала, чумные в бреду всю правду говорят. И про себя тоже. А мы все вокруг правды ходим-бродим, а к ней никогда не придем. Мы только себя любим, а правда, она не любит болтовни вроде нашей. Она предпочитает либо молчание, либо действие.

ИСАЕВ. Я как раз собираюсь в чумные бараки.

ЧЕН. Чумных сжигают по ночам на шпалах. Там много золота — зубы и обручальные кольца…

ИСАЕВ. Спекулянты везде прелестны рациональной непосредственностью.

САШЕНЬКА. Зачем вы так? Чен — безвредное существо.

ИСАЕВ. По-моему, подонок, у него все бриолиновое, брр, какая пакость.

Вбегает ПОЛОВОЙ.

ПОЛОВОЙ. Господа! Сюда направляется министр иностранных дел господин Меркулов-младший.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ стремительно входит. Общий поклон.

Хмуро садится к столу возле Ванюшина, пьет, ковыряет вилкой паштет, снова пьет.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Господа, только что в

порт вошел атаман Семенов. В городе бесчинствует группа пьяных офицеров из его конвоя. Он расклеил афишки по городу за подписью: «Верховный главнокомандующий всеми белыми силами России». То есть нас, законную власть, — плечиком, плечиком — и по борту.

ВАНЮШИН. Где премьер?

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Брат сейчас заперся у себя и молится. Едем к нему, Ванюшин! Ты наш спаситель, мы в тебя веруем.

ВАНЮШИН. Разумнее верить в Бога, но тем не менее — едем. Я, когда под банкой, соображаю хорошо.

ВАНЮШИН, МЕРКУЛОВ и ФРИВЕЙСКИЙ уходят.

САШЕНЬКА. Позвоните мне, Исаев. Пойдем к чумным.

САШЕНЬКА и ГАВРИЛИН уходят. Остаются ИСАЕВ и ЧЕН, Внезапно гаснет свет, ПОЛОВОЙ приносит свечу.

ИСАЕВ. Ах, спекулянт, спекулянт. Кругом — ужас, а вы торгуете, кровушкой закусываете?

ЧЕН. Запиваю. Закусываю анчоусами. И хоть я спекулянт, но обидчив.

В кабинет входит цыганка МАША, за ней идет

жокей АППОЛИНЕР, которого все зовут ЛЯЛЯ, а в двери картинно замирает ЦЫГАН с гитарой. МАША стоит возле окна и поет песню. ЧЕН наливает Ляле водку, и тот мигом выпивает ее. Когда МАША кончила песню, ЦЫГАН запел.

ИСАЕВ. Кто это?

ЧЕН. Это — Маша, а это — жокей Ляля, он сейчас в запое.

ЛЯЛЯ. Не я в запое, а жизнь в запое. Сейчас такая жизнь пошла, что крестьянину и коню нет счастья под солнцем.

МАША. Хочешь, погадаю?

ИСАЕВ. Что тихо говоришь?

МАША. А — хорошо мне. Чисто. Ты не хватаешь вроде других, и глаз у тебя человечий, а не как у быка.

ИСАЕВ. Ах ты, нежная моя. Обижают?

МАША. Нет. А может, да. Ты позволь мне в тебя влюбиться?

ИСАЕВ. Давай лучше я тебе погадаю, ждет тебя, Машенька, дальняя дорога, молодой удалец и тройка добрых коней. Кони, как люди, — умные, только добрей, они сами вас понесут ото всех подальше — с бубенцами и ветром.

МАША. Слушай, красивый, тебе смерть в глаза смотрит, я знаю, я в висках дрожь чувствую,

когда тебя слушаю. Ты берегись, ты старика берегись усатого, он тебя погубит, смертной мукой изведет.

МАША уходит.

ЛЯЛЯ. Слушайте, юноша, я люблю эту девочку…

ИСАЕВ. Правильно делаете.

ЛЯЛЯ. Не в этом суть. Просто вы первый, кто говорил с ней, как с человеком. Так вот запомните, юноша: я сон видел, будто моя Раганда большой приз возьмет на бегах. Имейте в виду, с этой ночи у вас есть друг на конюшне. Я то бишь.

Картина четвертая

Раннее утро. В кабинете «Версаля» атаман СЕМЕНОВ, премьер-министр СПИРИДОН МЕРКУЛОВ и его брат, МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ, министр иностранных дел.

МЕРКУЛОВ. Я как премьер белой России рад приветствовать вас, атаман Семенов, здесь, на островке свободной земли. Сразу после того, как вы соблаговолите выставить свою кандидатуру на выборы в Народное собрание и если пройдете

при голосовании, мое правительство предложит вам соответствующий портфель в нашем кабинете.

СЕМЕНОВ. И где это ты, господин премьер, выучился таким сучьим оборотам?

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Только грубить зачем? Это в казачьем войске надо, по пьянке, а у нас нужно все трезво рассматривать.

СЕМЕНОВ. Трезво?! Ничего себе трезвость, когда Россия поругана красным антихристом, а вы ни мычите ни телитесь! Поднимать надо народ на борьбу! Изничтожать красную гиену!

МЕРКУЛОВ. Чтобы выступление было эффективным, надо пообвыкнуть. Надо получить максимум у японцев и американцев, поднять бунты в красном тылу, вооружить армию, еще раз проверить план нашей кампании, чтобы не вышло конфуза, как у Деникина или Колчака. Так что погодите, атаман, погодите!

СЕМЕНОВ. А чего годить? У красных голод. Поволжье вымирает, на Тамбовщине — Антонов, в Польше — Савинков. У Блюхера нет кадровой армии, резервов нет. Дорого яичко к Христову дню. Если сами боитесь выступать, уступите место другим!

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Григорий Михайлович,

а зачем ты множественное число применяешь, коли себя одного имеешь в виду?

СЕМЕНОВ. И-и, на кой мне власть-то? Мне в борьбе с большевиками любая должность хороша, не то что некоторым.

МЕРКУЛОВ. Любая? Ловлю на слове: назначаю тебя командиром кавалерийской дивизии.

СЕМЕНОВ. Да идите вы все, знаете, куда?!

Хлопнув дверью, СЕМЕНОВ уходит. В кабинет сразу же входит ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Вопросы представителей прессы. «Ассошиэйтед Пресс» интересуются, как проходят переговоры.

МЕРКУЛОВ. В духе братства и взаимопонимания.

ФРИВЕЙСКИЙ. «Франс Пресс»: не могут ли переговоры быть прерваны?

МЕРКУЛОВ. Пусть эту мечту лелеют красные кровопийцы.

ФРИВЕЙСКИЙ. Семенов дает интервью в соседнем зале, Спиридон Дионисьевич. Представитель «Берлинер нахрихтен» сказал мне, что Семенов сдержан в оценках.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. А ты скажи берлинцу, что военному человеку к лицу сдержанность.

МЕРКУЛОВ. Коля, давай обсудим план дальнейших переговоров.

МЕРКУЛОВ и ФРИВЕЙСКИИ продолжают о чем-то тихо говорить. Свет, освещающий их, становится зыбким и слабым. В то же время высвечивается яркими прожекторами просцениум. Сюда выбегают несколько журналистов с фотоаппаратами, магниевыми лампами. Они о чем-то быстро говорят по-английски и по-французски. Вместе с ними — ИСАЕВ. Появляется ЧЕН.

ИСАЕВ. Ого, я вижу, спекулянты тоже интересуются ходом переговоров?

ЧЕН. А почему бы нет? Исход переговоров скажется на курсе биржи.

ИСАЕВ. Хотите заработать? Купите эту бумажку, она стоит тысячу долларов, продайте американским журналистам.

ЧЕН (прочитав бумагу). Плачу сто.

ИСАЕВ. Бросьте. Полтысячи и ни цента меньше.

ЧЕН. Двести пятьдесят — последнее слово.

ИСАЕВ. Будьте вы прокляты. Держите.

ИСАЕВ уходит. ЧЕН подходит к американскому журналисту КЛАРКУ.

ЧЕН. Привет американской прессе!

КЛАРК. Привет выдающемуся жулику.

ЧЕН. Это тоже должность. У вас есть с собой три тысячи долларов?

КЛАРК. У меня есть с собой чековая книжка, это дороже.

ЧЕН. Выпишите чек на три тысячи.

КЛАРК. Пятьсот. Что у вас есть? Меха? Женьшень?

ЧЕН. Деньги на бочку.

КЛАРК. Можно подумать, что я вас хоть раз обманывал.

ЧЕН. Тоже справедливо. Держите.

КЛАРК *(читает).* «Я, атаман Семенов, обращаюсь к тебе, народ русский! С болью в сердце я вижу, что здешние мягкотелые правители медлят и не зовут вас на борьбу! Посему я объявляю их свергнутыми и беру на себя вою полноту власти!» Ну что ж… Это сенсация…

ЧЕН. Деньги.

КЛАРК выписывает чек и сразу уходит, журналисты расходятся кто куда. Свет на просцениуме гаснет. Все ярче освещается стол, за которым сидят МЕРКУЛОВЫ. Здесь сейчас ВАНЮШИН.

МЕРКУЛОВ. Все-таки придется отдать Семенову портфель военного министра.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Боюсь, что это — единственный шанс уломать старого козла.

Входит ФРИВЕЙСКИЙ.

Ванюшин, надо давать сегодня комментарий — «Бой за монолитность нашу выигран».

ВАНЮШИН. Ну что ж… Если так — через полгода будем в Москве.

Входит японский генерал ТАЧИБАНА.

ТАЧИБАНА. Господа, вы слыхали заявление Семенова?

МЕРКУЛОВ. Оно еще не сделано им, генерал.

ТАЧИБАНА. Оно уже сделано для американцев. Он объявил вас низложенными.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Ванюшин, что делать?

ТАЧИБАНА. Главное — не горячиться. Сейчас пригласим атамана и вместе постараемся все урегулировать, мне непонятна столь быстрая смена настроений у Семенова. Это — загадочное заявление.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. Никаких регулировок! Ванюшин, давайте в газету сообщение об аресте атамана.

ТАЧИБАНА. Если вы не договоритесь с Семеновым, мне будет трудно помогать вам дальше.

МЕРКУЛОВ. Как прикажете понять?

ТАЧИБАНА. Понять это просто. Мы можем помогать только реальной, единой силе.

МЕРКУЛОВ. Фривейский, узнай, где атаман.

ФРИВЕЙСКИЙ уходит.

Попытка — не пытка, хотя данная попытка — настоящая пытка для нас.

ТАЧИБАНА. Это — мудрый акт.

Возвращается ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Атаман уехал к себе на пароход.

МЕРКУЛОВ-МЛАДШИЙ. А что, ежели он свои войска собирает?

МЕРКУЛОВ. Переговоры прерваны не по нашей вине! Семенов — вне закона. Компромисс невозможен.

МЕРКУЛОВ и ФРИВЕЙСКИЙ уходят.

ТАЧИБАНА. Господин Ванюшин, мы — тихая нация, мы мало говорим, но поступаем по закону здравомыслия. В такой ситуации нам будет глупо отказываться от переговоров с красными, ибо в стане наших друзей начинается разброд.

ТАЧИБАНА уходит. ВАНЮШИН остается один и бурчит под нос ругательства. В кабинет осторож-

но заглядывает ИСАЕВ.

ИСАЕВ. Николай Иванович, стенографистка прибыла.

ВАНЮШИН. Пошлите ее к черту.

ИСАЕВ. Заманчивый маршрут.

ВАНЮШИН. Зря смеетесь. Все не так радостно, как казалось утром.

ИСАЕВ. Обойдемся с Божьей помощью.

ВАНЮШИН. Дело сложнее, чем вы думаете. Боюсь, что японцы могут начать тур вальса с красными. Одна надежда: красные станут в позу: мол, с империалистами не желаем разговаривать. Они любят эдакие детские фразочки. А если согласятся на переговоры с японцами — трудно нам будет, трудно. Едем в офис, будем думать, как обмануть Блюхера.

Картина пятая

Кабинет военного министра ДВР БЛЮХЕРА в Чите. Сейчас в кабинете БЛЮХЕР и японский консул ШИВУРА.

ШИВУРА. Позволит ли господин русский министр, самый молодой военный министр в мире, оторвать несколько мгновений его драгоценного

времени?

БЛЮХЕР. Позволит, чего там…

ШИВУРА. Весьма благодарен. Направляясь к вам, я не уставая восторгался восхитительной красотой читинского неба, чуть тронутого отблесками ранней зари, а потому похожего на гравюры мастеров позднего Ши-Чжу-синя.

БЛЮХЕР. Не согласен, милый Шивура. Мастера эпохи позднего Ши-Чжу-синя любили писать воду, особенно морские заливы, причем при закате солнца. Сегодняшняя утренняя заря скорее похожа на живопись мастеров школы Намато.

ШИВУРА. Мой дорогой министр, я потрясен вашей эрудицией.

БЛЮХЕР. Мы эдак не выцарапаемся из обоюдных комплиментов. С чем пожаловали, валяйте начистоту.

ШИВУРА. Наша концепция — это концепция разумного и выгодного мира. В том случае, если ваше правительство, измученное войной, захочет найти почву для переговоров с правительством божественного Микадо, все сдвинется с мертвой точки.

Появляется АДЪЮТАНТ.

АДЪЮТАНТ. К вам американский консул Норс.

ШИВУРА. Мерзавец, жена отказала ему от дома.

БЛЮХЕР. Просите.

ШИВУРА. Господин министр, нельзя же так! Надо с глазу на глаз!

Входит НОРС.

НОРС. Здравствуйте, мистер Блюхер.

ШИВУРА. О мой дорогой Норс, я счастлив вас видеть, жена сердится, вы совсем забыли ее!

НОРС. Я ее всегда помню.

БЛЮХЕР. Как я погляжу, американские дипломаты весьма ревнуют своих японских коллег.

ШИВУРА. Ну что вы, мы такие друзья.

НОРС. Да, неразливанные, как говорят в России. Мистер Блюхер, я пришел просить вас о милости.

БЛЮХЕР. Пожалуйста.

НОРС. Моя дача находится в Березах, а там ваше артиллерийское ведомство открыло полигон. Бесконечная стрельба… Поверьте, большей неприятности трудно представить.

БЛЮХЕР. Большие неприятности не бывают продолжительными, а малые не заслуживают того, чтобы обращать на них внимание.

ШИВУРА. Прекрасно сказано. Честь имею от-

кланяться.

БЛЮХЕР. Куда же вы заторопились, господин Шивура? Я еще вам не ответил.

ШИВУРА. Позже, позже поговорим, до свиданья, до свиданья…

БЛЮХЕР. Ну зачем же откладывать в долгий ящик?

НОРС. Как это поется: «Петушок, петушок, золотой гребешок!»

ШИВУРА. Мой милый Норс, у нас как раз был разговор, напоминающий по своей трепетности объяснение влюбленных петушка и курочки.

БЛЮХЕР. Занятно — кто из нас петушок, а кто курочка?

НОРС. Обожаю подслушивать чужие секреты.

БЛЮХЕР. Профессия у вас такая.

НОРС. Плохих профессий нет, мистер Блюхер.

БЛЮХЕР. Разумно. Так вот, дорогой Шивура, мое правительство радо сообщить вам, что ваши предложения о начале мирных переговоров между ДВР и Японией приняты нами и в ближайшие дни наша делегация будет готова выехать в то место, которое мы согласуем по дипломатическим каналам. Всего хорошего, господа!

НОРС и ШИВУРА уходят.

А теперь пусть у вас перья летят, петушки и курочки. Ну, будет сейчас драка у дипломатов!

Центр сцены. Рельсы, уходящие в Москву, длинный стол. Идет заседание правительства ДВР в Чите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Друзья, мы собрали заседание кабинета Дальневосточной республики по крайне важному вопросу — о мирных переговорах с Японией. Поэтому я призываю вас соблюдать сдержанность в дискуссии. Мнения могут разделиться — я понимаю и народного социалиста Шрейбера, и товарищей левых эсеров, и моего коллегу Блюхера. Прошу.

ШРЕЙБЕР. От имени фракции народных социалистов я требую, чтобы Блюхер выступил с обоснованием своей точки зрения.

БЛЮХЕР. Я подожду. Мне важней пока вас послушать.

ПРОСКУНЯКОВ. Позвольте? Я считаю, что абсолютно правы те эсеры и народные социалисты, которые в самой категорической форме выступают против переговоров в Токио. Я как левый большевик поддерживаю моих коллег по кабинету. Вести революционную пропаганду — с одной стороны, и садиться за стол переговоров

с теми, против кого агитируешь, — с другой стороны, — есть не что иное, как проституирование и беспринципность! Этот вопрос я беру в общем, так сказать, государственном срезе.

МЕНЬШЕВИК. А в партийном? Как в партийном?

ПРОСКУНЯКОВ. Я не собираюсь ни с кем сводить счеты в момент, который по своей позорности близок к Бресту. Ребенок, который видит, как его отец, только что получивший плевок в лицо, вместо пощечины оскорбителю начинает снимать пылинки с его плечиков, навсегда и отныне потеряет любовь к такому отцу и веру в него.

БЛЮХЕР. Даже Достоевский такой темы не брался решать, быть может, наоборот, ребенок поймет всю трудность положения и поможет отцу пережить ужас оскорбления.

ПРОСКУНЯКОВ. Политика — не арена для литературных упражнений! Перестаньте жонглировать терминами! Я присоединяюсь к тем, кто выступает против переговоров с Японией и кто требует войны с нею!

БЛЮХЕР. Или вы демагог, или — в лучшем случае — неумный человек!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Я призываю всех к спокойствию.

ШРЕЙБЕР. Великолепный образчик новоявленного барства! Дубина, которая в равной степени бьет и правого, и неправого. А главное — ищущего! Ищущий, да убоись дубины Блюхера! Не смей высказывать суждения о тех, кто надругался над твоей родиной! Не моги думать! Повторяй догмы — это лучший образчик патриотизма! Я всегда был противником Проскунякова! Сегодня я стал его союзником! Повторяю, мне противна идея переговоров с желтыми! Запад есть Запад, Восток есть Восток! Я — против переговоров! Я — за продолжение войны!

БЛЮХЕР. Браво! Слышишь, Проскуняков, народники поняли тебя, большевика!

Слышны протяжные паровозные гудки. БЛЮХЕР отходит на край сцены, туда, где, возможно, было *окно,* тень от окна, солнечный луч. Останавливается и долго смотрит туда откуда доносятся паровозные гудки — тревожные и надсадные.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Что там такое? Закрыть окно надо…

БЛЮХЕР. От этого не уйдешь… Голодающих детишек с Поволжья привезли… Вон, серенькие все… Рученьки, как спички…

ПРОСКУНЯКОВ. Я лучше погибну в атаке, чем буду жить в тепле и холе, связанный договором с Японией.

БЛЮХЕР. По-видимому, самый страшный вид демагогии — это искренняя демагогия.

ШРЕЙБЕР. Не говорите терминами заклинателя змей! Я требую, чтобы вопрос о мире был поставлен на голосование!

БЛЮХЕР. Патриотизм всепобеждающ, когда он вооружен. А у нас во всех забайкальских дивизиях — двадцать семь лошадей. Вам понятно, что это такое? Крестьянин доведен до полного нищенства, лошадей нет, кавалерии, таким образом, тоже, орудия без конной тяги — мертвы. А криком сейчас много не навоюешь, пушка нужна. Это раз! Восемьдесят процентов наших бойцов подлежат демобилизации по возрасту — два. В Госбанке для нужд армии нет денег — три! В пехоте на семерых одна винтовка — четыре. Постышев передает, что в нашем тылу начали ворочаться анархисты, — пять! Тиф пожирает армию, страшный сыпняк — шесть! И вы хотите, чтобы я в таких условиях повел армию на фронт? Это ж будет продуманное, бессердечное убийство десятков тысяч людей, русских людей — понимаете вы это или нет? До тех пор, пока я не

получу оружия, коней, денег, до тех пор, пока мои командиры не организуют войска так, как им надлежит быть организованными, — я пойду на любые, самые унизительные переговоры с кем угодно! Вы трещите фразами о любви к Родине, а расплачиваться кровью за эти ваши фразы должны мужики?! Рабочие?! Отказываться сейчас от переговоров — это не просто безумие. Это глупость либо это коварное преступление! Я прошу голосовать вопрос о войне и мире!

Ревут паровозные гудки, слышен протяжный бабий вопль и детский надрывный плач…

Картина шестая

Владивосток. Кабинет Меркулова. Сейчас здесь премьер МЕРКУЛОВ и американский журналист КЛАРК.

КЛАРК. Прежде всего, господин премьер, позвольте мне поблагодарить вас за этот прекрасный, истинно русский обед.

МЕРКУЛОВ. Это мы закусываем, обедать в Москве будем.

КЛАРК. Постучите о дерево, это наша примета. Мистер Меркулов, после того, как ваши япон-

ские союзнички вступили в контакт с красными, группа сенаторов попросила меня — совершенно доверительно, зондажно, если хотите, — узнать: каковы возможные акции вашего правительства после этого обычного азиатского вероломства? Нас интересует теоретическая сторона вопроса.

МЕРКУЛОВ. Теория — это хреновина с морковиной, Кларк. Тьфу и растереть — вот и вся эта самая жидовская теория. Нас, купцов, практика волнует. Маяк — он чем ценен? Тем, что в одном направлении мигает. А вы Колчаку мигали-мигали, а потом, как ударили красные посильней, взяли и ушли.

КЛАРК. Нас интересует будущее, мистер Меркулов. По нашим сведениям, Блюхер работает дни и ночи, он достал оружие, он получает помощь от Ленина. Это все очень серьезно.

Мы все думаем, что они бессильны, а они крепнут день ото дня. Как вы думаете противостоять красным? Когда начнете наступление против них?

МЕРКУЛОВ. Бросьте, миленький мой, хорошенький Кларк. Хитрите — так хитро. Вас волнует сейчас, как бы я пошагал плечиком-плечиком да с Дальнего Востока обратно к ним на острова, а здесь обосноваться.

КЛАРК. Мистер Меркулов, вам следовало родиться американцем, мы умеем ценить юмор.

МЕРКУЛОВ. Как бы мне американцем не пришлось стать. Сколько оружия-то дадите?

КЛАРК. Этот вопрос, а также проблема танков и аэропланов находится в прямой связи с тем, какова будет ваша официальная позиция в дальнейшем.

МЕРКУЛОВ. Не иначе, как совместную декларацию имеете в виду? Чтоб япошатки мои заурчали? Ладно, я все обдумаю. Теперь: мне надо твердо знать, чего хотите вы?

КЛАРК. Только справедливости…

МЕРКУЛОВ. Бросьте… Это вы для дамочек приберегите. Скорее всего, вас интересует передача Штатам Камчатки и Сахалина. Узнайте точно цену, гарантии, условия. И лично для меня: какие из ваших фирм заключат со мной договор на торговлю лесом, чесучой и трепангами.

КЛАРК. Я запрошу Вашингтон сегодня же.

МЕРКУЛОВ. Ступай с богом, миленький, ступай с богом.

КЛАРК уходит. Появляется ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Генерал Тачибана.

МЕРКУЛОВ. Не приму.

ФРИВЕЙСКИЙ. Он видел, как от вас вышел Кларк.

МЕРКУЛОВ. Скажи, что я занемог сердечным биеньем.

ФРИВЕЙСКИЙ. Я немедленно вызываю вашего врача.

МЕРКУЛОВ. Это жалким будет, будто мы боимся, оттого и выкозюливаем. Откажи в глаза. И Гиацинтова пригласи. А главком Молчанов пущай в резиденцию приедет с планчиком своим.

ФРИВЕЙСКИЙ выходит. МЕРКУЛОВ наливает себе воды, выпивает лекарство. Входит ГИАЦИНТОВ.

Получаешь задачу громадной значимости.

ГИАЦИНТОВ. Почту за честь.

МЕРКУЛОВ. Не надувайся, ты не индюк, а жандарм.

ГИАЦИНТОВ. Это рядом.

МЕРКУЛОВ. Шутки все шутишь, кровопийца. Так вот: к началу переговоров красных с японцами в Дайрене надо устроить сюрприз. Красным военным руководителем делегации будет некто Блюхер. Сильный парнишка. Так вот: его в Дайрене надобно и оставить. Сие — конец переговорам: за это морду бьют, а к тому времени

и я с американцев уже все и выцежу. Ты Ванюшина осторожно к этому подготовь, чтоб он первым затрубил. Только осторожно, он острого не любит, он идеи любит, чтоб чисто все было, без крови…

ГИАЦИНТОВ. Я выполню ваше задание. Князь Мордвинов уже в Дайрене.

МЕРКУЛОВ. Хорошо. Теперь: у тебя все детали по плану кампании с Молчановым урегулированы?

ГИАЦИНТОВ. Почти. Видимо, Дайренские переговоры определяют дату выступления?

МЕРКУЛОВ. Я определю. Понял? Я.

Штаб Блюхера. Эпизод происходит в центре сцены, на фоне рельсов, уходящих в Москву. Несколько столов, за которыми сидят шифровальщики. БЛЮХЕР в галифе и толстом джемпере сидит, ссутулившись, опустив голову на ладони.

ПЕРВЫЙ ШИФРОВАЛЬЩИК. Концентрация белых войск в районе Соловьевки продолжает расти угрожающими темпами. Прибыла артиллерия, огневые точки расположены в километре от нашей границы.

ВТОРОЙ ШИФРОВАЛЬЩИК. Банды белоказаков отправились в рейд, пропущенные китайскими властями в тыл к красным частям. Предполагают,

что направление рейда — Чита. Цель: внезапный удар в тыл, когда начнутся основные операции на фронте.

ТРЕТИЙ ШИФРОВАЛЬЩИК. Реввоенсовет республики не в состоянии в настоящее время перебросить войсковые соединения на помощь народно-революционной армии ДВР в связи с крайне напряженным положением на западных границах РСФСР.

БЛЮХЕР *(вскочив со стула).* Черт возьми, где ж Исаев?! Где Исаев?

ПЕРВЫЙ ШИФРОВАЛЬЩИК. От товарища Исаева никаких шифровок не поступало.

БЛЮХЕР. Это ужас. Я жду его шифровки каждый день… Каждую минуту…

Входит начальник разведотдела ПОТАПОВ.

ПОТАПОВ. Ничего?

БЛЮХЕР. Ничего.

ПОТАПОВ. Боюсь, что через месяц его шифровка нам уже не потребуется.

БЛЮХЕР. Слушайте, дружище, у меня и так настроение похоронное… Так что не стоит быть таким прорицателем, а? О чем же он там думает?! Что он там делает? Почему молчит?

ПОТАПОВ. Может быть, мне пойти к нему?

БЛЮХЕР. Рано. Пока еще рано. Пожалуйста, зашифруйте: «Все сроки проходят. Немедленно любыми способами осуществите операцию “План”». Передайте немедленно.

ПОТАПОВ. Ложитесь спать, Василий Константинович, уже утро.

БЛЮХЕР. Будь оно проклято, это утро. Мне сейчас все время хочется, чтобы продолжалась бесконечная ночь: ночью войны не начинают, кавалерия с пути собьется… Каждое утро я жду сообщения о начале, каждое утро. Ладно. Пошли ко мне. Там один буржуй пришел — этикету учить меня на Дайренских переговорах. До свиданья, товарищи…

БЛЮХЕР идет через всю сцену в свой кабинет. Там за богато сервированным столом его ждет человек в визитке. Это — УЧИТЕЛЬ хороших манер.

УЧИТЕЛЬ. Доброе утро, гражданин министр.

БЛЮХЕР. Доброе утро.

УЧИТЕЛЬ. Прошу начать. Итак, мы остановились с вами на званом обеде. Вилку — вот эту, большую, а не маленькую, для фруктов, надо брать легко, кистью. Это — искусство — красиво держаться за столом. Повторите мой жест, пожалуйста.

БЛЮХЕР. Так?

УЧИТЕЛЬ. Нет-нет, мягче. Не жмите на вилку. Теперь гостю. Осторожно с тарелкой, она ваш союзник, но не враг. Вот-так, уже хорошо, очень хорошо. Ешьте непосредственно, не глядите на еду.

БЛЮХЕР. Так картошка вкусная.

УЧИТЕЛЬ. Это не важно. Еда — не суть, важен разговор за едой.

БЛЮХЕР. Это точно.

УЧИТЕЛЬ. Если вы так будете налегать на тарелку, она сколется.

БЛЮХЕР. Это ни к чему.

УЧИТЕЛЬ, Не пыжьтесь, не пыжьтесь, больше непосредственности.

БЛЮХЕР. Как тут не пыжиться, когда на брюки каплет.

УЧИТЕЛЬ. Каплет оттого, что пыжитесь. А ну, расслабьтесь! Совсем расслабьтесь! Вот так.

БЛЮХЕР. Вы сами-то закусите. А то, верно, зло вас берет на меня смотреть.

УЧИТЕЛЬ. Весьма благодарен. *(Жадно ест.)* А теперь очистите яблоко. Это хорошо. Кожуру не ешьте, это не принято.

БЛЮХЕР. Витамины в ней.

УЧИТЕЛЬ. Ничего не могу поделать — кожуру

не едят. А теперь налейте вина даме слева. Нет. Обязательно правой рукой. Согните ее в локте. Хорошо. И улыбайтесь, улыбайтесь, все время улыбайтесь.

БЛЮХЕР. Это с набитым-то ртом?

УЧИТЕЛЬ. А вы помногу не заглатывайте.

БЛЮХЕР. А вон вы поскольку глотаете…

УЧИТЕЛЬ. Я же не на приеме у дипломатов. И не вздумайте цыкнуть зубом, это шокинг.

БЛЮХЕР. Не буду. Спасибо вам, учитель.

УЧИТЕЛЬ. Мы еще не отрабатывали ритуал поклонов и улыбок.

БЛЮХЕР. Завтра, ладно?

УЧИТЕЛЬ. Честь имею кланяться.

БЛЮХЕР. Спасибо. До свиданья.

УЧИТЕЛЬ уходит. БЛЮХЕР отходит к кушетке, ложится и засыпает.

Картина седьмая

Кабинет «Версаля». САШЕНЬКА ГАВРИЛИНА, ИСАЕВ, жокей ЛЯЛЯ и ГАВРИЛИН.

ГАВРИЛИН. Бега — это вид припудренного сутенерства.

САШЕНЬКА. Ты же сам играешь напропалую в

преферанс.

ГАВРИЛИН. Преферанс для русского интеллигента — единственная возможность жить разумом в разумном мире регионального риска. Нет, скорей, скорей в Париж. От бегов, от склок и крови.

ЛЯЛЯ. Вот вы все говорите, говорите… Бега — вроде церкви: на какого попа нарвешься. Бега — это цирк на конной тяге. Вы бы на вашего любимого Фривейского поглядели, когда он играет. Глаза стоячие, сам белый, руки ледяные. Он мне предлагал: «Дай подвод на верную лошадь — любой контракт устрою».

САШЕНЬКА. Зачем ему это?

ЛЯЛЯ. Тут все кругом — рубли, а на бегах — доллары. Вот зачем. Если там выиграл — так это уж навсегда выиграл. Рубли у него есть — долларов нету.

ГАВРИЛИН. Он производит на меня впечатление афериста, более того: какой-то Фривейский при Колчаке сидел в тюрьме по делу торговой фирмы «Шубин и сыновья» — за аферы. Мне лень выяснять: тот это Фривейский или другой.

САШЕНЬКА. Папа, при официозном журналисте — такие дерзости. Исаев либо донесет, либо сон потеряет.

ИСАЕВ. Говорят, поэты пишут своих героев с самих себя.

САШЕНЬКА. Пишут — не говорят.

ЛЯЛЯ. Все пикируетесь… Смотрите — пикировка — она противоположным кончается. Будем здоровы, господа… А ты, мальчик, помни, что я тебе говорил.

САШЕНЬКА. Исаев, вы в профиль похожи на Бонапарта.

ИСАЕВ. Но вы не похожи на Жозефину.

ГАВРИЛИН. Дитя мое, пора. Нас ждут во французском консульстве, визы в Париж готовы.

ИСАЕВ. Завтра я еду в океан рыбачить. Как вы, Сашенька?

САШЕНЬКА. Возьмете?

ИСАЕВ. Могу и спиннинг вам приготовить.

САШЕНЬКА. До завтра. Бойтесь Фривейского, папа его тоже боится.

ГАВРИЛИН. Я боюсь только одного: слепого бунта, когда жгут библиотеки. Да здравствует жандарм, охраняющий библиотеку!

ГАВРИЛИН и САШЕНЬКА уходят.

ЛЯЛЯ. Отец — краснобай, Россию профукал, проговорил, а дочка — хороша.

ИСАЕВ. Талантлива. Я стихи читал — здорово.

ЛЯЛЯ. Мальчик, стихи у нас нужны тысячам, цыгане — всем. Женись на Маше. Она как ангел… Хоть и порочный. Я вас бы озолотил. Реганка поможет. А?

ИСАЕВ. Ляля, а кони — добрые?

ЛЯЛЯ. Конечно, не люди… У них глаза с отливом. В слезе. Ладно. Будь счастлив, Исаев. У тебя вон ноздри играют: для тика — рано, видно, тоже — рискач. Приходи на бега, приходи. Маша от меня ничего не принимает, так ты ей с Реганки подкинь…

ЛЯЛЯ уходит. Появляется ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Добрый вечер. Обыскался Гиацинтова. Не видели? *(Подходит к окну.)*

ИСАЕВ. Нет.

ФРИВЕЙСКИЙ. Вы замечали, как грустно видеть одинокую женщину в пустом осеннем сквере?

ИСАЕВ. Вы в трансе? Плюньте на все. Хотите, поедем к цыганам; Машенька будет петь в «Ржавом якоре».

ФРИВЕЙСКИЙ. Цыгане погубили Пушкина.

ИСАЕВ. Послезавтра интересные бега. У меня есть верная лошадь.

ФРИВЕЙСКИЙ. Какая именно? Верных лошадей нет.

ИСАЕВ. Я не настолько богат, чтобы рисковать. Пари?

ФРИВЕЙСКИЙ. На кого ставите?

ИСАЕВ. Регана.

ФРИВЕЙСКИЙ. Сумасшедший. Это — кляча.

ИСАЕВ. Тем не менее.

ФРИВЕЙСКИЙ. Молодых надо учить. Я принимаю пари. Три тысячи долларов вас устроит?

ИСАЕВ. Сумма астрономическая.

ФРИВЕЙСКИЙ. В кусты? Испугались, пташечка моя?

ИСАЕВ. Согласен.

Появляется ВАНЮШИН.

ФРИВЕИСКИЙ. Утвердите наше пари, Ванюшин. Я ставлю против исаевской Реганы три тысячи. Выплата наличными немедленно.

ВАНЮШИН. Два сумасшедших.

ФРИВЕЙСКИЙ уходит.

Что вы наделали? Проиграетесь в пух! Такие деньги.

ИСАЕВ. Зато выиграю Фривейского. Иметь такого надежного человека совсем не плохо для газеты.

ВАНЮШИН. А если, паче чаяния, выиграете — он вас возненавидит… *У* него таких денег нет…

ИСАЕВ. Я — добрый… Он меня простит…

ВАНЮШИН. Стану сегодня пить! Мерзостно мне сегодня!

ИСАЕВ. Что-нибудь случилось?

ВАНЮШИН. Ничего особенного. Боюсь — проиграем выигрышную партию. Я верил в то, что Меркуловы договорятся с атаманом. Начались распри… А распри в России — начало гибели.

ИСАЕВ. Интересно, сколько надо Спиридону Дионисьевичу отступного, чтобы он свое кресло уступил?

ВАНЮШИН. Кому? Гиацинтову? Или Фривейскому? Мелюзга кругом. Взятки берут не борзыми — просто сигаретами. Черт с ним… Будем жить, пока живется. Вообще-то расстраиваться пока рано, все решит наше наступление.

ИСАЕВ. Скорее бы… Когда? Тянут, тянут…

ВАНЮШИН. Видимо, скоро, потому что Гиацинтов какую-то кровь затевает.

ИСАЕВ. Занятно. Чью же?

ВАНЮШИН. Человеческую — чью еще. А после человеческой много людской литься начинает. Вот так и идем мы к нашей белой мечте кровавой дорогой. Ну-ка, налейте мне водки, нет-нет, в большую, в синенькую, пожалуйста.

ИСАЕВ. Узнать бы — кого они собираются отпра-

вить к праотцам: первыми б вышли с сенсацией. Не иначе ведь кого-то из красных…

ВАНЮШИН. Это естественно. А какая нам с вами разница в конце концов?

Картина восьмая

Ночь. Номер гостиницы. С улицы чуть слышно доносится протяжная японская мелодия. В кровати — спящий БЛЮХЕР.

Чуть приоткрывается дверь, и в комнату входит ИЦУВАМО, начальник разведки Японии. Он осторожно подходит к кровати Блюхера и достает у него из-под подушки браунинг. Включает ночник. Возле двери замирают два японца в штатском.

БЛЮХЕР. Что? Кто?

ИЦУВАМО. Здравствуйте, Блюхер. Ваши разведчики не показывали вам мою фотографическую карточку? Нет? Я — Ицувамо, начальник разведки империи.

БЛЮХЕР. По какому праву вы влезли в мой номер?

ИЦУВАМО. Зачем вы так громко говорите? Я пришел засвидетельствовать вам почтение и тут же откланяюсь, если вы попросите меня

остаться…

БЛЮХЕР (*сев в кровати).* Сколько?

ИЦУВАМО. Что-что?

БЛЮХЕР. Сколько опрашиваю, будете предлагать?

ИЦУВАМО. Я не в лавке, а вы не мелкий торговец. Не считайте людей вокруг глупее вас. Это совесть человека, который относится к вам доброжелательно.

БЛЮХЕР. Дальше?

ИЦУВАМО. Дальше я обращусь к вам с просьбой, предложив взамен нашу незримую помощь. Не отказывайтесь от нашей помощи, не советую.

БЛЮХЕР. Не вертите, не вертите. Какая просьба?

ИЦУВАМО. Мне не будут нужны данные о численности ваших бригад и полков. Я их знаю не хуже, чем вы. Мне не нужно знать план вашего сильного забайкальского укрепрайона. Я знаю все, что происходит у вас в штабе, Василий Константинович. Я знаю, что вам сейчас воевать практически невозможно. Вот мне и надо, чтобы вы посоветовали руководству правительственной делегации эти наши требования принять.

БЛЮХЕР. А меморандум каков?

ИЦУВАМО. Очень хочется узнать?

БЛЮХЕР. Очень.

ИЦУВАМО. Угощайтесь, вкусные сигареты…

БЛЮХЕР *(смеется).* Небось отравленные?

ИЦУВАМО. Это крайняя мера, еще рано.

БЛЮХЕР. Ну, так каковы ж будут требования?

ИЦУВАМО. Услуга за услугу, Василий Константинович.

БЛЮХЕР. Э, нет, господин хороший. Вы всегда скажете в случае чего, что я достал текст японских требований неофициальным путем, и все это ложь, и русские ведут себя провокационно, чтобы сорвать переговоры.

ИЦУВАМО. Зачем вы так плохо обо мне думаете? Разведчики — обязательные люди.

БЛЮХЕР. Шрамик у вас на роже не от битья?

ИЦУВАМО. От битья. Лупили меня по роже. Обожает русский народ обидными намеками изъясняться, мочи нет.

БЛЮХЕР. Смешно подметили. А за что лупили?

ИЦУВАМО. За то, что желтый. Я, изволите ли видеть, в течение десяти лет служил няней в доме русского генерал-губернатора. Так вот от него шрамик. За то, что носовые платки плохо выстирал.

БЛЮХЕР. Крепко нас не любите?

ИЦУВАМО. Вы имеете в виду красных или во-

обще нацию?

БЛЮХЕР. Теперь вся нация красная, куда ни крути.

ИЦУВАМО. Оттенки пока сохраняются.

БЛЮХЕР. Скоро сойдут.

ИЦУВАМО. Постараемся задержать процесс. Про восстание анархистов, кстати, еще вам не доложили? Доложат. Полыхают ваши тылы, полыхают. Один комиссар Постышев жидковат, поколотят его, сугубо поколотят… Так что ж — дружба?

БЛЮХЕР. Не выйдет, няня. Хорошо, что про шрамик свой вовремя рассказал, а то б я тебя промеж глаз звезданул. У меня кулак-то, видишь, какой? Потрогай, потрогай, не бойся. Чудак.

ИЦУВАМО. Да, я вижу. Кулачок весьма тяжел.

БЛЮХЕР. Ну ладно, поговорили — и будет, я спать хочу.

ИЦУВАМО. Всего хорошего, Василий Константинович.

БЛЮХЕР. Спокойной ночи, няня. Пистолетик только мой верни, а то это несолидно получается, вроде как воровство.

ИЦУВАМО. Пожалуйста, вот он.

БЛЮХЕР. На столик положи, пусть его лежит.

ИЦУВАМО. Мне жаль вас, Блюхер.

БЛЮХЕР. Что вы говорите?!

ИЦУВАМО. Да-да. Вы уже погибли, потому что говорили со мной. А это вам всегда могут поставить в вину. И я при необходимости эту нашу беседу подтвержу. В том случае, если вы же захотите снова встретиться со мной. Вы приятны мне, Блюхер. Поверьте, людям моей профессии можно ошибаться только раз в жизни — вы станете великим человеком. Но чем больше величие, тем страшнее падение. До свидания, примите мои извинения. *(ИЦУВАМО выключает свет, и трое исчезают из номера Блюхера.)*

Занавес

Действие второе
Картина первая

Номер «Версаля». За стеной ноют цыгане. За столом — пьяный ФРИВЕЙСКИЙ и ЧЕН.

ФРИВЕЙСКИЙ. Все кончено! Кто мог подумать, что возьмет Регана? Кто мог подумать? Я опозорен перед всеми, я погиб. Чен! Ну, одолжите мне три проклятые тысячи!

ЧЕН. Александр Александрович, я совершенно пустой.

ФРИВЕЙСКИЙ. Не оставляйте меня одного. Кто мог подумать, что эта кляча придет первой и снимет такой куш! И все взял Исаев! Боже, как он зло потребовал у меня денег! При всех!

ЧЕН. Это противно. Но, извините, я должен уйти. Меня ждут у Гаврилиных. Он уезжает — завтра в Париж. Я вернусь. Я скоро вернусь. Сюда все, может быть, приедут. Хотите добрый совет? Лучше уладьте все миром с этим негодяем Исаевым. По-моему, у него свои люди на конюшнях. Не иначе, как он ищет к вам ключ: видимо, хочет просить вашей протекции…

ФРИВЕЙСКИЙ. Он — негодяй, а я — болван.

ЧЕН уходит. В номер заходят цыгане, поют свои песни. Появляется ИСАЕВ.

ИСАЕВ. Алекс, зря вы на меня сердитесь. А то обижусь. Я — пьян, весел и болтлив. Стану всем болтать, что Фривейский был растратчиком в фирме «Шубин и сыновья» в Чите, удрал из-под суда, и является просто-напросто уголовным преступником, а себя выдает за борца против большевизма.

ФРИВЕЙСКИЙ. Макс!

ИСАЕВ. Вы реагируете на сплетню, как на правду! Вы пьете один коньяк?

ФРИВЕЙСКИЙ. Макс, о чем вы сейчас говорили…

ИСАЕВ. А я не помню, о чем я говорил. Вот, кстати, я привез вам денег. Три тысячи долларов — вернете на людях, чтоб не было слухов о вашей непорядочности.

ФРИВЕЙСКИЙ. Максим…

ИСАЕВ. Тут ровно. Да, у меня к вам будет одна просьба.

ФРИВЕЙСКИЙ. Я что-то никак ничего не могу понять…

ИСАЕВ. С похмелья это иногда бывает.

ФРИВЕЙСКИЙ. Давайте отнесем разговор на завтра.

ИСАЕВ. Зачем?

ФРИВЕЙСКИЙ. Что-то нечистое с этими деньгами.

ИСАЕВ. Уж и не чисто?

ФРИВЕЙСКИЙ. Вам понадобится расписка?

ИСАЕВ. Вы с ума сошли…

ФРИВЕЙСКИЙ. Какая у вас просьба?

ИСАЕВ. Журналистика только тогда приносит выгоду, если она сенсационна. А сенсация — это если друг журналиста — секретарь премьера, который сидит на всех важнейших новостях. Я должен быть предсказателем в газете, и я смогу

им стать с вашей помощью.

В кабинет входит САШЕНЬКА.

САШЕНЬКА. Мне и там стало смертельно скучно, они перепились и теперь выясняют отношения. Ванюшин сказал Гиацинтову, что он стреляет лучше, а полковник — самый заядлый охотник на Дальнем Востоке, они чуть не подрались — так смешно. Решили немедленно ехать на заимку к Тимохе — состязаться в умении убивать.

ИСАЕВ. К Тимохе? На Лаубихару? Они к нему ездят?

САШЕНЬКА. Очень часто.

ФРИВЕЙСКИЙ. Сашенька, я хочу вернуть Исаеву мой проигрыш.

ИСАЕВ. Ого. Я, кажется, разбогател!

ФРИВЕЙСКИЙ. Здесь три тысячи. Спокойной ночи.

САШЕНЬКА. Браво! А мне уже сплетничали…

ИСАЕВ. До завтра, Алекс. Спокойной ночи вам.

ФРИВЕЙСКИЙ уходит.

САШЕНЬКА. Что-то мне грустно в Париж уезжать… Налейте вина, Максим Максимович.

ИСАЕВ. Пожалуйста.

САШЕНЬКА. А что это у вас руки ледяные? За-

мерзли?

ИСАЕВ. Сидел на сквозняке.

САШЕНЬКА. Это неразумно.

ИСАЕВ. Разум — дикий зверь, его место под лавкой.

САШЕНЬКА. А вы мне обещали чумных показать… Так занятно…

ИСАЕВ. Помните у Пушкина? «Но мы, ребята, без печали среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от цареградских берегов. Что, устрицы пришли? О радость! Летит обжорливая младость глотать из раковин морских затворниц жирных и живых, слегка обрызнутых лимоном. Шум, споры, легкое вино из погребов принесено на стол услужливым Оттоном. Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет».

САШЕНЬКА. Это вы про нас прочли? «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет»? Вон наша горничная на меня волком смотрит. Действительно, только в России могли так бездумно и легко отдать свободу в Октябре, с таким трудом завоеванную во время Февральской революции.

ИСАЕВ. Отдали такую же свободу, как здесь, у нас?

САШЕНЬКА. Конечно.

ИСАЕВ. Вы считаете здешнюю ситуацию эталоном свободы?

САШЕНЬКА. Конечно. После пяти лет революции я стала считать свободой ту ситуацию, в которой живут сытые люди.

ИСАЕВ. А у нас вы голодных не видели?

САШЕНЬКА. Слава богу, у нас голодных нет. Владивосток — это же не Москва.

ИСАЕВ. Половой!

Вбегает ПОЛОВОЙ.

У тебя здесь проституток нет, милейший?

ПОЛОВОЙ. Дежурят внизу, ваш сиясь!..

САШЕНЬКА. Максим Максимович?

ИСАЕВ. Я хочу вам показать не совсем сытых людей. Я не оскорблю вашей чести, даю слово. Но поэту надо знать все перед тем, как определить свою позицию в жизни, не так ли? Зови сюда нескольких, половой. Пусть девицы по одной входят.

ПОЛОВОЙ убегает. Появляется ЖЕНЩИНА.

У вас дети есть?

ЖЕНЩИНА. Двое.

ИСАЕВ. Сколько хочешь?

ЖЕНЩИНА. Рубль за всю ночь. Детишки за

перегородкой с бабушкой, они не помешают.

ИСАЕВ. Возьмите пятерку и идите домой.

ЖЕНЩИНА. Барин, барин, молиться за вас буду! *(Уходит.)*

Появляется ПОЛОВОЙ.

ПОЛОВОЙ. Ваше сия, если желаете повеселиться, так я вам своих дочек предложу. Девицы молоденькие, а платье на двоих одно-с… Так что лучше ко мне, если хотите кураж дать.

САШЕНЬКА. Перестаньте, перестаньте, как вы можете?!

ПОЛОВОЙ. Барышня, так ведь жить надо. А как? Я остаточков со стола принесу в дом, а нас девять ртов-с, плодовиты были по неразумению молодости-с… Так что прошу не обидеть с кем другим, а именно к нам…

ПОЛОВОГО зовут из большого зала, и он убегает.

ИСАЕВ. В городе ежедневно умирают от голода сотни людей, Сашенька. В городе семьдесят публичных домов и двенадцать тысяч проституток. В городе сорок пять чумных бараков. Половина рождающихся детей — рахиты. Я отношусь к вам добро, поэтому никогда не смейте

бездоказательно рассуждать о русском народе и о свободе, которую он терял или получал — я уж не помню, как вы говорили. Не повторяйте красивых благоглупостей, которые вы слышите окрест — смотрите сами. И запомните на всю жизнь: тиранию может победить только логика и сравнение.

САШЕНЬКА. Я только сейчас заметила, что у вас глаза, как у собаки.

ИСАЕВ. Это хорошо или плохо?

САШЕНЬКА. Собачьи глаза бывают только у честных людей. Я напишу в вашу газету об этом ужасе.

ИСАЕВ. Кто это станет печатать?

САШЕНЬКА. Вы.

ИСАЕВ. Я не хочу оказаться безработным. И потом, это ведь не вся правда о наших днях. Это — мелкая, нетипичная правденка…

САШЕНЬКА. Откуда в вас столько цинизма?

ИСАЕВ. От дедушки. Он был страшным якобинцем и жуиром.

САШЕНЬКА. Максим Максимович, где же сердце ваше? Вы знаете столько и — молчите! Мы сейчас пойдем с вами в город, и я напишу обо всем, что увидела и увижу. Обыкновенный человек может плакать, поэт обязан писать!

Входит МАША. Проходит мимо Сашеньки с песней. Останавливается.

МАША. Красивая, а ведь ты мне поперек дороги стоишь.

САШЕНЬКА. Машенька, а какая дорога-то? Знать бы ее — пошла…

МАША. У баб вся хитрость наружу. Красивая, ты все понимаешь.

САШЕНЬКА. Думаешь — понимаю?

МАША. Как не понять.

САШЕНЬКА. Пойдемте в город, Максим Максимович, скоро солнце встанет. Оно по утрам бывает синего цвета, как ужас.

ИСАЕВ. Ну что ж… пойдем. Я покажу вам наш счастливый и сытый город с черного хода…

ИСАЕВ и САШЕНЬКА уходят.

МАША. Чавелы, веселись и пой. Последние денеченьки!

Картина вторая

Дайрен. Зал переговоров. БЛЮХЕР и японский ГЕНЕРАЛ.

ГЕНЕРАЛ. Для нашего высокого императорского

правительства нет большей заботы, чем поддержание и укрепление мира. Поэтому мы сели за стол переговоров, движимые одним только искренним желанием подписать с ДВР мирный договор, основанный на равноправии и взаимном уважении. Но прежде чем такой договор будет подписан, уважаемые представители ДВР будут обязаны принять наш меморандум. Перехожу к оглашению меморандума. Итак, согласно нашего меморандума — ДВР обязана будет уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не иметь у себя. Необходимо срыть все укрепления и никогда впредь их не строить. Необходимо разрешить плавание японским судам по внутренним рекам ДВР под высоким японским флагом.

Следует позволить гражданам Японии перемещаться по Дальнему Востоку, не испрашивая на то разрешения Министерства иностранных дел ДВР. Следует разрешить японским гражданам свободную покупку земель на Дальнем Востоке. Правительство ДВР должно принять закон об особом благоприятствовании японским гражданам в промышленности, рыболовстве и горном деле. Владивосток должен быть объявлен вольным городом с международными гарантиями. На территории ДВР всегда обязана оставаться

незыблемой частная собственность. ДВР никогда не должна быть подчинена Москве. Таковы, в общих чертах, наши требования.

Если они будут приняты, то японское правительство станет искренним другом ДВР — отныне и навсегда.

БЛЮХЕР. Это больше похоже на условия безоговорочной капитуляции.

ГЕНЕРАЛ. Вы преувеличиваете, Блюхер-сан.

БЛЮХЕР. Эти вопросы должны решаться не за столом переговоров, а на полях сражений.

ГЕНЕРАЛ. Если вы отвергнете наш меморандум, переговоры будут прерваны.

БЛЮХЕР. Ну зачем же. Отвергать — мы не отвергаем, но и принять без корректив и консультаций не можем.

ГЕНЕРАЛ. С кем вам необходимо проконсультироваться?

БЛЮХЕР. У меня в Чите одна приятельница живет, гадалка…

ГЕНЕРАЛ. Господин министр, здесь не место для шуток.

БЛЮХЕР. Так же, как и для бестактных вопросов. Я консультируюсь с теми официальными инстанциями, которые уполномочены правительством ДВР консультировать меня. Вы могли

заметить, что я не спрашиваю вас, в какой инспекции писался ваш меморандум и кто его непосредственный автор.

ГЕНЕРАЛ. Если вы не примете меморандум — начнется война.

БЛЮХЕР. Генерал, пугайте войной непослушных внуков. Меня — не надо.

ГЕНЕРАЛ. Но вы не можете воевать!

БЛЮХЕР. Вы так считаете?

ГЕНЕРАЛ. У вас голод, тиф и хаос! Нет грамотного генералитета! И вы хотите противостоять серьезным воинским соединениям!

БЛЮХЕР. Чьи вы имеете в виду? Свои или белых?

ГЕНЕРАЛ. Большой разницы в этом не вижу.

БЛЮХЕР. А что же вы тогда повсюду трубите, что за белых не отвечаете, ибо они сами по себе — конституционная власть?

ГЕНЕРАЛ. Это правда. Когда я говорил, что нет разницы между нами и белыми, я имел в виду уровень вооруженности, всего лишь. А так мы, конечно, за белых не отвечаем, они сами по себе, мы сами по себе.

БЛЮХЕР. А вооруженность одна?

ГЕНЕРАЛ. Одна.

БЛЮХЕР. А оружие у белых японское?

ГЕНЕРАЛ. Встречаются и американские образцы. Уровень их вооруженности раз в восемь выше вашей. Вы погибнете, начнись война.

БЛЮХЕР. Нам говорили так же в октябре семнадцатого года.

ГЕНЕРАЛ. Сколько времени вы просите для консультации?

БЛЮХЕР. Я ничего ни у кого не прошу. Я назначаю срок: месяц. Давайте это мое предложение обсуждать.

ГЕНЕРАЛ. Срок так велик, что я вынужден буду проконсультировать этот вопрос с моим правительством.

БЛЮХЕР. А куда торопится-то? Кормят здесь хорошо, постели теплые…

ГЕНЕРАЛ. Я отдаю дань вашей выдержке, господин Блюхер, но хочу вас предупредить, что, если вы по прошествии какого-то определенного времени все-таки откажетесь принять наш меморандум, мы вынуждены будем решать все эти вопросы с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР.

БЛЮХЕР. На территории ДВР существует только одно правительство.

ГЕНЕРАЛ. Слепота — скорбная болезнь в том случае, если у человека действительно нет глаз.

Но если у него есть глаза, обладающие великим даром видеть, а он не хочет видеть или — еще хуже — боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах.

БЛЮХЕР. Браво! Именно это я и хотел сказать вам, вы угадали мои мысли, генерал, браво!

ГЕНЕРАЛ. Оказывается — вы ловкий дипломат, господин Блюхер.

БЛЮХЕР. Стараюсь.

ГЕНЕРАЛ. Простите за нескромность: ваша гражданская профессия — слесарь?

БЛЮХЕР. Токарь, генерал, токарь.

ГЕНЕРАЛ. Что, большая разница?

БЛЮХЕР. Очень.

ГЕНЕРАЛ. Вы играете в простака.

БЛЮХЕР. В таком случае вы пытаетесь играть в провидца.

ГЕНЕРАЛ. Блюхер, Блюхер… Я, право же, отношусь к вам хорошо.

БЛЮХЕР. Я к вам — тоже…

ГЕНЕРАЛ. Вся трагедия состоит в том, что вы не прошли той школы, которую прошел я, а я, в свою очередь, не знаю разницы между токарем и слесарем.

БЛЮХЕР. Считается, что к старости люди добреют…

ГЕНЕРАЛ. На это не надейтесь. Политик не имеет права стареть. Состарившийся политик должен быть убит или отстранен. Иначе — нацию постигнет горе.

БЛЮХЕР. Сколько вам лет, генерал?

ГЕНЕРАЛ. Шестьдесят семь. Не улыбайтесь. Я — мальчик в политике. Старость начинается после восьмидесяти.

БЛЮХЕР. Каково же мне? Мне тридцать.

ГЕНЕРАЛ. Не обижайтесь на меня, но именно молодость погубит вашу революцию. У вас нет зрелых политиков. Вы все младенцы, вы играете в самих себя, только придуманных.

БЛЮХЕР. У вас дети есть?

ГЕНЕРАЛ. У меня есть правнуки.

БЛЮХЕР. Это примиряет меня с вами. Мы договоримся с ними, поверьте слову.

ГЕНЕРАЛ. Следующая встреча назначена на семнадцать ноль-ноль. Думаю, вы подпишете наши предложения; соединитесь с Читой, вам передадут веселые новости про ваш монолитный фронт.

Центр сцены. Рельсы, уходящие в Москву. Черно-красный флаг анархии. Громадный стол, на который помимо пустых бутылок установлен пулемет. (Начался тот анархистский бунт — пер-

вый в цепи следующих — о которых говорил Гиацинтов в самом начале, о которых Блюхеру говорили японцы.) Идет заседание анархистов.

КОЛЬКА. Товарищи министры и члены! От имени нашего дорогого Ильича, первым заместителем которого я отныне являюсь на Дальнем Востоке, передаю вам, как очевидный факт, пламенный привет и ура!

Министры и члены кабинета ревут «ура».

Теперь трепртню о мире с японцами — тьфу и побоку! Воевать будем! Теперь ни Блюхер, жидовский наймит, ни комиссар Постышев нам не указ! Я по этому поводу получил много поздравлений от членов великого Коммунистического интернационала. И все нас зовут немедля воевать с японцами!

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Так мы ж против коммунистов!

КОЛЬКА. Да, против! Но мы за Интернационал! А кто в этом усомнится — поперхнется моей рабоче-крестьянской пулей! Все понятно, министры?

ВТОРОЙ МИНИСТР. Кольк, да брось ты выпендриваться!

КОЛЬКА. Я те покажу Кольку! Я те Колька в бою, когда мы ринемся на белого гада и красного Блю-

хера! Но тут я тебе руководитель, и это очевидно, как факт! За оскорбление персоны лишаю тебя должности заместителя министра просвещения! Покинь зал заседания.

ВТОРОЙ МИНИСТР. Да ты чего, Коль? Это ж я, Федька…

КОЛЬКА. Дурак ты, а не Федька.

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Чего ты к нему пристал?

ТРЕТИЙ МИНИСТР. Простить надо…

ЧЕТВЕРТЫЙ МИНИСТР. Молодой он, не уходился…

КОЛЬКА. Ладно. Поедешь послом за границу. Буржуям ихним от нас в суп накакаешь.

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. От сукин сын, эк кроет…

ТРЕТИЙ МИНИСТР. Если б такое интеллигент выгадючивал — так они с нас полста лет кровь пьют, а коли свой эдакое наворачивает — значит, судьба ему государством править…

КОЛЬКА. Но-но! Обращение!

ВТОРОЙ МИНИСТР. Неграмотный я, товарищ заместитель.

КОЛЬКА. Ну и дурак. Чем водку жрать, читал бы книжки нашего дорогого отца Карла Маркса!

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Надо командиров-коммунистов твоими помощниками назначить.

ТРЕТИЙ МИНИСТР. За что ж их вешать?

КОЛЬКА. Ну так я и говорю: можно расстрелять.

ВТОРОЙ МИНИСТР. И стрелять их не за что: они воевали отменно.

КОЛЬКА. Неважно, что не за что. Если мы есть новая власть, так старую власть для порядка надо пострелять.

ЧЕТВЕРТЫЙ МИНИСТР. Они дралися не за страх, а за совесть.

КОЛЬКА. Ладно, министры. Вертитесь, как лисы. Этот вопрос все одно сегодня решим. После того, как склады распределим!

ПЕРФЫЙ МИНИСТР. Давно пора!

ВТОРОЙ МИНИСТР. Водка кончилась!

ТРЕТИЙ МИНИСТР. Буржуев с квартир повыкидаем!

ЧЕТВЕРТЫЙ МИНИСТР. Какие тут буржуи? Здесь село крестьянское.

КОЛЬКА. Неважно: у кого крыша под кровелем, тот и есть буржуй!

ПЕРВЫЙ МИНИСТР. Каждая баба буржуйка, если чужая…

КОЛЬКА. Даешь склады и буржуев! Даешь красных гадов и белых интервентов! Ура!

ВТОРОЙ МИНИСТР. Грабь и жги, гуляй, анархия!

Картина третья

«Версаль». Ужинают премьер-министр МЕРКУЛОВ и ФРИВЕЙСКИЙ.

МЕРКУЛОВ. Слышал?! Гиацинтовские анархисты заработали? Восстание у них пылает… Из Дайрена никаких новостей?

ФРИВЕЙСКИЙ. Я все время слежу за этим. Пока полные потемки. И Токио, и Чита молчат.

МЕРКУЛОВ. Салатика подложи. Оливковое масло чего-то прогорклое. А чего еще хорошего слышно?

ФРИВЕЙСКИЙ. Ходят сплетни о вашем секретном договоре с американцами…

Без стука входит ТАЧИБАНА.

ТАЧИБАНА. Господин Фривейский, премьер-министр и я благодарим вас, но вы сейчас не будете нам нужны.

ФРИВЕЙСКИЙ выходит.

МЕРКУЛОВ. Чтой-то вы расхрабрились, генерал! Я тут хозяин!

ТАЧИБАНА. Я тоже.

МЕРКУЛОВ. Не забывайтесь.

ТАЧИБАНА. Сядьте. Вот так. *(Достает из кармана бумаги.)* Вы просили у Кларка договоров на торговлю трепангами и чесучой на общую сумму в триста тысяч. Мы вам предлагаем подписать на миллион.

МЕРКУЛОВ. В иенах?

ТАЧИБАНА. В долларах.

МЕРКУЛОВ. Ах вы, умницы мои раскосоглазенькие. Давай перо.

ТАЧИБАНА. Одну минутку. Перед тем как я передам вам перо, вы позвоните к генералу Молчанову и прикажете ему завтра же выступить против красных.

МЕРКУЛОВ. В Хабаровске есть лесосклады, они сейчас под красными. Давай, миленький, договоримся заодно, что эти лесосклады тоже нам с братом отойдут, мы ж лес понимаем, а то погибнет он ни за что…

ТАЧИБАНА. Это амурский склад?

МЕРКУЛОВ. Ну да…

ТАЧИБАНА. Он стоит два миллиона долларов.

МЕРКУЛОВ. Миленький, миленький, что ты?! Не может того быть…

ТАЧИБАНА. Мы передадим вам с братом четвертую часть безвозмездно.

МЕРКУЛОВ. А ну, кликни Фривейского.

ТАЧИБАНА. Лучше без него.

МЕРКУЛОВ. Подпишем без него, а действовать прикажу — через канцелярию. Чтоб все, как у взрослых! Фривейского!

Входит ФРИВЕЙСКИЙ.

Леша, соедини-ка меня с генералом Молчановым, нашим главковерхом. Спасибо. Алло? Генерал Молчанов? Меркулов. Да, добрый вечер. Так вот, наше правительство, исходя из высших соображений борьбы за справедливость, Учредительное собрание и белую Родину, желая помочь восставшим крестьянам, задавленным террором, повелевает вам завтра выступить против красных антихристов. Детали согласуете с генералом Тачибаной! Стоп! Минутку! Завтра — отставить! Послезавтра утром. Все!

ТАЧИБАНА. Почему не завтра?

МЕРКУЛОВ. Тут сюрпризик у меня припасен. Завтра Блюхера сковырнут в Дайрене мои людишки. А вы орденочек мне подошлите, какой покрасивше.

ТАЧИБАНА. Вам?

МЕРКУЛОВ. Нет, Гиацинтову. Леша, закажи-ка мне соды.

ФРИВЕЙСКИЙ уходит.

Печати на договорах сургучные, поди ж ты, красавицы какие, а? Одно слово — Европа!

ТАЧИБАНА. Вы ошибаетесь. Мы всегда были Азией, но не Европой, погрязшей в разврате… *(После долгой паузы.)* И, наконец, последнее: вы убеждены в том, что ваш секретарь по-настоящему предан вашему делу? Вы убеждены, что он — не случайный человек, а идейный борец?

Просцениум. ИСАЕВ и ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Могу вас обрадовать приятной новостью.

ИСАЕВ. Больше всего на свете люблю гренки, цыган и приятные новости.

ФРИВЕЙСКИЙ. Можете послезавтра давать в газету, что в Дайрене будет убран Блюхер.

ИСАЕВ. Что-что?

ФРИВЕЙСКИЙ. Гиацинтов обещал это сделать точно.

ИСАЕВ. Интересно…

ФРИВЕЙСКИЙ. Послезавтра хорошие бега. Имею верную лошадь. Едем?

ИСАЕВ. Что? Да-да, конечно, с удовольствием…

ФРИВЕЙСКИЙ. Ну, кланяюсь, Макс. Вождь может кликнуть, будет сердит, если задержусь.

К Исаеву подходит САШЕНЬКА.

САШЕНЬКА. Максим Максимович, я написала про то, что вы мне давеча показывали. Вы обязаны это напечатать. Я должна сказать правду про этот ужас. Ради этого я задержалась здесь и не поехала с отцом в Париж…

ИСАЕВ *(просматривает написанное.)* Да-да… Очень интересно… Только разве это можно напечатать, славная вы моя девочка? Меня цензура в порошок сотрет.

САШЕНЬКА. А вы испугались?

ИСАЕВ. Конечно.

САШЕНЬКА. Пожалуйста, не говорите так. Вы хотите быть плохим, наглым, у вас это выходит, но вы лучше, чем хотите казаться.

ИСАЕВ. Давайте с вами договоримся… Вы снимаете свою подпись, клянетесь никогда и никому не говорить, что это написали вы, и разрешите мне вашу тетрадочку сжечь после того, как я наберу этот страшный рассказ.

САШЕНЬКА. Поклясться?

ИСАЕВ. Вы с папа укатите в Париж, а здесь меня одного жандармы станут терзать.

САШЕНЬКА. Я же сказала вам — я пока не еду в Париж.

ИСАЕВ. Это как понять?

САШЕНЬКА. Не понятно?

ИСАЕВ. Какие-то вещи я боюсь понимать.

САШЕНЬКА. И правильно поступаете: вам так легче жить.

САШЕНЬКА уходит. ИСАЕВ садится к телефону, вызывает номер.

ИСАЕВ. Барышня, дайренский поезд уже ушел? Нет?

В номер входит ГИАЦИНТОВ.

А свободные места были?

ГИАЦИНТОВ. Какими местами и куда интересуется пресса?

ИСАЕВ. Местами к славе, теми, что ближе к солнцу.

ГИАЦИНТОВ. Что вы такой бледный?

ИСАЕВ. Пил всю ночь.

ГИАЦИНТОВ. О времена, о нравы! Не буду вам мешать — я заглянул случайно, искал своих товарищей, хотим сегодня пообедать вместе. Кстати, вы, случаем, не охотник?

ИСАЕВ. Я? Охотник.

ГИАЦИНТОВ. Как-нибудь надо будет съездить в тайгу, отдохнуть.

ИСАЕВ. С удовольствием.

ГИАЦИНТОВ. Вы мне очень занятны, Максим…

Очень…

И — милы… Ну, продолжайте.

ИСАЕВ. Всего хорошего, Кирилл Николаевич…

ГИАЦИНТОВ. Завтра вечером позвоните ко мне, я вас порадую сенсацией.

ГИАЦИНТОВ уходит. ИСАЕВ мечется из угла в угол. Появляется ЧЕН.

ЧЕН. Ого, я вижу, пресса взволнована…

ИСАЕВ. Чен, дружище мой… Завтра в Дайрене они должны убить Блюхера. Что нам делать, Чен?!

ИСАЕВ обнимает Чена и плачет, как маленький. Слышны вопли мальчишек — продавцов газет:

— Премьер Меркулов объявил войну красной сволочи!

— Наступление по всему фронту!

— Красные панически бегут!

— Переговоры в Дайрене сорваны!

В центре сцены на фоне рельсов, уходящих в Москву, широко расставив ноги, застыл комиссар Восточного фронта ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ ПОСТЫШЕВ. На него несется масса растерзанных, перепуганных бойцов. ПОСТЫШЕВ поднимает руки, пытается остановить паническое бегство,

но его отталкивают. Тогда он достает пистолет и несколько раз стреляет вверх, а потом направляет пистолет на бегущих. Бойцы замирают перед ним.

ПОСТЫШЕВ. Кто сделает шаг — пристрелю! Считаю до трех! Раз! Два!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Там конница белых!

ВТОРОЙ БОЕЦ. Всех сплеча рубает!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Фугасами кладут поперед себя! Страх! Нет нам жизни, нет! ВТОРОЙ БОЕЦ. Конница рубает — конец жизни!

ПОСТЫШЕВ. Ты сам ее видел, конницу-то?!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Я слыхал, как они визжали!

ВТОРОЙ БОЕЦ. Казачье, желтые лампасы! Я тоже слыхал.

ПОСТЫШЕВ. Иди сюда!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Застрелишь?

ПОСТЫШЕВ. Иди сюда.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ подходит к Постышеву. ПОСТЫШЕВ передает ему свой маузер.

На. Держи. Если через пять минут здесь появится конница белых — стреляй мне в лоб.

ПОСТЫШЕВ протягивает Второму бойцу часы.

Засеки время.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Ты кто?

ПОСТЫШЕВ. Большевик я. Большевик. А ты курком не балуй, ахнешь случаем — вздернут тебя на суку за комиссара фронта.

ВТОРОЙ БОЕЦ. Братцы, да это ж Пал Петрович Постышев, комиссар фронта…

ПОСТЫШЕВ. Трусы… Трусы, жалкие трусы! Испугались врага, которого даже в глаза не видали! Ты цель, цель мне в лоб! Трус!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Так их вона сколько прет, гражданин комиссар. Ужасть как гаубицами лупцуют!

ПОСТЫШЕВ. Ты живой — ты — молчи! Мертвые, которых ты, сбежав, предал, могут сейчас говорить! А ты стой и жди, и цель своему комиссару в лоб!

ПЕРВЫЙ БОЕЦ *(соседу).* На, Ванька, не могу я. *(Хочет отдать ему маузер.)*

ПОСТЫШЕВ. А бежать мог! Так вот и смоги пристрелить безоружного!

ВТОРОЙ БОЕЦ. Пять минут прошли. Слышь… Копыта… Конница, не иначе, как конница. Ой, бегим, братцы!

ПОСТЫШЕВ. Меня они первого заполосуют насмерть, а я стою и не боюсь, а ты бросил винтарь и лицом мелеешь? Эх, вы, смотреть на вас

гадостно.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Господи, помощь-то откель ждать? Москва — до ней и по этим рельсам не добредешь.

ПОСТЫШЕВ. Бронепоезд доедет. Тот, белый бронепоезд, который ты хочешь пропустить. Эх, вы… Бегите… Бегите… Отдавайте Россию белому гаду. *(Оборачивается к рельсам, которые уходят вдаль и говорит.)* Обидно. Ужасно не хочется зазря помирать. Помирать можно только за революцию и только после того, как принес ей всю пользу, какую только мог принести, зря — это просто предавать революцию.

Стоит на сцене одинокий вагон. Слышен шум удаляющегося поезда. Из вагона вылезают БЛЮХЕР и три человека его личной охраны. Темная ночь.

БЛЮХЕР. Сволочи… В Дайрене не вышло, так по дороге решили ухлопать. Сколько патронов у нас?

ОХРАННИК. К пулемету три диска.

БЛЮХЕР. И все?

ВТОРОЙ ОХРАННИК. И еще по барабану к револьверам.

БЛЮХЕР. Не густо.

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК. Так ведь охранная грамота от японцев.

БЛЮХЕР. Этой охранной грамотой знаешь что можно сделать? То-то и оно… Дрянь дело. Лампы тушите в вагоне. Хорошо, еще луны нет…

ОХРАННИК. Василий Константинович, что ж, с телом прощаться?

БЛЮХЕР. Рановато. Я скажу, когда пора будет. Ну-ка, взгляните, когда встречный поезд?

ВТОРОЙ ОХРАННИК. Через двадцать минут.

БЛЮХЕР. Тогда, может, выцарапаемся. Давайте с пулеметами вниз, под вагон, займем круговую оборону. Папки с документами положите возле керосина: если не удержимся — надо сжечь. Лом у нас есть?

ОХРАННИК. Два есть.

БЛЮХЕР. Это хорошо. Волоките сюда.

ОХРАННИК. Сейчас. (*Приносит два лома.*)

БЛЮХЕР *(начав ломать путь).* А ну, помогай! Подхватывай вторым! Мы им, собакам, тут всю музыку разворотим. Встречный поезд остановим, пусть при свидетелях убивают!

В правом углу сцены, в темноте, слышен топот копыт. Кто-то из невидимых, но слышных нам всадников, говорит:

— Не видно их, господин Мордвинов!

— Ничего! Они тут рядом, сейчас увидим…

БЛЮХЕР (*работает ломом вместе с охранником*). Теперь хорошо…

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК. Василий Константинович, что, снова наших лупцуют и в хвост и в гриву? Бежим на всем фронте, болтают люди…

БЛЮХЕР. Не бежим. Отступаем.

ВТОРОЙ ОХРАННИК. Когда конец будет, гражданин министр? Я и не помню, как это так люди без войны жили: восемъ лет — все кровь и кровь.

БЛЮХЕР. Ты Библию помнишь?

ОХРАННИК. Я ее классово презираю.

Все прячутся под вагон за пулеметы.

БЛЮХЕР. Зря. Сначала прочти, а потом уж презирай на здоровье. Там есть Книга пророка Исаии. Он писал: «Еще ночь, но близится рассвет». У нас то же самое.

ВТОРОЙ ОХРАННИК. За что такие муки выпадают нам, русским?

БЛЮХЕР. Бороться не умели. Если в покорности жить — тогда ничего, тогда можно и без мук. Вроде коровы. А если счастья жаждать — так до него путь всегдашеньки через муки.

ОХРАННИК. А когда окончательно победим?

БЛЮХЕР. Побеждать надо каждый день. Самому.

Тогда победим все. И чтоб обязательно — каждый день начинать сначала начисто. Ну-ка, давай матрацы поближе к керосину, чтоб подручней поджигать было, когда поезд подойдет.

ОХРАННИК. Сейчас, может, подожжем? А то боязно в темноте, и холод низает насквозь.

БЛЮХЕР. Это кто предлагает?

ПЕРВЫЙ ОХРАННИК. Я.

БЛЮХЕР. Проводник, что ль?

ОХРАННИК. Охранник я.

БЛЮХЕР. Тебе воздух охранять, Петя…

ОХРАННИК. Я Поликарп, гражданин министр.

БЛЮХЕР. Тем хуже для тебя. Они ж только и ждут, чтобы осветились. Ни зги не видать, они нас и шуруют, потеряли, понял?

ВТОРОЙ ОХРАННИК. Эвона, паровоз искрит, слышите?

БЛЮХЕР. Тихо! Ждать, ждать! А ну, зажигай! Мы им, сукиным сынам, устроим сцену ревности!

Грохот приближающегося поезда. Топот копыт. Выстреливает в небо столб огня. Скрип тормозов. Из вагонов остановившегося поезда бегут японцы с траурными повязками и корреспонденты с магниевыми вспышками.

ЯПОНЕЦ. Где тела убитых хунхузами русских? Где тело оплакиваемого нами министра Блю-

хера?

БЛЮХЕР *(вылезая из-под вагона).* Вот оно, тело. Рано похоронили. Живучие мы.

ЯПОНЕЦ. Господин министр, мы счастливы, мы так счастливы!

А вдали затихающий топот белой конницы, и ругань казаков, и злой смех Блюхера, и смущение японцев, и вспышки магния фотокорреспондентов.

Картина четвертая

Кабинет премьера. МЕРКУЛОВ и ГИАЦИНТОВ.

МЕРКУЛОВ. Послушайте, полковник! Я имею забот поболе вас! Я должен читать сообщения консулов из-за границы, у меня в государстве керосина нет, маяки по побережью гаснут, я денег учительству три месяца не платил, у меня началось победоносное наступление на красных, по масштабу не удававшееся никому, даже Деникину, и, естественно, я не могу, я не имею времени заниматься с вашими вонючими агентами и доносчиками! Что я вам, пугало огородное? Ну, не вышло у вас — так и бог с ним! Но хоть бы проверили сначала! А то мне раззвонили, я —

японцам, два ордена вам дал, вся пресса вопила: «Разгневанный народ в Маньчжурии растерзал Блюхера!» А где ваш Блюхер? В могиле или к себе в штаб вернулся?! Зачем языком болтали?!

ГИАЦИНТОВ. Я хотел вас порадовать, Спиридон Дионисьевич!

МЕРКУЛОВ. Я вам превосходительство, а не Дионисьевич!

ГИАЦИНТОВ. Ваше превосходительство, позвольте мне просить вас об отставке.

МЕРКУЛОВ. Чего-чего?!

ГИАЦИНТОВ. Лучше вагоны разгружать, чем слушать такое! Можно подумать, что я ничего не сделал для вас! Можно подумать, что я мало работаю! Можно подумать, что уничтожение здешних коммунистов прошло мимо меня…

МЕРКУЛОВ. Глупышка. Ведь отец же я вам. Нешто дозволено на старого человека обижаться? Сердце у меня болит, под грудью щемит, по ночам Бог ко мне приходит — оттого нервен, пойми. Всякое могу сказануть, а думаю об вас всех с лаской. Ноша на мне, пойми. Хочешь, попробуй, как тяжела, горб сразу переломаешь. У нас тот станет великим, кто пустит кровушку вовремя и к месту. Тогда пущай ее хоть реки льются — это как избавление от болезни, это вроде как высо-

кое давление кровопусканием спустить. Понял, почему обижен я? Не за себя, дурашка… За тебя, красавца моего, обижен… А ты — в отставку…

Входит ТАЧИБАНА.

ТАЧИБАНА. Прошу простить, что я без предварительного звонка, господин премьер. Примите мои поздравления по поводу прекрасно проведенной операции по уничтожению Блюхера. Великолепный сюрприз.

МЕРКУЛОВ. Ничего-ничего, не клюй наших, Тачибана. Вы — раскосы, хитры, да и мы не лыком шиты.

ТАЧИБАНА. Полковник, советую вам внимательно присмотреться к спекулянту по имени Чен.

ГИАЦИНТОВ. Кто? Чен? Это — мелюзга, биржевик и мелкий жулик.

ТАЧИБАНА. Мы зря не советуем.

ГИАЦИНТОВ. Чен? Странно. По-моему, вы ошибаетесь.

ТАЧИБАНА. А с Фривейским тоже ошибаемся?

ГИАЦИНТОВ. Тише, он в приемной.

ТАЧИБАНА. Его нет в приемной, он у шифровальщиков сейчас. Не надо учить меня конспирации…

МЕРКУЛОВ. Вы смотрите, зря Лешу не обижай-

те. Знаю я вас, кровопийц. Ни за что человека изничтожите. Может, чистый он…

ГИАЦИНТОВ. Мы аккуратны с ним предельно… Но Чен… Право — смешно…

ТАЧИБАНА. Если вы его упустите — мои контрразведчики вам этого не простят.

ГИАЦИНТОВ. Давайте каждый будем беспокоиться о своих делах.

ТАЧИБАНА. У нас у всех дела общие, давайте уговоримся раз и навсегда. Господин премьер, я должен поздравить вас с грандиозным успехом на фронте — красные отступают повсеместно.

МЕРКУЛОВ. Знаю.

ГИАЦИНТОВ. Есть предложение, которое требует японской поддержки.

ТАЧИБАНА. Назовите мне что-либо, не требующее здесь японской поддержки.

МЕРКУЛОВ. Не зарывайся, Тачибана. А то с Америкой обниматься стану.

ТАЧИБАНА. Америка — плохая любовница. Мы — надежней, господин премьер.

ГИАЦИНТОВ. Итак, моя просьба: через ваши дипломатические каналы надо передать сегодня чекистам в Читу: в дайренском поезде, во втором вагоне, едет мещанин Панызырин. В воротничке его френча зашиты письма от меня к генералу

Гржимальскому и удостоверение личности князя Мордвинова.

ТАЧИБАНА. По нашим сведениям, именно он должен был провести акцию по уничтожению Блюхера в Дайрене?

ГИАЦИНТОВ. Именно.

ТАЧИБАНА. Вы хотите рассчитаться с неудачливым агентом.

ГИАЦИНТОВ. Не его вина, что Блюхер столь внезапно уехал, никто этого не предполагал.

МЕРКУЛОВ. А в чем дело? Князя жаль.

ГИАЦИНТОВ. Я хочу подтолкнуть время, Спиридон Дионисьевич. В случае провала, а этот провал будет случайным, вне связи с Блюхером, у нас уговорено, что Мордвинов даст показания на генералов, живущих в Чите. А Блюхер к ним сейчас обращается, они ему особенно сейчас нужны.

ТАЧИБАНА. Несчастный князь. Я слышал, он довольно одаренный музыкант.

ГИАЦИНТОВ. Музыканты — народ экспансивный, а ЧК любит экспансивные показания. Но откуда у вас эти сведения? Он свою музыкальную страсть скрывал…

МЕРКУЛОВ. Открой, генерал, открой свой тайничок.

ТАЧИБАНА. Первая задача разведчика — знать

тайные страсти окружающих, так меня учит начальник имперской безопасности Ицувамо. И в заключение, господа: завтра в порт прибывает транспорт с танками, которые на фронте подтвердят стратегический успех белых войск.

ГИАЦИНТОВ. Вот это воистину — ура!

Входит ФРИВЕЙСКИЙ.

ФРИВЕЙСКИЙ. Господа! Спиридон Дионисьевич!

МЕРКУЛОВ. Ну что ты распелся? Говори.

ФРИВЕЙСКИЙ. Вот телеграмма из Берлина от царствующей династии Романовых. «Наши сердца и помыслы с вами, господин Меркулов, в вашей великолепной борьбе с большевиками».

МЕРКУЛОВ. Господи! Господи! Господи!!!

Отходит в угол и долго молится, стоя на коленях.

ГИАЦИНТОВ. Спасибо, Алешенька… Пойди в приемную, сядь к телефону, мне должны звонить — соединишь… А после поговорить надо.

ФРИВЕЙСКИЙ, быстро взглянув на Гиацинтова, уходит задом — очень медленно…

Картина пятая

Кабинет Блюхера. БЛЮХЕР с АДЪЮТАНТОМ.

АДЪЮТАНТ. Василий Константинович, последние сводки.

БЛЮХЕР.Спасибо. Из Владивостока шифровки от Исаева еще не было?

АДЪЮТАНТ. Нет.

БЛЮХЕР. Дьявол их всех забери… Как слепые котята тычемся… Ах, Сева, Сева… Максим Максимович… Что ж ты нас без ножа режешь… Посмотрите, там генералы еще не подошли?

АДЪЮТАНТ. Они уж с полчаса ждут.

БЛЮХЕР. Вы что, с ума сошли?

АДЪЮТАНТ. Интеллигенция нафталинная, от них все беды.

БЛЮХЕР. Вы коммунист?

АДЪЮТАНТ. Комсомолец.

БЛЮХЕР. Странно. А говорите, как базарная торговка. Запомните раз и навсегда: только тот поднимет руку на русскую интеллигенцию, кто задумал погубить революцию. Да-да, потому что вождь рабочей революции — интеллигент по фамилии Ленин. Зовите генералов.

АДЪЮТАНТ выходит. Появляются два ГЕНЕРАЛА в военной форме, но без погон и орденов.

БЛЮХЕР. Здравствуйте, граждане, присаживайтесь, пожалуйста.

ГЕНЕРАЛЫ садятся в кресла.

ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ. Мы были приглашены для беседы — мы пришли выслушать вас.

БЛЮХЕР. Я хотел бы познакомить вас с меморандумом, который Япония выдвинула в Дайрене.

ГЕНЕРАЛЫ читают меморандум.

Разобрали? Так вот, мы этот меморандум не приняли. И сразу же белые во главе с Молчановым по приказу японцев выступили против нас, чтобы русской кровью утвердить здесь японские интересы. Итак, вопрос на сообразительность: с кем должен быть русский патриот, любящий матушку-Родину, — с белыми, с Молчановым или с нами? Отвечать прошу по принципу: «да» — «нет»! Всяческая хреновина надоела — спасу нет!

ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ. Позвольте не отвечать на ваш вопрос, ибо генерал Молчанов — мой боевой товарищ, я с ним мерз в окопах в пятнадцатом году.

БЛЮХЕР. Хотите быть чистеньким?

ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ. Я обязан быть таковым по отношению к другу.

БЛЮХЕР. А по отношению к Родине — вы, генерал?

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ. Я не могу преступить грань. Большинство моих друзей находится в рядах тех, кто не с вами. Я — ни за них, ни за вас.

БЛЮХЕР. За кого ж?

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ. За Родину — простите великодушно драматизм ответа.

БЛЮХЕР. А генерал Брусилов не за Родину? А генерал Бонч-Бруевич не за Родину?! А генерал Каменев не за Родину?

ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ. Это запрещенный прием в дискуссии.

БЛЮХЕР. А я с вами не дискутирую. Времени нет — белые прут.

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ. Белые — тоже русские, гражданин министр.

БЛЮХЕР. А оружие у них чъе? И с каких пор иены стали русскими деньгами? Отчего они расплачиваются японскими иенами? А?! Или это — тоже запрещенный прием? По костям русских мужиков — «линкольны» торговцев поедут! Этого хотите?.

В кабинет Блюхера врывается ПОТАПОВ с тремя чекистами в кожаных куртках. Чекисты бросаются к генералам, обыскивают их.

ВТОРОЙ ГЕНЕРАЛ. Дикая комедия разыгрывалась, боже праведный…

БЛЮХЕР. В чем дело?

ПОТАПОВ. Сейчас доложу Уведите их! И оружие у них найдите, оружие. *(Генералов уводят.)*

Мы вчера сняли с поезда одного мещанина, который на поверку оказался князем Мордвиновым, связным Гиацинтова. Он шел на связь с генералами. У них тут заговор. Глава — Гржимальский, эти — на подхвате.

БЛЮХЕР. Вот сволочи, а…

ПОТАПОВ. По ним давно пуля плачет.

БЛЮХЕР. Доказательства есть?

ПОТАПОВ. Мордвинов все признал.

БЛЮХЕР. А факты? Улики? Доказательства?

ПОТАПОВ. Так без давления ж признал, Василий Константинович.

БЛЮХЕР. То, что признал, — это мура. Склады с оружием где? Явки, пароли? Конспиративные квартиры? Я тебе могу сказать, что сам — японский шпион. Поверишь, что ль?

ПОТАПОВ. Василин Константинович, странно ты говоришь.

У меня голова пухнет. Вроде — под защиту гидру берешь.

БЛЮХЕР. Я под защиту беру истину, разведка. Где остальные генералы?

ПОТАПОВ. В тюрьме.

БЛЮХЕР. А Мордвинов?

ПОТАПОВ. Тоже.

БЛЮХЕР. А ну, давай ко мне всех.

ПОТАПОВ. Они ж сырые…

БЛЮХЕР. От вареного яйца ноль пользы, витаминов нет.

А папочку с делом оставь, погляжу… Хотя нет… Ко мне — не надо, едем в тюрьму. Неужели все такие сволочи, а? Как же тогда русскому человеку верить, разведка?

Центр сцены. Рельсы. Церковь, а может быть, тень от креста на толпе крестьян. Дымятся пожарища. Слышны далекие бабьи причитания. В центре крестьянского схода ПОСТЫШЕВ и те два бойца, которых он остановил во время первого панического бегства, приводят на середину сходки КОЛЬКУ-анархиста.

ПОСТЫШЕВ. Погорельцы, идите сюда.

К Постышеву с тихим плачем подходят несколько мужиков и баб.

Кто вас жег?

БАБА. Вон стоит, ирод.

ПОСТЫШЕВ. Колька-анархист?

МУЖИК. Он…

ПОСТЫШЕВ. За что ты их пожег?

КОЛЬКА. А буржуи они.

ПОСТЫШЕВ. С чего взял?

КОЛЬКА. С того, что у всех избы соломой крыты, а у этих кровелем.

СТАРИК. Да господи! Кто ж тут скажет, что я такой-сякой! Семья у меня большая, все в труде! Оттого и кровель! Рази нет, мужики?!

Мужики молчат.

Чего молчите-та?! Мефошка, скажи! Пров, чего рыло воротишь, я ж тебе поле пахал!

ПОСТЫШЕВ. Что ж молчите, граждане? Если старик — кулак-мироед, у меня с Колькой один разговор будет, а если он справный мужик, работал в поте лица, так я все по-иному оценю. А ну, вот вы, гражданин.

МУЖИК. А я что? Я не знаю ничего.

ПОСТЫШЕВ. Сам из этой деревни?

МУЖИК. Ну а как же иначе, понятно, с этой…

ПОСТЫШЕВ. Деда знаешь?

МУЖИК. Какого деда?

ПОСТЫШЕВ. Вот этого?

СТАРИК. Меня, меня не знаешь, что ль?!

МУЖИК. Так рази он дед? Он и не дед вовсе. Кузьма он Пантелеев.

Из толпы выходит СТАРИЧОК с лысой головой.

ЛЫСЫЙ СТАРИК. Гражданин комиссар Постышев, дозволь мне слово сказать.

ПОСТЫШЕВ. Пожалуйста.

ЛЫСЫЙ СТАРИК. Ты мужика пытаешь, гражданин Постышев, а он нынче смущенный, мужик-то. Потому и молчит. Раньше справный мужик в мироедах ходил, а потом Ильич сказал, что справный мужик — тоже человек, а не каркадил нильский, и жить наравне может. Потому как — нэп! Тут вздох по нас прошел и радость, а теперя энтот вот гражданин сказал, что он заместитель Ильича, и приказал всех справных пожечь. Вот оттого мужик смущенный и боится сказать, что Кузьма Пантелеев мужик как мужик, на себе пашет, на себе таскает, из себя жгут вьет. Я — сирота, живу Христа ради, мне страх неизвестный, потому как терять нечего, а остальные — молчат. Вы-то уйдете, а энтот — гражданин анархист — тут останется, а с им — гарнизон, а он им водки выдал и мяса со складов, они за него кому хошь

голову прошибут. Вот и все!

ПОСТЫШЕВ. Колька, ты отчего ж решил, что Пантелеев буржуй?

СТАРИК. Да какой я буржуй?! Вон зубы-то мои где? Нет их! Голод да цинга скрошила.

КОЛЬКА. Ишь, комедь вкручивает. Небось забыл, как вчера орал: «Пропадите вы все пропадом с вашими красными!»

СТАРИК. Так ты ж мой комод грабил!

КОЛЬКА. Я революционер! Мне на твои комоды семь раз плевать! А ты что для революции сделал?!

СТАРИК. Блюхеру коня отдал! Сыновей к нему в армию проводил!

КОЛЬКА. Про это молчи: заместо этого ты землю получил.

К Кольке медленно идет простоволосая БАБА. Она бросается на Кольку. Ее с трудом оттаскивают от него.

БАБА. Плевать я хотела на вашу землю и твою революцию! Гад! На кой она мне, если ты Манечку мою опоганил!

ПОСТЫШЕВ. Чего вы для него требуете?

БАБА. Смерти ему мало. Мало ему смерти, иуде подлому, нет на тебе креста, а еще Ильичом клял-

ся, паразит.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Может, простить, товарищ Постышев?

ПОСТЫШЕВ. Ишь, либералы. Ты — добреньким, а комиссар пусть стреляет, да? А он красным знаменем клялся, когда дома жег и девочек насиловал! А если б он эдакое с твоим отцом и с твоей дочкой изобразил — тоже простил бы?!

ВТОРОЙ БОЕЦ. К стенке его! К стенке!

Гремит залп. Кричит воронье. В наступившей темноте — унылый колокольный звон.

Картина шестая

«Версаль». В номере ВАНЮШИН и ГИАЦИНТОВ.

ВАНЮШИН. Ты меня странно позвал, Кирилл. Какая-нибудь неприятность?

ГИАЦИНТОВ. Я тебя похитрить позвал.

ВАНЮШИН. Устал?

ГИАЦИНТОВ. От хитрости не устают, от нее гибнут.

ВАНЮШИН. Афоризмы, афоризмы, кругом афоризмы. Они красивы, а истина уродлива.

ГИАЦИНТОВ. Сие не афоризм, сие — аксиома. Что Исаева с собой не привез?

ВАНЮШИН. Странный человек — ты ж меня просил быть одному.

ГИАЦИНТОВ. Ты ему доверяешь больше, чем себе.

ВАНЮШИН. Себе я не доверяю, я по натуре растратчик.

ГИАЦИНТОВ. Коля, ты к Фривейскому как относишься?

ВАНЮШИН. Никак. Он мне не интересен. А что?

ГИАЦИНТОВ. Ничего. Поинтересоваться можно?

ВАНЮШИН. Контрразведка зря не интересуется.

ГИАЦИНТОВ. А с Максимом ты давно знаком?

ВАНЮШИН. Я с ним прошел весь Ледовый поход от Омска до Харбина.

ГИАЦИНТОВ. А что, если мы его возьмем к себе?

ВАНЮШИН. Он не согласится. Сволочи, в кофе соли много кладут.

ГИАЦИНТОВ. Турецкий рецепт.

ВАНЮШИН. Ерунда, просто кофе зазеленелый, иначе он плесенью отдает, если без соли-то.

ГИАЦИНТОВ. Ты скоро на фронт?

ВАНЮШИН. Сегодня.

ГИАЦИНТОВ. Вдвоем с министром иностранных дел? Подкрепить наступление?

ВАНЮШИН. Да.

ГИАЦИНТОВ. Не опасно?

ВАНЮШИН. Я щекотку люблю.

ГИАЦИНТОВ. Слушай, я снова об Исаеве…

В кабинет входит один из сотрудников Гиацинтова — агент СЛЕСАРЬ.

Ну?

СЛЕСАРЬ. Боязно выразиться.

ГИАЦИНТОВ. А ты не бойся. Извини, Коля, пусть он мне пошепчет, дисциплина есть дисциплина.

СЛЕСАРЬ *(тихо, Гиацинтову).* Танки, что сегодня пришли в порт, кем-то выведены из строя. В бензопровод соляная кислота залита — они теперь на месяц в ремонт станут.

ГИАЦИНТОВ швыряет на стол ложку, стремительно выходит из номера. Следом за ним СЛЕСАРЬ.

ВАНЮШИН. Что случилось, Кирилл?

ГИАЦИНТОВ *(с порога).* А, пустяки, я скоро вернусь (*уходит*).

ВАНЮШИН уходит. Следом появляются ИСАЕВ и ФРИВЕЙСКИЙ.

ИСАЕВ. Послушайте, Алекс. Не хотите со мной иметь дел — и не надо, бог ты мой праведный! Вы уже достаточно сделали как патриот России и Белого движения. То, что вы передали мне сейчас, — поверьте, Высший монархический совет в Берлине благодарно запомнит, и запомнит надолго. Вы оказали громадную услугу мне, как газетчику, в частности, а общему Белому движению — вообще. И вдруг впали в транс, чуть не истерику разыгрываете.

ФРИВЕЙСКИЙ. Это не истерика. Я спать не могу. Мне кажется, что паркет колышется, понимаете вы это или нет?! Я все время борюсь с желанием пойти к Гиацинтову и упасть перед ним на колени! А он меня уже третий раз щупал, каверзы спрашивал…

ИСАЕВ. Да? Занятно… Меня Гиацинтов как-то приглашал на охоту, я не смог, а в следующий раз, если пригласит, я поеду и поговорю с ним о его дружбе с нами.

ФРИВЕЙСКИЙ. Вы с ума сошли! Этот зверь нас уничтожит!

ИСАЕВ. Или вы играете со мной какую-то непонятную мне игру, или вы близорукий, добрый и мягкий человек.

ФРИВЕЙСКИЙ. Послушайте, вы, стальной муж-

чина, я смотрю на все и вижу, что вы тоже всего боитесь! Всего!

ИСАЕВ. Я? Я — нет. Почему же я? Отнюдь. Можно подумать, что это я скопировал совершенно секретный план зимнего наступления на красных. Можно подумать, что это я давал журналисту смотреть план японских поставок танков и орудий. Прежде чем говорить о моей боязни, подумайте — нет ли у вас психического расстройства?

ФРИВЕЙСКИЙ. Что?! Погодите, погодите... Умственное расстройство? А что — это выход. Почему вы молчите? Это — выход? Ну, не молчите не!

ИСАЕВ. Я молчу, потому что вы болтаете ерунду, мой друг. Подумайте, в какое положение вы меня ставите? А симуляция нервного расстройства вообще дело в высшей мере полезное. Только надо придумывать всегда что-то поумней, а не просто пить чернила и закусывать экскрементами. Ироническая бессонница, религиозный экстаз — вот это да. Это нравится обществу, этому сочувствуют. Или еще лучше запой. Это в России высшее проявление гражданской мужественности.

ФРИВЕЙСКИЙ. Максим, я слушаю вас, а мне страшно — ведь вы не из Берлина.

ИСАЕВ. Откуда же?

ФРИВЕЙСКИЙ. Зачем Берлину план нашего наступления, который я сейчас передал вам?

ИСАЕВ. Затем, чтобы координировать общую борьбу, мой друг.

ФРИВЕЙСКИЙ. А кому более важно знать зимний план — Берлину или Москве с Читой?

ИСАЕВ. Москве с Читой, конечно. А к чему это? Уж не считаете ли меня агентом ЧК?

ФРИВЕЙСКИЙ. Именно.

ИСАЕВ. Нам надо знать все, чтобы противостоять Москве. Кстати, я принес вам немного денег — это фунты. Откажетесь — буду смертельно обижен.

ФРИВЕЙСКИЙ. Когда вы рядом — мне так спокойно.

ИСАЕВ. Может статься, я к вам переведу. У нас будет милая квартира. Выпишем девочек из Южной Америки — они все танцовщицы и душки. Ну, до свиданья, Алекс, я пошел в редакцию.

ФРИВЕЙСКИЙ. Гиацинтов готовит специальные группы для внедрения в ряды красных — это, наверно, интересно Берлину.

ИСАЕВ. Интересно. Когда отправляют? Пароли? Связи?

ФРИВЕЙСКИЙ. Этого не знает никто.

ИСАЕВ. Уж и никто?

ФРИВЕЙСКИЙ. Действительно, никто.

ИСАЕВ. Ну и бог с ними, важно — дело хорошее.

ИСАЕВ уходит. ФРИВЕЙСКИЙ некоторое время сидит неподвижно, а потом начинает смеяться нервическим смехом. Так он подходит к зеркалу и долго себя рассматривает.

ФРИВЕЙСКИЙ. Все! Конец! Влип!

На просцениуме в лучах прожекторов — ИСАЕВ и ЧЕН.

ИСАЕВ. Здесь все для Блюхера. Это надо передать немедленно. Это — все для наших, это — победа.

ЧЕН. За мной идет хвост. Что-то они, видимо, пронюхали.

ИСАЕВ. Внизу — машина Ванюшина. Мы оторвемся от слежки, идем. Если мы не сможем это переправить Блюхеру — тогда лучше пулю в лоб.

ЧЕН. Тебе не стоит мараться. Лучше я один. У нас ведь логика и сердце живут разной жизнью. Ну, до свиданья, друг. Не надо. Не ходи. Я пойду один. Передам. Не могу не передать — так точнее…

Картина седьмая

Тюрьма. В камере — арестованные ГЕНЕРАЛЫ. БЛЮХЕР стоит у двери молча. ПОТАПОВ входит с МОРДВИНОВЫМ. Долгая пауза.

БЛЮХЕР. Кто знает этого человека?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Я.

БЛЮХЕР. Кто вы?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Генерал Генштаба, профессор академии — в прошлом, ныне — продавец салата Гржимальский.

БЛЮХЕР. Ну и как растет салатец?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Благодарю. Весьма бурно. Навоза много в наше время — оттого и салат.

БЛЮХЕР. Откуда вы знаете этого человека?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Он воевал в моей дивизии.

БЛЮХЕР. Когда видались в последний раз?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Осенью шестнадцатого года.

БЛЮХЕР. Это понятно. Я спрашиваю, когда вы с ним виделись последний раз здесь, в Чите, во время общей работы в контрреволюционном подполье?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Я не отвечаю на провокационные вопросы.

БЛЮХЕР. Мордвинов, скажите, когда вы в

последний роз передавали Гржимальскому инструкции от Гиацинтова? Молчите? Ладно. Потапов, покажите генералам показания Мордвинова.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. У меня изъяли очки.

БЛЮХЕР. Зачитайте ему.

ПОТАПОВ. «Генерал Гржимальский, закончив организацию заговора, назначил день выступления офицерства на тот момент, когда один из приглашенных к Блюхеру генералов совершит акт возмездия над красным тираном».

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Великолепная юмореска.

ГЕНЕРАЛ. Хватит! Больше сил нет. Стреляйте сразу! К чему эти издевательства? Хватит!

БЛЮХЕР. Тише! Спокойно! Мордвинов, это вы писали?

МОРДВИНОВ. Я отказываюсь отвечать на все вопросы.

БЛЮХЕР. Мне можете не отвечать. Ответьте своим друзьям.

ПОТАПОВ. Да чего вы с ними чикаетесь?..

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Действительно, что вы с нами чикаетесь?

БЛЮХЕР. Люблю военных, которые хорошо держатся. Мордвинов, вас, случаем, не принудили дать такие показания?

ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ. Грязный чекистский фокус, господа!

БЛЮХЕР. Мордвинов, вот вам бумага и перо. Пишите в присутствии ваших знакомых, что вас заставили дать эти показания. Виновные будут наказаны по законам военного времени. Вас отпущу немедля.

МОРДВИНОВ садится к столу и пишет на листке бумаги.

ПОТАПОВ. Василий Константинович! Кому ты веришь? Он же сам все сказал, я его пальцем не касался!

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Свежо предание…

БЛЮХЕР. Вы не подписались, Мордвинов. Вот теперь хорошо. *(Читает написанное Мордвиновым).* Сукин сын… Хитер, хитер, а — дурак! Кто из вас может читать без очков, господа кадровые военные? Если у вас нет зрячих — тогда черт с вами! Некогда мне тут канитель разводить! Обходились без вас и впредь обойдемся! Вот показания Мордвинова, которые он дал сегодня нашей разведке против всех вас! А вот что он написал тут! Зрячие увидят: все написано одной рукой! Извольте убедиться, что это правда, перед тем, как я отпущу вас по домам — возить

дерьмо на салатовые грядки! *(БЛЮХЕР передает Гржимальскому папку с документами.)* А этого провокатора к стенке!

МОРДВИНОВ. А-а-а! Они били меня, господа, они били меня! Они вынудили меня написать это. Мне втыкали иглы под ногти!

БЛЮХЕР. Когда вас арестовали?!

МОРДВИНОВ. Они мучили меня, мучили!

БЛЮХЕР. А ну, отвечать — когда вас взяли?!

МОРДВИНОВ. Вчера.

БЛЮХЕР. Руки на стол!

МОРДВИНОВ. Что?

БЛЮХЕР. Руки на стол! Где следы от иголок?

МОРДВИНОВ. Они били меня! Они меня били шомполами!

БЛЮХЕР. Разденьтесь!

МОРДВИНОВ в истерике отбегает в угол.

Раздень его, Потапов, Если след от побоев увижу — тебя расстреляю. как врага революции!

Мордвинова раздевают. На его теле нет ни царапины.

Гад ты, а не князь! Показать тебе, какие следы остаются от побоев в тюрьме и от белых пуль?

Сбрасывает с себя китель. Тело его все в пере-

вязках и страшных шрамах. Надевает китель.

Вот какие следы остаются от побоев и пуль, собака! А вы, кадровые?! Тоже мне, хороши! У меня фронт, а я тут вами занимаюсь! А вы боитесь своего дружка Молчанова обидеть! А он вас всех хотел с помощью Мордвинова и Гиацинтова сделать покойниками. Тоже мне — национальные мученики! Национальные обыватели! Отпусти их по домам, Потапов! Иди выдай иностранные паспорта — пусть уматывают в Японию, к черту и к дьяволу! А этого истерика уведи, слышать не могу плачущих мужчин.

ПОТАПОВ уводит Мордвинова. Долгая пауза.

Вы можете отправляться спать. Идите-идите, я вас не держу.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Какое ваше воинское звание в прошлом?

БЛЮХЕР. Унтер-офицер.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Сколько вам лет?

БЛЮХЕР. Тридцать.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. У вас есть дети?

БЛЮХЕР. Моя трехмесячная дочь умерла месяц назад. Еще вопросы будут?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Вы считаете, что наша помощь будет важным вкладом в дело защиты

России от интервентов?

БЛЮХЕР. Генерал, ну что вы, словно дама у соблазнителя. Ей-бог, даже странно мне слышать все это. У детей это называется «и хочется, и колется, и мама не велит»…

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Ваше счастье заключается в том, что вы помните, как говорили в детстве. Я уже это забыл. Когда мы вам будем нужны?

БЛЮХЕР. Завтра. Растащут ведь Россию, по кускам разорвут… Белые, за ними — японцы! Казаки, за ними — японцы.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Воевать с Молчановым можно, оскорблять нет смысла; оскорбляя противника, вы роняете себя.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Какой вам был смысл так яростно защищать нас от вашего чекиста?

БЛЮХЕР. Я не вас защищал, я защищал революцию, потому что революция только тогда непобедима, если все ее участники соблюдают закон.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ.Позвольте все же представиться: Андрей Иванович Гржимальский.

БЛЮХЕР. Давно бы так. (*Обходит всех и здоровается с каждым за руку.*)

В камеру вбегает *ПОТАПОВ.*

ПОТАПОВ. Василий Константинович! Товарищ Блюхер!

БЛЮХЕР. Что?! Что? От него?

ПОТАПОВ. Да.

БЛЮХЕР и ПОТАПОВ выбегают из камеры. Они — в луче прожекторов.

Вот он! Вот он — весь тут! План наступления… Ах, Исаев, ай да Чен, ай да ребята!

БЛЮХЕР принимает из рук Потапова пакет и начинает сначала медленно, а потом яростно и лихо отплясывать «Камаринскую».

Картина восьмая

Кабинет Гиацинтова. ГИАЦИНТОВ и ИСАЕВ.

ГИАЦИНТОВ. Исполняющим обязанности главного редактора во время отъезда Ванюшина были назначены вы?

ИСАЕВ. Я.

ГИАЦИНТОВ. Прошу вас объяснить мне, как на страницы газеты попала эта возмутительная гнусность!

ИСАЕВ. О чем вы?

ГИАЦИНТОВ. Я имею в виду статью о продаж-

ных девках, голодных детях и смертности в чумных бараках.

ИСАЕВ. Этот материал в номер поставил я.

ГИАЦИНТОВ. Вы?! Будет вам, Макс… Я не верю.

ИСАЕВ. Тем не менее, это правда.

ГИАЦИНТОВ. Зачем вы это сделали?

ИСАЕВ. А тираж? Газету раскупили за десять минут. Такой материал публика читает взахлеб. Согласитесь — нет ничего приятнее, как прочесть о несчастьях ближнего.

ГИАЦИНТОВ. Вы с ума сошли.

ИСАЕВ. Когда я работал в пресс-группе Колчака, мы не боялись печатать правды. И потом — отчего красные не боятся говорить о своих трудностях, а мы обязаны молчать?

ГИАЦИНТОВ. При чем здесь красные? Вы опозорили наше белое, свободное, всем обеспеченное государство! Вы это сделали в обход цензуры?

ИСАЕВ. Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре.

ГИАЦИНТОВ. Кто писал статью?

ИСАЕВ. Черт его знает.

ГИАЦИНТОВ. Где текст?

ИСАЕВ. Валяется в редакции.

ГИАЦИНТОВ. У кого?

ИСАЕВ. По-видимому, на столе у метранпажа.

ГИАЦИНТОВ. Метранпаж арестован. Он клянется, что подлинника в типографии никто не видел.

ИСАЕВ. Э, ерунда…

ГИАЦИНТОВ. Вы видели, как набирался этот материал?

ИСАЕВ. Конечно.

ГИАЦИНТОВ. А наборщик не помнит.

ИСАЕВ. Немудрено — он набирает буквы, а не слова, до него смысл материала никогда не доходит.

ГИАЦИНТОВ. Резонно. На чем был написан материал?

ИСАЕВ. На листочках.

ГИАЦИНТОВ. Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки? Большие или маленькие? Чистые или в линеечку?

ИСАЕВ. Кажется, в клеточку.

ГИАЦИНТОВ. Ясно. А через кого этот материал попал к вам?

ИСАЕВ. Я обнаружил его у себя на столе, лежащим поверх гранок.

ГИАЦИНТОВ. А когда это было?

ИСАЕВ. Вчера, естественно.

ГИАЦИНТОВ. Кто дежурил в редакции?

ИСАЕВ. Не знаю.

ГИАЦИНТОВ. Дежурная утверждает, что утром никто из посторонних в редакцию не заходил, кроме девицы.

ИСАЕВ. Старая сплетница. Уволю.

ГИАЦИНТОВ. Правильно поступите. И кто была эта девица?

ИСАЕВ. Полковник, вы вольны казнить меня. Можете даже заковать в кандалы.

ГИАЦИНТОВ. Когда казнят, Макс, в кандалы не заковывают. Надобности нет — человек в прострации. Вроде как у нашего Фривейского.

ИСАЕВ. Бедняга. Врачи говорят, что это серьезно.

ГИАЦИНТОВ. Да, они утверждают, что у него последняя стадия шизофрении, вызванная переутомлением. Несчастный почти невменяем.

ИСАЕВ. Я буду молить Бога о его выздоровлении.

ГИАЦИНТОВ. Макс, а ведь у вас в то утро была Сашенька Гаврилина, не иначе.

ИСАЕВ. Уж не следите ли вы за нами?

ГИАЦИНТОВ. Угадали.

ИСАЕВ. Это ужасно. Спасите нас от вас!

ГИАЦИНТОВ. Как вас спасешь, если вы глупости делаете?

ИСАЕВ. Боже праведный, какие глупости?

ГИАЦИНТОВ. Макс, а вы с Ченом знакомы?

ИСАЕВ. Какой это?

ГИАЦИНТОВ. Кореец, спекулянт.

ИСАЕВ. Знаком. Конечно, знаком.

ГИАЦИНТОВ. Откуда вы его знаете?

ИСАЕВ. Пару раз он меня крепко надул.

ГИАЦИНТОВ. В чем?

ИСАЕВ. Дал подвод на темную лошадку, я поставил и проиграл.

ГИАЦИНТОВ. Мы его вчера взяли. Темный он человек?

ИСАЕВ. По-моему, обычный спекулянт.

ГИАЦИНТОВ. Вы давеча просились на охоту: скоро поедем бить изюбря.

ИСАЕВ. Куда?

ГИАЦИНТОВ. *У* меня тут есть один егерь.

ИСАЕВ. У меня тоже. Тимоха, может, слыхали?

ГИАЦИНТОВ. Тимоха? Знаю. Кто скорей изюбря обложит, к тому и двинемся. И — в заключение: это, конечно, чистая формальность, но, пожалуйста, подпишите подписку о невыезде.

Занавес

Действие третье

Картина первая

Кабинет с зарешеченными окнами. ГИАЦИНТОВ и ЧЕН.

ГИАЦИНТОВ. Послушайте, приятель, кто ко мне попал, тот сам не выходит. Если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством проверена. Вы подсовывали материалы политического характера, чтобы поссорить атамана с нами.

ЧЕН. Мне смешно вас слышать, Кирилл Николаевич. Мое дело — сенсация. И на бирже, и в политике. За свежий товар больше платят. В городе тогда носились слухи о конфликте между нашими и Семеновым, а что там и как — не это ведь важно, Кирилл Николаевич, а важно, чтоб первым.

ГИАЦИНТОВ. Вполне рационально — вполне. А зачем водичку с соляной кислотой в танки подливали?

ЧЕН. Клевета и гнусный вымысел.

ГИАЦИНТОВ. Какой смысл моим людям клеветать на вас?

ЧЕН. Я и сам голову ломаю. Может, спутали меня с кем?

ГИАЦИНТОВ. Да нет. Я сам был бы рад, коли б спутали.

У вас столько влиятельных защитников. Вон Фривейский об вас так хлопочет…

ЧЕН. У Александра Александровича чуткое сердце.

ГИАЦИНТОВ. Эк вы лихо своих друзей определяете. Любопытно, а как вы определите Максим Максимыча?

ЧЕН. Кого?

ГИАЦИНТОВ. Максим Максимовича,

ЧЕН. Я не имею чести знать,

ГИАЦИНТОВ. Полноте.

ЧЕН. Я обязан говорить вам только правду.

ГИАЦИНТОВ (*достав из стола конверт*). Поглядите.

ЧЕН. Что это?

ГИАЦИНТОВ. Фотографические карточки. Вот вы с Исаевым на бегах. Вот вы в «Версале». Вот вы, Сашенька Гаврилина и Исаев возле чумных бараков. Вот вы держите блокнот, на котором Сашенька Гаврилина пишет что-то возле ночлежного дома. Вот вы с Исаевым в порту.

ЧЕН. У меня громадная клиентура! Большинство уважаемых людей города играет на бирже и на бегах, разве запомнить всех? Даже ваши

сотрудники поигрывают.

ГИАЦИНТОВ. Это мне известно. Вы кого персонально имеете в виду?

ЧЕН. Многих.

ГИАЦИНТОВ. А Исаева забыли?!

ЧЕН. Забыл.

ГИАЦИНТОВ. Вы, между прочим, своим упорством ему хуже делаете. Я уж забеспокоился, что это вы его выгораживаете, не боитесь ли чего. Надо будет им заняться.

ЧЕН. Конечно. Проверка — великая вещь.

ГИАЦИНТОВ. Приятель, вы что, в дураках меня хотите оставить?

ЧЕН. Ну что вы, Кирилл Николаевич?! Я ведь не против того, что меня посадили, только зачем ярлыки клеить? На черном рынке играл? Играл! Бизнес имел с американцами? Имел! За это готов понести наказание.

ГИАЦИНТОВ. А где ваши деньги от бизнеса?

ЧЕН. Кутежи и проститутки жизнь отнимут, не то что деньги.

ГИАЦИНТОВ. Опять-таки верно. Значит, поручителя за вас не найдется.

ЧЕН. Кого угодно обо мне спросите — только хорошее скажут.

ГИАЦИНТОВ. Ну что ж, сейчас пригласим того,

кто вас вспомнил.

Нажимает звонок. Появляется СОТРУДНИК.

Пусть войдет Слесарь.

Входит агент СЛЕСАРЬ.

СЛЕСАРЬ. Здравствуйте, гражданин чекист Марейкис! Не думали, что встретимся? А я — вот он, весь перед вами! Или забыли, как меня на Лубянке допрашивали в девятнадцатом?

Бьет Чена по лицу.

ЧЕН. Я протестую, Кирилл Николаевич!

СЛЕСАРЬ. Я те, сука, попротестую!

ГИАЦИНТОВ. Успокойся, Слесарь. Поменьше эмоций. Спасибо тебе, Сергей Дмитриевич. Отойди к дверке. Ну вот, милейший Чен. Партию вы свою проиграли. Хотите жить — давайте говорить начистоту, как разведчики.

ЧЕН. Здесь какая-то трагическая ошибка, Кирилл Николаевич.

ГИАЦИНТОВ. Пеняйте на себя. Вас станут пытать. Не гуманно? Так помогите мне не быть жестоким. Вы сами делаете нас зверьми. Черт с ними, с танками! Черт с Исаевым! Скажите мне, что вы передали тому человеку, который ушел от

нас, и я оставлю вам жизнь! Какой пакет вы ему сунули — скажите, и — все!

ЧЕН. Кирилл Николаевич, у ваших сотрудников богатая фантазия…

ГИАЦИНТОВ. Сергей Дмитриевич, забирайте его и работайте вволю. И по вашей методике — иголочку в мизинчик, там мясцо молоденькое, чтоб кровь клопчиками, клопчиками — кап, кап! Потечет! Потечет, чекистская харя!

СЛЕСАРЬ уводит ЧЕНА. ГИАЦИНТОВ вызывает АДЪЮТАНТА.

Партию шахмат?

АДЪЮТАНТ. О… С наслаждением…

Садятся за шахматную доску.

ГИАЦИНТОВ. Прижали вы меня, дружочек.

АДЪЮТАНТ. О, Кирилл Николаевич.

ГИАЦИНТОВ. Что это вы взяли манеру через каждую фразу «о» говорить?

АДЪЮТАНТ. Весьма эмоционально…

ГИАЦИНТОВ. Не нахожу. Шах.

АДЪЮТАНТ. Гарде.

Входит СЛЕСАРЬ.

ГИАЦИНТОВ. Ну?

СЛЕСАРЬ. Молчит.

ГИАЦИНТОВ. Ай-яй-яй… Стыдно… Работайте еще…

СЛЕСАРЬ уходит.

И тем не менее шах.

АДЪЮТАНТ. Я беру вашу королеву.

ГИАЦИНТОВ. Ферзя. Вы родились счастливчиком.

АДЪЮТАНТ. Счастливчиком становятся, Кирилл Николаевич. Рождаются все одинаковыми.

ГИАЦИНТОВ. Очень наивное заблуждение, Воля. Мат. Так вот, зовите нашего доктора. Это — последний шанс.

АДЪЮТАНТ выходит. Появляются ДОКТОР с саквояжем и два сотрудника. СЛЕСАРЬ вводит ЧЕНА — избитого и окровавленного.

Сейчас мы вспрыснем вам, милейший Чен, только что полученный препарат, который парализует вашу волю. И помимо своей воли вы расскажете все, что нас будет интересовать. Конечно, это лишит меня возможности потом устроить над вами суд, но вы сами во всем виноваты. После того, как я все от вас узнаю, вы станете ренегатом для своих. У вас обожают это

звучное иностранное слово — ренегат!

ДОКТОР достает из саквояжа шприц и ампулу.

Вы плачете, милейший Чен?

ЧЕН. Да.

ГИАЦИНТОВ. Отчего? Я б и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук, но я сначала хотел испытать конституционные пути — и не моя вина, что вы оказались таким букой. Ну, ничего, через пару часов после того, как вы кончите давать правдивые показания, я напою вас кагором и отправлю спать в камеру. Но перестаньте, право, слезы у взрослого мужчины… Доктор, прошу!

ЧЕН бросается к окну и что есть силы ударяется о чугунные решетки головой. Падает.

Сволочь!!! Сволочь!!! Сволочь!

ДОКТОР. Он мертв.

ГИАЦИНТОВ. Всем сидеть здесь. И тихо, пожалуйста, у меня сердце вниз подъекнуло.

Центр сцены. Рельсы, уходящие в Москву. Идет заседание райкома комсомола. Два секретаря райкома, одна девушка в красной косынке. Рядом — БЛЮХЕР.

СЕКРЕТАРЬ. Пусть зайдет следующий.

Входит ПАХОМ ВАСИЛЬЕВ.

ВАСИЛЬЕВ. Здорово, ребята! На мобилизационную комиссию райкома комсы прибыл Пахом Васильев. Готов умереть за революцию.

БЛЮХЕР. Ты лучше за нее поживи.

ВАСИЛЬЕВ. А этот тип откуда?

ДЕВУШКА. Этот тип… Этот тип!

БЛЮХЕР. Я из военведа.

ВАСИЛЬЕВ. Рожа у тебя больно старорежимная. У меня к тем, кто бритый, и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни.

БЛЮХЕР. Понятно. Какую главную мечту имеешь в жизни?

ВАСИЛЬЕВ. Торжество революции в мировом масштабе.

ДЕВУШКА. Что сделал для этого?

ВАСИЛЬЕВ. Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Провел со своей комсой семь коммунистических субботников. Отремонтировал в нашем депо три полевые кухни в сверхурочное время! Отдал для нужд фронта свои хромовые сапоги!

БЛЮХЕР. Голенища бутылочками?

ВАСИЛЬЕВ. Что я — старик? Гармоника — напуск, сдвигаешь их, бывало, так аж скрежет

стоит, как предсмертный стон мирового империализма!

БЛЮХЕР. Годится. Следующий.

СЕКРЕТАРЬ. Получаешь направление на бронепоезд.

ВАСИЛЬЕВ. Доверие оправдаю. Вернусь с победой.

СЕКРЕТАРЬ. Следующий.

Входит НИКИТА ШУВАЛОВ.

НИКИТА. Шувалов, Никита.

СЕКРЕТАРЬ. Давно в рядах комсы?

НИКИТА. Третий год.

ДЕВУШКА. Что сделал для революции?

НИКИТА. Ничего.

ДЕВУШКА. Разъясни.

НИКИТА. И так понятно. Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на «кукушке». Я вожу бараньи туши с бойни на базар для купцов советского выпуска.

БЛЮХЕР. А если советские купцы помогают кормить народ? Ты все равно против?

НИКИТА. Да не против я. Плевать мне на них семь раз с присыпью. Меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычат: погоди, ты еще пригодишься революции, погоди.

БЛЮХЕР. Дождался. Идешь машинистом на бронепоезд.

НИКИТА. Давно бы так, а то тянут чего не поймешь. *(Уходит.)*

СЕКРЕТАРЬ. Это хорошо, что на бронепоезд. У него белые отца в топке сожгли. Он на них бешеный.

Входит ПОТАПОВ.

ПОТАПОВ. Здравствуйте, товарищи. Василий Константинович, на минуту.

БЛЮХЕР. Что стряслось?

ПОТАПОВ. Взят Чен. Вокруг Исаева кольцо, связь с ним оборвалась.

БЛЮХЕР. Едем в штаб.

Картина вторая

ВАНЮШИН, ИСАЕВ и СЛЕСАРЬ. Номер «Версаля».

ВАНЮШИН *(он пьян).* Слушай, цинковое лицо… Зачем ты здесь торчишь? Мы ж тебя прогоняли сто раз.

СЛЕСАРЬ. Господин Ванюшин, служба… Вот на Максим Максимыча покушение подполье тутош-

ное готовит как на продажного белого писаку — я к ему личным охранником прикреплен. И чтоб ни на шаг… Служба, господин Ванюшин, служба, куда от нее денешься…

ВАНЮШИН. Черт с тобой, сиди. Только на меня не смотри — у тебя глаза оловянные.

ИСАЕВ. Николай Иванович, мудрость — это спокойствие…

ВАНЮШИН. Вот врезочка, Максим Максимыч. Из московской газеты «Раннее утро» от 17 октября 1912 года. Полюбопытствуйте. Только вслух. Я наслаждаюсь, когда слушаю это.

ИСАЕВ. «Вчера у мировой судьи слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Раннета по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и будучи навеселе, Раннет подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Раннет заявил, что он не желал оскорблять Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья, однако, приговорил Раннета к семи дням ареста».

ВАНЮШИН. Заголовочек пропустили, Максим.

Вы обязательно проговорите мне заголовочек.

ИСАЕВ. Заголовочек — извольте: «В России все можно?!»

ВАНЮШИН. Ха-ха-ха! Какая прелесть, а?! У нас все можно! Все и всем! Любому скоту, и торговцу, и вонючему иностранишке! И любому интеллигентишке!

ИСАЕВ. Зря вы нашу интеллигенцию браните. Она бессильна не от того, что плоха, а потому, что законов у нас было много, а закона не было.

ВАНЮШИН.Все кончено, Максим. Вы понимаете — мы пропали.

ИСАЕВ. О чем вы? Зачем такой пессимизм?

ВАНЮШИН. В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном харбинском хлеву и подстилал под себя прекрасную заграничную солому. Воровал хлеб, а потом здесь — восстание, Меркуловы… Я поверил. Я приехал сюда и делал все, что мог, во имя победы белой идеи. Но кому она нужна здесь? Мне. Вам. А еще? Кому еще? Остальные норовят побольше заграбастать, урвать от пирога — а там хоть потоп! В Хабаровске, когда мы его освободили от красных, был разгул, семеновцы насиловали гимназисток и вешали учителей, а Меркулов метался по лесному складу — на идею ему плевать, важно кедрач вы-

везти немедля… Ужас, ужас… скотство… Каждый о себе, о России — никто! Народ нас проклянет. Какие, к черту, белые-освободители?! Бандиты и торгаши!

Появляются САШЕНЬКА и гиацинтовский АДЪЮТАНТ.

ИСАЕВ. Здравствуйте, Сашенька.

ВАНЮШИН. Здравствуйте, лапонька. Вы что это так оделись — в пимы и тулупчик? Карнавал по случаю наших побед?

САШЕНЬКА. Нет. Нас Гиацинтов на охоту позвал.

ИСАЕВ. А с вами кто, Сашенька? Физиономия мне знакомая.

САШЕНЬКА. Это Воля, он повар, его полковник со мной послал — мы первыми едем, чтоб вас на заимке у Тимохи встретить. Вы ведь все вечером подъедете?

ИСАЕВ. Мы вечером, а полковник к утру, у него дела.

ВАНЮШИН. Сашенька, а что это вы так похорошели? Не к любви ль?

САШЕНЬКА. К оной, Николай Иванович, к оной!

САШЕНЬКА уходит.

ВАНЮШИН. А теперь пьем спокойно и думаем о Боге. Вы когда-нибудь слышали, как волчатники воют — волчицей кричат, волка подзывают? Я умею. Хотите, покажу? *(ВАНЮШИН ложится на пол и страшно, протяжно "габит" — поет по-волчьи.)* Вчера генерал Савицкий предложил американцам за миллион долларов купить все земли Уссурийского казачьего войска. Торговать землей Родины! Этого пока еще не было! Все-таки действительно рыба начинает гнить с головы.

Появляется МАША с цыганом-гитаристом. Она поет.

У всех купчишек генералин в мозгу! Интеллигент не падок до власти — в этом трагедия нашего общества! У нас до власти падки разночинцы, торговцы-купчишки и попы! А интеллигенты только правдоискательствуют! Идиоты! А правды в России — нет! Нет ее, правды-то! Нет!

ИСАЕВ. Успокойтесь, Николай Иванович…

ВАНЮШИН. А я спокоен! Я спокоен, как животное. Я спокоен, как тот изюбрь, которого вы завтра убьете. У вас, кстати, патронов на мою долю не найдется?

ИСАЕВ. А у меня только два. Хотя держите — я с собой на изюбря больше одного патрона не беру,

это нечестно.

ВАНЮШИН. А если промажете?

ИСАЕВ. Не промажу. Я злой на охоте.

ВАНЮШИН уходит.

Хорошо ты поешь, Машенька, сердце холодит.

МАША. Красивый, а ты на охоту не езди…

ИСАЕВ. Почему?

МАША. Я сон видела вещий, будто у меня зуб выпал.

ИСАЕВ. Ну, будь здорова.

ИСАЕВ уходит в сопровождении СЛЕСАРЯ.

МАША. Гриша, а гитару с того дерева делают, что и гроб?

ЦЫГАН. Нет… Гробики лучше из сосны, она гниет чище.

Появляется ГИАЦИНТОВ.

ГИАЦИНТОВ. Гриша, выйди, сынок, мне с Машенькой надо Обмолвиться.

ЦЫГАН уходит.

МАША. Он не мешает мне, Гриня-то. Он меня любит, не то что вы все.

ГИАЦИНТОВ. Сядь. На руку, погадай.

МАША. Позолотить надо.

ГИАЦИНТОВ. Мало я тебе золотил.

МАША. Удача тебя ждет, да плохая это удача будет, черный. Кровавая она выйдет, эта твоя удача. Не бери красивого с собой — не бери. Оставь его. Хочешь, я к тебе сегодня поеду? За это всю ночь с тобой проведу.

ГИАЦИНТОВ. Не болтай, не болтай. А поехать — и так поедешь, иначе табор ваш прогоню из города.

МАША. А мы дорог не боимся.

ГИАЦИНТОВ. Значит, удача, говоришь? Ну ступай, спасибо тебе.

МАША. Нет, ты мою просьбу уважь.

ГИАЦИНТОВ. Ну ступай, ступай. Какие ты глупости говоришь, право; красивый — мой приятель, ты не думай, я его на хорошее зову.

МАША. Смотри, а то я с нашим чертом говорить стану. Он — рогатый, он кого хошь найдет.

ГИАЦИНТОВ. А хвост есть?

МАША. Смеешься, черный. Гляди, я правду говорю.

МАША уходит. ГИАЦИНТОВ пьет, потом снимает телефонную трубку.

ГИАЦИНТОВ. Больницу мне. Алло, это отделение для душевнобольных? Здравствуйте. Как

самочувствие господина Фривейского? Ясно. Понятно. Спасибо. До свидания. Сейчас я буду.

ГИАЦИНТОВ уходит.

Картина третья

Охотничья заимка Тимохи. ВАНЮШИН спит на лавке. Агент СЛЕСАРЬ и АДЪЮТАНТ ВОЛЯ спят у двери, чтобы никто не мог войти или выйти. САШЕНЬКА и ИСАЕВ сидят у окна, занесенного снегом.

САШЕНЬКА. Если прижаться щекой к замерзшему окну, то сначала холодно, а потом жарко — как жжет. Попробуйте, Максим Максимыч.

ИСАЕВ. Я при вас несколько глупей, Сашенька. Мне обязательно при вас хочется говорить самые умные вещи и обязательно афоризмами.

САШЕНЬКА. Это вам, наверно, передается мое состояние, мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура.

ИСАЕВ. Молодой месяц слева. Загадывайте — сбудется.

САШЕНЬКА. Загадала.

ИСАЕВ. У вас глазищи японские.

САШЕНЬКА. Да?

ИСАЕВ. Будто не знаете…

САШЕНЬКА. Знаю.

ИСАЕВ. Зачем переспрашиваете?

САШЕНЬКА. Зачем, зачем… Хочу, чтобы вы в меня влюбились…

ИСАЕВ *(прижавшись щекой к окну).* Сначала жарко, а потом ужасно холодно.

САШЕНЬКА. У вас на скулах румянец с синевой, как у склеротика.

ИСАЕВ. Спасибо.

САШЕНЬКА. Я вас нарочно злю.

ИСАЕВ. Давайте играть в ладушки.

САШЕНЬКА. Я не умею.

ИСАЕВ. Умеете. Это вы просто забыли. Сейчас я стану петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесъ, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке.

САШЕНЬКА. А вы сильно будете хлопать?

ИСАЕВ. Нет, совсем не сильно.

САШЕНЬКА. Давайте.

ИСАЕВ. Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! А что ели? Кашку! А что пили?

САШЕНЬКА. Спирт. Вы не по правде играете, я не боюсь вас, вон вы мне поддаетесь и в глаза не глядите.

ИСАЕВ. Сашенька, а вот если б люди были вместе — долго, вечность, а потом один из них взял и уехал, но чтоб обязательно и в скорости вернуться, тогда как?

САШЕНЬКА. О чем это вы, Максим Максимович? Я ж отказалась ехать с отцом в Париж, коли вы тоже здесь остаетесь.

ИСАЕВ. Когда бы вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах. Я кажусь маленьким, жирным и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа, как новый пятак.

САШЕНЬКА. Зачем вы так говорите? Я не княжна Мэри, я прожила революцию и пять лет войны, меня окольно не надо отталкивать, вы мне лучше все прямо в глаза говорите, а то я бог весть что подумаю.

ИСАЕВ берет деревянную свистелочку с подоконника и тихонько играет протяжную, заунывную мелодию.

САШЕНЬКА. Что вы молчите? Ну? Ответьте же что-нибудь! Вы когда-нибудь очень пожалеете, что не позволили мне всегда быть подле вас.

ИСАЕВ. Я знаю.

САШЕНЬКА. Ничего вы не знаете…

ИСАЕВ. Смотрите, какая тайга под луной. Будто

декорация. У вас лоб выпуклый, хороший.

САШЕНЬКА. Вы, верно, думаете, что в нем ума много?

ИСАЕВ. Вы — умная.

САШЕНЬКА. Женщине надо родиться дурой, тогда ее ждет счастье.

ИСАЕВ. Это не ваши слова.

САШЕНЬКА. Мои.

ИСАЕВ. Сашенька… Моей профессии… журналиста противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но раньше я вообще никогда не любил; не успел, наверное, потому что главным для меня были… мои читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви и силы, всего сердца и мозга — иначе незачем огород городить. Так я считал.

САШЕНЬКА. Вы и сейчас продолжаете считать так?

ИСАЕВ. Да.

САШЕНЬКА. Я поцелую вас, Максим Максимыч, можно?.. Милый мой, дорогой человек, а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают и фамилию вашу пополам режут — я сама видела.

ИСАЕВ. Сашенька, Сашечка, Саша…

САШЕНЬКА. Я пойду за вами куда позовете. Я

готова нести на спине поклажу, в руках — весла, а в зубах — сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть подле вас всюду — в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь — я останусь подле вас, что бы вам ни грозило.

ИСАЕВ. Скоро утро. Ложитесь, я буду сидеть подле вас.

САШЕНЬКА ложится на кровать. ИСАЕВ укрывает ее медвежьей полостью. Сидит возле нее и поет ей колыбельную песню. Открывается дверь.

СЛЕСАРЬ *(со сна).* Кто?! Что?! Куда?!

ТИМОХА. Тише ты. Я это, егерь Тимоха.

СЛЕСАРЬ. А-а… *(Сонно.)* Ну, проходи.

ИСАЕВ.Ну?

ТИМОХА. Будет зверь. Айда спать, а то завтра маятность предстоит.

ИСАЕВ. Места для нас определил?

ТИМОХА. Порядок.

ИСАЕВ ложится подле Сашеньки. ТИМОХА укладывается на полу и тушит лампу.

ИСАЕВ. Сашенька, я очень верю прекрасному глаголу — «ждать». А вы? Спит. Сашенька — единственная женщина, которую я мечтал видеть всегда рядом…

Окно зимовья освещается желтым светом автомобильных фар.

Входит ГИАЦИНТОВ с тремя сотрудниками контрразведки.

ГИАЦИНТОВ. Тише топайте, люди спят. (*Он подходит к постели и долго смотрит на лежащего Исаева.*)

Центр сцены. Вдали — грохот канонады. Рваная колючая проволока. Луна искрится на снегу. Через это снежное мертвое поле, среди трупов убитых, идут БЛЮХЕР и ПОСТЫШЕВ.

БЛЮХЕР. Красный. Белый. Белый. Казак. Красный…

ПОСТЫШЕВ. Русские они все…

БЛЮХЕР. Правда крови стоит.

ПОСТЫШЕВ. Завтрашний бой решит все.

БЛЮХЕР. Слышишь?

ПОСТЫШЕВ. Что?

БЛЮХЕР. Вроде — песня…

ПОСТЫШЕВ. Нет. Лес стонет. Мороз стволы ломает.

БЛЮХЕР. Сердце разрывается, когда людей посылаешь с голыми руками на колючую проволоку, под пулеметы…

ПОСТЫШЕВ. Правда крови стоит.

БЛЮХЕР. Не забыли б только про это.

ПОСТЫШЕВ. Такое не забывают.

БЛЮХЕР. Знаешь, мне иногда прямо крикнуть хочется, и чтоб крик мой, словно обелиск, остался навечно: «Люди, дети, внуки! Помните про то, как голодные солдаты революции умирали за ваше счастье! Обязательно помните! Забыв тех героев, которые свершили самую великую и добрую революцию, вы предадите самих себя, свое сердце, свою мечту!»

ПОСТЫШЕВ. Они будут помнить.

БЛЮХЕР. Пошли в окопы. Через час — штурм Волочаевки.

ПОСТЫШЕВ. Слышишь?

БЛЮХЕР. Что?

ПОСТЫШЕВ. Ночь какая божественная.

БЛЮХЕР. Стрелять перестали совсем…

ПОСТЫШЕВ. В такую ночь стрелять — красоту рушить.

БЛЮХЕР. Ну, до утра, Пал Петрович.

ПОСТЫШЕВ. До утра, Василий Константинович…

БЛЮХЕР. Пал Петрович… А ведь верно… Поют… Мужики поют… Слышишь…

Поют мужики протяжную песню — о доме, который бросили, о детях, которые остались одни,

о бабах, которые одни горемычничают. Подходит ГРЖИМАЛЬСКИЙ.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Василий Константинович, дальнейшее ожидание деморализует войска. Моя жена в свое время ставила любительские спектакли. У них был термин — «передержать спектакль». Пусть лучше выпустить чуть раньше, поможет энтузиазм, напор, горение.

ПОСТЫШЕВ. Андрей Иванович, дорогой, фронт — не спектакль, там не из игрушечных пистолетов стреляют.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Если б я решил саботировать — то лучшей ситуации не сыщешь. Все вокруг ропщут, считают, что это мы, бывшие генералы, удерживаем вас от последнего броска…

БЛЮХЕ Р. Кто именно?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Увольте от точного ответа, я считаю это доносительством.

БЛЮХЕР. Помните Пушкина. «Мы ленивы и нелюбопытны»? Мы еще склонны прикрывать невежество — в военной науке тоже — презрительной ухмылкой обожравшегося культурой Фауста. Соскобли с иного «Азбуку коммунизма» — и предстанет голенький крикун-обыватель.

ПОСТЫШЕВ. А что касается недовольных медлительностью Блюхера — то это нам выгодно: это

дезинфекция, которой во Владивостоке не могут не верить, потому что она исходит от преданных, но недалеких людей.

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Вы страшные хитрецы.

БЛЮХЕР. А как без нее воевать-то, без хитрости? Какие у вас пропозиции по завтрашнему бою?

ГРЖИМАЛЬСКИЙ. Здесь я предлагаю вам широкую деятельность…

БЛЮХЕР. У индусов есть поговорка: «Горе тому народу, правитель которого слишком деятелен». Как бы нам такому правителю не уподобиться? Ну, пошли в штаб, будем все перепроверять напоследок.

ПОСТЫШЕВ. Счастливо.

БЛЮХЕР. Ты в окопы?

ПОСТЫШЕВ. Да.

БЛЮХЕР и ГРЖИМАЛЬСКИЙ уходят. ПОСТЫШЕВ стоит, замерев, слушая песню. К нему подходят ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ БОЙЦЫ.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Пал Петров, когда ж начнем?

ВТОРОЙ БОЕЦ. Душа истомилась — сковырнуть надо белого гада, в дома вернуться, землю нежить.

ПОСТЫШЕВ. Землю нежить…

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Мы теперь заново рожденные,

мы теперь все окрест вдвойне любим: и небо, и бабу, и землю, и дите.

ПОСТЫШЕВ. Это как понять — «заново рожденные»?

ВТОРОЙ БОЕЦ. Кто из труса выкарабкался и стал врагу в глаз смотреть.

ПОСТЫШЕВ. Ну, пошли. Вон солнце забрезжило. Через час — штурм Волочаевской сопки.

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Слава тебе, господи! Спаси, сохрани и помилуй — наше красное дело!

ПОСТЫШЕВ. Думаешь — слышит он тебя?

ПЕРВЫЙ БОЕЦ. Этого я не знаю, а порядок есть порядок! Даешь Волочаевку, мать твою белого гада семь раз так!

Картина четвертая

Утро в лесу. Снег, голубое небо, и вдали — черная стена тайги. Возле большого стога — ГИАЦИНТОВ с ИСАЕВЫМ.

ГИАЦИНТОВ. Скоро начнется гон…

ИСАЕВ. А вон тот ваш человек, что под деревом, у него ружья нет.

ГИАЦИНТОВ. У него два нагана и граната, не беспокойтесь за вооруженность моих сотруд-

ников.

ИСАЕВ. Молчу.

ГИАЦИНТОВ. Погодите молчать, Макс, у нас еще есть пять минут для разговора. Я вчера был у Фривейского, он очень плох, но тем не менее мы с ним объяснились.

ИСАЕВ. Бедный Александр Александрович…

ГИАЦИНТОВ. Да, не говорите. Я счастлив, что мы с вами наконец остались один на один.

ИСАЕВ. А вон там — человек.

ГИАЦИНТОВ. А это не человек. Это филер. Мечтал уединиться и вот — мечты сбылись. В городе — никак не выходит, чтоб один на один. Звать к себе — интеллигенция станет вас сторониться, как возможного агента охранки. У вас? Всегда полно народа. А в кафе «Банзай» вы так часто бывали с Ченом, что вас там хорошо запомнили.

ИСАЕВ. Там прекрасно делали рыбу.

ГИАЦИНТОВ. Карп по-монастырски?

ИСАЕВ. Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра.

ГИАЦИНТОВ. Да, помню, как-то раз пробовал, это занятно. Но мы отклонились в сторону от разговора. Он будет краток. Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занят-

но и изобилует белыми пятнами, словно карта Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее, оно элегантно, оно достойно вас. Вы — обаяшка, а это не просто достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня, после отстрела изюбря, вы скажете мне «да». Понимаете меня?

ИСАЕВ. Я готов сейчас сказать вам «да». Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь?

ГИАЦИНТОВ. Вам пять лет? Вы плохо выговариваете букву «р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, дуся, мы ж с вами люди вполне зрелого возраста.

ИСАЕВ. А если — «нет»?

ГИАЦИНТОВ. Умница. Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал предупредить вас об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хоронить вас, как случайно застрелившегося на охоте.

ИСАЕВ. Такая жестокость, Кирилл Николаевич…

ГИАЦИНТОВ. С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя.

ИСАЕВ. Клянусь Богом, я буду нем как рыба.

ГИАЦИНТОВ. Мне уже говорил про это ваш

приятель Чен.

ИСАЕВ. Кто?

ГИАЦИНТОВ. Чен.

ИСАЕВ. Ув-ле-чен. Смешная рифма.

ГИАЦИНТОВ. Бросьте-бросьте. Неужто вы не знали, что Чен — здешний резидент ЧК?

ИСАЕВ. Сейчас я начну хохотать и спугну изюбра, полковник.

ГИАЦИНТОВ. Хватит, Исаев. Вы были обложены мной. Я наблюдал за вами все последнее время, как ревнивый муж. Ясно вам? Партия сыграна, надо выбирать достойный выход.

ИСАЕВ. Кирилл Николаевич, а вы знаете, что у контрразведчиков мания подозрительности — профессиональная болезнь?

ГИАЦИНТОВ. Наслышан.

ИСАЕВ. Любопытно, в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права занемогших на боевом посту?

ГИАЦИНТОВ. Хватит. Только не вздумайте шутить. Целить в изюбря буду один я. Ваш патрончик мои люди разрядили.

ИСАЕВ. Тогда мне нечего здесь делать. Я домой пойду.

ГИАЦИНТОВ. Значит, «да»?

ИСАЕВ. Нет.

ГИАЦИНТОВ. Это пока «нет». А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами и произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть только одна опасность — заиграться, Так вот с вами я заигрался, мне обратно нельзя отрабатывать. После того, как вы мне скажете «да», я объясню вам — зачем вы мне нужны.

Слышно, как в лесу ТИМОХА начинает загон. Он кричит: «Ай, давай, давай, давай! Пошел на полковника! Пошел! Пошел!» В загоне раздается несколько выстрелов. После первого же выстрела из стога вылезают четверо людей во главе с ПОТАПОВЫМ. ГИАЦИНТОВА обезоруживают. ИСАЕВ стреляет в Слесаря.

ИСАЕВ. Это тебе за Чена, гад! Готов агент Слесарь. Полковник, у нас мало времени и шутить мы не будем. Быстро вперед, если побежите — пристрелю, нам терять нечего.

ГИАЦИНТОВ идет вперед, в лес, подняв руки вверх.

Слышны выстрелы в загоне, крики ТИМОХИ и гиацинтовских сотрудников.

Эпилог

Так же, как в прологе, на сцене, на фоне рельсов, уходящих в Москву, стоит БЛЮХЕР, взяв под козырек. Он внимательно смотрит в зал и провожает глазами — из одного конца в другой — проходящие воинские части. Гремит песня «По долинам и по взгорьям». БЛЮХЕР берет под козырек. К нему подходит ИСАЕВ — в форме комбрига с орденами на груди — и становится рядом. Потом подходят ПОСТЫШЕВ, ПОТАПОВ, ГРЖИМАЛЬСКИЙ.

БЛЮХЕР. Ест теперь силища. Ишь, как поют. Силища… Такую — никому не одолеть… Никогда!

Звучит песня:

И останутся, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни!..

Занавес

Провокация

Действие с перерывом на ночь

Посвящается Роману Кармену

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЖУРНАЛИСТ, он же полковник советской разведки МАКСИМ ИСАЕВ

РОГМЮЛЛЕР, оберштурмбаннфюрер СС, он же ФРЭД

АНИ, агент РОГМЮЛЛЕРА

ПЬЕР РЕПУБЛИКЭН, он же доброволец испанских интербригад ФРИЦ КЛАМ

ШАРЛЬ, официант, он же ЖЮЛЬ ДАВАР, начальник контрразведки одной из интербригад

ПЕРВЫЙ СД

ВТОРОЙ СД

ТРЕТИЙ СД

АЗИАТ, агент РОГМЮЛЛЕРА

ТАНЦОВЩИЦА

ТАНЦОРЫ-БЛИЗНЕЦЫ

ЛИЗ ДЖУРОВИЧ, журналистка

ШЕФ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

МОНАХ

Кинопролог в этой пьесе должен быть взят из фильма Кармена и Симонова «Гренада, Гренада, Гренада моя...». Кадры этой кинопоэмы должны показать последние дни республиканской Испании, горечь поражения и в то же время неистребимое желание продолжать борьбу до победы, за новую, республиканскую, свободную Испанию.

1

Маленькое варьете в нейтральной стране. На сцене варьете в центре зала певице АНИ поет песенку. Временами, отрываясь от записной книжки, на Ани, улыбаясь, смотрит ЖУРНАЛИСТ. Она улыбается ему. В отдельном кабинете сидят три офицера из службы политической разведки. ПЕРВЫЙ СД внимательно наблюдает за ЖУРНАЛИСТОМ. АНИ кончила петь, ей поаплодировали.

ПЕРВЫЙ СД. Журналист заказал еще виски.
ВТОРОЙ СД. Меня чертовски мучит изжога.
ТРЕТИЙ СД. Выпейте соды.

Входит старый ПРОДАВЕЦ газет.

ПРОДАВЕЦ. Последний выпуск вечерних газет! Франция интернирует республиканцев на границе! Мадрид чествует победу Франко! Предстоящее выступление канцлера Германии Гитлера! Таинственное исчезновение из политической тюрьмы Барселоны командира интернациональных бригад Пьера Республикэна! Беглеца разыскивают силы безопасности в аэропортах Парижа, Рима, Берлина и Мадрида! Литвинов выступит в Лиге Наций! Последние новости!

ВТОРОЙ СД. Пожалуйста, все газеты.

ПРОДАВЕЦ. Прошу вас. (*Уходит.*)

ТРЕТИЙ СД. Ну, что там? О Республикэне есть подробности?

ВТОРОЙ СД. (*читая газету*). Теперь он придет только сюда. Ему больше некуда деться. Рогмюллер сработал точно. Он всучил прессе именно то, что нам нужно. Здесь — единственное место, через которое он будет уходить в Москву.

ТРЕТИЙ СД. Сколько дней певица работает с ЖУРНАЛИСТОМ?

ПЕРВЫЙ СД. Третий день. Они говорят, как философы на диспуте.

ВТОРОЙ СД. Он приятный парень. В таких влюбляются.

ПЕРВЫЙ СД. Пусть влюбляется.

ВТОРОЙ СД. Она — самый ценный агент Рогмюллера.

ТРЕТИЙ СД. Где он, кстати?

ПЕРВЫЙ СД. Сейчас придет. (*Смотрит на часы.*) У него еще есть две минуты. Он любит поражать точностью.

ВТОРОЙ СД. Рогмюллер спал с ней?

ПЕРВЫЙ СД. Меня это тоже интересует.

ВТОРОЙ СД. Сверьте часы. Оберштурмбаннфюрер СС Рогмюллер!

Через зал идет маленький, седой, с моложавым лицом, обворожительно улыбающийся человек. Он мило раскланивается со знакомыми.

РОГМЮЛЛЕР (*высокому знакомому*). Анри, я выиграл три сета у нашего приятеля. У него неплохой удар с левой, но, говоря откровенно, играть он не умеет. (*Полной даме.*) Миссис Штейнберг, я не советую вам брать Леже у Феликса, я не верю ему, он может всучить подделку. (*Молодой девушке.*) Мисс Даулло, к сожалению, я не смогу отвести вас по тропам в горы — завтра я должен опробовать фуникулер у девятой отметки. (*Молодому парню.*) Добрый вечер, ваше сиятельство…

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ (*перебив его*). Вы свинья, Фрэд. Вы подонок.

РОГМЮЛЛЕР. Ваше сиятельство, я предупреждал вашего секретаря…

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Заткнитесь! Вы подвели моих друзей. Они ждали вас два дня, чтобы идти на ледник…

РОГМЮЛЛЕР. Но, ваше сиятельство…

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Подите прочь!

РОГМЮЛЛЕР сдержанно кланяется и заходит в отдельный кабинет.

ТРОЕ СД поднимаются.

РОГМЮЛЛЕР. (*Лицо стало морщинистым, отечным, старым, без улыбки. Очень сдержан в жестах.*) Здравствуйте, ребята, рад вас видеть. Прошу садиться.

ТРЕТИЙ СД. Виски, пива?

РОГМЮЛЛЕР. Кофе. (*Просматривает газеты.*) Моя дезинформация в прессе сработала. Его засекли люди нашего военного атташе в Лондоне. Он брал билет сюда.

ВТОРОЙ СД. Какой рейс?

РОГМЮЛЛЕР. Не знаю. Он оторвался от слежки. Люди из Лондона сообщают, что он будет здесь завтра у журналиста с архивом интернациональных бригад — желтый кожаный саквояж — от двенадцати до часу. Мы возьмем его здесь. И

никаких претензий: нейтральная страна.

ПЕРВЫЙ СД (*продолжая вести наблюдения*). Журналист послал певице воздушный поцелуй.

РОГМЮЛЛЕР. Вам здесь не следует задерживаться. У журналиста точный глаз. Я заочно встречался с ним два раза: в Испании и Нюрнберге.

ВТОРОЙ СД. Журналист — из профессионалов? Или любитель?

РОГМЮЛЛЕР. По-моему, из любителей. Вроде господина Хемингуэя. Впрочем, в Берлине считают, что он кадровый сотрудник русской разведки. Я с этим не согласен…

ТРЕТИЙ СД. Стоило тогда охотиться за ним в Испании?

РОГМЮЛЛЕР. Стоило. Его разоблачительные статьи против нашей помощи Франко были опасны, как танки или самолеты. Он будоражил общественное мнение, а это страшнее танков и опасней работы кадрового разведчика…

ПЕРВЫЙ СД. Недолго же он молчал после той вашей операции.

РОГМЮЛЛЕР. Это не моя вина.

ТРЕТИЙ СД. А чья?

РОГМЮЛЛЕР. Хватит о прошлом. Давайте подумаем о настоящем. Вы поселитесь на вилле

Пронто. Организуйте там дежурство. Машина журналиста и Республикэна доедет только до виллы Пронто, мои механики позаботятся об этом. Так что мы их возьмем тихо, без стрельбы. И уведем через горы к нам, в рейх.

ВТОРОЙ СД. А если они решат лететь?

РОГМЮЛЛЕР. И журналист, и Республикэн знают, что авиапорты блокированы. У них одна дорога: через восточную границу, машиной.

ПЕРВЫЙ СД. И — тем не менее: если они решат лететь?

РОГМЮЛЛЕР. Один шанс из миллиона. Тем не менее я предусмотрел и это. Ани, которая работает с ним, сообщит нам заранее, если они решат уходить воздухом. От виллы до аэропорта сорок миль — вы успеете обернуться. Там в горах есть две площадки для отдыха, мы легко их возьмем — пустое шоссе, много слепых поворотов…

ВТОРОЙ СД. Почему вы думаете, что Ани будет знать, каким путем они решат уходить?

РОГМЮЛЛЕР. Операцией руковожу я, не правда ли? Так что давайте разграничим функции: каждому свое. Ну, счастливо. Ждите моих новостей.

РОГМЮЛЛЕР поднялся, следом за ним — ТРОЕ СД. Обменялись рукопожатиями.

СД ушли, РОГМЮЛЛЕР садится за столик возле

эстрады. АНИ подходит к РОГМЮЛЛЕРУ.

АНИ. Хэлло, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Хэлло, Ани.

Подходит ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ.

РОГМЮЛЛЕР. Ани — кофе, мне — теплое молоко.

ОФИЦИАНТ (*показывая на горло*). Миндалины?

РОГМЮЛЛЕР. Вы прозорливец, Шарль.

ОФИЦИАНТ. Я прослежу, чтобы молоко было лишь слегка подогрето.

Отходит.

РОГМЮЛЛЕР. Вы плохо выглядите, Ани. Устали? С ним трудно работать?

АНИ. Вы часто видите во сне песок?

РОГМЮЛЛЕР. Ни разу не видел. Во сне я всегда вижу дерьмо. И еще я часто вижу, как лечу в пропасть. Первое — к деньгам, второе — свидетельствует, что я продолжаю расти… Мой стареющий организм бросает вызов природе. Падать в пропасть — это к росту.

АНИ. А я в последнее время вижу песок. Это плохой сон.

РОГМЮЛЛЕР. Ерунда… Не верьте снам…

АНИ. Фрэд, вы тоже верите снам. Все верят снам

и приметам. Все. Только идиоты не верят снам.

РОГМЮЛЛЕР. Как у вас с ним? (*Ани пожала плечами.*) Вы не ответили.

АНИ. Женщину легко подчинить себе. Но после того как женщина подчинилась и это не рождено любовью, всегда появляется протест. Он, правда, не осмыслен, но это тем страшнее.

РОГМЮЛЛЕР. Протест обычно целенаправлен. Против чего направлен ваш протест?

АНИ. Я вроде оккупированной страны…

РОГМЮЛЛЕР. Бросьте вы себя изводить, право слово. В мире все так относительно, так перепутались все понятия… Сплошь и рядом добро оказывается злом и, наоборот, зло, рассмотренное с точки зрения исторической целесообразности, — на самом деле не что иное, как добро.

АНИ. Так вы оправдаете инквизицию.

РОГМЮЛЛЕР. Инквизиция не нуждается в оправдании.

АНИ. Когда вы так говорите, люди отшатываются от нас, как от прокаженных.

РОГМЮЛЛЕР. А мы этого не боимся. Инквизиция стимулировала развитие разума, она — матерь прогресса, дай тогда церковь свободу мысли, и мысль бы замерла. Мысль развивается только в том случае, если ей поставлены препоны. В наш

век тоже надо ставить препоны мысли. Советы Востока и демократии Запада этого сделать не в состоянии. Мы, наш режим, пошли на великий подвиг, взяв на себя тяжкое бремя называть правду — правдой, и человечество, избранная его кровь, воздвигнет в нашу честь монументы, когда мир войдет в пору золотого века. И мы с вами — маленькие звенья в этом великом эксперименте. Разве не высшая радость подчинить себя, свою сущность этому эксперименту?

АНИ (*кивнув на ЖУРНАЛИСТА*). А при чем здесь он?

РОГМЮЛЛЕР. Он мешает нашему эксперименту.

АНИ. Вы думаете, он…

РОГМЮЛЛЕР. Ани, я разучился думать, поверив в предначертанное нам. Зато научился честно выполнять свой долг.

АНИ. Я боюсь, что у меня с ним ничего не выйдет. Он другой, он не похож на остальных.

РОГМЮЛЛЕР. Все мужчины одинаковы, за столом и в постели во всяком случае.

АНИ. Вы судите по себе?

РОГМЮЛЛЕР. Ани, у меня сейчас нет времени на дискуссии… Вы должны быть с ним сегодня и завтра до двенадцати часов. Когда к нему придет

высокий черный человек со шрамом на лбу и с желтым саквояжем в руках, вы позвоните к портье и попросите подать вам такси, все логично: мужчины ценят женщин, которые оставляют их наедине с друзьями.

АНИ. Вам нужен человек со шрамом?

РОГМЮЛЛЕР. Да.

АНИ (*кивая на ЖУРНАЛИСТА*). Он вас не интересует?

РОГМЮЛЛЕР. Постольку поскольку…

Из-за занавески вышел ОФИЦИАНТ. Поставил на стол молоко и кофе.

ОФИЦИАНТ. Я проследил за молоком сам. Оно чуть теплое.

РОГМЮЛЛЕР. Спасибо, Шарль.

ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ медленно отошел от столика. Двинулся через зал. Остановился возле другого столика, за которым сидел МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ.

ОФИЦИАНТ. Ваше сиятельство, я не советую вам сегодня брать форель. Рыба утомлена нерестом, она идет сейчас вверх к водопадам, поэтому мясо у нее сухое и волокнистое. Рекомендую взять угря под белым вином. Прислали великолепных угрей из Финляндии. Они хорошо готовят

мужчину к вечерней партии.

МОЛОДОЙ ПАРЕНЬ. Шарль, я еще не в том возрасте, чтобы готовить себя к любви особо калорийной пищей.

ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ кланяется царственным сдержанным поклоном и подходит к столику ЖУРНАЛИСТА.

ОФИЦИАНТ. Еще виски?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

ОФИЦИАНТ (*убирая со стола, очень тихо*). Она работает на гестапо.

ЖУРНАЛИСТ. Ну и прекрасно…

ОФИЦИАНТ. Тебе надо уходить.

ЖУРНАЛИСТ. Почему? Она будет мне лучшей защитой.

ОФИЦИАНТ. Тебе надо уходить!

ЖУРНАЛИСТ (*громко*). И обязательно — воды.

ОФИЦИАНТ. О да!

АНИ подходит к ЖУРНАЛИСТУ.

ЖУРНАЛИСТ. Вы сегодня очень хороши. (*Протягивает ей фиалку.*)

АНИ. Спасибо.

ЖУРНАЛИСТ. Кофе?

АНИ. Виски. Вы когда-нибудь цыган слушали?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

АНИ. Где?

ЖУРНАЛИСТ. В Испании…

АНИ. А сегодня у нас поет цыган из России. Вы бывали в России?

ЖУРНАЛИСТ. Бывал.

На сцене в луче прожектора появляется цыган. Он поет тоскливую, прекрасную песню о родине. Овация. Цыган исчезает со сцены в полной темноте.

АНИ. Цыгане кокетничают любовью к родине. Но я это понимаю перед и после, а когда он поет, я только слушаю это, и ничего больше. Наверное, самая великая сила искусства в том, что оно позволяет человеку забыть себя.

ЖУРНАЛИСТ. По-моему, смысл искусства в том, что оно заставляет человека вспоминать себя.

АНИ. Вы говорите как старец.

ЖУРНАЛИСТ. Я на вас очень сердился, когда вы сидели с тем седым красавцем.

АНИ. Вам кажется, что он красив?

ЖУРНАЛИСТ. Кто вас разозлил?

АНИ. Заметно?

ЖУРНАЛИСТ. Если сощуриться.

АНИ. Женщина должна быть покорной. Я

знаю.

ЖУРНАЛИСТ. Верно. Лучшее оружие женщины — ее беззащитность, но она это начинает понимать, научившись защищаться.

АНИ. Вы когда-нибудь завидовали толстым торговцам, которые покупают любовь? Без ваших философских выкладок?

ЖУРНАЛИСТ. Вы сказали пошлость… Зачем?

АНИ. Мечтаю всю жизнь встретить хотя бы одного слабого мужчину. Как Христа.

ЖУРНАЛИСТ. Разве Христос был слабым?

АНИ. Конечно. В этом Его сила.

ЖУРНАЛИСТ. Верите в Бога?

АНИ. Да.

ЖУРНАЛИСТ. Давно?

АНИ. Восемь месяцев.

ЖУРНАЛИСТ. Мы начинаем искать Христа, осознав свое бессилие перед жизненными обстоятельствами. А потом с Божьей помощью выкрутимся и забываем свою веру. О Боге надо думать перед тем, как делаешь зло. После того как зло сделано, Бог не вернется к человеку. Что же случилось восемь месяцев назад?

АНИ. Я любила такого же странного человека, как вы. Он был горноспасателем. Он погиб восемь месяцев назад… Пошел в горы с двумя жирными

торговцами и не вернулся… Вы верите в Бога?

ЖУРНАЛИСТ. Порой. Это мешает моей профессии.

АНИ. Вы профессию выбрали по доброй воле?

ЖУРНАЛИСТ. Профессия как родители: ее не выбирают. Если профессии выбирать — наступит не жизнь, а существование.

АНИ. Может быть, высшая истина заключается именно в том, чтобы человек существовал? Может, открыв в себе душу, он замахнулся на то высшее, что не может быть им понято? Может, именно за это людям мстят совестью, отчаяньем, любовью, самотерзанием? Может, разум, совесть, добро, честь — все это придуманные дьяволом химеры?

ЖУРНАЛИСТ. Может быть. Попробуйте освободить себя от стыда, любви, горя. Наверное, это очень удобно.

АНИ. Я стараюсь. В этом мире подлости нельзя жить по законам чести. Это как ходить юлой среди похотливых скотов.

ЖУРНАЛИСТ (*прислушиваясь к объявленному номеру пантомимы*). Этого вчера не было.

АНИ. Эмигранты из Германии. Антифашисты.

Начинается пантомима. Юноша и девушка танцуют на сцене. Оба почти совсем обнажены.

Из темноты появляется громадный мужчина в коричневом трико и в фуражке штурмовика. А двое, не замечая его, танцуют то чарльстон, то фокстрот. Штурмовик подходит к девушке, приглашает ее на танец — манерно и воспитанно. Мы видим, что на боку у него кортик. Он начинает танцевать с девушкой неуклюжий падеграс. Девушка и юноша, переглядываясь, смеются над ним, потом девушка вырывается от коричневого, и они с юношей начинают танцевать упоительный, веселый чарльстон. Коричневый негодует. Он вырывает девушку у юноши, показывает им, какие танцы прилично танцевать, но над ним смеются, и девушка возвращается к юноше. Тогда коричневый закалывает юношу, бросается на девушку, обнимает ее, кидает на пол… Темнота… Бравурный нацистский марш. В луче прожектора — девушка, теперь уже не в белом, а в коричневой униформе, марширует послушно за штурмовиком, танцует с ним спортивные танцы — те, что танцевали на фашистских праздествах в Нюрнберге. Потом, неожиданно для зрителей, в руках у штурмовика и девушки оказываются автоматы, и они маршируют прямо на зрительный зал, а юноша в белом агонизирует, и девушка видит это. На мгновение она останав-

ливается, она очнулась, она замирает, а затем стреляет в себя из автомата. Затемнение.

Тишина. Зал не аплодирует. Все сидят молча, даже когда дали полный свет. И только РОГМЮЛЛЕР несколько раз похлопал исполнителям.

ЖУРНАЛИСТ. Она не туда стреляла…

АНИ. Куда ей надо было стрелять?

ЖУРНАЛИСТ. Если она любила того белого парнишку, ей надо — стрелять в коричневого.

АНИ. А что коричневый? Слабый, глупый, обманутый, добрый мужчина.

ЖУРНАЛИСТ. По-моему, артисты трактуют его как тирана… Он служит тирании.

АНИ. Ну и что? Тирания хотя бы освобождает от мучительной необходимости думать.

ЖУРНАЛИСТ. Под большим тираном свои собственные злодейства кажутся безобидными. А? Послушайте, Ани, это звучит банально, но тем не менее мне хочется чем-то помочь вам. Правда.

АНИ. Я не понимаю мужчин, которые хотят помочь женщине. Такие мужчины не умеют любить. Послушайте, уезжайте отсюда, милый…

ЖУРНАЛИСТ. Ну-ка, скажите еще раз.

АНИ. Я прошу вас — уезжайте отсюда. Сейчас, сегодня, немедля…

ЖУРНАЛИСТ. Не это.

АНИ. Вы хотите, чтобы я повторила слово «милый»?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

АНИ. Если вы хорошо уплатите, я скажу «любимый».

ЖУРНАЛИСТ. Вы плохо играете шлюху. Лучше пойте. Это у вас выходит значительно интересней.

АНИ. Я не обиделась. Вы любите дождь?

ЖУРНАЛИСТ. Люблю.

АНИ. Пойдемте бродить под дождем, а?

ЖУРНАЛИСТ. Пошли.

Они уходят.

2

То же помещение, но сейчас здесь нет никого, кроме Рогмюллера. К нему подходит АЗИАТ.

РОГМЮЛЛЕР. Ну?

АЗИАТ. Они гуляли по набережной до часу сорока трех минут. После они поехали на такси «АМ-Л 7642» в кабаре аэропорта.

РОГМЮЛЛЕР. Кто это видел?

АЗИАТ. Мой человек.

РОГМЮЛЛЕР. Кто именно?

АЗИАТ. Мой верный человек.

РОГМЮЛЛЕР. Где они сидят?

АЗИАТ. Я еще не получил сведений, я торопился к вам.

РОГМЮЛЛЕР. Они сидят за третьим столом на втором этаже.

АЗИАТ. Откуда вы знаете?

РОГМЮЛЛЕР. У меня сейчас там свой верный человек.

АЗИАТ. Кто?

РОГМЮЛЛЕР. Один — один, мой дружочек. Я же ответил вашими словами: «Верный человек».

АЗИАТ. Покажете?

РОГМЮЛЛЕР. Никогда.

АЗИАТ. Не боитесь их визита в аэропорт?

РОГМЮЛЛЕР. Отправлять Республикэна в Москву самолетом — безумие. В Москву идут наши самолеты. «Люфтганзы». Мы посадим самолет в Берлине, если он сядет в него.

АЗИАТ. Но есть еще белградский рейс. Его выполняют англичане. И летит их самолет в четырнадцать часов — именно по четвергам. Завтра четверг.

РОГМЮЛЛЕР. Этот рейс не долетит до Белграда, в обслуживании этого рейса есть мои люди. Они сделают так, чтобы пилоты завернули в Вену; это

тоже предусмотрено. Я боюсь только за машину журналиста. О чем они говорили, прогуливаясь по набережной?

АЗИАТ. Они часто останавливались, прогуливаясь. Их разговор казался им обоим весьма многозначительным. Я же едва сдерживал смех.

РОГМЮЛЛЕР. Что вам казалось многозначительным в их разговоре?

АЗИАТ. Видите ли, я весьма внимательно слежу за современной американо-европейской литературой. Их литераторы наивно полагают, что говорить с читателем следует глаголами, междометиями и союзами. Они наивно полагают, что люди их поймут. Это заблуждение. Людям следует говорить препарированную правду. Людям нравятся определения. Глаголы, союзы и междометия чужды, потому что это — их суть. Они живут глаголом, то есть действиями, междометием — в силу своей интеллектуальной нищеты — и союзом — в силу очевидной необходимости связывать фразы. Отсюда — они тянутся к определениям и прилагательным — самым красивым категориям в языке. Поверьте мне. Журналист и певица стараются обмануть друг друга.

РОГМЮЛЛЕР. Это естественно. Она выполняет

свой долг перед нацией, а он ею увлечен.

АЗИАТ. Вы заблуждаетесь, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. В чем?

АЗИАТ. Она тоже увлечена им.

РОГМЮЛЛЕР. У нее слишком горькое прошлое, чтобы остались силы на это настоящее.

АЗИАТ. Вы заблуждаетесь.

РОГМЮЛЛЕР. Перестаньте. Она любила парня, которого пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас. Мы оберегаем от любви.

АЗИАТ. От этого нельзя уберечь. И если она узнает, что ее парня убрали ваши люди, она наделает массу глупостей.

РОГМЮЛЛЕР. Она не узнает. Парня убрал я. Мне это было больно делать, поскольку за день перед этим он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера.

АЗИАТ. Только не говорите, что вы сделали это во имя долга. Вы любите ее. Трагедия европейцев заключается еще и в том, что вы любите одну женщину. Мы — многоженцы… Это для того, чтобы сердце принадлежало многим; когда оно отдано многим, оно принадлежит только одному. Мне.

В варьете входит толстуха, которой Фрэд в первой картине не советовал брать Леже. Она подходит к АЗИАТУ и что-то шепчет ему на ухо.

АЗИАТ, кивнув, отпускает толстуху.

РОГМЮЛЛЕР. Ну что?

АЗИАТ. Пока все идет по намеченному вами плану. Он обнял её… Когда европейцы волнуются, они обычно курят. Хотите хорошую сигарету из Анкары?

РОГМЮЛЛЕР. Миленький мой дружочек, запомните раз и навсегда: ботинки, которые жмут, у нас в Европе в хорошем магазине обуви обмениваются администрацией.

АЗИАТ. Да?

РОГМЮЛЛЕР. Да.

АЗИАТ. Я служу вам пять лет, и я уже успел познакомиться с половиной вашей агентуры в Европе. А сейчас я увидел, что вы можете терять лицо от любви к женщине — вашему агенту, и в довершение ко всему вы сказали мне, что горноспасателя, которого любила певица Ани, убрали вы. Менять ботинки больше подходит мне по ситуации. В теперешней ситуации вам следует терпеть.

РОГМЮЛЛЕР. Меня шантажировали в Белграде после дела Барту, в Париже и в Мадриде в сентябре тридцать седьмого.

АЗИАТ. Я знаю. Это была Европа, но я — Азия.

РОГМЮЛЛЕР. Мне это надоело. Идите и делайте

свое дело. Я крайне устал, мой друг.

АЗИАТ. Давайте все-таки закончим этот необыкновенно важный для нас обоих разговор именно сейчас.

РОГМЮЛЛЕР. Какие-то занятные интонации появились в вашем голосе.

АЗИАТ, открыв занавеску, манит пальцем человека. Тот входит и передает АЗИАТУ маленький кожаный ящичек. Это диктофон. АЗИАТ кивком головы отпускает человека. Тот уходит. АЗИАТ находит то место пленки, где Рогмюллер говорит ему о том, что горноспасателя убрал он сам, проигрывает слова Рогмюллера: «… Она не узнает. Парня убрал я. Мне это было больно делать, поскольку за день перед этим он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера…»

АЗИАТ. Этого достаточно, не так?

РОГМЮЛЛЕР. Пожалуй.

АЗИАТ. Тогда начнем?

РОГМЮЛЛЕР. Кому вы служите?

АЗИАТ. Азии. Вы отняли у нас все. Вы помешали нам думать. Вы нарушили наши устои, наши обычаи, вы внесли свою европейскую суету в нашу жизнь. Мы пришли к вам — маленькие и униженные, скрывающие тысячелетнюю нена-

висть за стеклами очков. Мы пришли учиться вашему современному коварству. Мы научились ему и теперь возьмем обратно то, что вам не принадлежит по праву. Нам теперь легче, потому что есть вы — доктрина национал-социализма. Вы — дрожжи, на которых западный мир вырастет для того, чтобы залить себя кровью. После сюда придем мы. Наиболее умные из вас станут тогда нам служить. А вы — умнейший из умных — начнете работать на меня сейчас.

РОГМЮЛЛЕР. Черт возьми, я все-таки был прав: в разведку идут или полные болваны, или гении. Вы умница — ни разу не заговорили о деньгах. Ну-ка, давайте руку — кто кого положит?

Они меряются силой. РОГМЮЛЛЕР кладет руку АЗИАТА на стол.

АЗИАТ. Теперь левой.

РОГМЮЛЛЕР. Бьют обычно правой.

АЗИАТ. Мы бьем с обеих рук.

Снова меряются силой, и теперь АЗИАТ легко кладет на стол руку РОГМЮЛЛЕРА.

РОГМЮЛЛЕР. Браво. Вот теперь я не отказался бы от хорошей сигареты из Анкары.

АЗИАТ (*протягивает портсигар*). Пожалуйста.

К АЗИАТУ подходит молоденькая продавщица цветов, мто-до шепчет ему на ухо.

АЗИАТ. Хорошо. Возвращайтесь туда.

Девушка уходит.

РОГМЮЛЛЕР. Интересные новости?

АЗИАТ. Прежние. Они сейчас смотрят танцы братьев-близнецов.

РОГМЮЛЛЕР. Как реагируют?

АЗИАТ. Принимают очень хорошо. Когда вы передадите мне агентуру? Певицу — в первую очередь. Она станет Матой Хари, когда начнет работать на нас.

РОГМЮЛЛЕР. Вы же говорили, что знаете мою агентуру.

АЗИАТ. Знать не означает владеть. Цифры, банковские счета, компрометирующие материалы, данные телефонных прослушиваний, явки — это значит владеть агентурой. Причем, поверьте, мешать я вам не стану. Даже совсем наоборот. Я буду по-прежнему помогать вам.

РОГМЮЛЛЕР. Кофе?

АЗИАТ. С удовольствием.

РОГМЮЛЛЕР. Шарль!

Появляется ОФИЦИАНТ.

Два кофе.

ОФИЦИАНТ уходит, царственно поклонившись.

АЗИАТ. Вы достойно проиграли. Я вел вас пять лет, с тех пор, как работаю на вас. Я очень рад, что мне не пришлось прибегнуть к тем компрометирующим материалам, которые бросают на вас тень.

РОГМЮЛЛЕР. Ради любопытства — покажете как-нибудь?

АЗИАТ. Я могу это сделать сейчас, всё у меня в портфеле.

РОГМЮЛЛЕР. Довольно рискованно носить такой материал в портфеле.

АЗИАТ. Я был убежден, что этот разговор состоится именно сегодня. Вы были очень взволнованы тем, как поведет себя певица. И не столько в деле, сколько в плане личного общения с журналистом. Нет?

РОГМЮЛЛЕР. Да.

АЗИАТ. Вот видите. Поэтому вы потеряли контроль над собой — даже в разговоре с единомышленником. Поверьте, мы, азиаты, думаем дальше и точнее, чем вы.

ОФИЦИАНТ приносит кофе, ставит на столик

и удаляется.

РОГМЮЛЛЕР. Там никого нет, за занавеской?

АЗИАТ. Мы одни.

РОГМЮЛЛЕР. Я имею в виду не только ваших людей.

АЗИАТ поднимается и заглядывает за занавеску, РОГМЮЛЛЕР в это время кошачьим движением достает из кармана маленький шарик и бросает его в кофе АЗИАТУ.

АЗИАТ (*вернувшись).* Там никого.

РОГМЮЛЛЕР. Вы будете делать какие-нибудь пометки?

АЗИАТ. Нет, вы будете говорить. Я запишу ваш голос — это надежнее любой расписки.

РОГМЮЛЛЕР. Диктофон сильно меняет голос.

АЗИАТ. У нас хорошие пленки, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Тогда прекрасно. Как вам этот кофе?

АЗИАТ. Великолепный кофе.

РОГМЮЛЛЕР. Помните, вы мне рассказывали великолепную новеллу о разнице между азиатами и европейцами?

АЗИАТ. За последние пять лет у нас с вами было восемь разговоров на эту тему. Какой именно вы имеете в виду?

РОГМЮЛЛЕР (*дождавшись, пока АЗИАТ допил кофе*). Я имею в виду вашу новеллу об отравленном хмеле.

АЗИАТ. О хмеле?

РОГМЮЛЛЕР. Пистолет вы достать уже не сможете. Руки не двигаются, да?

АЗИАТ медленно оседает на стуле, глаза его начинают стекленеть.

Помните, вы говорили мне, что азиат, если он хочет убрать врага, поначалу сажает отравленный хмель, делает из него отравленное пиво и пьет его по каплям, чтобы приучить себя к яду. Потом приглашает к себе врага, принимает его как лучшего друга и угощает его отравленным пивом, пьет это пиво сам, но враг умирает, а он — жив, и никто не обвинит его в злодействе, потому что он тоже пил из этой же бутылки вместе с покойником. Ну а мы, бедные европейцы, продолжаем работать по старинке.

АЗИАТ падает со стула. РОГМЮЛЛЕР обыскивает АЗИАТА, забирает у него все из кармана, берет портфель, диктофон и уходит. Появляется ОФИЦИАНТ. Приподнимает стол, достает маленький микрофон, прячет его, быстро уходит. Слышен его крик: «На помощь! Сюда! Фрэд убил

человека!»

Затемнение.

3

Стеклянное кабаре аэропорта. За столиком — АНИ и ЖУРНАЛИСТ. Рядом за столиком три католических монаха пьют чай. Играет джаз. К столику подсаживается один из БРАТЬЕВ-ДВОЙНИКОВ, исполнитель ритмических танцев.

АНИ. Я хотела поблагодарить вас. Вы настоящие артисты.

ТАНЦОР. Нам с братом очень приятно слышать это от вас.

ЖУРНАЛИСТ. Вас объявили как чилийцев. Вы испанцы или португальцы?

ТАНЦОР. Мы венесуэльцы.

ЖУРНАЛИСТ. Парле испаньоль?

ТАНЦОР. Мы говорим только на немецком, идише и древнеиудейском. Мы с братом евреи, подданные рейха. Рейхсминистр Геббельс ценит искусство моего брата и мое. Поэтому мы были пожалованы за наше искусство венесуэльской национальностью.

Слышен голос диктора: «Через десять минут вылетает самолет “Эйр Франс” рейсом в Дакар. Просим пройти пассажиров к посадочному полю».

Знаете, когда рейхсмаршалу Герингу сказали, что маршал Мильх — полукровка, наш великий вождь ответил: «Я сам решаю, кто у меня в штабе еврей, а кто — не еврей». Не правда ли, это гуманно и остроумно?

ЖУРНАЛИСТ. По-моему, это вандализм.

ТАНЦОР. Тише! Что вы говорите? Разве можно так громко?!

ЖУРНАЛИСТ. Слава богу, здесь еще пока что не ваш рейх.

ТАНЦОР. Не говорите так, умоляю вас… Я же вижу фрейлейн — немка.

Голос Диктора: Самолет «Пан американ эйрлайн систем» выполняет рейс в Мадрид. Просим пассажиров занять места в аэроплане.

ЖУРНАЛИСТ. Мир в двадцатом веке обязан принадлежать человечеству, а не какой-то одной избранной нации.

ТАНЦОР. Зачем вы так говорите? Зачем вы пугаете меня? Вы так нарочито громко произносите свои ужасные слова?! (*Уходит.*)

АНИ. Они очень напуганы. Их семьи живут в Германии. Не надо с ними так говорить. Это безжалостно.

ЖУРНАЛИСТ. Жалость? Сострадание? Эти мерзкие химеры? Да еще по отношению к евреям? Какой позор, Ани…

АНИ поднимается, чтобы уйти, ЖУРНАЛИСТ берет ее за руку и рывком сажает подле себя. Она как-то покорно обмякает и опускается подле него. В это время появляется РОГМЮЛЛЕР. Он видит всю эту сцену. Подходит к столику.

РОГМЮЛЛЕР. Хэлло, Ани, добрая ночь, сэр. Внизу заняты все столики. Вы позволите мне присесть у вас?

ЖУРНАЛИСТ. Садитесь.

РОГМЮЛЛЕР. Ани молчит…

ЖУРНАЛИСТ. Садитесь.

РОГМЮЛЛЕР. Благодарю. Я сегодня весь вечер ломаю голову — где я вас видел?

ЖУРНАЛИСТ. Мы встречались при довольно занятных обстоятельствах в Испании и Германии. Заочно, правда.

АНИ. Фрэд — американец.

РОГМЮЛЛЕР. Я никогда не бывал в Германии. Вообще ненавижу немцев… Жирные колбас-

ники.

ЖУРНАЛИСТ. А как быть с бедным Моцартом?

РОГМЮЛЛЕР. Он — выродок. Веселый парнишка, который хорошо умел любить. Немцы не умеют любить.

ЖУРНАЛИСТ. Да? Занятный вы парень…

К их столику подходит ТАНЦОР — это второй брат-близнец.

ТАНЦОР. Что вы здесь говорили моему брату? Он в истерике, он портит номер, роняя этим престиж великого рейха! Он артист, и не смейте путать его в вашу проклятую политику! Мы благодарны нашему рейху и обожаемому фюреру! А ваши гнусные разговоры нам отвратительны! Мы — венесуэльцы, ясно вам! Мы не имеем никакого отношения к проклятым евреям! Евреи в рейхе — слуги Рузвельта и Сталина!

ЖУРНАЛИСТ. Вон отсюда! Вон!

ТАНЦОР, враз сникнув, отходит от столика.

АНИ. Боже мой… Зачем вы так?

ЖУРНАЛИСТ. Я видел, как в вашем рейхе убивают людей за то лишь, что они не принадлежат к арийской расе…

РОГМЮЛЛЕР. Я никогда не думал, что журнали-

сты умеют быть такими грозными.

ЖУРНАЛИСТ. Откуда вы знаете мою профессию?

РОГМЮЛЛЕР. Я стараюсь знать все о тех людях, которым нравится Ани. Ее покойный приятель был моим другом. Он погиб у меня на руках.

ЖУРНАЛИСТ. Простите, я сейчас.

Отходит к телефону, набирает номер. Тихо разговаривает.

РОГМЮЛЛЕР (*наблюдая за ЖУРНАЛИСТОМ, негромко*). Ани, вы заметили, что ваше чувство, если оно становится серьезным, трагично. Всякий, кем вы по-настоящему увлекаетесь, гибнет.

АНИ. Значит, на очереди вы, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Не лгите.

АНИ. Чем вы взволнованы?

РОГМЮЛЛЕР. Если этот парень не просто проведет с вами ночь, но будет спать с вами, он погибнет. Вы должны выполнить свой долг без этой… жертвы…

АНИ. А если это не жертва? Если я хочу этого?

РОГМЮЛЛЕР. Ани… Не надо так шутить… Ани…

АНИ. Знаете, какая самая страшная пытка двадцатого века?

РОГМЮЛЛЕР. Я не палач.

АНИ. Пытка — это постоянная память о тех, кто погиб, встретившись со мной. Это память о тех, кого я подставляла под ваш удар. Я понимаю, что из этой вашей игры мне нельзя выйти, но я очень… я смертельно устала… У меня так никогда не было.

РОГМЮЛЛЕР. Я обманывал вас когда-нибудь?

АНИ. Это глупо — обманывать агента. Обманутый агент становится двойником.

РОГМЮЛЛЕР. После того как завтра мы закончим операцию, я сделаю вам предложение, Ани. И если вы примете его, я буду готов нести любое наказание на родине, но вы окажетесь вне игры. Я закрою вас собой.

АНИ. А память, Фрэд? Что делать с нашей памятью? С моей, но особенно с вашей?

Подходит ЖУРНАЛИСТ.

ЖУРНАЛИСТ. Ани, мы можем идти.

АНИ. Спокойной ночи, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Всего хорошего, Ани. Доброй ночи, сэр. Сейчас стало очень холодно, видно, днем в горах прошли снежные обвалы.

ЖУРНАЛИСТ. Какое это имеет отношение к сегодняшней ночи?

РОГМЮЛЛЕР. Прямое, сэр, прямое. Ани может простудить горло, а это ее хлеб. Может быть, вы позволите мне довезти вас к вашему приятелю?

ЖУРНАЛИСТ. Почему вы решили, что мы едем к моему приятелю?

РОГМЮЛЛЕР. Куда еще едут так поздно?

АНИ. Оставайтесь, Фрэд. Это хорошо, когда в горах прошли обвалы, воздух очень чист, приятно гулять по холоду.

АНИ и ЖУРНАЛИСТ уходят. К РОГМЮЛЛЕРУ подходит ТАНЦОВЩИЦА, исполнявшая антифашистский танец в варьете.

РОГМЮЛЛЕР. Герта…

ТАНЦОВЩИЦА. Здравствуй, папочка…

Они обнимаются, он нежно целует ее, гладит ей руки, лоб, глаза.

РОГМЮЛЛЕР. Как ты вытянулась, моя девочка. Совсем тростиночка. Нежная ты моя дочка…

ТАНЦОВЩИЦА. Папочка, любимый… Дома так ждут тебя. Мама совсем не спит, Карл увеличил твое фото и повесил у себя над кроваткой… Они же не знают, что мы должны увидеться, я не могла им сказать про это…

РОГМЮЛЛЕР. Как мама?

ТАНЦОВЩИЦА. Она так тоскует без тебя… Я очень боюсь за нее.

РОГМЮЛЛЕР. Я увижу ее послезавтра. Послезавтра я буду у нас в Рансдорфе.

Подходит КЕЛЬНЕР.

Пожалуйста, принесите этой крошке, которая хорошо дрыгает ногами, миндальное печенье, молоко и землянику.

КЕЛЬНЕР. Фрэд, земляника баснословно дорога.

РОГМЮЛЛЕР. Раз в месяц можно позволить себе роскошь.

КЕЛЬНЕР. Две порции?

ТАНЦОВЩИЦА. Мы поделимся одной.

КЕЛЬНЕР уходит.

Ты помнишь и про мою любимую землянику, папа?

РОГМЮЛЛЕР. Я только оттого еще и живу, что помню о вас всё. Всё, потому что вы — это родина.

ТАНЦОВЩИЦА. Я никогда не думала, что это такое мучительное счастье — выполнять свой долг перед нашей родиной.

РОГМЮЛЛЕР. В тебе не борется два человека: артист и разведчик?

ТАНЦОВЩИЦА. Я ненавижу себя — балерину. Мне омерзительно танцевать эту гадость… Но я помню тебя: «Гражданина создает дисциплина и точное сознание своего долга перед фюрером». Тебе понравилось, как мы работаем номер?

РОГМЮЛЛЕР. Он очень убедителен.

ТАНЦОВЩИЦА. Тебя не шокировал наш артистизм в этом пошлом танце?

РОГМЮЛЛЕР. Во-первых, без этого омерзительного танца ты не имела бы возможности ездить по миру как антифашист, изгнанный из рейха. А во-вторых, разведчик перестает быть нужным нации, если он потерял артистизм в прикрывающей его профессии. Ты же, наоборот, набираешь силу в том деле, которое позволяет тебе с наибольшей отдачей быть полезной родине. Впрочем, чуть-чуть можно притушить вашу антигерманскую направленность… Он слишком убедителен.

ТАНЦОВЩИЦА (*передает ему кассету*). Здесь фото журналиста и певицы. Я снимала их все время, пока они были здесь. Никто из посторонних к ним не подходил.

РОГМЮЛЛЕР. Хорошо.

ТАНЦОВЩИЦА. Я не слишком долго задерживаюсь с тобой?

РОГМЮЛЛЕР. Мне сейчас очень нужно, девоч-

ка, чтобы ты побыла со мной… Очень… Спасибо тебе, умница… Скажи… Ани была ласкова с ним? Просматривалась взаимная увлеченность?

ТАНЦОВЩИЦА. Нет. Они были сдержанны.

РОГМЮЛЛЕР. Пойдем танцевать… Всегда мечтал потанцевать с дочерью.

Подходит КЕЛЬНЕР.

КЕЛЬНЕР. Земляника слишком рано взращена, она еще с зеленью, поэтому не слишком сладкая, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Ничего, я люблю кислое.

РОГМЮЛЛЕР и ТАНЦОВЩИЦА уходят на эстраду, где танцует несколько пар.

4

Мастерская скульптора. Одна стена — сплошное стеклянное широкое окно. Вдоль другой стены стоят скульптурные портреты из цикла «Концлагерь». ЖУРНАЛИСТ идет по мастерской и молча показывает АНИ работы.

АНИ. Как называется этот цикл?

ЖУРНАЛИСТ. «Концлагерь».

АНИ. Почему скульптор уехал из рейха?

ЖУРНАЛИСТ. Откуда-откуда?

АНИ. Из Германии.

ЖУРНАЛИСТ. Он не уезжал. Его изгнали.

АНИ. За что?

ЖУРНАЛИСТ. Вы давно из Германии? Вы не знаете, что происходит у вас на родине? Гитлеровским бонзам не нравится его искусство. Геббельсу не может нравиться искусство коммуниста.

АНИ. Отчего вы свободно входите в мастерскую? Даже ночью?

ЖУРНАЛИСТ. Хозяин этой мастерской был моим другом. Когда-то он сидел в концлагере. За него хлопотала жена. Вы ее, видимо, знаете… Это Лиз Джурович из Парижа. Она долго хлопотала… Из Берлина пришло указание — провести с ним цикл воспитательных бесед с нагрузкой — и освободить. Это у них такой термин — «с нагрузкой». Они связали его и положили руками в снег, так он пролежал всю ночь. Наутро его освободили, Лиз отвезла его в госпиталь, и там ему ампутировали обе кисти. А после этого ему предложили покинуть рейх. Он приехал сюда и сказал жене, что уйдет…

АНИ. Куда?

ЖУРНАЛИСТ. …И попросил, чтобы она не мешала ему. «Что мне делать без рук в этом

мире?» — сказал он тогда… Словом, он утонул. Купался и утонул… Так ведь часто бывает.

АНИ. Почему вы так посмеиваетесь, когда говорите про это? Как вы можете?

ЖУРНАЛИСТ. В концлагерях люди довольно скоро начинают смеяться надо всем, что в прошедшем времени.

Подходит к скульптуре, поворачивает ее к свету, это портрет худого, прячущею лицо от удара человека.

Похож? Или я теперь стал потолще?

АНИ. Вы?!

ЖУРНАЛИСТ. Говоря откровенно, я благодарен вашему рейху. Они поступили гуманно. Мой заочный обвинитель на процессе в Нюрнберге и главный свидетель обвинения — господин Рогмюллер требовали для меня гильотины… А мне дали пожизненную каторгу…

АНИ. Рогмюллер?

ЖУРНАЛИСТ. Угу… А что вы эдак встрепенулись?

АНИ. Почему он требовал для вас смерти?

ЖУРНАЛИСТ. Такой уж я злодей.

АНИ. А за что посадили в лагерь этого несчастного скульптора?

ЖУРНАЛИСТ. Он выставил на вернисаже композицию «Любовь». А «Зло» в этой композиции было коричневого цвета.

АНИ. Какого же цвета была «Любовь»?

ЖУРНАЛИСТ. Настоящий художник при жизни в рейхе узнает только зло. Любовь он узнает позже… Там… У нас в лагере был маленький приемник, мы очень им дорожили, его собрал венгерский коммунист, академик Золтан, вот он, видите? (*Показывает на портрет беззубого, бритого наголо старика, который роется в экскрементах в поисках пищи*). Однажды мы поймали голос, вы пели песенку о Париже. А этот мальчик (*показывает на портрет лысого человека*), — ему семнадцать лет, этому цыганенку, он был влюблен в ваш голос, он так плакал, слушая вас… Он был великим скрипачом, он был бы вторым Паганини, не награди его Господь цыганским носом…

ЖУРНАЛИСТ переходит от одной скульптуры к другой, гладит их, обращается с ними, как с живыми.

А это, видите, лауреат Нобелевской премии, писатель и журналист фон Осецки. В день, когда ему присудили Нобелевскую премию, охрана СС

заставила его тысячу раз лечь и встать. Но мороз был не очень сильным, он не умер. Ему это даже помогло, он слег в лазарет с воспалением легких. Помните, в той песенке у вас были строчки: «Влюбленные не знают горя, они сдают его на ночь в гардероб». Вот этого паренька (*показывает портрет безумца*) взяли через три дня после того, как он женился. Его жену привезли к начальнику нашей охраны, а парня посадили за стенкой, и он слышал, как начальник охраны весело издевался над его женой. Видите, потому он такой улыбающийся. Он сошел с ума… Влюбленные не знают горя… Они сдают его на ночь в гардероб…

АНИ. Уйдем отсюда.

ЖУРНАЛИСТ. Почему? Здесь я среди друзей. Здесь мне спокойно. Они меня не предадут, во всяком случае.

АНИ. Уйдем отсюда, милый…

Она тушит свет, берет ЖУРНАЛИСТА за руку, и они уходят из мастерской скульптора.

Звучит песня Эрнста Буша «Болотные солдаты».

5

Вилла Пронто. Большой холл. Возле камина сидят РОГМЮЛЛЕР, ПЕРВЫЙ СД и ВТОРОЙ СД. ТРЕТИЙ СД стоит возле широкой — во всю стену — шведской стенки и упражняется со штангой. Включен приемник. Диктор передает последние известия: «Передаем приметы убийцы: невысокого роста, седой, известен как горноспасатель Фрэд. Все дороги перекрыты, из города не имеет права выходить ни один автомобиль без проверки на полицейских кордонах. Единственный свидетель убийства, официант кабаре Шарль, только что кончил давать показания. В следующем выпуске новостей мы познакомим наших слушателей с теми выдержками из его показаний, которые нам предоставят в полиции». РОГМЮЛЛЕР выключает приемник.

ТРЕТИЙ СД. Вы безумец, Рогмюллер. Из-за дикого провала с Азиатом вы сорвали операцию. Я не буду молчать в Берлине об этом провале.

РОГМЮЛЛЕР (*сняв трубку телефона*). Соедините меня, пожалуйста, с шефом уголовной полиции.

ТРЕТИЙ СД. Неужели нельзя было увезти его из кабака?

РОГМЮЛЛЕР. Алло. Добрый вечер. Это я, Герман Швербауэр. Добрый вечер. Хотя, если три часа считать вечером… Я жду вас к себе. Почему? Ах, эта трагедия в кабаре… Понимаю… Я видел сегодня Фрэда, приезжайте, я помогу вам быстро найти его, он у меня в руках (*кладет трубку*).

ВТОРОЙ СД. Чертовски хочется есть. В горах всегда разыгрывается дикий аппетит.

ТРЕТИЙ СД. Они перекроют все дороги, и те двое уйдут, мы будем бессильны сделать что-либо. Что вы молчите, Фрэд?

РОГМЮЛЛЕР (*ВТОРОМУ СД*). У вас нет зубочистки?

ВТОРОЙ СД протягивает РОГМЮЛЛЕРУ пару зубочисток.

Спасибо *(чистит зубы*).

ВТОРОЙ СД. Видимо, разреженный горный воздух с ослабленной дозой кислорода требует постоянной пищевой компенсации.

РОГМЮЛЛЕР. Просто вы маленький обжора.

ВТОРОЙ СД. Я соблюдаю разгрузочные дни.

ТРЕТИЙ СД. Вы можете объясниться, Рогмюллер? Что вы молчите как рыба? У нас нервы не из

канатов! Ясно вам?!

РОГМЮЛЛЕР (*ВТОРОМУ СД*). А что вы едите во время разгрузочных дней?

ВТОРОЙ СД. Яблоки. Только яблоки.

РОГМЮЛЛЕР. Вы их протираете или пользуете в натуральном виде?

ВТОРОЙ СД. Три яблока — в натуральном виде.

РОГМЮЛЛЕР. В кожуре?

ВТОРОЙ СД. В кожуре.

ПЕРВЫЙ СД. И еще полкило ветчины…

ТРЕТИЙ СД (*бросает штангу, идет к Рогмюллеру*). Слушайте меня! Я говорю сейчас с вами как партайлейтер нашей группы. Ваше присутствие здесь ставит под удар и нас. Что вы ответите на это? Где ваши мужество и честность в отношении к коллегам по СС?!

Раздается звонок телефона.

РОГМЮЛЛЕР. Да? Кто? Так… Хорошо. От скульптора они шли пешком или ехали? Пешком? Никаких неожиданностей не было? Хорошо. Спасибо (*опускает трубку*). Ну что ж… Хоть бы там всё хорошо…

ТРЕТИЙ СД. Рогмюллер, смотрите правде в глаза! Вы тащите нас в пропасть! Что вы видите хорошего?! В чем?!

РОГМЮЛЛЕР (*прислушивается*). По-моему, я

слышал скрип тормозов. Это шеф полиции. Я сейчас вернусь, встречу его, он болезненно честолюбив. (*Уходит.*)

ВТОРОЙ СД (*ТРЕТЬЕМУ*). Его надо сейчас убирать, а ты кричишь. Зачем нервировать его? Он получит свое, но пусть исчезнет спокойно. Надо щадить нервы друг друга, а особенно — проигравшему. После того как мы кончим с ним, я поеду на его машине к портье в отеле и сам проведу всю операцию. Точнее — первую ее фазу. Вы будете сидеть здесь на связи. После того, как я выясню время и маршрут журналиста с Республикэном, включитесь вы.

ПЕРВЫЙ СД. Разумно.

ТРЕТИЙ СД. Я против. Хотя Рогмюллер и поставил операцию на грань срыва, но мы не вправе распоряжаться его жизнью! Он член нашей группы, он всегда был верен движению и идее.

ВТОРОЙ СД. Ты выскажешь особое мнение рейхсфюреру, когда мы выберемся из этой каши, а убрать его придется сейчас, увы…

Входят РОГМЮЛЛЕР и ШЕФ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ.

РОГМЮЛЛЕР. Знакомьтесь, друзья. Это шеф уголовной полиции. Ставлю на него триста против

одного в сравнении с Шерлоком Холмсом.

Трое СД и ШЕФ уголовной полиции обмениваются молчаливыми поклонами.

ШЕФ ПОЛИЦИИ. У меня всего пять минут, там понаехало до черта журналистов. Кто-то очень старается привлечь внимание к этому делу.

ВТОРОД СД. Кто именно?

ШЕФ. Я пока не вышел на этого человека.

РОГМЮЛЛЕР. Это второй вопрос. Меня интересует — кто дал вам приметы убийцы? Так называемого убийцы? Еще конкретнее — кто пытается подставить меня под всё это дело?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Вы же слушаете радио, это официант Шарль, единственный свидетель.

РОГМЮЛЛЕР. Он сам наблюдал факт убийства?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Нет.

РОГМЮЛЛЕР. Что показало вскрытие?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Он отравлен цианистым калием.

РОГМЮЛЛЕР. Какой ужас. А в чем ему была подана отрава?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. В чашке кофе.

РОГМЮЛЛЕР. В чашке кофе? Вот как… Угу… А кто принес покойному кофе?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Официант Шарль.

РОГМЮЛЛЕР. Приходилось ли вам при вашей великолепной многолетней практике видеть убийцу, который сам признается в совершенном преступлении? Неужели вы, один из самых талантливых сыщиков Европы, не допустили хоть на миг мысли, что вас толкают на ложный путь?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Фрэд, там есть ваши пальцы…

РОГМЮЛЛЕР. Где именно?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. На блюдце.

РОГМЮЛЛЕР. А разве я отрицаю факт моей беседы с Азиатом? Я не отрицаю и того, что подвинул ему чашку с кофе… Азиат — мой большой приятель, я довольно часто виделся с ним и сейчас больше других скорблю о его трагической кончине. Я попрощался с ним и пошел звонить к портье — вызовите его и допросите, — а после я танцевал в кабаре аэропорта: мое алиби — абсолютно. Где этот официант?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. В баре отеля. Он дал показания, они выглядели исчерпывающими.

РОГМЮЛЛЕР. Вот это (*протягивает ШЕФУ ПОЛИЦИИ целлулоидную пачку*) я видел у вашего свидетеля, у официанта. Как это попало ко мне — тема для особого криминалистического исследования. Здесь цианистый калий. Видимо, это надо возвратить законному владельцу. Это

легко делается при аресте. По-моему, мы уложились именно в пять минут. А?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Кто оплачивает риск?

РОГМЮЛЛЕР. Риска нет. Услугу оплачивает этот господин (*кивает на ТРЕТЬЕГО СД, тот молча достает чековую книжку*), мой большой друг.

ТРЕТИЙ СД. Вот чек. На предъявителя в банке Лозанны.

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Всего хорошего, господа.

РОГМЮЛЛЕР. Всего хорошего, мой друг. Когда будет сообщение об аресте настоящего убийцы?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Я думаю, не позже чем через час.

РОГМЮЛЛЕР. Видимо, тогда же будут сняты посты на шоссе и возле аэропорта?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Да, конечно.

ШЕФ ПОЛИЦИИ идет к выходу.

РОГМЮЛЛЕР. Позволите мне проводить вас?

ШЕФ ПОЛИЦИИ. К чему этот протокол? До встречи, Фрэд. До свидания, господа.

ШЕФ ПОЛИЦИИ уходит, РОГМЮЛЛЕР медленно обходит всех ТРЕХ СД, задерживается около ТРЕТЬЕГО СД и дает ему пощечину.

Мгновенная темнота. Зеленый глазок радиоаппарата. Транслируется речь Гитлера.

6

Номер ЖУРНАЛИСТА в гостинице. Сейчас здесь ЖУРНАЛИСТ и АНИ. ЖУРНАЛИСТ выключает приемник, речь Гитлера обрывается.

АНИ. У вас на столе великолепный беспорядок. Много работаете?

ЖУРНАЛИСТ. Стараюсь.

АНИ. Вы приносите зло своими статьями?

ЖУРНАЛИСТ. Кому именно?

АНИ. Людям.

ЖУРНАЛИСТ. Все люди делятся на моих друзей и врагов.

АНИ. А как быть с детьми врагов? С их женами? Сестрами? Матерями?

ЖУРНАЛИСТ. Кого вы спрашиваете? Себя или меня?

АНИ. Себя я уже много раз спрашивала. Я спрашиваю вас.

ЖУРНАЛИСТ. Я не пророк.

АНИ. А может быть, вы боитесь ответить? Путь к любому добру лежит через кровь, ужас, страдания… Люди должны жить как жили, без этой тяги к добру. Добра нет. Добро, справедливость, чест-

ность — это уж, наверняка химеры, выдуманные негодяями.

ЖУРНАЛИСТ. Я принесу вина.

АНИ. Мне — виски.

ЖУРНАЛИСТ. Хочется выпить?

АНИ. Хочется напиться.

ЖУРНАЛИСТ идет в бар при отеле — это неподалеку от его номера, на первом этаже — только спустишься по деревянной тихой лестнице. В баре — ОФИЦИАНТ ШАРЛЬ.

ЖУРНАЛИСТ. Зачем ты дал показания? Они теперь не отстанут от тебя. Зачем?

ОФИЦИАНТ. Для того чтобы это (*кивает головой на портфель*) сыграло завтра, когда ты с Пьером уедешь отсюда. Здесь Рогмюллер. Он теперь наш. И его певица тоже.

ЖУРНАЛИСТ. Пленка?

ОФИЦИАНТ. Еще какая. Я переписал ее в двух экземплярах. Забери для страховки. Свою я уже спрятал.

ЖУРНАЛИСТ. Принеси, пожалуйста, виски. Мне не стоит задерживаться. Она играет очень точно и сложно. Мне никак нельзя проиграть ей.

ОФИЦИАНТ. Я боюсь за тебя. За тобой охотятся… с собаками… Ты обложен, Максим… Может быть,

тебе стоит сейчас исчезнуть?

ЖУРНАЛИСТ. А кто переправит Республикэна? Предложи вариант, исчезну. Думаешь, я не понимаю, что хожу по бритве?

ОФИЦИАНТ. Тебе может помочь эта пленка. Найди там кусок — Рогмюллер рассказывает, кто убрал ее любимого. Это впечатляет. Сейчас я принесу вино.

ЖУРНАЛИСТ. Она просила виски.

ОФИЦИАНТ. Странно. Она раньше пила вино.

ОФИЦИАНТ уходит, ЖУРНАЛИСТ достает из портфеля диктофон, осматривает его, прячет обратно. Опускает монетку в музыкальный ящик. Звучит песенка. Возвращается ОФИЦИАНТ.

ОФИЦИАНТ. Рогмюллер со своими людьми сидит на вилле Пронто. Полиция сняла все кордоны на дорогах.

ЖУРНАЛИСТ. Утро вечера мудренее. Ты подключил к этому делу прессу?

ОФИЦИАНТ. Да.

ЖУРНАЛИСТ. Ну, до завтра.

ОФИЦИАНТ. Завтра — это сегодня.

ЖУРНАЛИСТ. Ты стал говорить как Ларошфуко — афоризмами.

ЖУРНАЛИСТ, взяв портфель, уходит. ОФИЦИАНТ

продолжает уборку. В бар врываются несколько детективов во главе с ШЕФОМ КРИМИНАЛЬНОЙ полиции. Двое детективов надевают наручники на ОФИЦИАНТА.

ДЕТЕКТИВ. Пошли, Шарль! Ты проиграл, придется платить по счету!

ОФИЦИАНТ. Я не буду ничего говорить, пока вы не вызовете адвоката.

ШЕФ ПОЛИЦИИ. Пошли, пошли… Там решим, кого вызвать — адвоката или прокурора.

7

Раннее утро. Номер Журналиста. На тахте спит АНИ. ЖУРНАЛИСТ выходит из номера и спускается в пустой бар. Сквозь жалюзи бьет солнце, и бар поэтому кажется изрезанным на тонкие черно-белые линии. ЖУРНАЛИСТ снимает трубку телефона.

ЖУРНАЛИСТ. В котором номере живет корреспондент «Интернейшнл газетт» Лиз Джурович? Благодарю. Соедините меня с ней. Алло, мадам Джурович? В баре вас ждет джентльмен, молодой джентльмен. Он ждет вас по крайне важному делу.

ЖУРНАЛИСТ опускает трубку, закуривает. Оборачивается на шаги. Входит ЛИЗ ДЖУРОВИЧ.

ДЖУРОВИЧ. Салют.

ЖУРНАЛИСТ. Доброе утро.

ДЖУРОВИЧ. Ты не видел здесь молодого парня… Погоди, это ты звонил?

ЖУРНАЛИСТ (*улыбается). Я…*

ДЖУРОВИЧ. Ты все еще считаешь себя молодым джентльменом?

ЖУРНАЛИСТ. Я парнишка хоть куда.

ДЖУРОВИЧ. Сумасшедший. Я легла спать час тому назад.

ЖУРНАЛИСТ. Безумствовала?

ДЖУРОВИЧ. Если бы…

ЖУРНАЛИСТ. А в чем дело?

ДЖУРОВИЧ. Это убийство несчастного Азиата…

ЖУРНАЛИСТ. Что бы ты сделала, если бы узнала настоящего убийцу?

ДЖУРОВИЧ. Я уже знаю. Это Шарль, наш милый официант.

ЖУРНАЛИСТ. Он признался?

ДЖУРОВИЧ. Что значит — признался? Ты видел кающихся злодеев? Он принес кофе, в кофе был яд, этот же яд обнаружили у него при обыске, а он хотел пустить полицию по ложному следу и оклеветал Фрэда…

ЖУРНАЛИСТ. Где у него нашли яд?

ДЖУРОВИЧ. В кармане.

ЖУРНАЛИСТ. Я понимаю, что не во рту. Кто нашел и где?

ДЖУРОВИЧ. В полиции. А что?

ЖУРНАЛИСТ. Я сейчас дам тебе поразительный материал. Выступить с ним по радио, опубликовать в своей вонючей газете ты сможешь сегодня после четырнадцати сорока.

ДЖУРОВИЧ. Что ты потребуешь взамен?

ЖУРНАЛИСТ. Я скажу тебе после.

ДЖУРОВИЧ. У тебя очень уставшее лицо, малыш.

ЖУРНАЛИСТ. А ты все так же хороша, Лиз.

ДЖУРОВИЧ. Ты раньше старался врать как можно меньше. Видишь, сколько у меня морщин? Я стала краситься — мне идет рыжий цвет, да?

ЖУРНАЛИСТ. По-моему, это ужасно.

ДЖУРОВИЧ. Нравится молодым джентльменам. Меня потянуло на мальчиков, а это — старость… Мечтаю заработать миллион. Я бы тогда уехала на Багамы.

ЖУРНАЛИСТ. Миллион не миллион, а денег я сейчас тебе дам. Считай в уме, сколько выйдет, если у тебя будут доказательства, что горноспасатель Фрэд на самом деле оберштурмбаннфюрер

СС Гуго Рогмюллер?

ДЖУРОВИЧ. Тот, который был в Испании и упрятал тебя в лагерь?

ЖУРНАЛИСТ. Угу… Вон в том столике, за которым он всегда сидит, я поставил свой микрофон. Пленка у меня. Послушай.

ЖУРНАЛИСТ включает диктофон.

Слышны голоса РОГМЮЛЛЕРА и АЗИАТА.

ГОЛОС АЗИАТА. Там никого.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Вы будете делать какие-нибудь заметки?

ГОЛОС АЗИАТА. Нет. Вы будете говорить. Я запишу ваш голос — это надежнее любой расписки.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Диктофон сильно меняет голос.

ГОЛОС АЗИАТА. У нас хорошие пленки, Фрэд.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Помните, вы мне рассказывали великолепную новеллу о разнице между азиатами и европейцами?

ГОЛОС АЗИАТА. За последние пять лет у нас с вами было восемь разговоров на эту тему. Какой именно вы имеете в виду?

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Я имею в виду вашу новеллу об отравленном хмеле.

ГОЛОС АЗИАТА. О хмеле?

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Пистолет вы уже достать уже не сможете. Помните, вы говорили мне, что азиат, если он хочет убрать врага, поначалу сажает отравленный хмель, делает из него отравленное пиво и пьет его по каплям, чтобы приучить себя к яду. Потом приглашает к себе врага, принимает его как лучшего друга и угощает его отравленным пивом, пьет это пиво сам, но враг умирает, а он — жив, и никто не обвинит его в злодействе, потому что он тоже пил из этой же бутылки вместе с покойником. Ну а мы, бедные европейцы, продолжаем работать по старинке.

ДЖУРОВИЧ. Ты делаешь слишком щедрые подарки. Почему ты хочешь отдать мне этот материал? Ты на этом возьмешь (*быстро считает в уме)* как минимум сто пятьдесят тысяч четыреста сорок семь франков.

ЖУРНАЛИСТ. Почему именно сто пятьдесят тысяч четыреста сорок семь?

ДЖУРОВИЧ (*посмеиваясь).* Пожалуйста: цикл выступлений по радио с этой пленкой и комментарий к ней — десять тысяч. Так? Газеты — пятьдесят тысяч, если растянуть на двадцать номеров. Так? Интервью в пресс-клубе — история поиска, только ни в коем случае не зови итальянцев — все своруют и не уплатят ни гроша — еще тысяч де-

сять. На восемьдесят тысяч четыреста сорок семь франков ты заключишь договор с издателями.

ЖУРНАЛИСТ. Почему именно четыреста сорок семь?

ДЖУРОВИЧ. Откуда я знаю, почему сорок семь?! Ну, придется уплатить своим людям, чтобы на пресс-конференциях задавали тебе вопросы, на которые надо давать героические ответы: побег от этого паренька из гестапо, история твоего выкупа из концлагеря, выстрелы из-за угла, попытка отравления, женщина, ну, понимаешь?

ЖУРНАЛИСТ. Лиз, это все очень важно. Один раз ты помогла мне выцарапаться из лагеря. Сейчас, сегодня днем, все может кончиться… Но уже не лагерем.

ДЖУРОВИЧ. Зачем ты лезешь во все эти дела, малыш?

ЖУРНАЛИСТ (*улыбаясь).* А я дурак…

ДЖУРОВИЧ. Почему ты даришь это мне?

ЖУРНАЛИСТ. Во-первых, я видел, как ты шла под пули возле Гвадалахары, зная, что твоя газета не уплатит ни гроша за репортаж о республиканцах. Значит, ты журналист. Во-вторых, ты спасла мне жизнь, так что я хоть чем-то могу отплатить тебе.

ДЖУРОВИЧ. Это все филантропия.

ЖУРНАЛИСТ. Лиз, ты потребуешь, чтобы в полиции при свидетелях взяли отпечатки пальцев с коробочки, в которой яд. Там будут отпечатки пальцев другого человека — скорее всего, Рогмюллера. Официант здесь ни при чем, он попал как кур в ощип, только потому, что обслуживал тот столик. Эрго: я даю тебе настоящего убийцу и помогаю установить алиби несчастного официанта Жюля.

ДЖУРОВИЧ. Шарля.

ЖУРНАЛИСТ. Да, да… Верно, Шарля.

ДЖУРОВИЧ. Что ты хочешь от меня взамен?

ЖУРНАЛИСТ. Я хочу, чтобы ты вызвала к себе в номер пару фоторепортеров и проводила меня вместе с одним моим приятелем туда, куда мне будет нужно. На твоей машине. Свою машину ты сейчас загонишь во двор. Я позвоню тебе часа через четыре и скажу: «Лиз, я забегу к тебе на пару минут». После этого можешь заказывать радиостудию на три часа.

ДЖУРОВИЧ. Какой самолет уходит в четырнадцать сорок?

ЖУРНАЛИСТ. Лиз, почему ты так билась за меня, когда наци бросили меня в концлагерь?

ДЖУРОВИЧ. Не знаю.

ЖУРНАЛИСТ. Тебе рассказывал про меня скуль-

птор?

ДЖУРОВИЧ. Вы все его называете скульптором, а я называла его мужем… Он не рассказывал про тебя. Он мне про тебя плакал…

ЖУРНАЛИСТ. У тебя собраны все его работы?

ДЖУРОВИЧ. Да. Я их подарю тому государству, которое сломит шею наци…

ЖУРНАЛИСТ. О’кей! Вот тот столик. Можешь сделать фото. Только быстро, пока здесь никого нет.

ДЖУРОВИЧ. Малыш, а ты не шпион?

ЖУРНАЛИСТ. Видишь ли, в мире есть шпионы и разведчики.

ДЖУРОВИЧ. Так кто же ты?

ЖУРНАЛИСТ. Журналист.

ДЖУРОВИЧ. Не лезь ты в эту кашу. Мы живем в такое время, когда повсюду торжествует пошлость. Тут ничем не поможешь, кроме как информацией. Объективной информацией. Информация может спасти мир. Не смейся. Мир ослеп и оглох.

ЖУРНАЛИСТ. Значит, миру нужен доктор, а не информация газетчика.

ДЖУРОВИЧ. Терапевтам я не верю, а у хирургов руки в крови.

ЖУРНАЛИСТ. Я позвоню тебе, Лиз.

ДЖУРОВИЧ. Езжай ко мне в Биарриц. Там пусто, ты отоспишься. Я не буду лезть к тебе в кровать, обещаю.

ЖУРНАЛИСТ усмехнулся, поцеловал ее и вышел.

8

Вилла Пронто. Часы на стене показывают десять утра. ТРОЕ СД, выстроившись, словно по команде, возле зеркала, бреются. РОГМЮЛЛЕР открывает занавеску на противоположной стене холла, и мы видим огромную карту города.

РОГМЮЛЛЕР. Вы кончили свой языческий туалет, друзья?

ТРЕТИЙ СД. Почти.

РОГМЮЛЛЕР. Тогда неплохо бы вам оглянуться на меня.

ВСЕ ТРОЕ. А мы и так вас хорошо видим в зеркале.

РОГМЮЛЛЕР. Я думаю, что вы следите в зеркалах только за чужими.

ТРЕТИЙ СД. В каждом своем надо в первую голову стараться разглядеть чужого.

ВТОРОЙ СД. А в чужом — своего.

РОГМЮЛЛЕР. Будем точны: в чужом я моту искать не своего, а только сочувствующего или того, кто нас боится. Сочувствие и страх — наше верное оружие. Ладно. Время. Сейчас пройдем еще раз операцию. Итак, я уезжаю в отель. Там вхожу в контакт с Ани. Она сообщает мне: либо Журналист поедет вот сюда, мимо Пронто, а дальше — к границе на его машине марки «шевроле» номер BE-I5I84, вы ее хорошо знаете, либо, если им вздумается выкинуть фортель, — но это уже отчаяние, — они попытаются уйти воздухом. Я сижу в машине, потому что Республикэн знает меня в лицо, портье и Ани держат меня в курсе дел. Потом я сообщаю вам — либо вы страхуете их здесь, либо гоните к аэропорту. Берем мы их либо здесь (*он указывает место на карте),* либо тут. Сверим часы.

ПЕРВЫЙ СД. Десять ноль три.

ВТОРОЙ СД. Десять ноль одна.

ТРЕТИЙ СД. Десять ноль четыре.

РОГМЮЛЛЕР. Голоса у вас разложены, как хорал Баха. Десять ноль три, ребята, десять ноль три… Ну, счастливо.

ВТОРОЙ СД. Рогмюллер, вы вчера оттаскали нас за уши. Мы каемся. Но, честно говоря, я боюсь — если мы все останемся здесь или —

опять-таки — все вместе кинемся на аэродром, не вышло бы накладки. Может, стоит разделиться на две группы? Одну возглавите вы, другую я? Все-таки Ани — женщина, импульсивность, чувственный всплеск, то-се…

РОГМЮЛЛЕР. Когда у меня хорошее настроение, я становлюсь болтливым. Вы знакомы с химией, с таблицей Менделеева, с работами супругов Кюри? Вы знаете, что такое лакмус? Эта хитрая бумажка в жизни выполняет роль наших платных осведомителей. Лакмус выявляет наличие того или иного элемента в том или ином качестве появлением того или иного цвета. Ани — лакмусовая бумажка, а нужные нам люди — элемент. Сейчас Ани должна завершать работу с журналистом. Сейчас она должна признаться ему, что работает на гестапо. Следовательно, после этого переломного момента в нашей с ней операции по разработке журналиста она станет для него не просто очаровательной женщиной. Она сделается для него объектом исследования. Он наверняка предложит ей уехать вместе с собой. И где будет она — там будут они, какие бы метаморфозы во внешнем своем облике они ни придумали. Я имею в виду грим, переодевания и прочие романтические благоглупости. А уж если и случится

нечто сверхнеожиданное — она будет действовать сама: и в аэропорту, где немало полиции, и на границе, где стоят строгие солдаты. Ну — заявление, что ее похитили и так далее… Ясно?

ТРЕТИЙ СД. Вы оборотень.

РОГМЮЛЛЕР. Какой я, к черту, оборотень? Я стареющий седой человек. У меня по ночам болит левая лопатка, и сплю я с тридцатью граммами коньяка на столике возле кровати — боюсь, что сердечные капли не помогут. Так что (*подмигивает ВТОРОМУ СД),* погодите убирать меня, дружище. Старик вам пригодится. Право слово, у меня еще много нерастраченных сил и груда накопленных знаний.

ВТОРОЙ СД. Вы слышали вчера наш разговор?

РОГМЮЛЛЕР. Я обязан все слышать.

ВТОРОЙ СД. Тогда почему вы ударили его (*кивает на ТРЕТЬЕГО СД*), а не меня?

РОГМЮЛЛЕР. Потому что, во-первых, он хотел сделать карьеру на моем бренном теле, во-вторых, он вносил элемент ненужного в данной ситуации историзма в нашу профессиональную работу, и, наконец, в-третьих, вы были по-деловому правы. Меня надо было бы убрать, это был бы выход в создавшейся ситуации, не имей я своим агентом шефа криминальной полиции. Ну, до

встречи, ребята. (*Идет к двери).*

ПЕРВЫЙ СД. Рогмюллер, вы живете с Ани?

РОГМЮЛЛЕР. Какое это имеет отношение к нашей работе?

ПЕРВЫЙ СД. Мне хотелось бы услышать ваш ответ.

РОГМЮЛЛЕР. Мальчик мой, а не кажется ли вам, что это мое личное дело?

ПЕРВЫЙ СД. Этот вопрос меня уполномочило задать вам руководство.

РОГМЮЛЛЕР. Вот если ради того, чтобы задать такой вопрос, я буду отозван в рейх, и когда этот вопрос мне зададут люди, которым за пятьдесят и которые в силу этого живут не по законам вашего жеребячьего возраста, — только тогда я дам аргументированный ответ. Вашему возрасту все кажется очевидным в том, что вы считаете любовью, и поэтому вам я ответа дать не смогу. Мы просто не поймем друг друга. (*Уходит).*

ПЕРВЫЙ СД. Он ловко вывернулся.

ВТОРОЙ СД. Это самый великий разведчик из всех, каких я видел.

ТРЕТИЙ СД. Самый великий разведчик мира — это наш фюрер, ибо он идет в разведку будущего арийцев, овеянный великой идеей!

ПЕРВЫЙ СД. Да, да… Конечно… Ты прав, конеч-

но же, ты прав…

ТРЕТИЙ СД. Я иду подготовить машину. (*Уходит).*

ПЕРВЫЙ СД (*кивая вслед ТРЕТЬЕМУ СД).* Его больше нельзя брать с собой за границу. Он прямолинеен и туп.

ВТОРОЙ СД. Наоборот. Мы всегда будем брать его с собой. На него можно будет свалить все. Он прекрасный козел отпущения. Ну что ж. я пойду вниз, приготовлю оружие…

ПЕРВЫЙ СД. Хорошо.

ВТОРОЙ СД. Значит, ты сидишь на телефоне.

ПЕРВЫЙ СД. Да. Я сижу на телефоне.

9

Номер ЖУРНАЛИСТА. Утро. ЖУРНАЛИСТ быстро пишет, сидя за столиком. Проснувшаяся АНИ незаметно наблюдает за ним, лежа в постели.

АНИ (*шепотом).* Доброе утро.

ЖУРНАЛИСТ. Сейчас… Минуту… (*кончил писать).* Доброе утро, прелесть. Вы давно проснулись?

АНИ. Почему-то всегда после ночи, проведенной вместе, люди переходят на «ты». И делаются

полноправными собственниками друг друга. И мне очень дорого, что «вы» — это вы…

ЖУРНАЛИСТ. Что станем сегодня делать?

АНИ. Что угодно.

ЖУРНАЛИСТ. Я не хотел будить вас и поэтому не открывал окон. У меня здесь напротив, в костеле, поразительно играют по утрам Баха. И дети поют. Хотите послушать?

Открывает окно. В комнату врывается органный концерт Баха.

АНИ. Идите сюда.

ЖУРНАЛИСТ. Я здесь.

АНИ берет его руку в свои и целует его руку много-много раз, очень нежно.

АНИ. Я должна вам что-то сказать.

ЖУРНАЛИСТ. Да?

А НИ. Сколько сейчас времени?

ЖУРНАЛИСТ. Половина одиннадцатого.

АНИ. Тогда у меня еще есть полчаса.

ЖУРНАЛИСТ. Что загрустили?

АНИ (*вздохнув).* Проснулась.

ЖУРНАЛИСТ. Тогда еще раз — доброе утро.

АНИ. Знаете, у меня нет совести.

ЖУРНАЛИСТ. В каждом человеке есть совесть.

Только один мой друг здорово сказал, что большие подлости рождаются из мелких сделок с собственной совестью.

АНИ. Кто он?

ЖУРНАЛИСТ. Человек. Он не пошел на сделку с совестью и поэтому погиб. Хотя он говорил мне, что человек погибает только в том случае, если не оставил после себя память: книгой ли, песней, картиной… друзьями, наконец. Страшно — мой друг и сейчас живет во мне, и он еще ближе мне, чем раньше.

АНИ. Значит, по-вашему, хорошо, когда погибают друзья?

ЖУРНАЛИСТ. Вы все время ждете от меня основополагающих заключений, Ани. Вы хотите, чтобы вам было спокойно жить по законам, сформулированным другими. Сами пишите себе законы, Ани, сами.

АНИ. Бы когда-нибудь видели, как здороваются слепцы?

ЖУРНАЛИСТ. Нет.

АНИ. Нагнитесь.

ЖУРНАЛИСТ нагибается к Ани. Она закрывает глаза и пальцами ощупывает его лицо.

Это они здороваются так после долгой-долгой

разлуки.

Детский хор в костеле поет Аве Мария.

ЖУРНАЛИСТ. Сколько вам лет, Ани?

АНИ. Вы говорили, что знаете обо мне всё. Вы ничего не знаете обо мне. Вообще надо людям запретить слово «знаю». Люди могут только догадываться и о мире, который вокруг, и о человеке, который рядом. Что вы знаете вон про тот цветок на подоконнике? Что вы знаете о его сегодняшнем утре? Что он ощутил, просыпаясь? Или — как засыпала эта лампа? И больно ли стеклу, когда оно бьется? Что вы знаете о себе? Человек сам по себе не существует. Он зависит от окружающих. Никто не знает о том человеке, который сейчас вышел из своего дома и едет на такси, и от него зависит ваша жизнь, а у шофера такси болит сердце, и оно рвется, а машина падает в пропасть с тем человеком, от которого зависела ваша жизнь… Никто не знает, что будет через минуту. Мы все в этом мире — убийцы: прямые или косвенные. Чистеньких нет. Юноша просит девушку не оставлять ребенка — он убийца. Я зову подругу в дансинг, а у нее больна мать, а подруга молода, а мать ее любит и просит пойти потанцевать и умирает, потому что некому было дать ей лекарство. Кто я? Убийца? Мне легче — я

косвенно. А может, и страшнее. Вы зовете друзей отдыхать на море, а их сын там тонет во время шторма. Сколько времени вы казните себя, что пригласили их на то проклятое море? И как же хорошо жить, когда всё заранее предписано. Никакой личной инициативы, пусть отвечает тот, кто предписывает. Я за это.

ЖУРНАЛИСТ. Это вы строите баррикаду, чтобы можно было спрятаться от себя? Да?

АНИ. Мама учила: всегда говори правду и живи по правде. Я так и жила. А потом из-за этого погиб мой муж. Кого винить? Маму или себя?

ЖУРНАЛИСТ. Тех, кто погубил вашего мужа.

АНИ. Нельзя винить тех, с кем не справиться. Это дурно, это может озлобить, но спасти — нет… никогда.

ЖУРНАЛИСТ. Рано или поздно мир справится с теми, кто губит невинных. В том случае, конечно, если каждый из нас будет помогать этому.

АНИ. У нас с вами все странно. Вечер кончили философией, утро начинаем проповедью. Вы не правы, любимый… Вы — молодой, сильный, радостный, а потому наивный, как дитя, человек. Я вам расскажу притчу. Однажды было объявлено, что великая королева Правда решила отдать свое сердце самому достойному и прекрасному. Сто

юношей пошли в поход за королевой Правдой. Они шли через войны, через злых волшебников, через горе. Погибли все, кроме одного, самого достойного. Он победил злые чары и вошел в замок к Великой Правде. Он откинул белый шелковый полог и вошел к ней — к Великой и Прекрасной Правде, и увидел он слюнявую беззубую старуху со слезящимися глазами: «Что же мне сказать о тебе людям? Как я скажу им про тебя?» — промолвил потрясенный юноша. А королева Правды захихикала беззубым ртом и ответила ему. «А ты соври».

ЖУРНАЛИСТ (*посмотрел на часы).* Ани… Скажите мне… Вы связаны с Рогмюллером условным знаком или у вас в номере рация?

АНИ молчит, ЖУРНАЛИСТ отходит к окну.

Между прочим, он уже здесь. Его машина возле моей. Он ждет вашего сигнала…

АНИ. Спустите жалюзи. Видите, какая я…

ЖУРНАЛИСТ. Какая?

АНИ. Старая…

Она уходит в ванную комнату. Стук в дверь.

ЖУРНАЛИСТ. Да.

Входит мужчина в одежде монаха. Быстро за-

крывает подушкой телефон.

Републикэн!

ПЬЕР. Кто у тебя?

ЖУРНАЛИСТ. Почему ты пришел раньше времени?

ПЬЕР (*сняв рясу и капюшон, достает из черного чемодана желтый саквояж, передает его Журналисту, тот прячет его в серый плоский чемодан).* Они засекли меня в лондонском аэропорту. Сели на хвост — даже не таясь, из немецкого военного атташата. Пришлось устроить этот маскарад.

ЖУРНАЛИСТ. Видишь черный «хорьх»? Вон тот, рядом с моей машиной. Это ждут нас. Лично Рогмюллер.

ПЬЕР. Что будем делать? У меня один маузер с двумя обоймами.

ЖУРНАЛИСТ. Тут не очень-то постреляешь. Нейтральная страна. Здесь надо хитрить — кто кого.

ПЬЕР. Я слышал радио, арестовали Шарля. В чем дело?

ЖУРНАЛИСТ. Я думаю, сегодня к вечеру его освободят.

ПЬЕР. Его не брали пули на фронте под Уэской… А здесь, где так тихо… Начальник контрразведки республиканцев… Дорого бы фашисты дали, узнай, кто он на самом деле.

ЖУРНАЛИСТ. Это работа Рогмюллера.

Прислушивается. Вода в ванной комнате перестала шуметь.

ПЬЕР. Кто у тебя?

ЖУРНАЛИСТ. Самый ценный агент Рогмюллера.

ПЬЕР. Тебя всегда отличал юмор висельника.

ЖУРНАЛИСТ. Я говорю серьезно.

ПЬЕР. Ты сошел с ума?

ЖУРНАЛИСТ. Чтобы оторваться по-настоящему от слежки, надо все время быть у них на глазах. Иди в ту комнату. Оттуда мы уйдем черной лестницей. И выбрось сутану: встречать утром монаха — к несчастью. А здесь их и так слишком много.

ПЬЕР РЕПУБЛИКЭН уходит в соседнюю комнату. Из ванной выходит АНИ.

АНИ. У тебя остались сигареты?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

АНИ. Дай мне сигарету.

ЖУРНАЛИСТ. Мы перешли на «ты»?

АНИ. А что делать? Врагам говорят «ты». Мы ведь враги, не так ли? Ты ведь знал, что я работаю с Рогмюллером, когда был со мной? Да? Тебе

нужна была надежная ширма? Тебе нужно было, спрятавшись за меня, делать свое дело? Я даже и не заметила, что ты телефон накрыл подушкой. Глупенький. Они не подслушивали нас, они верят мне… А я — дура, дура… Какая дура!

ЖУРНАЛИСТ. У вас потухла сигарета.

АНИ. Скажи, что это все было не так… Ну, скажи! Ну, обмани хотя бы…

ЖУРНАЛИСТ. Ты говоришь, как та королева Правда.

АНИ. Что? А, ты вот о чем… Но я же не знала, что случится через минуту. Видишь: мы ничего не знаем ни о том, что есть, ни о том, что будет.

ЖУРНАЛИСТ. Итак, на «ты». Как настоящие враги. Как же здороваются после долгой разлуки слепые? У тебя поразительные руки, у тебя нежные, рысьи пальцы, я никогда не видел таких пальцев. Думаешь, у меня не обрывалось все внутри, когда ты здоровалась со мной, как слепые после разлуки? Думаешь, я не холодел весь и не делался пустым и легким, когда ты обнимала меня и была со мной? Ты думаешь, я не ждал, чтобы ты все сказала сама? Как я старался помочь тебе этим всем моим философским бредом! Как я ждал всю ночь и все утро, что ты скажешь мне сама! Ты молчала. Поэтому я спросил. И не смей

говорить, что ты была моей ширмой. Нежность в мужчине — сложное качество, которое следует скрывать вообще, а от врагов — особенно. Я не умею и не могу быть с женщиной, которая не вошла в меня, будто утро.

АНИ. Здравствуйте, милый. (*Снова гладит пальцами его лицо, закрыв глаза.)* Слепцы и прощаются так же… Если любят. (*Отошла к окну, поглядела сквозь жалюзи на машину Рогмюллера.)* Включите радио. (*Звучит веселая джазовая песенка.)* В двенадцать часов, когда к вам войдет Пьер Республикэн, я должна позвонить к портье и вызвать такси.

ЖУРНАЛИСТ. Это все?

АНИ. Нет. Еще я должна сказать вам, что служу в гестапо, работаю на Рогмюллера, и попросить вас увезти меня с собой.

ЖУРНАЛИСТ. Вы должны были сказать, что знаете про Республикэна и про то, что я должен вывезти его отсюда?

АНИ. В зависимости от того, как пошел бы разговор. Скорее всего, я сказала бы вам об этом.

ЖУРНАЛИСТ. Лучше бы про это вы соврали… Может, вы действительно хотите, чтобы я увез вас?

АНИ. Я слишком хочу этого… Что мне ему ска-

зать: вы едете к границе или к аэродрому?

ЖУРНАЛИСТ. Как вы думаете, куда мы поедем?

АНИ. Видимо, к границе. А если бы вы поехали на аэродром, тогда я должна была поехать с вами и в последний момент сдать вас пограничникам, устроив публичный скандал с похищением…

ЖУРНАЛИСТ. Скажите ему, что я еду в аэропорт… Нет… Все-таки — к границе.

АНИ (*звонит по телефону).* Портье, вызовите такси. (*Идет к двери.)* Прощай. (*Останавливается у двери, оборачивается.)* Прощайте.

ЖУРНАЛИСТ. Что бы вы хотели взять с собой, если бы я предложил вам ехать?

АНИ. Себя.

ЖУРНАЛИСТ. Пьер еще не пришел. Ты можешь вернуться.

АНИ. Зачем ты сказал это?

ЖУРНАЛИСТ. Не знаю.

АНИ уходит. Из соседней комнаты выходит ПЬЕР.

ПЬЕР. Ты хочешь взять ее с собой?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

ПЬЕР. Ты понимаешь, что говоришь?

ЖУРНАЛИСТ. Я очень хочу взять ее с собой.

ПЬЕР. Я никогда не думал, что ты окажешься

бабой.

ЖУРНАЛИСТ. Любить — это значит быть бабой?

ПЬЕР. Ты любишь врага.

ЖУРНАЛИСТ. Я люблю женщину.

ПЬЕР. Здесь, в этом саквояже, — адреса и явки всех наших товарищей, оставшихся в Испании, чтобы продолжать борьбу. Здесь Иван, Жак, Миша, Дьёрдь, Родион, Ласло, Хаджи, Тодор… Здесь твои братья по борьбе… А ты…

ЖУРНАЛИСТ. А что я? Ты не договорил — я не люблю многоточий. Ну? Что же ты молчишь? Тебе стало совестно? У тебя есть дом, жена, трое детей. Ты вернешься в Москву, которая стала твоей родиной до тех пор, пока мы не сломим голову Гитлеру! А я?! У меня даже нет имени. Я забыл свое русское имя в двадцать втором году, когда из Максима Исаева превратился в безымянного журналиста! Актер живет в своем доме и отдыхает после сыгранной роли. А я?! Ты вернешься в Москву и будешь говорить на своем родном немецком языке или на нашем, русском, а я?! Ты вернешься в Москву и будешь слышать, как спят твой дети, а я?!

ПЬЕР. Ты все время говоришь «я»…

ЖУРНАЛИСТ. Да! Да! Да! Потому что «мы» — это

множественное число от «я».

ПЬЕР. Я понимаю, брат. Я понимаю. Я никогда не делал твоей работы. Я просто строил дома, а после просто — глаза в глаза — воевал с нацистами… Тебе труднее, чем нам всем… Ты устал, тебе надо отдохнуть.

ЖУРНАЛИСТ. При чем здесь отдых? Мы часто теряем такое, что не вернет никакой отдых. Когда мы не можем верить тем, кого любим, мы теряем себя.

ПЬЕР. Ты решил взять ее с собой?

ЖУРНАЛИСТ. Я хочу взять ее с собой… (*Подходит к окну, закрытому жалюзи.)* Вот она кончила говорить с Рогмюллером… Идет сюда… Остановилась. Она смотрит на мое окно и не видит меня, потому что я закрыт от нее этими железками. Вот она повернулась и пошла в кирху. (*Он пишет записку, достает из портфеля диктофон, включает его в сеть, кладет записку не диктофон, снимает подушку с телефона, набирает номер Лиз Джурович.)* Лиз? Я к тебе загляну на минутку, да?

ПЬЕР. Ты недолго?

ЖУРНАЛИСТ. Мы сейчас уйдем вместе. Лиз отвезет нас на своей машине в сопровождении фоторепортеров. На вилле Пронто ждут мою ма-

шину. А мы на машине Лиз Джурович, которая стоит во дворе. В четырнадцать сорок уйдет самолет, и в четырнадцать сорок пять мы пересечем границу. А те будут ждать. Видишь, я живу логикой, сердце только иногда дает осечку. Ты уж меня прости за это. Пошли.

ПЬЕР. Погоди.

ЖУРНАЛИСТ. Да?

ПЬЕР. Ты веришь, что она просто запутавшийся человек, трагически запутавшийся человек?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

ПЬЕР. Ты веришь, что ее можно сделать честной?

ЖУРНАЛИСТ. Да.

ПЬЕР. Тогда… Может быть…

ЖУРНАЛИСТ. Нет.

ПЬЕР. «Нет» — в данном случае не довод. Ты боишься рискнуть…

ЖУРНАЛИСТ. Да.

ПЬЕР. Почему?

ЖУРНАЛИСТ. Потому что она — одна и я — один. А в этом саквояже — все наши товарищи, ты верно сказал, друг. И рисковать хотя бы одним шансом из миллиона я не стану.

ПЬЕР. Ты будешь очень жалеть об этом…

ЖУРНАЛИСТ. Да? Как же ты прозорлив, а?! Тан-

цевать на мне можно, но пританцовывать-то не стоит.

ПЬЕР. Ты еще увидишься с ней…

ЖУРНАЛИСТ. Тебе бы работать Андерсеном… Добрым сказочным Андерсеном. Все. Пошли. (*Он отходит к окну и долго смотрит сквозь жалюзи, повторяя все тише и тише.)* Пошли, друг… пошли… пошли.

10

Кирха. Забранное деревянной решеткой оконце исповедальни. В кирхе пусто и сумрачно. Возле оконца исповедальни — АНИ.

АНИ. Скажите, святой отец, что дороже для человека — любовь или долг?

ГОЛОС МОНАХА. Это одно и то же.

АНИ. Разве? Мне всегда казалось, что любовь и долг — это враги.

ГОЛОС МОНАХА. Я слышу — вы взволнованы, что с вами произошло?

АНИ. Я полюбила врага.

ГОЛОС МОНАХА. Кому он враг?

АНИ. Он враг моей нации.

ГОЛОС МОНАХА. Значит, вы полюбили злодея.

АНИ. Нет. Что вы… Нет… Он не злодей. Он нежен, добр, чист…

ГОЛОС МОНАХА. Как его зовут?

АНИ. Я не знаю его имени.

ГОЛОС МОНАХА. Откуда он?

АНИ. Не знаю…

ГОЛОС МОНАХА. Сколько ему лет?

АНИ. Не знаю, святой отец.

ГОЛОС МОНАХА. Что он любит и что он не приемлет?

АНИ. Не знаю.

ГОЛОС МОНАХА. Как же вы можете его любить?

АНИ. Я не могу не любить его. С ним я стала иначе видеть, иначе слышать, по-другому чувствовать…

ГОЛОС МОНАХА. Вы сами считаете эту любовь греховной?

АНИ. Пусть мне простят этот грех. Пусть мне простят любовь, которую запрещает долг.

ГОЛОС МОНАХА. Как можно простить любовь к врагу вашей нации? Нация — это миллион ваших сограждан. Разве можно простить такую любовь?

АНИ. А почему я должна все время думать об этих самых миллионах? Пусть они сами думают о

себе. Эти миллионы заставили меня быть такой! Почему они не думают и не знают обо мне?! Каждый должен думать о себе! Каждый!

ГОЛОС МОНАХА. Если все будут думать лишь о себе, мы забудем Бога, Который в каждом из нас. Наш долг — любовь к ближним.

АНИ. В Писании сказано — «любовь к ближнему».

ГОЛОС МОНАХА. Кто вам ближе — отец, мать, брат, сестра, дитя или возлюбленный? Нельзя любить кого-то одного из ближних — это значит любить одну себя в нем, в этом ближнем. Мы все в мире, в этом маленьком и огромном мире, близки друг другу.

АНИ. Вы говорите — «мир», «мы», «ближние»... Я прошу для себя. Понимаете? Я вымаливаю любовь себе. Дайте счастье мне одной. Если вы можете дать счастье одному — вы сможете дать его всем. А если вы хотите сначала дать счастье всем, вы его никому не дадите вовсе.

ГОЛОС МОНАХА. Почему вы озлоблены?

АНИ. Потому что я не вижу вокруг себя людей. Даже ваше лицо скрыто от меня решеткой, даже вы говорите мне то, что вам предписывает ваш долг. А где ваша любовь ко мне: к ближней? Где ваше слово?

ГОЛОС МОНАХА. Я слишком мал, чтобы говорить своим словом. Я говорю словами Господа — я верю им.

АНИ. Я тоже знаю слова Господа, но я пришла сюда, в Его храм, к человеку во плоти, к моему отцу и брату, к вам… Мы все знаем Бога людей, но вы-то нам нужны, как люди Бога… Вы говорите так спокойно, так вам все ясно обо мне… Я ведь для вас паства, а не ближняя… Ближний так не говорит.

МОНАХ выходит из исповедальни.

МОНАХ. Встаньте. Ну, встаньте же… Я отвечу вам… Пошли… Я вам отвечу…

МОНАХ подводит Ани к органу, садится и играет Баха. Он обрывает мелодию — резко, как пианист в концерте.

АНИ. Но ведь эта музыка говорит мне — «люби»… Значит, я могу любить его? Почему вы молчите?

Но МОНАХ ничего не говорит. Он снова начинает играть свою трагическую мелодию.

11

Номер Журналиста. Входит АНИ.

АНИ (*оглядывая комнату).* Все правильно… Все верно… (*Пытается войти в соседнюю комнату-дверь заперта изнутри.)* Он думал, что обманул меня.

Видит на столе записку и диктофон. Читает записку. Включает диктофон.

ГОЛОС АЗИАТА. Вы заблуждаетесь, Фрэд.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Перестаньте. Она любит парня, которого мне пришлось убрать, чтобы сохранить ее для нас. Мы оберегаем ее от любви.

ГОЛОС АЗИАТА. От этого нельзя уберечь. И если она узнает, что ее парня убрали именно вы, она наделает массу глупостей.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Она не узнает. Парня убрал я. Мне это было больно делать, поскольку за день перед этим он спас жизнь мне и моему другу, толстяку из Ганновера.

ГОЛОС АЗИАТА. Только не говорите, что вы сделали это во имя долга. Вы любите ее. Трагедия европейцев заключается еще и в том…

АНИ пробует выключить диктофон, но не может. Тогда она укрывает его подушкой. Голоса чуть слышны. Она берет телефонную трубку.

АНИ. Алло. Если меня будет кто-либо спрашивать, передайте, что я сейчас в триста одиннадцатом номере.

АНИ ложится на постель Журналиста, тихо смеется, гладит его подушку, плачет, дотягивается до шнура. С грохотом опускаются черные шторы. В номере делается темно. В номер доносится музыка из костела. Потом в номер резко врывается свет: это РОГМЮЛЛЕР открыл жалюзи.

РОГМЮЛЛЕР. Что с тобой, девочка? (*Садится к ней, испуганно обнимает ее.)* Что с тобой? Тебе плохо? Дать воды? (*Приносит ей воды.)* Что? Они дали тебе снотворное?

АНИ. Да… Они усыпили… Они усыпили меня, мой бедненький…

РОГМЮЛЛЕР. Тебе плохо? Что сделать, скажи мне? Ани, тебе плохо?

АНИ. Мне хорошо, Фрэд. Мне так хорошо…

РОГМЮЛЛЕР. Где они?

АНИ. Мне так хорошо, как не было никогда.

РОГМЮЛЛЕР (*кричит).* Где они?!

АНИ. Не кричи. Ведь ты любишь меня. Ляг. Ляг

ко мне. Раздевайся. Ну? А, я забыла, ты любишь одетым. Я очень хорошо запомнила тебя, когда ты был в форме, в черных лакированных сапогах. Помнишь, ты еще успокаивал меня и говорил, что лакированные сапоги не надо мазать вакси и что простыни поэтому не испачкаются. Ты тогда очень волновался, помнишь? У тебя даже сначала ничего не получилось — так ты волновался. Еще бы — спать с женой человека, которого расстреляли в гестапо. Бедненький, ты всегда помнил свой долг…

РОГМЮЛЛЕР (*снимает трубку телефона).* Пожалуйста, соедините меня с аэропортом. Благодарю. Аэропорт? Прошу номер таможни. Ганс? Это я. Никого? Будьте внимательны, возможен маскарад. Я перезвоню. (*Дает отбой.)* Пожалуйста, виллу Пронто. Алло. Это я. Никого? Час назад. Тихо, тихо, тихо… Никогда не надо волноваться заранее. С ней плохо. Да. Видимо, ей сунули наркотик. Я перезвоню.

АНИ. Фрэд, журналист уже улетел. Когда я шла к нему, я посмотрела расписание, в четырнадцать сорок уходит рейс не нашей авиакомпании.

РОГМЮЛЛЕР. Это точно?

АНИ. Да.

РОГМЮЛЛЕР. Браво.

АНИ. Чему ты радуешься? Они ушли…

РОГМЮЛЛЕР. Этот рейс из-за порчи мотора сядет на аэродроме в Нюрнберге. Это лучший выход. Странно только, как они могли на него пролезть…

АНИ. Нет. Этого не будет… Этого не может быть… Этого не будет. Они улетели! Они улетят к себе! Они не попадут к вам!

РОГМЮЛЛЕР. Ах вот как?! (*Бьет ее по лицу.)* Вот что ты говоришь, грязная шлюха! Я спас жизнь твоему брату! Я! Я спас жизнь тебе!

АНИ. Ты забрал самоё меня, Фрэд, взамен этой проклятой жизни. Зачем она мне?

РОГМЮЛЛЕР. Ани, бедная девочка, любовь моя, ну, скажи, что они дали тебе наркотик, скажи, что все это бред, ты же знаешь, кто ты есть для меня, Ани…

АНИ. Если я скажу, что мне дали наркотик, — что будет дальше? Я снова буду предавать тех, кого ты мне подсунешь? И снова буду лишаться тех, кто стал мне дорог? Я снова буду предавать себя, предавая их?

РОГМЮЛЛЕР. Ты что, не хочешь больше помогать мне?

АНИ. Я не хочу предавать себя.

РОГМЮЛЛЕР. Хорошо. Ты знаешь мое отноше-

ние к детям, Ани. Я не хочу, чтобы из-за твоей бабьей глупой придури страдали мои дети.

АНИ. Что я должна сделать, чтобы спасти их?

РОГМЮЛЛЕР. Ты скажешь, что журналист тебе дал наркотик. Ты скажешь полиции, что он посягал на твою жизнь и честь.

АНИ. Может быть, есть какой-нибудь другой выход?

РОГМЮЛЛЕР. Иного выхода, чем быть со мной, чем быть с нами всю жизнь, у тебя нет.

АНИ. Вот послушай это. Там, на столе, — диктофон…

РОГМЮЛЛЕР подходит к столу, снимает подушку. Громко звучит его голос.

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Мысль развивается только в том случае, если ей расставлены препоны!

РОГМЮЛЛЕР *(в растерянности кричит).* Тише!

ГОЛОС РОГМЮЛЛЕРА. Мы, наш режим, пошли на великий подвиг… (*Рогмюллер мечется, стараясь убрать свой голос, но не знает этой системы диктофона),* и человечество, избранная его часть, воздвигнет в нашу честь монумент… (*Выдергивает шнур, диктофон замолкает).*

РОГМЮЛЛЕР. Зачем они сделали это? Зачем, Ани? Они это дали тебе? Там еще много? Ты испу-

галась этого, да? Но это же была игра, если там ты услыхала что-то про себя, это была игра…

Песенка, звучащая по радио, оборвалась. Слышен голос диктора: «С чрезвычайным сообщением сейчас выступит корреспондент “Интернейшнл газетт” Лиз Джурович, лауреат Пулитцеровской премии». Звучит голос ДЖУРОВИЧ.

ЛИЗ ДЖУРОВИЧ. Вчера ночью был арестован официант варьете Шарль по обвинению в убийстве человека, известного здесь по кличке Азиат. Я называю имя настоящего убийцы, известного в городе горноспасателя Фрэда, который на самом деле является главой резидентуры СД оберштурмбаннфюрером СС Гуго Рогмюллером. Слушайте все, я включаю пленку, на которой записан последний разговор Рогмюллера с убитым им Азиатом!

Звучит монолог РОГМЮЛЛЕРА, когда он дает АЗИАТУ яд. РОГМЮЛЛЕР выключает радио. Трещит телефонный звонок.

АНИ. Это с виллы Пронто…
РОГМЮЛЛЕР (*задумчиво).* Да…
АНИ. Выхода у вас нет, Фрэд. Впрочем, у меня

тоже. Выключите телефон.

РОГМЮЛЛЕР. Выход есть. Либо я сейчас снимаю трубку и говорю моим коллегам, что операцию угробила ты, перевербовавшись к красным, и тогда сегодня же по всему рейху начнут искать твоих родственников, либо…

АНИ. Конечно, либо, Фрэд.

РОГМЮЛЛЕР. Разденься и ляг в постель журналиста.

АНИ. Это будет больно?

РОГМЮЛЛЕР. Нет. Пистолет бесшумный.

АНИ. Шум и боль — разные понятия.

РОГМЮЛЛЕР. Ты ошибаешься. Мгновенная бесшумная боль совсем не страшна.

АНИ. А как быть с твоей любовью ко мне?

РОГМЮЛЛЕР (*снимает трубку телефона).* Я звоню на Пронто и говорю о тебе все.

АНИ. Не надо глупостей. Опусти трубку. Я все это хотела сделать сама. У себя в номере. Просто мне было важно поговорить с тобой. Какая разница, где это сделать, — здесь или там?

РОГМЮЛЛЕР. Огромная. Если тебя найдут здесь, в постели журналиста, тогда он станет уголовным преступником и его выдадут здешним властям, где бы он ни был. А если тебя найдут в твоем номере — тебя закопают не как жертву, но как

истеричную дуру.

АНИ садится на кровати, снимает кофточку, туфли. Слышен стук в дверь. РОГМЮЛЛЕР, схватив записку и диктофон, прячется в ванную комнату.

АНИ. Войдите.

Входит ПОЧТАЛЬОН.

ПОЧТАЛЬОН. Мадам мне сказали, что вы просили всех направлять сюда. Вам телеграмма.

АНИ. Спасибо.

ПОЧТАЛЬОН уходит. АНИ читает телеграмму. Входит РОГМЮЛЛЕР.

РОГМЮЛЛЕР. От кого это?

АНИ. Ты прочтешь ее, когда все кончится. Дай мне побыть с ней, пока я жива.

РОГМЮЛЛЕР. Не глупи.

АНИ. Налей мне вина, Фрэд. Перед смертью полагается делать последний глоток. И обреченным, и палачам.

РОГМЮЛЛЕР наливает вино в бокалы, достает из кармана сигареты, пистолет мешает ему вытащить зажигалку, он рассеянно кладет пистолет на стол, подле бутылки.

РОГМЮЛЛЕР. Дай мне телеграмму.

АНИ. На.

РОГМЮЛЛЕР (*читает).* «Спасибо, Ани»… Что это? От кого?

Он смотрит на Ани и не замечает, как она, нацелив ему дуло пистолета в живот, нажимает курок. Слышит, как лязгнул курок.

(Не опуская глаз.) Я никогда не загоняю патрон в ствол. (*Забирает у нее пистолет.)* Я помогу тебе. (*Опускает жалюзи. В номере темно.)* Я люблю тебя, Ани. Я люблю тебя всю — какая ты есть. Что они все знают о тебе? Я знаю все — и я люблю тебя. Я люблю тебя, Ани.

Долго звучит хорал Баха. А после гремит выстрел, останавливая музыку. АНИ поднимает шторы. Мертвый РОГМЮЛЛЕР лежит на кровати. АНИ медленно идет по номеру… Включает радио… Слышен голос диктора: «Посольство Германии заявляет решительный протест в связи с бездоказательными, клеветническими утверждениями радио о том, что некий Фрэд является якобы оберштурмбаннфюрером СС Рогмюллером. По наведенным справкам, оберштурмбаннфюрер СС Гуго Рогмюллер неделю назад погиб в автомобильной катастрофе в Силезии, а его прах

захоронен в Рансдорфе, на его фамильной вилле “Солнечное утро”. Никакой ответственности за деяния некоего уголовника Фрэда, выдающего себя за офицера СС Рогмюллера, посольство Германии нести не может». АНИ медленно подходит к телефону, снимает трубку.

АНИ. Соедините меня с номером журналистки Джурович. Спасибо. Госпожа Джурович? Оберштурмбаннфюрер Гуго Рогмюллер — его здесь все звали Фрэдом — сейчас находится в триста одиннадцатом номере. Кто говорит? Его бывший агент. Я хочу сделать заявление для прессы. Поторопитесь, пожалуйста, пока не пришла полиция…

Она опускает трубку, недвижно сидит у телефона, а после отходит к окну, и видно, как трясется ее спина, и понять нельзя — плачет она или смеется.

занавес

Повести

«Держись за облака!»

Знаете ли вы таких людей, которые в трудные минуты держатся за облака? Храбрецы и мечтатели, мечтают о дружбе и победе, и когда наступает утро, не удивляются, что победили и обрели много новых друзей.

Летчик покойного государя императора Николая Александровича Романова полковник Генерального штаба Иван Ильич Савостьянов до революции занимал прелестный маленький особнячок в одном из тихих арбатских переулков. Но по декрету новой власти бывшему пилоту бывшего государя оставили из восьми комнат — одну, правда, с камином — как бы в утешение.

Рассердившись на пролетарскую диктатуру, Иван Ильич поставил возле камина, превращенного в некое подобие кухонной плиты, хитрое водонапорное устройство и большую деревянную бочку — чтобы не пользоваться общей ванной, куда по утрам выстраивалась длинная очередь из его новых соседей: безногого тромбониста, который с утра до вечера сочинял боевые марши, татарской семьи, состоявшей из прабабки, баб-

ки, матери и девятерых девчушек, а также двух танцовщиц, которые немедленно по получении ордера на свои комнаты начали осаду Ивана Ильича — мужчины видного и, несмотря на скудный паек, чрезвычайно статного и крепкого. Причем Иван Ильич, воспитанный, как и следует быть, на лучших традициях рабовладельческой антики, совмещал в своей комнате и римскую баню (деревянная бочка), и пылкую страсть, хотя, правда, на топчане любви не было одной ноги (пришлось стопить весной, апрель стоял холодный), а матрац при малейшем прикосновении издавал такой ужасающий металлический грохот, что к нему с обостренным любопытством прислушивались не только дети из татарской семьи, но и безногий тромбонист, прекращавший в эти моменты свое творчество.

Вся эта история как раз и началась в тот вечер, когда одна из танцовщиц, одетая в некое подобие туники, купала в бочке Ивана Ильича, а он блаженно напевал романс: «Я ехала домой, печаль была тиха…»

И не ведал бывший личный пилот государя, что по коридору его бывшего особняка идут трое в кожаном — известное дело, из ЧК, откуда ж еще…

Мурлыкая романс и трогая свою пассию, ко-

торая мылила Ивану Ильичу голову, он и не предполагал, что в кожаном, сопровождаемые всеми жильцами квартиры, подошли к его двери и тут замерли. Послушали куплет, и, когда настала тишина и только слышалось журчание воды, один из чекистов достал маузер из деревянной кобуры, взвел курок и ногой резко распахнул дверь.

Танцовщица, коротко взвизгнув, прыгнула на матрац, который издал мортирное металлическое рыдание.

Иван Ильич смыл с головы мыльную пену и, внимательно оглядев вошедших, спросил:

— Вы меня как — обнаженным поведете или все-таки можно надеть галстук?

— Одевайтесь, — ответили ему. — Мы подождем.

— Тогда закройте дверь. Детское любопытство — одно из самых нездоровых.

Чекисты обернулись, увидели девять бритоголовых детских головешек и, улыбнувшись, дверь прикрыли.

Полковник набросил на себя драную простыню, вытерся и начал достойно и не торопясь собираться в тюрьму. Надел ладный, хотя чуть потертый мундир без погон, но со следами мно-

гочисленных орденов, сложил в баул кусок мыла, кусок хлеба, томик Пушкина и теплое белье, обернулся к танцовщице в тунике и сказал:

— Если мне суждено погибнуть, я приму смерть гордо. Моим коллегам по небу не придется краснеть за меня. Передайте это всем, кого будет тревожить моя судьба. Хотя, впрочем… — добавил было он, но, глянув на чекистов, осекся, а танцовщица сказала:

— Иван Ильич, если уж адье, так, может, вы позволите — я вашу картошку заберу?

Иван Ильич как-то недоуменно поглядел на авоську с картошкой, которая висела на стене под саблями, пиками, ружьями и оленьими рогами, потом придвинулся к зеркалу, критически осмотрел свое лицо — может, в последний раз, так уж хоть запомнить, — и ответил:

— Бочку я вам завещаю тоже, хотя, впрочем, большевизм отвергает античное право гражданского наследования собственности. Конфискация — его практика, оправдание произвола — его метод. Прощайте, мон пти.

С этим Иван Ильич вышел вон в сопровождении трех в кожаном.

А пришел он не куда-нибудь, а именно туда.

Навстречу ему из-за стола поднялся довольно

молодой человек и, пригласив сесть, сказал:

— Вы не сердитесь, пожалуйста, что мы вас так поздно потревожили. Дело уж больно срочное и важное.

— Разве для революции одиннадцать часов ночи уже стало считаться поздним временем?! Браво, браво! Какой прогресс на пути к закону!

Чекист хмыкнул, губами пожевал, чуть покачал головой, но ничего не сказал, а только все так же вежливо спросил:

— Документы у вас с собой?

Савостьянов протянул ему документ и сказал:

— Хотя для того, чтобы меня поставить к стенке, документов и не требуется: всем известно, что я бывший личный пилот государя императора.

Чекист согласно кивнул головой и, рассматривая документ, заметил:

— Какая-то у вас обостренная задиристость. Нет?

Намек Иван Ильич понял и примолк. А чекист сказал:

— Значит, вам выдано право на вождение всех видов аэропланов?

— Не скрою — именно так.

— Навыки не подрастеряли за эти два года?

— Разве человек может разучиться любить?

Или — что еще точнее — дышать?

— Понимаю, понимаю, — сказал чекист, — понимаю, — повторил он, — значит, так… Мы потревожили вас для того, чтобы сообщить: особняк вам дадим еще лучше, чем был. Десять комнат на одного хватит?

— Кого мне в этом особняке принимать? Мои друзья либо у Деникина, либо у Колчака, либо у вас — в камерах ЧК. Лично я — неприхотлив, могу жить и в подвале.

— Понимаю, понимаю, — несколько нетерпеливо сказал чекист, — понимаю. Помимо особняка — и это главное, — мы приглашаем вас в ряды армии, нашей армии, даем пост командира эскадрильи.

— Бойтесь данайцев, дары приносящих, — сказал Иван Ильич скорее самому себе, нежели чем чекисту, — давайте, как говорится, подобьем бабки: зря вы ничего не возвращаете, а тем более не даете. Значит, я вам почему-то понадобился, посему вы не ругаете меня недорезанным буржуем. Эрго: что я должен для вас сделать?

— Вы правильно меня поняли, — сказал чекист. — Вы меня поняли верно. Вы должны будете отвезти на аэроплане в столицу европейской державы — обозначим ее пока именно так — одного

человека.

— Как же я могу лететь в европейскую столицу, когда Россия сейчас — не без вашей помощи — похожа на слоеный пирог: красная-белая-зеленая. Потом, как я догадываюсь, вы хотите, чтобы я вез в Европу отнюдь не фрейлину ее императорского величества, и, следовательно, при первой же посадке у белых — шлепнут моего пассажира, а при второй посадке у красных — шлепнут меня. Есть ли резон во всей этой авантюре?

— Есть, — коротко сказал комиссар ЧК, — есть, потому что вы должны будете отвезти в Европу человека легендарного… если хотите — героя, подвижника, в самом высшем значении этого понятия.

Комиссар ЧК жестом предложил Ивану Ильичу обернуться, и тут бывший государев пилот увидел маленького человечка в очках, который, смущенно улыбаясь, шел по громадному кабинету.

— Вот, — сказал чекист с нежностью, — знакомьтесь: это человек из легенды.

Савостьянов — как смех сдержать ни старался — заколыхался весь: больно уж курьезен был этот человек из легенды, курьезен и в чем-то даже жалок.

— Этот ваш герой и подвижник, — сказал Иван

Ильич, — умрет в небе от разрыва сердца. Это раз. И потом, конечно же, я его никогда не повезу. Это два.

— Не говорите обо мне в третьем лице, — покашливая, сказал вошедший, — я понимаю русский. Кстати, сейчас возможность умереть на земле более вероятна, чем в небе, потому что в небе сейчас спокойнее, чем на земле. Простите, ваше имя и отчество?

— Савостьянов Иван Ильич. А вас?

Чекист и вошедший переглянулись, и «подвижник» ответил:

— Скажем так, называйте меня Янош. Перцель Янош.

— Так почему же вы, Иван Ильич, — спросил чекист, — в такой категорической форме отказываетесь везти… товарища Яноша?

Янош просмотрел летное удостоверение Ивана Ильича и спрятал его к себе в нагрудный карман.

Савостьянов насупился, тяжело задышал носом…

— Можете отвечать всю правду, — сказал чекист, — давайте уж выясним всё до конца, как говорится…

— Я не хочу везти одного из тех, кто помогает

вам топтать старые принципы, не предлагая взамен новых, — выпалил Иван Ильич, — приемлемых для меня! Меня устраивали старые принципы — благородства, уважительности, открытого мужества. Эти принципы вы называете белогвардейскими. Посему внутренне я не с вами, но против вас! Мог бы здесь не жить — не жил бы, это если до конца откровенно! Так что лучше сажайте сразу — я сугубо отрицательно отношусь к вашему эксперименту и скрывать этого более не желаю! Надоело жить с двойным дном — я все-таки человек, а не чемодан! Хотя вы можете из человека не то что чемодан — улитку сделать!

Янош спокойно выслушал тираду Ивана Ильича и, подняв глаза к небу, процитировал на древнегреческом:

— Не факты мешают человеку, но мнение, сложившееся о фактах.

— Эпиктет! — поразился Савостьянов. — Откуда вы знаете греческую классику?!

— Я читал курс лекций в Вене по истории античной философии, — ответил Янош.

— Хорошо, — хмуро сказал чекист, — мы вам вносим предложение: довезите товарища Яноша до того города, который он вам укажет, а после можете уезжать в Париж, Рим — в общем, куда

хотите…

— Это предложение слишком заманчиво, чтобы быть правдой… Я вам не верю…

— Мы вам тоже, — коротко отрезал чекист.

— Вы позволите? — спросил Янош чекиста.

— Конечно, — ответил тот, — пожалуйста…

— Мне всегда казалось, — обратился к Савостьянову товарищ Янош, — что пилотаж и логика — две стороны одной медали. Или я ошибался?

— Отчего же… Верно считали.

— Тогда, простите, вы плохой пилот, ибо страдаете отсутствием логики. Откуда вам легче попасть в Берн — из Москвы или, скажем, из Вены?

— При чем тут Вена, — поморщился Иван Ильич, — речь-то идет о Будапеште, не маленький ведь я… А там ЧК такая же, как и здесь.

Янош откинулся на спинку стула и вздохнул (так мужчины всего мира вздыхают во время бесполезных бесед с ревнивыми женами).

— Вы газеты читаете? — спросил он.

— Не скрою — я вашим газетам не верю.

— Тем не менее, — сказал Янош и развернул перед Иваном Ильичом «Правду», — вот сообщение РОСТА. Контрреволюция окружила красный

Будапешт. Это невыгодное для РОСТА сообщение, не так ли? Оно выгодно для тех. кто исповедует ваши старые принципы? Нет? Так что, может статься, — Янош усмехнулся, — вы летите прямехонько к вашей свободе, а я — к своей пуле в затылок.

Этой же ночью с подмосковного аэродрома улетал самолет в Будапешт. Народного комиссара Венгерской республики товарища Тибора Самуэли провожали русские большевики и Янош Перцель. Улетел самолет в обстановке полной секретности, и, когда растворился он в черном, непроглядно-жутком небе, с аэродрома все разъехались на машинах — будто и не было здесь никого…

А той же ночью, и в это же именно время, на Ходынском поле несколько инженеров готовили к полету другой самолет, точь-в-точь похожий на улетевший. Моросил дождь — промозглый, но еще по-летнему теплый. Разговаривали инженеры тихо, и неясно было, кто что говорит, но слышно было все.

— Куда столько бензина?

— Дальний рейс…

— Говорят, везут красного иностранного наркома. В Париж…

— А что — там уже тоже началась каша?

— Почему нет? От них, от французов, всё и пошло: свобода, равенство и братство — а нам расхлебывай…

— При чем тут Париж? Везут в Будапешт красного наркома, большевика ихнего, Тибора Самуэли.

— Идиотизм… Куда они его довезут? Старых пилотов, кто мог бы верно проложить курс, — нет.

— Говорят, согласился Савостьянов.

— Не может быть! Он же всегда бранил большевиков изуверами и дикарями.

— Наверное, они на него комиссаршу какую покрасивей напустили. Он за прекрасную даму под поезд ляжет.

— Тихо, господа! Идет солдат! — шепнул кто-то и прикрикнул громко: — Инженер Голембовский! Туже надо крепления элерона затягивать! Туже!

К работавшим инженерам подошел бородатый красноармеец. В руках у него была буханка хлеба, голова сахару и большой чайник.

— Вот, граждане техническая интеллигенция, — улыбнулся красноармеец, — погрейтесь, чаек горяченький, а то закоченели, видать, под дождем…

— А завтра, — ответил боец, — послезавтра, поутру, он уж вылетать должен…

Тот, кто спрашивал про завтрашний день, взял железную кружку, плеснул в нее кипятку, отрезал ломоть хлеба и отошел к маленькому домику. Открыл дверь, плотно прикрыл ее за собой и, не включая лампы, снял трубку телефона. Назвал номер:

— 88845, — сказал человек, подождал ответа и, услыхав в трубке низкий, рокочущий бас, быстро проговорил: — Передайте Мане, что бабушку повезут к врачу послезавтра днем.

Слова эти слышал не только атташе одного из иностранных консульств в Москве, но и комиссар из ЧК с Яношем Перцелем. И так тревожно посмотрел чекист на венгерского большевика, и столько у него в глазах было скорби, а в глазах у Яноша, наоборот, столько радости, облегчения и, если хотите, озорства, что понять происходящее человеку, не посвященному в эту операцию, было невозможно. А уж тем более «Маня» — атташе не предполагал такой реакции двух его противников, когда, опустив трубку телефона, начал писать что-то на шелковке, а после достал из ящика письменного стола шкатулочку, вытащил из нее обручальное кольцо, разломал его пополам, шелковочку в кольцо спрятал и вышел из кабинета, погасив при этом свет.

И попало это кольцо в католический костел, что возле Брюсовского переулка, и вручил это колечко под высокие звуки органного Баха старый ксендз молоденькой блондиночке, которая в свою очередь обменялась этим колечком со странным своим женихом: греком в феске, которого бил непрерывный тик, — а уж от этого грека колечко попало на стол генерала Дрыжанского, из деникинской контрразведки, и разломил он это колечко, и достал оттуда шелковку, и прочитал своим сотрудникам:

— С Ходынского аэродрома вылетает 12-го аэроплан без опознавательных знаков с Тибором Самуэли на борту. Пилот — полковник Иван Ильич Савостьянов.

Генерал поднял глаза на своих сотрудников, особенно задержался взглядом на лице полковника Дайниченко и продолжал:

— Господа, эту победу нашей агентурной сети, героически работающей в неимоверно сложных условиях большевистского террора, мы должны отметить, как стоицизм и подвиг! Итак, — генерал обернулся к карте России, — давайте поглядим, где нам удобнее встретить нашего друга Ивана Ильича Савостьянова и его подопечного, цыганского иудея венгерской национальности.

Генерал Дрыжанский взял указку и повел ею по карте России: от Москвы — к Туле и дальше, на юго-запад.

— За Тулой практически кончается так называемый большевистский монолит и начинаемся мы. Видимо, где-то возле Мценска они сядут на заправку. Именно там, — повторил генерал, быстро просчитал это свое предложение на логарифмической линейке, — бензина у них на двести верст, крейсерская скорость бешеная — сто верст в час. Да, не будь у штурвала Савостьянова аппарат с такой бешеной скоростью, никто и никогда не догнал бы. Итак, сверим часы… Видимо, что-то к трем — трем сорока их надо будет встречать. И поручается это Анатолию Ивановичу, — сказал генерал полковнику Дайниченко, — как человеку, знакомому с Савостьяновым. Причем, конечно, перехватить их следует здесь: что ни говорите, а дальше, верст на двести, — зона красного партизанского влияния, а там — Махно, зеленые, эт цетэра, эт цетэра… Следует исключить всякого рода случайности и не переносить встречу еще на шестьсот верст к нам в тыл, — генерал указал по карте, где это могло статься, — а решить это здесь, по-семейному, как говаривал Михаил Евграфыч Салтыков-Щедрин.

А когда все вышли, генерал жестом остановил Дайниченко и сказал:

— И работать нам надо будет с венгерским наркомом аккуратно: теперь всяческие расстрелы большевистских лидеров, как это ни печально, оборачиваются в их силу идеологии. Нам важны отречения от большевизма. Это мы обернем в слабость большевизма. Только так и никак иначе.

А по огромному полю Ходынского аэродрома тем временем шли Иван Ильич, окруженный чекистами, и Янош Перцель в сопровождении нескольких товарищей. Подошли они к самолету. Чекисты на Ивана Ильича волками смотрят; он на них — тоже отнюдь не ласково. Обнял молодой комиссар ЧК Яноша, поцеловал его неловко и сказал:

— Янош, мы будем держать в курсе наших товарищей там, где это возможно, конечно. Все указания из Будапешта будем передавать по возможной трассе полета… Счастливо, Янош…

— Все будет хорошо, — ответил Янош и начал неумело забираться в кабину.

Иван Ильич к нему обернулся, глаза злющие. Спросил:

— Ну, Богу помолились?

А Янош ответил:

— Я вам вот что хочу сказать: если вы станете сажать меня в расположение белых — я имею в виду не случайность, но умысел, — вот граната. Видите? Я взорву ее, и это будет концом для нас обоих.

— Не пугайте меня, — сказал Иван Ильич и крикнул людям на земле: — От винта!

— Я вообще не умею пугать, — сказал Янош, — и считаю это занятие безнравственным. Я просто предупредил вас. Другого выхода у меня нет.

— Всегда есть другой выход, — зло сказал Иван Ильич и крикнул: — Мотор.

И понесся самолет в небо, и в тот самый миг, когда колеса аэроплана оторвались от земли, лицо Ивана Ильича озарилось и стало иным…

И это сразу заметил Янош.

По громадному заливному лугу несся лихой возница: он стоял на подводе и хлестал кнутовищем четырех лошадей. А в подводе громыхали большие бочки, и держали их — так, будто они были с динамитом, — девочка и паренек-цыганенок. И большого труда стоило вознице остановить подводу, когда на дорогу из засады вышли четверо деникинских солдат и преградили путь, вскинув карабины.

— Что везете? — спросил старший по засаде и

принюхался. — Бензин?

— Керосин, — ответил возница и сунул старшему бутыль с самогоном, — в Бабаниху гоним, оптом берут, дело уж больно выгодное, господин унтер.

— Не имею права без пропуска, — ответил унтер, прикинув бутыль на вес.

— На обратном пути еще две такие штучки подкину, — сказал возница, — будьте уж так любезны, дело сгорит, хорошее дело.

Унтер оглянулся на солдат, а ему подмаргивают, мол, ну их к черту, это же Сашка-купчишка, пусти…

И пропустили «Сашку-купчишку», только он не в Бабаниху погнал, а совсем в другую сторону — на лесную поляну, где приземлился самолет Тибора Самуэли и ждал заправки. И не Сашка это был вовсе, а большевик-подпольщик Николай Марцыпанов.

А тем временем в большом небе летел маленький самолет. И болтало его, и мотало, а Савостьянов, сидевший у штурвала, был счастлив, потому что его выпустили в это тихое, солнечное надмирное небо, и поэтому Иван Ильич по своему давнишнему обычаю пел — очень громко и не очень умело, но уже не печальный романс

«Я ехала домой», но пролог из «Паяцев» Леонкавалло — на плохом итальянском, местами с мычанием — видно, в тех местах, где не знал слов.

А позади Савостьянова, во второй кабине, сидел Янош с томиком Эпиктетоса в руках, в огромных летных очках, надетых поверх его толстых окуляров, и близоруко щурился, словно чего-то смущаясь, а когда Иван Ильич свою арию кончил, запел Янош, но в отличие от бывшего императорского пилота на великолепном итальянском языке и великолепным, прямо-таки артистически поставленным голосом.

Савостьянов, услыхавши Яноша в переговорный шланг, ошалело уставился в зеркальце (такие теперь у всех шоферов такси, а тогда были только у пилотов их императорских величеств России и Австро-Венгрии) и рычажок громкости в переговорном устройстве повернул на «максимум».

А когда Янош спел арию из «Риголетто», Савостьянов переглянулся с ним в зеркальце и, демонстративно бросив штурвал, начал аплодировать.

Самолетик «фарман» грохнулся в смертельный

штопор, а Савостьянов по-прежнему аплодировал и при этом смотрел на Яноша в зеркальце, а тот, понимая, что этот экзамен для него очень важен, поднял с колен Эпиктета и начал читать мудрого грека, для которого в отличие от нас, грешных, вопрос перехода от жизни к небытию был лишь вопросом перехода энергии материи от органики к неорганике — всего лишь.

Ах, штопор, штопор, яростное ощущение тишины и рева, несешься навстречу земле — а она зеленая, мягкая, рыжая, поросшая желтыми травами и синими лесами, — все ближе и ближе она, наваливается на самолет, а моторчик «фармана» ревет тонко и надрывно и даже звенеть начал, будто от натуги.

А Савостьянов, продолжая аплодировать руками, обутыми в громадные оладьи авиационных перчаток с раструбами, прямо-таки впился в лицо Яноша: дрогнет или нет, — тот впился в Эпиктета, пот на лбу выступил от волнения, ан и у Ивана Ильича тоже капельки на лбу заблестели, ай да чертов венгр, ай да Пушкин, ай да сукин сын…

Вывел Иван Ильич самолет из штопора, «фарман» сначала завис носом вверх, хвостом вниз, потом медленно и даже в некотором роде картинно перевалился в горизонтальное положение

и полетел дальше, на юго-запад.

Глянул Иван Ильич на землю и сказал в переговорный шланг:

— Хотите посмотреть, где мы идем?

И, не дожидаясь ответа Яноша, повернул «фарман» вниз головой — через левое крыло…

Крестьянин, смотревший с земли на все это воздушное бесстыдство, вдруг заметил, как от летательного аппарата отделилась крохотная точка — вот она все ниже, ниже, ниже несется — Господи, спаси, сохрани и помилуй — да это же человек с неба падает! Нет, похоже, не человек. А вроде бы и человек, ручки сложил поперек и раздулся. Нет, не человек! Тюк. Точно — тюк. Грох о землю и развалился! — И — прямо как в сказке — пахарь даже глазам своим не верит: вобла, хлеб, сахар и железные баночки с бумажными наклейками — их в мирное время господа «концервами» называли.

Опустился крестьянин на колени перед этим богатством и прошептал:

— Спасибо Тебе, Господи, за доброту Твою! Услыхал Ты молитвы наши, Господи! Детям и внукам буду завещать покорность Тебе и хвалу!

А в самолете тем временем вовсю бушевала перепалка…

— Откуда я знал, что он у вас не был привязан?! — кричал Савостьянов.

— Вас бы устроило, чтобы вывалился я?

— Я вам этого не говорил! Я государя через крыло переворачивал.

— Хоть вы государя переворачивали — а болван! — разъярился Янош. — Идеология идеологией, а жрать тоже надо! Я в ваших тюрьмах по двенадцать дней голодал, я приучен! А вот вы?!

— Я два года жую вашу большевистскую картошку и запиваю ее кипятком! Не пугайте меня голодом!

— Если бы ваши белые единомышленники не убивали наших коммунаров и продармейцев — было бы и сало, и крупа!

— На войне как на войне!

— Ну так и вините в этом эксплуататоров, а не эксплуатируемых!

— Когда у власти были эксплуататоры, у бедных эксплуатируемых был и хлеб, и мясо, а сахар стоил семьдесят копеек, а не 250 тысяч рублей!

— Не хлебом единым сыт человек! Тогда в школах училось полмиллиона детей, а сейчас, на втором году революции, — 10 миллионов! Диктатура образованных миллионов разумнее демократии тысяч! Нет? Революция должна на-

учиться смотреть через поколение!

— Это все софистика. Просто вы дорвались до пирога.

— Между прочим, мой паек — четыреста граммов хлеба, а между прочим, мой папаша — миллионер, живет в Вене и владеет огромной фирмой. Так что не будем говорить о пирогах и булках.

— Это все от вас, от аристократов проклятых! Вся смута от вас и безобразие! Зажрались — вот и потянуло вас на страдания с приключениями! А мой дед был крепостным именно в этих местах! — Савостьянов ткнул пальцем в небо — перед собой.

— Тогда я не могу верить вашим разглагольствованиям о попранных принципах. Значит, вы просто-напросто исповедуете принцип беспринципности. Иначе говоря — шкурничества! Кстати, у вас кончается бензин — следите за приборами!

— Вот черт! С вашими дурацкими штопорами и ариями я весь бензин сжег!

— С моими штопорами?! — возмутился Янош. — С моими?!

— Хватит вам ловить меня на местоимениях! — взъелся Иван. — Сорока верст до аэродрома не

дотянули!

Ранний августовский вечер был насквозь синий, пронизан на западе желтым жиром заката, который растекался вдоль по молодому сосняку. Далеко-далеко кукушка вела неторопливый отсчет дням чьей-то жизни.

Янош и Иван шли по узенькой наезженной дороге, которая то поднималась на взгорья, то вилась причудливой восьмеркой через луга, а то и вовсе исчезала в громадном сосновом бору — гулком и жутковатом, как пустой костел.

Иван, шедший первым — вроде как под конвоем, — вдруг замер и махнул рукой Яношу, но тот этого даже не заметил, погруженный в свои далекие раздумья, и остановился, только уткнувшись носом в могучую иваноильичевскую спину.

— В чем дело? — спросил он хмуро.

— Тш-тш! Глухарь, — прошептал Иван. — Дайте маузер.

— Нет. Я не дам вам оружия.

— Да не бойтесь вы, ей-богу! Захотел бы — отнял его у вас в секунду. Есть хочется.

— Я против убийства декоративных птиц и животных, — сказал Янош. — Это негуманно.

— Слушайте, — прошептал Иван, у него заходили желваки на скулах, — я не смогу везти вас

разжигать пожар мировой революции, если у меня голова разваливается от голода.

— Имейте в виду, — сказал Янош, передавая Ивану маузер, — я этого есть не стану.

Иван досадливо махнул рукой и начал выцеливать глухаря, сидевшего на суку так картинно, будто это был не живой глухарь, а чучело в доме у богатого дантиста. Грохнул выстрел, глухарь неторопливо сорвался с дерева и шумно улетел в голубую чащу.

— Ха, — сказал Янош, — к тому же вы еще и мазила!

— Попробовали бы взять его пулей с такого расстояния!

— Видите тот сук? — спросил Янош. — Я его перешибу. Дайте сюда наган.

— Это маузер, а не наган. Не заваливайте мушку. Вы ж мушку заваливаете.

— Пожалуйста, воздержитесь от ваших советов. Я был чемпионом по стендовой стрельбе в 1912 году.

Грохнул выстрел. Сук даже не шевельнулся.

— Дайте сюда, — сказал Иван, — я покажу вам, как это делается.

Выстрелил Савостьянов мимо.

— У вас мушка сбитая, — сказал он.

— Ничего подобного. Дайте сюда, — попросил Янош и выстрелил навскидку. Мимо. Посмотрел на мушку и сказал: — В общем, действительно, я допускаю, что мушка несколько сбита.

— Не скрою, надо брать пониже, — сказал Иван, прицеливаясь, — не под яблочко, а под обрезик.

Мимо.

— Под обрезик! — злорадно сказал Янош. — Наоборот, всё наоборот! Надо приподнимать ствольную часть, чтобы выстроить точную траекторию предполагаемого выстрела: котангенс соединительной диспропорции глазного яблока, соразмеренный с деформированной натяженностью ствольного расстояния, и даст нам точность.

Грохнул выстрел. Мимо.

— Да, — протянул Иван, — в теории вы ничего… Подготовлены. Теперь я понимаю, отчего мы с вашей теорией голодные сидим. Пошли налево, там вроде большак — огоньки светят.

И двинулся Иван Ильич первым во мрак соснового бора, а Янош пошел следом. Они прошли совсем немного и — как искушение, как дьявол его побери, — на суку сидит громадный черно-бело-красный глухарище.

Иван обернулся к Яношу. Тот молча протянул

ему маузер. Иван тщательно прицелился, нажал курок, и вместо выстрела раздался тугой металлический щелчок. Глухарь не испугался, даже клювом не повел.

— Где патроны? — прошептал Иван.

Янош тихонько ощупал карманы и сказал:

— В летательном аппарате.

И тут Иван взревел, и этого глухарь испугался, и улетел, а Иван просто-таки криком кричал:

— Мешком вас в детстве стукнули, что ль?!

— Вы убеждены, что на этот раз бы наверняка попали?

— Так здесь же тридцать метров! — проревел Иван и начал скакать к тому месту, где сидел глухарь, отсчитывая свои метровые прыжки, — раз, два, семь, пятнадцать…

И вдруг исчез Иван Ильич — будто и не было его вовсе. Янош тщательно протер очки и нерешительно сказал:

— Ау! Ау, Иван Ильич!

Откуда-то из-под земли донесся вопль и мычание. Янош на цыпочках подскакал к тому месту, где исчез Иван, и увидел яму — кулацкий лабаз, полный окороками, сырами, мешками с зерном и бутылями с самогоном.

— Лезьте сюда, — сказал Иван Ильич, разрезая

окорок, — это же черт знает какое счастье, а?! Рабле, да и только!

Янош спрыгнул к Ивану, лицо его сделалось жестким и злым.

— Вот поэтому, — сказал он, — Москва и Питер сидят на осьмушке ржаного хлеба, Иван Ильич. И кто больше виноват в голоде, большевистская теория или кулацкая практика, — вопрос отнюдь не бесспорный.

— Ладно, — сказал Иван, — ешьте пока, что ли…

— Начинайте вы, — сказал Янош.

— Пока мы в России — я хозяин, мне и угощать.

— Во-первых, с этой минуты ни вы и ни я хозяин этого богатства, а пролетариат. (Иван не выдержал, поморщился.) А во-вторых, я ем всегда последним, поскольку у меня туберкулез.

— Ничего. Я не боюсь. А потом самогонкой прополоскаться можно.

— Самогонки вы не получите ни грамма.

— Это как понять?

— На самогоне мы полетим до Тулы. Самогон, если мне не изменяет память, не что иное, как спирт. Нет?

Летит в ночном небе самолет, огоньков на зем-

ле не видно, только молодой месяц слева висит и звезды лениво говорят друг с другом на непознанном землянами таинственном языке.

Иван Ильич посмотрел на приборы и загрохотал в переговорный шланг:

— Мы на этой спиртяге побили все мировые рекорды! Идем со скоростью сто двенадцать километров, скажу — не поверят!

— Не промахните Тулу.

— Мы можем идти дальше. Где вам дали следующий аэродром?

Янош разложил карту на коленях, по-штурмански точно сориентировал ее со звездами и ответил:

— Во Мценске.

— Дотянем. Такая скорость, ваше вели… хм-хм, народн…

— Скажите, пожалуйста, Иван Ильич, а вот если бы мы сели с вами в расположение белых частей и я бы отдал вам наган…

— Маузер.

— Маузер… Вы бы… как?..

— Сядем — там видно будет, как, — ответил Иван Ильич и засмеялся непонятным смехом.

Самолет подрулил к церкви по широкой улице маленького городка, потонувшего в темной

тишине тревожной ночи. Ни огонька в городе — только лампадка светится у церковных врат.

Рев мотора разбудил жителей, и пошли зажигаться огоньки в окнах — словно в Рождество Христово, после минуты тишины и доброй молитвы, обращенной живыми к живым.

Пропеллер остановился, мотор фыркнул пару раз и заглох.

— Мценск, что ль? — спросил Иван Ильич людей, опасливо подходивших к диковинному двукрылому аппарату.

— Троицк, батюшка, — ответили ему. — Троицк. От Мценска рядом.

— Тут кто? — спросил Янош.

— Люди, батюшка, — ответили ему, — люди.

— Да я понимаю, что люди. Красные или… как?

Вспыхнули в ночи ярким светом два фонаря. Трое в папахах шагнули из темноты к самолету. В наших путешественников уперлись тупые рыла карабинов.

— А ну, — сказали из темноты, — покажь сначала свои документы, а после скажем, какого мы цвета.

— Красные оне, красные, — пропел из темноты старушечий голос, — комиссары оне, батюшка…

Янош облегченно вздохнул и сказал:

— Я — венгерский нарком, лечу в Будапешт. Всем командирам красных частей выслана шифровка по поручению Феликса Эдмундовича. Не посчитайте за труд связаться с комиссарами Тулы или Мценска — это безразлично.

— Ну вылазьте, — сказал человек в папахе, — на земле договорим.

Янош с Иваном вылезли, и человек, который был в папахе, сказал двум своим подчиненным:

— Обыскать для порядка.

— На каком основании? — спросил Янош.

— На правильном основании, — хмуро сказал человек в папахе.

Начали обыскивать наших, и из карманчика Яношева френча вытащили документ, развернули его, прочли, и тот, в папахе, сказал:

— Комиссар… Сука! Мы те покажем, гад, комиссара! В подвал их!

И несмотря на яростное сопротивление, которое оказывали и Янош, и Иван, причем каждый из них кричал по-своему: один кричал «товарищи», а другой «господа», бросили их в подвал, а подвал не простой, а с зарешеченными окнами, и путь отсюда — по всему — не иначе как под пулю.

А на площади возле церкви — шум и гомон. Читают документ Яноша всем скопом, а написано

в том документе, что предъявитель оного — личный пилот его императорского величества, полковник Генерального штаба Савостьянов Иван Ильич имеет право управления всеми видами летательных аппаратов.

— Товарищи, — говорит старший, тот, что в лохматой папахе был, — все равно самосуда мы допускать не можем! Пусть революционный суд решит участь этого белого полковника!

— А они наших товарищей судом судят?! — пронзительно закричал молодой красноармеец и, запалив факел, отбежал к церковной стене и осветил изуродованные трупы красноармейцев. — Вот что они с нашими бойцами сделали!

— Не моги кричать, — сказал командир в папахе. — Не рви людям сердца! Если суд решит: к стенке, — тогда шлепнем. А без закону жить нельзя. Без закону чужая кровь со своей помешается!

А из того домика, где в подвале маялись Янош и Иван, выбежал конвоир с винтовкой и закричал:

— Товарищ командир, они там дерутся вроде и орут!

Что верно, то верно: дрались наши узники. Иван оттаскивал от себя яростного и гневного Яноша, барабанил кулаками в дверь и кричал:

— Господа, я полковник Савостьянов, господа! Отстаньте, идиот, — кричал он Яношу, пытаясь оттащить его от себя. — Я требую сюда старшего офицера! Я личный пилот убиенного государя императора!

Он продолжал выкрикивать это и тогда, как его вместе с Яношем вели конвоиры через площадь к командиру в папахе.

— Значит, говоришь, ты и есть полковник Савостьянов, летчик убиенного государя императора? — спросил командир, не глядя на Ивана Ильича, а глядя себе под ноги.

— Да! Да! — прокричал Савостьянов. — Ваш маскарад сбил меня с толку! Пригласите старшего!

— А этот кто? — кивнул командир на Яноша.

— Это иностранец, и я за него никакой ответственности не несу! Я бегу от большевистских зверств!

— Иди сюда, — сказал командир. — Посмотри на зверства.

И повел Ивана вместе с Яношем к трупам, что лежали рядком возле церковной стены.

— Смотри на белые зверства, гад, золотопогонник, — сказал командир.

— Товарищи, он действительно белый полковник, но он везет меня, венгерского большевика!

— Вихляешь, сволочь, — тонко закричал паренек с винтовкой, — к стенке их! К стенке! Смерть за смерть!

Сдвинулись бойцы вокруг Яноша и Ивана, затворами лязгнули, вскинули винтовки.

— Этого полковника сейчас порешим, а иностранец пусть утра дождется! — крикнул паренек, подтолкнул Ивана Ильича дулом к стенке и взбросил винтовку: пришел смертный час бывшему государеву пилоту…

— Прекратить! Кончай произвол! — вдруг грозно заорал Янош. — Коммунисты, шаг вперед!

И столько силы появилось в его голосе, что все несколько опешили и командир шагнул к Яношу и сказал:

— Ну… В чем дело?

— Немедленно свяжитесь с ЧК Тулы и Мценска! Об исполнении доложить мне! — командовал Янош, стоявший под дулами со связанными руками. — Аэроплан укрыть — дождь! Выставить усиленные караулы! Выполняйте!

— А документ у тебя где? — спросил командир. — Твой где документ?

— Какой у меня может быть документ?! Мне через белых лететь!

Поздно ночью полковник Анатолий Иванович

Дайниченко, продрогнув до костей — погода к ночи переменилась, с севера подул студеный ветер, небо насупилось, прижалось, взлохмаченное, к земле, — покинул свою полевую штаб-квартиру, куда были подведены все телефоны с основных, по его предположению, пунктов, где люди ждали савостьяновский самолет. Сказавши адъютанту, где — в случае чего — можно будет его, Дайниченко, отыскать, Анатолий Иванович отправился в махонький подвальный кабачок, где играла петербургская оперетта, перекрашенная под цыган: с цыган — слезы, их и желали, а с оперетты — смех, а до смеха ли сейчас — война…

В отдельном кабинете дым стоит коромыслом, спор идет генерала от жандармерии Дрыжанского и поэта — известного, считавшегося в былые времена крамольным, но репутацию эту создавала продажная газетная критика, и ее исподволь санкционировал политический сыск.

Генерал кивнул Анатолию Ивановичу на стул подле себя и спросил:

— Ну?

Анатолий Иванович отрицательно покачал головой, налил себе водочки, выпил и прислушался к яростной поэтовой тираде.

— Вы, вы, именно вы, охранители устоев, —

Россию погубили! Особенно политический сыск — опять-таки впрямую к вам адресуюсь! Вы сами плодили подполье, сами! Два студента Марксом увлекаются, третий вам про это шепнет, так вы к ним сразу — кого? Провокатора! Нет чтоб молокососов вызвать да за вихры оттаскать — нет, вам давай-ка организацию создавай, да пошли кого к Ленину в Швейцарию, да побольше в организацию народа вовлеки, — поэт всплеснул руками, — сами ведь вовлекли, сами! А уж потом, когда она комом разрастается, тогда айда аресты! Зато на докладе есть что государю сказать — работаем, ваше величество, работаем. Глядишь — Анну вне очереди, на погон двойной аксельбант! А ведь у арестованных папаша оставался, мамаша, невеста, содержанка, друг, трактирщик, молочница… «Господи, да за что ж такого милого человека упекли на поселение — ай-ай-ай!»

— Где-то вы правы, — сказал генерал, закуривая, — где-то мы действительно оказались жертвой трагического парадокса: политический сыск, призванный бороться с революцией, оказался теми дрожжами, на которых революция взошла.

А наш Дайниченко, будучи по природе че-

ловеком бездарным, но с хорошей памятью и обостренным чувствованием ситуаций, промолчал, хотя чуть было не вступил в спор с пиитом, но тенденцию мышления и направленности рассуждений двух умных людей запомнил.

— Вы когда к этому пришли? — спросил генерал поэта, наливая ему хлебное вино в рюмочку. — Когда с нами дружили в Петербурге или сейчас, оказавшись в бегах?

— Тогда думал, сейчас — сформулировал.

— А зря. Надобно было тогда мысли свои в донесение — и мне на стол.

— Да, да, а в дуду вам не попадешь — тогда что? Был поэт с именем, и вдруг — ни звука, ни слова, о друг мой! Генерал, милый, все плохо, очень плохо — мы тогда каждый о себе думали, а большевики-то — стрекулисты, оседлали нацию — все в одну дуду, ой, не перешибешь это, не перешибешь. Меня тогда ей-ей подмывало — плюнуть на все ваши глупости…

— Ну и?.. — позволил себе спросить Анатолий Иванович, загадочно прищурившись.

— Таланту нет, — тоскливо ответил поэт, не обернувшись к Дайниченко, — так, рифму слышу, а таланту — ни-ни, — сказал он и вышел в зал, к цыганам, обнял Лизу, единственную цыганку

среди всех здешних блондинок, и попросил: — Ну, лапа, давай, а? Давай, Лизанька…

— Я ехала домой, — запела Лиза, и свечи на столах позадували, только две возле нее остались, — печаль была тиха, и вся светилась я каким-то странным светом…

Генерал обернулся к Дайниченко и сказал, глядя мимо него на стену:

— Между прочим, этой песне Лизаньку в Петербурге выучил тот, кого вам все-таки следует ждать на пунктах возможного приземления. Я имею в виду полковника Савостьянова.

Дайниченко немедля поднялся, картинно поклонился генералу и пошел к выходу.

— Анатолий Иванович, — окликнул его Дрыжанский тихонько и показал глазами на Лизаньку, — и ее предупредите, что, мол, понадобится вскорости, надо Ивана Ильича порадовать…

Анатолий Иванович еще раз картинно кивнул и, дождавшись конца песни, когда начались аплодисменты, склонился к Лизанькиному уху и (учен, учен, как с агентами говорить, — со стороны ничего не поймешь) прошептал быстро что-то, а Лизанька даже вся побледнела от волнения и шаль прикусила. Ноги ослабли. Села на краешек эстрады, лицо в ладони спрятала.

Дождь все льет и льет, а молодой паренек поглядывает на часы, а возле церкви, прижавшись к ее прогретой дневным солнцем стене, стояли окруженные конвоем Янош и Иван. Янош покашливает, Иван хмурится, просит паренька:

— Отведите его в дом, у него легкие больные, я один постою.

— Я те отведу в дом, — отвечает парень, — кончилось ваше время, паразиты… Товарищ командир! — крикнул он. — Время кончилось!

— Да ладно те… С Тулой связь оборвалась… сижу на аппарате — без толку. Молчат, как в бочку…

— Товарищ командир, они ж подосланные: мы с ими антимонии разводим, а беляк наверняка кольцом нас обкладает! Кончать их, и точка!

Парень вскинул винтовку. Командир в самый последний миг выбил у него из рук оружие, потому что сзади засветились два огонька в ночи — все ближе, ближе, ближе — автомобиль едет. Остановилась машина, выскочил из нее человек — весь в коже, командир скомандовал:

— Смирно! Равнение направо! Товарищ председатель Губчека…

Только не слушает его председатель Губчека, идет прямо к связанным, к Яношу и к Ивану, да не к Яношу идет к первому, а к Ивану, руки ему

освобождает и целует трижды.

— Боже ты мой, — шепчет Савостьянов, — Петька Ястребов, быть того не может! — И к Яношу: — Я ж говорил вам: маскарад! Это Ястребов, корнет, мой ученик, я его в небо вывозил! Ай да Петька, ай да конспиратор!

— Товарищ предчека, — сказал командир, — то ж белый полковник Савостьянов…

— То лучший летчик России, — сказал Ястребов. — Простите, товарищ Перцель.

— Спасибо за революционную бдительность! — выкрикнул Янош и снял с головы кепочку, и шагнул к жертвам белого произвола — вечная слава героям, павшим за революцию…

Поползли шапки с голов, отзвучал ружейный салют…

Лежит на драном кожаном диванчике в кабинете у предчека Тулы Янош — раздетый лежит, худой до невероятия, а Ястребов аккуратненько так его массирует, а после на отработанное место груди ставит горчичник, а в кресле, попивая чай, сидит Иван и, недоумевая, спрашивает:

— А ты давно к ним переметнулся?

— Давно. В 1912-м.

— Ахинею-то не неси, мон пти. В 1912-м ты корнета получил и сделал на глазах убиенного

государя императора бочку.

— Верно. Только в 1911-м я с каторги сбежал и у тебя под чужими документами учился.

— Кто делал документы? — морщась от горчичной боли, спросил Янош. — Мне делали товарищи в Тюмени.

— Нет, я уходил через Вятку.

— Андрей Бубнов?

— Да. Киров, Крестинский, Бубнов… Не очень больно, не жжет?

Янош дотронулся до горчичника, лежавшего на груди, и простонал:

— Рвет сердце. Стыдно признаться: боль не переношу.

Иван, свернув самокрутку, по-прежнему недоумевая, спросил:

— Петя, а почему ж ты тогда государя не пиф-паф? Рядом же стоял.

— Видишь ли, мы против террора.

— То есть как? А Столыпина Ивана Кузьмича угрохали? А Плеве — культурнейшего человека?!

Янош засмеялся сквозь слезы:

— Это, Иван, эсеры!

— Мы их в тюрьму сейчас сажаем, — добавил Ястребов, — им бы кого ни стрелять — лишь бы стрелять.

— Погодите, погодите, но эсеры тоже социалисты?

— К социализму, — сказал Янош, — как к самому передовому учению века, будут примазываться самые злые авантюристы. Наша задача — не дать им скомпрометировать социализм. Ой, не могу, снимите эту пытку! — взмолился Янош. — Кожа отделяется от мяса.

— А как вы, большевики, нас, интеллигентов, мучаете? — злорадно спросил Савостьянов и засмеялся, но под взглядом Ястребова осекся, замолк.

— Иван Ильич, — сказал Ястребов, — у нас на тебя главная надежда.

— Это как понять?

— А вот так… Те люди, которые должны были встретить вас в белом тылу, вчера арестованы. Если ты Перцеля Яноша не провезешь — никто не провезет.

— Ты что, меня в ЧК записываешь?!

— Да нет… Не достоин ты еще в ЧК, хотя пилота лучше тебя нет…

Отхохотавшись, Иван Ильич сказал:

— Нет, Петя, хочешь казни, хочешь вешай — только, если вы против террора, меня против самого же себя террор применять не проси. Я

ж не прошу тебя помогать моим друзьям? Везти — везу, а все остальное — от Бога. На меня надежды нет.

Янош сорвал с себя горчичники, облегченно застонал и сказал:

— Все. Больше ни минуты. Не мучайте его, товарищ Ястребов, в Москве с ним об этом не уговаривались — я тому свидетель. Впрочем, простите, может быть, я залезаю не в свою компетенцию…

— Иван Ильич, — сказал Ястребов, — я взываю к твоему сердцу.

— А я к твоему, — сказал Савостьянов.

Янош тихо поднялся и пошел к двери, кутаясь в одеяло. Они б так и не услыхали, что он уходит, — только одеяло было длинное, а Янош маленький. Запутался он ногами в одеяле. Упал. И так он посмотрел на Ястребова и Савостьянова, и так он на полу шарил, чтобы отыскать свои очки, что не выдержал Ястребов и, отвернувшись к окну, засопел, а Савостьянов грохнул кулаком по столу и сказал:

— Вот, твою мать!

Генерал Дрыжанский даже не предложил полковнику сесть.

— Анатолий Иванович, вы меня, право слово,

удивляете.

— Господин генерал, но, по агентурным данным, они ж из Троицкого уехали в Тулу и оттуда не вылетали.

— Ну так что — архангел с неба спустился, да?! Вот, — генерал ткнул пальцем в донесение, — черным по белому: самолет с комиссаром ушел. Вчера ночью сел, заправился, а сейчас ищи ветра в поле!

— Но, Иван Ильич…

— Что Иван Ильич?! Он под комиссаровым дулом летит. Иван Ильич! А вы, понимаете, по ночным кабакам расхаживаете вместо того, чтобы ждать их на месте… Ну что я теперь доложу главнокомандующему? Уже и союзнички звонят…

— Мой генерал…

— Да прекратите вы меня называть «мой» генерал! Я не «ваш» генерал, а просто генерал! Французские штучки, понимаете… Совсем забыли про дисциплину, про элементарные начала воинского такта… Свяжитесь со Шкуро, узнайте через нашу агентуру у зеленых — старайтесь их перехватить там, что ли…

В кабинет втолкнули маленькую девочку — еще ребенка — ту, что вместе с «Сашкой-купчиш-

кой» на подводе бензин везла в лес для самолета, в котором летел Самуэли. Избита, платьишко разорвано, стоит — плачет, трясется, ручонки на груди сжимает.

— Сядь, — сказал генерал, — сядь. Ну, ты что, как заяц в половодье? Побили тебя? Ну и правильно побили.

— Ты пойми, — доверительно улыбаясь и склоняя голову к девичьему уху, заговорил полковник, — мы ж у тебя не спрашиваем про то, что будет, — про то, что было, расскажи. Это ж вреда никому не принесет. Вот ты русская, а про чернявого молчишь. Сидел во второй кабине чернявый? Да? Смотри, Галя, господин генерал сейчас рассердятся и велят твою мамашу обидеть нашим казакам. А знаешь, как казаки обижают? Взводом обижают — до смерти…

— Мамочка, мамочка, мамочка, — затряслась девочка, — мамочка моя…

Полковник быстро взглянул на генерала, тот сидел, отвернувшись к окну, курил.

— Ну, видишь, господин генерал говорят, что не тронут твою маму, давай по-хорошему говори, по-нашему, по-русски. Чернявого покрываешь, а маму хотела на поругание отдать… Ну? Их сколько было-то? Трое или двое? Пилот высокий

такой, видный, да? Да? Ну? Не бойся, говори, Галочка, ну.

Молчит девочка, затаилась, трясется, ни слова не отвечает.

— Ну, воля твоя, — сказал полковник. — Сама виновата. Век себе потом не простишь. Чернявых много, а мама — одна. Я вот свою покойницу каждую ночь вижу и думаю — ах, подлец, подлец, прости господи, как же мамочку не уберег…

— Хватит вам, право слово, — детей-то бы не вмешивали. Взрослых надо умных держать! — крикнул генерал последнюю фразу фальцетом. — Ее мать утром в камере на ее руках умерла!

В кабинете у Ястребова ранним солнечным утром Янош сидел рядом с ним за столом и читал шифровку из Москвы.

Самолет наркома Тибора Самуэли прошел районы, занятые деникинцами, и, удачно заправившись через наших товарищей в местах, находящихся под влиянием анархистов, взял курс на границу, к Львову.

Ястребов широко улыбнулся и сказал:

— Ну все. Теперь, считай, проскочили. Вам можно обратно, товарищ Янош, операция прикрытия себя в основном исчерпала. Они ждут вас, а Тибор Самуэли уже далеко-далеко.

— Вне сферы их досягаемости?

— Нет, конечно, в сфере досягаемости. Но теперь уже десять шансов из ста.

— Даже если бы был один, половина, тысячная доля шанса — я бы полетел дальше.

— Проще подписать себе смертный приговор. Все наши, принявшие товарища Самуэли в белом тылу, — арестованы. Савостьянов — вы же слышали. По-моему, лететь вам дальше нецелесообразно.

— Это приказ партии?

— Это мое мнение. Вы же идете на верную гибель…

Летит в небе маленький самолетик, снижается к земле, ведут его бинокли наблюдения из чащи, офицер опускает бинокль и шепчет:

— Господи, Иван Ильич!

Хватает трубку телефона, бьет по рычагу, кричит:

— Щука?! Я Лебедь! Летит одуванчик со скрипочкой!

Полковник Дайниченко вбегает к генералу без стука:

— Мой… господин генерал…

Тот, не опуская трубку от уха, махнул рукой, улыбнулся:

— Да, да, спасибо.

Парит самолет с выключенным мотором над колонной красноармейцев. Те самозабвенно поют Интернационал.

— Вы чьи? — кричит из кабины Яношь. — Вы чьи, товарищи?

— Красные. А вы?

— Тоже, — машет им руками Яношь, — сейчас сядем.

— По-моему, это не красные, — сказал Савостьянов хмуро.

— Почему?

— Зубов больно золотых много.

— Ну и что?

— Ничего… Большевики из золота собираются строить сортиры, и в рот себе буржуйский металл не вставляют.

— Садитесь, садитесь вы, право слово, — сказал Яношь, — бензина ж нет…

Савостьянов включил мотор и повел самолет на посадку.

Подъехал к самолету «линкольн», на желтом сиденье — трое, бросились навстречу Яношу, обняли его — а ручки-то в кандалы — жик-жик — и с приветом.

А из лесочка бежит к самолету полковник

Дайниченко Анатолий Иванович, заключает Савостьянова Ивана Ильича в объятия и в обе щеки засосом.

— От лица, — говорит, — всех нас спасибо за доблесть, полковник!

В кабинет к генералу, где сейчас сидели Анатолий Иванович и Иван Ильич, ввели Яноша. Ввели его, словно корову на рынок: впереди шел офицер и тащил за веревку, которая была наброшена на шею окровавленного Яноша.

— Боже мой! — генерал Дрыжанский даже всплеснул руками. — Что за вид! Кто посмел бить этого иностранца?

— Еле у жуликов его отвоевали, господин генерал, — ответил офицер, — камера вздернуть его хотела.

— Жулик — хоть и жулик, — сказал Анатолий Иванович, — человек, казалось бы, темный, а ведь, глядите-ка, тоже понимает, кого надо бить.

А Янош ни на кого не смотрит, только на Ивана смотрит пристально, а Иван хотел бы глаза отвести — не может, словно магнитом его притягивает к себе комиссар.

— Нуте-с, Иван Ильич, — сказал Анатолий Иванович.

— Может быть, сначала его к врачу? — сказал

генерал. — Смотрите, как недоглядели ваши люди.

Янош усмехнулся, пожевал окровавленными губами, головой покачал: мол, поизящней надо бы вам роли распределять, поизящней.

— Или уж закончим формальность, да и к доктору? — предложил Анатолий Иванович и засмеялся. — А он соляную ванночку приготовит — прекрасное средство против побоев с открытой кровью!

— Перестаньте вы, право слово, — сказал генерал, — шутить надо тоже уметь.

— Старые принципы благородства, — сказал Янош, глядя в лицо государева пилота, — доброты и открытого мужества растоптаны… Давайте же, помогите жандармам, Иван Ильич…

Сидит Иван Ильич в полной полковничьей форме — с погонами и орденами — в подвальчике, поет ему Лизанька цыганскую песню, и пьет Иван горькую, по-русски пьет, европеец любой от такого брудершафта ноги протянет и богу душу отдаст.

А офицерики помоложе суетятся вокруг Савостьянова, семужки ему подкладывают, осетринки, хрустких грибочков, икорки паюсной.

— Ребятки, — говорит Иван, — я ж нищий. У

меня, кроме эполет и орденов, за душой шиш. Правда, могу Владимиром расплатиться, в нем золота на грамм.

— Иван Ильич, да господи, это ж все реквизированное! Мы тут, как в коммунии: что хочешь — твое, только б способности были!

Иван намазал икры на ломоть хлеба, жирно намазал, и тому, что про коммунизм, в рот начал пихать:

— Давай, милый, за Москву первопрестольную, чтоб они там повымирали все, тогда без крови войдем. Давай, давай, закусывай! Молодец, ишь, как негр, стал черный! А мужицкое — мужицким и запивай!

Притихли вокруг, а Иван в бокал на пол-литра водку влил и говоруну в рот — силой — не силой — не поймешь, только всем как-то прохладно стало.

Подсел к Ивану Ильичу тот офицер, что Яноша волок на веревке к генералу, и сказал:

— Иван Ильич, полковник Дайниченко просит вас пожаловать на допросик… Там — умора! — с комиссаром упражняются…

— Я, между прочим, к жандармскому ведомству приписан никогда не был, — ответил Иван Ильич. — Я всегда был приписан к небу, подаль-

ше от подвалов…

— Да нет, там еще хотели бы вам очную ставочку дать с этим самым Тибором Самуэли.

— С кем-кем?!

— Да с венгром этим…

Задумался Савостьянов, спросил еще раз:

— Как, вы сказали, его величают?

— То ли Самуэли Тибор, то ли наоборот. Вы когда пожалуете на очную ставочку-с?

— Не пожалую вовсе, — ответил Иван Ильич.

— Так это не просьба, Иван Ильич, — сказал контрразведчик, — это приказание генерала будет, с вашего позволения…

Поднялся, откланялся и ушел.

Давешний поэт сказал:

— В последний свой час никого так не любишь, как палача, тебя истязавшего: он живой хоть, палач-то, а после все мертвое будет.

— Я тебя помню, — сказал Иван.

— Я тебя тоже, — ответил поэт.

— Ты продажная скотина, — сказал Иван.

— Ты тоже, — ответил поэт.

— Ты в дерьме подохнешь, — сказал Иван.

— Ты тоже, — ответил поэт.

— Ты молчи, — сказал Иван.

— Ты тоже, — ответил поэт.

— Иван Ильич, не надо, — попросила Лиза в тишине, — не надо, любимый.

— Ты отчего со мной так говоришь? — спросил Иван поэта.

— Ты знаешь, — ответил тот.

— Дурак — дурак, а дурак, — сказал Иван.

— Ты тоже, только ты — талантлив, — ответил поэт и плюнул Ивану под ноги.

В кабинете у генерала допрашивали Яноша. Анатолий Иванович Дайниченко, поправляя манжеты, чтобы не марать их во время составления опросного листка, настойчиво, но в то же время игриво спрашивал:

— Нет, вы уж все-таки ответьте, три часа воду в ступочке-с толчем: вы Самуэли Тибор или Тибор Самуэли? Я, знаете ли, по-вашему путаю: то ли у вас начало в конце, то ли конец в начале — ха-ха-ха…

— Как подданный иностранного государства, повторяю вам в сотый раз, — сказал Янош, — я буду говорить лишь в присутствии адвоката и только в том случае, если швейцарский консул будет присутствовать на этом допросе.

— Да какой тут консул, — радостно изумился полковник, — одних консулов большевики расшлепали, других, пардон, мы в суматохе… Они

все, консулы-то, черные, поди народный гнев против них удержи. И в пенцнец — ни дать ни взять — сицилист.

— Не сицилист, но социалист, — поправил полковника Янош, — следите за фонетикой.

— Шутка-с, — ответил, полковник жестко, — нам не фонетика важна, а доходчивость до широких, так сказать, народных масс, среди коих вы свои сети разбрасывали.

Генерал, ходивший взад-вперед у окна, сказал, обернувшись:

— Ей-богу, Анатолий Иванович, эти словесные перепалки сейчас ни к чему. Послушайте, как вас там. Все имеет свои пределы: терпение тоже. У нас разворачивается победоносное наступление на Москву и Питер, в Будапеште тоже жарко, так что у нас нет нужды заниматься с вами слишком долго.

Дайниченко вышел в соседнюю комнату.

— Я хочу, — продолжал генерал, понизив голос, — чтобы вы не считали меня врагом, но, наоборот, видели во мне доброжелателя.

— Это как называется? — спросил Янош. — Это называется приглашением к танцу?

— Простите? — подался к нему генерал Дрыжанский. — Не понял?

— Вербуете?

— Ну зачем же, — ответил генерал, понизив голос еще больше, — я предлагаю вам английский вариант: «Кто кого»! Если вы окажетесь сильнее и дальновидней, то не я вас завербую, а вы меня.

В это время дверь отворилась и вошел Анатолий Иванович Дайниченко вместе с избитым человеком, которого поддерживали трое, а один, в белом, но местами сильно окровавленном халате, стоял возле маленького столика чуть поодаль и раскладывал на столике иголки разной величины и формы.

И был этим окровавленным человеком большевик-подпольщик Николай Марцыпанов — «Сашка-купчишка», что бензин подвозил для Тибора Самуэли, когда тот пролетал через белых.

— Ну, — сказал Анатолий Иванович, — давай, товарищ Коля, рассказывай: этот через тебя пролетал или другой? Раз? Два? Три? Мы начинаем, мой… господин генерал?

Генерал досадливо махнул рукой, обошел вокруг Яноша, близко заглядывая ему в глаза, и вышел из кабинета.

Загоняют иглы под ногти комиссару Коле, воет комиссар, а полковник суетливо кричит Яношу:

— Вот-вот, из-за вас сколько мук делают людям!

Смотрите, смотрите внимательней!

А Янош со стула упал — потерял сознание от чужой боли. Ополоснули его водой, снова посадили на стул, а он как глянул на Николая, так снова сполз на пол. Снова его ополоснули водой, и тогда он сказал:

— Зря это. Я все равно этого видеть не смогу и слышатьтоже. Для своего удовольствия — можете продолжать.

— Чужой боли боитесь? Так, так… От своей, значит, завоете…

— Может быть. А что — приятно слушать человеческий вой?

— Вопль поверженного — это вроде немецкого анекдота: труп врага хорошо пахнет.

— Это антика, — сказал Янош, — вам бы интеллигентности поднабраться, господин жандарм. Без этого вы нас можете просто убить, а победить — никогда.

— Ну, это мы еще посмотрим, — ответил Дайниченко и приказал своим помощникам: — Давайте, давайте, продолжайте же, господа!

И когда комиссар Коля, сделавшись мучнисто-белым от невыносимой боли, зашелся в длинном вопле, Янош, по-звериному легко подпрыгнув, бросился «ласточкой» на Дайниченко и ударил

его с лету головой в лицо.

Дайниченко грохнулся на пол, и лицо его сделалось мокрым и скользко-красным от крови. Контрразведчики бросились было на Яноша, но Анатолий Иванович остановил их и сказал:

— В камеру его… А вас, капитан, попрошу остаться.

И когда Яноша увели, капитан, тот, что таскал Яноша, словно корову, на веревке, сказал:

— Убить мало негодяя!

— Убить мало, — согласился Анатолий Иванович, утирая лицо большим сине-розовым носовым платком, — вы его сквозь строй проведите. Покажите солдатам и офицерам трусливого обморочного зайчишку в обличьи большевистского наркома. Это будет хорошая воспитательная профилактика для людей. А потом подберите ему в камеру хорошего агента — наркомы перед смертью обычно передают самое важное товарищам по партии.

— Кого, господин полковник? — вздохнув, спросил капитан. — Всю агентуру подрастеряли… Кого к нему в камеру подсадишь?

— Так никого и нет?

— Шаром покати. Тут человек семь завербовали — но все больше дамы. Не сажать же ему в

камеру шансонетку?

Дайниченко потер надбровье мизинцем и предложил:

— Ну хорошо, поищите кого-нибудь среди офицерства…

— Не пойдут, — решительно ответил капитан. — Закон чести, открытый бой и всяческая прочая романтическая чепуха.

— Что ж, мне к нему в камеру садиться? — спросил Дайниченко. — Или вам?

— Тут я думал — если, конечно, вы одобрите, — сказал капитан, — поискать кого на гауптвахте, из арестованных офицеров. Насилие, мародерство, гомосексуализм.

Полковник досадливо покачал головой и сказал:

— Ну попробуйте, что ли… Хотя большого успеха я тут не предполагаю…

А в комнате у Лизаньки тем временем лежал в постели Иван Ильич, а Лизанька лежала у него на груди, и он гладил ее лицо, а она ласкалась как кошка, обхватив тонкими своими — словно хлысты — руками могучую Иванову грудь и не менее мускулистую, словно лепную, шею.

— Я и не думала, что вас встречу, — шептала она, — всех поразметало как ураганом, любимый

вы мой…

— Ты меня не называй так, — попросил Иван.

— Как?

— Ну вот так…

— Любимый?

— Да.

— Почему?

— Потому что я тебя не люблю.

— Ну и что? — удивилась Лизанька. — Я-то люблю вас, мне больше и не надо ничего.

И надела на шею Ивану золотую цепочку с диковинным камнем:

— Талисман, — сказала она, — цены нет ему…

— Смешная ты девка, ей-богу, — сказал Иван. — Ну-ка, налей мне выпить.

Лизанька подбежала к столику (хороша, хороша, слов нет), налила в синий штофчик водки, принесла Ивану, присела на краешек возле него — любуется им, глаза аж замерли, словно у кошки.

— Любовь только нам нужна, — тихо сказала она, — бабам, а вы если нам себя любить не мешаете — больше и не надо ничего.

— Данте Алигьери.

— Не было у меня такого.

Иван взял Лизаньку за плечо, она придвинулась

к нему сразу — только и ждала, как влюбленная дрессированная собачонка хозяйского приказа.

А Яноша тем временем раздели, бедолагу, только кальсоны ему оставили и вывели в огромное каре солдат. А посредине каре — шеренга, у солдат в руках шомпола, и пускают через эту шеренгу Яноша, подталкивают сзади — мол, иди, иди — и смеются, глядя на его худобу и на бессильную ярость в лице.

— Только попробовав пудинг, узнаешь, каков он, — сказал Янош громко, — этими словами начинается «Капитал» Карла Маркса. Я буду читать его вам, чтобы вам было не так скучно делать вашу работу. Начинайте.

Первый удар шомпола вспух на спине Яноша кровавой полосой.

— Товарное производство, начавшееся еще в период образования общества насилия над человеком… — читал Янош, проходя сквозь строй…

Идут по улице Иван Ильич и Лиза: мимо офицеры перед Савостьяновым мысок тянут, ладошки к козырьку взбрасывают картинно, немеют на месте от восторга и поедают глазами полковника, пилота убиенного государя. «А может, и не убиенного: говорят, его Лейба Троцкий в своем

вагоне заместо повара возит — чтоб не исхудал, а в случае чего — на обмен за жизнь сгодится».

Штабс-капитан, знакомый Ивану Ильичу, прокричал с другой стороны улицы:

— Полковник, сейчас вашего венгерского наркома будут воспитывать, пошли полюбопытствуем?!

— Где? — спросил Савостьянов.

— На плацу. Идемте же…

Савостьянов обернулся к Лизаньке и сказал:

— Пойдем на привоз. Там хоть ряженкой отопьюсь, а то голова Годуновым ходит.

Открыл Иван ворота привоза, а там на громадной площади длинные дощатые столы — и за прилавками, вместо гомонящих, торгующихся сотен — три бабы: у одной — две картофелины, у второй — семь старых подков по кучкам разложены, у третьей — ракушки наподобие пепельниц выставлены. Молча стоят бабы, без голоса.

Долго ходил Иван, ставший маленьким среди этого громадного привоза. Остановился возле бабы с подковами, спросил:

— Что ж ты за эту ржаву хочешь?

— За одну — кило хлеба, за три — кило сала, за все — фунт сахара… С железом-то ноне туго…

И к словам ее — словно по заказу — заиграл

унылую песню безногий, слепой инвалид с гармошкой, валявшейся в пыли, возле второго входа. В кепчонке у ног — пусто, никто не подает, только две редиски лежат с ботвой. Медленно пошел к нему Иван, опустился перед игравшим убогим на колени, впился в его лицо глазами, а когда тот кончил, спросил:

— Дядь Мить, неужели ты?

Слепец выставил вперед руки — как от удара, после потянулся к Ивану, начал его лицо щупать, как слепцы щупают, засмеялся беззубым ртом:

— Ванечка, Ваня, господин полковник… Неужто ты? Неужто вы, Иван Ильич? А я приехал сюда для дедушки вашего, покойника, на панихидку набрать… Да… преставился дедушка ваш Никифор Фомич, пред ясные очи Господа нашего давеча представился с голодухи… А мне вот — не подают, народишко повыбивали, кому и теперь торговля нужна… Может, на дедушку пожертвуете чего?

Пропускают Яноша сквозь строй, окровавлен весь, бедолага.

Зажмурился Иван, наблюдавший это зверство с пригорка, скривился лицом и сказал Лизе:

— Всё. Он боль не переносит. Сейчас кончится…

Открыл глаза Иван и увидел: идет сквозь строй

окровавленный Янош и громко читает «Капитал» Маркса, и, чем сильнее его бьют, озверев от его мужества, солдаты, тем громче читает он Маркса.

Бежит Иван к каре, продирается сквозь молчащих солдат, подбегает к Яношу, хватает его за плечи, шепчет ему что-то близко в лицо — не поймешь: то ли матом приложил, то ли ненавистное что выдохнул — и швыряет его на землю. А полковнику Анатолию Ивановичу сказал:

— Мало народа смотрит — и не то совсем это. Есть у меня идея. Чему-чему, а идеям большевики учить умеют. Пусть поспит комиссар, вечером, при закате, потеху сделаем.

Капитан ввел в кабинет Дайниченко громадноростого, пшеничноволосого детину с оловянными глазами и сказал:

— Господин полковник, позвольте вам представить ротмистра Столова.

Дайниченко оглядел ротмистра внимательно и заметил:

— Не слишком ли аккуратно ваше лицо? Эти комиссары — доки на переодевания.

Капитан усмехнулся:

— Ротмистр готов на все. Придется потерпеть — гримом тут не отделаешься, только, как

говорится, натурель может пройти.

— Ну, с Богом, — сказал полковник и протянул ротмистру руку, — поймите нас верно, мы всю агентуру растеряли, а верную наседку из арестованных найти — рискованно, да и практически невозможно. Былой профессионализм этой вдохновенной работы забыт. И станьте на миг философом: только по-русски слово «провокатор» звучит неэстетично, по-французски оно произносится «провокатёр», а?

— Я к этому проще отношусь, господин полковник, — ответил ротмистр Столов, — я к этому отношусь практически: чем ко мне потом в камеру наседок будут сажать, так уж лучше я пока посижу. — И кокетливо поглядел на Дайниченко кривым взглядом больного человека.

— М-да, — протянул тот, отодвигаясь.

А ротмистр доверчиво захохотал, не заметив известной доли брезгливости на лице полковника.

В камере — сумеречно и прохладно. Яношь, покашливая, сидит, прислонившись к холоду каменных плит — там вспухшее, изрубцованное мясо. Отодвинется от холода — что для туберкулезника есть страшнее, а кожа-то горит на спине, он снова и приваливается — со стороны посмотреть: гимнастику делает.

И тихонько читает себе стихи.

Отворили дверь камеры, впихнули туда громадного человека: глаз подбит, матерится, волком смотрит на тех, кто его сюда бросил.

— От псы, — сказал он хрипло, — гады, белопогонники, голубая кровь.

— Это не голубая кровь, — сказал Янош, — это мобилизованные солдаты, разве вы не видите по их лицам, что они интеллектуально совершенно не развиты? С ними поработать только как следует — великолепный человеческий материал.

— Тебя за что? — спросил заключенный, приваливаясь к стенке возле Яноша.

— А вас?

— Меня? Большевик я, вот за что!

— Да? — спросил Янош заинтересованно.

— Били, гады, смертным боем.

— Я вижу. Вы прислонитесь глазом к стене.

— Вроде медного пятака на синяк, — захохотал заключенный. — Это ничего, оттянет.

— Сколько ж их вас било?

— Четверо. Взяли в оборот, псы.

— Во фляге осталось немного воды, налейте себе в кружку.

— Спасибо, — сказал заключенный, — спасибо вам, товарищ.

Он вылил из фляги всю воду в кружку и выпил одним залпом. Янош внимательно посмотрел на заключенного и сказал:

— На два дня дают одну флягу: не важно, сколько в камере народа — десять человек или один…

— Да-а… — протянул заключенный. — Не разживешься… А тебя-то за что окунули?

Глядя ему в глаза, Янош ответил:

— А я и сам не знаю.

— Они тут всех наших похватали… Какого-то венгерского комиссара, псы, ждут.

— А что здесь делать венгерскому комиссару?

— Любопытен больно, — сказал заключенный, — не на равных говорим.

— Это верно. Это вы заметили совершенно точно.

И вдруг начал смеяться Янош: больно ему — лицо все разбито, — а смеется, весело смеется, покатывается со смеху…

А Иван тем временем сидел с Лизанькой в буфете, попивал пивцо и спрашивал: не поймешь — себя или свою цыганку:

— Лизок, ты понимаешь, птаха, о чем я сейчас думаю… Вы нас рожаете, да? Да. Но вы-то, прародители будущих веков, вы-то любите тех, кто вас не любит, верны тем, кто вам не верен, страдаете

по тем, кто вас и позабыл вовсе. Нет?

— Да.

— Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. — Иван потрепал Лизаньку по щеке и задумчиво сказал: — Рабыни рождают человечество-то, рабыни… Это — данность, а всякую данность нельзя изменить, ее только можно уничтожить. А те стараются не замечать этого. Зачем? Лизанька, а вот скажи — для тебя что самое главное?

— Чтоб с вами быть.

— Да я не об этом, — поморщился Иван. — Я о самом главном тебя спрашиваю.

— Я и говорю: чтоб с вами быть.

— А может, это рабство придуманное? — спросил себя Иван. — Так уж повелось, может? Задурила литература голову человечеству, философы еще подмогли, вот мы все себя и уговорили… Ладно, Лизок, где тут в лавке длинную хорошую веревку можно купить? Чтоб она человека выдержала?

— Не надо, Иван Ильич, — сказала Лизанька, — вы впрямь на себя не похожий вернулись… Это всё большевики проклятые с вами натворили…

Иван Ильич засмеялся непонятным смехом, и это испугало Лизаньку еще больше.

— А то хотите, — предложила она, — меня первой стрельните, а уж потом — если не раздумаете — сами.

— Ну что ж, — сказал Иван, — интересное предложение, не скрою, — притянул ее лицо, враз озарившееся любовью, к себе и вздохнул: — Ты меня из головы выбрось, тебя еще большое счастье ждет.

— А вас у меня в голове и нету, — ответила Лизанька, — вы у меня в сердце.

А Янош-то смеется…

— Ты чего? — испугался заключенный. — Ты чего, товарищ? Сдвинул, что ль?!

А Янош отрицательно покачал головой и начал читать по-латыни:

— Акво футурум секар моинтум — равесина…

— По-венгерскому, что ль? — осторожно поинтересовался заключенный.

— Нет, латынь. По-русски это звучит так: «Спасибо, боги, за то, что моим врагам так плохо, ибо прибегают они к помощи дураков, а это происходит лишь на краю могилы, когда умные, поняв неизбежность конца, отошли в сторону…»

— Да… — протянул заключенный, — это точно… (умом ротмистр был, увы, не гибок). Так ты — это… Ты чего ж молчишь? За что они тебя

окунули-то?

— Я гомосексуалист, — сказал Янош. — Мне подсаживали девять серьезных провокаторов. На семи я ловился. Но те были артисты, и мне требовались месяцы, чтобы понять их. Вы работаете бездарно. Поэтому, чтобы у вас не было от начальства неприятностей, во-первых, скажите им, что я обещал вам открыть самый важный большевистский секрет послезавтра вечером, под огромным секретом — понимаете? И, во-вторых, сейчас не мешайте мне, я отдыхаю.

Заключенный засмеялся и приложил руки к груди:

— Что ты, товарищ, — сказал он, заиграв пегими бровями, — ты чего? Да у меня ж тетя еврейка!

— Я что сказал? — прикрикнул Янош. — Иначе сейчас вызову конвой и потребую, чтобы от меня убрали дурака-провокатора. Сидите и слушайте.

И не заметив даже, что провокатор начал делать ему глазки, он стал читать стихи:

Вечер ушел сквозь кленовую листву,
В серое небо Лианфалу.
Ночь подкралась с зажженными фонарями,
Будто могильщик.

А женщина осталась. Она осталась.

Хотя ее здесь нет.

Женщина всегда остается возле,

Если только ты хочешь этого.

Слышишь, как прекрасно в отрогах гор трубят олени?

Они, словно рыцари перед боем,

Сейчас у них начнется турнир,

В котором победителем будет даже проигравший:

Ах, как прекрасно мое счастье.

Оно значительно больше меня ростом,

У него медальный профиль,

И это мое красивое счастье любит самая красивая и умная женщина...

И чем больше я думаю об этом моем рослом счастье,

Тем оно делается ненавистней,

Потому что уж кто как не я знаю:

Его нет вовсе.

Есть кленовая листва, ставшая в ночи чугунно-литой,

Есть тоскливые гудки пароходов на

Дунае,

И надо всем этим царствует городской магистрат,

Который предписывает экономить электричество,

Особенно ночью,

А чтобы не было безобразий – выпускает полицейских с фонариками.

Тихо! Слышишь, в предгорьях трубят олени!

А где же выход? – подумаешь ты.

И есть ли вообще выход?

Ведь правда – есть?!

Ну скажи?!

А мне будет совестно смотреть в твое лицо,

Потому что я знаю про все, о чем думаешь ты.

А ведь любовь обязательно предполагает тайну!

Чтобы я думал, что ты думаешь, что я думаю,

Что я ничего не знаю.

А я знаю все.

В сером сентябрьском предрассветье олени дерутся рогами

И кричат от любви и боли,

И по этому крику

Оленей находит охотник Калман.

Всегда есть выход.

Всегда есть выход.

И бьет их под лопатку разрывной пулей.

Длинной и медной.

Выстроено каре: дивизия, не меньше. Посередине каре — на подмосточке — Янош. А поодаль — офицеры с биноклями. И видят они, как с выси небесной идет к земле самолет, а за штурвалом Иван и точно-точно он самолет выводит на Яноша: мазанул по нему пропеллером, и форшмак вышел из носителя передовой идеи. Вот и потеха, изобретательно придумано!

Всё ближе, ближе самолет, вот он рядом с комиссаром, но — взмыл чуть вверх, скорость сбавил, господи, да комиссар-то возносится, ей-ей как Христос в небе полетел и ручки по-божески расставил, будто распятый.

Толчея! Ужас! Кто ниц попадал, кто в панике морду об морду расколошматил — да что ж это за светопреставление-то?! А это Иван лассо на Яноша набросил — и в небо потащил…

Нет комиссара, нет самолета — исчезли в предзакатном облаке.

— Как мне вас сажать?! Расколочу об землю! — Иван кричит из кабины уцепившемуся за веревку Яношу. — Вы плавать учены?..

— Нет!

— Вместо того чтобы марксизм свой штудировать, плавать надо было научиться!

Самолет прижался к воде, и нежно, прямо-таки артистически опустил Иван комиссара в воду. Сам сел на луг — и бегом к реке. Нет Яноша, только круги по воде ходят — бо-ольшие круги. Сиганул Иван в реку, вытащил Яноша — тот рядышком у бережка лежал, откачал его, открыл тот глаза, улыбнулся Ивану и сказал:

— Господи боже ты мой, живу, а?!

Идет в церкви отпевание. Поет батюшка громко, дьякон ему подпевает, на клиросе детский хор вторит. И до того жалостливо выводят ребятишки: «Ве-ечная па-амять, в-ее-чная память», что плачут все в церкви, но слез не утирают. Плачет и Иван, что стоит ближе всех к маленькому

гробику, а кто в гробике — не видно, все полевые цветы — ромашки да колокольчики скрывают.

Смолкла «вечная память». Первым к гробику подходит Иван — склоняется, целует покойника, следом за ним — остальные, крестясь, прощаются с усопшим. Поднимает Иван и еще несколько стариков гроб, несут к кладбищу по пустой, тихой деревне, по главной улице, поросшей лопухами и крапивой, подошли к кладбищу, заколотили гробик сосновой крышкой и опустили в маленькую, неглубокую могилку плохо струганный гроб. Первым в могилку бросил ком земли Иван, за ним остальные, вырос холмик — был человек, и не стало. Ушли люди с кладбища, воронье налетело на свежую могилку, сидят каркают надрывно и жалостливо.

А в большом крестьянском доме на столе, сбитом из длинных свежеструганых досок, стоит угощение: бутылки с самогонкой, вареная картошка и огурцы с помидорами — а больше хоть шаром покати. А вокруг стола подзахмелевшие бабки и пьяненькие старички поют многоголосую крестьянскую песню — сердце разрывает, как хороша песня, а в сенях толпятся крестьянские детишки, смотрят во все глаза на Ивана Ильича, который сидит за столом хозяином, под

образами, в красном углу. Молча сидит Иван Ильич, грустно смотрит на стариков и старух, и детишек, и двух вдов с лицами, повязанными до бровей платочками, и не поет со всеми, а только слушает, и слеза у него — нет-нет да и закипит в уголку глаз.

Староста, что с левой руки от Ивана Ильича, гладит полковника по плечу, утешает:

— У вас своя боль, личная, Иван Ильич… А мне, гражданскому пастырю, сердца порой на всех не хватает: жаль народ, народ жаль… Терпеливы наши люди, все перемогут — на это и надежда. С другой стороны, что там ни говори, а страдания-то очищают, Иван Ильич, очищают.

— Ой ли?

— Именно, — ответил староста. — В страдании человек к дисциплине приручается. С ним тогда легче. В страдании-то не побунтуешь. В сытости и благости бунтовать начинают — разве нет? — Приблизился к Иванову уху и шепнул: — После ко мне зайдем, а то сил нет смотреть на этих убогих, сирых и голодных…

Ну и расстаралась старостиха для государева пилота! Чего ж только нет на столе у нее: и мясцо вареное, и курочка, и яички, и маслице, а блинчики со сметанкой — ажурные, на просвет, как

голландские кружева, светятся.

— Да, — продолжает староста, — иногда со службы вернусь, спать не могу, всю ночь глаз не сомкну, плачу по несчастному народу нашему… Вот с мясом блинчик себе заверните, Иван Ильич, с мясом… Сметанкой приправьте. И все думаю, думаю, как народу помочь?

Старостиха — румяная, дородная, в бальзаковском возрасте, глаз от Ивана не отводит, томится и при этом соромится своей томности.

— Иван Ильич, — говорит она распевно, — может, вы б к нам перебрались на жительство? Мы от постоя свободны.

— Душно у вас, — улыбается Иван Ильич натянуто, — что окна ставнями закрыты? Комаров-то нет — август…

— Господи, да разве это от комаров, — говорит староста, — от людей. Спаси бог, увидят в окно этот стол — веру в меня потеряют. — Он горько улыбнулся. — Вон поглядите, — поднялся, пригласил за собой Ивана в соседнюю комнату, а там пусто, на колченогом столе графин с водой и кусок черствого хлеба, — если кто ко мне по делу — я к столу, мол, подели со мной, любезный прихожанин, скромный мой хлеб. А что делать-то? Народ темен, завистлив. А если уж в нас люди

веру потеряют — пропала тогда Россия, и ничто не спасет ее от смут и горя.

Вернулись к столу, накрытому в комнате с окнами, забранными глухими ставнями. Иван маленькую рюмочку скептически оглядел и сказал:

— А стакана нет?

— Тут у нас французские офицеры жили, — сказал староста, не заметив, как при этих его словах запунцовела его супруга, — так они нас все к европейским обычаям приучали. Моветон, говорят, водку из стаканов хлестать.

— Ничего, — успокоил его Иван Ильич, — переживем и это, а мне стаканчик бы, а?

Старостиха ему стакан, а он в стакан водки до краев, выпил залпом, закрыл глаза и шумно задышал носом.

— Ну как, — сказал он, не открывая глаз, — давай на брудершафт, а?

Выпили на брудершафт, и сказал Иван Ильич:

— Грудь у меня что-то болит. Лекарства от простуды никакого нет?

— Что вы, Иван Ильич… Сейчас лекарства за золото не достанешь.

— Так уж за золото и не достанешь.

— За гвозди можно. Сейчас на гвозди что угодно

можно выменять: и бриллианты, и лекарства, и любовь, и жемчуга.

— Романс, что ль? — поинтересовался Иван.

— Нет, я иногда так произношу, что похоже на бель-летр.

— Охо-хо, — сказал Иван и слегка отодвинулся.

— А если грудь болит, — продолжала она проникновенно, — тогда надо гусиным салом. Мягкие втирания в то место, которое болит.

— Не скрою, заманчиво.

— Вы оставайтесь у нас, я и разотру.

— Хорошо, мон пти, — сказал Иван. — Только собак скажите привязать, а то порвут.

Сказал он это громко и не таясь, оттого как страдалец за народ уснул детским сном хорошо откушавшего человека — здесь же за столом, положив кудлатую голову на мясистые, поросшие рыжими волосками руки.

А в кабинете у генерала тем временем полковник Анатолий Иванович Дайниченко негодовал по поводу коварства Ивана Ильича, столь неожиданного и даже в общем-то необъяснимого.

— Если б чужой — ну так и бог с ним: чужой — он всегда в лес смотрит! Но ведь Иван-то Ильич весь наш, насквозь наш, приближен был и государю, и лучшим, светлейшим умам! У большевиков

мучался, здесь — все ему, все для него! Я его досье просмотрел: отзывы отменные, религии православной. По нации — наш, против государственного устройства — ни-ни-ни… Единственно, что разве против него, — так происхождение. Неужели в том суть? Неужели мужик так цепко сидит в человеке?! Я не могу взять в толк: какой ему смысл бежать? Ну, паек ему комиссары дадут: так ведь все одно вобла с хлебом! Честолюбие? В газетах героем пропечатают? Так ведь героев забывают назавтра же! Бабу выдадут? Так большевики в этом смысле строже римского папы!

— Вы рассуждаете как прожженный материалист, — сказал генерал, пролистав папку с личным делом Ивана Ильича, — а я приглашу вас к рассуждению идеалистическому, гегельянскому. Вы начинаете с живота, а я начинаю с духа. Так вот: не допускаете ли вы хоть на мгновенье, что дух нашего Ивана Ильича заразился бунтарством? Нет ничего заразнее бунтарства, тем более что теперь бунт перестал быть абстрактной идеей, но сделался материальной реальностью в облике РСФСР. Дитя рождается бунтарем, дитя крушит и рвет все, что попадется ему в руки. Сколько требуется вложить труда, чтобы ребенка превратить из бунтующего разрушителя в

созидающего творца? Здесь и книга, и умная игрушка, и добрый воспитатель. Словом, идеологии большевистского бунтарства мы должны противопоставить нашу идеологию разумного созидания.

— Ну так мы ее и противопоставляем!

— Да нет, — поморщился генерал, — мы расстреливаем, делаем карательные налеты, вешаем на площадях…

— Так ведь война! — изумленно сказал полковник. — Как же иначе быть? На шею ведь иначе сядут…

— Да, да… — задумчиво протянул генерал, — потому что бывает часто: начальник с умом боится дурака-подчиненного больше, чем прямого и открытого врага. — Да, да… — повторил он, — видите, как славно все выходит: у меня нет программы, а у вас она на ладошке. Завидую я вам, Анатолий Иванович, право слово, завидую… Да, ну хорошо, разошлите всем нашим центрам установку на обоих беглецов: словесный портрет, приметы и все остальное — и соберите на завтрашнее утро наиболее верных агентов.

А когда полковник ушел, генерал вызвал адъютанта и попросил:

— Перенесите встречу с представителем Гене-

рального штаба Антанты генералом Ферже на сегодняшний вечер. Скажете — вопрос не терпит отлагательства. Переводчик нам не потребуется. И пожалуйста, вызовите мне автомобиль, я хочу поехать отдохнуть куда-либо за город…

Автомобиль Дрыжанского остановился в светлой березовой рощице, возле небольшого, но со вкусом построенного домика, обнесенного невысоким, однако весьма частым забором. Дежуривший в воротах охранник вытянулся перед генералом по стойке смирно, откозырял по форме и в ответ на вопросительный взгляд Дрыжанского показал глазами в левый угол усадьбы: там разбросался сад — яблони и груши.

Генерал пошел к саду, заметив там небольшого человека, который неторопливо и любовно сажал молоденькую яблоньку. Движения его были, правда, несколько резки для настоящего садовода, но чувствовалось, что работу эту человек любит и понимает.

— Здравствуйте, — сказал генерал Дрыжанский, — рад вас видеть.

— Не сказал бы, что я испытываю подобное чувство, — ответил человек, — тем не менее законы гостеприимства заставляют меня приветствовать вас, генерал.

Дрыжанский добродушно хмыкнул, покачал головой:

— Ах, революционеры, бунтари, утвердители, ниспровергатели… Остры вы на язык, остры…

Человек вытер руки о траву, жестом пригласил генерала к скамейке, что стояла под разросшейся вишней, и спросил:

— Что-то выглядите плохо, Станислав Евгеньевич. Сердце?

— Душа, — ответил Дрыжанский. — Душа, мой друг.

— Душу оставим для приготовишек-гимназистов. Излагайте суть дела: я не люблю болтовни.

— Я знаю, — ответил Дрыжанский задумчиво, — кто ее любит, болтовню?

— Ее любят в вашем ведомстве бездарные тупицы.

— Понятие тупица не нуждается в эпитете «бездарные».

— Каждое слово нуждается в эпитете. Понятие, обозначенное дважды равноценным существительным и красочным эпитетом, крепче запомнится слушателем. Точнее сказать — слушателями. Сборища любят эпитеты больше, чем существительные.

— Да, да, — рассеянно согласился генерал и

спросил: — Вы читали, кстати, последние газеты Ленина?

— Вы имеете в виду голод, ваше наступление или создание Коммунистического интернационала?

— Я имею в виду последнее.

— Мое участие сейчас невозможно.

— Бороденку отрастите, усы, — посмеялся генерал, — может, и не узнают. Да и потом, забыли все. Про вас у них двое знают, а у нас — один я.

Дрыжанский глянул на потемневшее лицо человека, сразу посерьезнел и сказал уже иным, деловым тоном:

— Не сердитесь. Поймите меня верно. Речь идет о вашем внедрении через заграницу. Вы провалились в Германии, но ведь в Венгрии вас знали как функционера, и вы ушли чистым. Не так ли?

Шальной тетерев уселся на березу.

— Сейчас прекрасная охота на тетеревов, — сказал генерал, — по выводкам? А?

— Нет ничего лучше этой охоты в Сибири… Когда я там был в ссылке, меня выучили охотиться с лайками. Кое-кто склонен считать лайку сторожевой собакой. Это не просто глупость: это невежество. Пойдемте в дом, я угощу вас обедом.

За обедом человек спросил:

— Ну, выкладывайте, какие у вас планы по поводу этого самого внедрения…

— Видите ли, к нам попал в руки один венгерский комиссар.

— Самуэли?!

— Нет, увы… Самуэли, видимо, уже в Будапеште. К нам попал человек, прикрывавший Самуэли, отвлекавший нас на себя.

— Где он?

— Его нет, — ответил генерал, — он смог уйти…

— Поздравляю. Фото у вас с собой?

— Мы его не успели оформить по правилам, все шло чересчур стремительно.

— Еще раз поздравляю.

— Разве что только вот, — сказал Дрыжанский, протягивая человеку дактилоскопическую табличку с отпечатками пальцев Яноша, — правда, мазали ему не тушью, а кровью — это случайно нашли в кабинете Дайниченко.

— Вы еще не убрали этого идиота?

— Увы…

Человек ушел с таблицей в другую комнату, а Дрыжанский увидел, как он начал быстро и очень аккуратно перебирать свою картотеку.

— Ха! — крикнул человек Дрыжанскому. — Идите сюда! Настоящей фамилии его я не знаю,

а партийная кличка Янош Перцель. Он заместитель шефа их контрразведки.

Дрыжанский аж присвистнул.

— Вы с ним никогда не встречались?

— Нет.

— Он о вас ничего не знает?

— Из Венгрии я ушел чистым.

— Это шанс, — сказал генерал, — это великолепно. Пойдемте, я расскажу вам, что стоит делать…

Иван начал растирать гусиным салом цыплячью грудь венгерского комиссара и, намазав хлеб маслом, протянул его Яношу, сказав:

— Мало ли, что не хотите? Надо через не хочу. Иначе дуба дадите. Я бы на вашем месте уничтожил эту еду из принципа: она ж буржуазная. Продолжение идеологической борьбы посредством желудка.

Янош улыбнулся.

— Вы добрый человек, — сказал он, — но отчего-то хотите казаться злым и жестоким.

— Повернитесь на живот, прозорливец, — сказал Иван и осторожно снял компресс из листьев и трав с комиссаровой спины. Лицо его сморщилось, и он сказал: — Ничего… подживает. Почему вы считаете, что добрый?

— Потому что это видно. А напускаете извест-

ную циническую злость только потому, что человек вашего круга был не свободен от обычаев и нравов общества. Разве вы поначалу не замирали, когда вас спрашивали в гвардейском полку о происхождении? Разве вы не стыдились вашего крепостного деда? Всякий инородный элемент старается приобрести те признаки, которые остальным элементам, так сказать, изначальному монолиту, были присущи от рождения. Поэтому, видимо, вначале вы этим своим происхождением мучались, потом у вас был период бравады, что вызвало еще большее небрежение к вам со стороны наиболее тупоумных аристократов, а после вы нашли себе, как говорят актеры, лицо. Вы перешли от обороны доброты к наступлению жестокостью. Это нравится женам аристократов, следовательно, это понравилось и мужьям. Нет?

— Идите к черту, — сказал Иван.

— Спокойной ночи, — ответил Янош.

— Носа с этого сеновала не высовывайте.

— Здесь же нет белых.

— Здесь безвластие. А в России безвластие — самое страшное. Белые здесь в любую минуту могут появиться. И вот оденьте эту рубаху, все потеплее будет. А еды — на день-два хватит.

А ночь такая лунная… А старостиха такая вся — у-у-у! На софе лежит, ждет государева пилота, а Коля, страдалец за народ, такие крендели в храпе выводит, а собаки во дворе, посаженные на цепи, так от лая захлебываются, а Иван Ильич так старательно гвозди из старостиного забора выдирает и в кошель складывает — все гвозди из громадного забора повыдергивал к утру, как раз к тому времени, когда старостиха, истомленная любовным ожиданием, уснула, а Коля от пьяного сна пробудился и пошел за малой нуждой во двор, да шатало его, беднягу, он ручку-то свою откинул, чтобы за забор — надежду и опору — придержаться, а забор-то и полег весь, как шеренга под расстрелом.

Господи, господи, срам какой: стоит староста в одном исподнем, а кабаны в огороде его расхаживают, а куры зерно клюют, а вокруг — нищая и голодная деревня, тихая русская деревня, старики со старухами на завалинках сидят, воду пьют и корки сосут беззубыми ртами, а перетерев и пососав, делают тюрю, завязывают ее в марлю и грудным крохам в рот запихивают; а самолет Ивана Ильича улетает все выше и выше в небо — в направлении никому не известном, и нет на втором сиденье Яноша — пусто там, только ко-

шель стоит с гвоздями.

В кабинете у генерала Дрыжанского разного народу собралось: и благообразные старухи, и жуликоватого вида типчики в тупорылых американских ботинках, и седые актеры, модулирующие голосом, и пролетарского вида купчики, и парочка интеллигентов с перхотью на плечах и с пегими шевелюрами — словом, паноптикум собрался, всех мастей агенты. Генерал оглядел свою гвардию, вздохнул горестно, сказал:

— Господа… С портретами двух беглецов: Ивана, сына Ильи Савостьянова, и Перцеля Яноша — господин полковник вас ознакомил. Так вот, господа… пусть вас это не удивит — мне надо, чтобы вы, елико возможно, скоро нашли беглецов, но упаси вас господь их задержать. Вы должны довести их до границы с Венгрией… Помогайте беглецам, берегите их… Если они попадут в безвыходное положение — найдите возможность спасти их. Ясно?

Полковник Дайниченко напыжился, посопел и выдавил грозно:

— Не совсем, господин генерал! Не совсем!

Генерал отпустил агентов и сказал:

— Анатолий Иванович, при этом сброде хотя бы учитесь сдержанности… Ничего еще не потеряно,

в планы свои я вас посвящать не намерен, но если вы логик, то правильно оцените мое вам задание: пошлите верных людей на телеграфы и в почтовые пункты на границе — они дадут нам ключ к Перцелю. Через них мы сможем проводить его в Венгрию, понимаете?

— Нет, не понимаю! — ответил Анатолий Иванович. — Я понимаю только, что вы хотите выпустить злодея за пределы империи! Я этого не допущу!

— Полковник… полковник… Анатолий Иванович…

Но Дайниченко закусил удила и, щелкнув каблуками, сердито вышел из кабинета.

Генерал посмотрел вслед Дайниченко, хрустнул пальцами, походил взад-вперед по кабинету и вызвал своего адъютанта.

— Послушайте, Георгий… — сказал он, — я сделал одну ошибку, и помочь ее исправить можете только вы.

— Я рад, ваше превосходительство, помочь вам, чем могу…

— Сможете.

Генерал пригласил его жестом к карте и начал объяснять:

— Вот видите, это единственные перевалочные

базы, через которые самолет с Перцелем может лететь в Венгрию. Заберите с собой человек пять-шесть из самых ловких, отправляйтесь туда сегодня же и найдите верных людей в телеграфе и на почте. Понимаете?

— Смутно, ваше превосходительство.

— Там наверняка из Будапешта будет корреспонденция для Перцеля. Они не могут не использовать самолет, который должен пролететь через районы, освобожденные уже от красного владычества, ведь Перцель — их контрразведка… И если по России их маршрут прокладывал Савостьянов чисто интуитивно, то разведчик Перцель наверняка будет действовать по инструкции своего руководства. Следовательно, вся корреспонденция, присланная из-за границы до востребования, должна быть просмотрена вами, а содержание сообщено мне совершенно срочно.

— А может быть, они уже перелетели эти места?

— Нет, — ответил Дрыжанский уверенно, — ни в коем случае. Дайниченко так изуродовал венгра, что, не отлежавшись три-четыре дня, он дальше лететь не сможет.

— А если…

— Что «если»? — перебил его генерал досадли-

во. — Вся разведка состоит из «если». Мы всегда играем «фифти-фифти», Георгий, мы всегда рискуем сломать голову… Обидно только, что сломать голову среди своих мы имеем куда как больше шансов, чем там, у врага…

Очередь выстроилась к Ивану на базаре: вместо двух гвоздей — десяток яиц, за двадцать гвоздей — курица, за тридцать — новенькую рясу, вместо сорока — кило свинины — бойко торгует Иван. Только вот положил перед ним на прилавок мужичок вместо еды маузер. Стоит и смотрит.

— Сколько? — спрашивает Иван.

— Сколько не жаль?

— Десять штук.

— Давай полста и бери «дуру» — она тебе нужна будет: там за базаром тебя уж бандиты ждут.

Вышел Иван с базара — и вправду: стоят четверо пареньков, цигарки сосут, финками ногти чистят.

— Поди сюда, паря, — сказал Ивану Ильичу мальчишечка лет пятнадцати. — Положи свое барахло мне к ногам, а сам жарь, пока мы добрые.

Иван, не обращая внимания, идет себе с мешочком по дороге. А бандиты поперек его пути выстроились — стоят молча, финочками ногти чистят.

Вздохнул Иван — что делать, опустил к ногам паренечка мешок да в тот же миг изловчился, за ноги бандита хвать, возле самых лодыжек, — и, как пращой, им пошел над головой вертеть: двух уложил на месте, а четвертый задал стрекоча, финку потерял.

Опустил Иван главаря в мягкую пыль, вытер со лба пот и спросил, подняв с земли свой мешок:

— Бандиты, вы бандиты — горе луковое, а не бандиты…

— Так мы ж своих не грабим, — ответил главарь, потирая голову, — мы ж только иногородних — оттого и голодные.

Дал Иван бандитам буханку хлеба и спросил:

— Доктор где тут живет?

— А вы, простите, по цвету каким будете? — спросил Ивана доктор. — Белый, красный или зеленый?

— У меня определенного цвета нет, — ответил Иван Ильич, — я в полосочку. А вы, позвольте полюбопытствовать?

— Если считать, что красный цвет — символ будущего, белый — поруганного прошлого, зеленый — полной абракадабры, то занятно, каким цветом должна быть определена глупость?

— Оранжевым, видимо, — сказал Иван Ильич,

оглядывая нехитрое убранство докторского кабинета.

— Так я вот, изволите ли видеть, типичный оранжевый. Присаживайтесь. Счастлив видеть интеллигента. Душу хоть можно отвести.

— Простите, а почему вы, так сказать… оранжевый?

— Потому что до революции я помогал и эсдекам, и эсерам, за что был административно сослан. А когда эсдеки изволили экспроприировать экспроприаторов, меня выставили из моего дома, отдав его под детские ясли. Когда я стал возражать против этого — чайку не желаете? нет? — так меня посадили в лагерь. А когда пришли белые, меня немедленно из лагеря перевели в тюрьму за то, что я во времена оны помогал красным. Освободили из тюрьмы зеленые и дали десять шомполов за то, что я ношу очки и нетипичную бороду, а также за то, что сидел и у красных, и у белых.

— Тогда вы поймете мою просьбу, доктор… Здесь неподалеку лежит один милейший интеллигент, профессор античной философии. Так вот, его сквозь строй пропустили, кончается мой друг-профессор.

— Вы хотите, чтобы я ему помог?

— Да.

— Ни за что.

— Почему?

— Он кто? Белый, красный?

— Хоть бы и рыжий — какая разница? Просто человек. Больной человек.

— А я — здоровый человек?! Я тоже больной человек. И для того, чтобы выжить во всей этой безумной сумятице, я изменил профессию: я отказался лечить людей, и я немедленно оказался нужен людям, потому что лечу скотину! Я ве-те-ри-нар! — пропел доктор. — Я нужен белым, красным, синим, серо-буро-малиновым! Они все ездят на лошадях, а лошади тоже болеют. Чайку не хотите? Нет? Я им всем нужен, я победил их логикой духа!

— Понятно, — сказал Иван, — только, не скрою, моя просьба отнюдь не бескорыстна. Я принес вам продуктов взамен на ваш визит. Вот, — показал он доктору содержимое мешка.

Доктор подошел к шкафу и отворил дверцу: на полках лежало такое же сало и такие же буханки хлеба.

— Мой друг пахарь отдаст последнее, чтобы спасти жизнь своей скотине.

— Понятно, — сказал Иван, — а где тут еще есть

доктор в округе?

— Я о-о-один! — пропел доктор. — О-один! Чайку не желаете?! Нет? Боже ты мой, как же радостно увидеть в этой свинской глуши истинного русского интеллигента… Хотите самосада? Как ведь ценить жизнь не умели — раньше сигару, бывало, нещадно щипцами резали, теперь самосадом горды, будто настоящей «гаваной».

— Доктор, голубушка, помрет там мой профессор, право слово, помрет. Я взываю к вашему профессиональному чувству…

— Ну, помрет. И что? Все помрут. И я умру, и вы умрете. Согласитесь — было бы нелогично считать себя бессмертным, хотя большинство людей именно таковыми себя и считают, а посему забывают о самом главном в жизни — о наслаждениях… Эпикур, Эпикур — как же мы забыли веселого гения антики?! Чайку? Нет? Угу, хорошо… Вы по всему вашему складу типичнейший эпикуреец… Слушайте, оставайтесь у меня… братом ветеринарного милосердия… По вечерам будем болтать, славно будем болтать, о том о сем… глядишь — и пронесутся мимо все эти революции, контрреволюции, реформации, новации и консервации, ха-ха-ха… Я теперь научен, я их теперь, всех этих революций и реформации,

боюсь, как чумы, до сердечных колик…

Достал Иван Ильич вороненый пистолетик, уперся им в грудь доктора и произнес неожиданную для себя фразу:

— Именем революционной диктатуры вы арестованы!

Стоит полковник Дайниченко навытяжку перед старым генералом, у которого борода лопатой, звезд на погонах и не сосчитаешь…

— Потому и решился поделиться своими соображениями, — закончил Анатолий Иванович, — ибо понять истинный смысл в проекте генерала не могу…

— М-да… — сказал старик со звездами, — м-да… Любопытно… Скажите на милость… Хм-хм…

— Какие будут указания, ваше превосходительство?

— М-да… указания… хм-хм… просто очень любопытно. Как это понять — указания, мой дружочек? М-да… Ха-ха-ха, указующий перст… Угу… м-да… прелюбопытно.

— Значит? — подался вперед Анатолий Иванович, показывая всем своим видом, что он понял намерения высокого начальства.

— Да, да… Да, — сказало высокое начальство. — Вообще да, но бывает, так сказать, и нет…

— Ваше превосходительство, я только хочу уточнить — брать мне обоих на свой страх и риск? Или отпустить благополучно за рубеж империи?

— На свой страх и риск… Да, м-да… На свой риск и страх. Ну, что ж… Риск, страх… Очень, очень любопытно… Всего вам лучшего, дружок, всего вам лучшего…

— А как же?

— Да, да… М-да… — продолжал генерал, провожая его к двери, — очень, очень, совсем, м-да, м-да…

— Так значит, да? — спросил в дверях Анатолий Иванович.

— Нет, — ответил генерал, — конечно, да! Ни в коем случае! Нет. Нет, только да!

С этим и ушел Анатолий Иванович, вызвал помощника и сказал:

— Шли б они все знаете куда? Именно туда! А венгра — брать не бери, а как попадутся, кончай их, тогда спроса никакого не будет, а выпускать их — дудки!

Кончил доктор мыть руки — Иван Ильич ему из ковшика возле сеновала тоненькой струйкой поливал, — вытер их полотенцем и сказал:

— Стоило ли доставлять столько неприятных минут запуганному русскому интеллигенту?

Он — обречен. Месяц, два… От силы. Спасти его может Швейцария, Давос, хорошая санатория.

— Швейцария, говорите… А спина?

— Что спина? Плохо спина. Нужны мази, а их сейчас в природе нет. Есть в монастыре у настоятеля — но вам их никогда не дадут, вы же не духовного звания. Глупо все это, право слово, а я из-за вас вызов к больным свиньям потерял — явный десяток яиц, если не два.

Иван Ильич в новенькой рясе (гляди на милость — пригодилась!) летит на своем аэроплане в монастырь, к отцу настоятелю. Ищет, куда сесть: нашел луг, а там монастырские коровы пасутся. Выберет Иван местечко, пойдет на посадку, а коровы — неразумные ведь твари — прямо под самолет несутся, норовят рога под шасси подставить. Чудом сел Иван Ильич, подрулил к вязам, выскочил на землю, в рясе запутался…

— Прошу вас, — сказал отец настоятель и указал Ивану Ильичу место подле себя, на деревянной лавочке, — рясу можете снять, принадлежность к братии я угадываю не по внешним, так сказать, формальным проявлениям, но по внутреннему миру человека, который читаю в глазах собеседника.

— Понятно, — сказал Иван и вдруг спросил-вы-

палил: — Ваше преосвященство, меня тут один вопрос все время мучал…

— Пожалуйста, быть может, я смогу ответить вам…

— Какого черта вы своим братьям шьете такую дьявольски неудобную одежду. Право слово, как шотландцы — юбка и юбка, идти — черт ногу сломит…

— Эка образно вы строите свою речь, — ответил отец настоятель, — в одной всего лишь фразе дважды помянули нечистую силу.

— О, простите, пожалуйста…

— Нет, пустое, это я, так сказать, в порядке нотабене, заметки на полях. Ну что же… а по поводу рясы — то, видимо, следует это считать неким рудиментом мученичества, вериг. Знаете, аристократы, уставшие от суеты, но не пришедшие к вере, придумывают себе альпинизм, лазанье по горам — это ж неудобно — не так ли? Ну, а люди веры постоянно ставят себя в рамки неудобства, поддерживая этим иллюзию постоянства в борьбе с грехом, излишеством, и одним из первых проявлений этих самоистязующих ограничений я считаю рясу, келью, воздержание от плотского греха…

— Понятно. Вы еще забыли упомянуть посты,

голодания…

— Отнюдь. Я не упомянул их намеренно. Голод, поверьте мне, — великолепный лекарь, лет через сто его возьмут, так сказать, на вооружение звезды балета и варьете. Голод сохраняет молодость и конденсирует интеллектуальную работоспособность. Вообще медицина, гуманитарная наука, не говоря уж о технике, очень много получили от церкви.

— Не говоря о том, как многое в науке и в искусстве церковь запрещала, — не утерпел вставить Иван Ильич.

— Всякий запрет только кажется неразумным. Ибо что есть слаще запретного плода? Если бы человечеству было разрешено все — мы бы и по сей день ходили в овечьих шкурах. Но, простите, я отнимаю у вас драгоценное время. Чем я могу вам помочь?

— Лекарством.

— Каким?

— Видите ли, у моего…

— Это не суть важно, у кого… важно — что?

— Попал в руки бандитов, исполосован шомполами…

— Далеко ли отсюда?

— Семьдесят восемь километров четыреста

сорок один метр.

— Сколько дней прошло с тех пор?

— Два.

— Врачебная помощь еще не была оказана?

— Только в порядке консультации — лекарств нет.

— Ну, лекарствами мы вам поможем. Как бы нам посмотреть вашего больного? Тащить его сюда на подводе восемьдесят семь верст…

— Семьдесят восемь…

— Семь и восемь — цифры из иудейской каббалы, я вечно их путаю.

— Тут вопрос не в подводе. Я его доставлю к вам мигом… Только, может быть, сначала вы дадите мне что-либо для него?

— Это рискованно. Среди братии есть великолепные доктора: диагноз был бы немедленно подтвержден необходимой лекарственной помощью. В ином случае возможны всякого рода трагические случайности. Допустим, я даю вам мази от ожогов или ран, а у человека больные легкие…

— Именно так и есть… — обалдело поглядев на отца настоятеля, сказал Иван, — вы прямо-таки смотрите сквозь человека.

— А, — махнул рукой отец настоятель, но угол-

ком рта все же улыбнулся.

— Когда мне его к вам доставить?

— Завтра к вечеру успеете?

— Через час смогу привезти.

— Уж не по воздуху ли? — улыбнулся отец настоятель. «Черт его знает, скажешь про аэроплан — откажется лечить еще, — подумал Иван, — они ведь к авиации не очень. Под запретом она у них, значит, по его теории, лет через двадцать чудеса будут в небе вытворять».

— Автомобиль есть, — соврал Иван, — довольно потрепанный, — добавил он, памятуя, что достоверность лжи — в ее подробности, — но еще ходит.

— Я скажу приготовить для больного келью, — сказал отец настоятель и жестом показал, что аудиенция окончена.

Когда Иван, просветленный лицом, пошел к двери, отец настоятель спросил его:

— У вас еще есть ко мне что-то… Я готов выслушать.

— Есть, — согласился Иван, — есть, ваше преосвященство. Меня поражает, как мешают церкви, ее подвижникам, простите за прямоту — таким святым людям, как вы, деревенские попы — пьяницы.

Настоятель развел руками, плечами пожал и ответил:

— Не ведают, что творят… И подумайте сами — кто согласится поехать в деревенскую глушь? Думающие интеллектуалы всегда стремятся быть ближе к очагам мировой культуры. Хотя, впрочем, я считаю, что главный очаг мировой культуры обязан быть в человеке, он должен нести его в себе, как факел. Мне было так жаль святую веру, когда прекрасную сказку о храбром Данко написал Максим Горький, но не человек, исповедующий Христа.

— Если бы все люди веры Христовой были такими, как вы, — мир бы жил в счастье, — сказал Иван.

Настоятель отрицательно покачал головой:

— Ни в коем случае. Всегда следует помнить Маркса: всякое целое — не что иное, как единство противоположностей.

— Маркса? — обалдело спросил Иван. — Какого?

— Маркс один, — ответил настоятель и закрыл глаза.

И когда Иван Ильич вышел из кельи, настоятель попросил к себе колокольчиком служку, тот принес ему на подносе стакан воды и корку

хлеба, настоятель начал свою трапезу и при этом сказал:

— Ну-ка, принесите мне те материалы, брат Ваган…

Брат Ваган, настоятелев служка, вернулся с кожаной папкой. Настоятель просмотрел папку и сказал:

— Да. Это он — судя по описанию словесного портрета… Сообщите, пожалуйста, в штаб к Антону Ивановичу Деникину, что завтра венгерского комиссара Перцеля Яноша привезет ко мне Иван Ильич Савостьянов — видимо, утром; по всему — архинетерпелив. Либо пусть сегодня же начинают их искать в радиусе восьмидесяти километров. Помогите мне встать, я пойду молиться за двух заблудших — мне жаль их.

А генерал со звездами поднялся навстречу Дрыжанскому, обнял его и долго ласкал, оглаживая плечи.

— Рад вас видеть, — сказал он, по-прежнему доброжелательно глядя на Дрыжанского, — экий затворник, ну что б зайти к старику, поговорить, винток составить…

— Ваше высокопревосходительство, я считаю это в определенной мере бестактным: у вас столько обязанностей.

— Ах, пустое, — сказал генерал со звездами, — всех дел не переделаешь и всех щук не переловишь. Вчера я выезжал на озеро, разбросал донышки, а ночью — ветер, все попереворачивало, не взял ничего — экая жалость.

— Щука — это, видимо, чисто спортивная рыба. Уха щучья меня в восторг никогда не приводила.

— Плохо, значит, уху делали. Сначала надо цыпленка отварить, после карася и карпа, а уж потом — щуку. Это — царская уха, только наоборот.

Генерал со звездами и Дрыжанский вдруг натолкнулись друг на друга взглядами и словно оттолкнулись, разлетелись в разные стороны, и поэтому наступила пауза — в определенной мере неловкая.

— Ах вы, хитрец, — сказал старый генерал и заколыхался в смехе, полном доброты и благорасположенности, — ну-ка, давайте, давайте, рассказывайте старику, что вы там намудрили?

— Ваше высокопревосходительство, — ответил Дрыжанский, также сияя улыбкой, — хитрость — моя профессия, мои будни. Которую именно вы имеете в виду?

— Уж и не догадываетесь?

— Право слово, я в растерянности.

— Уж и в растерянности! Я имею в виду ваши планы по поводу этого самого венгра…

— Вот в чем дело… Понятно, ваше высокопревосходительство. Я готов изложить вам мой перспективный план.

— Послушайте старика, Станислав Евгеньевич, — сказал старый генерал со звездами, — перспективные планы политического сыска пугают Верховного, потому как вы с вашими перспективными планами Россию в руки большевиков отдали. Сейчас важны сиюминутные действия, но не перспективные планы. Давайте одолеем врага, утвердим белую власть на всей территории империи, тогда займемся перспективой.

— Ваше высокопревосходительство, я считаю глупым не обращать внимания на акции наших врагов. Если вы внимательно проанализируете теорию и практику ленинского правительства…

— Нет никакого ленинского правительства! Есть банда германских шпионов, армяшек и жидов!

— Да, да, вы правы, естественно, но тем не менее эта банда в самые тяжелые дни устремляет взгляд в будущее, далекое будущее…

— Их будущее — это пеньковая веревка, и это случится через месяц, от силы — два! И нечего

вам смотреть на бандитов! Свой мозг, слава богу, есть!

— Конечно, вы совершенно правы, ваше высокопревосходительство, однако, положа руку на сердце, эти бандиты два года держат в своих руках власть, поэтому-то я и предлагаю…

— Уже не держат власть! Уже остались с одной губернией! Народ в Москве и Питере готов взяться за оружие против красных сатрапов! Кипит народный гнев! Наша победа так же неминуема, как неминуем восход солнца!

— В этом не может быть никакого сомнения, ваше высокопревосходительство… Но…

— А по-моему, и в наших рядах есть люди, позволяющие себе сомнения!

— Ваше высокопревосходительство! По роду службы мне пришлось прочитать слова — девиз, принцип жизни: «Подвергай всё сомнению». Это слова нашего главного врага — Маркса.

— Не пора ли прекратить читать девизы врагов? Не пора ли утверждать свои девизы: «Никакого сомнения в правоте нашего белого дела!», «Никакой пощады врагам России!» А вы, изволите ли видеть, холите и нежите венгра и даже запрещаете своим подчиненным, истинным патриотам Белого движения, покарать злодея? Это как

называется? Простите, Станислав Евгеньевич, старика, великодушно простите, но я вас понять никак не смогу и хочу считать вашу позицию не совсем продуманной.

Вернувшись к себе в кабинет, Дрыжанский достал из нижнего ящика стола начатую бутылку коньяку, налил себе темной, густой влаги в хрустальный стаканчик, одним махом, по-крестьянски, опрокинул его в себя и — застонал, как от боли, и даже головой начал мотать, словно измученная вконец лошадь.

Иван Ильич сказал Яношу:

— Собирайтесь, сейчас полетим лечиться. Я нашел такого монаха роскошного… Там у него и врачи, и лекарства…

— К монахам я не поеду.

— Это не такой монах, как все, — поверьте, я их тоже не очень-то жалую.

— Повторяю вам: к монахам я не поеду, никакой помощи от них не приму.

— Ну и помрете! — сорвался Иван.

— Ни в коем случае, — ответил Янош.

Солдаты окружили дом старосты — «народного страдальца». Офицер постучал в окно и сказал:

— Одевайтесь, покажите нам место, где живет

Иван Ильич Савостьянов.

— Сей момент… Он в сарае покойного своего деда живет.

И староста быстро вышел и повел солдат — продавать своего мил-друга брудершера Ванечку. Окружили солдаты сеновал, где Янош скрывался, и тихонько отворили двери. Офицер осветил фонариком сеновал: лестницы, ведущей наверх, не было.

— Поджигайте, — шепнул он солдатам, — пусть подогреются.

И заполыхало сухое сено громадным факелом в фиолетовой — ни зги не видать — ночи.

Темная сцена театра. Идет репетиция «Отелло». Репетируют красноармейцы: мавра играет армянин, Дездемону — юная сестра милосердия, а Яго — рослый фельдшер.

Через зал идет Янош, снова одетый в кожанку, в сопровождении трех красных командиров и Ивана. Один из командиров тихо говорит:

— Товарищ Янош, я думаю, вам сейчас надо бы как следует отоспаться. На вас же лица нет.

— Тш-ш-ш, — шепчет Янош. — Тш-ш-ш, — и садится в кресло. — А кто ставит Шекспира? Где режиссер?

— Самодеятельность, — тоже шепотом отвеча-

ет командир, — всё сами.

— И если б знала Дездемона, — читает заученный текст армянин, — как нежность, вся мирская нежность во мне сейчас трепещет.

— Ха-ха, — грохочет фельдшер-Яго.

Лицо Яноша сморщилось, как от боли, и он захлопал в ладоши, прекращая репетицию.

— Нет, нет! — закричал он. — Все дурно! Все не так!

И — выбежал (откуда только прыть в тщедушном теле) на сцену.

— О, если б знала Дездемона, — начал он читать с такой пронзительной нежностью, что Иван Ильич вдруг почувствовал в себе холод, — как нежность, вся мирская нежность во мне сейчас трепещет…

Он обернулся в сторону, преобразился в Яго: «Ха-ха-ха!» — и это было страшным превращением, а после он стал трепетной Дездемоной и начал читать ее монолог, и настоящая Дездемона замерла, так чудно он читал ее монолог, а Яго смахнул слезу с красной щеки, а в зал, в темный зал, где царствовал голос комиссара Яноша, читавшего Шекспира, входили и входили красноармейцы и тихонечко усаживались в красных бархатных креслах и замирали, околдованные тем великим

искусством, которое умрет вместе с каждым из нас поодиночке и со всем миром — если ему суждено погибнуть от рук злодеев, ничего не знающих о любви Мавра и нежности Дездемоны.

И люди Революции — ее солдаты — сидели в тишине темного зала и плакали, и было в этих слезах очищение и гордость за человеческий разум и за сердце человеческое. А когда кончил играть Шекспира Янош, взорвался зал аплодисментами, и красноармеец, сидевший подле Ивана с правой рукой на перевязи — молоденький рабочий паренек — сказал:

— Товарищ, похлопай об мою здоровую руку, пожалуйста!

И стал Иван Ильич, бывший полковник, бывший личный пилот бывшего государя императора, осторожно хлопать своей левой рукой по ладони правой руки молоденького красноармейца и слез своих не скрывал, да и никто их тут не скрывал, потому что слезы скрывают только от врагов.

Провожают красные командиры самолет, все выше и выше уходит он в бесконечно высокое небо, а по полю к ним несется машина, а в машине чекист везет пакет за сургучными печатями, а в пакете шифровка от Феликса Эдмундовича

Дзержинского: «Товарищ Тибор Самуэли благополучно прибыл в Будапешт. Прошу сообщить об этом товарищу Яношу Перцелю. На границе дальнейший полет следует прервать и ждать указаний из Будапешта».

Красный командир поднял глаза в небо — а самолета уже и не видно, даже точкой, будто растворился в прозрачном предвечернем мареве.

Поднялся над землей ночной туман — плотный, словно вата.

— Какого черта вы меня тянули на ночь глядя?! — кричал Иван Ильич в переговорную трубку.

— Но мы же видим огоньки… Это пограничный Моч, я высчитал по карте.

— А садиться мы куда будем?!

— На землю.

Иван Ильич даже застонал от злобы:

— Убьемся мы сейчас! Ясно вам?! Убьемся!

Убиться не убились, а шасси обломали, плюхнувшись в болото.

А погранзастава, к счастью для наших путешественников, оказалась совсем неподалеку, и красноармейцы подбежали к самолету и повели Яноша с Иваном к себе — ужинать и спать.

А наутро командир погранзаставы, Иван и

Янош отправились в город Моч: обшарили склад, где сторожем был дед Мыкола, ничего, конечно, даже отдаленно похожего на шасси, не нашли и приуныли.

Дед Мыкола, человек всезнающий, добрый и бывалый, предложил:

— Може, до жидов сходым? Може, у Рувимки шо исты?

Остановились Иван, Янош и красный командир возле синагоги, а там служба идет.

— Надолго это они затянули? — спросил Иван.

— На целый день это у их, — сказал Мыкола.

— Пойдемте, — сказал Янош.

— Неудобно, — сказал Иван. — Надо уважать веру.

— Прежде всего надо уважать революцию, которая ждет наш самолет в Будапеште, — сказал Янош и отворил дверь синагоги.

— Спасайтесь, евреи! — крикнул раввин и бросился к двери, которая вела во внутренние покои.

— Товарищи евреи! — сказал Янош. — Прошу простить, но спасаться от нас не надо! Мы — красные!

— Красные, ворвавшиеся в синагогу, перестали быть красными! — сердито сказал раввин. — Я с

вами отказываюсь беседовать в святом месте.

— Я с вами тоже, — сказал Янош.

— Я буду молиться, чтобы вы исчезли с лица земли, — сказал раввин и ушел.

— Идиот, — сказал ему вслед седой старик. — А мишигинер идиот! Он не хочет беседовать с красными, которые впервые за 1919 лет сказали еврею «товарищ». Что вам от нас нужно? — спросил он Яноша.

— Нам нужно шасси, — сказал Иван.

— А что такое шасси? — спросил старик.

— Это колеса, — ответил Иван.

— Колеса для чего?

— Для самолета.

— А что такое самолет?

— Это летательный аппарат.

— Такого не может быть, — сказал старик. — Во всяком случае, в Талмуде про это не написано.

— Написано, написано, — сказал Янош и процитировал на древнееврейском цитату из Талмуда.

— Ты еврей? — спросил его старик.

— Я большевик, — ответил Янош, — интернационалист.

— Большевик-интернационалист — это неплохо, — сказал старик и покачал головой, — но, если б к тому вы еще были евреем, так было бы совсем

хорошо. Евреи! — сказал он. — Большевикам нужны, как я понял, оглобли для летательного аппарата. У кого есть эти летательные оглобли? Пусть тот скажет «а»!

— «О», — сказали хором евреи.

— По этому поводу есть история, — сказал старик. — Учитель балагул принимал экзамен у молодого балагулы. «Ицка, — сказал он. — Вот ты ехал на базар с клиентом, и у тебя сломалась оглобля. Что ты сделаешь в этом случае?» — «Я подвяжу ее веревочкой», — ответил балагула. «Но у тебя нет веревочки», — сказал учитель. «Тогда я пойду в лесок, и срублю древесину, и сделаю из нее новую оглоблю». — «Да, но ты едешь по полю». — «Тогда я зайду в лавку к Моше Эйнштейну и куплю у него совсем новенькую оглоблю». — «Да, но ты едешь по пустыне, и Эйнштейна нет вовсе. Что тогда?» И молодой балагула не знал, что тогда, и не получил диплома, но спросил учителя: «Хорошо, ребе, а как бы поступили вы на моем месте?» — «Я бы подвязал оглоблю веревочкой», — ответил учитель. — «Но у вас нет веревочки». — «Тогда я бы срубил бы в лесу древесину». — «Но вы ж едете по полю». — «Тогда б я купил оглоблю в лавке Эйнштейна». — «Да, но вы едете по пустыне и тут нет Эйнштейна! Что ж

тогда?» — «Таки плохо, — ответил учитель. — Таки очень плохо».

Горит горн, два старых украинца и два старых еврея пытаются бить молотами по наковальне, но силенок у них нет, они чуть не бегут за тяжелым молотом после замаха, не в силах остановить его, и попадают этой громадиной куда угодно, только не по железному листу. Умаялись старые кузнецы, и тогда Мыкола предложил:

— А мабуть, к этому иностранцу податься? Мабуть, у его що есть?

— Та цей иностранец, — сказал Рувим, — средь нас шесть лет живет и говорит жестами, як немой.

— Что за иностранец? — спросил Янош. — Откуда?

— С королевства Манаки, — ответил Мыкола. — У его охранная грамота исть, от предрика и Совнаркома, что его трогать нельзя.

Начальник погранзаставы, Янош и Иван долго стучались в дверь, забранную витой чугунной решеткой, пока наконец она отворилась. Они вошли в прихожую, заставленную хомутами, картинами Леонардо да Винчи, унитазами, иконами Рублева, сапогами, валенками, красками, слитками золота и дверными ручками.

Иностранец повел их за собой в зал, так же заставленный всяческими богатствами, сжимая в одной руке маузер, а в другой — стилет, ткнул стилетом на охранную грамоту, лежащую под стеклом на столе, и сказал:

— Совнарком охрана. Иностранная общество Монако. Не трогать.

— Вы говорите по-русски? — спросил Иван.

— Нет.

— Парле ву франсе?

— Но.

— Шпрехен зи дейч? — спросил Иван.

— Никс.

— Парле итальяно?! — вдруг обрадовался Янош.

— Но, — покачал головой иностранец, поигрывая пистолетиком.

— Вот болван, — сказал Янош.

— Может, притворяется… — сказал Иван. — Иностранцу у нас хорошо. Я, бывало, если хотел лучший люкс получить в «Яре», — так только по-французски! Администрация передо мной ковром стелилась. Давай, давай, — сказал Иван нерешительно, — давай, сукин сын, говори по-русски.

Иностранец участливо, но в то же время изде-

вательски развел руками.

— От мать твою за ногу и об угол, — выругался по-венгерски Янош, и в тот же миг свершилось чудо — иностранец, бросив свое оружие, пантерой бросился на Яноша, поднял его на руки, стал бегать по комнате, осыпая его поцелуями, и рыдающе повторял:

— Сервус, сервус, мадьяр!

Янош и венгр засыпали друг друга вопросами — про жизнь, про бытье, про то да про се, а Иван сказал:

— Про шасси, про шасси спроси.

Янош спросил про шасси, венгр опустил его на пол, закивал головой и потащил за собой во двор, открыл амбар, привел в угол, а там стояло новенькое авиационное шасси.

— Скорее бы все это кончилось! — трещал без умолку представитель торговых кругов княжества Монако, — скорее бы зажить по-человечески, а не узником! Когда кончатся все эти пертурбации, я вернусь в Сехерварош миллиардером, куплю землю на Балатоне и буду наслаждаться жизнью! Я отдал миллион франков лучшим одесским жуликам, чтобы мне подделали эту совнаркомовскую охранную грамоту, теперь я молю Бога — только бы скорее! Только бы скорее

все кончилось!

— Так у тебя липа? — спросил Янош, оглядывая шасси. — Ай да молодец! Значит, вся эта история с представительством Монако — фантазия?

— А что делать? Ты ж сам видишь — какие дикие времена! Русские испытывают трепет перед иностранцами — этот длинный русский был прав, когда говорил про это.

— Ты знаешь по-русски?

— Немного. Но никогда нельзя показывать вида — особенно в торговле и дипломатии.

— Логично, — согласился Янош, остановившись возле журнального столика, на котором среди прочих книг он увидел большой географический атлас Венгрии. Янош пролистал атлас, прикинул спичкой расстояние до Будапешта, вопросительно поглядел на Савостьянова. Тот понял его, мельком глянул на ту же карту и ткнул пальцем в маленький городок Рихварош у отрогов Карпат.

— Здесь, — сказал он, — иначе не дотянем.

— Граф Матиас, — сказал Янош, — хм-хм…

— Кстати, — сказал Янош «подданному Монако», — у тебя найдется для этого русского и для меня по паре хороших костюмов? Или по фрачной паре?

— Сейчас — фрак? Тебя ж в нем немедленно

вздернут!

— Я лечу за границу.

— Домой в Венгрию?

— Да.

— Там сейчас такая же каша, как и здесь. Посиди тут, пережди смутные времена, и поедем вместе.

Венгр достал из шкафа пару костюмов, фрачные пары, штиблеты и все это подвинул Яношу.

— Напиши для проформы расписку. Я верю, что ты и так отдашь в Венгрии, но, знаешь, привычка — вторая натура, ха-ха-ха! — И он подвинул Яношу перо и бумагу.

— Сколько все это стоит?

— В чем ты будешь платить? В свободно конвертируемой валюте или в рублях?

— В чем бы ты хотел?

— Конечно, я хотел бы в долларах…

— В долларах? Ладно, уплатим в долларах…

Иван сел и столу, написал что-то на бумаге и передал ее командиру и пограничнику. А тот, прочитав, сказал Яношу:

— Нельзя. Иностранец, собака. Представитель Монако.

— Он обычный жулик, а не подданный Монако. И охранная грамота — филькина грамота. Так что подписывайте приказ о национализации.

— Что?! — возопил венгр, «подданный Монако». — Что?! Ты же венгр! Как ты можешь? Нейн, их бин марроканише ауслендер, ю кэннот ду ит, блади бастард, я буду жаловаться в вышестоящие инстанции! Ты же венгр, как ты можешь предавать венгра!

— Нет, как ты можешь предавать Венгрию?! — сказал Янош и стал бледным-бледным. — И не смей называть себя венгром! Человек, спекулирующий на горе людей, не имеет национальности!

Вечером, часов в десять, генералу Дрыжанскому принесли шифровку от его адъютанта, и было в этой шифровке такое, что заставило Дрыжанского вызвать автомобиль и незамедлительно отправиться к представителю разведки Антанты генералу Ричмонду Ферже. Говорилось в шифровке, что Перцель действительно получил телеграмму, и приводили текст: «Дела фирмы требуют вашего визита в Сегед и в Рихварош к Матиасу, где проездом будет Дьюла с новыми данными о пакете акций».

Ферже визиту своего русского коллеги чрезвычайно обрадовался, обменялся с ним рукопожатием — до некоторой степени экзальтированным — и сказал:

— Мой друг, я вижу, как сияют ваши глаза. Не

скрывайте: вы приехали с хорошими новостями.

— Вы помните, я просил вас помочь мне усадить в тюрьму и сделать репутацию одному моему протеже?

— Да, он уже сидит. Мы выполнили вашу просьбу срочным порядком.

— Где?

— В Мишкольце.

— А мне надо, чтобы он сидел либо в Сегеде, либо в Рихвароше, в замке графа Матиаса.

— В двух местах одновременно он сидеть не может, — пошутил Ферже. — Куда его перевести сначала?

— Либо в Сегед, либо в Рихварош, но с таким расчетом, чтобы он мог оказаться незамедлительно там, где он потребуется.

— Вы говорите шарадами, мой друг, — сказал Ферже, — я ничего не понимаю…

— Я объясню. Задуманная мною операция сейчас вступает в решающую стадию, — сказал Дрыжанский, положив на стол Ферже шифровку, — вы ознакомитесь с этим позже и все поймете. Все прошедшие годы и мы, да и вы, между прочим, делали кучу ошибок. Мы мешали революционным событиям, а обязаны были их организовывать соответствующим образом и на-

правлять по угодному нам руслу. Но делать этого мы не умели. Это могут сделать только те люди, которые найдены среди революционеров и проверены нами на талант, смелость и авантюризм. И при этом скомпрометированы таким образом в прошлом, что отказывать нам не смогут. Эрго: я хочу внедрить моего человека в будапештский ЦК, а после — в Коминтерн. Не надо бояться революционности моего подопечного, только тогда всякая победа революции будет обернута нам на пользу. Сейчас важно внедрять в большевизм тех людей, которые исповедуют религию власти, но идут к ней методом революции.

— Термидор изнутри? — спросил Ферже. — Занятно. Кто же этот ваш человек? Вы оценили мой такт: я ни разу не спрашивал вас о нем раньше, я просто выполнил вашу просьбу.

— Я ценю ваш такт, генерал. Мой человек был дважды приговорен к смертной казни: один раз в России, где я спас его, другой раз в Германии, где его спасла революция. Бывал он и в Венгрии. Он и сейчас там с вашей помощью. Я передам вам этого человека с паролем и отзывом. Этот пароль и отзыв знают только два человека: он и я. Поверьте мне — это самый ценный агент, какой только был у меня за все тридцать лет работы в сыске.

— А ваши коллеги?

— Мои коллеги тупицы и кретины. Вы задали не тот вопрос, генерал.

— Ага, — протянул француз. — Начинаю понимать… Вы устали… Маленькая ферма возле Бордо, красные закаты, старый клавесин и журчание ручья. Да, да… Разведчики сдают лет на пять раньше, чем писатели. Тех хоть держит самодисциплина и честолюбие, а мы-то с вами знаем, что слава — понятие сугубо случайное и достигается не человеком, а, как правило, вопреки ему. Мы-то с вами знаем, как делают славу, а?! — И француз засмеялся колокольчатым добрым смехом. — Когда вы хотите уйти из игры?

— Сегодня.

— Ого! А способ отъезда в Европу?

— Ваш морской транспорт.

— У вас неплохо работает агентура, напрасно вы жалуетесь, генерал.

— Нет, это просто очень плохо работает ваша контрразведка на флоте.

— Багаж? Семья?

— Всё мое ношу с собой.

Ферже поднял трубку телефона:

— Командира транспорта Си-Ку-24. Командор. Это я. Через полчаса к вам на борт мой адъютант

привезет человека, который должен быть через неделю под Бордо. До его прибытия не отправлять суда. Я обнимаю вас, мой друг.

Генерал Дрыжанский достал из кармана перепелиный манок и три раза коротко свистнул, а после — жалобно и протяжно.

— Это ваш пароль. Вам ответят словами: «Все-таки ничего нет прекрасней боровой охоты в Сибири». Будьте с этим человеком предельно уважительны. Его кличка Вожак. Операцию по внедрению он проведет сам — надо только его связать с Яношем Перцелем. — Генерал постучал пальцем по шифровке, лежавшей перед Ферже.

— Я связал две нитки теоретически: Вожака и Перцеля. Практически это доведете вы. Не навязывайте Вожаку своих решений. Доверяйте ему во всем. В беседах с ним всегда подчеркивайте, что функционеры в партии не поняли его и недооценили его талант. В беседах с ним я всегда подчеркивал, что герой — это удел тысяч, высшая власть в партии — призвание единиц.

— Любопытно и смело… Очень смело…

— Теперь вы, надеюсь, поняли, отчего я так яростно сражался за жизнь Яноша Перцеля? Он выполнит роль лопаты, на которой мы введем в печку Вожака.

— Спасибо, — сказал Ферже, — спасибо, мой друг!

И — выстрелил в живот Дрыжанскому, который молча сполз на пол.

Адъютант, немедленно вышедший из-за портьеры, спросил:

— Зачем, мой генерал? Он же предлагал интереснейшую комбинацию!

— Идеи только тогда становятся великими, когда их выдвигают не пять, не три, не два человека, но только один.

Гремит музыка, упоительный Штраус плачет со сцены забытым в революции вальсом, а Иван Ильич во фраке, с белым цветочком в петлице лениво попивает аперитивы, а Янош (господи, скажи на милость) кружится с очаровательной веночкой и эдакие па на вощеном паркете выкозюливает, что Савостьянов только диву дается.

А дотанцевав тур вальса, он вкрадчиво поцеловал веночке руку, шаркнул ножкой и — весь воплощение галантности и изящества — через зал — к графу Матиасу.

— Ваше превосходительство, видимо, я уже проклят вами за назойливость, но если завтра у нас не будет бензина, то мне лучше застрелиться. У меня задумана комбинация на бирже, и без

меня она рухнет, неминуемо рухнет…

— Интересная комбинация? — поинтересовался граф.

— Архиинтересная.

— Берете в долю?

Янош покачал головой:

— Ни в коем случае, граф. Я торговец, вы аристократ, мы с вами никогда не сможем понять друг друга… Я — рацио, вы — восемнадцатый век, вы — просто рыцарь, я — скупой рыцарь.

— Бензин мне обещали завтра подвезти, будем уповать на Бога.

А Иван в это время, присоединившись к очаровательной веночке, сказал с горловым придыханием:

— Мадам, я получил огромную радость, когда наблюдал, как вы кружились с моим комисс… коммерсантом… Не скрою, вы очаровательны, как богиня.

Богиня засмеялась — боже, как хороша чертовка!

— Вы слишком добры ко мне, — сказала веночка, — все сильные и храбрые рыцари всегда славятся избытком доброты…

И ручку Ивану. Он так к ладошке-то и присосался, усами щекочет, журчит:

— Моя мечта, мадам, поднять вас в небо…

Веночка быстро мазанула его взглядом по лицу, однако сказать ничего не сказала.

Ах, фазанья охота, фазанья охота! Что есть прекраснее этого зрелища! Идут цепью охотники, и то здесь, то там вымахивают из кустов длиннохвостые красавцы, летят в небо свечой, замирают там на мгновенье, перед тем как из вертикального полета перейти в горизонтальный, — здесь их и лупи. И как на грех, Янош вытаптывает больше всех фазанов, а его принципы запрещают ему стрелять лесную и «декоративную» дичь. Поэтому Янош стреляет вверх, зажмуриваясь, в надежде, что промажет, а Иван, заметивший эту очередную комиссарову хитрость, стреляет по его фазану именно в тот миг, когда он жмурится, и срезает птиц к ногам Яноша. Бедный доверчивый Янош! Он действительно думает, что это он навалял столько фазанов, и так он это переживает, что мадам Рекамье и Иван, идущие рядом, локоть к локтю, едва сдерживают смех, а уж веночка до того веселится, что даже чуть плакать не начала, так бывает, когда пересмеешься…

А по дороге конвоиры ведут босых, раздетых, избитых сверх всякой меры венгерских комму-

наров, впереди идет Вожак и, чтобы подбодрить своих товарищей, поет революционную песню «Смело, товарищи, в ногу», невзирая на побои конвоиров, поет, гордо поет.

А Ферже манок вытащил и в тот момент, когда песня затихла, три раза коротко свистнул, а один раз — жалобно и протяжно.

Никто ничего не заметил, только генерал Ферже заметил, как чуть прищурились глаза Вожака, маленького, окровавленного, усатого человека.

— Господин генерал, — протяжно сказал кто-то, — сейчас в лесу, здесь в полях нет…

— Ничего, — сказал Ферже, — уж, кто как не я, знаю, как отменно хороша тетеревиная охота… в Венгрии…

А Вожак обернулся к избитому товарищу и сказал:

— Что эти господа понимают в охоте? Нет ничего прекрасней боровой охоты в Сибири… А ну, товарищи! — И он затянул «Бим-бом, слышен звон кандальный, бим-бом, путь сибирский дальний…».

Генерал Ферже предложил Вожаку сесть и учтиво спросил:

— Сигару не желаете?

— У сигар стойкий запах. Где генерал Дрыжан-

ский?

— Он погиб, месье Вожак.

— Каким образом вам стало известно обо мне?

— Кто кого спрашивает? — улыбнулся Ферже. — Я думаю, мы должны построить беседу по принципу «все наоборот».

— Вы будете строить со мной беседу таким образом, каким ее поведу я, либо она не состоится вовсе.

— Вы уверены?

— Конечно. Иначе бы не говорил. Вы пользуетесь моими услугами, а я в равной мере вашими до тех пор, пока я не достигну своей цели. Дальше мы заключим, — он жестко усмехнулся, — межгосударственные договоры, дальше все будет иначе и занятнее.

— Я не совсем понимаю…

— Все очень просто: аристократия не дает рабам царствовать. Рабы, восставшие против аристократии, выдвигают своих вождей, которые будут царствовать и над сломанной аристократией, и над победившими рабами. Я, — Вожак постучал себя пальцем по груди, — буду не просто царем рабов. Я стану их богом.

— Кофе?

— У кофе тоже стойкий запах. В камере очень

точно чуют запахи, особенно голодные люди.

— Кто вы по происхождению?

— Мещанин, — жестко ответил Вожак, — человек из предместья.

— Сможете ли вы после одолеть стихию? Сможете ли вы оседлать массу рабов, вкусивших власть и свободу?

— А вы Ленина почаще изучайте, генерал. Он великолепные слова написал. Он написал: «Мы погубим партию, если пустим в нее посадских». Я приму в партию посадских, а те пойдут за мной.

— Скажите, — протянул генерал и мучительно подавил в себе желание подняться в разговоре с этим избитым, окровавленным человеком, — а как вы мыслите себе проведение всей этой операции?

— Очень просто. Мне нужен ваш венгр, этот комиссар. Я слыхал о нем. Вы его ничем не купите — он из ленинской гвардии: им так же легко умереть, как невозможно продаться.

— Мы здесь очень внимательно смотрим за ним, — сказал Ферже, — у нас есть данные, что он ждет связи.

— Зря теряете время. Он сам передаст мне эту связь. Вы устраиваете нам троим побег, в побеге я получаю от него все явки и все пароли. Одно

условие — Перцель должен быть раздетым. У него «тбц», и холод в небе облегчит мою работу… Вот так… это будет разумно и нетрадиционно… Ну а через лет пять мы встретимся с вами… Где мы встретимся, я скажу после. Да, да, вам придется встречаться со мной не в камере пыток, а за столом торжественных переговоров — поверьте мне! И это будет скоро, очень скоро! Так что ставьте верные ставни, генерал…

И он поднялся, и генерал тоже поспешно поднялся. И спросил:

— Как мы организуем побег?

— Мне вас учить и этому? — снова усмехнулся Вожак.

— Выведите заключенных, заставьте Яноша есть землю, дайте мне возможность при этом выхватить у вас пистолет, испугайтесь, кричите солдатам: «Не стрелять!», пусть Янош или пилот смогут выхватить оружие у графа, и дайте нам возможность уйти к самолету и улететь…

— Слушайте, — сказал генерал, — а то плюньте на все, идите ко мне, а?

— Больше всего в детстве я не любил сказку о невидимке, — сказал Вожак. — Честь имею. Прикажите меня отвести вниз. И побейте меня. Начинайте. Пусть они войдут в самый драмати-

ческий момент.

— Я никогда никого не бил.

Вожак взял со стола пепельницу, ударил себя по лицу, до кости рассадил себе кожу и сказал:

— Зовите конвой, теперь хорошо.

По длинному коридору замка шла веночка, мадам Рекамье, а за ней по-кошачьи крался Иван, прячась в оконных проемах, когда она останавливалась поправить прическу возле громадных зеркал. Вошла к себе в комнату, а там возле окна — Яношь. Она к нему бросилась, на шее у него повисла. А дверь-то отворилась, и вошел Иван, и глаза у него полезли на лоб.

— О-хо-хо-хо! — сказал он. — А я, значит, как битый свежий дурак с мороза! В тихом омуте черти водятся! Ничего себе, а?

Яношь игриво обнял веночку за осиную талию — вот-вот переломится — и сказал:

— Можно же и мне чуть-чуть отдохнуть от коммерции…

А веночка к Яношу прижалась (чего она в нем нашла — господи боже ты мой!) и эдак игриво показала Ивану розовый острый язычок.

С тем и ушел погрустневший Иван Ильич, и загрустил он не потому, что упустил из-под носа веночку, а оттого, что показался самому себе

несколько обворованным.

А Янош, как только он ушел, повернул ключ в двери, быстро обошел все стены, простукал их осторожно, замер возле отдушины, осмотрел ее в высшей мере тщательно и сказал:

— Крошка, вы были так обворожительны сегодня…

И громко поцеловал свою руку, потому что веночка сидела за столиком и быстро писала на тонкой бумаге явки и пароли с отзывами.

А Янош, усевшись возле нее, быстро читал то, что она писала, сам же при этом нет-нет да томно вздыхал и декламировал строки Верлена.

Прочитав то, что написала веночка, он сжег бумагу, она взяла новый лист и написала: «Будапешт просит оружия. Особенно нужны карабины».

Янош кивнул, и сжег бумажку, и написал на третьем листочке: «Любовь моя, какое это счастье видеть тебя!»

Веночка поцеловала его и написала чуть ниже: «Любимый мой! Какое это счастье видеть тебя».

А Янош, продекламировав Верлена, написал: «Поссорься со мной» — бумажку сжег и показал ей глазами на отдушину в стене.

А веночка тихо, беззвучно заплакала, долго

смотрела на него своими прекрасными голубыми глазами, а потом сказала:

— Герр Шульц, вы забываетесь!

— Мадам, — ответил Янош, — но мне казалось, что я… в некоторой степени был ангажирован…

— Мне совестно за вас, герр Шульц! Уходите, уходите отсюда!

А сама его за руки держит и не пускает…

Арестовали Яноша и Савостьянова глубокой ночью, когда они спали, и бросили их раздетыми в камеру, где томились давешние венгерские революционеры, которых проводили по дороге во время фазаньей охоты. А в луже крови, возле самой двери, лежал Вожак. Янош подошел к нему, спросил:

— Может быть, вас перенести на тюфяк? Здесь вам слишком холодно, дует…

Вожак долго рассматривал лицо Яноша, а после яростно плюнул ему в глаза и сказал:

— Я тебя помню. Ты на охоте с ними был! Провокатор, сволочь!

А Янош, вместо того чтобы обидеться, наоборот, просветлел лицом, вытер лицо и отполз к Ивану.

— Ванечка, — сказал он, — давай подумаем, как тебе выцарапаться из этой катавасии. Боюсь, что на этот раз я влип серьезно. Надо тебя

вывести за сопки. Давай продумаем, что ты им можешь сказать про меня и про моих товарищей в Москве — в аккуратных дозах, возможно, с элементом дезинформации, но, разумеется, так, чтобы тебе поверили.

— Да ладно тебе, — поморщился Иван, — о себе подумай.

— Я о себе подумал достаточно давно.

— Ну а я — недавно.

— Подумай. Ты же умный, передовым методом мышления пользуешься…

— Я только сейчас заметил, что мы перешли на «ты». — Иван вдруг усмехнулся, но лицо его сморщилось от боли: губа-то разбита. Он покачал головой — А Петька-то, Петя Ястребов… Эк нас всех дурачил…

— Ваня, спасибо тебе за все.

— Эй… Кому еще больше спасибо — неизвестно… Не скрою, меня тут все время один вопрос мучил: а много вас таких?

— Каких?

— Ну, как ты…

— Я — рядовой боец в шеренге товарищей по классу… — ответил Янош и спросил: — Ну что же ты мне не говоришь: «Начал свою арию»?

— Обижусь…

— Прости.

— Слушай, — сказал Иван, — а я вдруг в тебе вчера усомнился, когда ты с веночкой — ля-ля… Тоже мне — идейный борец.

— По-твоему, у идейных борцов отсутствует сердце?

— Да нет, я думал, что для вас главное марксизм, а все остальное бим-бом…

Янош засмеялся и ответил:

— Когда Маркс влюбился в свою будущую жену, он выпил от счастья слишком много вина, и его за это посадили в карцер. Наверное, в будущем разные люди по-разному будут трактовать марксизм. Я хочу тебе сказать мою трактовку: это любовь к человеку, требовательная и яростная… И нежная…

Отворилась дверь камеры и вошли офицеры и сказали:

— Ну, комиссар, пошли расстреливаться. Подъем всем! А ну, живо!

Стоят Янош и Вожак раздетые, как и все остальные арестованные, возле высокой каменной стены под нацеленными дулами винтовок комендантского взвода, а поодаль, у противоположной стены, собрались все гости графа Матиаса.

Смеются гости, а среди гостей веночка ма-

дам Рекамье с каменным, холодным лицом, намазанным румянами, чтобы не была видна смертельная бледность ее.

— Я честно прожил жизнь! — кричал Янош. — Скажи это товарищам!

Он только мгновение на жену взглянул, а она закачалась, ее под руки поддерживают и говорят:

— Сейчас, сейчас, милочка, сейчас… Они очень интересно умирают, мне так нравится наблюдать агонию…

— Да здравствует большевизм! Да здравствует Ленин! Да здравствует Советская Венгрия!

Граф Матиас спросил Ивана:

— Хотите идти домой? Вот пистолет, пристрелите их! А?

И вытаскивает пистолет из кобуры и поигрывает им, внимательно разглядывая лицо Ивана.

И тут нечто непонятное случилось: Вожак рысью прыгнул на генерала Ферже, который не спеша прогуливался вдоль строя арестованных, выхватил у него пистолет, руку завернул за спину. Иван в тот же момент подобное сотворил с графом Матиасом.

— Не двигаться, — крикнул Вожак солдатам и обернулся к Ивану — К самолету! Спину мою

прикрой!

И, поставив посредине Яноша, прикрываясь от возможных выстрелов генералом и графом, они начали отступать к самолету, стоявшему на лужайке.

Иван прыгнул в кабину, Янош и Вожак залезли во вторую, все еще прикрываясь генералом и Матиасом, и Вожак приказал:

— Залейте бензин, тогда мы отпустим генерала!

И солдаты притащили бочку и заправили самолет, и все это время была гулкая напряженная тишина, а как только Иван запустил мотор, Вожак из пистолетика француза угрохал и Матиаса тоже, и самолет взмыл в небо.

А холодно им, раздетым, в небе. Посинели все, а Янош особенно.

Сели в горах, в развалинах старинного замка, — обогреться…

Спрятались от ветра за крепостной стеной, что шла по-над пропастью.

— Иди за теплым бельем для товарища, — сказал Вожак, — а то мы его никуда не довезем.

— Не надо, — хрипит Янош, — оставьте меня здесь. Самолет очень нужен в Будапеште. Товарищи ждут самолет. Надо перевозить архивы,

раненых, надо помогать борьбе…

— Выполняйте приказ, — сказал Вожак Ивану, — по-моему, я сказал вам достаточно ясно, что надо сделать для спасения жизни нашего Яноша.

И пошел Иван по дорожке вниз, под кручу, в деревеньку, что разбросалась по берегу Дуная, напротив Вышеграда.

А Янош остался вдвоем с умным и дальновидным провокатором.

— Значит, так, — хрипит Янош, — я передам вам все явки. Теперь о паролях. Второй и третий пароль могут быть опротестованы, но вы тогда будете обязаны процитировать начало третьей главы «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Энгельса.

— Всякое государственное образование, — начал цитировать по памяти Вожак, — предполагает насилие.

— Да. После этого поступите в распоряжение ЦК. Передайте товарищам Самуэли и Куну, что запасный центр в Вене готов к организации типографии и запасных конспиративных явок. Передайте моей жене, — совсем тихо сказал Янош, — что женщина всегда остается, если ты только хочешь этого…

— Что это?

— Она поймет. Это стихи. Госпожа Рекамье — для всех, товарищ Ютка — для меня… Вена, площадь Свободы, 7. Передайте ей мою любовь…

— Что еще?

— По-моему, я передал вам все ключи. — Янош закрыл глаза, зябко съежился. — Мне очень понравилось, что вы посчитали меня провокатором в камере. Я сразу проникся к вам доверием.

— Правильно сделали, — сказал Вожак. — Потому что опошлили героическую профессию провокатора… Стали вербовать пропойц и бездарей. Забыли Лойолу и Яго… Я — помню…

— Что? — прошептал Янош, потому что Вожак сейчас говорил иным голосом, и глаза его были иными, и во всем его облике появилось нечто от хищника.

— Помните организацию Дьюлы в седьмом районе? Кто был ее секретарем? А подполье Фехерсехервароша? Кто его организовал? Где оно? Его нет. А где я? Вот он я — перед вами. Горько… Я могу хвастаться своим умом только перед трупом. — И Вожак сильно ударил ногой Яноша, и тот, лежавший на камнях на развалине крепостной стены, полетел в пропасть.

Не будем вдаваться в рассмотрение сложного вопроса о том, есть ли Бог. Это увлечет нас в

сложные дебри. И потом, если Бог все же есть, то отчего Он с такой доброй настойчивостью помогает большевику-безбожнику? Хотя, быть может, Бог помогает добрым и смелым вне зависимости от их партийной принадлежности?

Вряд ли.

Не думаю.

Случайность и случайность!

Янош не разбился. За сук он зацепился кальсонами. Худенький, поэтому ткань не порвалась, удержала его.

А Иван, что поднимался с охапкой теплого белья, увидел это. Белье бросил — и рысью наверх. Поднялся на площадку, где оставил Яноша и Вожака, крадется, как хищник, в стены вжимается. Весь напружинился Иван, усы ощерились, ноздря трясется — на сообразительность быстр полковник — лучший пилот России, что тут ни говори! А тихо кругом, даже ветер стих. Камушек откуда-то сверху покатился. Замер Иван. Снова дальше крадется, выглядывает из-за стены — никого. Снова камушек сверху покатился. Медленно Иван обернулся: а Вожак над ним наверху стоит и целит ему в голову из двух маузеров.

— Руки, — сказал он. — Руки в гору!

И начал медленно отжимать его к обрыву, туда,

куда только что сбросил Яноша. Медленно отжимает, шаг за шагом отжимает — предпоследний шаг, последний — нога над обрывом нависла, зашатался Иван, а Вожак засмеялся и еще больше давит на Ивана, и тогда Иван сказал:

— Ну?

— Вот это иной разговор.

— Что я должен сделать?

Летит самолет. Вожак уперся дулами маузеров в затылок Ивана.

— Мне это мешает, — говорит Иван.

— Зато мне не мешает.

— Можете выстрелить ненароком.

— Я ненароком не стреляю. Я стреляю только нароком, — усмехнулся Вожак.

Вдруг самолет начало болтать.

— В чем дело?! — спросил Вожак и взвел курки.

— Вы правой ногой зацепили трос.

Вожак нагнул голову — посмотреть на правую ногу, а Иван это в зеркальце засек — и в ту же секунду заложил бочку, и полетел Вожак из кабины на грешную землю, зашелся в странном визге, глаза повылазили из орбит от ужаса…

А Иван в небо возносится, загоревший, во-

круг всё в снегу, в кабине подвесной дороги в Оберзальцберге. Поднялся наверх, горные лыжи приладил и пустился вниз — слаломом пошел, снежную бурю за собой поднимает — красотища и только. Спустился вниз, рыженькую красотку потрепал по щеке, лыжи отдал подбежавшему мальчику, накинул джемпер и пошел по маленькому заснеженному городку, зашел к ювелиру и сказал с порога по-русски:

— Ну, эксплуататорская твоя харя, готовь деньгу, — а по-французски, весьма учтиво: — месье, я хочу вам предложить бесценную брошь моей бабушки.

И — золотую цепочку с камушком — талисман Лизанькин положил на прилавок.

Ювелир — лупу в глаз, рассмотрел и сказал:

— Да, эта вещь отменно хороша.

Отсчитал несколько крупных банкнот Ивану, который не глядя сунул их в задний карман брюк, пробормотав:

— А говорила «цены нет»… Всему, всему в этом мире есть цена…

Неподалеку от касс фуникулера, через три домика от ювелира, в глубине двора стоял маленький магазин русского эмигранта Александрова. Строго говоря, и не магазин, а некое бюро услуг для

охотников, которые спускались вниз, в долину, за косулями или кабанами, а кто побогаче — наоборот, уходили вверх, за благородным оленем. Правда, если вы хотели купить ружье, с которым охотились, Александров охотно продавал его, потому что наладил связи с Веной и Цюрихом, и тамошние оружейные жуки делали для него из обычных «зауэров» штучные «перда» и «мацка». Этим-то, собственно, Александров и жил.

Встретил он Ивана Ильича с нежностью, повел к себе в мансарду и, достав из шкафчика бутылку со спиртом, сказал:

— Давайте по-нашему, по-русски, а? Я прямо не могу в их этих самых «быстро-экспрессом» сидеть.

Савостьянов улыбнулся и повторил:

— «Бистро» и «эспрессо» вы объединили в «быстро-экспрессом». Смешно.

— Это вам смешно, мне — горько, — сказал Александров. — За границей бывает русскому только тогда смешно, если он деньжищ привез либо если вконец сукин сын.

— Вам бы жениться, — сказал Иван Ильич, закусывая спирт тонким ломтиком лимона, — не так бы тоскливо было… А то — вон вы каким бобылем маетесь.

— Я изгой. Тут во всем смысл ищут и резон. Вы поглядите, как они компанией в ресторации сидят, поглядите… Каждый потом за себя по счету платит. А у нас, бывало, господи, последняя рубашка заложена, а уж если пригласи кого на кураж в кабак — сам и уплатишь, да еще захмелевших по домам развезёшь…

— Вообще-то смысл и резон — не так уж плохо, а? Что моя левая нога хочет, гуляй — не хочу — тоже не сахар.

— Может быть, — устало согласился Александров, — только мне от этого смысла и резону — хоть на стенку лезь. Завел я тут себе любовницу, из последних своих крох платил, баретки, платьишко, туда-сюда. Так ведь не любовь была, а сплошной здравый смысл: только по вторникам и субботам, говорит, так написано в медицинской книжке.

— Ну так ты б ее усами за ушком-то пощекотал бы, а-а-а, ля-ля, она бы и сдалась.

— Милый, — тоскливо сказал Александров, — я ли её не щекотал? Так она мне знаешь что? Она мне говорит — обрати внимание, какая резонная, осмысленная дальновидность — «мой, говорит, будущий муж, если я начну с вами чрезмерно амурничать, будет со мной уставать, а это будет

ему мешать в его работе и мы с ним не сможем купить себе хороший домик на тех участках, которые будут продаваться в Нихаузене следующей зимой». Как все резонно и с каким смыслом, а?!

Иван Ильич посмотрел в окно: солнце катилось по снегу. Где-то неподалеку звучала музыка. Красивые длинноногие женщины выхаживали, как кобылицы, — нарядные и доступные.

— А в России скоро чернотроп, — сказал вдруг Иван, — зайцев начнут гонять.

— Егеря трубят, собаки паратые смычком идут, — мечтательно заговорил Александров, — песня в лесу стоит, песня.

Внизу дренькнул колокольчик — значит, кто-то вошел в дверь. Александров моментально вскочил с кресла, виновато и жалобно посмотрел при этом на Ивана Ильича, снова сел в кресло и, закинув нога на ногу, сказал:

— Пусть подождут, больше уважать будут…

И заиграв пальцами левой руки по спинке кресла какую-то музыкальную фразу, правой налил себе и Савостьянову по рюмашечке спирта.

Но внизу в это время снова дренькнуло, и Александров ринулся вниз.

— Клиент уйдет, — пояснил он, не глядя на Ивана Ильича, — репутация пострадает.

Савостьянов посмотрел вниз — в открытую дверь была видна лестница и часть магазинчика. Поначалу Иван видел только ноги клиента, обутые в толстые горные ботинки и в шерстяные гольфы. Потом ноги сделали шаг вперед, и Савостьянов увидел клиента целиком: маленького сухого старикашку со вздорным, как у императора Павла, носом.

— Нет, — говорил он, — я вынужден отказаться от ваших услуг, потому что вы пьяны накануне охоты. Наш клуб это запрещает. Вы не имеете права пить семьдесят пять часов перед охотой.

— Да господи! — суетился Александров. — Да разве я пьян? Чуток, самую малость, аперитивчик…

— Аперитив пьют в ресторане перед обедом, а от вас несет спиртом! Я буду вынужден сообщить о вашем проступке коллегам по клубу.

— Голубчик, — тихо взмолился Александров, — не надо, голубчик! Я своего фронтового русского друга встретил… только потому и позволил…

— С фронтовыми друзьями следует встречаться вечером, после работы. Для встреч с друзьями существуют пивные залы. А вы, словно заговорщики, прячетесь от людей на чердаке.

Иван Ильич медведем спустился вниз:

— А ну, вон отсюда! Старая перечница!

— Что?! Это что за российское хамство?!

Александров стал метаться от Ивана Ильича к старикашке, умоляюще повторяя:

— Герр Тротт, герр Тротт, простите, простите моего… простите этого… Уходите отсюда! — вдруг закричал он на Савостьянова. — Уходите вы! Герр Тротт мой постоянный уважаемый клиент! Уходите!

Но ушел герр Тротт.

В состоянии подпития человек быстро забывает горести и наполняется духом умильного всепрощения и самотерзающейся ретроспективности — особенно если речь идет о мелкопоместном дворянине, ротмистре кавалергардов Александрове.

— А я всегда зайцев двадцаткой лупил, — жарко говорил он, — отпущу чуть, хэть — промеж ушей, он и пошел кульбиты вертеть через себя. А здесь-то, здесь… Не охота — убиение тварей! У нас его топчешь, бывало, топчешь, пока-то выгонишь. А тут ведь как: нужен кабан — иди в 56-й квадрат — там они. Косуля — пойди в 12-й. Тьфу! Тьфу, да и только!

— А чего? — удивился Иван. — Мне это как раз и нравится. Порядок.

— Это со стороны нравится. А ты поживи в этих квадратах: сам себя кабаном почувствуешь. Ей-ей, были б деньги на дорогу — плюнул бы на все, купил билет до границы, а там на коленях бы пополз: к красным, белым — один черт. Простите б, сказал, люди русские, хохлы, и вы, жиды, простите — только дайте на родине жить… Денег бы, хоть капельку денег…

Иван вытащил из заднего кармана ворох ассигнаций и спросил:

— Этого хватит?

Александров откинулся на спинку кресла:

— А ты не оборотень какой?

— Я не оборотень, — ответил Иван. — Сколько у тебя здесь карабинов? Чтоб просто так деньгами не сорить. Я не Христос — мне оружие нужно.

— Штучные нужны? Мацка? Тихий? Холланд-Холланд?

— Фабричные нужны. И много.

Вдоль скалы, на просторной террасе, в шезлонгах сидели пациенты санатория, укутанные пледами, и, подставив бело-голубому горному солнцу свои лица, то ли спали, то ли притворялись спящими, но каждого проходящего человека провожали пристальными взглядами из-под опущенных тяжелых век.

Иван Ильич прогрохотал в своих горных ботинках по коридору, остановился возле двери главного врача, постучал легонько костяшками пальцев и, услыхав гулкий приглашающий голос, в дверь вошел.

Главный врач хмуро поглядел на него и сказал:

— Я не убежден, что он выкарабкается. Операция стоила тысячу двести марок.

Иван Ильич протянул ему деньги, доктор, не глядя, сунул их в карман халата и так же хмуро продолжал:

— Он требует выписать его незамедлительно. Вы были правы, придумав операцию. Это шанс, хотя и единственный против девяноста девяти. Коли он останется здесь, навсегда здесь, можно что-то обещать. В противном случае он обречен.

Иван сидел на белом стульчике у кровати Яноша. Тот — сиреневого цвета, весь пергаментный, быстро просматривал газеты. Он задержался на заголовке «Будапешт ждет оружия», отложил газету и сказал:

— Есть только один способ угробить меня: это оставить здесь.

— Наоборот.

— Я же знаю!

— Ничего ты не знаешь! Врач сказал, что…

— Мне говорили это же десять лет назад. Человек — хозяин своего организма. Ты хочешь мне добра и поэтому похоронишь здесь.

Иван отошел к окну, взял там зеркало, принес его и сказал:

— На, посмотри на себя! Ну?! Куда я тебя повезу?!

— А ты меня никуда не должен везти. Отсюда я доберусь сам. Эта граница спокойная, из Австрии доберусь сам.

— Ты — фанатик!

— Фанатики — слепы. Я — зрячий. Пошли телеграмму: Вена, площадь Свободы, 7. Текст такой: «Приезжай в Оберзальцберг немедленно. Я». Напиши номер поезда, с которого надо приехать, и встреть на вокзале женщину. Ты ее знаешь, это моя жена.

— Какая жена?

— Мадам Рекамье.

Иван аж присвистнул:

— Слушай, а может быть, ты — Вечный жид, а?

Янош покачал головой:

— Увы. Я больной венгр.

Веночка, мадам Рекамье, Ютка Перцель — слева, Иван — справа, а Янош посредине — сидели

на застекленной террасе, а где-то рядом играла музыка, а чуть ниже носились с гор лыжники. Иван с Юткой в купальных костюмах, а Янош — закутанный, только нос торчит, но любовь, любовь! — лучшее лекарство больным! Что сталось с Яношем за эти дни?! Он уже не сиреневый и не пергаментный, он уже прежний — маленький, худой, но ужасно воинственный и веселый.

А Иван — хмурый. Спорит с Юткой, стараясь не смотреть на нее:

— Оружие — оружием, а здоровье?

— Иван Ильич, — ответила Ютка, — художник, лишенный кисти, может сойти с ума, писатель, оторванный от творчества, может застрелиться, революционер, отторгнутый от борьбы, — перестает быть самим собой и обречен на умирание.

— Вы по профессии революционерка или как там вас — не знаю, а мне здешний врач сказал…

Янош и Ютка переглянулись.

— Ваня, — сказал Янош, — дело заключается в том, что мы познакомились с Юткой неподалеку отсюда, в клинике, где она как раз была моим лечащим врачом.

— Ну вас к черту, — сказал Иван, — европейцы проклятые! Одна в вас логика, а сердца — ни-ни!

А ночью, когда Янош потребовал, чтобы его от-

вели в бар, где выступали французские шансонье с программой песен парижских окраин, Иван заметил, что венгр и Ютка как-то напряжены и словно бы чего ждут. Он не ошибся. Когда в бар вошел седой старик с молоденькой красавицей, несколько, правда, вульгарной, Янош откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Старик увидел Яноша и пошел прямо к нему.

— Я думал, ты уже сдох, — сказал он весело.

— А я думал — ты сдох, — ответил Янош.

— Но ты ведь послал мне телеграмму, значит, ты знал, что я не сдох.

— Но ведь ты приехал, значит, тоже знал, что я жив, — ответил Янош. — Я рад видеть тебя в такой хорошей форме.

— Эта сучка нам не помешает, — сказал отец Яноша, кивнув на свою спутницу и пошлепав ее по щеке, — она дура. Здравствуй, Ютка.

— Добрый вечер.

— Знакомься, Иван, — сказал Янош.

— Савостьянов.

— Кираи, — назвал себя старик. — Тебя приговорили к смертной казни сразу в двух местах: в Париже и на освобожденной территории Венгрии.

— На захваченной территории Венгрии, — по-

правил его Янош. — Я читал. Потому и попросил тебя приехать.

— Сделать уже ничего нельзя.

— Сделать всегда все можно. Если есть деньги.

— Это что-то новое в наших взаимоотношениях.

— Ничего нового. Если меня схватят здесь, или там, или на так называемых освобожденных территориях, я дам показания, кто я на самом деле.

— Это подло.

— Возможно. Мне нужны деньги. Получив деньги, я сразу же вернусь в Будапешт.

— Там у вас все идет к концу, слава богу. Там тебя или угрохают, или схватят.

— Там я для всех буду комиссаром Перцелем.

— Ну а если я денег не дам?

— Тогда я сделаю заявление для печати.

— Это шантаж.

— Это переговоры, — сказал Янош и попросил жену: — Ютка, потанцуй с Ваней.

Ютка танцевала с Иваном так, чтобы все время видеть Яноша и старика.

— Зачем вам деньги? — спросил Иван. — Я же оплатил лечение.

— Нам нужны не деньги, — ответила Ютка, — нам нужно оружие.

— Но я скажу, что ты самозванец, — сказал господин Кираи. — Я откажусь признать тебя сыном.

— Есть суд.

— Суд уже решил вздернуть тебя.

— Твои конкуренты будут заинтересованы в гласности моего признания.

— Это удар ниже пояса.

— Может быть.

— Неужели в тебе нет ничего святого? Неужели ты совсем забыл, что я отец тебе?

— Только без сентиментальностей, папа. Когда товарищи просили у тебя десять тысяч, чтобы выкупить меня при первом аресте, ты выдал их полиции. А с ними — окончательно — и меня. Нет?

— Сколько тебе нужно денег?

— Сто тысяч.

— А если нет?

— Разговор приобретает затяжной характер. До свидания, папа.

— Погоди. Я согласен.

Янош поднял над головой руку, и Ютка сразу же подошла к столику.

— Чек, — сказал Янош, — нам нужен здесь же.

Старик выписал чек, Янош отдал его Ютке, она

подозвала официанта и попросила:

— Вызовите мне такси.

Старик поднялся и сказал:

— Скорее бы ты сдох.

— Желаю тебе здоровья, — ответил Янош, — я все-таки помню, кто есть кто.

— Пойди потанцуй, — сказал старик своей красивой спутнице.

— Я вроде вешалки, — сказал Иван и пошел танцевать с девицей.

Подбежал официант:

— Мадам, такси у подъезда.

Ютка сказала:

— Из Вены я сразу выезжаю к тебе, Янчо.

Она хотела поцеловать мужа, но он сказал:

— Нельзя, малыш.

Она пожала его руку и, кивнув старику, ушла.

Старик поглядел ей вслед и сказал:

— В тебе появилась хорошая хватка. Жаль, если это не найдет применения в жизни.

— Мы не на заседании акционеров. Выражайся конкретно, папа.

— Вернись домой, — очень тихо сказал старик, — я уеду с тобой в Америку, в Испанию, куда захочешь… Янчо… Я хочу называть тебя Янчо… Я так называл тебя восемнадцать лет, и это были

мои самые лучшие годы, Янчо…

Янош молча покачал головой.

— Все дети отличаются в зрелости жестокостью, — тихо сказал отец, — они-то не помнят, как их носили на руках. Это помним мы, отцы…

В баре было пусто, и только певица продолжала петь, и только Иван и Янош сидели вдвоем в рассветных осторожных сумерках.

— Не лети в Париж, Ваня, — сказал Янош, — там тебя не оставят в покое. Я советую тебе Швейцарию, что ли…

— Да?

— Или на крайний случай оставайся здесь.

— Ты думаешь?

— Смотри, как прекрасен здесь рассвет. А когда придет солнце, снег станет розовым, а небо будет пустым и бесцветным, а после станет желтым, а потом красным, а после голубым. Весной здесь растут эдельвейсы. И во всем здесь слышна музыка…

— Ты любишь эти места?

— Я вижу их во сне. Ты заказал мне билет до Будапешта?

— Слушай, Янош…

— Слушаю, Ваня…

— Ты дурак, Янош…

— Может быть, Ваня.

— Только дураки самые умные люди на свете.

— Да?

— Да. Пойдем, снег уже стал розовым. Сейчас взойдет солнце.

— Пойдем. Только вот что я скажу: если на земле перестанут жить такие революционеры, как ты, кому тогда нужны революции?

Иван помахал рукой Александрову, который, зябко кутаясь в длинный шарф, стоял поодаль, и, крикнув для порядка «от винта», включил аккумулятор. Аккумулятор тягуче завыл, но винт пропеллера оставался недвижным. Иван Ильич выключил аккумулятор, посидел минуту с замершим затылком, потом снова нажал на кнопку, но аккумулятор теперь уже даже не выл — он тягуче подвывал, а после и вовсе заглох.

Иван Ильич обернулся и сказал:

— Плохо, Янош, дело. Аккумулятор сел.

Подбежал Александров, глаза его светились радостью:

— Господи, Ваня, счастье-то какое, остаешься, да? Остаешься?!

На громадной горе трамплина стоит самолет. Несколько человек подталкивают его к крутому

обрыву: далеко внизу море черных точек — это собрались люди, наблюдать это невиданное зрелище.

— Христом Богом молю, — оборачивается Иван к Яношу, — вылезь ты! Заведется — прилечу обратно, сяду, заберу тебя! Хочешь, крест поцелую?

— Споры бессмысленны, — ответил Янош.

— Тьфу ты, ей-ей! — плюнул себе под ноги Иван и закричал: — А ну, давай!

И понесся вниз самолет.

Воет аккумулятор, воет, а мотор не заводится, пропеллер не крутится.

Матерится Иван Ильич.

Побелел лицом Янош.

Несется со страшной скоростью по отвесному трамплину самолет.

Замерли люди внизу — сейчас самолет обрушится в пропасть, разобьется в куски.

Фрух! Фрух! Фрух!

Крутанулся пропеллер.

Обрушился самолет в пропасть.

Бросились врассыпную зрители, собравшиеся внизу.

Взревел мотор.

Оторвал Иван Ильич пальцы от кнопки аккумулятора. Глаза закрыл. Принял штурвал «на

себя». Ушел самолет в небо. В синее, альпийское, тихое, безвоенное, лыжно-спортивное небо, ушел самолет и взял курс на осажденный Будапешт.

По ночному Будапешту, в тишине, которая разрывалась длинными красно-белыми пунктирами трассирующих пуль, шли Иван и Янош. И когда в серых сумерках чугунно заплескался Дунай, от стены дома отделились четверо патрульных-белогвардейцев.

— Документы…

Иван растерянно поглядел на Яноша. Тот неторопливо снял башмак, оторвал каблук и протянул патрульным документ, в котором было сказано, что предъявитель оного — полковник Генерального штаба Иван Савостьянов — личный пилот государя-императора.

Патрульные взяли под козырек.

— А кто этот, господин полковник? — спросил офицер.

Иван Савостьянов вытянулся, щелкнул каблуками и ответил:

— Адъютант полковника, корнет Дайниченко!

— Осторожнее продвигайтесь, — сказал офицер, — здесь совсем рядом красные из отрядов Белы Куна и Самуэли.

— Благодарю, — сухо ответил Янош, — мы бу-

дем осторожны.

И растворились в ночи Иван и Янош.

Ушли, будто их и не было вовсе.

Только они были…

Будапешт, сентябрь 1967

Господин большевик
Глава первая

Я совершал побег уже раз сто. Я перебегал к вагонеткам, бросался плашмя на уголь, полз вплотную к откаточным рельсам, ждал, когда резанет белым, окаянным светом прожектор, потом забирался в вагонетку и начинал засыпать себя углем. Я совершал побег раз сто — в мыслях. А в тот раз мне предстояло совершить его наяву. За пазухой я спрятал кусок фанеры, чтоб было чем забросать себя углем. Какое счастье, что здесь нет собак. Я их ненавижу почти как фашистов. Только они глупее. Если посидишь подольше в лагере, то можно научиться здорово обманывать их.

— Строиться! — кричат конвойные. — Быстро!

Довольно трудно строиться быстро после десяти часов работы в шахте, поэтому охрана орет зло и монотонно. Вообще немцы орут монотонно — у них даже в этом какой-то свой, особый, немецкий распорядок.

— Вперед! Бегом! Живей!

Грохочут деревянные колодки. Задыхаются люди. Смеясь, переговариваются охранники. Я бегу

и смотрю на них. Их двое. Колонна бежит, а они неторопливо идут справа от нас — по узенькой асфальтовой дорожке, сделанной специально для них. Охране не надо бежать — колонна длинная, они видят нас сбоку, справа. А слева — вплотную — проволока с пропущенным током и вышка с пулеметами. Так что охрана отвечает только за правую сторону — за уголь и вагонетки. Еще правее, следом за тремя большими кучами угля, тоже проволока с током и вышки с пулеметами. Для меня сейчас единственный выход — вагонетка с углем, потом стометровый путь по откаточным рельсам через проволоку и охрану — к железнодорожному бункеру, в который меня вышвырнут, перевернув вагонетку метрах в трех над бункером.

Но сейчас я не думаю о тех трех метрах, которые мне предстоит пролететь вместе с глыбами угля. Сейчас я бегу и смотрю на немцев. Обычно они останавливаются и, повернувшись друг к другу лицом, прикуривают сигарету. Мне нужен именно такой момент. Они чиркают спичкой или зажигалкой — и на какую-то долю минуты перестают видеть. Так бывает, если сначала посмотреть на горящую лампу, а потом на вечерний лес. Тогда лес покажется сплошной черной

стеной. И люди — тоже. Я специально зажигал спичку, а потом смотрел по сторонам — и ничего не видел.

Только звенящую, черно-зеленую темноту. Я высчитывал, сколько времени продолжается эта черно-зеленая темнота, и получалось почти достаточно, чтобы добежать до ближайшей угольной кучи, броситься рядом с ней, замереть и ждать, пока пройдет колонна с охранниками, а потом снова ждать белого луча прожектора, который с немецкой пунктуальностью начинает шарить по этому кусочку лагеря особенно тщательно после того, как пройдет колонна.

Остановились! Я вижу, как они наклоняются друг к другу. Вспыхивает огонек спички. Он колеблется на ветру. Я рывком выбрасываюсь направо, делаю десять прыжков. На четвертом прыжке у меня сваливается с ноги колодка.

— Живей! Живей! — орут немцы.

Значит, они ничего еще толком не видят и поэтому кричат особенно зло. Сейчас у них пройдут зелено-черные круги перед глазами и они смогут видеть все вокруг, а значит, и меня они смогут увидеть. А мне еще надо сделать восемь шагов. Ведь я бегал здесь сто раз — я же знаю. Я высчитал. Я делаю восемь шагов и вижу, что мне еще

осталось сделать столько же.

Все. Это конец. Я ошибся с расстоянием, но я не мог ошибиться с огоньком спички. Сейчас у них прошли эти черные круги, и они обязательно оглянутся по сторонам. А оглянувшись, увидят меня.

— Э! — кричит кто-то в колонне. — Эй, ребята, колодка слетела! Стойте!

— Живей! — орут немцы. — Свиньи! Живей!

Они выучили эти русские слова специально для нас, военнопленных.

— Колодку потерял! — кричит кто-то.

Я слышу, как у меня за спиной начинается свалка. Это меня выручают ребята. Только б охрана не стала стрелять в них! Нет. Просто орут. Это ничего, они всегда орут.

Я падаю и вжимаюсь в землю. Крики моментально прекращаются, охрана тоже успокоилась. Только колодки гремят. А потом становится тихо-тихо, как в лесу.

Через пять минут прожектор переползает на мой участок. Я вижу, как он шарит по дороге, потом медленно перебирается почти вплотную ко мне, быстро скользит по угольным кучам, снова возвращается на дорогу и осторожно, словно слепой, ощупывает каждый метр. Как в кино,

детально, в свете прожектора — моя колодка. Я холодею. «Все. Увидали, собаки. Сейчас пойдет облава», — думаю я. Луч прожектора лежит на моей колодке чуть дольше, чем следовало бы. Я прищуриваюсь — и моя колодка кажется мне куском угля.

«Может быть, им тоже так кажется? Ведь они дальше».

Прожектор уходит, а потом резким рывком возвращается назад. И снова в луче — моя колодка. Луч прожектора становится нестерпимо ярким, голубым даже, а не белым, а потом постепенно исчезает. Становится темно и гулко. Я поднимаюсь, в момент оказываюсь на том месте, где только что лежал круг голубого света, хватаю колодку и бегу к углю. Подбегаю к вагонеткам, переваливаюсь в одну из них и начинаю орудовать куском фанеры. Через минуту я спрятан под углем. Все. Теперь надо ждать, когда вторая смена станет давать уголь и вагонетки пойдут к бункерам.

«Зачем я схватил колодку? Ведь это глупость. А что если они включат прожектор как раз в этом месте? И что если они запомнили, что там лежала колодка? Или кусок угля — какая разница? Тогда они поднимут тревогу и начнется сначала перекличка, а потом облава. Хотя нет. Я думаю

сейчас как заключенный, которому нельзя ходить даже по территории лагеря. Охранники не думают так, как я. Ведь по нашей дороге могли пройти вольнонаемные немцы. Нет, — успокаиваю я себя, — просто я думаю, как заключенный. Всегда надо думать свободно — как и надлежит человеку».

…Люди говорят: «Фу, какая проклятая жара!» Неужели я тоже так говорил? Не может быть! Я никогда не говорил так. А если и говорил, то никогда больше не скажу. Я всегда буду говорить: «Какая благословенная, прекрасная жара!»

Я думаю так потому, что моросит дождь. Это даже не дождь, а скорее мокрый снег. Ноябрь. Пора бы и снегу быть. А я лежу босой. В робе, которая от пота, от голодного пота, стала жестяной. Не надо думать о холоде. Но и о жаре тоже не надо думать. У нас было запрещено говорить и думать о еде. Мне тоже надо запретить себе думать о жаре. Но и о холоде тоже надо постараться не думать.

«Постараться не думать» — слабо. «Надо не думать» — так вернее.

У нас работал электромонтер-чех. Он получил семь лет за дочь. Его дочери восемь лет. Любопытное сочетание возраста дочери и срока, полученного за нее чехом. Их город разбомбили

союзники. Во время бомбежки погибло много людей, потому что оборудованные бомбоубежища были только в немецкой колонии. Никто из немцев не пострадал.

И дочка нашего чеха предложила:

— Надо забрать у немцев бомбоубежища и засыпать их землей, тогда сразу же мир заключат, потому что немцам тоже будет страшно без бомбоубежищ…

Чех рассказал про это дочкино предложение в очереди за свеклой. На него донесли. Он потом понял, что на него донес маленький человечек из соседнего дома, который ходил тихо и неслышно, всем улыбался и норовил помочь каждому. Он, как оказалось, не брал денег в гестапо. Он доносил со страху.

Чех, видимо, догадывался, что я иду в побег. Он отдал мне свои перчатки. Поэтому рукам довольно тепло. Руки в побеге очень важны. Если пальцы застынут — тогда совсем плохо. Пока-то их согреешь! А ведь пальцы могут понадобиться в любой момент, и они у меня в любой момент готовы. Пальцы — мое оружие. Я храню его в тепле. Спасибо чеху!

Мокрый уголь теплее, чем сухой. Я это чувствую сейчас и очень боюсь, как бы не прихватило

морозцем. Тогда куски угля, которыми я засыпал себя, станут сухими и очень холодными. Мне непонятно, отчего не идет уголь на-гора — ведь ночная смена заступила уже час тому назад. Если мы все работаем такими темпами, как вторая смена, тогда очень хорошо. Значит, у фашистов будет туго с углем, если они рассчитывают на наш труд. Это понятно — раб старается сохранить свою силу для борьбы за свободу. Только свободный человек может отдавать всего себя созиданию. Хорошо, что этого не понимают немцы, я очень рад этому.

Когда ты в напряжении, тогда видишь и слышишь то, чего ждешь, на мгновение раньше, чем на самом деле увидел или услышал. Я еще ничего не почувствовал — ни толчка, ни подергивания троса, я ничего не слышал — ни усиливающейся работы мотора, ни гудка регулировщика, но я уже твердо знал, что через секунду, самое большее — две, вагонетки тронутся и поползут к бункерам.

И они поползли к бункерам. Медленно, натруженно визжа, поскрипывая. Бельгиец-моторист, с которым я подружился, говорил, что вагонетка ползет до бункера минут десять. Я начинаю считать. Я стараюсь спокойно отсчитывать шестьдесят ударов, чтобы знать, когда пойдет десятая

минута. Та самая, когда надо будет лететь три метра — в бункер: съежиться как можно крепче и падать боком, подставляя под удар мякоть руки и ноги, но обязательно закрывая ребра, плечо и бедро. Ну и голову, конечно. У меня с детства сохранился ужасный страх за висок. Я помню, как у нас во дворе умерла девочка, потому что мать стукнула ее за баловство ложкой по виску. Не сильно стукнула, по-матерински, а девочка все равно умерла — легла поспать и не проснулась.

Все ближе и ближе слышу грохот. Это переворачиваются вагонетки, ссыпая уголь в бункер. Я слышу гудки паровоза, который маневрирует на запасных путях. Слышу, как другой паровоз где-то совсем рядом отфыркивается, — наверное, он стоит у водокачки. Иногда я слышу голоса немцев. Я на свободе, потому что немцы не орут и не ругаются. На свободе они совсем иные, они становятся зверями, как только входят за проволоку, к нам в лагеря.

Я слышу, как сталкиваются буферами вагоны и от этого по всей станции, где-то внизу подо мной, проходит длинный, веселый перезвон. В лагере я не слышал таких звуков. И гудок паровоза, и голоса людей, которые не орут и не ругаются, а просто говорят, и перезвон буферов — все эти

звуки являются для меня сейчас олицетворением свободы.

Никогда нельзя распускать себя: ни в радости, ни в горе. Чуть только размякнешь — сразу же жди неприятностей. Это точно. Я слышал звуки свободы все ближе и ближе, я радовался им, как слепой радуется прозрению, я жил ими, этими звуками свободы, и совсем забыл про то, что надо каждую секунду быть готовым к падению, и, когда вагонетка стала переворачиваться, я растерялся. Чем больше она переворачивалась, тем больше я видел. О, я очень многое увидел, пока вагонетка переворачивалась. Я увидел затемненный вокзал, аккуратные домики, несколько легковых машин, рельсы, в которых отражались звезды, водокачки и люди, которые ходили по путям — не в ногу, не колонной, не в затылок друг за другом, а так, как им хотелось или, вернее, как они сами считали нужным, и все это было как в детстве, словно в волшебной новогодней сказке, и у меня захватило дух от этой волшебной картины вокзала, не огороженного проволокой.

Лечу в бункер. Я стараюсь съежиться, повернуться боком, стать пружинистым и маленьким, но не успеваю этого сделать. В самый последний миг вижу голубые — от звезд — рельсы, а потом

чувствую удар в затылок и уже больше ничего не вижу и не слышу.

Чтобы ребенок заснул, его надо осторожно покачивать и шептать что-нибудь ласковое. Я это знаю по литературе и еще по кино, и очень этому верю. Наверное, потому, что у меня не осталось в памяти ничего о моей матери. Память — это если видишь. Я не видел матери, я только слышал про нее от отца. Но он обманывал, когда говорил, что мать умерла: кто же сейчас меня осторожно покачивает и тихо повторяет одно и то же — «спи-спи, спи-спи, спи-спи…»?

Взрослый, если только ему очень больно, хочет стать ребенком. Не для того, чтобы его пожалели, конечно. Просто ребенок верит людям больше, чем взрослый. И если ребенку говорят: «Все пройдет и будет хорошо», он верит, что все именно так и будет. Вот поэтому иногда хочется стать ребенком, чтобы поверить — все будет хорошо сегодня вечером». Или завтра утром — я привык ждать и один день ничего не решает, вообще-то.

У меня есть мать — вот она укачивает меня и все время уговаривает, чтобы я уснул. Только она какая-то незаботливая. Уж если укачивает, так пусть укроет одеялом. До подбородка. А еще лучше — с головой. Я не задохнусь. От тепла еще

никто не задыхался. А от холода быстро просыпаются. Сейчас я проснусь. Я хочу проснуться, но ничего у меня из этого не получается. Говорят, некоторые собаки спят с открытыми глазами. Идиоты. Никто не спит с открытыми глазами, и вообще в мире нет никого с открытыми глазами. У всех глаза закрыты, даже когда их таращат. Люди — слепы, если могут знать про лагеря, в которых мы умираем. Хотя трус может быть зрячим. Только трус — не человек. Он — существо, которое поглощает пищу, чтобы через пять часов переработать ее, и все.

Я открываю глаза, стараюсь пошевельнуться — и ужас входит в меня: я не могу двинуть ни рукой ни ногой. Я весь стиснут глыбами угля. Я заживо закопан. Напрягаюсь, чувствую, что глыбы на моей спине шевелятся, извиваюсь, кричу — аж глаза лезут из орбит.

Трудно заставить себя замереть и подумать в такой ситуации. Мне это не сразу удается. А когда наконец я замираю, чтобы прийти в себя и осмыслить происшествие, начинаю понимать: укачивала меня не мать и приговаривала не она — просто бункер идет по рельсам, а я придавлен углем, и ничего страшного в этом нет, только не надо сходить с ума и тратить силы на бесполез-

ные движения. Надо постараться перевернуться на спину и откопать себя. Ничего нет страшного, я ведь не под землей, я в бункере, который везет меня к свободе.

Когда я вылез на поверхность, то был весь мокрый и потный. Я видел над собой небо, усыпанное звездами. Я долго сидел на глыбах угля, чтобы прийти в себя, успокоиться, отдышаться, а потом, отдышавшись, стал петь песни — сначала тихо, а потом все громче и громче.

Я никого не боялся теперь. Я пел во весь голос о самом дорогом: о «Катюше», о «Бронепоезде», о веселых соседях и о том, что «всё стало вокруг голубым и зеленым». Я сидел на груде угля и не чувствовал холода, потому что пел громко свои любимые песни, с которыми — никогда не страшно.

Уже рассвело, когда состав остановился. Я снова закопался в уголь и незаметно для себя уснул. Не знаю, сколько я спал. Только проснулся будто от толчка. Всего меня знобило. Я потрогал лоб. Пальцы у меня были холодные, и поэтому лоб показался горячим, как жаровня. Потом я увидел, что уголь вокруг — белый.

«Это жар, — решил я. — Плохо дело!»

После я понял, что это снег лег на уголь. Пуши-

стый, крупный, сплошные звездочки. Снежинки похожи на звезды Давида, которые фашисты прикрепляли к курткам евреев. Такие же шестиугольные. А может, мне просто казалось так. По ассоциации — на черном угле белые звездочки. Евреи черные, а звездочки Давида — белые. Так остались в памяти еврейские товарищи — черно-белые люди с огромными глазами, в которых застыла доброта и ненависть.

«Пожалуй, мне пора выбираться из этого бункера, — думаю я, — во-первых, черт его знает, куда он идет. Во-вторых, если я проторчу здесь еще день, то у меня останется совсем мало шансов на то, чтобы не замерзнуть во сне. В-третьих, живот подводит. Голодная свобода тоже недорого стоит. Это оборотная сторона сытого рабства. Так что надо отсюда убегать — и чем скорее, тем лучше».

Но раньше ночи об этом нечего и думать. Пожалуй, я здорово ошибся: надо было соскакивать ночью с бункера. Хотя что я мог сделать ночью, если провалялся без сознания черт знает сколько времени да еще откапывался часа два, не меньше? Ночью я ничего не мог предпринять, это ясно.

Протяжно гудит «мой» паровоз. Я уже знаю его голос — зычный, ревущий, добрый. Я слышу,

как он пускает пары, а потом начинает отфыркиваться. А потом я слышу, как к моему бункеру подбегают немцы, что-то говорят друг другу, смеются и бьют железом по железу. Так бывает перед отправлением. Но вот «мой» паровоз гудит еще протяжнее, лязгают буфера, проходит по всему составу толчок, но я его только слышу, а совсем не чувствую. Состав уходит, а мой бункер остается на путях. Я холодею: значит, сейчас начнется разгрузка. Это будет очень весело, если немцы откопают меня вместе с углем.

Я лежу, превратившись в слух. Собственно, сейчас это уже и необязательно. Сейчас от меня ничего не зависит. Повезет — дождусь ночи и тогда убегу. Не повезет — начнут разгрузку днем. Так что можно не напрягаться. Легко сказать — «не напрягаться». Я ничего не могу с собой поделать. Как я ни уговариваю себя, ничего не помогает. Я вздрагиваю при каждом звуке и злюсь на весь мир, ощущая полное бессилие.

Говорят, что от любви до ненависти — один шаг. По-видимому, это очень правильно, потому что полярные понятия чаще сближаются, нежели спокойно-нейтральные. Вот и сейчас я провел в неимоверном напряжении часа три, не меньше. А потом, совсем незаметно, уснул. Максимальное

напряжение и сон. Полярность? Да. А — ведь совсем рядом.

Какие идиотские сны снятся свободному человеку! В лагере-то мне снились велосипедные гонки. Я понимал, отчего они снились. Немцы все время гоняют нас, все время орут и держат в напряжении. Ну вот и во сне виделись страшные гонки, в сверхбыстром темпе. И все гонщики разбивались в конце концов, а я орал, просыпался и будил товарищей по нарам. А сейчас мне снились запахи: сначала — полей, потом — реки, а потом — соснового леса. Сосновый лес имел точно такой же запах, как и море. Ничто так не близко, как сосны и море.

— Шнель! Шнель! Арбайтен!

Я не сплю. Я уже давно не сплю. Мои глаза широко раскрыты. Я вижу уголь. Он теперь блестит под солнцем, потому что снег растаял. Здесь даже в ноябре днем теплое солнце. Я вытираю испарину со лба. Я улыбаюсь и чувствую, как дрожит лицо. Значит, эти немецкие команды мне только приснились, будь они прокляты.

— Шнель! Шнель!

Всё во мне замирает.

Я слышу, как гремит что-то совсем рядом. А потом слышу голоса:

— Уголек-то у них дрянной, бурый.

Русская речь. Всё ясно. Это тоже пленные. Значит, отцепили несколько вагонов. И они разгружают тот, что рядом с моим. Примерно часа полтора они будут разгружать его. Значит, у меня полтора часа свободы. Не так уж мало. За это время я могу подумать о чем-нибудь хорошем. Хотя и в лагере думаешь только о хорошем. Даже больше, чем на свободе, потому что здесь, на свободе, хорошее куда более доступно, а о доступном не так много думают.

Я слышу, как рядом начинает выть собака. Потом еще несколько. Немцы смеются. Пленные работают молча. Собаки воют все громче.

«Что это они? — думаю я. — Неужели учуяли меня? Не может быть. Они не могут учуять меня через железо».

И вдруг — сирена. Она ревет протяжно, сначала не очень громко, а потом все яростнее и отрешеннее.

— Ахтунг! — орут немцы. — Ин колоннен!

Я слышу топот десятка колодок. Они уводят людей, боятся, что пленные разбегутся во время бомбежки.

— Сейчас дадут герману, — слышу я голоса людей, — мать его так…

Это пленные первых месяцев войны. Тогда все называли немцев «германами». Потом стали называть — «гансами». И только в начале сорок второго по-настоящему укоренилось — «фрицы». Те пленные, которые поступали к нам из-под Харькова, после весеннего наступления сорок второго года, называли немцев не иначе, как «фрицы». Другого определения они не признавали.

Собаки теперь лают где-то далеко, а потом я вовсе перестаю их слышать из-за сирены. И вдруг наступает тишина — мертвая, не нарушаемая ни одним звуком.

«Ну что же они? — думаю я. — Давайте, ребята! Бомбите их часов пять, до вечера. Тогда я смоюсь отсюда, ребята! Летите, братцы, пожалуйста, только поскорее, и не очень торопитесь отбомбиться, а то фашисты снова пригонят наших ребят на разгрузку, и тогда мне кранты…»

В детстве я любил делать из пластилина танки, самолеты и конницу. Особенно мне нравилось делать самолеты, вооружать их пластилиновыми бомбами и потом сбивать пластилиновыми снарядами, чтобы не дать им бомбить «мирные города», сделанные из спичечных коробков.

И вот я вижу над собой штук десять самолетов.

Они кажутся мне куда меньше, чем мои игрушечные. Они — точки в небе. Точки превращаются в кляксы, кляксы — в жуков, жуки — в коршунов, а уже коршуны становятся самолетами. Трещат выстрелы. Вокруг самолетов, которые идут в пике, взбухают белые нарывчики взрывов. Самолеты теперь огромны, я боюсь за них, они не смогут выйти из пике, они влезут в землю, как нож в масло. Они ревут и визжат, эти огромные машины, они ревом своим перекрывают все звуки на земле и словно отталкивают от себя землю — испуганную и маленькую, как женщина.

Я вижу, как из-под крыльев отваливаются черные точки. Потом они становятся цветными карандашами, потому что ярко светит солнце и делает все на земле разноцветным и веселым. Эти карандаши летят на землю плашмя, а потом исчезают из глаз — так стремительно они несутся к земле, а самолеты, сбросившие их, теперь все белые, потому что я вижу их акульи животы.

А потом я ничего не могу видеть, потому что вокруг все начинает рваться, становиться черным и красным, трястись, визжать и раскачиваться.

Я не мог точно сосчитать, сколько раз самолеты заходили в пике. Я потом оглох и почти ослеп от этого грохочущего рева вокруг.

«А если сейчас? — думаю я, и мне становится весело. — Они ничего сейчас не смогут сделать, даже если и увидят меня».

Надо сейчас бежать. Я поднимаюсь и осторожно выглядываю из своего бункера, подтянувшись на руках. Я вижу горящие составы, разбитую станцию, а вдали — трубы заводов. А в километре, не меньше, — лес, а еще дальше, за лесом, — синие горы.

Пламя вокруг. Взрывы и молчание. Тишина и рев.

Я переваливаюсь через стенку бункера, прыгаю вниз, падаю, расшибаю в кровь колено и бегу к лесу. Я спотыкаюсь о рельсы. Надо мной — самолеты. Их много. Они снова перестраиваются, чтобы заходить в пике.

«Чего я боюсь? — думаю я. — Сейчас я тут ничего не боюсь. Сейчас боятся немцы».

Я останавливаюсь, смотрю по сторонам и иду через пути. Спокойно, не торопясь. Не надо сейчас бежать. Мне некого бояться. Пусть сейчас боятся немцы. Это только начало. Немцы! Бойтесь!

Мне казалось, что я иду строго на восток. Даже не знаю, почему я был так убежден в этом. Теперь, когда я быстро шел, меня все сильнее знобило. Но я понимал, что ни в коем случае нельзя оста-

навливаться или ломать темп, который я взял с самого начала, как только углубился в лес.

«Ночью разложу костер, — думал я, — обязательно большой, из еловых веток, и отогреюсь как следует. Сначала спину, потом грудь и бока. Озноб пройдет, и все будет в порядке».

Сначала я не думал о том, что у меня нет спичек и никакой костер я разложить без них не смогу. Но чем дальше я шел, тем явственнее понимал, что костра не будет. Тогда я стал уговаривать себя, что смогу добыть искру трением.

«Найду сухой бересты и буду сильно тереть ее друг о дружку. Появится дым. Сначала он будет синим, а потом, постепенно, станет серым, голубым, белым, вовсе исчезнет и появится огонь, — так думал я и быстро шел к востоку. — Только надо все время идти, не задерживаясь ни на минуту».

К вечеру я вышел к шоссе. По бетонной широкой автостраде проносились машины: я слышал, как противно визжали шины, когда шофер входил в вираж. Я лег в кустарник, чтобы дождаться темноты. Лег — и сразу впал в забытье.

Наверное, я пролежал в кустах часа два, потому что, когда открыл глаза, уже стемнело. Меня всего било. Только зубы были стиснуты так сильно, что я никак не мог разлепить рта. Казалось, что

если я сейчас же не поднимусь, то уж вообще не поднимусь никогда.

Я стал кататься по земле, чтобы унять противную, слабую дрожь и хоть немного согреться. Я поднялся, но меня по-прежнему всего било, и рот не открывался, потому что зубы будто срослись и стали единым целым.

Я уже не очень-то понимал, куда иду. Только когда я увидел вокруг себя красивые одноэтажные дома, то понял, что забрел в деревню. Я не испугался. Просто испуг уже не доходил до меня из-за холода, из-за того, что всего било, и еще из-за того, что живот стал прирастать к спине.

Сейчас меня вел уже не разум, а инстинкт. Я не отдавал себе отчета, почему сошел с шоссе и перебрался на тротуар, я не отдавал отчета в том, почему сбросил вторую колодку, которая гремела, и шел босиком. Разум теперь подчинился инстинктам.

И вдруг меня что-то толкнуло в грудь. В двух метрах от себя я увидел человека в теплой куртке, в ботинках и охотничьей шляпе с пером. У его ног стояли банки консервов, построенные пирамидой, а над головой на веревках висели окорока, колбасы и гирлянды сосисок.

И тут инстинкт пропал — я снова ощутил всего себя дрожащим, голодным, еле стоящим на ногах. Я видел еду, куртку, ботинки и понимал, что в этом — мое спасение. Только позже я понял, что человек за стеклом — фарфоровый. Манекен. Но это я понял уже после. Сначала мне было безразлично — живой он или фарфоровый. Я видел еду, а уже потом человека.

«Магазин, — думал я спокойно и трезво. — Говорят, что немцы честная нация и у них нет воров. Честная? Просто в стране бандитов не может быть воров. Вор у вора не ворует. Хотя это все бред собачий. Мне надо думать о другом. Почему я думаю о ворах? Я, наверное, думаю о ворах для того, чтобы потом прийти к сторожам. Если у них нет воров, то, значит, и сторожей тоже нет. А если нет сторожей, тогда я смогу залезть в магазин».

Я понимаю, что разбить стекло — значит загубить все дело. Но больше всего мне хочется разбить стекло и раздеть этого фарфорового болвана, который не знает, что такое холод.

Ощупываю дверь. Ищу замок. Я помню, что на дверях магазинов обязательно должны быть большие висячие замки, похожие на бульдогов. А здесь его почему-то нет. Ясное дело — немцы. Нация изобретателей, будь она трижды нелад-

на. Дверь заперта на внутренние замки. Их, кажется, два. Меня учили анализировать творчество драматургов, меня учили сценическому перевоплощению и музыковедению, только вот взламыванию замков меня, к сожалению, не учили. Придется учиться самому.

Промаявшись полчаса с дверью, я понял, что здесь у меня ничего не получится. Тогда я обошел дом. Точно, ура Аристотелю! Из каждого положения можно найти по крайней мере два выхода: вернее не скажешь. В магазин вела еще одна дверь, а рядом — закрытое ставнями окно. Не такими, как у нас дома, а цинковыми, гофрированными, похожими на самолетный фюзеляж. И эти ставни — я только потом вспомнил, что их называют жалюзи, — были заперты маленьким замком, таким, как на ящиках почты.

Ноги у меня подкосились, и я опустился на землю. Я лежал на земле, улыбался и смотрел на маленький замок, который я смогу открыть не то что руками — зубами смогу открыть. Только сначала надо отдышаться.

Надо мной проносились облака. Они казались черными, потому что небо было чистое и звездное. Звезды, казалось, перемаргивались друг с другом и со мной тоже. Луна светила окаянно

белым, холодным светом.

Сколько раз в лагере я смотрел в небо, чтобы не думать о проволоке с пропущенным через нее током! И слезы подступали к горлу. А сейчас я смотрел в небо спокойно и только следил за тем, чтобы поскорее восстановилось дыхание. Люди, становясь свободными, редко плачут, глядя в небо.

Замок отлетел быстро. Я поднял жалюзи, взломал форточку, открыл окно и залез в магазин. Я задохнулся от запахов, давно забытых мною. Как я уговаривал себя не есть сразу! Но ничего из этого не получилось. Круг копченой, жесткой и сладкой колбасы я съел в мгновенье. В животе сразу же заболело резкой болью. Мне показалось, что колбаса царапает всё внутри, будь она трижды неладна.

Я сбросил с себя робу и остался голым. Сначала я нашел в ящиках шерстяное белье. Искать пришлось долго, потому что белый лунный свет падал на противоположную стену, туда, где лежали продукты. Поэтому я вытаскивал ящики один за другим, пока, наконец, не вытащил толстое шерстяное белье. Потом я нашел носки — тоже толстые, шерстяные. Я надел все эти сказочные вещи на себя и сразу же почувствовал тепло. Оно

шло в меня, становясь невыносимо жарким.

Я здорово болен, понял я, это реакция на холод. Простудился и сейчас только почувствовал жар.

Потом я надел костюм, шапку, пальто, подобрал себе большие ботинки, набил карманы колбасой, сыром и сахаром, собрал свою робу и вылез в окно.

Робу я зарыл в песок, как только вошел в лес. Прошел еще немного, а там забрался в кусты, лег и сразу же уснул.

...Отец мне говорил: «Поступишь в театр, поедешь с гастролями за границу и привезешь мне тогда егерское белье. Преотличнейшим образом его делают в Германии. Болезнь враз снимает. А из свободной штанины я перчатки сошью...»

Проснувшись, я сразу же вспомнил отцовские слова. Лежу и пытаюсь сообразить: почему я вспомнил именно эти его слова? Не его самого — безногого и седого человека, не его голос — хрипловатый, усмешливый, а слова, сказанные им.

Потом я слышу детский голос. Какой-то мальчишка поет песню по-немецки. Поворачиваюсь, раздвигаю кустарник и вижу, как по лесной дорожке на велосипеде едет мальчуган. Это он поет песенку.

Мне сейчас велосипед был бы очень кстати. Одет я нормально, как немец, и мог бы поскорее уехать на велосипеде от этого места, но мне становится стыдно этой мысли: отобрать велосипед у мальчишки? Мальчишки в нашу «игру» не играют, они тут ни при чем, мальчишки в коротких штанишках, — пускай ездят на велосипедах и поют песенки, а я и пешком смогу уйти.

Дорога кажется каучуковой. Это опавшие листья легли на тропинку, и она теперь пружиниста, как мягкая резина. Идти по такой дороге — одно удовольствие. Ноги не устают, дыхание держится ровное и спокойное. Мне тепло идти, даже скорее жарко.

«Черт, вот почему утром я вспомнил про егерское белье, о котором говорил отец, — догадываюсь я. — Оно очень теплое и легкое, недаром же так жарко…»

Тишина. В отчаянно светлом небе — осеннее солнце. Слышно, как с деревьев опадают листья. Это всегда очень грустно. Наверное, оттого, что в детстве листопад связывался у нас с началом занятий в школе.

Я даже засмеялся этой мысли. И — сразу же замер, испугавшись. Я сошел с тропинки в чащобу

и постоял там минут десять, пережидая. В стране врагов надо молчать. Дальше я шел очень тихо.

Мне казалось забавным: осень — пора грустного очарованья и все такое прочее, а в подоплеке — начало занятий в школе или в институте, конец летней свободе. А весна особенно радостна предвкушением лета, а лето — это всегда свобода. Хотя я сейчас рассуждаю, как истинный двадцатидвухлетний студент.

Хм. Какой же я студент?! Я беглый лагерник, бывший солдат, человек без прав, только с одной обязанностью — выжить, для того чтобы потом драться.

У реки я остановился на отдых. Достав из карманов колбасу, поел. Мучила жажда, я часто опускался на колени и пил из реки. Вода была чистая, прозрачная и очень холодная.

Сытый человек делается беспечным. Я наелся колбасы, напился студеной воды и, забравшись в кусты, уснул.

…Были сумерки. Тишина по-прежнему стояла в морозном воздухе. Листья с деревьев уже не облетали, потому что совсем не было ветра.

Я поднялся с земли, снова начал есть колбасу, и вдруг острая и длинная боль резанула в животе. Скрючившись, я лег на бок.

Три дня я пролежал в кустах у реки, потому что не мог идти. Я чувствовал, как кожа все больше и больше обтягивает скулы. Я ощущал это физически. Дизентерия — гадкая штука. Меня беспрерывно трясло противной дрожью, и все время резало в животе. И еще тошнило. Я понял, что мне нельзя есть. И воду из реки тоже нельзя пить. Но меня все время тянуло к проклятой жирной колбасе. Тогда я закрыл глаза и выбросил ее в реку. А потом долго ругался. Я ругал себя, проклятую колбасу, небо и опадающие листья. А потом впал в забытье — тяжелое и липкое, как грязь…

Мог ли я избежать своей участи? Конечно, мог. Стоило мне решиться надеть новую гимнастерку и стать под власовские знамена. Или согласиться быть лагерным полицейским. И — всё. Я был бы сыт, обут и одет, я бы спал в тепле. Пожалел ли я хоть раз об этой сладкой и спокойной жизни? Нет. Я был счастлив тем, что голодал, мучился и жил под ежеминутной угрозой расстрела. Я был счастлив, потому что чувствовал себя честным человеком. Наверное, ни один предатель никогда не был счастлив — не показной улыбкой и благополучием, а внутренне, наедине с самим собой. Я говорю и о политической измене, и о предательстве товарища, и о подлости по от-

ношению к женщине. А если вдруг и был один такой счастливчик, то это надо рекламировать нашим пропагандистам: значит, Бога нет, если предатель может процветать и радоваться.

В конце третьего дня я смог идти. Мне было очень легко идти, даже слишком легко идти, потому что я себя совсем не чувствовал. Меня здорово шатало, иногда мутило, но боли в желудке прошли, и поэтому я шел не отдыхая. Я должен был выйти в каком-нибудь месте на шоссе, чтобы посмотреть по указателям, где я и куда идти дальше.

На лекции по истории нам рассказывали смешной случай: во времена Ивана Грозного какой-то французский крестьянин вышел из дому в лес за хворостом. Заблудился. Шел по лесам и перелескам, питаясь чем попало. Шел много дней и недель… И арестовали его бородатые русские мужики под Смоленском. Вот счастье было бы, попади и я к бородатым русским мужикам под Смоленском!

На перекрестке бетонной дороги ночью, при луне, я увидел указатели: «Берлин — 197 км. Дрезден — 219 км». Я сел на обочину и пальцем нарисовал карту Германии. Я понял, что нахожусь в самом центре страны.

Мне стало страшно. Впервые я подумал: «А ведь не дойду…» Но я одернул себя. Я не смел так думать. Отчаяние — сестра трусости.

Глава вторая

Дней через десять я был в тридцати километрах от Берлина. Теперь я шел только с вечера до рассвета, а остальное время спал в кустарниках около озер, чтобы в случае чего уйти от собак. Хотя, правда, товарищи в лагере говорили, что вода от собак не помогает: фашисты пускают псов по обоим берегам и быстро засекают то место, где выходишь из воды. Но все равно я ложился спать в кустарниках рядом с берегом — так я чувствовал себя уверенней.

Я прошел сто шестьдесят километров за десять дней. Это был хороший результат. Если учесть, что шоколада мне, как спортсмену, не давали и приходилось грызть картофель или брюкву. Я понимал, что до Польши осталось не так уж много. Там есть партизаны, там я у своих. В то серое рассветное утро я забрался на ночь в одинокий сарай. Лил дождь со снегом, и я решил закопаться в сено на чердаке, а вечером спокойно двинуться дальше.

Сено было теплое. Оно пахло солнцем и летом. Я уснул так, как не спал уже много месяцев. Несколько раз я просыпался, слышал, как дождь монотонно и спокойно бьется о черепичную крышу, и засыпал снова. Дома я удивлялся, как это умудряется отец спать в троллейбусе или трамвае. Он садился в уголок, когда мы с ним ехали в гости к нашей тетке на Сельскохозяйственную выставку, поднимал воротник пальто, ставил рядом с собой костыль, опирался на него локтем и сразу же засыпал.

Поначалу меня это злило, а потом стало смешить. Злило, когда я был мальчишкой. Мне казалось, что над отцом будут смеяться из-за того, что он спит в троллейбусе. Наверно, я здорово обижал отца своей снисходительностью. Я это понял, когда уходил в армию. Вернее, тогда я только догадался об этом, а понял значительно позже, в концлагере. И там же по-настоящему понял, отчего отец спал в троллейбусе даже в воскресные дни. Люди, уставшие за много лет, либо все время хотят спать, либо страдают жестокой бессонницей. «Театральный дождь, — думал я, глядя в темный потолок, — шумит куда правдоподобнее, чем этот, настоящий. Слишком уж благополучен сегодняшний мелкий осенний дождь. И ветер

чересчур спокоен и ласков. Так можно позабыть все на свете. Если еще к тому же не болит живот и в кармане есть несколько картофелин».

Сырой картофель кажется противным только первое время. Если привыкнуть, то он становится даже приятным на вкус.

Я достал картофель и начал неторопливо жевать его, очистив от грязи рукавом пальто. Я жевал картофель и мучительно вспоминал, кто из ученых утверждал, что картофельная шкурка — суррогат калорийности. Верное утверждение, хотя звучит на первый взгляд смехотворно. Я заметил, что если съедаешь картофель чищеным, то все равно остаешься голоден, а вот стоит заставить себя слопать его вместе со шкурой, то даже одна картофелина может заменить домашний завтрак. По калорийности, во всяком случае.

Вообще, когда начинаешь думать даже о самых пустых вещах, то сон уходит. Я ругаю себя за то, что стал размышлять о картофеле и о калорийности шелухи. Надо было сжевать одну картофелину и постараться снова уснуть. Я не помню кто, но, кажется, Павлов утверждал, что каждый час сна до полуночи равен двум часам после двенадцати. Суворов ложился спать в во-

семь, а вставал в три часа утра и сразу садился за работу. Вот бы мне в спутники Александра Васильевича!

Смешно. Я представляю себе, как со мной вместе бежит из концлагеря Суворов. С хохолком, в регалиях и лосинах. Почему-то всегда маршалы нам представляются только в регалиях. Маршалу бы со мной пройти через Германию, пожевать картофель, очень калорийный, сырой, в шелухе, потрястись от дизентерии. Мне становится жаль маршала. То, что я перечислил, — удел солдата.

Я слышу женский голос. Сначала и прежде всего я слышу женский голос. Потом уже — тяжелую поступь коровы, стук ведер, быстрые шаги женщины, ее тихие и ласковые слова. Я слышу, как женщина похлопывает корову по крупу. Потом я слышу, как она, приговаривая по-прежнему тихо и ласково, начинает доить корову. Я слышу, как струйки горячего молока, пронзительно дзинькая, ударяются о стенки ведра.

Видно, я здорово обманываю себя с картофельной шелухой, с калорийностью и с ерундой насчет полезности дневного, утреннего и вечернего сна. Это все ерунда, когда говорят и думают о полезности. Вот я услыхал, как дзинькает горячее молоко о стенку ведра, и меня всего свернуло —

от голода, и от боли в желудке, и от душной злобы истощенного человека. Наверное, я застонал, потому что дзиньканье молока прекратилось и женщина испуганно спросила:

— Фрицци?

«Сейчас сюда ввалится мордастый Фрицци, — думаю я, — и прощай тогда, Польша!»

Я замер. Сколько же раз мне приходилось замирать во время побега! Сколько раз мне хотелось исчезнуть, стать маленьким или — еще лучше — совсем невидимым! Как же это унизительно для человека!

— Оэй, мамми! — слышу я детский голос. Ребенок кричит где-то далеко, по-видимому, метрах в пятидесяти.

Если это Фрицци, то все пока еще не так плохо, как мне казалось мгновение назад. Я слышу, как кто-то бежит сюда, к сараю. Слышу детское дыхание, смех и вопрос, которого я не понял. Женщина быстро ответила, мальчик убежал. Я снова слышу дзиньканье молока о стенку ведра. И ласковое пришептывание. У нас в лагере рядом со мной работал один ветеринар. Он рассказывал, что в Германии изобрели приспособление: корову начинают доить электрической доилкой, и сразу автоматически включается патефон, и музыка

тихонько играет или женский голос что-нибудь ласковое нашептывает. Тогда коровы не волнуются и дают себя выдаивать электроприбором. Умная нация — немцы. Даже сентиментальность коров учитывают.

Женщина ушла. Корова внизу хрупает сеном и тяжело, по-человечески, вздыхает. Меня снова тянет ко сну, и — да здравствует Павлов! Суворов, конечно, тоже…

Я открываю глаза и вижу над собой лицо женщины. Она красива, хотя и не молода. Мне в лагере редко снились женщины. Да и остальным заключенным тоже: голодным редко снятся женщины. Чаще всего снится еда, но мы и во сне боролись с этим. Мы уговаривались смотреть только патриотические сны. Иначе расслабишься и станешь доходягой — тогда каюк.

Я отворачиваюсь, закрываю глаза и рукой отгоняю от себя видение. Моя рука натыкается на плечо: передо мной на коленях стоит женщина — не во сне. Наяву.

— Что?! — спрашиваю я.

Женщина начинает плакать.

— Миленький, неужто наш? — шепчет она.

Я давно не слышал женской речи. Мужчины в лагере говорят иначе. Ни в одном нашем слове

там не было такой доброты, испуга и такой радости, какую я услыхал сейчас.

— Тише! — прошу я.

— Да спят они.

— Кто?

— Хозяйка моя с детьми.

— А ты здесь зачем?

— Она велела.

— Что она велела?

— С чердака сухого сена принести.

— Не врешь?

Она не отвечает. Она опускается рядом, закрывает глаза и тянется ко мне. На женщине накинут френч, он расходится, и я вижу ее тело. Меня всего начинает бить такой дрожью, как будто я очень замерз. Она что-то быстро-быстро говорит, обнимает меня и все сильнее прижимает к себе. Я не вижу ее глаз — они крепко зажмурены, я только чувствую ее всю рядом с собой.

Женщины! Пожалуй, о них в лагерях тоскуют так же сильно, как и о свободе. Только те, у которых дома остались малыши, больше тоскуют о них. У нас один капитан плакал по ночам навзрыд и причитал: «Сыночек мой маленький, Сашенька… Как ты там без меня? Сыночек мой маленький, Сашенька…»

Мы все не спали и молчали. Никто не говорил ни слова, понимая, что нельзя сейчас ничего говорить… Неужели то, что было у меня сейчас, — тоже любовь? Наверное — да, потому что это было честно. «А честность — свобода — любовь — в одной цепочке», — думаю я.

Женщина ушла. Осталось ее тепло. То место, где была она, — теплое. Или, может быть, мне только кажется так. Я ложусь туда, где была она, закидываю руки за голову и замираю. Сейчас у меня странное состояние: легкое и до того светлое, что, кажется, и не ночь сейчас, а теплое весеннее утро в березовом лесу.

Год назад Надю угнали из Брянска в Германию. В России остались мать, два маленьких брата и муж Коля. Он в армии. Ее дыхание щекочет ухо, и я улыбаюсь, слушая ее. Потом я понимаю, что она может обидеться, и чуть отодвигаю голову. Но она придвигается еще ближе ко мне, и снова ее дыхание щекочет мне ухо, и снова я не могу не улыбаться.

— У нас дом чистый, пятистенный, — шепчет Надя, — у окон герани стоят и два фикуса. У нас еще лимонное дерево было, только его братишка разбил. Ночью пошел в сени воды напиться и разбил. Мы другую кадку сделали, да только оно

все равно завяло.

— Корни, наверное, повредило, — говорю я.

— Ну, конечно, корни, — радуется Надя, — а что ж другое-то? Хотели мы новое купить — а тут война началась.

— Кончится война — купите.

Надя сразу же начинает плакать.

— Ты не плачь, — прошу я, — не надо плакать. Обижают тебя здесь?

Женщина отрицательно качает головой.

— Нет, — говорит она, — немка добрая. Не дерется. Пацаненок только ейный камнями иногда кидает. А так — ничего. У других хуже. Ты про них не говори, — перестав плакать, просит она, — ты про нас говори.

— Ладно.

— Про дом.

— Ладно.

— У тебя тоже цветы есть?

— Есть. Столетник.

Надя улыбается:

— Это какой же такой столетник?

— С иголками. От всех болезней помогает.

— Да?

— Честное слово.

— Я тебе верю. А ты женатый?

— Нет.

— Невесту оставил?

— Нет.

— А у меня Коля красивый. Волос у него кучерявый, русый и мягкий очень. Добрый он — оттого и волос мягкий.

— Как же ты: Колю любишь, а — со мной? — спрашиваю я, потому что Коля тоже солдат и тоже, быть может, томится сейчас на нарах или идет через ночной лес — к своим, чтобы драться за нее, за Надю. И за дом с геранями.

— Ты — свой, — отвечает она, — а потом, если война кончится — забуду я. А сейчас — горе во мне, только крик слышу, а я — человек ведь, тоже тишины хочу.

...Под утро я ушел дальше. Она показала мне кратчайший путь к развилке дорог, чтобы я мог сориентироваться. Женщина поцеловала меня и улыбнулась сквозь слезы.

— Знаешь, как зовут тебя? — спросил я.

— Как не знать! Надя, я ж говорила.

— Нет. — Я глажу ее по голове, по плечам, по шершавым, натруженным рукам. — Нет, тебя не Надя зовут. Тебя зовут Надежда. Понимаешь — Надежда?

Теперь, по всему, до польской границы кило-

метров пятьдесят, от силы сто. Я иду вдоль берега реки. Очень большая река. Я уже целый день иду вдоль берега — ищу переправы.

Аккуратные немцы не оставляют на берегу лодок, как у нас в России. Взял, оттолкнулся шестом — и пошел. И никуда она не денется — пригонят назавтра. Хозяин поворчит, поудивляется, а потом даже радоваться будет: приключение. У нас приключения любят, только обязательно чтобы с хорошим концом.

Под утро в сером рассветном тумане я увидел мост. С той стороны реки — небольшой городок.

«Дождусь утра, посплю в лесу, а ночью пойду на ту сторону», — думаю я и машинально лезу в карман за картофелиной. Карманы пусты. Мои съестные запасы кончились. Надя принесла мне хлеба, маленький кусок черствого сыра и кожуру от колбасы. Два дня я блаженствовал и не замирал от страха, как прежде, потому что тогда в животе у меня от голода громко урчало.

«Или пойти сейчас? — продолжаю думать. — Может, они крепче всего спят именно сейчас, под утро?»

Я подхожу еще ближе к мосту и вижу маленький домик. Это охрана. Подползаю к домику вплотную, благо кустарник упирается в стену.

Решаю лежать до тех пор, пока все не узнаю. Я не зря пролежал в кустарнике. Слышу, как открывается дверь. Потом — шаги. Это шаги старого человека. Вижу силуэт старика с карабином. Он медленно идет к мосту и исчезает в сером тумане, который все плотнее ложится на землю. Через пятнадцать минут он возвращается, заходит в дом, и я слышу, как щелкает замок. Отползаю чуть в сторону. Поднимаюсь и, пригнувшись, иду к мосту. Иду очень быстро, чуть не бегу. Впереди видно метров на пятнадцать. Очень хорошо, что пал такой туман, лучше и не придумаешь. Сейчас должен показаться берег. Тогда — я победил. Ну же, спите, немцы! Спите крепче! Что вам стоит поспать покрепче, а?!

Теперь я не бегу, а крадусь. Если и на той стороне такой же старый охранник, тогда все в порядке. Я иду вперед, затаив дыхание. Стоп! Впереди — у перил, метрах в двух от конца моста, — стоит немец. Он смотрит в воду. Рядом с ним — прислоненная к перилам винтовка. Стараясь не дышать, отхожу назад.

— Эй! — негромко окликает меня охранник.

Я иду молча и рассчитываю: не пора ли бежать? Пожалуй, нет, потому что это сразу же насторожит его и он поднимет тревогу. Но пятиться

назад — тоже, по-видимому, не лучшее решение. Я поворачиваюсь и бегу.

— Хальт!

Я несусь во весь дух. Сзади гремит выстрел. Второй… Как долго я шел на тот берег и как мгновенно оказался на этом, проклятом, который дальше от Польши, и от партизан, и от моей родины! Я выскакиваю к домику. Навстречу мне бежит старик и размахивает карабином. Он совсем рядом, он в шаге от меня. Я бью его что есть силы в переносье, старик падает, карабин громко бряцает об асфальт. Позади гремят выстрелы. Я секунду раздумываю, куда бежать: туда ли, откуда пришел, или в другую сторону? Решаю — надо в другую сторону: там, по всему, болота, там не страшны собаки, там можно пересидеть тревогу, поднятую охранниками.

Через несколько минут я понимаю, что сделал глупость: впереди — дома. Я вижу, как загораются огни и хлопают двери. Немцы проснулись и сейчас будут устраивать на меня облаву.

Поворачиваю назад. Останавливаюсь. Передо мной стоит мальчишка в трусах и куртке. В руке у него пляшет пистолет. Он что-то бормочет и целит мне в лицо.

— Пусти, гад! — кричу я в отчаянии.

— Хенде хох! — выговаривает наконец он.

Уже выучился. Они этому быстро выучиваются. Я отпрыгиваю в сторону, и мальчишка стреляет два раза подряд. Мимо. С двух сторон подбегают еще несколько человек. Они окружают меня. Мальчишка смеется истерическим смехом, радостно говорит что-то окружающим меня людям, поднимает свой пистолет, ударяет меня дулом в лицо и снова стреляет два раза подряд прямо в лицо.

…Я сижу в комнате. Здесь много народу. Все смеются надо мной, потому что в руках у мальчишки был пугач, а я от выстрелов в глаза потерял сознание. Не смеется только один старик. Он седой, с запавшими глазами и острым кадыком. Он протягивает мне сигарету. «Сейчас и этот гад что-нибудь придумает. Они умеют издеваться», — думаю я и отрицательно качаю головой.

Потом в комнату вошел худой старый солдат с винтовкой. Он толкнул меня стволом в плечо и сказал:

— Э, ком…

Он отвел меня в большой дом и запер в темной комнате. Отпер часов через десять. В руках у него была большая бумага с печатью.

— Фарен, — говорит он, стараясь быть понят-

ным мне. — У-у-у, — делает он губами, подражая паровозу.

Конвоир идет сзади и вздыхает. Мне слышно его хриплое дыхание. Когда конвоир устает, он трогает меня за руку и говорит:

— Э, хальт…

Я останавливаюсь, и конвоир тоже останавливается. Мы стоим на пустынной улице, тяжело дышим и смотрим друг на друга. Где-то неподалеку во дворе смеются дети. Они бегают наперегонки — я слышу это по их веселым крикам. А может быть, играют в прятки и визжат, когда тот, кто водит, открывает тайники, в которых прячутся остальные. Прятки — хорошая и нужная игра. Я это понял во время побега. Она приучает к неожиданностям.

Немец смотрит на меня испуганно. Хотя у него в руках винтовка, а вокруг в домах живут такие же немцы, как и он, — все равно конвоир смотрит на меня со страхом. Мы с ним долго стоим на улице, которая становится серовато-голубой. И смотрим друг на друга. Он смотрит на меня со страхом. Я — безразлично, потому что не думаю сейчас о побеге, в городе нечего и думать о побеге. А на конвоира смотрят с ненавистью, когда идут в побег. В остальное время, особенно если конвоир

не дерется и не стреляет в отстающих, на него никто не смотрит с ненавистью.

Чем дальше мы идем, тем испуганнее он смотрит на меня. А потом тихо говорит:

— Э… Их вар социал-демократ…

И — трогает меня штыком. Осторожно, в плечо. Я понимаю его, и мы идем дальше. Я слышу, как немец подстраивается под меня, чтобы шагать в ногу. Он перескакивает, но никак не может подстроиться, потому что у него волочится левая нога. Я иду быстро, а он скачет сзади и никак не может попасть в мой ритм. Я слышу, как он снова начинает хрипеть и тяжело, сухо кашлять. Он кашляет все страшнее. Я останавливаюсь. Он стоит, схватившись за живот, и глаза у него красные и мокрые.

Он долго кашляет, а потом, отдышавшись, говорит:

— Данке шен…

И снова трогает меня штыком, чтобы идти дальше. На станции он отвел меня в полевую жандармерию, а сам отправился отмечать проездное свидетельство до Берлина. Он вернулся через полчаса, принес кружку пива и два бутерброда, сел рядом и стал есть. Он очень подолгу жевал каждый кусок, прежде чем проглотить его,

а когда делал глоток пива, оно будто проваливалось в пустоту. Я отвернулся, чтобы не видеть, как он ест. Но я все равно слышал, как он жевал, и от этого у меня кружилась голова.

Я долго сидел отвернувшись, а потом не выдержал. Я обернулся к нему и сказал:

— Социал-демократ! Жри тише!

Немец поперхнулся и быстро посмотрел по сторонам. Старик жандарм сидел за столом и с кем-то громко говорил по телефону. Я понял, что мой конвоир испугался «социал-демократа». Я вспомнил, что со мной в лагере сидело несколько человек, которых посадили за то, что они были социал-демократами.

— Ну! — громко сказал я. — Ду бист социал…

Конвоир вскочил со своего места и закашлялся. Бутерброд упал на пол. Я поднял бутерброд и начал медленно есть хлеб с кровяной колбасой. Немец подождал, пока я доем бутерброд, а потом повел меня к поезду.

Нам дали маленькое купе. Немец запер дверь, велел мне сесть у окна, а сам устроился у двери. Винтовку он положил на колени. Поезд тронулся, и я увидел, как немец взвел курок.

Я понимал, что мое единственное спасение — в побеге. Я знал, как все это будет. Когда стемнеет, я

прыгну на этого немца, придушу его, а на подходе к маленькой станции соскочу с подножки, предварительно переодевшись в форму конвоира.

Я наметил время. Как только зажгутся звезды, значит, пора.

«А что, если сегодня не будет звезд? — думаю я. — Это не худшая беда, хотя лучше бежать в звездную ночь. Меня, конечно, легче заметить, но и я зато лучше замечу каждого. Если звезд не будет, надо начинать, когда исчезнут деревья, проходящие вдоль пути. Когда они исчезнут, значит, пора».

Я вспоминаю Архипо-Осиповку. Это станица на Черном море. Там почти нет отдыхающих, только колхозники и рыбаки. Мы туда приехали вдвоем с отцом. Всего два приезжих курортника на всю станицу. Я вспоминал Архипо-Осиповку и сразу же слышал тревожный и радостный крик цикад. Боже ты мой, сколько их там было! До сих пор я не могу представить себе, какие они из себя, эти цикады. Или, например, сверчки. Мне всегда хотелось сыграть в диккенсовском «Сверчке на печи». Но я до сих пор не представляю себе, какие они, эти самые сверчки. Очень будет неприятно узнать, что они похожи на мокриц или тараканов. Хотя в таком случае можно и не поверить.

Ведь совершенно необязательно верить тому, что тебе чуждо.

На небе появились звезды. И в этот же миг в купе зажегся синий свет. Тусклый, вполнакала.

— Э, — сказал конвоир, протягивая мне фотокарточку, — майне киндерн.

«Дети, — подумал я. — Киндер — это понятно».

Я взял фотокарточку. Там было пять девочек и мальчишка. Старшей было не больше шестнадцати, а мальчишке — годик.

— Э, — сказал конвоир и протянул мне следующую карточку, — майне фрау.

Я увидел женщину в гробу. Рядом стояли дети и мой конвоир в штатском затасканном костюме.

Я вернул ему карточки, он спрятал их в бумажник, вздохнул, усмехнулся, тронул себя пальцем в грудь и сказал:

— Туберкулез…

Сейчас он смотрел на меня не испуганно, а грустно и спокойно. Наверное, он решил, что я ничего не смогу с ним сделать, потому что мы едем с большой скоростью, дверь купе заперта и курок винтовки взведен.

Ты дурак, немец. Это не важно, что поезд несется с большой скоростью. Каждую дверь можно отпереть, на твою винтовку прыгнуть, а самого

тебя ударить головой в лицо. Вот и вся наука. «Старшая девочка здорово похожа на него, — думаю я, — и такая же худая. А мальчишка толстый. Все маленькие дети толстые. Они начинают худеть, когда их отрывают от материнской груди».

— Э, — говорит немец и, протягивая сигарету, прикладывает палец к губам, — социал-демократ — тш-ш!

«Какой ты социал-демократ? — думаю я спокойно. — Ты дерьмо, а не социал-демократ. Ты трус и подлец, только у тебя есть шестеро детей, а самому маленькому — год. И у них нет матери».

Я должен убить его, если хочу сбежать. Если я хочу, чтобы побег удался, я обязан его убить. А мне хочется оглушить его, чтобы дети — пятеро девочек и один пацаненок — не остались круглыми сиротами. Я знаю, что такое расти без матери. Но я даже представить себе не могу, как они останутся и без отца. Без этого туберкулезного отца, у которого огромные худые руки и который говорит мне, что он социал-демократ.

«Вот, сейчас, — говорю себе я, — сейчас пора».

Я подбадриваю себя, я подбираю ноги для прыжка, я уже почти готов…

«О толстых маленьких детях говорят, что они перевязаны ниточками, — вспоминаю я, — это

у них такие складки на ножках и на руках. У худых детей они исчезают очень скоро, и тогда маленькие дети делаются похожими на стариков. А маленькие дети не знают языка. Даже если он рожден немкой, его можно выучить говорить по-русски.

Или по-французски, какая разница, в конце концов? Только бы не по-немецки. Это очень плохо, когда люди говорят по-немецки, хуже быть не может». Я чувствую, что не могу ненавидеть этого туберкулезного немца так, чтобы убить, потому что видел его шестерых детей. Я ничего не могу с собой поделать. Просто у меня не будет силы, чтобы прикончить его, — я же знаю.

— Их вилль шлафен, — говорю я и закрываю глаза.

— Э, — говорит немец, — битте.

Поезд идет быстро. Я еду к гибели. Он — от нее. «Немцы… — думаю я. — Будьте вы прокляты, фашисты. Ненавижу. Всех вас ненавижу…»

Следователь с интересом разглядывает меня сквозь толстые стекла пенсне. Он смешно двигает веснушчатым носом, почесывает мизинцем и говорит на неплохом русском:

— От вас воняет гадостью.

Я молчу. Что я могу сказать ему?

— Ну, что же вы не отвечаете, что «от тебя самого, собака, пахнет гадостью»? — смеется следователь.

Он долго смеется, а потом достает из ящика стола флакон духов и протягивает их мне.

— Бери это, — говорит он, — и немножечко полей на себя, а то мне трудно говорить. Тебя сегодня вечером вымоют в баньке, а пока покапай духи.

Обливаюсь духами. Запах у них горький и удивительно приятный. В комнате запахло завядшими цветами.

— Французские духи, — поясняет следователь, — ты когда-нибудь слыхал про французские духи, а?

— Слыхал.

— А что ты слыхал про них?

— Люди говорили, что они хорошие…

— Это гоффорили, — он именно так и произнес «гоффорили», — классики французской литературы. Так у вас называли писателей Франции в школе?

— Так.

— Видишь, я — все знаю. А в институте тоже их так называли?

— Тоже так.

— В каком же институте ты учился?

«Как он меня поймал, — думаю я, — вот же сукин сын. Говорят, они очень не любят тех, кто учился в наших институтах».

— Ну, что же ты молчишь, как воды напился?

— У нас так не говорят. У нас говорят — «воды в рот набрал»…

Следователь снова смеется и грозит мне пальцем.

— А ты, я вижу, храбрый? Ну так где?

— Что «где»?

— Не хитри со мной.

— Я не хитрю.

— Где ты учился?

— Учителем хотел быть.

— Учить деток истории?

— Нет. Черчению.

— А… Значит, ты умеешь рисовать? Чертежник должен уметь очень хорошо рисовать, не так ли?

Следователь протягивает мне листок бумаги и два тонко отточенных карандаша.

— Нарисуй мне дом с двумя окнами.

Я рисую дом с двумя окнами. Следователь берет листок, внимательно рассматривает рисунок, усмехается и рисует рядом с моим домом свой — тоже с двумя окнами.

— Вот, видишь? — спрашивает он. — Так рисуют чертежники. Я сам был чертежником.

— Так я же учился только на первом курсе…

— Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать старших. Разве ты не знаешь, что в Советском Союзе есть приказ 76/924-а, подписанный председателем ГКО Сталиным о том, что студенты первых курсов не призываются в армию? Или, может быть, ты добровольно бросил матушку и папашку? А? Может быть, ты ушел бить фашистских гадов добровольно?

— Нет, я из института ушел, а меня и забрали в армию…

— Добровольно ушел из института?

— Прогнали…

— Плохо учился?

— Да.

— По каким предметам плохо учился?

— По всем.

— И по черчению тоже?

— Тоже.

— А как же ты сдал вступительные экзамены? — смеется следователь. — А? Разве ты не сдавал специальный предмет? Рисунок? Два чертежа?

Я молчу.

— Ну? — тихо говорил следователь. — Совсем запутался в лжи, маленький шалунишка?

Следователь откидывается на спинку стула, снимает пенсне, протирает стекла замшевой тряпочкой, вздыхает и лезет за сигаретами. Он закуривает, прячет зажигалку в нагрудный карман черного френча и нажимает кнопку звонка. Входят двое — тоже в черном.

«Сейчас начнется, — думаю я и чувствую, как у меня холодеют руки. — Сейчас он покажет зубы, этот очкастый».

Следователь барабанит пальцами по столу и смотрит на меня, по-прежнему улыбаясь. Он смотрит на меня минуту-другую, целую вечность. Потом поднимается, обходит стол, опирается на мое плечо и говорит:

— Я ничего от тебя не хочу. Я хочу тебе добра.

Он возвращается за стол и начинает что-то быстро писать на графленом листке бумаги. Иногда он замирает и сидит, закрыв глаза. Потом делает глубокую затяжку, выпускает голубой дым тонкой струйкой к потолку и снова продолжает писать.

Так продолжается полчаса, не меньше. Потом он вскидывает голову, видит меня, изумляется и спрашивает:

— О, ты еще здесь, врунишка? Сейчас ты пойдешь в баньку, а потом в камеру. Отдохнешь, поспишь и снова придешь ко мне. Есть возражения? — Он улыбается. — Или «замечания к проекту резолюции»? Нет. Ну и хорошо.

Он отдает приказ двум в черном, что замерли у двери. Те подходят ко мне, несильно ударяют по шее и уводят из кабинета.

Меня поместили в одиночку. Уже три часа я стою в одном белье. В камере холодно, сесть нельзя, потому что койка пристегнута к стене и откидывает ее надзиратель только в десять часов вечера. Все остальное время надо двигаться или стоять, вытянув руки по швам, напротив глазка. Мой ворованный костюм на дезинфекции. Егерское белье отобрали, а взамен выдали застиранное, тоненькое, матерчатое белье, которое от холода совсем не защищает. А в егерском я спал на земле, в мокром кустарнике и совсем не замерзал. Просто затекали руки и ноги, но холода я не чувствовал.

Сколько можно держать меня в холоде? Вот собаки… Я попробовал прислониться к стене, но сразу, же отпрянул: от нее несло могильным холодом. Начал ходить по камере, но теплее от этого не стало. Тогда я начал бегать — два шага

вперед, два назад.

В дверь грохочут сапогами.

— Стоять смирно!

Стою перед дверью по стройке «смирно». Стою полчаса, час, два. Снова начинаю ходить, а потом — бегать. Дверь отворяется, в камеру врываются два надзирателя. Они совсем недолго пробыли в моей камере, но зато мне придется довольно долго залечивать рассеченную бровь и ухо, которое стало похожим на лепешку.

И снова я стою перед глазком двери и постепенно совсем перестаю чувствовать тело, холод, боль. По мне растекается сладкая теплая истома, меня всего раскачивает, за дверью орет надзиратель, наверное, он кричит, чтобы я не двигался, но я не могу не двигаться, потому что тело теперь уже не мое, оно не слушается меня, оно не подвластно мне.

Я очнулся в кабинете моего следователя. Я лежу в кресле. Рядом — на спинке стула — мой костюм. Под стулом — ботинки и шерстяные носки. Следователь качает головой, вздыхает и говорит:

— Я дал им выговор за бессердечность, этим плохим надзирателям. Но не могли же мы отдать тебе грязный костюм? Тебе самому было бы в нем противно и гадко, не так ли?

— Так.

— Ну вот видишь…

Он подвигает стул ко мне, садится на него верхом, предлагает мне закурить, быстро и ловко закуривает сам, усмехается и кладет мне руку на колено.

— Уй, как ты замерз, шалун, надо погреться, а? Хочешь русской водки?

— Хочу.

Он достает из несгораемого шкафа, вмонтированного в стену, бутылку нашей водки, наливает четверть стакана и протягивает мне.

— Что нужно сказать? — улыбается он.

— Данке шен, — говорю я.

Следователь хохочет и достает из шкафа шоколадку.

— Это тебе мой подарок за умный ответ. Ты мне очень нравишься. А это хорошо, когда разведчик нравится контрразведчику.

Мне непонятно, почему он называет меня разведчиком. Хотя черт с ним. Сейчас я выпью водки, которую раньше я не умел пить. Она здорово согревает — так все говорят. Нет, не говорят — говорили. Какая разница: прошедшее время или настоящее? О, разница есть! У нас один старик шутил, вспоминая слова какого-то француза — тот

говорил: «Философия властна над прошедшими веками и над веками будущими. Она бессильна только над горестями настоящего…»

По телу расходится тепло. Заедаю водку шоколадом, тяжело дышу носом, ошалело мотаю головой. Очень хорошо!

— Согрелся?

— Согреваюсь.

— У вас очень хорошая водка.

— Да.

— Что-то мы с тобой во всем соглашаемся, шалунишка, а? Не изменяешь ли ты этим воинскому долгу?

— Так вы ж говорите, что русская водка хорошая. Ну, я и соглашаюсь. Она действительно хорошая.

— Молодец. Теперь вот о чем: перед тем, как ты наденешь костюм, я тебе задам маленький вопросик. Малюсенький вопросик, величиною с мышку. Договорились?

— Пожалуйста.

— Вот видишь — ты мне уже и «пожалуйста» говоришь. Это хорошо, когда говорят друг другу «пожалуйста». Понимаешь, твой костюм, — он снимает со спинки стула пиджак, украденный мною в сельском магазине, и отворачивает

полу, — с красивой немецкой наклейкой, указывающей, что изготовлен он фирмой «Херберт Хойзе» в Кельне, сделан из русского материала. Из шерсти. Вот смотри…

Следователь показывает мне то место, где отпорот шелк подкладки.

— Видишь? — спрашивает он. — Смотри!

Под подкладкой, на кромке шерстяного материала, я вижу буквы, образующие слова — «шерсть, ф-ка “Большевичка”».

Следователь внимательно смотрит на меня и быстро двигает веснушчатым носом. Его лицо очень близко от моего. Я вижу, как у него дрожит маленькая жилка на веке.

— Ну? Не так ли?

Проклятое выражение «не так ли» одновременно и злит, и смешит меня. Наверное, я улыбаюсь, потому что следователь склоняется еще ниже надо мной.

— Лубянка предусмотрела все, но она не предусмотрела осмотра твоего костюма с оборотной стороны. А глупый еврейчик-портной забыл сказать умному еврейчику-чекисту о русских словах «шерсть» и «большевичка». И они этим угробили русского шалунишку, которого забросили в немецкий тыл.

— Меня никто не забрасывал. Меня взяли в плен.

— Ты меня снова обманываешь…

— Нет, точно.

— Как?

— Ну, точно… Правда, значит.

— Я так забочусь о тебе, а ты хочешь обманывать своего доброго следователя. Ай-яй, как это плохо… Они тебе советовали ни в чем не сознаваться и придумали тебе легенду? Расскажи мне свою легенду.

— Какую легенду?

Следователь отходит к столу. Он говорит мне, усаживаясь на свое обычное место:

— Если ты будешь вертеться, как портовая девка в объятиях монаха, я тоже стану говорить с тобой по-иному. Я тебя спрашиваю еще раз: кто ты, как попал в лес, куда шел, с каким заданием.

— Отстал от колонны. Заблудился. Пленный я.

— Ну-ну, русские в плен не сдаются. Они — умирают. Разве ты забыл, как поют в ваших песнях? Я напомню тебе. Из какого лагеря шла колонна? Отвечай быстро!

— Из этого… Ну, рядом с городом…

— Где попал в плен? Когда? Быстро отвечай!

— На границе…

— Пограничник? Мы уважаем советских пограничников! Дурак! Что ты ломаешь из себя пряник с медом?! Не мог придумать строительного батальона? Или пехоты?! Хорошую тебе написали легенду.

Они принимают меня за нашего разведчика. Вот в чем дело. А я не придумал на случай, если схватят, никакой правдоподобной истории. Вот болван! Он называет это легендой, как я сразу не догадался…

— Долго будешь молчать?!

Он теперь не улыбается, мой следователь с веснушчатым носом. Он визгливо кричит и ударяет кулаком по столу. Внезапно он замолкает, долго и трудно откашливается, а потом говорит своим прежним ласковым голосом:

— Если ты через пять минут не начнешь говорить правду, то мне придется передать тебя моему помощнику. Я не советовал бы попадать к нему, шалун. Он умеет делать больно и очень любит это делать. Повторяю, мне нужны явки и пароли для связи. Обещаю тебе взамен только одну вещицу — жизнь.

— Но я действительно пленный. Не могу же я на себя наговаривать…

Следователь нажимает кнопку звонка.

— Смотри, — усмехается он и снимает пенсне, — я предупреждал тебя по-хорошему, шалунишка. Когда тебе станет невмоготу больно — скажешь моему помощнику, и он сразу же позовет меня: слушать правду. Следователи любят слушать правду и очень не любят слушать ложь. Им тогда делается больно сердцу. Не так ли, шалунишка?

В кабинет входит помощник следователя гестапо — парень, похожий на вратаря — по облику. «Мой», закончив допрос и собрав со стола бумаги, аккуратно складывает их в папку и уходит. У двери он останавливается, оборачивается и шутливо машет мне рукой. Потом распахивает дверь и, закрыв ее за собой, запирает.

— Ком хиир, — говорит «вратарь».

Поднимаюсь, иду к нему.

— Исщо, исщо, — просит он.

Подхожу почти вплотную. «Вратарь» что есть силы бьет меня сапогом в пах. Я падаю. Он нагибается и начинает бить по шее ребром ладони. Из носа идет кровавая пена. Потом он топчет меня ботинками, подбитыми маленькими подковами. Я чувствую эти «полумесяцы» на своих ребрах. Он хватает меня за волосы и бьет лицом об пол. Раз, два, десять, тысячу раз. Я не могу ничего сделать

с этим градом ударов. Сил у меня нет. У меня есть зубы. Я хочу схватить зубами этого гада и перегрызть ему горло. Он чувствует, наверное, это мое сокровенное желание и бьет носком ботинка в губы. Это последнее, что я вижу и чувствую.

Через несколько дней — я не помню, через сколько дней точно, потому что долго пролежал без сознания, — меня вновь ввели в кабинет следователя.

— Ай-яй-яй, — сокрушается он, — как тебя сильно отделал мой помощник. Уй, какой он безобразник, надо будет давать ему фыговор. Твое красивое личико похоже теперь на ж…

— А твое — на… — И я даю ему то самое определение, на что похожа его физиономия.

Он хохочет и стучит ладонями по столу. Успокоившись, следователь снимает пенсне, вытирает платком слезы, долго трет замшей стекла, снова водружает пенсне на нос и говорит:

— Вот теперь ты сказал хорошо. Молодец, хвалю в приказе. Как настроение? Будем разговаривать или снова начнешь мне сочинять ерунду?

Молчу.

— Хорошо. Я буду говорить за тебя. Слушай меня, открыв широко свои розовые ушки. Ты — советский разведчик Сергей Иванович Строкин,

старший лейтенант НКГБ, 1916 года рождения, москвич, имеешь высшее образование — школу НКГБ, заброшен в наш тыл 26 октября 1943 года в районе Бреслау. Твоя цель — выйти на связь с вашим агентом, позывные которого 86–44, с тем, чтобы потом организовать контакт с коммунистическим подпольем, орудующим на заводах Бреслау. Полный текст легенды мы сочиним с тобой, если ты принимаешь мое предложение за основу. Ну?

Я не отвечаю.

— Если ты согласишься с моим предложением, я сделаю тебе очную ставку с тремя людьми, ты опознаешь их, и потом ваше дело будет вынесено на имперский суд. Ты будешь вести себя героически, будешь провозглашать свободу и независимость Советской Родины, славить Сталина и большевиков — таким образом, твоя совесть перед будущим, — следователь многозначительно поднимает указательный палец, — будет чиста, как стекляшечка. За этот героизм и верность воинской присяге ты будешь жестоко наказан имперским судом: ты будешь приговорен к пожизненному заключению в концлагере. Но так как ваша победа неминуема, то через пять-шесть лет тебя освободят, как героя. Все время следствия

ты будешь получать дополнительное питание и посылки Международного Красного Креста. Как тебе нравится мое предложение?

— Оно мне очень не нравится.

— Значит, петля тебе нравится больше?!

— Больше мне нравится задавить тебя, гадюку. Вот что мне нравится больше всего! Всех вас, как бешеных псов!

— Кончил ругаться? Имей в виду, если ты не примешь мое предложение — я передам тебя вашим людям из Освободительной армии Власова. Они с тобой будут разговаривать своими методами. А это значительно больней, чем мой помощник. Они отрезают тебе такие части мужского тела, без которых ты станешь девочка! Они снимут все твои аккуратные ноготки, чертежник! Они переломают тебе позвонок, и ты сдохнешь, как крыса, патриот родины!!! Понял?!

Молчу.

Следователь ищет ладонью звонок вызова, и в кабинет входят два охранника. Следователь тычет в меня рукой. Охранники наваливаются на меня, и снова происходит то, с чем меня познакомил неделю тому назад «вратарь».

Я вижу над собой лицо седого старика. Он гладит меня по голове, по щекам и по лбу. В глазах

у старика блестят хитрые смешинки. Он видит, что я пришел в себя, и поэтому лицо его расплывается в улыбке.

— Ну, друг? Здорово тебя отлупили?

— Здорово.

— Ты русский?

— Да.

— А я чех. Кто твой следователь?

— В пенсне, курносый…

— Очень точное определение, — улыбается чех. — В чем они обвиняют тебя?

— Говорят, что я разведчик.

— Ого, какое почетное обвинение. Поспи-ка еще немного, — вдруг говорит он, нахмурившись, — наверное, тебе рано так много говорить.

Я стараюсь повернуться на бок и чувствую, что не могу.

Чех помогает мне лечь на правый бок и, положив руку на мою голову, начинает укачивать, тихонько напевая ласковую песню. Я не могу не плакать. Не от боли, и не от обиды, и не от ненависти я плачу сейчас. Я плачу из-за того, что чех поет ласковую песню и держит большую руку на моей голове.

— Ты что, друг? — спрашивает он тихо. — Совсем не годится нам с тобой плакать. Ты смотри,

какое чудесное дело получается: вас двести миллионов, нас, французов, поляков, американцев, югославов и бельгийцев — никак не меньше миллиарда. А немцев знаешь сколько?

— Шестьдесят миллионов, — шепчу я.

— Ну, это ты ошибаешься, друг. Их миллионов десять. Я ведь говорю о фашистах, а немцы — разве все фашисты?

— Все.

— Ах, как неверно ты говоришь, мой товарищ. Так нельзя говорить. Мы коммунисты. Помнишь «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Это первым немец сказал, Карл Маркс.

— Он не немец, — говорю я, — он еврей.

Чех весело смеется, машет рукой, кашляет, потом снова смеется, и говорит мне:

— В моих жилах тоже течет еврейская кровь, но ведь я считаю себя по национальности рабочим. Помнишь, у Горького? Есть только две нации: нация бедных и нация богатых.

— Помню.

— Берешь свои слова назад?

— Нет.

— Ты упрямый!

— Так это же хорошо.

— В этом плане — плохо.

— Откуда вы так хорошо знаете наш язык?

— Чей это «ваш»? Разве русский язык принадлежит только вам?

Я вижу седого человека с удивительно веселыми глазами и стараюсь улыбнуться ему.

— Если мы все будем держаться так, как ты, тогда фашисты перепугаются. Слабый становится сильным, когда видит смирных и запуганных. Сколько их тебя избивало?

— Последний раз двое.

— Вот видишь! Считай, что ты здорово напугал этих двух. О, как ты их напугал, ты даже не представляешь себе, как ты перепугал их! А испуганный враг — уже побежденный. Понимаешь?

— Понимаю. Только пока что они наступают и берут наши города.

— Ты, наверное, недавно в тюрьме.

— Недели две-три.

— И все время в одиночках?

— Да.

— Значит, ты оторван от жизни. Я обязан провести маленькую политинформацию.

Чех рассказывает мне о положении на фронтах, глаза у него радостные, седые усы топорщатся, а коротко подстриженная борода торчит гордо и воинственно.

— Наверное, ты обманываешь меня, чтобы поддержать, — говорю я. — Не может быть, чтобы все было так хорошо.

Чех ударяет себя по коленям, удивленно смотрит на меня и смеется:

— Мы же с тобой не в детском саду. Мы с тобой в тюрьме, а здесь лучшим утешением всегда была правда. Потому что горькая правда лучше сладкой лжи.

— А за что тебя посадили?

— За массу всяческих дел. Особенно фашистам не нравилось то, что я рассказывал чехам правду. О, это прекрасная работа — говорить правду. Только очень трудная, пожалуй, самая трудная на земле. — Чех снова кладет мне руку на голову и усмехается. — Что-то я слишком много комплиментов наговорил самому себе. А ты откуда?

— Сбежал из лагеря. Они меня контуженого взяли, еще на границе. А я вот сбежал…

— Ого! Значит, все-таки из лагеря можно бегать?

— Трудно, конечно. А тебя они на сколько лет упекли? В какой лагерь?

Чех качает головой.

— У меня чуть-чуть похуже, — говорит он.

Я смотрю на этого «старика» — совсем еще

не старого, седого, изможденного человека, и чувствую, как холодею. Ведь он приговорен к расстрелу! Что может быть хуже лагеря?! Он словно угадывает мои мысли и отрицательно качает головой.

— Нет, — говорит он и досадливо прищелкивает языком, — еще неприятней. Они приравняли меня к Робеспьеру. Гильотина…

Ночью дверь камеры отворилась и вошли трое. Это были не надзиратели: все в штатском, очень сытые и торжественные.

Один из них — маленький, с красными, чуть обвисшими щеками — сказал:

— Пожалуйте, господин учитель Горак…

Чех быстро поднимается, так же быстро протягивает мне свою красивую, большую руку, видит, что я не в силах пожать ее, и осторожно гладит меня по лицу.

— Ну, — улыбается он, нагибаясь надо мной, — дай-ка я поцелую тебя, русский товарищ…

— Кто ты? — шепчу я и тянусь к нему, чтобы тоже поцеловать его.

— Фучик. Из Праги, — шепчет он, и старается улыбнуться, и никак не может оторвать своей руки от моего лица…

Так как я не «понял» добрых намерений моего

следователя «партайгеноссе» Отто Шульца — он на прощание сказал свою фамилию и выразил сожаление по поводу того, что нам не удалось найти общий язык, — меня отправляют в Восточную Пруссию, в штаб Освободительной русской армии генерала Власова.

Немцы есть немцы — пунктуальность и аккуратность отличают эту нацию. Врач признал меня «нетранспортабельным», а поскольку я нахожусь под следствием и могу отдать концы во время переброски в Восточную Пруссию, меня оставляют в тюрьме до «выздоровления».

В камере со мной теперь сидит лысый, очень веселый человек крохотного роста. Это немецкий коммунист — Вольфганг Штурмер. По-русски он разговаривает так же, как я по-немецки, но все-таки мы с ним объясняемся и прекрасно понимаем друг друга.

У Вольфганга переломана правая нога: гестаповцы переусердствовали во время допроса и не рассчитали удара свинцовым проводом. Поэтому Вольфганг пролежал два месяца в тюремной больнице, а теперь дожидается суда.

По утрам мой сосед делает зарядку и холодные обтирания.

Он рассказал мне, что ему инкриминируют

фашисты. Мы оба прекрасно понимаем, что его ждет. Тем не менее он ежедневно делает зарядку и напевает себе под нос веселые марши, чтобы держать дыхание и ритм.

— Марширен, марширен, генессен, — поет он, делая шаг на месте, — роте фане мит унс! Стьепа! — просит он. — Давай!

Я подпеваю ему. Вольфгангу нравится, как я подпеваю ему, он весело улыбается и начинает приседания. Это упражнение дается ему довольно трудно из-за больной ноги, я вижу, как его лицо кривится от боли, но Вольфганг не сдается. Потом он садится ко мне на койку и начинает делать массаж моих рук, груди, спины и ног.

— Ты устал, — говорю я через десять минут.

— Что?

— Устал, — повторяю я и показываю жестами то, что хочу сказать.

— Я? — удивляется Вольфганг и смеется. — Их бин боксер, фарштейст?

— Фарштее.

— Алзо, — говорит он и продолжает растирать мое избитое, вялое тело.

Когда ему становится невмоготу и пот заливает глаза, он начинает напевать марш и просит меня присоединяться. Я стараюсь вырваться от

него, но он не пускает меня до тех пор, пока не заканчивает массаж. После его массажа я могу сидеть и свободно шевелить руками. Ноги пока еще довольно плохо слушаются, но это уже не то, что было раньше. Когда я смог соображать, я перепугался, что они сломали мне позвонок и что ходить мне уж больше никогда не придется. Неделю тому назад я не мог шевельнуть ногами. Теперь — могу.

Нам приносят баланду, и я вижу, как Вольганг, став ко мне спиной, перекладывает из своей миски два кусочка картофеля мне.

— Эс гейт дох нихт, — говорю я известную мне фразу, но Вольфганг только смеется.

— Ду бист золдат, ду мус бин боксер, — смеется он, — их виль нихт эссен…

Мы спорим до тех пор, пока он не садится рядом и не начинает кормить меня с ложки.

После «обеда» Вольфганг устраивает себе двухчасовую прогулку. Заложив руки за спину, он ходит из угла в угол. Ходит он на носках, чтобы не будить меня. Вообще, заботливость этого человека поражает меня все больше и больше. Ну, казалось бы, кто я ему? А вот поди ж ты — отдает свой последний кусок, лечит, как может, и заботится, словно отец.

«Он же немец, — мстительно говорю я самому себе. — Проклятая нация, — передразниваю я себя. — Дубина и дурак. Прав был тот чех из Праги. Фашисты называли его “лерером”. Лерер — учитель. Кстати, “горак”… Любопытно, что значит это слово? Фамилию? Но его фамилия — Фучик, он же сам сказал мне… Может, “горак” — “география” по-чешски?»

— Вольфганг, вас ист «горак»?

Не прерывая своей «прогулки», он отвечает:

— Вайс нихт…

— Лерер Горак, — повторяю я.

— Вайс нихт, фрейнд, — снова отвечает он.

— А Фучик?

Вольфганг останавливается так, будто налетел на какое-то невидимое препятствие.

— Юлиус? — спрашивает он.

— Вайс нихт. Фучик из Праги.

Вольфганг улыбается, кивает мне головой:

— Да, да, Юлиус Фучик, редактор «Руде право». Ер ист майн фрейнд.

— Он гильотинирован.

— Что?!

— Да.

Обхватив голову руками, Вольфганг садится на пол. Он стонет, он бьет себя кулаками по лысой

голове и раскачивается из стороны в сторону.

Вечером он замирает у стены и осторожно начинает перестукиваться с соседом, Он прижимается ухом к стене и слушает ответ товарища.

— Вир зинд ин Киев, — шепчет он мне.

«Вир» — это «мы». Мы — это коммунисты. Ого, совсем недолго и до Берлина. Я сразу же прикидываю на километры. Выходит не больше полутора тысяч. В день можно пройти по двадцать километров. Семьдесят пять дней — и наши в Берлине. Я понимаю, что моя арифметика наивна и поребячески беспочвенна. Но мне очень хочется верить именно в эту арифметику. Семьдесят пять дней я продержусь, что бы они со мной ни выделывали. Вольфганг тоже продержится: они ведь казнят не сразу после суда, а мучают несколько месяцев в камере смертников. С мыслью об этих заветных семидесяти пяти днях я засыпаю.

Павел Павлович — мой следователь. Он — лыс, стар и болен. Я вижу, что он болен, по тому что у него все время закипает пена в уголках рта и еще потому что лицо у него желтое и до невозможности худое.

— Ну-ка, хлебало открой, — говорит Пал Палыч.

— Что?

Он грязно ругается и повторяет:

— Хавало открой свое! Рот, понял?!

Открываю рот. Он заглядывает, как говорят врачи, в зубную полость и сердится:

— Что, «желтую сару» уже сняли гансы?

Я ничего не понимаю.

— Фиксы, говорю, фиксы гансы сняли? Ну, фиксы, золото, не понимаешь, что ли?!

— Теперь понял. Не было у меня «желтой сары».

— Экономно жил?

— Экономить было не с чего.

— Не давали большевички навару? В черном теле держали?

— В каком?

— В черном! — орет Пал Палыч. — Больной, что ли?!

— Я-то здоровый…

Пал Палыч обегает стол и ударяет меня по щеке.

— Давай, намекни-ка еще разок, я тебя отделаю в два счета.

— Что вы ругаетесь, как в очереди?

Пал Палыч отступает на шаг и начинает смеяться. Лицо его подергивается, в уголках рта закипает пена.

— Ты — умненький, — усмехается он, — шутить любишь. Колоться станешь или будешь ж… вертеть?

— Нет ее у меня. Кости одни остались.

— Пожалеть?

— Пожалел волк кобылу…

— Какая ты кобыла? Я бы кобылку пожалел. У лошади сердце большое и глаз добрый. А ты — человек. Самый страшный на земле зверь. Или я тебя, или ты меня. Какой номер обуви, подследственный?

— Сорок второй.

— Костюм какого размера носил?

— Тот, что украл?

— Ты мне не верти! Украл… Дома какой размер носил?

— Не знаю.

— Как не знаешь?

— У меня один и был-то костюм, отец подарил ко дню рождения.

— Давай, давай, чекистская харя! «Отец подарил»! Мозги-то мне не крути, знаем, сколько вам грошей отваливали. Высосали из народа всю кровушку… А ну, стань к стене!

— Стрелять хочешь?

— Мараться!.. Исполнителя держим — все, как

у больших.

Я подхожу к стене. Он меряет мой рост линейкой, работает ею легко, как купец.

— Так я и думал, — говорит он, — пятидесятый, третий рост.

— Что, в торговле работали?

— Точно. Продавал, — тихо отвечает он. — Продашь — а сердце сладенько так щемит и в слезу тянет. Русский слезу любит. И покаянье — тоже. А без содеянного ведь не покаешься.

— Федора Михайловича перечитался?

— Нет, — смеется Пал Палыч, — актов ревизий.

Он снимает трубку телефона и набирает четырехзначный номер.

— Алло, Иван Васильевич? Привет. Пятидесятый, третий рост. Сорок два. Точно. Да. Ну, как у тебя? Ага, слышу. Горластый… — Следователь манит меня к себе. Я подхожу к нему, и он передает мне трубку. — Слушай, — говорит он, — твои друзья концерт дают.

Я беру трубку и слышу в ней отчаянный, нечеловеческий вой, чей-то пьяный смех и крики. Ударить этой трубкой Пал Палыча по голове? Какой смысл? Убить я его не убью, а они со мной покончат в два счета. Шишка на голове этого ублюдка не стоит моей жизни.

Передаю трубку Пал Палычу. Он жадно смотрит в мое лицо.

— Страшно? — спрашивает он.

— Страшно.

— Мне — тоже.

— Предателям всегда страшно. Они — трусы.

— Да что ты! — удивляется Пал Палыч. — Предатель — он всегда храбрый, он возмездия ждет, а все равно отступничает. Думаешь, мне по ночам пенька ноздри не щекочет? У-у-ух, как щекочет. Коньяк пью — трезвею, спать не могу, страх душит. Но утром-то я где? Здесь я утром. И — боец!

— Какой ты боец? Палач.

— Разве я тебя мучил? Пальчики тебе ломал? Низ резал? Я с тобой, как боец с бойцом, — почестному, я — вот он весь. Я мук тебе не делал, зачем напраслину возводишь?

— Будешь еще, наверное…

— Я — нет. А за других ответ не держу, не табуном живем, каждый по своей свободе.

— По «свободе»? Дерьмо ты, Пал Палыч… И даже по русскому имени противно тебя называть.

В кабинет приносят власовскую форму. Павел Павлович берет френч, привычным жестом продавца меряет его на руку и протягивает мне:

— Пятидесятый. Третий рост. Носи на здоро-

вье.

— Не пойдет у нас дело, Павел Павлович.

— Плохо будет. Боль будешь чувствовать. Горло сорвешь, а потом — все равно согласишься. В гестапо тебя просто лупили. Это не страшно, они аккуратисты, гансы-то. Аккуратисты вонючие. Побили — велик страх! Мы страданий больше гансов прошли, у нас в каждом своя досада. Гансы служат, когда бьют, а мы, когда вашего брата обрабатываем, мы тоской своей русской исходим, правду ищем. Вот какой коленкор выходит, так что смотри!

— Ладно, посмотрю.

Пал Палыч говорит:

— В окошко глянь. Не бойсь, не бойсь, заглянь, там решетка, все одно ничего не сделаешь. Вишь одноэтажненький домишко? Это тюряга, а за тем забором — наш спецлагерь для тех, кто вроде тебя фордыбачит и лягается. Знаешь, что такое спецлагерь? Это вот что: немцы — химики, они, когда кой-чего изобретают, на жидочках испытывают, но ведь жид — из юркости составлен, поди угадай, как немецкие лекарства будут на обыкновенных людей действовать. Так вот, мы спецлагерников к евреям приравниваем. Когда у аккуратистов появляется нужда — так отрываем с работы одно-

го-двух и отправляем в лаболатории.

— «Лаборатории» надо говорить, а не «лаболатории»...

— Силен. Страх в себе дерзостью давишь? Силен, ничего не скажу. Ну так что? Попробуешь боль или в согласие перейдешь?

— В согласие не перейду.

— Дурак обратно же. Ты моего совета послушай: надень форму, сапожки — и на фронт, а там жик-жик — и к своим. Так, мол, и так, заставил меня Пал Палыч.

— А фамилия у Пал Палыча какая?

— Абрамсон у него фамилия! Абрамсон, по имени Еврей Иванович!

— Ясно.

— Ишь, чекист вонючий выискался! А ну, надевай форму, падла!

— Не сторгуемся. Пал Палыч. Не выйдет.

Пал Палыч набирает номер и говорит в трубку, посмеиваясь:

— Иван Васильевич? Привет. Снова Баканов беспокоит. Веселый у меня сидит. Ох, веселенький. Заходи с ребятами, побалакаем, может, на месте все и решим. Ладно? Жду. А как твой? Ясно. Ага. Ну и слава богу.

Иван Васильевич все время сосет леденцы:

поэтому изо рта у него пахнет кондитерским магазином. Руки он держит в карманах, брови — густые, нахмуренные, сросшиеся у переносья. Лоб высокий и гладкий — без одной морщинки.

— Грабли на стол, — негромко говорит он.

Я кладу руки на стол. Он стремительно вытаскивает свою правую руку из кармана и бьет что есть силы по моим пальцам. Я ору. Сначала я ничего не могу понять, а потом вижу кости, торчащие из мяса: он перебил мне два пальца. Я вижу его как в тумане. Я вижу его руку и на ней — кастет с шипами.

— Отопри шкаф, — говорит он Пал Палычу.

Тот отпирает дверцы и, подняв меня за воротник, затаскивает в шкаф. Дверцы захлопываются, щелкает замок. Я заперт в шкафу. Из перебитых пальцев льется кровь.

— Когда чего надумаешь, — говорит Павел Павлович, — покричи громко-громко, охрана услышит — отопрут. Только про хорошее кричи, про согласие. Про несогласие свое не кричи, а то еще хуже будет.

Унизительно и гадко вспоминать и описывать все это. Человечеству, конечно, надо знать про то, с чем шел фашизм. Но если люди будут знать до тонкостей о том, через что мы проходили, — то-

гда дети станут рождаться стариками. Ничего не надо бояться в жизни. Ничего — кроме фашизма. Его надо уничтожать во всех проявлениях. Иначе — мир кончится.

Глава третья

Уже три месяца я живу в концлагере. Приговор: пожизненное заключение.

На груди и на спине у меня красная мишень. Это прекрасно, мне радостно носить на груди красную мишень, хотя зеленый или черный винкель несут с собой куда более легкую жизнь в лагере, потому что черный и зеленый — это жулики, или сутенеры, или убийцы.

В сравнении с тюрьмой концлагерь — легче. Нас в бригаде двенадцать человек. Мы остаемся на аппельплаце после переклички.

— Скидавай сапоги, — командует наш капо.

Два француза приносят двенадцать пар новых хромовых сапог.

— Наденете эти сапоги, — лениво говорит капо, которого все зовут «дядя Петя», — побегаете в них по плацу, походите по лужице и потопчете песок. Господам немецким офицерам нужна хорошая обувь. Есть вопросы?

— Вопросов нет, — быстро отвечает бригадир Коля Лучников.

— Вперед! — командует он нам. — Бегом!

Бегу и чувствую, как на пятках набухают волдыри. Они переливаются под кожей, рвутся и болят ноющей, тяжелой болью.

Коля Лучников бежит рядом и смотрит на нас страдающими глазами.

— Ничего, ничего, — шепчет он, — ничего…

— Может медленней, — просит кто-то, — а то невмоготу.

— Сейчас, вот только за барак отбежим… — отвечает Коля. За бараком, который скрывает нас от охранников, стоящих на вышке, Коля командует:

— Стоп! Марш на месте!

Он громко кричит эти две команды, а потом шепотом объясняет:

— Маршируйте, не отрывая подошв от земли, ясно?

— Ясно.

— Если кто заметит, для вида, буду драться, поняли?

— Поняли. — Лица в бригаде веселеют, и мы начинаем сосредоточенно размахивать руками, не отрывая ног от земли.

Коля переходит от человека к человеку и негромко разговаривает с каждым. Очередь доходит до меня.

— Откуда?

— Из тюрьмы.

— За что сидел?

— Побег из лагеря.

— Когда бежал? Из какого лагеря?

— В сентябре, из шахты «Мария».

— Какого числа точно?

— Кажется, семнадцатого.

— «Кажется» у нас не считается…

Он переходит к следующему и там тоже ведет тихий и быстрый разговор. Вдруг, оборвав на полуслове, Коля Лучников бьет моего соседа по лицу, потом перекидывается на следующего, и тоже дает пощечину, и начинает орать хриплым, не похожим на свой голосом:

— Выше ноги, скоты! Выше! А ну — книбойчик!

«Книбой» — это гусиный шаг. Упражнение для сильных спортсменов, а не для лагерников, а тем более в тесных сапогах, когда все ноги в волдырях.

«Провокатор, — думаю я, — а все нюни распустили! Ай-яй-яй, как нехорошо получилось. У

меня хвостов нет, я один шел по делу, а остальные, может, про товарищей ему рассказали…»

— Кругом! — командует Коля.

Мы поворачиваемся кругом вразнобой.

— Отставить! — надрывается Коля. — Через какое плечо вертитесь, б…?! А ну, кругом!

Теперь мы поворачиваемся все сразу через правое плечо и видим около угла барака капо дядю Петю. Он стоит, поигрывая хлыстом, и внимательно смотрит на Колю. Тот словно не замечает его.

— Бегом марш! — орет бригадир.

Мы срываемся с места. Коля бежит рядом с нами. Вот он, наконец, «видит» дядю Петю, вытягивается по струнке и весело рапортует:

— Гоняю молодцев, дядя Петя!

Тот молчит. Когда мы все поравнялись с ним, он хлещет Колю нагайкой по шее, грозит ему кулаком и лениво уходит.

Коля — красный от злости. Он шепчет ругательства и тяжело сопит. Ноздри у него раздуваются, а под кожей щек перекатываются тугие желваки.

Он уводит нас в другой конец лагеря, прячет за бараком, и повторяется прежняя процедура. Мы маршируем на месте, а он продолжает разговор с остальными товарищами как ни в чем

не бывало.

Потом он объясняет каждому:

— Полагается за день разносить четыре пары сапог для офицеров и три — для солдат. Вы будете разнашивать всего четыре пары вместо семи. Остальные просто наденете и пошаркаете об асфальт. Только посильнее, чтобы не придирались. Заметят — сегодня же в крематорий. Если продашь — завтра будешь в крематории. Об этом позаботятся. Понял?

— Понял.

— Согласен.

— Еще бы.

— Завалишься — бери все на себя.

— Конечно.

— Мютцен аб! — дурным голосом орет Коля. — Шапки долой!

И — бежит к эсэсовцу, который идет мимо нас.

— Герр блокфюрер, докладывает номер 18519…

Блокфюрер машет рукой и проходит дальше, ни на кого не глядя.

Коля весело смотрит ему вдогонку и говорит нам:

— У него триппер, ему сейчас не до нас.

Мы смеемся. Спрашиваем — откуда известно…

— Узун-кулак, длинное ухо, или восточный

телеграф старого каракалпака Узуна Бухеева, — улыбается Коля, — мы, ребята, всё знаем.

— Ты кто по профессии? — спрашиваю Колю.

— Танкист. До войны — шофер.

— Ильфа и Петрова наизусть знаешь?

— Нет. У нас один старичок есть, профессор, так он лекции по литературе проводит.

Старика-профессора зовут Валерий Петрович. У него туберкулез, и стоило многих усилий снять его с тяжелой работы и устроить на одну из самых хороших лагерных должностей — ассенизатором. По вечерам Валерий Петрович читает лекции по литературе. Сегодняшняя тема — поэзия тридцатых годов. Я опоздал к началу. Протиснулся поближе к столу. Валерий Петрович говорил, кашляя и глубоко затягиваясь дорогой английской сигаретой:

— Мандельштам как никто хотел понять и упорядочить окружающий мир. В его поэзии действуют центростремительные силы. Тишину он сравнивал с прялкой. Этим он разгадывал иррациональнее понятие. Его можно было потрогать руками, оно превратилось в знакомый всем предмет — в прялку. Товарищи, кто из вас помнит Гомера? Такие вещи надо помнить, их надо прочесть в десять лет, чтобы в пятнадцать

перечитывать, а в тридцать знать наизусть. Ну так кто? Стыдно, товарищи, стыдно. Неужели никто не помнит? Все-таки, я глубоко убежден: чтобы любить Мандельштама, надо хорошо знать Гомера. Так вот:

Ну а в комнате белой
Как прялка стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской
И кислым вином из подвала,
Помнишь, в греческом доме
Любимая всеми жена,
Не Елена – другая,
Как долго она вышивала…

Как видите, здесь всё — вещи, вещи и снова вещи нашего с вами каждодневного обихода: уксус, краска, кислое вино из подвала… Мандельштам размышлял над такими понятиями, как Россия, как наш век. Он конкретизировал и эти космические понятия, и снова — через знакомые всем предметы.

Чудовищно, как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.

Или же:

Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку – в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
…течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Человек я, не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет…

Кто-то негромко говорит:

— Ну да… А нас-то здесь? Стреляют, жгут, вешают. Кто — волки, что ль? Конечно, псы, а не люди…

— Ну, это, простите, милый мой, чушь! Нонсенс! Нехорошо так говорить. Я позволю себе опять-таки обратиться к Мандельштаму.

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну,
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Обратилось в улицу, в страну,
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину!

— А вы, милейшие, говорите… Повесить, рас-

стрелять… сжечь — совсем не значит еще убить. «Мыслящее тело обратилось в улицу, страну»! Очень может быть, что нашими именами люди будут называть улицы.

Коля Лучников мечтательно улыбнулся:

— Черт, прогуляться б после войны по улице имени меня!

Перед отбоем я подхожу к Валерию Петровичу.

— Скажите, пожалуйста, — спрашиваю старика, — а Маяковского вы, по-видимому, не любите?

Валерий Петрович изумленно смотрит на меня и сердито отвечает:

— Болваны противопоставляют поэту поэта. Люди, слагающие честные стихи, — прекрасны, вне зависимости от избранной ими формы. Я обожаю Маяковского. И спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Не сердитесь, пожалуйста…

— Постараюсь. Ну, идите, идите же, я плохо засыпаю после таких ортодоксальных вопросов.

Последние три дня бесконечным потоком приходили транспорты с новыми партиями заключенных. Товарищи из лагерной канцелярии передали, что пригнали партизан с Украины, из Польши и Югославии. Все три дня в лагере пахнет

гарью и в воздухе летает черная гарь: это значит, что печи крематория работают беспрерывно. Один заключенный из команды, обслуживающей печи, бросился на колючую проволоку: рассказывают, что среди польских партизан, которых загнали в крематорий, он узнал мальчика-сына, единственного родного ему человека на земле.

Настроение у всех подавленное. Коля Лучников тревожно заглядывает в лица новичков. Вечером он отзывает меня в сторону и спрашивает:

— Ты как в плен попал?

— А ты как?

— Раненым.

— А я сам сдался.

— Точно?

— Зачем глупые вопросы задаешь…

— Не такой уж он глупый, мой вопрос. А с лагеря почему бежал?

— У капо рожа не понравилась. Он — брюнет, а я, понимаешь ли, блондинов люблю.

— Ясно.

— Еще вопросы будут?

— Вопросов больше не будет. Одна просьба будет. Выполнишь?

— Смотря какая.

— А вот такая: я сейчас здесь с двумя хорошими

людьми должен увидаться. Так ты нас постереги. Если кто пойдет — свистни, а если помощник капо выйдет, Чарквиани, — как хочешь, но задержи.

— С кем встреча?

— С нужными людьми. С коммунистами. Сделаешь?

— Ладно.

Коля юркнул в барак, через несколько минут вышел оттуда и скрылся за углом.

Я прохаживаюсь около двери и смотрю по сторонам. Мне не совсем понятен Коля, но то, что он делает с сапогами для фашистов, грозит виселицей в первую очередь ему как бригадиру. Это — «визитная карточка порядочного человека», как говорит Валерий Петрович. Я не успеваю ни до чего додуматься: из двери выходит помощник капо Чарквиани и направляется за угол, туда, где сейчас стоит Коля с его нужными людьми.

— У меня вопрос, — говорю я и закрываю Чарквиани дорогу.

— Потом.

— У меня сейчас вопрос к вам.

Чарквиани бьет меня по шее:

— А ну, пусти!

Я громко вскрикиваю. Меня не может не услы-

шать Лучников. И он действительно, слышит меня, потому что мгновенно оказывается рядом.

— Тише ты! — шипит Коля. Чарквиани тоже шипит на меня, и оба они, переглядываясь, улыбаются. Все сразу же становится на свои места: ребята проверяли меня.

Стоим втроем: Чарквиани, Коля и я. Говорит Чарквиани:

— В другой раз не кричи так, будто тебе не дают баланды. Думать надо хоть немножко.

— Стараюсь.

— Старайся, только не так громко. У нас уши есть: говори — услышим, закричишь — испугаемся.

— Пугливые мы, — поясняет Коля.

— Все понял? — спрашивает Чарквиани.

— Ничего не понял.

— Коля разъяснит.

Чарквиани вразвалочку уходит.

— Вот так, — раздумчиво глядя вслед ушедшему помощнику капо, говорит Коля. Он ждет, пока тот скроется за угол, а потом продолжает: — Тут у нас вроде бы и лагерь, а если повнимательней посмотреть — так подпольная армия. И от имени боевого центра предлагаю тебе вступить в нашу организацию.

Из трубы крематория валит жирный, черный дым. Вышки щерятся пулеметными дулами. По колючей проволоке пропущен ток высокого напряжения. Передо мной стоит живой скелет в полосатой одежде каторжника, с красным треугольником на груди, и спокойно смотрит на меня, ожидая ответа. Я не могу сразу ответить. Коля, по-видимому, понимает мое состояние. Он пожимает мою руку, хлопает по плечу и уходит в барак.

Чарквиани почти ни с кем не общается. Его оберегают, во-первых, потому что он знает немецкий язык, а во-вторых, потому что он помощник капо. Очень важно иметь в рядах подпольной организации такого высокого лагерного начальника. Чарквиани может перемещать с тяжелой работы на более легкую и тем поддерживать вконец ослабших товарищей. Потом, его любит уголовник-немец из лагерной картотеки за умение показывать фокусы со скорлупкой и с узелком. Немец зовет Чарквиани «кляйн Сталин» и за взятку готов выполнить любую его просьбу. Поэтому Чарквиани по поручению подпольного центра держится особняком, иногда даже орет на нас, а в присутствии эсэсовцев может дать подзатыльник. Мы ему подыгрываем и на него

сердимся особенно заметно, так, чтобы это видел капо дядя Петя.

Вечерами Коля Лучников пропадает. Возвращается он поздно и всегда с новостями. Он приносит сводки Совинформбюро. Он помнит их наизусть. Заучиваю сводки и я, с тем чтобы потом передать трем наиболее верным товарищам, которых мне указали. А те — в свою очередь — другим. Так мы несем в лагерь правду, потому что слушать гитлеровские последние известия из репродуктора, укрепленного на высоком столбе около аппельплаца, довольно гадостно. Мы-то знаем, что они все врут, но докопаться до правды из их сообщений — невозможно, потому что они здорово научились делать свои передачи.

Дядя Петя просыпается утром с мутными глазами. Они у него какие-то незрячие, будто подернутые голубоватой пленкой. Он не завтракает и, быстро одевшись, куда-то уходит. Возвращается он часа через полтора — свежий, помолодевший и ясноглазый. Мне Коля объяснил, что дядя Петя больной человек — садист. Он по утрам ходит к эсэсовцам — вымаливает дать ему кого-нибудь убить. У нас он это делать боится, а в другой зоне — отводит душу — думает, что мы не узнаем. Степень его благодушия зависит от того, сколь-

ких он человек убил с утра. Однажды он вернулся в барак добрый, ласковый и улыбчивый. Я в тот день оставался в бараке уборщиком. Он увидел меня с веником, остановился и спросил:

— Ну что, молодой человек, выучился чему-нибудь хорошему в лагере?

А мне только за день перед этим про него все рассказал Коля. Я посмотрел на его улыбающееся, гладкое лицо и сказал:

— Выучился.

— Чему же ты выучился?

— Таких, как ты, ненавидеть смертной ненавистью выучился.

Дядя Петя съежился и отошел к Чарквиани. Он сказал ему, усмехаясь и подмигивая левым глазом:

— Погубите парня, майоры да полковнички! Сами-то молчите, он — брякает. Хорошо, у меня грусть сейчас, не до него мне, утром, пожалуй, им займусь…

И — ушел к себе в комнатку.

Чарквиани вечером вызвал меня из барака. Там за углом стоял Коля Лучников и еще один незнакомый мне человек с серым больным лицом.

— Он, — сказал человеку Чарквиани.

Тот рывком поздоровался со мной и, кашляя,

стал говорить:

— В первый раз за нарушение конспирации мы объявляем вам строгий выговор. В другой раз вы будете наказаны по-настоящему. Тоже мне — героизм: сказать палачу, что он палач! Уничтожить палача и самому остаться жить — вот героизм! А вы своим трепом ставите под удар подпольную боевую организацию. В случае повторения подобного — пеняйте на себя.

Он так же рывком попрощался со мной и ушел.

Утром дверь комнатушки, в которой жил капо дядя Петя пришлось взломать. Он сидел на полу около кровати. Шея была перетянута полотенцем. Язык вывалился. Глаза смотрели ясно и чисто. Пленки на них не было. К груди у него была приколота записка: «В смерти моей виновата больная нервная система и любовь к людям».

Хотя о моей стычке с капо никто не знал, все же Коля через Чарквиани устроил мне перевод в цех завода «Фокке-Вульф». Вечером меня увезли в малый лагерь. Я знал, что ко мне на заводе должен будет подойти немец и спросить:

— Ты по фрезам специалист или револьверщик?

Мне надлежало ответить:

— По наладке.

Если немец скажет: «Наладь фрезерный, там резец стачивает» — тогда можно доверяться ему во всем. И еще одно: немец, с которым я должен был выйти на связь, хорошо говорит по-русски.

С этим я и уехал. Когда наутро я шел через цеха немецкого завода, меня испугала и потрясла мощь и сила станков, организованных в стройные колонны. Такого я в Москве перед войной не видел. Здесь все громыхало, сотрясалось, ухало и стонало. За этими звуками крылась неистребимая сила, работающая на войну.

Ничто меня так не пугало: ни лагерь, ни Павел Павлович, ни сводки немецкого командования, ни угольные забои шахты «Мария», — как эти цеха, сверкающие блеском новых станков. Здесь было истинное сердце войны — сердце, которое работало ритмично и спокойно, словно организм спортсмена. То, что я сейчас вижу, — страшно, потому что это — сильно и напористо, как победа.

Из-за грохота я не слышу голоса человека, который трогает меня за плечо. Ему приходится кричать мне на ухо:

— Ты по фрезам спец или револьверщик?

— По наладке.

— Очень хорошо. Сейчас пойдем в наш цех —

там наладишь фрезерный, резец стачивает.

— Ладно.

— Что?!

— Ладно, говорю.

— А… Понял! Я не слышу одним ухом. Левым. Понимаешь, не слышу.

— Понимаю.

В «нашем» цеху тише, потому что станки здесь более изношенные. Немец поворачивается ко мне левым ухом и говорит:

— Ты — Богданов? Да? А я — Линдер.

— Очень приятно.

— Как дела в большом лагере?

— Хорошо.

Линдер смеется.

— «Хорошо», — повторяет он. — Очень точное определение для нашего лагеря. Итак, что ты намерен делать в цеху? Будешь налаживать станки?

— Я это умею делать так же, как вы — петь в опере.

Линдер хохочет:

— Мой друг! Я кончил Московскую консерваторию и был певцом в Берлинском оперном театре!

— Вы?!

— Я. Но это из области истории. Кто ты по профессии?

— Недоучившийся актер.

Теперь моя очередь смеяться, потому что на лице Линдера изумление и растерянность.

— У нас не цех, а труппа, — говорит он, — кстати, надо будет подумать о первомайском концерте. Это был бы очень неплохой подарок товарищам. Значит, ты ничего не понимаешь в технике? Плохо. Придется тебе заняться токарным делом.

Украинец Приходько — прекрасный токарь. До войны он был награжден орденом Ленина как ударник. Об этом, конечно, знаю только я и Линдер. Спаси бог, если про это пронюхают немцы. Приходько зовут Мыкола. Вернее, он сам так называет себя — истинно по-украински, твердо, но в то же время певуче и ласково. Меня он называет Стэпан, и звучит мое имя в его произношении необыкновенно красиво и певуче.

Работает Приходько совершенно поразительно. Я любуюсь филигранной точностью движений. Кажется, его руки живут отдельно от него самого. Он быстро разговаривает со мной, смотрит по сторонам, изредка — прищуром — переглядывается с Линдером, но это не отражается на его работе. Сначала я любуюсь его артистичным трудом, а

потом недоуменно смотрю на Приходько: ведь это он на немцев так работает!

Линдер привел меня к нему неделю тому назад — учиться.

Я учусь прилежно, но все время недоумеваю: какой резон так мастерски вытачивать детали для фашистов? Сначала я думал, что Приходько берегут для какого-то другого, неведомого мне дела, но, наблюдая за ним, я ничего не заметил. Хотя, быть может, здесь настоящая конспирация.

Понял я все, когда сам начал работать — и не подручным, а токарем.

— Ты теперь все усвоил, — говорит мне Приходько, — по-нашему, усвоил. Сейчас я тебе объясню, как надо усваивать по-немецки. Мыкрон — понимаешь, что значит?

— Мыкрон?

— Ты ж не украинец, не «ы» говори, а «и».

Смеемся. Он продолжает:

— Так вот, в каждой детали неточность допускай на микрон или на половинку — всего-навсего. Больше не надо: повесят. А микрон — тоже немало. Теперь: резцы кроши. Дай побольше деталей на выработку, подприбавь оборотов — и готово! Мастеру жалуйся: хочу, мол, побольше дать выработки, вон сколько даю, а они — ломаются. При

нем — рубай, как волк, микрон соблюдай, иначе тоже — повесят. Наука простая и несложная. Опасности никакой, только все с головой надо делать. У нас тут расстреляли перед тобой одного: так он неточность на глаз гнал. Це ж олух! Немца храбростью одной не возьмешь, его умом надо брать и хитростью.

Линдер пришел ко мне в барак и сказал:

— Степан, сейчас заучи новую политинформацию, только что с радио. Передашь людям.

— Я еще не многих знаю. Кому можно передавать?

— Попробуй поговори с Емельяновым, с двумя молодыми пареньками, которые стоят в углу, и с поляком Хрунским. Больше пока ни с кем не надо. Этих товарищей мы закрепляем за тобой, договорились?

— Хорошо.

— Привет от Коли.

— Спасибо. Как он?

— Все в порядке.

— Передай ему поклон.

— Ладно. Если с твоими людьми выйдет какая-нибудь осечка — сразу же сообщи. И все время учись у Приходько, мы тебя планируем перевести в другой цех, там мало наших людей.

Емельянов — подполковник-летчик. Партийность — неизвестна. Прошлое — тоже. Очень молчаливый и замкнутый человек.

— Хочешь закурить? — спрашиваю его вечером.

— С удовольствием.

— Держи.

— Ого! Какие вкусные сигареты. У самого-то осталось?

— Есть.

Емельянов затягивается, ярко разгоревшаяся сигарета освещает его сильное лицо. Курит он жадно и затягивается так, что весь дым в него уходит. Некоторые курят так, что много великолепного, синего, сладкого табачного дыма уходит в воздух. Значит, эти просто не умеют курить. Или неряхи. Сигарета — ценность, лучше половинку отдать товарищу, чем безалаберно тратить дым, выпуская его в воздух.

Мне нравится, как курит Емельянов. Не то чтобы жадно, зато очень аккуратно и экономно. Он докуривает ровно до половины, с сожалением смотрит на сигарету и протягивает остаток мне. Теперь курю я, а он изучающе разглядывает меня своими зелеными, широко поставленными глазами.

Молодые парни: лейтенанты Санька и Геныч — неразлучные друзья. Они попали в плен нелепо и случайно. Сидели на НП полка, смотрели в бинокли на передовую: как развертывалась атака. И вдруг выронили бинокли из глаз, потому что сзади ударили по головам прикладами автоматов. Эсэсовцы-разведчики напали на них так неожиданно, что никто не успел даже выстрелить.

Санька и Геныч — матерщинники. Они все время матерятся — до сих пор не могут опомниться, как нелепо и обидно попали в плен. Работают они как надо: вразвалочку, часто ломают резцы, — но не научно, не как мы с Приходько, а от неумения и злобы. Эти мне ясны. Я сижу с ними и рассказываю последние сводки Информбюро. Ребята радостно улыбаются и тихонько матерятся. Только матерятся они сейчас не зло, не надсадно, как обычно, а ласково и необыкновенно душевно — будто молитву шепчут.

— Слыхал, — говорят они кому-то, кто стоит за моей спиной, — наши-то как жмут, а?!

Оборачиваюсь: там стоит Емельянов и ухмыляется.

— Присаживайтесь, — говорю я, — сидим тут, балакаем.

— Ну, разве что только если балакаете. Так,

значит, жмут наши, говорите?

— Я, простите, ничего не говорю.

— Как так не говоришь? — возмущаются Санька и Геныч. — Только сейчас такую нам картину положительную расписал, а теперь…

— Я что-то тоже ничего не слыхал, — медленно цедит Емельянов, — стоял рядом, а не слыхал. Про девочек — слыхал, про победы доблестных немецких войск — тоже, а про остальное — не слыхал. Вот так-то…

Санька и Геныч, матерясь, переглядываются и мучительно краснеют.

— Ты в следующий раз с каждым поодиночке говори, чудак, — советует Емельянов, — а то просто партсобрание открыл.

— Что, часто приходилось на партсобраниях бывать?

— Часто. С двадцатого года и по тридцать седьмой включительно.

— Только по тридцать седьмой?

— Да.

— Почему?

— А потому что я — враг народа.

«Провалился! — мелькает в мозгу холодная и быстрая мысль. — Болван, идиот, конспиратор!»

— Что, доносить пойдешь?

— Не пойду — побегу. Может, лишнюю миску баланды заработаю.

— Может, я свою отдам, — предлагаю я, стараясь улыбаться, — так не побежишь…

— Если свою отдашь — тогда подумаю, — может, и не побегу. А пока сигарету давай, хвастался, что еще две штуки про запас хранишь.

— Обе отдавать или как?

— Да нет, обе пока не надо.

Он снова докуривает до половины, половину протягивает мне, ждет, пока я докурю ее до самого конца, а потом, понизив голос до шепота, говорит:

— Ты там передай, что я — летчик-испытатель, по-старому — комбриг Емельянов, освобожден немцами из пересыльной тюрьмы в Бресте, куда вызывался для очных ставок с подследственными коммунистами, арестованными в апреле сорок первого года за панические слухи о подготовке Германией войны против нас и за близорукую антифашистскую агитацию. Ушел в партизаны, сняв форму с мертвого летчика-подполковника. Там дрался до сентября сорок второго года. В плен взяли раненым. Вот, смотри, — он берет мою руку и прикладывает к своему затылку. Я чувствую страшный, мягкий шрам. — Еще скажи, что аре-

стован был по доносу провокаторов…

— У партизан?

— Да нет, — морщится он, — в Москве, в тридцать седьмом году.

— Какие в Москве провокаторы?!

— Ну, это не твоего ума дело, молод еще.

Он откашлялся, потом приблизил ко мне свое лицо и, заглянув в глаза, моляще прошептал:

— Скажи только, товарищ дорогой! Обязательно скажи…

Линдер очень взволнован моим сообщением.

— Ты пока ни с кем политбесед не проводи, — говорит он, — ни с ребятами, ни с Хрунским.

— Я с Хрунским еще не успел.

— Ну и не надо пока.

— Что, думаешь, провокатор?

— Не знаю. Все сообщим наверх. Емельяновым займется группа безопасности при боевом центре. Разве ты не помнишь — сколько вам принесли бед враги народа? Это очень серьезное дело, Богданов, серьезней, чем ты думаешь. Враг народа — тот же фашист, но он страшнее потому, что маскируется большевиком…

Приходько сердится:

— Ты ж на два мыкрона берешь, Стэпан! Головой надо думать, а то шею подведешь! Сейчас

мастера вызову, скажешь ему, что у тебя резец с дефектом. А ну, снимай резец!

Я снимаю резец, Приходько что-то делает с ним, возвращает его таким же, но теперь можно быть спокойным: в резце есть «врожденный дефект», мастер ничего не заподозрит.

Наш мастер — забавный человек. Его зовут господин Оскар. Трусливый — он не пакостит нам в открытую. Больше всего он боится попасть на фронт. Фашисты гонят на фронт за малейшую провинность на производстве. Поэтому «господин Оскар» лебезит перед нами — только бы у нас все шло хорошо, без аварий. У нас ежедневно летят дефицитные, очень дорогие резцы, но Оскар не дает этому огласки, а за взятки и подделывая документы, получает со склада в три раза больше резцов, чем это допускается. Только бы все было хорошо, только бы не фронт.

— Господин Оскар, — говорю я с помощью Линдера, который, подобострастно улыбаясь, переводит мои слова мастеру, — резец, смотрите, какой плохой, брак режет.

Оскар качает головой, дает мне подзатыльник и уходит ругаться с дежурным инженером, унося в руках мой резец и несколько бракованных деталей.

Как только мастер ушел, Емельянов, работавший у станка, стоявшего около тележек с готовой продукцией, поманил меня пальцем. Я сделал вид, что не заметил его жеста. Тогда он, оглянувшись на дверь в револьверный цех, перевел свой станок на холостой ход, подбежал ко мне и шепнул:

— Он Приходькины детали взял, я видел!

Если инженер начнет промер деталей Приходько, то он обнаружит скрытый, расчетливый и точный — по ущербу — саботаж.

Я бегу к Приходько:

— Микола, он взял твои детали. Делай что-нибудь…

Я не успеваю даже отбежать к своему станку: в цех врываются дежурный инженер с офицером СС и белый — до синевы — мастер Оскар.

— Прекратить работу! — орет эсэсовец.

Станки медленно останавливаются, будто умирают.

— Руки на голову! — снова орет эсэсовец.

Все в цеху поднимают руки вверх.

— Переводчик!

К офицеру подскакивает Линдер.

— Чья это деталь? — офицер тычет ему в нос Приходькиной деталью.

— Я взял ее в этой тележке, — говорит мастер Оскар и показывает на ту тележку, куда обычно складывает свои детали Приходько.

— Если сейчас не выйдет тот, кто сделал эту деталь и положил ее на эту тележку, — все будут наказаны плетьми! — орет офицер.

Инженер берет с тележки еще несколько деталей, проверяет их одну за другой, кидает на пол, хватает следующие, тоже бросает их на пол и что-то шепчет на ухо офицеру. Тот поднимается на носки, шея у него наливается кровью, и он кричит:

— Если не выйдет тот, кто сделал эти детали, — все будут сегодня же повешены!

Я чувствую, что Приходько сейчас, через мгновение, сделает шаг вперед. Я чувствую это кожей, сердцем, умом — я не могу ошибиться в нем, в нашем золотом умельце, честном и добром Приходько…

— Это мои детали, — слышу я голос Емельянова, — у меня что-то случилось с резцом, я не успел сказать мастеру…

Инженер подскакивает к Емельянову, выворачивает резец, рассматривает его, а потом, не говоря ни слова, бьет Емельянова по лицу — наотмашь, кулаком, в котором был зажат резец.

Вечером в наш малый лагерь привезли бревна и заставили плотников сколотить виселицу. Нас продержали на вечернем аппеле до трех часов ночи. В три часа были включены прожекторы. Они осветили виселицу синим, мертвенным светом.

Емельянова вывели в половине четвертого. Лицо его было черным от кровоподтеков. Эсэсовцы придерживали его под руки, потому что иначе он бы упал. Его подвели к виселице, поставили на ящик, накинули на голову петлю, и офицер СС, отбежав в сторону — поближе к нашей шеренге, крикнул:

— За саботаж и диверсию он будет повешен! Так будет с каждым саботажником!

Прощай, товарищ, спасший нашу организацию! Прости меня, дорогой товарищ Емельянов, прости, если только можешь! Слышишь, товарищ Емельянов, слышишь меня, товарищ «враг народа», пожалуйста, прости меня — за всех нас прости!

С Линдером в цеху через пять часов после казни Емельянова случилась истерика. Он валялся по чистому кафельному полу, кусал пальцы и выл, как будто его пытали. Мы включили станки на полную мощность, но все равно его вой был слышен. Когда Линдера привели в себя, он стал тихо

и жалобно лаять: это он так плакал. Его била мелкая дрожь, и он никак не мог установить деталь в станке. Подошел Приходько, помог ему и сказал:

— Замолчи, Линдер, а то ведь я тоже не могу, а все равно — могу! Понял меня, Линдер?!

— Понял, — ответил тот, но все равно продолжал лаять по-собачьи…

Через две недели в цех пришел Коля Лучников. Он обнял меня и во время перерыва отвел в сторону:

— Рассказывай, как дела?

Я рассказал ему про положение в цехе. Больше всего я рассказывал ему про Емельянова. Коля, слушая, морщился. Потом оборвал меня:

— Хватит!

— Я же не все рассказал.

— Ну и не надо больше. Если нам о погибших каждый день говорить — что с живыми станет? Вел ты себя правильно. Я б себя тоже так же вел, хотя моего батька — честного коммуниста — в тридцать седьмом году к стенке поставили. С этим мы после войны разберемся и виноватым головы поснимаем. Но — после войны. Ясно? Теперь к делу давай. А дело вот какое: мы решили тебя перебросить в эсэсовскую мастерскую по оружию. Организации нужно оружие. Понима-

ешь, куда дело идет?

— Восстание?

— Да.

— Когда?

— Умнее ничего спросить не мог?

— Пожалуй — мог.

— Люблю тебя за самокритику. В местком после освобождения выберем, там критику сильно уважают.

— Местком концлагеря? Звучит довольно весело.

— Куда веселее. Завтра тебе ожог устрою, а то иначе в лазарет не выберешься.

— Зачем в лазарет?

— А как же в оружейные попадешь? Что, по собственному желанию, думаешь, переведут? С сохранением содержания?

Вечером Коля Лучников сделал мне «операцию»: с помощью тщательно продезинфицированной бритвы он взрезал мне руку, так чтобы не повредить больших кровеносных сосудов. Но крови все равно вышло много. Коля подождал, пока вышло побольше крови, а потом размазал ее по руке и по лицу и еще вдобавок наложил целый слой «грима» — отработанного машинного масла. Рука у меня выглядела после этого камуфляжа

довольно зловеще.

Линдер побежал к дежурному инженеру и сообщил, что заключенный 42777 — это мой номер — поранил себе руку при исполнении долга, налаживая отказавший станок. Инженер пришел в наш цех. Он посмотрел на мою руку, скривил лицо и покачал головой. Вечером я был переведен в госпиталь центрального лагеря.

Я лежу в госпитале рядом с Валерием Петровичем. Он здесь уже пятый день. Старик меня сразу же вспомнил.

— Я был с вами груб тогда, но право же: Маяковский моя любовь, и слабость, а его у нас на родине затаскали и нарядили в чужие одежды. Ну вот — так я и здесь это весьма болезненно воспринимаю…

Валерий Петрович рассказывает мне о лагерном враче.

— Умница, мягкий и добрый человек, член пятнадцати академий мира. Я вас обязательно заставлю с ним подружиться…

«Член пятнадцати академий мира» ворвался в палату и заорал, как настоящий эсэсовец:

— Встать, свиньи!

Встаем только мы: Валерий Петрович и я. Остальные — без сознания.

— Симулянты, негодяи! — орет врач по-немецки, подходя вплотную ко мне. — Руку!

Я протягиваю ему руку, он быстро осматривает ее и выкрикивает:

— Сам резал?!

— Нет…

— А я говорю — «да»! Держи крепче!

Продолжая орать таким образом, врач на цыпочках подходит к Валерию Петровичу, поднимает подушку на его нарах и быстро прячет туда два пистолета и несколько обойм, завязанных в тряпки.

— Молчать! — надрывается француз. — Слушай команду! Левой рукой оттащи этого тифозника — на нем вши!

Я слышу, как за дощатой перегородкой кто-то быстро отходит к двери, ведущей в лазарет. Хлопает дверь. Все ясно: врач боялся того человека, который стоял за перегородкой. А тот испугался вшей. Значит — провокатор.

«Сейчас он начнет говорить по-человечески», — думаю я. Но нет — врач продолжает орать — теперь на Валерия Петровича. Только на него он орет по-французски. После трехминутного крика врач быстро уходит, чтобы вернуться к нам через полчаса.

— Не было санитара — чтобы постоять у входа, — говорит он Валерию Петровичу, и тот переводит слова врача мне. — А какой-то тип третий день таскается сюда с жалобой на боль в анальном отверстии.

— Где? — усмехается Валерий Петрович. — Позорное заболевание интеллигенции…

— Позорных заболеваний нет. Только у того ничего не болит; просто удобнее наблюдать, пока я осматриваю его. По-видимому, провокатор: слишком гладок, хотя и с красными винкелями.

— Вы уже сообщили о нем?

— Три дня нет связного.

Врач садится на краешек моей кровати и просит:

— Держите передо мной рану открытой — на всякий случай.

— Хорошо.

— Вам просили передать, — говорит он шепотом, одними губами, — что перевод в оружейные мастерские отменяется. Вы теперь будете работать в центральной канцелярии нацистской партии, в подчинении у имперского руководителя партии Бормана, на Вильгельмштрассе, 64.

— Что?! — спрашиваю я и чувствую, как у меня от изумления глаза лезут на лоб.

Врач смеется и кивает. Валерий Петрович тоже смеется, потому что он филолог и понимает плохую немецкую речь врача даже по тому, как двигаются его губы.

Мы стоим близко друг от друга и беззвучно смеемся — нам очень весело: я — работник центральной канцелярии фашистской партии! Есть чему смеяться, честное слово!

— Вам дан пятидневный отпуск: побудете здесь, наберетесь сил, получите инструкции на будущее, а потом вас переведут в берлинский филиал лагеря.

— Ясно.

— Кажется, вас перебрасывают на радиосводки союзников.

— Получать непосредственно от Бормана?

— От кого? — недоумевая, переспрашивает врач, а потом, поняв, снова смеется: сотрясаясь всем телом и размахивая руками.

Вечером в госпитале умерло три человека. Ночью — один. Утром за ними пришли французы из команды, обслуживающей крематорий. Перед тем как унести трупы, они выбивают маленьким молотком золотые коронки у покойников и отдают врачу. Он прячет их в тайник — выпиленный в нарах ящичек. Через час после того, как уходит

команда, к врачу заглядывает Чарквиани, бывший помощник капо моего барака. Он прекрасно одет — в черном, обтягивающем его сильную, поджарую фигуру джемпере, в кокетливой шапочке и в американских широких брюках. На этом его костюме почти совсем незаметен изящный номер, пришитый особыми нитками, чуть не узорной штопкой. Теперь Чарквиани работает в канцелярии лагеря и считается большим лагерным начальством. Он проходит по нашей комнате и бурчит:

— Что, валяетесь, вонючие свиньи?! Скоро я вас всех подниму на ножки!

Так как стекла в окнах вымазаны белой краской, тут можно безбоязненно улыбаться и не следить за глазами, потому что если злишься или, наоборот, смеешься, то сразу же выдают глаза. Чарквиани кричит, но лицо его растянуто улыбкой — очень доброй и озорной. Он подмигивает мне, весело берет у врача мешочек с золотыми коронками, прячет его в карман, смотрит на пистолеты и делает испуганное лицо. К пистолетам Чарквиани не имеет никакого отношения. Он — самый законспирированный человек в лагере. Я узнал о том, что он — один из руководителей подполья, совершенно случайно, когда Коля Луч-

ников, проверяя меня, попросил дать сигнал. О нем знают в боевом центре, а помимо руководства только четыре человека: Коля Лучников, Валерий Петрович, врач и я. Всё. Даже если подполье лагеря будет разгромлено, Чарквиани должен выжить: он в шрайбштубе, в канцелярии, через него проходят дела заключенных, он командует тяжелыми и легкими работами, он дает взятки эсэсовцам — то есть он делает то, что не под силу никому из пятидесяти тысяч заключенных. Единственная его явка — больница. Больше он сейчас нигде не бывает. Да и то в лазарет по делам подполья он заходит раз в неделю: остальное время он вваливается сюда вместе с блокфюрерами, угощает их спиртом и дарит золото.

Чарквиани приближается ко мне вплотную и шепчет на ухо:

— Сначала организуешь прослушивание радио и распространение передач через верного человека. Сам в организацию пятерок не ввязывайся. Твоим командиром будет рыжий немец Генрих. Ты его сразу узнаешь — на левой руке у него нет указательного пальца. Все дальнейшие указания — от него. Имей в виду: для всех я — продавшаяся сволочь. Ясно?

— Да.

— Через меня будут передаваться команды Генриху и тебе.

— А тебе?..

Чарквиани грозит мне пальцем.

— Чудак, — шепчет он, — я бы мечтал знать только три фамилии из своей группы. А знаю — больше. Думаешь, очень весело? Совсем не весело. Очень страшно.

— Тебе страшно?

— Еще как.

Он пожимает всем нам руки, направляется к двери и начинает орать:

— Вонючие свиньи, грязные животные, пожирающие вшей!

Ругаясь так, он уходит. Мы с Валерием Петровичем ложимся спать.

Рыжий немец Генрих — обаятельный парень. Ему тридцать пять лет, сам он в прошлом — секретарь немецкой организации КИМа — Коммунистического интернационала молодежи. В нем такая бездна энергии, темперамента и веселости, что просто диву даешься. Он не может сидеть без дела ни минуты. Генрих — бригадир, он носится по зданию партийной канцелярии с утра до вечера. Глядя на него, никак и не подумаешь, что он заключенный. Всегда тщательно выбритый,

в опрятной серой форме, он больше напоминает заводского мастера. Да еще фасонисто постриженные усики: ни дать ни взять — вольный!

Первую неделю Генрих почти не разговаривал со мной. Только ставил на рабочее место и, заглядывая через час-другой, поторапливал и исправлял мои недочеты в обработке и прилаживании паркета. Дней через десять он стал рядом со мной на колени в то время, когда я прилаживал паркет, и, вырвав у меня из рук стамеску, прошептал:

— Болван, ты сюда не саботировать пришел, а работать по-настоящему. Что, не предупредили тебя?

— Нет.

— Тогда прости, я думал — ты от чрезмерного усердия.

Мне стало обидно за «болвана», и я ответил:

— От чрезмерного усердия дети рождаются, понял?

Рыжий Генрих неплохо говорит по-русски, поэтому он сразу же понял ответ и залился детским смехом.

— Рассердился на «болвана»?

— Нет, на «ты»…

Генрих смеется еще веселее, хлопает меня по

плечу и убегает куда-то — так же стремительно, как появился здесь. Я стою на коленках, пригоняю одну паркетину к другой и делаю это после его взбучки очень добротно.

«Когда я в Москве читал про заключенных в фашистских концлагерях, они все казались мне живыми скелетами, — думаю я, — которые молча и скорбно ожидают своего конца, ни на что и ни на кого не надеясь. Мне казалось, что они никогда не улыбаются, что у них нет и не может быть никаких радостей. А поди ж ты: все равно и шутить — шутим, и надеяться — надеемся, и бороться — боремся».

Ночью я вздрагиваю от легкого прикосновения чьей-то руки к моему лицу. Просыпаться ночью в лагере всегда страшно, я даже не знаю, отчего это происходит, но если в лагере проснешься ночью, когда все остальные товарищи по бараку спят, — обязательно будет страшно.

В первое мгновенье я весь сжимаюсь в комок. Потом быстро открываю глаза и сажусь.

— Тшш! — шепчет рыжий Генрих.

Он сидит рядом со мной, приложив палец к губам.

— Ложись, — шепчет он еле слышно и толкает меня пальцем в грудь.

Ложусь, натягиваю одеяло на голову и готовлюсь снова заснуть: к этому обязательно надо приготовиться — вспомнить что-нибудь довоенное, радостное: ВСХВ, например, или парк культуры имени Горького, или первые грибы в Звенигороде, или Усачевку. Не важно, что именно, — важно только вспомнить довоенное, а тогда можно быстро уснуть и хорошо отдохнуть во сне, потому что наверняка «покажут» какой-нибудь хороший сон.

Чувствую, как рыжий Генрих ложится рядом со мной. Открываю лицо, смотрю на него. Он полулежит на руке и настороженно прислушивается к тому, как спят люди в бараке. Лицо у него сейчас совершенно другое, не похожее на обычное, дневное, к которому я привык за эти полторы недели. Сейчас лицо Генриха кажется маской настороженности, и поэтому он, типичный немец, вдруг оказался очень схож с японцем из наших предвоенных шпионских кинокартин.

— Вот что, — шепчет он мне в ухо совсем беззвучно, — с завтрашнего дня ты начнешь слушать советские радиосводки в кабинете у помощника имперского руководителя партийной прессы. Сигнализацию на случай тревоги ты поймешь, когда я буду тебя вести туда. Постарайся из сводок

определить линию фронта, расстояние до границ Германии, общую ситуацию и перспективы развития советского наступления. Все это надо сделать для того, чтобы вынести на обсуждение боевого центра вопрос о сроках вооруженного восстания. Мы с тобой, возможно, будем связными с союзниками, ясно? Возможно, уйдем в побег.

Я не могу уснуть, хотя неустанно считаю до сотни, потом до двухсот, а потом до трехсот одиннадцати. На этой цифре я сбился и открыл глаза, которые до этого старался жмурить что есть силы. Еще перед тем, как начать считать, я старался увидеть Москву, отца, Усачевку и с этим радостным видением уснуть, но ничего у меня не получалось. Впервые за всю мою лагерную жизнь на меня обрушились видения ночного леса: вот я выворачиваюсь наизнанку около реки, магазин, забитый товарами и колбасой, мороз, сделавший мою робу жестяной, потом этот гаденыш с пугачом, следователь Баканов, разбитые пальцы, которые не двигаются до сих пор, ужас того шкафа, в который они запирали меня на сутки, дыба, раскаленные иглы…

Тело мое покрывается цепкими мурашками. Страх входит в мое существо — обыкновенный

страх, который знаком каждому человеку. Нет людей бесстрашных. Тот, который ничего не боится, — просто-напросто дурак или психически неполноценный человек. Важно понять истоки страха и решить все для себя — тогда страху станет противостоять мужество.

Истоки страха? Тот, кто не проходил через «партайгеноссе Отто», «вратаря» и Баканова, вряд ли поймет качество моего страха. Человек, однажды попавший в кольцо разъяренных псов, которые норовят разорвать его, всегда будет бояться собак и тех переулков, в которых с ними повстречался.

Боюсь ли я идти в побег? Конечно, боюсь. Но ведь здесь, в лагере, ежеминутно можно угодить в крематорий? Зато здесь вокруг товарищи, которые будут стараться сделать все, чтобы тебя спасти. Да и потом, в колонне, на марше, помирать не страшно: чувствуешь себя бойцом. Страшно помирать в гестаповском кабинете — бессильным, измученным, потерявшим человеческий облик…

«Ну что же, — говорю я себе, прислушиваясь к тысяче разноречивых чувств, мечущихся во мне сейчас, — легче легкого завтра отказаться от побега. Так и сказать Генриху: я здесь, среди наших, — солдат. Там — могу сломаться, второй

раз не вынести ужаса, если попадемся. Надо быть честным и мужественным перед самим собой. У тебя, Степан, осталось часа три до подъема — думай. Ты сомневаешься: думай в тысячу раз требовательнее и строже. Сомнение — мать честности. Думай…»

Так говорю я себе, и снова закрываю глаза, и снова на меня наваливаются все ужасы побега: с той самой минуты, когда с ноги соскочила колодка и попала в прожекторный мертвый свет…

Зачем людям память? И — особенно такая память, когда ты не властен над ней, когда она — подавляет. Если бы люди, размышляя над будущим, могли видеть его так же трагично и четко, как они видят прошедшее, то наверняка очень спокойно жилось бы всем в мире.

Утром меня поставили мыть котлы внизу, в котельной. Минут через двадцать после начала работы ко мне подошел рыжий Генрих вместе с охранником из СА — здоровенным детиной, который стоит, как правило, на втором этаже. Тот, из внутренней охраны здания, к заключенным не имеет никакого отношения. С ним имеет дело только СС — наружная охрана.

— Живо! — кричит Генрих. — Бросай швабру, мой руки! Поторапливайся!

Пока я мою руки, слышу, как Генрих говорит охраннику:

— Самый лучший полотер во всем лагере. Он натирал полы в Кремле. — И Генрих громко смеется. Охранник тоже смеется и разглядывает меня с почтением. Генрих повторяет ему про меня раза три — медленно, втолковывая, произнося каждое слово чуть не по слогам. Мне ясно, что это — для меня — чтобы я смог лучше понять. Я киваю головой — и Генриху и парню из СА.

— Раздевайся, — говорит Генрих, — только отпори номера.

— А в чем дело?

— «В чем дело»! — передразнивает Генрих и угодливо смеется охраннику. — А дело в том, что тебе, болвану, поручается натирать полы в кабинете у немецкого начальника.

Он опытный и умелый конспиратор, этот рыжий Генрих. Я бы наверняка сейчас стал подмаргивать или стараться как-нибудь любыми средствами пояснить всё до конца. Я бы думал: «А вдруг не заметит охранник, языка-то он не знает...» А вдруг — знает? Поэтому Генрих не поленился лишний раз обозвать меня «болваном»: на всякий случай — а вдруг охранник знает это выражение, так широко распространенное сейчас

в Германии. Бригадир должен быть на хорошем счету у гестаповцев — только тогда он сможет приносить пользу подпольной организации.

На мне серый костюм. То, что я — заключенный, можно сейчас определить только по номерам, пришитым к куртке и к брюкам. В остальном я вполне опрятный вольнонаемный рабочий.

— Куда идти? — спрашиваю Генриха, шнуруя добротные ботинки на толстой резиновой подошве.

— Поговори мне еще! Живей! Скоро ты кончишь возиться, скотина?!

— Сам больно хороший, — огрызаюсь я, подыгрывая Генриху.

Он замахивается, и я пулей кидаюсь к двери. Моя прежняя зебровая одежда каторжника лежит на стуле, около котлов. Вечером мне надо будет ее отнести в барак. Выбрасывать нельзя: в ней мне надлежит возвращаться в лагерь после окончания работ в резиденции Бормана.

Идем по коридору: я — впереди, а Генрих с охранником — сзади.

— Живей! — орет Генрих. — Нечего глазеть по сторонам!

Ясно. Я — весь внимание. Значит, надо все время смотреть по сторонам, иначе он не стал

бы кричать на меня именно сейчас, когда мы поднялись на второй этаж.

Ах, вот в чем дело! Вижу заключенного, который, лежа на боку, тщательно подгоняет плинтус, сделанный из черного дерева. Он тоже видит нас: он не может нас не заметить, потому что в здешний коридор только один ход. Заключенный — я совсем не знаю его — вскакивает с пола и вытягивается перед охранником в струнку. Тот кивает головой и говорит:

— Работай, работай…

— Слушаюсь, господин унтер-офицер!

— Я солдат, не лижи мне ж…, вы все — любите лизать нам ж… за сигареты, — говорит охранник и бросает заключенному окурок. Тот подхватывает его на лету и щелкает каблуками.

Заворачиваю и вижу второго заключенного. Рядом с ним — здоровенная стремянка. На ней — провода, пробки, сумка с инструментом. Заключенный видит нас, шарахается в сторону и ударяет ногой по стремянке: она с грохотом падает. Охранник, испугавшись, орет. Генрих дает заключенному пару крепких затрещин. Мне все ясно теперь. Тот, который занят с плинтусом, охраняет единственный вход в коридор. Он — «подхалим» и «трус», поэтому, завидев на-

чальство еще издали, вскакивает и вытягивается в струнку. Второй, тот, что стоит неподалеку от двери, которую отпирает охранник, — «увалень», «неуклюжий кретин» — он валит стремянку. На пол падают инструменты: это сигнал об опасности.

У шефа партийной печати неплохой вкус: кабинет велик, просторен, полон воздуха и света. Очень большой полированный стол, красивое кресло, два мягких кресла около круглого столика, поставленного неподалеку от камина, стеллаж с книгами и — вмонтированный в него — радиоприемник. На стене за спиной у шефа — небольшой портрет Гитлера в спортивной белой рубашке с открытым воротником. Гитлер стоит под тенью дерева и приветствует радостный народ, идущий мимо.

Охранник неторопливо объясняет Генриху, а тот переводит:

— Снимешь верхний слой паркета и доведешь его до чисто-белого цвета. Потом тебе дадут специальной шведской мастики, и ты натрешь ею пол — не жирно, а только чуть-чуть, поверху. Стамеску, рубанок и все остальные инструменты будешь сдавать вечером через нашего охранника из СС — местной охране СА. Понял?

— Про то, кому сдавать, не понял…

— Осел! Наша охрана — СС, прикомандированная из лагеря. А господа из СА — охраняют только здание партии, дубина этакая…

— Теперь понял…

— Если здесь хоть что-нибудь тронешь руками, кроме пола, — продолжает переводить Генрих, — пристрелят на месте. Начинай немедленно.

— Хорошо.

Парень из СА говорит Генриху:

— Ну-ка, пусть он мне покажет кремлевский класс. Я ведь сам когда-то начинал с полотерства…

Генрих переводит пожелание охранника и орет на меня:

— А господину охраннику плевать на то, что ты сначала работаешь ножиком!

— Да, да, сначала только ножиком, — киваю я головой, потому что показывать сейчас свое «искусство» охраннику — значит провалиться: ведь я ни разу в жизни не имел дела с паркетом. Дома у нас линолеум, с ним легко: протер мокрой тряпкой и все в порядке. И босиком не холодно, не то что по скользкому, навощенному паркету. Старик мой, наверняка, здесь бы жить отказался: скользко на костылях, синяков много было бы.

Вот разве что камин: это вроде костра, а старику нет большей радости, как костры жечь и в огонь смотреть. «В огонь смотреть, — говорил мне отец, — хуже алкоголизма, если привыкнешь. Огонь такие кино закручивает — куда, там “Мосфильм”!»

— А где твой ножик? — переводит Генрих и сразу же начинает отвечать за меня: — Ну, ясно! Эта дубина забыла ножик внизу, в котельной! Сволочь, негодяй, нам из-за этого спускаться вниз и возвращаться наверх!

Они с охранником уходят, Генрих суетится, что-то негромко говорит охраннику на ухо, тот, скривив лицо, пожимает плечами и быстро смотрит на меня. Генрих машет рукой и продолжает что-то говорить — но теперь уже совсем тихим шепотом. Охранник снова неопределенно пожимает плечами и снова внимательно глядит на меня. Я вспоминаю уроки актерского мастерства и делаю лицо полного идиота. Охранник хмыкает, поправляет кобуру и уходит, пропуская перед собой Генриха.

Начинать сразу же ловить Москву — бессмысленно. По-видимому, Генрих даст сигнал, когда начинать, тем более этот охранник должен вернуться, чтобы посмотреть на мастерство «по-

лотера» и «мастера-паркетчика».

Дверь осторожно открывается, и я слышу шепот:

— Э, парень…

Подхожу к двери. Там стоит давешний электрик. Он манит меня к себе. Я подхожу к нему. Он показывает мне пальцем на того, что возится с плинтусами. Тот показывает мне руками, как надо держать нож, отчищая паркет. Запоминаю движения — они должны быть очень легкими и грациозными. Потом он показывает, что древесную пыль надо сдувать, придерживая стружки ладонью. Потом он несколько раз проводит ладонями по полу, после того как «очистил» его жестами. Ясно. На первых порах достаточно. Осторожно прикрываю дверь и вытягиваюсь по стойке смирно. Прямо напротив меня — три окна. В них льется солнце. Мне нестерпимо хочется подойти к этим светлым широким окнам и посмотреть на мир без колючей проволоки, желание это становится нестерпимым, физически тяжелым. Разумом я понимаю, что сейчас нельзя делать и шага, а ноги не слушаются разума. Мне приходится сказать самому себе: «Стоп!»

Это неплохо — иной раз прикрикнуть на себя, когда, образно говоря, ноги оказываются сильнее

разума. И главное — прикрикнуть вслух. Тогда смущаешься. Вроде бы сначала и не ты одергиваешь себя, а кто-то другой. Ведь, думая, можно приходить к нескольким решениям. А когда окрикнут — тут только одно решение остается. Потом только дойдет — сам ведь одергивал-то. Но это уже неважно. Пауза — великая штука! Передышка в сражении может принести решающую победу. Надо только передышку заполучить. Вот я себя и одергиваю вслух.

— Стоп! Ни с места! — приказываю я себе.

Входит Генрих.

— Вот твой ножик, дубина! — говорит он. — Через два часа должен сделать кусочек для пробы. Господин унтер-офицер хочет посидеть? — вдруг спрашивает Генрих. Он один в кабинете, он же вернулся без унтера. Смотрю на дверь: там никого. Генрих подмигивает мне, трогает себя за уши и показывает, чтобы я начал работу. Недоумевая, приходится начинать скоблить пол.

— А, хотите послушать радио… — смеется Генрих, — тогда мы уйдем лучше, а? Ведь нас повесят за это… Нам нельзя слушать радио…

Говоря так, он подходит к радиоприемнику и включает его. Загорается зеленая лампочка на шкале настройки. Генрих быстро находит Моск-

ву. Я перестаю работать. Я слышу Родину.

Диктор читает сообщение о подготовке колхозников юга к весеннему севу. Он читает это сообщение обыкновенным голосом, очень делово и просто. А для меня сейчас — праздник, во мне все ликует, и тот страх, который был ночью, совсем уходит, потому что я слышу передачу московского радио.

— Это Россия, — говорит Генрих, — уберите ее, господин унтер-офицер, вас ведь тоже не погладят за это по голове…

Ночью Генрих снова ложится рядом со мной и шепчет, почти совсем беззвучно:

— Я хотел сначала заявить тебя как трубочиста, но сказали, что в кабинетах у руководителей отделов и заместителей — словом, у всех партийных начальников — камины и дымоходы будут чистить их люди — не заключенные. И потом, каминов всего — раз-два и обчелся. Оказывается, они посылают чистить камины агентов Кальтенбруннера, из службы безопасности: может, партийные заправилы что-нибудь жгли в камине, а — не дожгли, понимаешь? Они же не верят друг другу, они как скорпионы в банке. Так что мне пришлось тебя срочно переиграть в полотера. Охранника я пою коньяком в котельной.

Тебе будет помогать тот, что с плинтусами.

Я спрашиваю Генриха:

— Зачем ты разговариваешь с несуществующим охранником?

— Чудак, — шепчет он весело, — а вдруг диктофоны?

— Неужели они понаставили диктофоны, чтобы нас прослушивать?

— Кому ты нужен? Это один партайгеноссе из службы безопасности прослушивает своего дорогого друга, партайгеноссе из партканцелярии, чтобы сделать себе хорошую карьеру на крови. Все просто, как у зверей. Если в том кабинете есть диктофон — значит, нашего охранника дней через пять туранут на фронт. Если нет — значит, ты начнешь выполнять задание. Пока что эти пять дней требуй от меня то щелочи, то мыла — словом, чего-нибудь для дела, а я буду с трудом доставать на виду у охраны. Все ясно?

Партийный секретарь Борман, оказывается, не дурак выпить. В подвалах канцелярии хранится вместе с партийным архивом изумительная винная «библиотека». Так как здесь нет бомбоубежища, то архив перевозится в другое место. Вместе с ним отправляют и винную библиотеку. Генрих руководит отгрузкой вина.

Он неистовствует, орет на всех заключенных, дает подзатыльники, создает этим невообразимый шум и — даже — некое подобие паники. Но охранникам нравится такая манера Генриха: он знает, что делает. Эсэсовцы любят показуху и верят ей. Попробуй не поверь! Надо иметь очень богатое воображение, чтобы представить себе рыжего злющего бригадира в роли одного из руководителей лагерного коммунистического подполья.

Пользуясь суматохой, им же самим поднятой, Генрих спрятал три ящика с дорогими коньяками в комнате истопника Йогана — однорукого инвалида войны, товарища Гитлера по мюнхенским временам, разгневавшего фюрера своим выступлением после расстрела Эрнста Рема. В концлагерь Йогана не посадили только благодаря Герингу. Он пристроил Йогана диспетчером в гараже рейхсканцелярии. Но Йоган однажды напился и стал приставать к слесарям, обслуживавшим машину фюрера, с криками:

— Адольф еще поймет свою вину. Его обманывают скрытые евреи и буржуи! Он вернется к нам!

«Ветерана движения и испытанного борца» отлупили сотрудники из личной охраны Геринга и полуживым привезли в хозяйственное

управление войск СС. Здесь его назначили делопроизводителем в канцелярию, но выяснилось, что «ветеран» неграмотен. Таким образом, в конце концов он очутился истопником в партийной канцелярии, в резиденции Бормана. Первые три года после этой «расправы» — иначе Йоган не говорит о своем истопничестве — он вынашивал планы мести своим прежним знакомым по мюнхенским борделям и пивным. Потом он стал пить — непрерывно, одиноко и зло. А потом злость сменилась заискиванием перед тем, кто мог принести много коньяку. После того как Генрих спрятал в его комнате ящик с коньяком, Йоган стал «верным другом и преданным товарищем» заключенного коммуниста.

Немец, попавший в концлагерь три года тому назад, называет себя «Мютцен ап». Он весь седой, но фигура у него поджарая, сильная — фигура спортсмена бегуна на длинные дистанции. Рассказывают, что он попал в лагерь как раз в ту ночь, когда фашисты праздновали какую-то годовщину. Они напились и под утро устроили избиение в двух бараках. В ту ночь они убили человек сорок. Тогда-то человек, которого звали Гуго Зоммерштерном, отказался от своего имени и фамилии: для всех — и для товарищей по

заключению, и для охранников, и для их жен — «Мютцен ап» был лучшим полотером Берлина и его использовали в большом лагере все нацисты из охраны. Жены были в восторге — пол в их квартирах блестел, как лед на катке.

Именно «Мютцен апа» дал мне в помощь Генрих. Это было на третий день моей работы в кабинете шефа печати. За это время я умудрился сделать только «подготовительную» работу. Она заключалась в том, что я кое-как соскоблил воск с паркета примерно на двадцати квадратных метрах. А всего в кабинете их было никак не меньше шестидесяти. Очередной охранник из СА слушал объяснения Генриха и кивал головой. Генрих рассказывал ему такие небылицы про обработку паркета, что могло показаться, будто работа полотера стоит по крайней мере на уровне творчества Вагнера или Гёте.

За четыре часа «Мютцен ап» сделал половину всей работы: он соскоблил весь воск и отциклевал почти половину паркета.

Он не понимает по-русски. Как я ни пытался задержать его рвение — ничего у меня не получалось. Он смотрел на меня пустыми глазами и послушно кивал головой. Выслушав, он говорил: «Мютцен ап!» — и продолжал свою работу.

— Генрих, — говорю я, — к вечеру он натрет весь пол.

От Генриха чуть попахивает коньяком, он щурится и загадочно качает головой.

— Да, да, это ужасно, — говорит он, — просто ужасно…

Сейчас у нас обеденное время. Мы с ним отошли в сторонку и здесь беседуем.

— Что ты смеешься? — спрашиваю я его.

— Ну, видишь ли, дорогой, если не смеяться — так остается только плакать.

— Что-нибудь очень хорошее?

— О!

— С фронта?

— В общем — да.

— Не тяни душу.

Генрих поднимает руки к груди и разжимает кулаки:

— Я не тяну. Видишь — пусто…

— Ну хорошо, а что же с полом-то?

— Не с полом, а с паркетом. Пол — это иное. Наш друг Йоган мог бы тебе кое-что порассказать про штуку, которую ты столь легко называешь полом.

Я начинаю злиться.

— Ладно — говорю я, — только имей в виду, что

сегодня к вечеру пол будет готов.

Генрих хохочет и поправляет меня:

— Не пол, а паркет, запомни же, наконец!

— Ты что, надо мной издеваешься?!

— Ого! Хотел бы я побольше таких издевательств!

— Ладно. В общем, я сказал тебе то, что должен был сказать.

— Не сердись. Всё очень хорошо. Иди и спокойно работай.

Работать с «Мютцен апом» мне все-таки не пришлось. Примерно часа через два ко мне подошел охранник из СА и увел вниз — в котельную. Там около печей суетился Генрих. Увидав меня, он вытер лоб рукавом и сказал:

— Давай-ка наладь здесь манометры, пока твой помощник доделает черновую работу…

— Хорошо.

— Поторапливайся, к вечеру надо закончить.

— Хорошо.

Когда Генрих с охранником ушли, откуда-то вылез истопник Йоган. Он, шатаясь, прошел мимо, икнул, увидел меня и остановился.

Я вытянулся перед ним по стойке смирно, Йоган смотрел на меня пьяными глазами и сдерживал икоту. А потом поднялся на цыпочки и, обняв ме-

ня единственной своей рукой, поцеловал в губы.

— Хайль Гитлер! — крикнул он и снова икнул.

Не выдержав, я засмеялся. Йоган погрозил мне пальцем и вышел, задевая плечами и рукой за все, что попадалось ему на дороге.

Генрих входит в котельную и плотно прикрывает за собой дверь.

— Видишь? — шепчет он, показывая мне глазами на небольшую дверь, обитую железом. — Через нее завтра мы выйдем на свободу.

— А как же радио? Сводки?

— Я получил только что указание центра.

— Как все это будет происходить?

— У меня есть ключ от двери.

— Йоган?

— Конечно, не Геринг.

Мы оба смеемся.

— Завтра с утра я его подпою снова и пробно затоплю котел. Будет тепло, и я уговорю его посушить здесь вещи. Так что пиджаками мы с тобой обеспечены. Это, — и он протягивает мне шапочку рабочего, который приписан к войскам СС, — спрячь в карман. Номера с брюк спорем утром. Кстати, держи это тоже, — он протягивает мне ключ от железной двери.

— Зачем? У тебя же есть.

— А если меня через десять минут застрелит парень из СА?

— Ну, может быть, все-таки не застрелит? — улыбаюсь я.

— Может быть, и не застрелит. У меня есть свой. И тем не менее запомни, куда мы должны идти: по Ханноверштрассе, до обувного магазина «Шуэхауз Эдвард Кобски унд К». Дом 62. Повтори.

— Ханноверштрассе, «Шуэхауз Эдвард Кобски», дом 62.

— Хорошо. Там у витрины мы должны стоять и ждать в четырнадцать ноль-ноль.

— Пароль?

— Это в кино пароли. И у плохих конспираторов. К тебе подойдет женщина и возьмет тебя под руку. Вот и все.

— Откуда она будет знать, что я — это я?

— Сегодня ты пойдешь наверх, в кабинет, который надо будет завтра натереть так, как ты натер сегодня кабинет пресс-шефа.

— Ясно, бригадир!

— Молчать, животное, скотина, вошь!

Мы снова смеемся.

— Там, в новом кабинете, мы с тобой должны подойти к окну: три раза в течение часа. С пяти и до шести. Нас увидят. Вот, собственно, и все.

Охранник СА отпирает дверь кабинета. Он входит первым, потом — я, а уже потом Генрих.

— Здесь не надо натирать шведской мастикой, — переводит Генрих, — но все равно должен быть белый блеск. Потом надо снять неровности, — Генрих, продолжая переводить, подходит к окну и манит меня: — Вот, видишь, если прищуриться — заметны неровности. Нет, нет, стань ближе ко мне, вот с этой точки заметно. Да нет, еще ближе, говорю тебе! Вот здесь! Видишь?

— Так точно!

— Начинай работу!

— Есть!

— Нет! — рявкает Генрих. — Почему «есть»? Надо отвечать: «Слушаюсь!»

— Слушаюсь!

— Молодец! Начинай работу!

На вечерней поверке в нашем берлинском филиале из строя было вызвано двадцать семь человек для отправки в большой лагерь. Причины — неизвестны. Среди вызванных для отправления и те два человека, которые несли сигнальную охрану в то время, пока я был в кабинете пресс-шефа в первый раз, перед «проверкой» на диктофон. Смотрю на Генриха — может быть, это акция боевого центра, который стягивает

подпольщиков в большой лагерь, там, где заключено больше сорока тысяч человек? Может быть, уже началась активная подготовка к восстанию? Может быть, мы идем в побег как запасная группа связи с фронтом?

Нет — по лицу Генриха я понимаю, что все это — неожиданность для него, причем неожиданность куда большая, чем я сначала об этом думал.

Вызванным товарищам далее не дают собраться.

— Вещи вам привезут завтра, — говорят конвойные, приказывая строиться в колонну по три.

Тот товарищ, что стоял у входа в кабинет со стремянкой, косит глазом на Генриха. Конвой начинает орать команды. В это время Генрих показывает тому товарищу два пальца, потом легонько ударяет себя ладонью в грудь и шепчет, едва раскрывая рот:

— Завтра. Я — руководитель… Все на меня…

И — начинает кашлять, будто ничего и не говорил вовсе, а просто сдерживался перед приступом кашля. Значит, произошло нечто совершенно неожиданное и страшное, если Генрих пошел на такое чудовищно-рисковое нарушение конспирации.

Поздно вечером выяснилось, что в большом лагере начались аресты, как, впрочем, и по всей Германии: вчера было совершено покушение на Гитлера.

— Почему ты думаешь, что в лагере провал? — спрашиваю Генриха ночью.

— Потому что из двадцати семи — двенадцать товарищей члены нашей организации.

— Коммунисты?

— Конечно.

— Но ведь тебя не забрали. И меня тоже. Если бы — провал, так и нас с тобой должны были взять в первую очередь. Может быть, они просто идут по коммунистам, ничего не зная о подполье?

— Вряд ли. Тогда и меня они должны были забрать — если хватают коммунистов. Хотя нет… — Генрих сосредоточенно думает о чем-то, а потом говорит: — Я ведь проходил не как коммунист, а как руководитель красной молодежи. Ты прав — у них же картотека. Порядок есть порядок: сначала идут чистые коммунисты, а потом все остальные красные. Только я верю чутью. У нас в Германии у всех выработалось чутье. Очень неприятная и позорная штука, знаешь ли… Вроде собаки — что-то случилось, а что точно — не знаешь, но тем не менее хочется выть.

— А что ты показывал электрику?

— Если провал, то пусть завтра после двух всё валит на меня — как на главного руководителя.

— А если побег не удастся?

— Ты маловер и нытик, — грустно усмехается Генрих, — объявляю тебе выговор без занесения в учетную карточку. Кстати, с оружием обращаться умеешь? С пистолетами.

— Умею. А что?

— Завтра перед побегом получишь.

Утро было тихим и жарким. Меня разбудили тоненькие лучи солнца. Они вили на моем лице мудреный рисунок. Как же смогло солнце пробиться сюда к нам, на нары? Наверное, оно сегодня необычно яркое. У меня еще ни разу не было солнце в гостях, пока я сижу в лагере. Солнце в гостях — хороший признак. Вообще, за последние три года я стал необыкновенно внимательно относиться ко всякого рода приметам. Энгельс говорил, что чем слабее человек, тем больше он склонен к фетишу. До плена, побега, тюрьмы и лагеря мне было абсолютно безразлично: на какую ногу споткнулся, в каком ухе звенит, сколько пены в кипятке и с какой стороны только что народившийся месяц. Это, конечно, десятая доля всех тех примет, к которым сейчас я внимательно

присматриваюсь.

Свободным, дома, я никогда не интересовался — справа или слева увидел только что родившийся месяц. Но — с другой стороны — неужели же я стал слабее, чем был дома, если смог пережить все то, что мне случилось пережить? Пожалуй, наоборот. Я стал сильнее после всего этого, они меня не сломили. Все те, которые сломались, сейчас хорошо жрут, много пьют, красиво одеваются и спят с женщинами. Всё это им недорого стоит — зеленой власовской формы и расстрела тех, кто не хочет быть подлецом. Так что, конечно, я не стал слабее. Просто раньше, дома, я больше мог, я всё разумнее — МОГ, а тут для того, чтобы МОЧЬ и БОРОТЬСЯ, — все же нет-нет, да и глянешь украдкой на небо или замрешь, споткнувшись на левую ногу вечером, — к счастью, значит…

В котельной развешаны пиджаки и куртки Йогана. Сам он восседает на стуле с плеткой в руке. Этой плеткой он выбивал пыль до моего прихода.

— Разрешите помочь? — спрашиваю я и показываю жестами, в чем мне хочется помочь однорукому истопнику.

— Найн! — Он машет рукой и морщится. — Во ист Генрих?

Я понимаю, что он интересуется Генрихом, но я сам его не видел с утра. По-видимому, Генрих занят последними приготовлениями, иначе он бы уже побывал здесь.

Истопник дает мне плетку и говорит:

— Зитц хиир, унд, — он сжимает кулак и хмурит брови, — унд зух бандитен!

Ага, ясно, истопник боится, что у него могут спереть пиджак или куртку. А ему не терпится опохмелиться, потому что лицо у него синее, изо рта воняет перегаром и под глазами залегли дряблые мешочки.

Он передает мне хлыст, который служит как для борьбы с пылью, так и для сражения с бандитами, и уходит. Я прохаживаюсь вдоль развешанного барахла, вытираю со лба пот, который катится из-за жары струйками, и пытаюсь сообразить: куда же мог деться Генрих? Ответа я не нахожу. Попробуй найди здесь ответ! Задача со всеми неизвестными, определенного и устойчивого ничего нет — все может ежеминутно перемениться. Любопытно — когда наступает самая решительная минута, я чувствую в себе музыку. Но не ту, которая успокаивает или, наоборот, делает солдатом, нет! Во мне на одной струне непрерывно, не смолкая ни на минуту, звучит скрипичная

нота «си». Она изводит меня монотонностью и полным отсутствием музыкальности. Я пытаюсь негромко напевать, чтобы хоть как-то заглушить в себе проклятую ноту, но ничего путного из этого не получается. Я хлещу плеткой по курткам и пиджакам однорукого Йогана, чтобы не слышать в себе этого монотонного, постепенно усиливающегося скрипичного звучания, но ничего не помогает.

И вдруг — дзинь! Оборвалась струна: открывается дверь и входит Генрих. На скулах — красные пятна, сам — взъерошенный, злой, прищуренный.

— В лагере аресты. Вчера ночью расстреляли Колю Лучникова, Линдера, Валерия Петровича и еще сто семнадцать наших людей: в организацию пролез провокатор.

— Кто?

— Спроси о чем-нибудь полегче.

— Будем уходить?

— Да.

— Сколько времени?

— Половина одиннадцатого. Через два с половиной часа на меня могут начать валить всё, как на руководителя.

— Переодеваемся?

— Да. Держи пистолет. Это вальтер. Он взводится вот так, — и Генрих, став к двери спиной, показывает мне, как взводится этот пистолет.

— Полная обойма?

— Нет. Четыре патрона. И у меня — три. Так что, в случае чего — хватит.

— После каждого выстрела взводить?

— Нет. Это — автомат.

— Практически у нас с тобой пять патронов.

— Почему? — удивляется Генрих, пряча пистолет во внутренний карман куртки.

— Себе-то ведь по одному надо оставить…

— Ого! — зло усмехается Генрих. — Веселый ты паренек, как я погляжу. У них для тебя всегда найдется патрон: надо только на конвой броситься — сразу же пристрелят, и пыток никаких не будет. А то, что в наших обоймах, — это все для них, двумя наци будет меньше.

— Да, ты прав, конечно. Ну что же, начнем маскарад?

— Сначала заложи дверь. Куда ушел безрукий?

— К себе. Опохмеляться.

— Это плохо: он вернется сюда поговорить о своей любви к Герингу.

— Мы припрем дверь ломом.

— Хорошо.

Я беру ломик и иду к двери, чтобы закрыть ее. Дверь распахивается и чуть не бьет меня по лицу. На пороге стоит охранник из СА.

— Э, Генрих, — зовет он, — ам дриттен этаж зеер шлехт мит паркет. Кремлин камрад хиир — ер коммт ам дриттен этаж унд арбайт, йа?

— Найн, — отвечает Генрих и подробно объясняет охраннику, что у меня слишком важное задание здесь, у котлов, что я не могу их оставить без присмотра.

— Алзо, — соглашается охранник, — ду коммст мит мир…

Генрих поджимает губы, мельком смотрит на меня и уходит вместе с охранником. И снова во мне рождается эта проклятая, тонкая, настороженная скрипичная нотка. Она растет в звучании, она заставляет меня мучительно морщить лицо и мотать головой, как при зубной боли.

В котельную входит Йоган. Теперь он совсем другой. Лицо у него красное, глаза слезятся, а рот — всё время растягивает нелепая улыбка.

— Хайль Гитлер! — орет он с порога и вскидывает свой протез в фашистском приветствии. Протез он, видно, плохо прикрепил спьяну, потому что он с грохотом падает на пол.

— О, мать твою… — с великолепным русским

выговором закручивает истопник и падает, не удержавшись на ногах. Он лежит на угле и смеется. Потом Йоган долго возится с протезом, пристегивая его к обрубку руки, и все время смеется, и мотает головой, и вообще всем видом своим выказывает необыкновенную радость и полную удовлетворенность жизнью.

Генрих чуть не падает, натыкаясь на Йогана. Он видит лежащего истопника. Он поджимает губы и, схватив истопника за шиворот, рывком ставит на ноги.

— Иди на второй этаж, — говорит он Йогану, — и стой там как вкопанный. Мы здесь пока что достанем из тайника ящик с коньяком.

— Хайль Гитлер! — выкрикивает Йоган и, покачиваясь, уходит.

Генрих берет ломик, подпирает им дверь и рывком стягивает с себя куртку.

— Быстро, — говорит он мне. — Живей! Там пришли две машины из гестапо.

Он отпарывает номера с брюк, натягивает на себя пиджак Йогана и достает эсэсовскую пилотку. Я делаю то же самое, но только пиджак, который я сначала надел, оказывается мне мал.

Я пробую второй, но он тоже трещит на мне.

— Держи этот, он просторней, — шепчет Ген-

рих.

Мы обмениваемся пиджаками, быстро оглядываем друг друга и, не сговариваясь, подходим к той заветной двери, которая ведет на свободу. Генрих приподнимает язычок, прикрывающий замочную скважину, вставляет ключ и осторожно поворачивает его.

— Заржавела, — шепчет он, — трудно идет.

— Осторожно, не сломай.

— Спасибо за совет.

Когда Генрих рядом — тогда мне спокойно и проклятая скрипичная нота, изводящая душу, исчезает, словно бы ее и не было. Я вижу Генриха в профиль: у него сильное и доброе лицо, только желваки все время перекатываются под скулами, но это я вижу в первый раз, потому что сейчас решается все: будем мы жить или погибнем. Вопрос стоит только так: жизнь или смерть. Конечно, мне понятно, отчего у него так набухли желваки, еще бы, не понять. Он организовал всю подготовку побега, он вышел на связь с коммунистическим подпольем Берлина, он сейчас, в эти несколько минут, обязан закончить операцию — неслыханную по дерзости и простоте.

В дверь, которая ведет из котельной на верхние этажи, кто-то негромко стучится. Генрих вздраги-

вает и на секунду замирает, становясь изваянием. В дверь снова стучатся. Генрих вытирает со лба пот, внимательно смотрит на меня, и вдруг нежная и спокойная улыбка враз меняет его лицо. Он вновь становится обычным Генрихом — таким, которого я привык видеть в течение этого месяца.

— Пробуй ты, — говорит он.

Я начинаю осторожно поворачивать ключ, а Генрих, достав из внутреннего кармана пистолет, взводит его и шепчет:

— На всякий случай: идешь все время прямо, — и он показывает рукой, куда мне надо идти, — минуешь два переулка и одну большую улицу. Пройдешь по большой улице налево метров сорок, а там на углу — магазин обуви. Стой и жди.

— Не говори ерунды — или вместе выйдем, или…

— Только, пожалуйста, без Шиллера, — улыбается Генрих, — для дела надо, чтобы хоть один из нас вырвался.

— Для дела надо, чтобы вырвался ты.

В дверь снова стучат, но теперь уже настойчивее.

— Чтобы они схватили меня через десять ми-

нут? Если они приехали за мной, так уж будь спокоен — схватят на улице как миленького, далеко от них не уйдешь с моей скандальной известностью.

Генрих подбегает к двери и спрашивает громко и спокойно:

— Какого черта?! Кто там?!

— Их бин хиир, — отвечает Йоган.

Генрих становится на колени и приникает к скважине.

— Сейчас этот идиот поднимет шум, — шепчет Генрих, — безрукая, трусливая скотина.

— Уйди отсюда, — говорит ему Генрих, — с котлом что-то плохо, он может взорваться…

— О-о-о-о! — начинает завывать Йоган. — Поганые идиоты, коммунистические свиньи, вы что, хотите взорвать сердце партии?! Отоприте немедленно!

— Сейчас, не ори, — говорит Генрих, — сейчас открою и дам коньяку, только не ори.

Он оборачивается ко мне.

— Угля! — шепчет он. — Больше угля в котел! И — закрой, пусть рвется!

Я начинаю швырять уголь в огнедышащую пасть топки.

— Не пачкайся! — шипит Генрих. — Тебя гряз-

ного остановят на улице, тут Германия, а не Россия.

Я начинаю швырять уголь осторожней, стараясь не пачкаться. Генрих несется к двери. Он налегает на нее плечом и, раскачивая, осторожно поворачивает ключ.

— Ага! — шепчет он. — Все!

— Скоро ты откроешь мне?! — орет пьяный Йоган за дверью.

Генрих так же стремительно подскакивает к противоположной двери, достает пистолет, прижимает его к груди, готовый сразу же начать стрелять, и, оборачиваясь, шепчет мне:

— В случае чего — беги, я — прикрою. Стань к выходу, смотри в щель — нет ли там кого…

Я приоткрываю дверь. Она противно скрипит. В щелку врывается стремительный и неожиданно холодный солнечный лучик.

Он ничего не боится — он режет насквозь синий, дымный воздух котельной и упирается в затылок Генриха. Потом затылок исчезает и солнечный луч упирается в дверь. А потом дверь распахивается и я — отчетливо — будто в кинематографе — вижу глаз Йогана. Лучик солнца попал прямо в его глаз. Йоган машет рукой, щурится, топчется на месте. Генрих хватает его за

шиворот и затаскивает в котельную. Он начинает возиться с дверью, чтобы снова закрыть ее ломиком — да так, чтобы не сразу открылась, если будут ломиться. Йоган кричит:

— Почему дым?!

Генрих оборачивается ко мне, и лицо его рвет яростная судорога. Он медленно говорит:

— Заткни ему глотку!

Я подхожу к Йогану и, обхватив его за голову, затыкаю рот локтем. Он пучит глаза, машет рукой и что есть силы кусает меня. Я отпускаю его. Он падает и начинает тонко и страшно верещать. Генрих опускается над ним, приподнимает истопника — «истинного функционера партии, ветерана движения» — и бьет его кулаком в лицо. Голова у ветерана падает на грудь, и он замолкает.

— Вот так затыкают рот, — говорит Генрих, — пора бы знать. Или ты ему, или он тебе. Давай бери его под руку.

Мы берем Йогана под руки и, открыв дверь, выходим в тихий переулок, сплошь залитый солнцем. Здесь почти никогда никто не ходит — это выяснено Генрихом.

Мы опускаем Йогана на ступеньки, и, пока я запираю дверь, Генрих незаметно, но сильно

бьет истопника по голове рукоятью пистолета. Потом он берет меня под руку и мы неторопливо двигаемся по переулку. Я все время хочу прибавить шагу, но рука Генриха не разрешает мне сделать этого.

— Ты оставил ключ в двери? — спрашивает он.

— Нет.

— Он у тебя?

— Да.

— Сбрось.

— Куда?

— В решетку сточной ямы. Видишь?

— Да.

— Не промахнись, нам ни к чему останавливаться.

Ключ, дзинькнув, проваливается в черную пустоту.

— Когда должно рвануть в котле? — спрашиваю я.

— Болван, — улыбаясь во весь рот, шепчет он, — ты что, сошел с ума: говорить громко по-русски?! Ты — контуженый, бормочи непонятно.

Навстречу нам идут два мальчика в черной форме. Это гитлерюгенд. Мальчишка в такой же форме схватил меня осенью.

Я тогда испугался его пугача. Мы идем навстре-

чу друг другу, и во мне начинает снова натяжно и тягуче звучать скрипичная нота «си». Мы поравнялись. Генрих делает нападающий жест рукой и трещит языком, как сорока. Ребята в черной форме сначала испуганно отшатываются, а потом заливаются смехом. Во мне что-то обрывается, и рука начинает дрожать совсем уж неприличной дрожью. Генрих весело говорит мне по-немецки и заливисто смеется своему рассказу. Он очень естественно смеется, мой немецкий друг Генрих, я просто не могу понять, какую же силу воли надо иметь, чтобы вести себя вот так, как он.

Он часто повторяет несколько раз слово «идиот» — благо оно одинаково звучит и по-немецки. Это он мне. Я делаю «морду» стопроцентного кретина. Так мы с ним выходим на улицу, по которой идут люди.

Магазин обуви. Мы задерживаем шаг. Я чувствую, как Генрих вздрагивает. Я смотрю на него. Я вижу, как побелело его лицо, как прищурились его глаза и как замерли мышцы.

Навстречу идет темноволосая женщина. По щекам у нее катятся слезы. Лицо трясется и от этого делается некрасивым, хотя оно очень красиво. Женщина проходит мимо Генриха, чуть задев его локтем. Генрих сглатывает комок в горле и

что есть силы стискивает мою руку. Следом за женщиной идет парень в берете и с ключами от зажигания на указательном пальце. Он подходит к Генриху и почти совсем незаметно подмигивает ему.

Через пятнадцать минут мы несемся в «хорьхе» по автостраде Берлин — Дрезден. Жена Генриха плачет, обняв его за шею. Генрих сидит с мертвой улыбочкой на губах. Шофер насвистывает фашистскую песню «Хорст Вессель». А я никак не могу согнать с лица заданное Генрихом выражение добродушного идиота. Не могу — и все тут.

Глава четвертая

Я напоминал себе самому ученика, живущего по подсказке. В школе начиная с седьмого класса я не решил ни одной математической задачи — все домашние задания списывал у моего друга Юрки Холодова, а во время контрольных смотрел на него, и он беззвучно шептал мне решение, и я понимал этот его беззвучный шепот и все успевал записать на листок бумаги. Сейчас — тоже. Меня провезли через всю Германию: переодетого в красивый костюм, с черными очками на глазах и с тростью слепого — в руке. Меня передавали «с

рук на руки». Меня сажали в вагон седые старички со склеротическими синими прожилками на желтых щеках, а встречали хорошенькие женщины в коротких юбках. Разные люди передавали меня друг другу, пока я не попал в деревню, стоящую в трех километрах от бельгийской границы. Так что побега фактически не было. За меня все продумали немецкие товарищи — друзья рыжего Генриха.

Мне осталось только одно: суметь перейти границу. Конечно, граница здесь весьма условная, но тем не менее ее надо ловко и спокойно перейти. На той стороне я должен был встретиться с человеком, который окликнет меня по-русски.

Я должен его ждать ровно в два часа в условленном месте. Я зубрил по карте то место, куда мне надлежало выйти. Последний немецкий проводник, который подвел меня к самой линии границы, помогал мне зубрить, как мог, — но он не понимал по-русски ни полслова, поэтому помощь его носила несколько символический характер. Переводить меня на ту сторону проводнику нет смысла: бельгийские явки ему все равно не известны, товарищ из бельгийского коммунистического подполья так или иначе встретит меня, а зазря рисковать нет никакого смысла. Я

понимаю это, и немецкий товарищ тоже понимает это, но все равно он несколько раз начинал объяснять мне — смущаясь и растерянно вороша волосы, — почему отпускает меня одного.

— Я там буду все равно не нужен, — говорит он, — понимаешь?

— Понимаю.

— Если бы я толком знал их явки…

— Очень хлопотное дело — знать явки, да?

— О, не говори.

Он смеется моему варварскому немецкому языку. Произношение у меня приличное: сказывается два года в Щепкинском училище. Многие немцы сначала, когда я говорил «здравствуй» или «как дела» — принимали меня за стопроцентного берлинца.

— Будь здоров, — говорит немецкий провожатый, — здесь полтора километра ползком вдоль по просеке, собак у них нет, а прожектор будешь пережидать. Потом — на ту поляну. Два часа слушай, как тебя окликнет человек. Он скажет: «Приятель, пойдем потолкуем!» — помнишь?

Теперь смешно мне: очень уж забавно у немца получается наша фраза. Он тоже улыбается, пожимает мне руку и еще раз предупреждает:

— Не торопись, тут все всегда хорошо сходило.

Их здесь мало, так что — в добрый час. Если тамошний проводник не выйдет, ты помнишь, что в деревне Боннеж есть кюре Жюль — толстый и с бородой. Тебе надо выйти к нему. Все. Рот фронт, товарищ!

— Рот фронт!

Он обнимает меня и хлопает по спине тяжелой крестьянской лапищей. Я ложусь на землю. Она пахнет хвоей — сухая, теплая земля, прогретая добрым весенним солнцем. Ночью она особенно сильно пахуча. Я ползу по теплой пахучей земле и слышу, как провожатый уезжает на велосипеде по тропинке, насвистывая что-то бравурное. Через минуту его голос исчезает, и я остаюсь совсем один в лесу. Все. Подсказки кончились, надо снова идти одному, как в первом побеге. Очень это неприятное дело — оказаться одному после того, как целый год провел среди товарищей по борьбе. Просто неприятней быть не может…

Часовые здесь не ходят. Границу освещают прожекторами, а пограничники — это в основном старые или очень больные солдаты — сидят на вышках и просматривают свои участки. Граница здесь символична. Какая, к черту, граница, когда Бельгия оккупирована! Но — порядок! Раз есть граница, ее обязан кто-нибудь охранять.

Вот и охраняют инвалиды. Догнать-то они меня, конечно, не догонят, а вот пулю в затылок вогнать могут. Так что осторожность и еще раз осторожность. Я замираю в кустарнике. Лежу и думаю о Генрихе. Как-то он там? Мы получили указание разделиться: он уходит по подложным документам в армию — на Восточный фронт. А меня решили перебросить в их самый глубокий тыл — через Бельгию — на юг Франции. Говорят, этот тыл может скоро стать фронтом. Значит, тогда я все сообщу о нашем лагерном подполье союзникам… Стоп! Я обрываю себя — прожектор выключен. Медленно, с равными интервалами, считаю. Проводник говорил, что надо отсчитать «двадцать два» — только на счете «двадцать три» они зажгут прожектор снова. У меня вышло семнадцать. Хотя, мы не сверялись с проводником синхронно. Так что, может быть, его двадцать два равны моим семнадцати. Неплохая исходная коллизия для математической задачи, черт ее дери вместе с физикой и химией, а равно и с химичкой Марией Павловной вместе взятыми. Очень я не любил нашу химичку. Впрочем, как и она меня.

Второй раз прожектор был выключен двадцать отсчетов. Ясно. Надо поджать нервы. Когда нервничаешь — обязательно торопишься. Когда я

войду в ритм и буду отсчитывать на выключенный прожектор ровно двадцать два — вот тогда, пожалуй, пора перебегать пограничную полосу. Проводник сказал, что переползать не надо. И бежать не надо. Надо спокойно идти — будто знаешь, куда идешь. Так здесь уже было: немцы-старички из погранохраны не начинают стрелять, а просто кричат: «Стой, кто идет!» Мой проводник нарочно попадался три раза, чтобы приучить охрану к мысли: и местный крестьянин может ненароком заблудиться. Без всяких дурных мыслей. Поэтому проводник с большой корзиной, в которой лежали грибы или ягоды — по времени года, — выходил как раз перед самыми пикетами погранохраны и как раз в те самые моменты, когда включали прожектор. Два раза он выводил на погранполосу обергруппенфюрера СС Мольдера — тот приезжал к нему еще с начала тридцатых годов за форелью и косулями. Мой проводник — практичный человек: у него, по-видимому, очень дальний прицел и я, конечно, у него не первый и не десятый, переправленный по ту сторону. Там, на той стороне, тоже есть немцы, но та сторона — оккупированная, а где спрятаться беглецу, как не там? А вот сейчас двадцать два — точно. Теперь я отсчитал

ровно и спокойно — как и надо было с самого начала, Пожалуй, пора? Нет. Надо попробовать еще раз. Противно будет засыпаться здесь, в двух километрах от свободы. Хотя, он говорил, бежать не надо. Наде зажмуриться, закрыть глаза рукой и остановиться на месте. Прожекторы у них включаются автоматически. Так что следующие двадцать два отсчета темноты — мои. Прыжок в сторону и — бегом по тропинке к месту встречи с бельгийскими проводником. Собак у них нет, так что можно спокойно уйти. Но, конечно, это самый нежелательный вариант: поднимется тревога, пойдут обыски, начнут активизироваться провокаторы — а это никому не надо, особенно в перевалочном районе.

Двадцать два… Почти как в первый побег! Сколько же я раз там отсчитывал шаги и минуты, как я перепроверял себя — а все равно ошибся. Идиотский характер. Сейчас, когда надо собраться в комок и быть готовым к последнему броску, я лежу в теплом кустарнике, который пахнет прогретой хвоей и утренним солнцем. Ночью особенно отчетливы утренние запахи в природе, а утром, наоборот, ночные. Утром на полях роса, и на берегах рек прохлада, и в лесу гулко и по-ночному тревожно. А ночью вода в реках, как

парное молоко, и травы теплые.

Пожалуй — пора. Я хочу подняться, но не могу. Не могу я оторваться от теплой земли, и от трав, и от колючих веток кустарника. Я не могу этого сделать, потому что понимаю: если сейчас провал, то, значит, это мой последний провал. Знаю, что никогда нельзя думать о плохом, если идешь на рисковое дело. Одно — знать, другое — мочь. А ну! Прожектор только что выключили. Пошли! Я поднимаюсь и иду через пограничную полосу. Мои шаги кажутся мне грохотом, бомбежкой, артиллерийской канонадой. Как только их не слышат пограничники?! Ну что же они не начинают орать своими собачьими голосами?! Видите, я иду через пограничную полосу?! Разве вам не видно, как я иду?! Вот черт, им не видно, как я перехожу границу!

И вдруг — будто выстрелили по мне! Это прожектор! Он втыкается своим голубым немецким глазом в черную пустоту просеки. Он врубается в черную пустоту просеки позади меня. Но я в лесу, я на той стороне, я уже не в Германии…

Мне трудно идти. Всего-ничего прошел, а так трудно идти, будто отмахал уже километров тридцать, как в тот, в прошлый побег. В ногах свинец, и голова кружится, и все время хочется

зевать. Я понимаю, отчего все это: просто развинтились нервы. До этого, две недели после побега, я был на людях. А на людях надо держаться. Они-то держатся, а им трудней, чем мне. Потому что они живут на своей родине и ненавидят тех, кто их родиной правит. А я враг, мне легче, я воюю с их родиной. Так что, конечно, мне было куда легче. А сейчас я один, а когда один, тогда нервы расходятся, как плохо закрученные канаты, я помню, на Волге мы с мальчишками раскручивали канаты на пристанях. Повернешь его в другую сторону, крепко зажав одной рукой, и толстый, крепкий канат разойдется на пятнадцать или двадцать тоненьких веревочек.

Я очень зрительно представляю себе мои нервы. Сейчас они мне видятся раскрученными канатами, будь они трижды неладны.

Канаты канатами, а идти мне просто невмоготу, я опускаюсь на землю. Сначала я сажусь, а потом мне нестерпимо хочется лечь на землю и прижаться щекой к теплым травам. Где-то, своим самым сокровенным вторым планом, я понимаю, что со стороны все происходящее — сентиментально, но я ничего не могу с собой поделать, я — один, и поэтому мое «я» мне не подчиняется

сейчас. Если бы рядом был кто — подчинилось бы, а то ведь один. Наедине с самим собой люди делают куда как больше глупостей, чем в коллективе. К черту все размышления! Ничего не хочу! Думать не хочу, идти не хочу, видеть и слышать ничего не хочу! Просто хочу лежать, прижавшись лицом к теплой, прогретой солнцем земле, — ничего не может быть прекраснее, чем лежать на теплой земле и ничего не хотеть…

…А трава-то уже не теплая. Это значит, вот-вот наступит рассвет. Бельгийский проводник ждет сейчас на поляне, которую мне обязательно надо разыскать. Поднимаюсь с земли и чувствую, всем своим телом чувствую, что значит быть стариком. Вот бы мне это состояние ухватить в Москве, в училище! А то грим у нас там был, костюмы для стариков — тоже, парики, очки — все что угодно, а стариков никто из нас толком сыграть не мог. Я бы сейчас смог. Мы в училище не умели двигаться по-стариковски. Поди-ка попробуй двигаться по-стариковски в девятнадцать лет! Это то же самое, что заставить старика бегать мальчиком. А сейчас, поднимаясь с земли, я понял, как надо играть стариков. Движение — основа образа. Каждый образ должен по-особому, по-своему двигаться. Вон у Достоевского Смердяков по-своему

двигался, Митя — тот по-своему, Иван — тоже. Старика надо играть не лицом, а движением — у старика все двигается самостоятельно, а не сплошной пружиной, как в молодом парне.

Сначала одну ногу надо согнуть в колене, упереться как следует на пятку, оттолкнуться от земли обеими руками и медленно вставать — не делая резких движений, не разгибая сразу спины, не расправляя груди. Все — постепенно. Не спеша и очень осторожно. Это и есть движения старости. Понять — легко, добиться точности в повторении — трудно. Мне сейчас легко. Наверное, я очень устал. Ведь усталость — это старость, не так ли?

Я пришел на ту поляну, которая должна служить местом явки. Я ждал человека, который меня окликнет по-русски, довольно долго: часа три — до самого рассвета. Никто на поляну не пришел. Я ждал еще часа три — мне не привыкать ждать: лагерь — прекрасная школа для нетерпеливых. Проводник так и не пришел. Вместо него пришло яркое, весеннее солнце.

Оно ворвалось в лес и сделало его до того радостным и чистым, что и у меня на душе стало спокойно и радостно. И все то, что было, — ушло далеко-далеко, будто и не было вовсе.

Самое худшее — искать. Вышел на место, где была условлена встреча, — стой и жди, сколько бы ни пришлось ждать. Это, как мне объяснял Генрих, главная заповедь подпольщика. Очень хорошая заповедь. Иначе мне надо было бы снова шнырять по лесу, бояться выйти снова на границу, а сейчас, следуя заповеди, лучше всего лечь в кустах и ждать, пока окликнет по-русски бельгийский проводник.

Я не знаю, сколько времени пролежал в кустах. Судя по солнцу, немало, потому что оно почти над головой. Но сейчас я не смог бы сыграть старика, потому что с земли взбросился пружинисто и быстро, всем телом.

«Пожалуй, надо уматывать отсюда, — думаю я, потягиваясь, — все-таки это пограничная зона». Я помню, как мне надо выбраться к деревне Боннеж, к толстому и бородатому кюре Жюлю, который говорит по-русски, потому что его мать уехала из России задолго до революции и вышла замуж за бельгийца. Генри его в глаза не видел, но все о нем знает. Откуда? Я научился не интересоваться тем, что интересно. Надо будет — скажут. Не надо — промолчат! Я походил по лесу, окружавшему поляну, посмотрел — нет ли каких следов: может, валяются окурки или остались

вмятины от велосипедных шин. Нет, ничего такого не было. И я пошел в деревню Боннеж, которая должна находиться строго на юго-западе, у подножия гор с историческим названием Арденны, чуть в стороне от лесной дороги, сразу же за полем с густой пшеницей…

Я шел, и во мне совсем не было страха: я верил, что все будет так, как надо. Пусть меня обвиняют в семи смертных грехах, но самоощущение — это великая штука. Я убеждался в этом не один раз. Я верил, что и сейчас оно не обманывает меня.

Сижу напротив толстого бородатого человека. Это кюре Жюль. Он смотрит на меня влюбленными глазами. Еще бы! Он еще ни разу не говорил по-русски с нашими людьми. Смешно — по-русски — с советскими. Тем не менее очень точно.

У кюре на чердаке скрываются два поляка — Юзеф и Андрей. Теперь там буду прятаться и я.

— О, я прятал многих беглецов, — говорит кюре, — даже трудно сосчитать, сколько их побывало у меня на седьмом небе. Я называю чердак седьмым небом — смешно, не правда ли? Или нет? Наверное, смешон сам я. Кюре, говорящий по-русски, — такого не было даже у Мопассана! Я экспансивен. Да, да, не возражайте, Степан, я ничего не могу поделать с собой. Мама отдала бы

свои последние дни, чтобы только поговорить с вами. Вы себе не представляете, какое это счастье — говорить с человеком оттуда, с господином большевиком. О, простите, вы сердитесь, когда называют господином, но, право же, я никак не хотел сделать вам неприятно, у нас в доме было принято обращаться друг к другу именно так. После окончания этой ужасной войны все люди станут говорить друг другу: «товарищ». Я против большевизма, но, право же, я буду учить моих прихожан именно этому обращению. Я надоел вам? Перебивайте меня, не церемонясь! Мама умерла семь лет тому назад, и с тех пор я ни разу не говорил по-русски. Я только читал. Знаете, у меня есть «Краткий курс истории ВКП(б)»... Кушайте эти лепешки, их печет Аннет, она прелестная кулинарка. Почему вы не пьете вина? Это виноград, усиленный солнцем, — чем не панацея?!

Кюре суетится, не дает мне вымолвить ни слова, закармливает давно забытыми яствами, пачкает в сливках рукава своей сутаны. Глаза его светятся добротой и радостью. Есть такие люди, которые сразу же располагают к себе, — кюре именно такой. Раньше все попы, кюре и аббаты казались мне похожими на черных воронов. Никогда не

мог подумать, что среди них встречаются такие прекрасные и добрые люди.

— Дорогой Степан, — продолжает он, внимательно следя за тем, чтобы я пробовал все блюда, стоящие на столе, — если бы мне сказали, что придет советский человек, — поверьте, все было бы куда респектабельнее. Сейчас вы вкушаете от стола духовного лица, и я приношу вам мои извинения. Но они же сказали мне, что придет беженец оттуда, но кто именно — сказать не удосужились. Я им завтра дам маленький нагоняй, моим друзьям. Ого, они будут знать, как не сообщать мне о русских в следующий раз! Как, вы не хотите кофе? Да, да, вот она, Россия, — только чай! Какая прелесть! И без молока? У нас это кажется вандализмом! Чай без молока?! Подумать только: вот оно — «звериное лицо большевизма»!

Кюре весело хохочет, подливает мне в бокал вина, и все лицо его светится доброжелательством и весельем.

Юзеф и Андрей неплохо говорят по-русски, потому что в их концлагере было большинство наших людей. А потом, польский и русский так близки, что можно потренироваться неделю вот и вся наука.

Андрей смотрит на меня, по-видимому, давно.

Он сидит рядом, на своем матраце, и, задумчиво ковыряя спичкой в зубах, разглядывает мое лицо.

— Ну и напился ты вчера у этой сволочи, — говорит Андрей, — всю ночь рыгал, как на скотобойне…

Я сажусь, тру глаза и говорю:

— Виноват, исправлюсь…

— Давно оттуда? — спрашивает Андрей.

— Под утро…

— Да нет, я спрашиваю про лагерь.

— А… Две недели.

— Мы здесь сидим месяц, будь он неладен, этот сукин сын…

— Кого ты?

— Кюре, кого же еще…

— А что такое?

Андрей зло машет рукой и длинно ругается. Юзеф отходит от маленького окошка и объясняет мне:

— Пора начинать драться — мы уже месяц сидим здесь и жрем, как скоты. А он не пускает нас, он говорит, что нет оружия, и еще он говорит, что здесь нельзя, потому что они уничтожат мирных жителей, если мы начнем стрелять и резать ножичками по горлышкам наци.

— Вы, наверное, плохо с ним говорили…

— Он как рыба, — хмыкает Андрей, — очень скользкий. Поганый трус в черной рясе! В армии я знал, что делать, — там надо было драться. В лагере — я тоже знал, что делать, — там надо было ненавидеть, чтобы выжить. А здесь я знаю и — не могу! Куда я сунусь без их языка? На шоссе патрули немцев, в городах — тоже, а что делать в лесу без оружия?

Кюре Жюль улыбается и качает головой:

— Нет, нет и еще раз нет, мой милый Степан.

— Почему?

— На вопрос мне придется тоже отвечать вопросом: а — зачем бессмыслица?

— Драться с ними — бессмыслица?

— Здесь — да. На фронте — нет. Когда придет фронт, я первым попрошу дать мне ружье.

— У вас есть ружье, — говорю я и киваю головой на прекрасный браунинг, висящий за дверью. — По-видимому, вы хотите попросить не ружье, а винтовку.

— Вам надо стать схоластом, — улыбается кюре, — вы не терпите разночтения, даже формального…

— Поляки правы, хоть я и схоласт.

Кюре хлопнул себя руками по бокам и принялся

бегать по комнате. Потом он резко остановился, подошел ко мне вплотную и тихо спросил:

— Ну хорошо, а те друзья, которые обращаются ко мне за помощью, которые устраивают побеги и переброску людей сюда, — они правы или нет? Ведь они — ваши единомышленники, а не мои…

— Что, они против?

— Да.

— Непонятно.

— Это понятно даже мне — кюре, который пока что избежал концлагеря.

— Те не хотят ставить под угрозу явку?

— Конечно, — быстро заговорил кюре, — бог мой, как трудно говорить с этими поляками. Слава богу, мы в стороне от шоссе — в этом наше счастье, иначе здесь был бы гарнизон! А поляки! Это — ужасно! Потом — они не коммунисты, их никто не переправлял сюда, они сами пришли, и я их случайно нашел в лесу и приютил их, а вот теперь не могу смотреть им в глаза. Они считают меня последним негодяем… И мог им говорить только то, что говорил вам вначале: о бессмысленности борьбы здесь. Не могу же я говорить им про ваших и моих друзей, а?!

— Не можете. Только надо было бы придумать что-нибудь иное, а не «бессмысленность». Тот,

кто сбежал из лагеря, может вас возненавидеть за это слово, зря вы его им сказали.

— О-о-о! — стонет кюре и поднимает руки к небу. — Старый человек, который любит Баха! Откуда я знаю, что надо говорить и чего не надо говорить людям?! Я считаю, что надо всегда говорить правду, если она утешает.

Меня так и подмывает спросить: «Ну а если не утешает?» Я понимаю, что этого не следует делать — зачем зря обижать хорошего, доброго человека? И — не спрашиваю его.

— Но это так трудно в наши дни, — продолжает кюре, — сейчас кругом ложь. Вы думаете, мне легко с прихожанами? Вы думаете, эта война кончится, когда разобьют гитлеровцев? Нет! Она будет продолжаться много лет, потому что дети видят ложь и ужас. Они будут продолжать войну, даже если не станут стрелять друг в друга…

Каждый раз, когда я возвращаюсь от кюре, Андрей встречает меня молчаливым вопросом. Юзеф только посмеивается, глядя на него. Он спокойней, этот Юзеф, и — судя по всему — более рассудителен. Хотя, так и должно быть: Юзеф — майор, кадровик, а Андрей — рабочий, в армии был сержантом.

Мне труднее, чем кюре. Что мне сказать товари-

щам? Что подпольщики заинтересованы в этой явке и просят не «подсвечивать» ее? Разве можно говорить об этом незнакомым товарищам? Конечно, нет.

— Ну как? — спрашивает Андрей, не выдержав.

Я отрицательно качаю головой.

Юзеф усмехается уголками прямого, красивого рта. Андрей сплевывает и замечает:

— Азохен вей!

— Что? — спрашиваю я. — Не понял…

— Это не по-польски, — отвечает Андрей. — Это по-еврейски.

— Что означает?

— Откуда я знаю…

Юзеф снова усмехается.

— У нас был еврейский барак, — говорит он, — там был один весельчак. Из России. Его застрелили раньше всех остальных. Он кричал фашистам стихи: «Азохен вей, плачь! Что ж, палач, бей! О, … вашу мать, все-таки я еврей!»

— Мицкевич, — сказал Андрей, — на музыку просится.

— Кюре просит немного подождать, — говорю я.

— Тоже поешь под его дудочку?

— Нет… Просто, может, он прав — немного подождем, нас соберется побольше, достанем оружия и уйдем в леса.

— Ну а сколько подождем? Годик? Два?

— Зачем же…

— У нас так провокаторы в лагере говорили.

— Что?!

Юзеф становится между нами.

— Не говори ерунды, — морщится он и толкает Андрея в грудь.

— Я говорю правду, — повторяет тот, и злоба узит его глаза. Меня словно молотком по голове ударили.

— Сволочь, — говорю я медленно и тихо, — отожравшаяся сволочь!

Я срываю с себя рубаху. Там, на левой стороне груди, у меня след от баловства Павла Павловича — красная звезда и матерное слово, вырезанное бритвой. А по спине — черные следы от палок и рубцы от проводов.

Лучше бы я не делал этого. Нельзя поддаваться на обиду из-за невыдержанности товарища. Он хочет того же, что и я, он хочет драться, а я не помогаю ему в этом желании, он имеет право выходить из себя, значит, он честный парень, если он смог так оскорбить меня из-за того, что

я не помогал ему в этом желании — драться с фашистами. Да, лучше бы я не снимал с себя рубаху. Теперь Андрей лежит и кусает себе пальцы, а Юзеф гладит меня по голове и все время повторяет:

— Прости, ну прости этого идиота, он не хочет зла, он хочет, чтобы у всех скорее все стало очень хорошо, поэтому он так и сходит с ума…

Зарядку мне приходится делать ночью, во дворе кюре. Он стоит у ворот, а его служанка Аннет гуляет с собакой вокруг ограды. Я в это время прыгаю, подтягиваюсь на турнике, который кюре сделал для мальчишек, поющих у него в хоре, играю с гантелями — словом, вхожу в спортивную форму. Андрей и Юзеф гимнастикой пренебрегают. Они либо спят, либо играют в самодельные кости. Юзеф проиграл Андрею свой особняк в Кракове и автомобиль «рено», купленный им перед самой войной. К кюре Андрей не ходит совсем, Юзеф — очень редко, чтобы не обижать товарища. Андрей потерял жену, мать, отца и сестру во время первой бомбежки Варшавы. У него осталась маленькая дочка, ее взяла к себе семья брата. А брат — коммунист, и жена его тоже коммунистка — разве они уцелели под фашистами…

Прыжки на месте хоть и утомительны, но поразительно эффективны. Я чувствую, как у меня наливаются ноги, я чувствую, как под кожей вверх-вниз, вверх-вниз — перекатываются мышцы, я чувствую, как напрягается живот и пропадает та дряблость кожи, которая всегда сопутствует голодному истощению. Черт возьми, какая же это прекрасная штука — гимнастика! Я раньше всегда был в хорошей спортивной форме. Очень любил фехтование и покорял моих преподавателей в Щепкинском точностью каждого выпада. Когда же все это было? Лет восемьсот тому назад? Нет. Больше. Разве я сейчас похож хоть каплю на того «меня», на довоенного? Наверное, сейчас я стал куда хуже, чем был раньше. Это не ложная, кокетничающая скромность, нет!

Раньше я был добрее и мягче, я верил всем, кто говорил мне, если, конечно, говорил товарищ.

Раньше я не задумывался над существом правды. Сейчас я приучен ничему не верить на слово. Слишком много друзей погибли страшной смертью на моих глазах только потому, что они были приучены слепо верить правде и не пытались посмотреть ее со всех сторон — повнимательнее.

А в общем, ничего-то я не знаю: быть может, наоборот, раньше я был студнем, а сейчас стал

кремнем. «Кремень» — тоже мне метафора. «Кремень» — «искра» — «лоб» — прямая ассоциация. Ладно, потом додумаю, после войны у меня будет очень много свободного времени на обдумывание всевозможных событий и явлений жизни. А сейчас лучше повертеться на турнике, устать как следует и пойти к ребятам на чердак — спать сном праведника.

— Мой дорогой Степан, не спорьте со мной — я тверд в этом убеждении! — Кюре делает протестующий жест рукой, как бы отодвигая от себя невидимого противника в споре. — Проклятый фаустовский дух, гениально понятый Гете. И я не уверен — немец ли Гете. Скорее всего он австриец с примесью французской крови. И не говорите мне, пожалуйста, ваших большевистских догматов о единстве крови — это все ерунда и нонсенс! Я — по крови русский и ничего с этим не могу поделать! Да, да — хотел бы, но — увы! Я никогда не видел соломенных крыш, но я люблю их до слез, хотя допускаю, что так же легко мог их возненавидеть, заставь меня жить только под одной соломенной крышей. Немцы ничего не могут поделать со своей кровью! Ни-че-го! Их дьявольский фаустовский дух тянет к завоевательству! Даже архитектура — готика — и та — сплош-

ное завоевательство! Шпаги, направленные в небо! Крепости, задирающие нос перед землей! Они, немцы, хотели еще с варварских времен подчинить мир немецкому духу, проявленному в вожде! Я не верю, что Наполеон был французом — он был немец, он рассматривал мир — как явление, с которым можно оперировать и экспериментировать. А во имя этого — сначала подчинить целиком себе, своему духу, своему все познающему «я»! Безграничное — цель немецкого честолюбия. В этом они истинные потомки варваров. Варвары — дети, а никто так не притязает на безграничное, как дети! Люди Эллады, которых погубили варвары, не были завоевателями — они были искателями и романтиками. Александр Македонский шел по Азии, как географ, ученый и спортсмен! Ему не нужно было безграничное, он хотел только Македонии и Греции, которые лежали у моря — зеленого, теплого и напитанного солью! Немецкому духу противна сама идея прекрасного — немецкий дух индивидуален и жестокосерден, ибо он хочет безграничного владычествования! Я ненавижу их нацию, пронизанную духом завоевательства! Я кончил, спорьте со мной, говорите о пролетарском интернационализме и пойте ваш лозунг

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я готов подпеть — но не согласиться!

Кюре смотрит на меня запальчиво и по-детски настороженно. Милый, хороший кюре! Только добрые люди могут спорить с такой запальчивостью. Доброта всегда предполагает большую долю наивности — не в плохом смысле, а в чистом, мужском, сильном.

— Вот я живой сижу перед вами, — говорю я ему, — а вообще — это противоестественно. Я не имел права быть живым. Все было сделано так, чтобы я уже сейчас лежал черным пеплом на полях Германии. Но я жив. И если я жив — этим обязан немцам. Я раньше тоже думал, как вы, до того, как попал в тюрьму и в лагерь. Там много немцев. И — ей-богу — они все прекрасные ребята. Они нас учили многому, а самое главное — умению выживать. Так что я за немцев.

Потом мы с кюре играем в шахматы. Он сильный игрок. Пожалуй, самый сильный изо всех, с которыми мне приходилось играть. В тюрьме я вовсю рубился в шахматы с лысым Вольфгангом, другом этого учителя из Праги, чеха Фучика. Только, конечно, там у нас не было шахмат. В фашистских тюрьмах ни шашки, ни шахматы не выдаются. Но мы устроились с грехом пополам

и играли на память. Со стороны это, по-видимому, казалось бы очень забавным. Мы говорили символами, вроде: «е-4» — «е-7». Вольфганг долго обдумывал каждый ход. Он грозил мне пальцем и смеялся:

— Не так-то легко взять у меня этого офицера, мой друг! Я не боюсь угроз! Следи-ка лучше за своим конем! С-5 и Д-4! Вот так-то!

— Тура же под боем, — говорю я.

— Ого, как страшно! Ходи, ходи, через два хода я гарантирую мат!

Жив ли он, мой дорогой товарищ Вольфганг — первый немец, которого я не считал своим врагом?!

— Слушайте, Степан, — посасывая короткую трубку, набитую валериановым корнем, говорит кюре, — интересно, а после конца этого ужаса можно будет съездить в Россию — в гости, ненадолго? Я мечтаю об этом времени.

— Конечно. Вы приедете ко мне в гости.

— Подождите-ка… Не надо выводить сюда ферзя — это чересчур агрессивно, это — наказуемо. Слышите? Сколько пробило? Одиннадцать?

— Нет. Двенадцать.

— Что?! — Кюре вскакивает из-за стола и, набросив легкое пальто, убегает, даже не попрощав-

шись со мной. Мне очень хочется попроситься пойти вместе с ним. А то вся жизнь ограничена этой комнатой, соединенной со вторым этажом, второй этаж, соединенный с чердаком, да еще ночью двор дома, где я занимаюсь гимнастикой. Вот и всё.

Но проситься с кюре неловко. Ему ведь всего сорок пять лет, а разве попы не мужчины?

Я ложусь на свой матрац, взбиваю подушку и начинаю неторопливо раздеваться. Я ложусь под холодные, накрахмаленные Аннет простыни и отчего-то с мучительной ясностью вспоминаю Надежду. Тогда тоже был чердак сарая, и тоже сено, и такая же тишина плыла над миром, и война казалась далекой и совсем не страшной. Мне тогда еще захотелось остаться в том сарае навсегда — рядом с Надеждой, чтобы только все время обнимать ее — и тогда все пройдет мимо, пронесется, не тронет…

— Ты сердишься, что я все время ссорюсь с ксендзом? — спрашивает меня Андрей. Голос у него совсем не сонный.

— Нет, я не сержусь, но он во многом прав, поверь мне. Не стоит зря рисковать. Зачем же идти на конях против танков?

Мне про это рассказывал Юзеф. В последние

дни Польши кавалеристы надевали парадную форму, чистили сапоги до мертвого, зеркального блеска и шли с оркестром развернутым фронтом против колонн фашистских танков. Это было очень красиво и очень страшно. Но так рассказывал Юзеф. Я-то думал, что это еще и трусливо, и глупо. Умирать в строю, в белых перчатках и с флягой коньяку в заднем кармане брюк не страшно. Страшно гнить одному — в лесу, с вывороченными кишками, и уметь достойно встретить смерть при этом — вот заслуга, а идти на конях против танков… Не знаю, что-то меня это не больно воодушевляет. *У* нас Приходько перед каждым немцем голову гнул, чуть пятки им не лизал с усердия, баланду получал в премию — а сколько он им вреда причинил? И все тихонечко, с улыбочкой, спокойно… Он им деталей один набраковал за сто человек — по меньшей мере. Да еще нас выучил. Кому больше зачтется: конникам или Приходьке?

— Все равно я не верю ему, — шепчет Андрей, — не верю я попам — и все тут. Он — провокатор.

— У тебя все провокаторы.

— Кто сейчас не воюет — тот провокатор, разве нет?

— Да.

— Вот видишь! Он же нас может в любой момент продать…

— Глупости. Если бы он хотел тебя продать — он бы уже раз сорок продал. Ты же сидишь у него больше месяца?

— Да.

— И за постой ему не платишь?

— Так денег-то нет…

Я смеюсь. Андрей не понимает шуток. Он считает, что если сейчас война — так никто не имеет права шутить. Надо все время быть наготове, стиснув зубы и сжав кулаки. Чудак, зубы так раскрошатся. А пальцы затекут…

— Знаешь, Андрей, таких, как ты, у нас называют Фома-неверный.

— Это что такое? Обидное очень?

— Ну что ты… Это совсем не обидно.

— Ладно. Тогда можешь меня звать этим самым Фомой. И давай спать. Только я все равно не верю попу.

…Ночью я проснулся. Мне показалось, что идет дождь и гремит гром. Но дождя не было. И гром не гремел. Где-то неподалеку грохотала зенитная артиллерия.

«Откуда здесь зенитки? — думаю я сонно. — Ерунда какая-то. Здесь нет войны, откуда же здесь

взяться зениткам?»

Я поворачиваюсь на другой бок и засыпаю, укрыв голову второй подушкой.

Под утро меня мучил кошмар. Мне снилось, что я снова в лагере и фашисты орут: «Строиться! Живо! Всем строиться!»

Я открыл глаза, сбросил с головы вторую подушку, потянулся до хруста и сел.

— У тебя осталось курево? — спросил я Андрея.

Он повернул ко мне белое — без кровинки — лицо и ударил себя пальцами по губам.

— Строиться! Живо! Живо!

И чувствую, как во мне что-то обрывается. И снова эта проклятая нота «си» начинает дрожать где-то там, в мозгу, она все громче звучит, расширяя свой диапазон, заглушая все остальные звуки. Только вот даже эта проклятая навязчивая нота не может заглушить немецкой речи. Крикливой, злой, такой знакомой и страшной.

— Живо! Ровней стоять!

Мне страшно пошевелиться. Я смотрю на Андрея и Юзефа — я вижу, что они тоже в таком же оцепенении. Мне сейчас кажется, что если я пошевелюсь, то немцы нас сразу же найдут. Я жмурюсь оттого, что явственно и зримо представляю себе, как это будет. Валерий Петрович

рассказывал мне, как он путешествовал по Ирану в двадцатых годах. Он тогда рассказывал нам про поэта Велимира Хлебникова, который жил в Иране. Он очень смешно остался там. Хлебников был настоящий поэт, не от мира сего. Он шел с войсками маршем и вдруг увидел очень красивую, совершенно необычную бабочку. Хлебников был помимо всего и знаменитым естественником. Так, однажды, увидев ворону, вышел из строя и пошел за ней — в пески. Его окликнул командир. А Хлебников ответил ему: «Тише, видите, у нее крыло — белое»... — и показал глазами на ворону. Так он и ушел следом за ней. И никто не посмел его остановить, хотя в те годы за дезертирство полагался расстрел. В те же годы по Ирану бродил и Валерий Петрович. Он однажды покурил в какой-то чайхане гашиша. Он рассказывал, что тогда соломинка казалась ему огромным бревном, а разлившийся чай — огромным озером. И вот мне сейчас, как и во время первого побега, захотелось всего наоборот — мне захотелось стать невидимой соломинкой. Но я же понимаю, что это никак невозможно...

И поэтому приходят усталость и безразличие.

«Кто же нас продал? — думаю я мучительно. — Нас кто-то продал, хотя видели нас здесь три

человека всего: кюре, служанка Аннет и почтальон Поль, который привел меня сюда. Все. Больше никто не знал о том, что мы здесь». А потом ужас входит в меня. Нет, не потому, что я понимаю будущее — после того, как схватят. Ужас входит в меня, потому что я вспоминаю слова Андрея о кюре.

«Ерунда, — я гоню от себя эту мысль. — Нельзя быть таким уж подозрительным. Не может быть, чтобы кюре… Если это так — то лучше не жить. Кому же тогда верить?»

Первым пошевелился Андрей. Он осторожно подполз к маленькому слуховому окошку, заделанному фанеркой. В фанерке мы проделали несколько дырок. Снизу они незаметны, а нам дают прекрасный обзор, как через амбразуру.

Я приник лбом к маленькой дырочке, просверленной перочинным ножом. Было раннее утро. Деревня лежала в серой дымке, от реки поднимался белый туман, а небо уже было голубым и высоким, как днем.

Неподалеку от нашего сарая, на маленькой площади стояли все жители деревни. Кюре стоял ближе к нам, с маленьким хромым мальчиком, который особенно хорошо пел в его церковном хоре. Я сразу понял, что это именно тот мальчик,

потому что кюре много рассказывал о нем. Я увидел кюре рядом с людьми, и у меня сразу же отлегло от сердца, и стало легче дышать, и снова моя маньячная нота пошла носиться в голове, и греметь, и звучать в неистовом ритме — так что глазные яблоки ломит нестерпимой, тугой болью. Но это хорошо, если можешь чувствовать боль, значит — самое страшное позади, а самое страшное — это когда вообще ничего не чувствуешь.

«Слава богу, — думаю я, — кюре здесь ни при чем. А то можно было бы выходить отсюда и идти под пулю… Хорошо, что я не ошибся в нем…»

Посредине площади стояли десять гестаповцев, а между гестаповцами и жителями — два американских летчика. Один рыжий и высокий, а другой тоже очень высокий и к тому же толстый. Немецкий офицер — весь в черном, очень красивый и стройный — прохаживался перед строем солдат, насвистывая какую-то песенку. Часто он поглядывал на дорогу. По-видимому, офицер был чем-то недоволен, потому что он часто затягивался и без надобности стряхивал пепел, которого не было. Курил он, не снимая перчаток, и мне казалось странным — как это у него лихо получается — грациозно и точно. Я в перчатках курить не умею, сразу же мну сигарету, или тушу

огонек, или прожигаю кожу.

Мы услыхали шум приближающейся машины и переглянулись. Что-то готовится серьезное. Где-то закудахтали куры. Из-за поворота вынырнул «мерседес», а следом за ним — открытая полугрузовая машина. «Мерседес» въехал на площадь, и шофер затормозил метрах в двух от замеревшей толпы. Он тормознул резко, и поэтому противно заскрипели тормоза и взбросило задок большой машины. Дверцы успел распахнуть офицер, который прохаживался перед строем солдат. Из машины вышли два офицера. Они держали на поводке трех здоровенных доберманов. Собаки были черные, с рыжими подпалинами на лапах и на груди.

Тот гестаповский офицер, который прогуливался по площади, затушил сигарету, достал из кармана листок бумаги, быстро пробежал его глазами, стал говорить на очень четком немецком языке:

— Сегодня ночью наши доблестные зенитчики сбили неподалеку от вашего селения американский самолет, который вез вам пулеметы, автоматы и патроны. Так будет с каждым самолетом, который прилетит сюда… — Немец подождал, пока переводчик закончил перевод

жителям, а потом продолжил: — Чтобы летчикам наших врагов было не повадно летать сюда, а вам — встречать их кострами и опознавательными знаками, — мы решили устроить маленькое представление. Это вам будет уроком, а если подобное повторится, то мы уже не будем такими добрыми и многие мамаши и жены поплачут горькими слезками!

Офицер отошел к «мерседесу» и что-то быстро сказал офицерам, которые приехали позже. Те засмеялись. Солдаты подошли к летчикам и стали развязывать им ноги. Потом гестаповцы надели каждому из них на шею по большому кожаному поясу. Пояса были похожи на гетры — такие же высокие и скрипящие. Офицер подошел к летчикам и сказал им:

— Теперь вы свободны, если сможете убежать. Мы не будем стрелять в вас.

Солдаты начали толкать американцев автоматами в спины. Рыжий летчик стал таким бледным, что у него на лице выступили все веснушки. Рыжие, как правило, веснушчаты, а весной — особенно. Мне показалось, что веснушки на его лице выступили, как капли крови. Американцы упирались молча. Солдаты стали кричать высокими голосами, а собаки, привезен-

ные на «мерседесе», подвывать им.

Мальчик, стоявший рядом с кюре, забился и упал на землю. Гестаповец подскочил к кюре и закричал:

— Подними щенка!

Кюре поднял мальчика на руки и зажмурился. Тогда гестаповец ударил его кулаком в губы и приказал:

— Открой глаза, черная юбка!

Кюре замотал головой и что-то быстро сказал гестаповцу. Тот снова ударил кюре по губам и завизжал:

— Открой глаза, церковная б...!

И тут началось что-то страшное: женщины, дети, старухи и старики стали плакать и кричать что-то — вразнобой, а потому — особенно страшно. Немцы защелкали затворами и отступили к своей открытой машине. По всему было видно, что через минуту они начнут стрелять в детей и старух. И тогда рыжий американец замотал головой и, зажмурившись, побежал. Гестаповец, тяжело дыша, отошел от кюре. Он подскочил ко второму летчику и стал толкать его пистолетом в шею, показывая рукой, чтобы он бежал следом за рыжим. Тогда летчик схватил гестаповца за шею и повалил на землю. Он навалился на него

и стал быстро-быстро ворочать плечами, стараясь задушить гестаповца. Те офицеры, которые подъехали на «Мерседесе», передали поводья от собак солдатам и подбежали к американцу, который душил их товарища. Они побоялись стрелять ему в голову, потому что можно было промахнуться и застрелить своего. Поэтому они склонились над американцем и один из офицеров, изловчившись, вставил ему пистолет в ухо и выстрелил. Потом офицеры поднялись с колен, помогли подняться третьему, который шатался и вытирал с лица кровь, и скомандовал солдатам:

— Пускать!

Солдаты отпустили доберманов, и те понеслись, отталкивая друг друга, следом за рыжим летчиком. Они нагнали его и бросились ему на спину, и, повалив его, стали рвать его тело, потому что горло у него было закрыто кожаным поясом, а это злило собак, привыкших сразу же грызть горло, и поэтому они сейчас рвали его тело, свирепея и отталкивая друг друга лапами. Сначала американец отбивался, а потом заорал: дико, нечеловеческим голосом, а потом крик его смолк, и стало так тихо, что было слышно жужжанье шмеля…

Когда фашисты уехали, к нам поднялся кюре.

Он весь трясся и все время плакал. Он сел рядом со мной и сказал:

— У меня спрятана граната и пистолет. Когда мы начнем? Теперь больше ждать нельзя, потому что все оружие забрали немцы и убили двух наших людей, которые дежурили у костров… Теперь все надо самим, теперь обязательно надо самим…

Андрей взял соломинку в рот, перекусил ее и сказал:

— Снова вы тянете, как всегда. Надо сейчас же идти и начинать.

Юзеф, который лежал с закрытыми глазами и всячески делал вид, что спит, повернулся на другой бок и проворчал:

— Не сейчас, а ночью.

— Нет, — сказал я, — все-таки, пожалуй, мы начнем сейчас…

Дорога уходила в горы. Она блестела под солнцем и вилась замысловатыми кольцами, совсем как настоящая змея.

Она блестела под солнцем, потому что совсем недавно прошел дождь. Мы только вышли из Боннежа, и сразу же начался дождь. Мы спрятались под деревья и смотрели на голубое небо, на белое солнце и никак не могли понять, откуда

взялся такой ливень. Струйки воды были толстыми, сплошными, и лес от этого на какую-то долю минуты показался нарисованным на серой ученической тетрадке в косую линеечку. Мы писали на таких тетрадях не то до второго, не то до четвертого класса. Я смотрел на лес, изрезанный дождевыми струйками, и удивлялся: зачем надо было нас мучить и заставлять писать именно на тетрадях в косую линейку? Все равно в девятом классе учитель литературы ставил нам плохие оценки, вне зависимости от красоты почерка. Нашего учителя звали Константин Константинович Шиговский, по прозванию Козел. Мы очень любили его. Однажды, раздавая наши сочинения, он сказал:

— Почему вы пишете, словно по читаному? Пишите то, о чем думаете. Ведь я даю вам свободные темы. Напишите мне лучше… — Он задумался, взялся всей пятерней за седую бородку, заглянул в огромное, залитое солнцем окно и повторил: — Напишите мне лучше о дожде. О весеннем первом дожде.

Юрка Пантелеев спросил:

— Это вроде как «люблю грозу в начале мая, когда весенний первый дождь»?

— Гром, — поправил его Козел. — Не дождь, а

гром. И потом, не читай Тютчева, как теорему. Это, милый мой, Тютчев, а не Рыбкин.

Мы все засмеялись, потому что Рыбкин был автором учебника по геометрии. Козел всегда издевался над его примерами. Он считал задачи Рыбкина купеческими и старорежимными.

И вот мы идем по горной дороге, которая блестит после дождя. Но солнце припекает, дорога постепенно сохнет и поэтому сейчас уже блестит в тех только местах, где остались лужицы.

Андрей идет рядом со мной и говорит:

— Я боюсь таких бетонных дорог.

— Почему?

— Потому что я жил на границе с немцами. Около Бреслау. Они начали строить такую же дорогу в тридцать четвертом году. Точно такую же, — он с силой топнул ногой по шершавым бетонным плитам, — совсем будто одна: там и здесь. Мы тогда смеялись, говорили: «Вот это дорога! Всем дорогам дорога!» А один наш старик сказал: «Дураки. Для чего они строят такую дорогу к нашей границе?» А мы все стали над ним смеяться.

Мы говорили старику: «Пусть только Гитлер попробует! Солдаты старого маршала дадут ему по затылку!»

Несколько шагов Андрей прошел молча, а по-

том зло, по-хулигански сплюнул и выругался:

— Будь он неладен, этот старый маршал!

Юзеф сказал:

— Напрасно ты сердишься на маршала. Пилсудский был очень умным человеком и большим военачальником. Во всем виноваты пилсудчики. Они его портили.

Андрей засмеялся:

— Значит, плох был не Иуда Искариот, а те, которые положили в его руку тридцать сребреников?

— Зачем ты так? — спросил Юзеф, поморщившись. — Ведь ты сам знаешь, что неправ.

Андрей засмеялся и сказал:

— Дурак ты, майор!

— Дураки — самые умные люди, — заметил я, чтобы подзадорить их обоих. — А особенно в годы, когда мир сходит с ума.

Андрей поднял брови, с притворным изумлением посмотрел на меня и сказал:

— Ого! Начались высказывания! — Он повернулся к кюре, который шел вместе с Юзефом по противоположной стороне шоссе, и крикнул: — Начались умные речи, кюре! Почему вас не слышно? Ведь наш кюре, наверное, умеет говорить евангельскими догмами?

Кюре, шедший впереди всех, остановился. Он посмотрел на Андрея. Я увидел, как у него тряслись губы.

— Вы еще можете смеяться? — тихо спросил он. — Почему вы можете смеяться после того, что было утром? Откуда в вас такая жестокость?

Андрей остановился как вкопанный, лицо у него задергалось тиком, рот пополз к шее. Он крикнул:

— Замолчите! Или убирайтесь прочь!

Кюре шагнул к нему и сказал:

— Это я мог бы сказать вам, чтобы вы уходили прочь. Но я никогда не скажу вам этого.

Юзеф взял кюре за руку и сказал:

— Послушайте... Пожалуйста, пойдемте со мной, я все объясню вам.

И они ушли с кюре вперед. Наверное, Юзеф стал рассказывать старику о том, что у Андрея фашисты убили всю семью, что его самого пороли пять раз, что он был смертником в лагере и ходил с мишенью на груди и на спине... Ведь Юзеф просидел с Андреем два года в лагере. Конечно, у него было что порассказать кюре. И даже о том, чего, пожалуй, не стоило бы рассказывать. И не только кюре, а любому мало-мальски здоровому человеку.

— Тебя не укачивает от этих поворотов? — спросил Андрей.

— Нет.

— А меня малость мутит. Как женщин. Они всегда блюют на горных дорогах. Знаешь почему? У них мозгов ведь меньше, чем у нас, они там в черепушке болтаются — поэтому бабы блюют, а мы нет. У нас мозги не болтаются, так ведь?

— Наверное, так, — согласился я…

Андрей нагнулся и сорвал ромашку, которая росла на обочине бетонного шоссе. Он замедлил шаг и стал отрывать лепестки на «любит — не любит».

Я сказал:

— У нас так гадают на девушек.

— У нас тоже.

— Так, наверное, всюду гадают.

— Вряд ли. Говорят, в Африке нет ромашек.

— Врут.

— Ты думаешь, ромашки есть всюду?

— Думаю — всюду, — ответил я и засмеялся.

— А кюре тоже имеются всюду?

— Нет. У нас, кажется, нет кюре.

— А у нас есть ксензды. Знаешь, каждый, кто не может работать головой или руками, работает языком. Они все на один манер. Утешители.

— Ведь тебя кюре не утешал?

— Утешал. Только ты не слышал, это было до тебя…

— Я не знал… Меня он не утешал — это точно…

Андрей бросил общипанную ромашку себе под ноги и сказал:

— Кстати, получается, что не любит.

Я удивленно посмотрел на него. Он кивнул на ромашки, которые росли вдоль по обочине бетонного шоссе.

— Значит, любит, — сказал я.

— Почему?

— А все гаданья выходят наоборот. У нас на шахте «Мария»…

— Где? — перебил меня Андрей.

— На шахте «Мария», я же говорил тебе.

— Забыл…

— Так вот, там со мной в забое работал один старик. Он тоже поляк, между прочим.

— У нас тоже был один парень с шахты «Мария», — снова перебил меня Андрей, — его потом сожгли, потому что он заболел ангиной.

— Ну так вот, — снова начал я, — этот поляк всем гадал по руке и всем предсказывал счастье. За это мы его ненавидели.

— Вот видишь, — сказал Андрей.

Я сначала не понял, о чем он говорил, а потом догадался, что он думал о кюре.

…Около перекрестка нас нагнали Юзеф и кюре. Дальше мы шли молча…

Мы прошли совсем немного и услыхали шум мотора. Андрей сразу же вытащил из кармана гранату. Кюре побледнел еще больше, вытер со лба пот рукавом сутаны и снял с плеча свой охотничий браунинг.

— Это могут быть наши, — сказал кюре, — тут ездят такси со станции.

— Ваших мы не тронем, — обернулся к нему Андрей, — уж будьте спокойны.

Мы все, словно по команде, остановились. Кюре и я — с одной стороны дороги, а Юзеф с Андреем — чуть впереди, на противоположной стороне. Лужицы на бетонных плитах совсем подсохли, и теперь под солнцем дорога не блестела, хотя солнце было по-прежнему ярким. Из-за поворота вылезла тупорылая морда машины.

— Немцы, — разлепив губы, прошептал кюре.

Андрей услыхал его и неторопливо пошел навстречу машине. Он шел, склонив голову, глядя себе под ноги, машина затормозила. Сквозь стекло я увидел трех офицеров. Сначала я видел, как шофер смеялся и что-то говорил тому офицеру,

который сидел рядом с ним. Потом он перестал смеяться и резко взял на тормоза. Открыл дверцу и крикнул на плохом французском, обращаясь к кюре:

— Э! Месье! Вы не укажете, как выехать на поворот к этой Бон, Сон — я не знаю, как сказать верно по-вашему… — Шофер снова засмеялся.

Андрей поднял голову и посмотрел на фашистского шофера. Потом он вынул правую руку из-за спины и начал неторопливо срывать кольцо с гранаты. Немец, увидев в руках у Андрея гранату, быстро захлопнул дверцу и дал газ. Но он забыл, что машина стояла на тормозе. Андрей швырнул гранату под колеса. Шофер стал рвать обеими руками тормоз, но со стороны казалось, что он лихорадочно быстро застегивает ширинку. А потом вдруг полетели осколки стекол, и уже после этого дернул тугой взрыв. Машина ткнулась носом в бетон, а колеса развалились в разные стороны.

Распахнулась задняя дверца, и кто-то, выскочив из машины, бросился к лесу. Я вскинул пистолет и выстрелил. Человек бежал. Я выстрелил еще два раза, но снова промахнулся. Тогда кюре поднял ружье и стал целиться. Он целился, а я все стрелял, и все впустую… Мотор по-прежнему горел, и поэтому особенно остро пахло хвоей и

бензином. А кюре все еще целился, хотя человек, выскочивший из машины, был рядом с лесом. Мы выстрелили с кюре одновременно. Он выстрелил в первый раз, я — в последний. Человек, бежавший к лесу, споткнулся, быстро обернулся, оскалился и, схватившись за низ живота, упал.

Тогда Юзеф подбежал к машине. Он стоял, так же как и Андрей, все то время, пока мы стреляли в человека, бежавшего к лесу. А когда мы убили его, Юзеф бросился к машине и рванул на себя дверцу. Но дверца не отворилась, потому что ее перекорежило взрывом. Тогда он обогнул машину и заглянул в ту дверь, которая осталась открытой, после того как убежал человек, которого мы убили. Юзеф заглянул в машину и крикнул:

— Эй! Здесь два автомата!

Андрей, молча стоявший на том самом месте, с которого бросил гранату, вдруг начал смеяться. Он сначала смеялся, а потом стал кричать:

— Ага! А-ага! А-а-ага!

Юзеф подошел к нему, держа в руках два автомата. Андрей схватил автомат и начал прыгать, прижимая его к груди.

— Ты измажешься, — сказал Юзеф, — они в масле.

Андрей прыгал, не слушая его. Потом он оста-

новился, швырнул автомат в траву, повернулся к нам и крикнул:

— Кюре! Как мы их, а? Снимай свою сутану, старина! Ты ведь охотник, а не кюре! Давай мы тебя разденем, а?

И он подбежал к старику и обнял его. А потом поцеловал в мокрый лоб. Кюре посмотрел на Андрея, на Юзефа, который лазил в разбитой машине, а потом на меня. Он тихо сказал:

— Браво, господин большевик! Мы все-таки показали этим мерзавцам! Мы им здорово показали! — И он повторил: — Браво, господин большевик.

А потом он отошел в сторону и, опустившись на колени, стал молиться. Я боялся, что Андрей засмеется, но он не стал смеяться, он поднял с травы автомат и принялся протирать его рукавом своего пиджака…

Андрей резал мясо большим немецким тесаком. Он нашел его в машине, под сиденьем. Мы сняли с машины все, что можно было снять, и ушли в лес, на старую мельницу.

— Почисть сковородку, — попросил меня Андрей, — когда вернется наш поп, я угощу вас всех вкусным рагу. Пойди и поскобли ее как следует.

— Скоблить не стоит, — сказал я, — лучше про-

тру ее мокрыми листьями.

Я вышел на крыльцо полуразрушенной мельницы. Где-то внизу, около порогов, стоял гул. Там все время стоит гул. Из-за того, что вода разбивается о камни. Я долго стоял на крыльце со сковородой в руках и слушал этот ровный, спокойный гул. А потом подумал, что эти пороги там, внизу, могут когда-нибудь сослужить нам плохую службу, если мы решим здесь обосновать базовый лагерь. Немцы любят прочесывать леса с собаками, а особенно в тех местах, где была подорвана их офицерская машина. Лай можно услышать издалека, километра за три. А из-за гула, который стоит на порогах, мы ничего, конечно, услыхать не сможем.

Но я быстро забываю о немцах, о собаках и о карателях, потому что шум падающей воды поразителен, так же как и лес, окружающий нашу мельницу. Природу воспевали все писатели, но еще никто и никогда не смог воспеть ее по-настоящему. Люди — сами собой, а природа — сама по себе. Вот сейчас война идет, страшная война, таких войн никогда не было — а природа безразлична к нашим горестям и мукам. Она вроде ребенка на похоронах — тот ведь тоже смеется над смертью…

...Я нарвал веток и принялся чистить сковородку. Я не успел до конца очистить ее, потому что вернулся кюре.

Он сел рядом со мной и сказал:

— Сегодня ночью на станцию привезут вагон с югославами и погонят их потом на лесозавод.

— Это точно?

— Да.

Я вошел в дом. Андрей и Юзеф кончали мыть мясо.

— Товарищи, — сказал я, — сегодня на станцию приходит вагон с пленными югославами.

Андрей спросил:

— Ты вычистил сковородку?

— Нет. Ее дочищает кюре.

— Жаль.

— Чего тебе жаль?

— Что мы не успеем поужинать. Мясо вроде очень вкусное.

— Мы успеем поужинать. У нас есть время.

Андрей отодвинул от себя кастрюльку с мелко нарезанным вымытым мясом и сказал:

— Я не буду есть перед операцией.

Юзеф толкнул его локтем в бок и сказал:

— А я очень даже буду есть перед операцией.

Все посмеялись, а потом пришел Юзеф со ско-

вородкой, и мы поджарили мясо на оливковом масле с луком. Андрей сидел в углу и перетирал тряпкой, вымоченной в оливковом масле, свой автомат. Я заметил, что у него страсть: все время протирать автомат. Пускай. Это хорошая страсть. Я-то вот ненавижу чистить оружие — нудно до крайности…

После того, как все поужинали, кюре нарисовал план станции, и мы наметили место, откуда выгоднее всего подойти незамеченными.

Когда мы вышли с мельницы, было еще светло. По-прежнему шумела вода на порогах. В лесу гудели пчелы, путаясь в еловых ветках. На солнце искрилась паутина. Мы шли по лесу быстро, растянувшись цепочкой. Андрей шел рядом со мной.

Он, как всегда, жевал соломинку. Потом он выплюнул соломинку и сказал:

— Слушай, а ведь мы уже как-никак, а отряд?

Я кивнул.

— Это здорово, Степан, а?

— Еще бы…

— А сегодня мы можем стать армией.

— Должны.

— Станем, — убежденно повторил Андрей, — я уверен.

— Должны.

Андрей перепрыгнул через коряжку и сказал:

— Слушай, а ведь здорово у нас получается все, как ты думаешь?

— Я думаю, что здорово.

— И мы ведь их отлупим, Степан, а?

— Отлупим.

— Мы их добьем.

— Должны.

— Слушай, — рассердился он, — перестань ты твердить свое «должны».

— Хорошее слово, напрасно ты сердишься.

Я не узнавал Андрея — совсем другой человек шел рядом со мной: веселый, добрый и очень спокойный…

Смеркалось. Лес сделался молчаливым, настороженным, и шмелей уже не было слышно. Зато мы услыхали гудок паровоза.

— Тсс-с! — сказал Андрей. — Слышишь?

Я остановился и подождал, пока подошли кюре и Юзеф.

Потом я перекинул автомат на грудь, поправил берет и пошел впереди нашей маленькой колонны быстрым шагом. Андрей откашлялся и тихонько запел песню, которой я выучил его и Юзефа, пока мы жили на чердаке. Он запел:

Стоим на страже, всегда, всегда,
А если скажет страна труда,

Кюре стал тоже подтягивать шепотом. Мне бы надо сказать, что сейчас петь не следует, что мы лучше как следует споем после операции, но я не стал говорить этого. Я тоже стал тихонько петь вместе со всеми:

Прицелом точным – врага в упор,
Дальневосточная, даешь отпор,
Краснознаменная, даешь отпор…

А потом мы стали спускаться по крутому склону, к домикам станции, и было очень трудно петь, потому что сбивалось дыхание. Мы замолчали. Мы теперь видели сквозь ветки деревьев маленькие фигурки солдат около вагона, отцепленного от состава. Теперь пора стрелять. А это тоже песня. Мы очень истосковались по этой «песенке». Я поднимаю автомат и выцеливаю «своего» фашиста — с нашивками на погонах. Андрей, Юзеф и кюре тоже начинают выцеливать «своих» фашистов. Мы переглядываемся. Мы — готовы. Пожалуй, пора.

…Сижу, смотрю на кирпичную стену и думаю. У меня не так уж много времени на раздумье: через

несколько часов меня расстреляют. Так что мне сейчас больше нечего делать, кроме как смотреть в кирпичную стену и думать.

…Правильно ли я поступал, когда безоружный лез на них драться? Еще бы, весело бы мне сейчас было сознавать, что я поступал неверно. Я начал один, мы пришли к партизанской бригаде — здесь, в Бельгии. Валерий Петрович говорил: «Не мучнистой бабочкою белой в землю я заемный прах верну…» Черт, конечно, улицы имени меня после войны не будет. Ведь никто ничего не знает ни про Колю Лучникова, ни про Валерия Петровича, ни про Емельянова — они умерли безымянными, под лагерными номерами. Я тоже должен умереть безымянным, хотя, конечно, мне бы очень хотелось назвать свое имя. Может быть, протокол допроса и приговор гестаповского суда доживет до Победы, и тогда все люди узнали бы про меня — про Степана Богданова. А так люди узнают про безымянного «господина большевика». Кюре — перед тем, как они его застрелили — все время кричал: «Мы им задали жару, господин большевик! Они наложили в штаны со страху, эти скоты, видишь, господин большевик!»

Я не сказал им своего имени, и они записали меня под кличкой: «Господин большевик»…

Товарищи из нашей партизанской бригады, наверное, уже знают про то, что мой отряд напоролся на фашистский полк. Там уже все знают, еще бы не знать, мы устроили неплохое побоище, когда поняли, что нам от них не оторваться. Кюре хорошо знал, что они здорово испугались.

То же самое говорил тот учитель из Праги — Горак или Фучик, я уж не помню сейчас, как его звали по-настоящему. Очень обидно, что про него тоже никто не узнает потом. Он хорошо сказал: их надо пугать, этих фашистов. Испуганный враг — уже сломанный враг, он уже побежден, если только он испуган. Я испугал довольно изрядное количество этих коричневых сволочей. Я, конечно, правильно поступал, когда шел на них безоружным. Потом уже я не был безоружным, я потом был партизаном. Но можно драться и безоружным. И очень здорово драться. Только надо очень хотеть победы. Когда очень хочешь победы — тогда ее добиваешься.

Черт, очень жаль, что никто не знает моего настоящего имени. Ну ничего… У меня хороший псевдоним. Пожалуй, лучше не придумаешь.

Молодец кюре — хорошо сказал… Ничего.

Пока я дышу — я жив. Значит, я еще боец. Мы еще посмотрим, чья возьмет.

У меня есть руки и пальцы, в которых сохранилась сила. Пальцы, в которых есть достаточно силы, чтобы бить и душить. Торжественного расстрела у них все равно не получится. У меня есть руки, и поэтому я — боец.

Жизнь комиссара Иванова
Август 1944-го

Командир штрафбата капитан Зия Буниятов оскалился, лицо его замерло, и он сказал, кивнув головой на трех человек, стоявших у двери в одних галифе, со связанными за спиной руками:

— К стенке.

Комиссар Иванов видел, как медленно, с едва уловимой долей синевы, уходила с лиц этих трех кровь.

Буниятов выпил теплой воды из грязного стакана, поморщился и сказал старшине комендантского взвода:

— Выведите на площадь, постройте батальон, за мародерство — самолично при всех постреляю.

Трех штрафников вывели. Иванов еще раз полистал их личные дела: двое — контрики, один, самый маленький, конопатый, — медвежатник, работал сейфы, говорил всем, что дружит с Львом Шейниным. Те, что старше, были взяты за контрреволюционную пропаганду. Один был парторгом МТС, другой — журналистом. Сами попросились на фронт с Колымы. Все трое клялись,

что поросенка не брали. Хозяйка, старая, подслеповатая полька, тыкала в них пальцем, плакала в темный платок, шумно утирала нос и повторяла:

— Они.

Зия подпоясал гимнастерку, провел большими пальцами под ремнем, собрал сзади ровные складочки, осмотрел себя в зеркало и сказал:

— Пошли, Степа.

— Значит, говоришь, к стенке?

— К стенке. К стенке псов. Армию позорят. К стенке.

— Стенок не хватит.

— Ты что, Иисус? Иисусик?

— Бабка-то слепая…

— Я — зрячий.

Когда батальон выстроили на площади тесным каре, Зия сказал:

— Вы не ангелы, а урки и контра, но вы честно деретесь, заслуживая прощения у Родины. Вчера три этих вот мародера, — он кивнул головой на трех босоногих, серолицых людей, — своровали вот у этой бабки кабана. Они не говорят, где кабан, и ни в чем не признаются, а это бы смягчило их участь. Поэтому они будут именем революционного правосознания расстреляны, как псы, опозорившие звание советского солдата.

Бабка вдруг закричала:

— Нет, пан! Нет, пан офицер! Нет! Нет!

Закричала она тонко и страшно, Зия быстро подошел к ней и спросил:

— Мамаша, что с вами?

Карманник Гринберг из Николаева шепнул своему соседу, бывшему директору ОРСа:

— Излагает, как врач-венеролог. Ничего интеллигентней наш командир спросить не мог.

— Пан офицер, — быстро заговорила старуха, — я думала, вы их просто накажете, я ж слепая, пан офицер, а что если я ошиблась, пан офицер, я так дорожила моим кабаном, но они ведь люди, пан офицер…

Неслась по дороге бричка, запряженная тремя рысаками, а впереди трое босых, потных человека бежали по обочине и кричали в пустые поля и в окна сожженных домов:

— Мы опозорили батальон славного командира Буниятова и приносим прощение всем гражданам братской Польши, больше этого никогда не повторится.

Правил бричкой Зия, а рядом сидел Иванов и говорил:

— Зия, брось… Нельзя, Зия… Они ж люди, Зия…

— Они люди, а я — армия…

Буниятов снял с себя гимнастерку и подхлестнул лошадей, а крик трех раздетых штрафников все летел и летел над полями, но лица их уже не были серыми, а теперь стали красными, потными — живыми. Они задыхались, спотыкались в теплой пыли, сбили до крови босые ноги, но крик их был радостен и казался им после всего только что случившегося забавой, игрой, шуткой доброго командира.

Дорога круто сворачивала, и там шла вниз, к реке, а оттуда, снизу, поднимался длинный «мерседес» члена военного совета армии. Он даже привстал на кожаном красном сиденье, когда увидел трех полуголых, потных человек, которые бежали вниз и кричали:

— И приносим прощенье всем гражданам братской Польши…

А после на пригорке показалась бричка. Зия увидел громадный черный «мерседес» с откинутым верхом и с красными, какими-то жирными красными сиденьями и начал быстро натягивать гимнастерку, но портупею надеть он уже не успел, потому что член военного совета бежал к нему навстречу — белоглазый и яростный… Он остановился возле брички, оглядел Буниятова с Ивановым и сказал:

— Подонки. Славный командир Зия Буниятов. А вы кто такой?

— Замполит.

— Хамполит! — крикнул член военного совета. — Не зам, а хам!

Он собирался что-то говорить, но не мог, только кулаки у него сжались и он часто открывал рот, как будто ему не хватало воздуха. Трое штрафников молча утирали со лба пот, отдувались так же, как член военного совета.

— Гражданин генерал, — сказал медвежатник, — мы заслужили…

— Молчать! — крикнул генерал и снова начал сжимать кулаки, не отводя глаз от Буниятова и Иванова. После, перестав открывать рот, он очень тихо сказал:

— Капитан — допускаю — пойдет под трибунал. Вы — тоже. Но как вы могли, комиссар? Они ж люди. Люди? Я спрашиваю вас — люди они или нет?! Расстреливать людей можно, топтать — нельзя.

Он повернулся и пошел к машине. Сел на красное кожаное сиденье, глотнул пару каких-то пилюль и поманил к себе пальцем Буниятова:

— Слушай, славный командир Буниятов. От трибунала тебя может спасти только одно. Мост через Вислоку знаешь?

— Так точно, товарищ гвардии генерал?

— Туда немец прет танками. Удержишь день — простим. Нет — трибунал.

— Удержим, товарищ гвардии генерал.

Генерал махнул рукой Иванову. Тот подбежал к машине, вытянулся.

— Сдайте оружие, вы арестованы. Что можно простить командиру, того я не прощу комиссару.

— Нет, — сказал Буниятов, — я прошу его оставить, товарищ генерал. Я без него не удержу мост.

Генерал выпил еще одну таблетку и как-то устало, досадливо и в то же время безразлично махнул рукой. Шофер нажал на акселератор так яростно, что два автоматчика и порученец, что сидели сзади, словно вросли в эту жирную, раскаленную на солнце красную кожу черного «мерседеса».

В штрафбате Зии Буниятова было триста сорок четыре человека, к концу второго дня осталось семьдесят девять. Их бомбили, в них палили из «ванюш», но мост они держали и танки полыхали в ночи едким, медленным, черно-красным пламенем.

Через четыре дня, когда пришло подкрепление, их осталось двенадцать. Зия был ранен в шею, она

у него вспухла, но рана была не страшная, пуля пробила кожу. Иванов лежал под березой, белый, тихий и молчаливый. Он был ранен навылет в грудь, и осколком ему разворотило икру левой ноги. Подле него тихо умирал штрафник, бывший директор ОРСа. Он тихо шепнул Иванову:

— А кабанчика-то мы с Гринбергом увели… На самогон хотели променять. Он под соломой, за сараем, возле мельницы…

Иванов медленно обернулся к нему и тихо сказал:

— Эх ты, сука, сука…

Но тот уже не слышал Иванова — умер.

Генерал, пришедший с подкреплениями, пропустил через мост войска, подошел к Буниятову и приказал ему построить штрафбат.

Выстроилось двенадцать человек: израненные, с черными, обуглившимися лицами. Они стояли, поддерживая друг друга локтями, а генерал медленно шел мимо них и, указывая на каждого пальцем, спрашивал:

— Фамилия?

— Полынин, товарищ генерал.

— За что сидел?

— Урка.

Генерал обернулся к адъютанту:

— К Отечественной войне второй степени.

Подошел к следующему:

— За что попал в штрафбат?

— До тридцать девятого я был комбригом. Прокопенко.

Генерал, не оборачиваясь, сказал адъютанту:

— Орден Ленина.

— За что сидел?

— Прогул.

— Фамилия?

— Жаворонков.

— К Отечественной войне второй степени. Фамилия?

— Гринберг.

— За что сидел?

— Моя страсть — чужие карманы.

— К Отечественной войне второй степени. Фамилия?

— Лукин.

— За что сидел?

— До тридцать восьмого был начальником политотдела МТС Григорьяном. Попросился с Колымы, с лагеря.

— К ордену Ленина. Фамилия?

— Костров.

— За что сидел?

Костров потупил голову.

— За что сидел? — повторил генерал свой вопрос.

— Ни за что, товарищ генерал, — так и не подняв головы, ответил Костров.

— К Красной Звезде. Фамилия?

— Квасников.

— За что сидел?

— Отстал от эшелона, дали дезертира.

— К Отечественной войне второй степени. Фамилия?

— Трубачев.

— За что сидел?

— Я не сидел. Опоздал к эшелону.

— К Отечественной войне второй степени. Фамилия?

— Шубников.

— За что сидел?

Шубников молчал и смотрел на Буниятова. Буниятов знал, что Шубников имел мокрое дело.

— За что сидел? — снова спросил генерал.

Шубников покачал головой, продолжая неотрывно смотреть на Буниятова.

— Дурак был и сволочь, — ответил Буниятов, — сжег три танка, на сторону лазил, языка привел.

— Медаль, — обернулся генерал к адъютанту

и медленно пошел к машине. Он сел на сиденье возле шофера. Буниятов тогда стал узкоглазым, коротенькие усики ощерились, и он, кивнув, на белого Иванова, что лежал под березой, спросил тихо:

— А он что, хрен собачий, товарищ генерал?

— Так помер же, — так же тихо ответил генерал.

— Нет. Ранен. Вытянет.

— Об вас свой разговор будет, — ответил генерал, и снова, как и четыре дня назад, машина резко взяла с места, и автоматчики так же, как и четыре дня тому назад, вдавились в блестящую, жирную, раскаленную под солнцем красную кожу этого черного штабного «мерседеса».

Май 1945-го

Ах, эта сумасшедшая, поразительная, чистая, все простившая и такая пронизанная надеждами на иное будущее ночь Девятого мая! Пожалуй, никогда еще в истории человечества человек в одеянии солдата не пользовался такой любовью мира, и любовь эта была не слепой, это была любовь к тем, кто спас человечество от самой страшной тирании, которая когда-либо угрожала

людям.

Поэтому-то на площадях и улицах всего мира, израненного и растоптанного войной, с такой яростной радостью люди набрасывались на солдат и офицеров, и поднимали их, и качали на руках — на слабых, стариковских, девичьих, детских руках.

— Зия! — кричал Иванов, взлетая в небо. — Зия! Как ты?!

— Падаю! — кричал Зия и снова поднимался в небо.

А потом кто-то закричал:

— На Красную площадь Сталин вышел, Сталин! Сталин на Красной площади.

И люди бросились с Манежа на Красную площадь — и Зия с Ивановым оказались на земле. Иванов — лицом к лицу с миленькой, какой-то фарфоровой девушкой.

— Ух ты, — сказал он, — экая ж вы красивая…

— Я-то красивая, — ответила девушка, — а зато вы — герои.

— Степан, — сказал Иванов и протянул ей руку.

— Галя, — ответила она и, поднявшись на мыски, поцеловала Иванова в губы.

Сентябрь 1951-го

Подполковник Тураев из политотдела академии еще раз посмотрел на звезду героя, потом поднял глаза на подполковника Иванова, вздохнул, как-то неприятно, брезгливо, что ли, поморщился и сказал:

— Да ты кури, кури, я потерплю…

— Я тоже потерплю.

Тураев долго рылся у себя в столе, достал папку, рассердился снова неизвестно чему и сказал:

— Да кури ты, бога ради… как дамочка, честное слово.

Иванов усмехнулся, достал из пачки длинную «казбечину», закурил, глубоко затянулся и сказал:

— В чем дело-то? Не тяни душу.

— Да вот, понимаешь, жена твоя нам пишет.

— Ну и что?

— У тебя с ней вообще-то как?

— Я не понял смысл вопроса. Что она пишет?

— Неверно, пишет, себя ведешь. Не по-партийному.

— В чем это выражается?

— Ну, просит повлиять на тебя, чтоб ты вернул-

ся в семью.

— Семья — это как: одна она или я тоже имею к семье отношение?

— Детишек у вас нет?

— Нет.

— Словом, Степан, сигнал есть сигнал, мы должны отреагировать. Сам понимаешь. Судя по стилю — баба у тебя агрессивная. Пойдет в округ строчить, в министерство. У тебя что, увлечение какое на стороне?

— Нет.

— А в чем же дело?

— Я не люблю ее. Точнее: разлюбил.

— Ну, а дальше как думаешь быть?

— Я ушел. Подал на развод.

— Брось ты горячку пороть, ей-богу… Ты ж политработник, должен быть образцом — и в моральном аспекте тоже.

— Разлюбить женщину — это аморально?

— Я говорю в данном случае о твоей жене.

— А что — жена не женщина? Или регистрация брака делает нас рабами друг друга?

— Не дури, Степан.

— Да я не дурю, Лева. У меня завтра суд.

— Никакого суда не будет. Ты заберешь заявление, и все уладится.

— Ничего не уладится, и заявления я не заберу.

— Ты делаешь глупость, Степан.

— Быть честным по отношению к своему чувству — это значит, по-твоему, делать глупость? Пожалуйста, не терпится вам почесать языки, завести персоналку — вызывай меня на партком.

— Тут дело не партком, — покачал головой Тураев, — она еще написала заявление в офицерский суд чести. Поговори ты с ней по-хорошему. Ей-богу, это никогда еще никому не мешало.

Иванов разделся в маленькой прихожей: на вешалке у соседей было много пальто. Там, в комнате у прораба, крутили патефон и пьяно подпевали хору Пятницкого. Иванов долго вытирал ноги о половичок, открыл дверь своей комнаты: на тахте возле приемника лежала Галя, его жена. Иванов молча, прошелся по комнате, а потом, остановившись перед ней, спросил:

— Зачем ты это сделала?

— А зачем ты все это начал? Зачем ты притащил меня сюда? Дура, дура, какая дура! Польстилась, поверила, приперлась, а что мне здесь делать? Я тебе говорила: или добейся перевода в нормальный город, где в кино не воняет щами, или я буду драться за себя, за свою молодость, за свою мечту, наконец!

— Драться, но не клеветать…

— У нас в стране женщинам верят, Степочка. Женщинам и милицейским протоколам: раз написано пером, топором не вырубишь, всегда ты останешься виноватым.

— Чего ты хочешь, я спрашиваю?

— Я хочу, чтобы ты вернул меня туда, откуда взял. Я хочу домой, понимаешь ты или нет?!

— Не кричи.

— Можно орать — у них патефон. Все равно ничего не слышно.

— Я тебе предлагал не раз и не два: возвращайся. Я даю тебе свободу, ты ее не берешь. Я никогда не унижался ни перед кем, ясно тебе? Меня сюда прислали, и я здесь буду до тех пор, пока меня не переведут в другое место.

— От этих белых медведей к верблюдам?

— Может быть. Поэтому: если с милым в шалаше не рай, а некое подобие чистилища — уезжай.

— А на что я там буду жить?

— Я ж тебе сказал: я буду переводить тебе половину оклада.

— До тех пор, пока я буду твоей женой, — да. А если ты получишь развод — ты не обязан мне платить ни копейки.

Иванов поморщился, снова походил по комнате, остановился на прежнем месте перед Галей и сказал:

— Я предлагал тебе: я напишу юристу, адвокату, дьяволу, кому хочешь — я буду пересылать тебе эти самые проклятые деньги.

— Не играй в простака, Степочка. Я ездила к юристу: это незаконная сделка. Получил развод, детей нет, я трудоспособна — и тю-тю!

— Какая ты все-таки скотина, возлюбленная моя!

— Ну, давай, давай… Что еще?

— Больше ничего, — ответил Иванов и пошел к двери.

Галя быстро вскочила с тахты, подбежала к двери, закрыла ее собой и жарко, быстро заговорила:

— Либо ты сделаешь так, как говорю, прошу, молю тебя, — либо я не дам тебе отсюда так спокойно уйти. Ты знаешь меня.

— Не надо этих сцен, Галя. Это нечистоплотно.

— Мы вернемся с тобой в Ленинград, в Москву, в Киев, наконец, все будет хорошо, все будет как прежде, ну сделай что-нибудь, ну не могу я тут, мне даже все эти шубы и туфли не для чего держать в этом проклятом селе! Я погибаю здесь,

понимаешь?

— Я тебе снова повторяю — езжай в Ленинград.

— А что я там буду есть? Ходить на вокзал?

— Пусти меня, — сказал Иванов, и лицо его скривилось, как от кислого и противного, — пусти, я тут не могу.

И он попытался отстранить ее от двери. Галя как-то странно усмехнулась, а потом вдруг закричала высоким голосом и выбежала в коридор, упала на пол и забилась в истерике.

Распахнулись соседские двери, к Гале бросились какие-то низкорослые женщины в ботиках, начали поднимать ее, а она билась и кричала, а Иванов стоял в дверях, и губы его прыгали в гримасе презрения, и глаза собрались в узкие охотничьи щелочки.

Октябрь 1951-го

В этот час громадный зал ресторана «Москва» был почти совсем пуст, хотя было уже шесть, Манежная площадь была вся в дымке, и последние, тугие, скрипучие, будто сделанные из жести листья грохотали по песчаным дорожкам Александровского сада — тоже синеватого, в дымке;

и здание МГУ тоже казалось сиреневым — так бывает в самый разгар осени, когда природу будто рвут надвое: лето не хочет отпускать, а зима уже тащит к себе, тащит.

Буниятов в сиреневой габардиновой генеральской форме сидел спиной к залу и разливал коньяк по синим фужерам.

— Тебе полный? — спросил он Иванова.

— Валяй полный.

Иванов сидел в кожаной куртке, она была старой, порыжелой, в трещинах, и поэтому звезда героя казалась на ней какой-то чужой, и было за нее как-то немножко обидно.

— Тебя изжога мучит? — спросил Буниятов.

— А это что такое?

— Счастливый ты парень, Степ, ей-ей. Ну, давай, со свиданьицем.

Они молча чокнулись, так же молча выпили, долго дышали, не закусывая, потом Иванов осторожно вилкой подцепил кусок копченой колбасы, понюхал ее и лениво сжевал.

На эстраде рассаживался оркестр, и молоденькая, хорошенькая певица долго щелкала по микрофону ноготком, и щелчок этот гулко разносился по огромному пустому залу.

— Здесь одиночки бывают? — спросил Иванов.

— Кто?

— Ну, бабы… Одинокие…

— Откуда я знаю. Я холостой, меня это не интересует.

— А мне, знаешь, с обиды охота какую-нибудь одиночку подхватить. Я ведь чистый. Как алмаз. Налей еще.

Они выпили еще, Иванов снова подцепил колбасу, а Буниятов сказал:

— Что ты колбасу жуешь? Рубай крабы. Они питательные знаешь какие?

— Да ну их к черту. Я ими в дороге объелся: на каждой станции завал, во рту Тихий океан к концу дороги был.

Он снова оглянулся по сторонам. Лицо у него сейчас было подвижное, быстрое, только скулы торчали по-чалдонски в разные стороны, как в разговоре с женой тогда, у двери.

— Ты-то меня знаешь: одна была, понимаешь? Одна. Всем есть жизнь под небом. А тому, кто верность хранит — по дури ли, по трусости, — тем каюк. Я вон и сейчас весь как сцепление на морозе — не выжмешь.

Буниятов налил по третьей, когда певица запела «Катюшу».

— Степ, ты хоть толком расскажи — что к чему

и как.

Иванов мотнул головой.

— Мне ж сориентироваться надо, — сказал Буниятов и поковырял в зубе спичкой. — К себе я тебя взять теперь не смогу: штатский и с прицепом. Придется мне тебя устраивать по телефонному праву.

— Это как?

— Есть римское, гражданское, уголовное право, а теперь появилось телефонное право. «Здоров, Василь Васильич, как жинка, ай-яй-яй, ты ей от давления лимончика, лимончика, спасибо, ничего, заглянул бы как, посидели по-холостяцки, да нет, один, по-прежнему один, так что валяй, дорогой, валяй, слушай, просьба к тебе, тут у меня дружок фронтовой, Иванов, Степан, так я, значится, тебя попрошу… Ну, бывай».

— Бывай. Слушай, а если ей Лещенко заказать — споет?

Буниятов, дожевывая бутерброд, отрицательно покачал головой.

— Закажи «Журавлей» — споёт.

— Сколько платить-то?

— Дай четвертак.

— Не обидится?

— Ну, полста кинь.

Иванов поднялся, подошел к эстраде — громадный, неуклюжий, в старой кожанке и военных галифе, поманил пальцем певицу и, покраснев, сунул ей пятьдесят рублей:

— «Журавлей» бы нельзя.

Певица денег не взяла, улыбнулась ему и ответила:

— «Журавлей» можно, — и отошла к микрофону.

Иванов с деньгами в руке засмущался, как-то неловко оставил полсотни на эстраде, деньги, когда он пошел за столик, осторожно подтянул к себе мыском ботинка аккордеонист, и оркестр заиграл:

— Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный…

Гулял, шумел, пел и смеялся ресторан, за громадными окнами непроглядная темень, огоньки расплывчаты: моросит дождь, — а здесь тепло, уютно, все друг другу друзья и никому ни до кого нет дела.

— Я оправдываться могу, когда не прав, — жарко говорил Иванов, — а если прав — ну не могу, пойми! На кой хрен тогда нам все, если правому надо оправдываться?

— Тут не тебе надо было оправдываться, здесь

коллектив должен был разобраться.

— Коллектив, — передразнил его Иванов, — если мы стремимся жить коллективом, тогда отчего главная задача — обеспечить каждую семью отдельной квартирой? Коллектив — это когда воевать, или пожар тушить, или строить. А если коллектив будет лезть ко мне в постель — тогда это как назвать?

— Не перегибай, не перегибай…

— В сорок четвертом ты говорил честнее.

— Сейчас не война, — жестко ответил Буниятов, — головой варишь или как?

Он обернулся, поглядел, кто сидел за соседними столиками, потом придвинулся к Иванову и сказал:

— Слушай, Степан, ты сейчас спрячь обиду в кобуру, придет время, выпалишь. А болтать — не болтай, ни к чему это сейчас. Я-то знаю тебя, а другой…

— Э, хрен с ним… Грузчиком устроюсь, прокормлюсь.

Буниятов внимательно посмотрел в лицо друга: оно пошло красными пятнами.

— Степан, не лезь в бутылку. Хлопать дверью и уходить с парткома — свинство, как бы тебя ни за черта потянули туда. Мы все считаем, что все

и всё должны понимать за нас. Тогда зачем Бог дал нам язык? Надо было объяснить людям — что к чему.

— Говорить им, что она — сука, а я — хороший? А она им скажет, что я — сволочь, а она — хорошая. А ты видал когда-нибудь, чтоб на персональном деле защитили мужика? Мы все злодеи, все. Всё понимаем, Зия, все, а — всё равно друг друга топим, этика у нас такая, этика!

В гардеробе уже было пусто, и, когда швейцар надевал шинель с погонами на Буниятова и шинель без погон на Иванова, в фойе спустилась певица. Иванов подошел к ней и сказал:

— Вы не позволите вас отвезти домой?

— Позволю, — ответила женщина и улыбнулась ему.

Буниятов кликнул ему с порога:

— Большой ключ — верхний, и не греми, мне завтра к восьми просыпаться.

Он улыбнулся женщине и ушел.

Иванов сказал:

— Я сейчас наверх смотаю — одна минуточка.

— Зачем?

— Ну, сейчас. Подождите, а?

И он ринулся вверх.

— Виолочка, — сказал швейцар, — герой.

Поимей в виду и нас, если что к чему и оформление.

Женщина зевнула, засмеялась и сказала:

— Дядя Петя, а вот если вам сбрить усы, вы будете похожи на Утесова.

Иванов прибежал, держа в руках несколько бутылок шампанского, коробки конфет, кульки с апельсинами.

— Вот, — сказал он и протянул все это женщине, — это вам.

Они вышли на дождливую Манежную площадь. Несколько «побед» стояло у входа. Один из шоферов открыл дверцу.

— Нет, — сказал Иванов, — я повезу вас домой на ЗИС-110.

И он повел ее вокруг гостиницы, к «Метрополю», там нашел ЗИС-110, женщина смеялась, и лицо ее под дождем было милым, но, когда она садилась в большую машину, Иванов увидел на ней ботики — ну точно такие, как были у тех женщин, что повыскакивали из прорабовской комнаты, когда Галя устроила истерику.

Иванов откинулся в угол, спросил — другим, не то что минуту назад, когда они, смеясь, шли под дождем, — голосом:

— Куда?

— В Текстильщики, — засмеялась она, — это край света.

Они вошли к ней в комнату. Она включила свет: дом еще не был обжит — под потолком висела лампочка без абажура, в углу стояла узенькая, девичья кровать, возле окна — стол с нотами, а поверх нот — гитара.

— Куда все это класть? — спросил Иванов.

— На пол. Мы всегда на полу пируем.

Она принесла газету, расстелила ее на полу, и Иванов поставил на газету бутылки, конфеты и апельсины. Апельсины все время съезжали с газеты на дощатый пол, а Иванов то и дело поправлял, чтобы они были на газете, а не на полу, и не видел, как за ним наблюдает женщина.

Она тихонько засмеялась и сказала:

— Давайте же знакомиться. Меня зовут Виола.

— А меня зовут Иванов.

— Иванов? Здорово. А по имени?

— По имени меня зовут только друзья.

Он говорил жестко, не глядя на Виолу, и было ему противно, что он приехал сюда и из-за этих проклятых ботиков, которые снова все всколыхнули в нем, и из-за того, что ему казалось, будто выглядит со стороны смешным, и из-за того, что не знал, о чем говорить с этой красивой Виолой,

которая сегодня пела, ей все аплодировали, и она была как недоступная царица, а сейчас он сидит у нее на полу, а стул только один, да и тот колченогий, и эти проклятые апельсины то и дело скатываются с газеты на доски, прокрашенные красной масляной краской.

Виола села рядом с ним и потрогала его звезду.

— Вы герой?

— Какой я герой? Дерьмо я, а не герой.

Он открыл шампанское, налил в стаканы белую пупырчатую жидкость и, молча чокнувшись с Виолой, выпил.

— Ну? — спросил он. — Что дальше?

Она поднялась с пола, взяла гитару, запела. После того как она кончила петь, он спросил ее:

— Я просил разрешения довезти вас до дому. Почему я у вас в доме? Почему вы позволили мне прийти к вам?

— Наверное, вы просто помогали мне дотащить ваши подарки.

— Нет. Я пришел сюда, чтобы спать с вами.

— Кто вас обидел?

— Выключи свет.

Виола подошла к выключателю, повернула его, лампочка погасла, на мгновение сделалось мучительно, непроглядно темно, а потом в окна вполз

серый, только чуть-чуть брезжущий рассвет.

Иванов подошел к Виоле, взял ее за плечи, грубо притянул к себе.

Она сказала:

— Вы думаете, я попрошу обычное «не надо»? Просто очень опротивело скотство, а вы мне казались таким добрым... Сказочники очень злые люди: они всегда описывают великанов добрыми героями.

— Ты веришь сказкам?

— Чему же тогда еще верить?

— Я сейчас, — сказал он и вышел в прихожую, там быстро надел шинель, отпер дверь и бросился по лестнице вниз.

С Буниятовым он столкнулся в дверях. Зия сказал:

— Завтрак на столе. Адрес под тарелкой со шпротами. Придешь по этому адресу к Василию Семеновичу. Он ждет тебя к трем. Слушай, тебя изжога не мучила, а?

Иванов усмехнулся, прижался спиной к стене и сказал:

— В Текстильщиках все дома — новостройки, как найти — не знаю.

Кабинет у Василия Семеновича большой, полу-

номенклатурный. До полной номенклатурности не хватает вертушки, а так три телефона на тумбочке имеются — два черных и один белый. Белый — это внутренний, чтоб вызывать своих сотрудников сухим и очень деловитым голосом, отрывисто, держа мембрану трубки далеко от рта:

— Николай Николаевич, загляни.

И — не надо объяснять, по какому вопросу, зачем и почему через минуту придет Николай Николаевич.

До номенклатурности не хватало также кожаного низкого дивана во всю стену, который обычно в те годы держали у себя в кабинетах большие начальники, подражая «хозяину». А так было все по форме — и огромный стол с дубовыми, писано-узорчатыми ножищами, и толстое стекло на зеленом сукне, под которым лежали всяческие телефоны с грифом «для служебного пользования», и два кресла в углах кабинета, и продолговатый стол, поставленный перпендикулярно к узорным ножищам, и стулья с высокими спинками. Только вот кабинетик был мал, и было в нем из-за этого обилия необходимых для солидности предметов очень трудно поворачиваться.

Василий Семенович еще раз пролистал анкету

Иванова, проглядел его автобиографию, задумчиво сказал:

— Нелепо вы как-то строгача схлопотали… Неужели не могли за прежние заслуги в отставку?

— Я сам попросил демобилизовать меня.

— Смысл?

— Да как-то неудобно было в части… Притча во языцех.

Василий Семенович протянул задумчиво:

— Да… Со строгачом вам сейчас — прямо говоря — тяжко будет… Ничего, снимете в коллективе. Мы им там подскажем. Только тут в автобиографии пополнее напишите про войну, за что героя получили, — Василий Семенович улыбнулся, — вроде как будет компенсация за строгача и увольнение из армии. А то, знаете, чтоб на меня собак не вешали — мол, блатует Василий Семенович…

— Нет, я этого писать не буду.

Василий Семенович удивленно вскинул брови, закурил.

— Почему? — спросил он. — Это ж свое, не ворованное.

— Я, знаете, слыхал, как в школе фронтовиков заставили выступать — стыдно было, я сбежал. Пусть про них другие рассказывают, если за-

служили, а самим-то про себя — нескромно это больно. Так что я не буду там больше ничего дописывать. В автобиографии-то есть — в графе наград.

— Это еще прочесть надо, — снова улыбнулся, — строгачи на первой странице, а награды-то на последней.

Вошел Николай Николаевич, кивнул Иванову, потом, увидав у него на груди звезду героя, протянул ему руку, крепко пожал, положил перед Василием Семенычем несколько папок. Тот проглядел их небрежно, внимательно поглядел на Иванова и сказал:

— Но, чтоб без обид, договорились? Бросим вас на заводишко, который гонит продукцию для народа: чайники, кружки, ложки. Смех смехом, а без этого — жизни-то нет. Там строгача снимем — и пойдете на серьезное, большое предприятие, там мне настоящий хозяин нужен.

— Да я здесь директором не потяну, — сказал Иванов, — навыков нет.

— Э, бросьте, — сказал Василий Семенович, — после армии-то?

Раздался телефонный звонок, он снял трубку и раздраженно сказал:

— Идет совещание, — и трубку положил, не

дожидаясь ответа.

— Штат большой?

— Человек семьдесят, — ответил Николай Николаевич, — мастерские скорей, чем заводик. Там надо их прибрать к рукам, а то развинтились, сигналы были всякие.

— Сигналы, — Иванова аж передернуло, но он заставил себя улыбнуться, — а где прежний директор?

— Там и.о. Главный инженер исполнял обязанности.

Снова зазвонил телефон, но теперь уже другой, Василий Семенович бархатно пророкотал:

— Слушаю. Привет, дорогой. Да ничего, скрипим. Как жена? Что ты говоришь? Ребята с Дальнего Востока говорят — настойка чаги, как бальзам, снимает. Попробуй. Да ничего. Скрипим. Кто, кто? Никодимов, — он записал красным карандашом на календаре. — Хорошо, что-нибудь придумаем. Ну, давай. Да, нет, сегодня занят, не могу. На той недельке. Привет. Ладно, ладно… Ну, пока.

Снова позвонил другой телефон, и снова Василий Семенович коротко бросил:

— Идет совещание, — положил трубку, перегнулся через стол, пожал руку Иванову и сказал:

— Сейчас прямиком туда, вас ждут, Николай Николаевич познакомит с коллективом.

Иванов посмотрел на часы — было уже начало девятого.

— А завтра нельзя?

— Можно, конечно, и завтра, — ответил Николай Николаевич, — только я уж собрал всех, предупредил, а туда ехать полчаса на электричке.

— Лады, — сказал Иванов, — только я позвоню.

Василий Семенович подвинул ему аппарат, но Иванов, смущенно улыбнувшись, сказал:

— Я лучше от секретаря.

Справочная дала ему номер ресторана «Москва», до администратора он дозвониться не смог — занято и занято, позвонил к директору, но секретарша сказала, что директора нет, он на складе, тогда Иванов попросил:

— А вы не будете так любезны попросить на минутку к телефону вашу певицу, Виолу.

— Что вы, товарищ, — улыбнулась секретарша, — ресторан на втором этаже, а мы на восьмом.

— А вы ей передать не сможете, что Степан звонил?

— Какой Степан?

— Она поймет. Пусть меня дождется, я приеду за ней к самому концу.

Секретарша подмазала губы, облизала помаду кончиком розового языка и спустилась в зал. Когда был перерыв, она зашла в комнату к оркестрантам и сказала Виоле — нарочно громко — женщина есть женщина — против природы не попрешь:

— Виолочка, к вам звонил какой-то Степан и просил вас дождаться его, он за вами приедет к концу программы.

— Какой Степан?

— Вам уж лучше знать…

Ударник сказал:

— Ви, Степан — это неэстетично.

— Нет, честное слово, это какой-то розыгрыш.

Трубач сказал:

— Тем более все равно мы сегодня кончим раньше — завтра надо быть на вокзале к одиннадцати, а после прощального пира не отоспишься за просто так. Верно я говорю, лабухи?

И оркестранты ответили хором:

— Верно, лабух!

Секретарша спросила:

— Теперь куда?

— Сибирь, Сибирь, какая ширь, — ответил

трубач, — надо подкалымить к лету на великих стройках. Ви, а ты почему такая кислая?

Виола ответила:

— Я не кислая, Слава, я просто горькая.

И — засмеялась.

Николай Николаевич пропустил Иванова в кабинет первым. Кабинетишко был жалким, с обтертым столом, дерматиновым диваном и сейфом, который стоял на тряской трехногой подставке. За столом сидели три человека.

— Ну вот, знакомьтесь с новым директором, — сказал Николай Николаевич, — товарищ Иванов.

— Главный инженер Ненахов, — сказал высокий, жилистый, улыбчивый человек, поднимаясь со стула.

— Главбух Гуссо, — представился второй, атлетического вида человек, и Иванову показалось странным, что такой молодой, красивый и сильный человек занимает должность главбуха.

— Наш профсоюз, — представился третий, — Мефодьев.

— Что ж мы стоим, — сказал Николай Николаевич, — давайте присаживаться.

— Ждем приказа, — сказал Гуссо, — армия есть армия, командир есть командир, а мы все — сол-

даты.

И все, как-то облегченно переглянувшись, заулыбались друг другу.

Ненахов достал несколько больших папок и сказал:

— Ну что ж, начнем, как говорится, расхлебывать кашу. Нам тут одним-то трудно, спасу нет. С чего начнем?

Иванов как-то растерянно поглядел на Николая Николаевича. Взгляд этот точно увидели и Гуссо, и Ненахов, и Мефодьев. В глазах у них что-то быстро зажглось и так же быстро потухло.

— Видимо, с фондов, — сказал Николай Николаевич, — а потом пойдем по всем показателям, фонды их жмут — спасу нет. Завод плана не дает, рабочие без зарплаты сидят.

Возле гостиницы «Москва» остановился, резко тормознув, «москвич». За рулем сидел Гуссо.

— Спасибо, — крикнул ему Иванов, — до завтра.

— Подождать?

Но Иванов уже не слышал этого вопроса Гуссо, он стучался кулаками в дверь ресторана, а швейцар — новый, не тот, что был вчера, отрицательно качал головой и что-то говорил, видимо, мол, все уже кончилось.

— Да там меня певица ваша ждет, Виола! Виола меня там ждет! Швейцар снова покачал головой, и ушел в глубь мраморного вестибюля, и начал выключать свет.

Весь следующий день Иванов ходил по заводику, присматривался к тому, что делали люди, во время обеденного перерыва подсел к рабочим и, угостив всех «Казбеком», завел неторопливый разговор:

— Ну как тут у вас?

Рабочие переглянулись, один ответил:

— Работаем…

— Да это я вижу…

— Час за станком, пять часов — кури. Металла не дают.

— Оборона, куда попрешь. Там металл нужен.

— А заработки? — поинтересовался Иванов.

Рабочие молча переглянулись, ничего не ответили.

— А?

Один из пожилых поглядел на геройскую звездочку Иванова и ответил:

— Хорошие заработки, претензий никаких не имеем. Всем довольны.

Молодой парень буркнул:

— Довольны-то довольны, а расценки снова

занизили.

Старик оборвал его:

— Значит, надо, если занизили.

И — снова все замолчали, поглядывая куда-то через голову нового директора.

Иванов обернулся: за его спиной стоял Ненахов и покуривал «Норд», глубоко затягиваясь, осторожно стряхивая пепел мизинцем.

В кабинете у Иванова он сказал:

— Степан Иванович, понимаешь, штука какая, если мы завтра фонд не выколотим — рабочий класс под аванс шиш получит. Банк есть банк, ему на рабочий класс с прибором болтить, а нам людям в глаза смотреть совестно: наши люди-то, советские.

— А где эти самые фонды выбьешь?

Ненахов поднял глаза к потолку и сказал, вздохнув:

— Только там.

И пока целый день с утра и до вечера Иванов ходил в большом сером здании от человека к человеку, из кабинета в кабинет, выпрашивая, где резолюции, где просто совета, где улыбаясь, а где покрикивая; в Томилино, на даче у Ненахова — большой, за забором, с колонночками и многочисленными верандочками, на вто-

ром этаже собрались в большой комнате, возле теплой, красиво сложенной изразцовой печки, трое: Гуссо, Мефодьев и Ненахов. Закусывали коньячок чем бог послал — огурчиками, своими помидорчиками, семужкой, икоркой и вареной картошечкой.

Ненахов, улыбаясь своей жалостливой, доброй улыбкой, продолжал говорить:

— Вишь, что хорошо, что он от нас — в кабак. Значит, живой человек, а не какая там мумия. Зря только, Гусь, ты уехал. Дождаться надо было. Посмотреть — чего он так торопился. Помог бы — ты у нас по кабакам главный человек.

— Зря навязываться — тоже не совсем резонно, Вася. Ну ладно, это ля-ля. Не в этом, как говорится, суть вопроса. Будем!

Все твое выпили, и Ненахов продолжал:

— Солдафон сегодня понюхает пороху, помается, черта с два он фонды выбьет, сверх головы не прыгнешь. Значит, начнем его осторожно готовить, на условия жизни рабочего класса замыкать, то-сё соберемся, выпьем, поговорим.

— В «Гранд» или «Метрополь»? — спросил Мефодьев.

— Тебе только шиковать, — сказал Ненахов. — К чему? У меня дома, в городской берложке.

Ничего, ничего, я боялся худшего, этот Ваня будет делать наше дело.

Когда окна в большом сером доме, где помещались всяческие хозы, снабы, планы и сбыты, погасли, Иванов поехал в Текстильщики и часа три бродил среди домов, разительно похожих один на другой. Он поднимался по лестницам, приглядывался к дверям квартир, спугивал парочки, которые примостились на подоконниках и молчаливо-исступленно обнимались, натыкался в темноте на помойные ведра, в те годы хулиганы практиковались на том, что выворачивали лампочки в подъездах, лампочки на рынке шли как дефицит, но квартиру Виолы все-таки нашел. Он долго стучался, но никто ему не отвечал, а потом из соседних дверей показалась голова старухи.

— Чего барабаните? — спросила она. — Уехала она. Ездит она, ездит, ясно? На кой квартиры-то таким давать? Птахи-перептахи.

— А куда?

— Так ляд ее знает.

Поздним вечером, сидя па кухне у Зии, Иванов, ковыряясь вилкой в макаронах, рассказывал ему:

— Тот на совещании, этот не может без визы

замзава, а замзав не может без резолюции помнача, а помнача не будет сегодня и завтра, потому что пишет начу выступление, а нач без своего пома не принимает. Бюрократы чертовы.

— Слушай, вот почему нас, кавказцев, называют горячими? Ты — горячий, а не я, Азербайджан. Дурачок, у нас бюрократии-то еще нет. Не-ет! И в этом наша беда, да, да, ты носом искры не пускай. Бюрократия — это точно налаженный, сработанный аппарат, который безотказно служит тому, кто его создал. Так вот, беда нашей пролетарской диктатуры заключается в том, что у нас еще нет организованной, сработавшейся бюрократии. У нас этому слову не тот смысл придали. Не тот смысл. Бюро — «стол» значит по-французски. А у нас люди за столами не сидят, а все по совещаниям прыгают, им за столами скучно, натуры-то до впечатлений жадные.

Зия засмеялся. Спросил:

— Еще макарон хочешь?

— Нет. Спасибо.

— А звезда где?

— В кармане.

— Это почему?

— Так…

— И ходил за фондами за этими самыми без

звезды?

— Я не спекулянт. Я хочу, чтоб было и равенство — обязательны не только братство и свобода. Равенство. Героев мало по званию, а ты фронт прошел, знаешь — каждый должен был бы с такой звездочкой вернуться оттуда, если прошел из России до Германии.

— Ты что, слушай, идеалист или прагматик какой?

— Я прожженный марксист, Зия, прожженный. Посему — она у меня в кармане, — он постучал себя ладонью по груди, — а не здесь.

Февраль 1952-го

Иванов сидел в кабинете у Василия Семеновича и с жаром, размахивая руками, говорил:

— Значит, формулирую: во-первых, из того фонда зарплаты, который у меня есть, я могу, как говорится, оперативно, распоряжаясь ею, сократить число рабочих — бездельников десяток есть чистых, отсюда — остальным денег даю больше, стимул. Во-вторых, если вы позволите мне самому распоряжаться полученными мною фондами, я дам продукции примерно на семь процентов больше, чем даю. Что это такое? Это — по Лени-

ну — прямое повышение производительности труда.

— Это ты, Степан Иванович, маленько от земли оторвался. Ты ж не частный предприниматель.

— А я, между прочим, хочу в ЦК писать — пора термину «капиталистическое предпринимательство» противопоставить — социалистическое.

Василий Семенович одернул защитный френч, поулыбался со значением и сказал:

— Фантазер ты, дружище, фантазер. Ну, держи, — он протянул Иванову руку, — заходи на следующей неделе, будем утрясать фонды.

Ненахов отпер дверь квартиры. Жил он в старом доме, в громадной коммунальной квартире. Он пропустил перед собой Иванова и Гуссо. Включил свет — мутный, освещающий большие шкафы, сундуки, ящики, стоявшие возле дверей, дверей было много, по большому коридору на маленьком велосипеде катался мальчишка, а его подталкивала сзади простоволосая девчушка, они мешали женщинам, которые носили в свои комнаты кастрюли с едой.

— Вот моя берлога, — сказал Ненахов, открыв свою комнату: круглый стол, пять стульев, кровать, шкаф и горка — все скромно, даже несколько аскетично. — Ну, располагайтесь, я

сейчас принесу закуску.

Он вышел на кухню, Гуссо достал из портфеля две бутылки водки и поставил их на стол, повесил пальто на вешалку, что была косо прибита возле двери, и предложил:

— Располагайся, Степан Иванович. Сейчас Василий принесет картошечки с колбаской, отметим годовщину армии.

— А жена-то где? — спросил Иванов.

— Она больная у него, он ей за городом угол снимает, чтоб воздух был свежий.

— Легкие?

— Да там всё. И легкие, и сердце. Он и готовит себе сам, и стирает, и носки штопает.

Пришел Ненахов с картошкой, подсолнечным маслом и вареной колбасой. Все это он быстро разложил по тарелкам, разлил водку по стопочкам и провозгласил:

— Ну что, за нашу защитницу и ее доблестного представителя.

— Ладно, — сказал Иванов, — за защитницу можно, только представитель тут ни при чем.

Ненахов включил радио. Передавали фронтовые песни. Иванов сказал:

— Старость, что ль? Как это слышу — в слезу тянет.

— Так понятное дело, — ответил Ненахов. — Столько с этим пройти, меня самого выворачивает, люди не железки.

Когда Гуссо наливал по второй, он сказал:

— Между прочим, о железках — снова затор с железом-то, задержали цинковку.

— Выпили, выпили, — быстро сказал Ненахов, — выпили, — повторил он, ставя стопку на место. — Да ты закусывай, Степан Иваныч, что словно барышня? А в смысле цинковки у меня тут мыслишка есть. Ну, Сень, — попросил он Гуссо, — разлей. За железки и цинковки.

— Куда гоним-то? — спросил Гуссо.

— К смерти, — ответил Ненахов. — Ну, пошли! Так вот, — начал он, закусывая картошкой, — Степан Иванович, я тут своего дружка встретил, на Втором Белорусском мы с ним вместе служили, он смежник, железо и цинк у него сейчас лежат, а дерево, которое у нас, — ему позарез, а нам ни на хрен. Может, он предлагает, махнем — чтоб пополам — и им, и нам. А то перед рабочим неудобно, прогрессивка в других местах идет, а у нас — куку и привет, мама.

— Что ж, — ответил Иванов, тоже обмакивая картошку в подсолнечное масло, — надо подумать. Оформлять будем как?

Гуссо снова налил и сказал:

— Дайте слово сказать? Как говорится, алаверды ко мне. Хочу предложить выпить за мужскую фронтовую дружбу. Чтоб сейчас — все как тогда, когда друг за друга, брат за брата.

— Хороший тост, — сказал Ненахов и выпил.

— Давай, — сказал Иванов, — за это надо.

В дверь постучались.

— Да, — сказал Ненахов.

— Можно, — спросила молоденькая девушка, — я к вам на минутку, Василий Павлович, от тети Маши книги принесла.

Ненахов пошел навстречу девушке, обнял ее, раздел, посадил к столу:

— Знакомься, Лизуня, с моими друзьями, — и пояснил Иванову и Гуссо, — моей свояченицы сослуживица. Секретарь-стенографистка по всем вопросам.

Лиза села рядом с Ивановым, и Иванов заметил, какая у нее ладненькая фигурка, и мордашка какая милая, чистая, и руки — мягкие, нежные, он даже почувствовал, какие у нее мягкие и нежные руки еще до того, как ее рука оказалась в его.

— Это директор наш, — сказал Гуссо, — так что, Лизуня, имеешь шанс.

Лиза засмеялась, ямочка у нее на щеке стала

продолговатой, и она ответила:

— Я директоров и люблю, и боюсь — одновременно.

Гуссо достал из портфеля новую бутылку — теперь уже коньяку — и предложил:

— За знакомство полагается.

Выпили за знакомство, и Ненахов, продолжая начатый разговор, как бы подытоживая его, сказал:

— Оформлять — не получится, Степан Иванович. Тут надо все на взаимном доверии.

— В острог не посадят за это взаимное доверие? — спросил Гуссо.

— Могут, если докопаются, — ответил Ненахов, — могут. Только для кого мы стараемся? Для себя, что ль? Для работяг наших. Вон, видишь, как живу — кротом, а мне лучшего и не надо.

— Нет, — сказал Иванов, — липовать не будем. Это нам, мужики, негоже. Верно, Лизочка?

— Я на брудершафт с вами хочу, — сказала Лизочка, — можно?

— Со мной на фатершафт тебе надо, доченька, — засмеялся Иванов, — я тебе в папы, в папы…

— Вот и хорошо, а с молодыми сейчас неинтересно, они все хамы.

Все засмеялись, а Ненахов покачал головой и

сказал:

— Ну и бой ты девка, Лизуня, ремня на тебя нет.

Поднялся, поставил патефон Гуссо, пригласил Лизу танцевать, а та, танцуя с ним, поглядывала через плечо главбуха на Иванова и, закрывая глаза, улыбалась ему.

Ненахов приблизился лицом к Иванову и сказал:

— Если хата нужна, — бери, я ж к своей старухе езжу. Девка — бой, вишь, как зыркает.

Иванов налил себе коньяку, выпил и покачал головой.

— Нет, — сказал он, — я дурной, Вась. Дурной я в этом вопросе.

— А кто не дурной, Степа, — сразу приняв дружеское обращение, ответил Ненахов, — все мужики дурные, это от бабы зависит, не от нас. Мы-то думаем, что мы — их, а на самом деле они — нас, ух, они! А в смысле моего дружка с жестью и цинком — подумай, по дружбе говорю.

— Нет, на липу не пойдем. В таких делах — принцип в первом месте. Нельзя. Начнем с мелочи, кончим — позором.

Ненахов спросил:

— Ты что, мне не веришь?

— Если б не верил — не пришел. Только липовать не будем. Вывернемся. Я завтра к замминистра пойду, прием на три часа назначил. Ей-ей, ради этого дела звезду надену.

— А ну, Лизуня, — крикнул Гуссо, — давай-ка нам русскую!

И Лизуня закружилась на месте, пошла павой, а юбчонка — парусом, а ножки — бутылочками, чулочки высокие, ай да ножки, ай как вертит на месте Лизуня — аж лицо остановилось и замерло, и так же замерли лица у Ненахова и Гуссо, когда они смотрели на Иванова, который рассматривал девушку и в такт пляски ударял в ладони.

В прихожей, прощаясь, Ненахов и Гуссо долго жали Иванову руку, обнимали его и говорили нежные пьяные слова. Из комнаты выбежала Лиза и попросила:

— Степан Иваныч, проводите меня домой, там в подворотне хулиганы, мне страшно, они хватаются.

Утром по дороге на работу Ненахов заехал в то учреждение, где в полуподвале на машинке стучала Лиза. Он поманил ее пальцем, она быстро выскочила к нему и покачала головой.

— Ни в какую?

— Он даже домой ко мне не пошел.

— Дура ты, дура. А к себе — не намекал?

— Не-а. Песню пел про журавлей, да и то шепотом.

Ненахов вышел из конторы, где сидела Лиза, зашел в автомат, набрал номер и сказал:

— Сень, наш парень ни в какую. А если он сегодня у папиного помощника все нам пробьет — меняем профессию на газировщиков. Так что давай сегодня на вечере и заделаем — ждать будем — провалим дело.

В красном уголке заводика — большие транспаранты «Да здравствует наша родная Советская армия!» и «Слава гениальному полководцу, вдохновителю и организатору всех наших побед товарищу Сталину!» Народ собирался не сразу, и к каждому входящему подходил Мефодьев из месткома и спрашивал:

— Слушай, на могилу Толстого в Ясную Поляну хочешь? Десять рублей в оба конца?

Почти каждый хотел поехать на могилу Льва Толстого, и тогда Мефодьев доставал из драного дерматинового портфеля большой лист бумаги, разграфленный таким образом, что в крайнем правом углу только подпись поставить напротив цифры 10. Когда таких подписей собралось больше сорока, Мефодьев спрятал лист бумаги в

портфель и отправился к Ненахову. Тот быстро просмотрел листок, похвалил Мефодьева:

— Молодцом, хорошо сработал, да ты не бледней, не бледней, чудо, все равно тебе, если по указу идти, уже четвертак обеспечен, так что выше голову! Вторую бумажку заготовил?

Мефодьев протянул Ненахову и вторую бумажку, на которой было напечатано: «Директору Яснополянского музея. Просим Вас оказать содействие в проведении экскурсии для рабочих — передовиков производства нашего завода. Директор завода С. Иванов».

— Вернулся? — спросил Ненахов, поправляя грамматическую ошибку.

— Сияет, — ответил Мефодьев.

Ненахов поднялся и пошел к Иванову. Тот сидел за столом сияющий и гордый.

— Ага, Вася, — сказал он, — наша взяла! Есть правда, только мы драться за нее не умеем.

И он положил на стол требование на фондируемые материалы, подписанное заместителем министра.

— Вот это да! — сказал Ненахов. — Молодец, Степан, прямо герой — одно слово. Такого у нас еще не было, клянусь. Ну, с победой.

Он проглядел бумагу, поцыкал восхищенно

языком и сказал:

— Честное слово — герой. На-ка, — не глядя на Иванова, а продолжая разглядывать принесенный им документ, попросил он, — подмахни, тут рабочий класс к Толстому на поклон едет, просьбу подпиши и количество людей, сдавших деньги.

Иванов проглядел, материалы, поданные ему Ненаховым, подписал их и продолжал разгоряченно, радостно говорить:

— Слушай, милейший мужик этот замминистра, наш человек, я прямо влюбился. Трудно ему — во! Со всех сторон теребят, а его понять тоже надо, не Бог, откуда всем дашь? Нам — дал. В случае чего, говорит, прямо ко мне. Ясно?!

Ненахов снова недоумевающе-восторженно покачал головой и сказал:

— Давай иди в ленинскую комнату, тут тебе телефон не даст поработать, тезисы я тебе подготовил, просмотришь.

— Спасибо.

— Машинку я твою возьму на десять минут, моя что-то забарахлила.

— Бери, о чем разговор. — И Иванов первым вышел из кабинета. Следом за ним, неся на руках громадный ундервуд, вышел Ненахов.

У себя он запер дверь, осмотрел лист бумаги

и прочертил новые графы — в крайней левой стороне напечатал на машинке против каждой росписи полностью фамилию, имя и отчество расписавшегося в желании поехать в Ясную Поляну рабочего, в следующей графе, там, где всюду стояла цифра десять, к каждой уже заранее напечатанной на машинке цифре десять впечатал еще по одной, а то и по две цифре, так что вышло где 105, где 100, а где 610, а где и 1075 рублей, а сверху аккуратненько напечатал на директорской машинке: «Выплата сверхурочных рабочим завода за февраль месяц». А внизу сделал подпись — опять-таки на машинке: «Директор з-да С. Иванов». Бумажка, на которой администрация Ясной Поляны уведомлялась о приезде группы рабочих завода на экскурсию, была им сожжена, пепел выброшен на улицу, а машинка, пока Иванов заканчивал тезисы доклада в ленинской комнате, была поставлена на его стол в его кабинет. После Ненахов запечатал ведомость «на получение сверхурочных денег рабочими завода» вместе с маленькой анонимочкой в конверт, написал на нем адрес районной прокуратуры и спрятал конверт в нагрудный карман.

— Теперь месяцочек-другой погодим — и с приветом, товарищ Иванов. И фондам твоим привет,

и замминистру тоже!

Новеллы

Казнь атамана

Растянувшись на многие десятки верст по измученным дорогам России, армия Дулова отступала под натиском красных войск все дальше и дальше к монгольской границе. По ночам в городах, где останавливался штаб атамана, сухо пощелкивали выстрелы: шли расстрелы большевиков — вместе с семьями.

Атаман ночами спал плохо, его мучили дурные сновидения. От этого ломило затылок и — приступами — начинались легкие головокружения. Он помногу курил; зажигал свечу и, поднявшись на локти, перечитывал Достоевского.

Много и трудно плакал. Шептал нежные слова о России, считал выстрелы. Если было мало, меньше тридцати, — гневался и утром страдал мигренью.

Выговаривал своим контрразведчикам:

— Тылы, тылы-с оставляем, господа, а вы милосердствуете, словно барышни. Грех, знаю, что грех. Да — свят грех прощен будет. И не нам зачтется — потомству… А оно благодарно будет отцам своим.

Контрразведчики, усталые люди с красными от

бессонницы глазами, молча уходили из кабинета атамана. В такие дни расстрелы продолжались круглые сутки.

Тогда в городе воцарялся молчаливый ужас. Только была слышна далекая канонада да куры вздымались в небо белоперыми облачками и ошалело кричали.

Дулов, сидя за столом, быстро считал выстрелы, вроде бы успокаивался на немного — мигрень отходила, и, откушав черного чая с молоком без сахара, он отправлялся на дневной отдых. Спал Дулов, как ребенок, — на боку, подложив под щеку сложенную щепоткой ладонь. Руки у него были маленькие, красивые, только вот с рыжими веснушками и белыми стоячими волосками.

Снился в такие дни ему один и тот же сон — он даже в дневнике это записывал, — будто дождь хлещет, тепло, по полю бегают черные быки, но только поле не черноземное, а выложенное иконами, и лики святых белым мелком эдак аккуратненько крест-накрест зачеркнуты.

А потом быки эти вроде бы и не быками делаются, а все на одно лицо: как аптекарь Ценципер. Его Дулов сам вешал на Покров день. Скучный вышел праздник, веселья не было, ну и решили пошутить. Вешал он Ценципера долго не потому,

что не умел, а оттого, что аптекарь кричал уж больно забавно.

…В одном из первых советских военных справочников об атамане Дулове сказано, что он, полковник Генштаба и атаман казачьего войска, в феврале 1921 года убит сослуживцами в своем штабе.

Сейчас пришло время рассказать правду о том, как закончил свою жизнь кровавый атаман…

В середине двадцатого года в Париже было заметно особое оживление. Здесь, в центре антисоветской Антанты, был закончен — по своим размахам грандиозный — план уничтожения ленинской Совдепии.

Веревочка, столько раз рвавшаяся, была наконец связана в петлю. Опытные журналисты и скептики-политики считали, что «карта» господина Ленина бита и дни республики сочтены. Войска белой Польши, барона Унгерна, бандиты Антонова, атамана Дулова, генерала Молчанова, атамана Семенова, окружавшие Россию по всем границам, оснащенные новеньким, не стрелянным еще оружием, были готовы выступить сразу — единым мощным кулаком, стремительным, как выстрел.

Каждый из компонентов этого страшного ан-

тисоветского кольца был смертельно опасен для жизни молодой республики. Кто больше опасен, кто меньше — говорить не приходилось, но роль, которая отводилась Дулову, была особая: его армия должна была пойти через казахские степи к Уралу, отрезав таким образом Дальний Восток с одной стороны и Среднюю Азию — с другой.

Главное — перерезать коммуникации, об остальном позаботятся японцы, американцы, Семенов и Молчанов с Унгерном на Дальнем Востоке, а в Средней Азии — англичане: они в азиатских делах политики тонкие, умелые.

И вот в дни, когда шла последняя подготовка к броску, полпред ВЧК в Средней Азии, соратник Дзержинского Петерс санкционировал специальную разведывательную операцию: чекисты должны были в короткий срок выяснить все относящееся к потенциальной мощи Дулова и к срокам возможного выступления его против Советской России.

Ночью 23 ноября 1920 года в кабинете председателя Джеркутского ЧК Суворина сидел начальник здешней милиции Касемхан Чарышев. Чарышев кругл лицом, улыбчив, прямо бы и ребенок, если б не усы, очень силен, будто влит в английский френч, ноги в коленях узелком, кривоватые —

сразу видно наездника, сапоги мягкие, высокие, туго забиравшие сильные икры.

Внешностью он был чисто русский, хоть и татарин. Говорил, чуть грассируя, — классическую русскую гимназию кончил блестяще. Знал по-уйгурски, по-казахски, по-узбекски, по-арабски, мог и по-французски объясниться.

Суворин и Чарышев сидели без свечей. В окно лез белый окаянный свет холодного солнца — так здесь называют луну. Рыжие звезды зло перемигивались в близком небе.

Говорили чекисты тихо, приблизив друг к другу головы. Разошлись, когда лунный свет сделался мягким, — дело шло к рассвету.

Утром в своем кабинете Чарышев не показался: на облупленной, давно не крашенной стене милиции (олифы откуда достанешь?) появился приказ, в котором говорилось, что Чарышев считается в отпуске по случаю болезни своей тети Бюль-Бюль Нары.

Тетя у Касемхана действительно была и вроде бы даже прихварывала — это все правда. Но только никто не знал, что тетя начальника милиции живет в самом центре антисоветского дуловского гнезда, там, где обосновалась ставка атамана.

Вот туда-то и приехал Чарышев под утро: на

хорошем коне от красных позиций четыре часа ходу. Уже рассвело, но город был пустой — муэдзины еще не возвестили утро.

А когда прокричали переливно с минаретов святое: «О бис-милла рахмауль рахим!» — сразу, словно по волшебству, как в старых сказках, открылись ворота и, смешавшись с разноязыкой толпой торговцев, караван-баши, контрабандистов и нищих, Чарышев въехал в город.

Тетя испугалась племянника и хотела было схоронить его в дальних комнатах, но он, побрившись, вымылся ледяной водой до пояса, отфыркиваясь, словно конь, натерся докрасна полотенцем, чтобы прогнать сон, и, начистив сапоги, отправился на базар — ленивой кривоватой походочкой своей, пощелкивая нагайкой по голенищу сапога.

Первым, кого он увидел, был бывший джеркутский городской голова — господин Биловский. Поначалу он вроде тети — испугался. А Чарышев, вместо того чтобы бежать от него, — к нему, с улыбочкой, руки тянет, «мон шер» говорит, обнимает, словно бы своего.

— Вы?!

— Я.

— Вы здесь?!

— А кричать-то зачем? — удивился Чарышев. — Кричать не надо.

Он взял Биловского под руку, сильно взял, будто капканом стянул. Повел к базару.

Наклонившись, зашептал:

— Нам лучше тихо говорить. Я ведь сюда не зря. Сады у моего папа реквизировали. Вот я к вам и подался — посмотреть, что здесь у вас и к чему.

У отца Чарышева были сады — это правда. Был он человеком зажиточным — это тоже правда.

Биловский это знал. Поэтому он улыбнулся.

— Господи, вот счастье-то какое, — сказал он, — а я уж плохое подумал.

— О плохом думать — пищеварение портить.

Биловский засмеялся и, не удержавшись, пошел костить большевиков и в бога, и в душу, и в мать. Но — с веселья это: если уж от большевиков начальник милиции стоном стонет, значит, месяц, от силы два, и — в Москву!

Биловский привел Чарышева к себе в каморку, где густо пахло клопами и младенцем. Здесь Чарышев и признался городскому голове, что у него две сотни вооруженных милиционеров в уезде — только и ждут приказа резать большевиков. Биловский еще больше заволновался, стал бегать по комнатке, а потом сказал:

— Да вам! Да нам! Да это бог знает как хорошо!

Вечером он свел Чарышева с попом Ионой. Поп был еще и не старик, но — старый. Лицо морщинистое, трезвое, сухое. Глаза шальные, с белизной по краям черных зрачков.

«Истеричка, — подумал Чарышев, — это хорошо. Такие только себе и верят».

Поздоровавшись с Ионой, Чарышев отошел в сторонку и сделал омовение — вроде бы незаметно для Ионы, а на самом деле именно для него: от погани христианской вроде бы освободиться, Коран Христа не любит.

— А ну, смотри на меня, — сказал Иона, — смотри близко.

Он заглянул в глаза Касемхану и замер.

«Желудком поп страдает, — подумал Чарышев, — изо рта несет».

— Женат? — спросил Иона, не отрывая взгляда от Чарышева.

— Да.

— Дети есть?

— Сын.

— Любишь?

Чарышев поморщился. Биловский сразу же запричитал:

— Им-с нельзя не любить. У них вера такая. Сын

для них, как для нас, простите, Господь.

Иона досадливо посмотрел на Биловского, поморщился, потом улыбнулся, отодвинулся от Чарышева, погладил лоб девичьей ладонью.

— Я глазам верю, — сказал он, — вы — наш. Если будете помогать — мы вас не забудем никогда. Поезжайте-ка завтра в Суйран вечерком, зайдите в казарму и спросите отца Иону. Удачу, удачу я чувствую, удачу, — оборвал себя. Лицо его забило тиком.

«Э, — подумал Чарышев, — не желудок у него болен: сифилис, видно, у него. Нелеченый. Желтый, весь мученый, а горячий. Они все такие».

Ушел отец Иона быстро, пружинисто, широким шагом офицера, путаясь в рясе.

Суйран — город небольшой. Здесь-то и обосновался со своим штабом Дулов, перебравшись из тылов, чтобы быть в непосредственной близости от войск, расположенных вдоль красных позиций.

Сюда, в Суйран, приехал Чарышев. Идти в казарму он не торопился. Завел свою лошадь в караван-сарай «Лянга», спросил чаю, сидел за чашкой долго, хмурясь, прикидывал, что к чему. Потом отправился прогуляться по городу.

В центре обернулся, когда его кто-то окликнул

по-татарски. Возле казармы стоял друг детства, вместе в гимназии учились, полковник Аблаихан. Обнялись, поцеловались. Никакие отговорки не помогли — Аблаихан утащил в чайхану, заказал баранью ногу, много коньяку и — для очистки совести — немного шербета.

Чарышев набросился на еду. Жир капал на крепкий подбородок, и от этого тот густо блестел. Пил он тоже много и жадно — все больше коньяк, а шербет — нет-нет да и прольет на скатерть. Аблаихан смотрел на Чарышева умно и добро.

Ел он мало, лениво, пил шербет, курил американские «Лаки страйк» из большой железной коробки, часто откидывался на подушки и, прищурившись, ковырял в зубах зубочисткой с перламутровым наконечником.

Говорил распевно, ни о чем, а так — о старом, о гимназии, про то, как порох физику в папиросы засыпали.

Потом он заговорил о женщинах. Чарышев загорелся, стал громко смеяться и говорить непристойности.

Аблаихан похмыкивал, тянул шербет, а потом ненароком бросил:

— А я ведь при Дулове переводчиком состою.

Чарышев разлил коньяк, полез к нему с объ-

ятиями.

— Да атаман меня сейчас целовать будет, — сказал он. — Аблаихан, дорогой, я тебе как брату, как мусульманину говорю — нас счастье свело.

Потом как-то внезапно отрезвел и спросил:

— А ты правду говоришь?

— Ты ж мне друг.

— Но ты знаешь, что я…

— Знаю. Пошли.

— Я ведь вино пил… Нехорошо так к атаману идти.

— А кто не пьет вина вовек? — спросил Аблаихан стихом из Хайяма.

— Тот — никчемный человек, — ответил Чарышев второй строчкой.

Аблаихан снова долго посмотрел на Чарышева, чуть сощурился, будто приценяясь, а потом встал, бросил чайханщику деньги и, пропустив Чарышева вперед, пошел из темноты — на улицу, всю в капели и звоне. Ночью прошла шальная ростепель, и густо запахло весной, а была еще зима.

Как и всякий человек, совершивший много преступлений, Дулов мучительно боялся людей. Когда ветер развевал портьеру, Дулов вздрагивал и хватался за кобуру. Когда к нему входил с докладом офицер, Дулов впивался ногтями в

ладонь — так ему хотелось похлопать того по заднему карману брюк: нет ли там браунинга с разрывным патроном в стволе.

Чтобы оправдать свой страх подвижничеством, он наизусть читал «Годунова», и все больше то место, где «мальчики кровавые в глазах». Страх в нем накапливался постепенно, с каждым новым убийством, с каждым новым преступлением.

И пропорционально этому страху росла его личная охрана. В городе Суйран он занимал внутреннюю крепость. В воротах стояли часовые. В его доме стоял часовой у двери — раз, в приемной — два, всегда рядом с ним адъютант — три, а в маленькой комнатке при кабинете — еще шесть казаков.

Где стояли казаки, какая дверь куда и как открывалась, сфотографировала память Чарышева.

…Дулов так открыто, как Иона и Аблаихан, в глаза не глядел — поздоровался сдержанно, кивнул, глядя исподлобья, быстро и тихо сказал Аблаихану:

— Спасибо тебе, князь. Иди.

Аблаихан вышел. Дулов прошелся по мягкому цветастому ковру, остановился у окна — спиной к Чарышеву. Широко расставив руки, уперся

ладонями в раму.

Стоял у окна мгновение, потом — рывком — обернулся и заговорил:

— Я — человек добрый, Касемхан, у меня по ночам сердце болит, будто камень давит его. А что давит сердце, как не жалость и не скорбь? Знаю — говорят про меня разное. Бог с ними, не о себе думаю, крест — он тяжел, он спину гнет, он — как вериги, на мучительство дан. Могу я без него-то? Ты смотри — молод я, красив, меня бабы любят. Могу и без него! А — не могу. Понимаешь меня, Касемхан?

— Да, атаман.

— Кто меня понял, тот со мной пойдет. Кто не понял — бог с ним. Но кто понял и предал — на дне моря найду, сам казню. Прости, Господь, прегрешения мои! Понимаешь меня?

— Да, атаман.

— Ну, со мной ты? Откажись — слова не скажу, бери коня, уходи, в спину стрелять не стану. Так со мной?

— Я с собой, а не с тобой, но мне с тобой — по пути с собой.

— Хитришь?

— Я сам пришел.

— Тоже хитришь!

— Тогда уйду.

— Стой! Сядь. Деньги нужны?

— Здесь — да. А там — зачем они? Сейчас они там не в ходу.

— Значит — пойдешь?

— Пока пойду — дальше посмотрим. Мусульманин я.

— В Москву веду. Колокола малиновым звоном запоют.

— Москва твоя, Джеркут мой. Синица в кулаке…

— Хитер. Не хитришь — вижу, бери руку, друг я тебе. А теперь слушай…

«…Сказав, что сразу по получении от меня первой же информации вышлет ко мне на связь своего человека, который будет вместе со мной готовить вооруженное восстание против ненавистного большевистского режима. Этой же ночью, то есть сегодня, я перешел белую границу и вернулся в Джеркут. К. Чарышев».

Суворин вместе с прибывшим из РВС Туркфронта чекистом Даниловым составил подробный «план» расположения красных частей, дал «тщательный» анализ численности войск и отправил эти «точные» данные атаману.

А повез первую информацию молодой чекист

Махмуд Ходжаров. Он должен был передать бумагу в руки атаману — с паролем по отзыву — и никому больше: так у Чарышева было договорено с Дуловым.

За неделю Ходжаров ездил к Дулову еще два раза. Рассказывал — солдаты подтягиваются к Суйрану, артиллерию видел, караваны с пулеметами из Китая идут. Пулеметы новенькие, в масле, с длинными стволами, невиданной формы.

2 декабря 1920 года Чарышев одним пальцем отстучал на ундервуде приказ по угрозыску о зачислении писарем и канцелярским секретарем гражданина А.Б. Нехорошко. А был этот «гражданин» личным посланником атамана Дулова.

Когда он ночью постучался в окно к Чарышеву, тот принял его как родного, дал кожаную куртку, галифе с сапогами, снятыми на прошлой неделе с арестованного бандита, и тонкого шелка рубашку с графским вензелем под воротничком.

Утром велел личному эмиссару атамана побриться, почистить как следует сапоги и отвел его в милицию. Посадил за стол у входа в свой кабинет. Первые часы Нехорошко особенно нервничал: ронял на пол бумаги, вздрагивал, как только входили в приемную посторонние

люди, часто утирал лоб, покрывавшийся у висков холодной испариной.

Под вечер, когда во дворе милиционеры занимались строевой подготовкой, Чарышев вызвал к себе Нехорошко злым, начальническим голосом — для тех, кто дожидался в приемной; затворил дверь кабинета и сказал уже иначе — добрым голосом единомышленника и друга:

— Вот извольте-ка посмотреть на моих людей.

Милиционеры во дворе кололи несуществующего врага и делали короткие перебежки.

— А пулеметов у нас нет, — вздохнул Чарышев, — а какая сейчас война без пулеметов? Так — шутки-с.

Нехорошко был человеком молодым и восторженным, беспредельно преданным Дулову и великой идее созыва Учредительного собрания. Увидев милиционеров, готовых к восстанию, он почувствовал трепет, и горло его сжал спазм.

В тот же час они с Чарышевым послали атаману письмо с просьбой выслать сюда пулеметы — для успеха восстания. Снова весточку от «чрезвычайно ценного агента» Дулова — Касемхана Чарышева — повез Махмуд Ходжаров.

Ответ пришел неожиданный. Атаман требовал, чтобы Чарышев переправил ему свое личное ору-

жие и еще две-три винтовки милиционеров — в залог (это всегда улика, своим же, мол, выдам в случае чего) и как последнее подтверждение верности — на жизнь и на смерть.

Винтовки Чарышев должен был передать под расписку лично полковнику Янчису, одному из командиров дуловского войска, выдвинутого теперь непосредственно на боевые позиции.

Когда Чарышев явился к Дулову с распиской от Янчиса, тот заметно обрадовался, много и красиво говорил о будущем России, ходил по кабинету медленно и гордо, лицу придал особую значительность: брови нахмурены, уголки губ — скорбно книзу, скулы замерли желваками решимости и гнева.

Потом остановился напротив Чарышева, положил ему руку на плечо и сказал:

— Мои люди слыхали, будто большевики маленько перестают тебе верить. До тебя не доходило?

Суворин и Чарышев только вчера сами пустили этот слушок по Джеркуту: какой-то неизвестный обмолвился на базаре, в крытом мясном ряду, тихим шепотком — и пошло…

Чарышев удовлетворенно подумал: «Точно сработали». Ответил, пытаясь усмешкой скрыть

страх:

— Не может быть. Они мне верят. как себе.

Роль свою Чарышев разыгрывал точно и тонко.

Дулов покачал головой:

— Ты ошибаешься, Касемхан. Возвращаться в Джеркут тебе не следует. Оставайся у меня — ждать теперь недолго, совсем недолго. Недельку-две осталось ждать.

Чарышев никак не изменился в лице, только почувствовал в себе тихую отчаянную ненависть. Поднялся:

— Да поможет Вллах!

— Куда ты?

— К родичам, в Кульбу.

— Не надо. Оставайся у меня — вместе ждать будем. — Дулов сказал это беспокойно, наверное, досадуя, что проговорился о сроке.

Чарышев понял это. Понял он, что все вступает в заключительную фазу и что каждый необдуманный шаг сейчас грозит ему смертью, а он — единственный теперь, кто знает о начале, которое должно быть через неделю или две.

— Как скажешь, атаман, — улыбнулся Чарышев, — как скажешь. Если нельзя к родичам в Кульбу — может, не веришь мне в чем… Так на

нет и суда нет — останусь у тебя.

Человек, делающий черное дело, не верит окружающим так же, как не верит и самому себе. Но в то же время он обязан во имя успеха своего дела казаться доброжелательным, уверенным и непоколебимо спокойным.

Дулов, побледнев от враз захлестнувших его подозрений, сменил спокойный шаг на быструю пробежку из угла в угол.

Потом взял маленькую китайскую визитную карточку и сказал:

— Я тебе верю. Езжай. Как доедешь — вот это передашь.

И он написал бисерным почерком своим на визитной карточке: «Отец Падарин! Предъявитель сего из Джеркута — наш человек. Помогите ему во всех делах».

К «отцу Падарину» в Кульбу Чарышев не поехал. Туда ему никак нельзя было ехать, потому что никакого «отца Падарина», как он знал, не было. Вместо «отца Падарина» была дуловская контрразведка, а текст на китайской визитной карточке «помогите во всех делах» означал: «задержите подателя этой бумаги».

Чарышев вернулся в Джеркут, вызвал к себе Нехорошко и попросил его немедленно сообщить

Дулову — от себя лично, от Нехорошко, — что он, Чарышев, не доехал до Кульбы, узнав, что среди его людей оказался предатель, который может испортить все дело и выдать ЧК участников готовящегося вооруженного восстания.

Нехорошко заволновался, стал выпытывать у Чарышева:

«А как я?.. А что грозит мне?..»

— Вам — ничего. Вас я один знаю. Да и потом, вы что — не готовы погибнуть во имя нашего общего дела?!

— Да нет, в общем-то, конечно, что же тут и говорить, но, может быть… — ответил Нехорошко и снова, как тогда — в первый день, почувствовал испарину у висков.

— Ну и хорошо, — сказал Чарышев, закуривая, — рад слышать. Давайте-ка садитесь и пишите письмо атаману.

И Нехорошко спросил:

— А что писать-то?

Чарышев облегченно вздохнул. Этот маленький бой он выиграл, причем довольно легко выиграл, на трусости своего контрагента, а от человечка по фамилии Нехорошко в значительной степени мог зависеть успех или провал главного боя, который еще предстоял.

— Пишите атаману вот что, — сказал Чарышев. — «К. Ч., несмотря на сложную обстановку, на наличие в наших рядах провокатора, рискуя жизнью, вернулся сюда, чтобы лично изобличить предателя и уничтожить его, а затем снова уйти за кордон, к Вам, накануне общего, нашего и Вашего, выступления…»

Чарышев подождал, пока Нехорошко кончит писать, а потом, отвернувшись, добавил:

— Ну и прибавьте там еще что-нибудь про героизм и про самоотверженность. Не мне вам это про себя диктовать.

Письмо было отправлено с Ходжаровым атаману. Нехорошко лег в холодную постель и долго дышал себе на грудь, чтобы унять частую дрожь, а Чарышев дворами пошел к Суворину. Там уже был и Данилов из РВС.

Чекисты молчали и курили. Говорить было не о чем — только что пришел приказ: казнить кровавого палача Дулова, врага трудового народа, повинного в тысячах убийств и замышляющего еще многие тысячи убийств во имя бредовой идеи своей.

Была создана боевая группа в составе чекистов Касемхана Чарышева, Махмуда Ходжарова, Кудука и Мукая Байсымовых, Юсупа Казырова и

специальных курьеров — братьев Азиза и Насыра Ушурбаевых.

Той же ночью осунувшийся за эти недели Чарышев увел с собой за кордон четырех чекистов, а Азиз и Насыр Ушурбаевы уходили жить, до особого приказа, на маленькую заброшенную мызу пастухов в предгорьях, неподалеку от границы, — чтоб ни одна душа их не видела.

Утром ЧК арестовала — как было объявлено — группу заговорщиков в составе Нехорошко, братьев «изменника» Касемхана Чарышева — Аббаса и Батырхана, милиционеров-«предателей» Розмаметова, Корнева и Жунусова. «Преступная группа» скрывшегося Чарышева была объявлена вне закона.

Операция по уничтожению Дулова вступала в свою последнюю стадию.

Пробравшиеся ночью в Суйран Чарышев и его люди поселились в самой дальней, маленькой комнатушке караван-сарая «Лянга», который располагался неподалеку от крепостных стен, обносивших центр Суйрана.

Первые три дня братья Байсымовы несколько раз выходили на разведку — бродили вблизи крепости Дулова, слушали разговоры, присматривались, что к чему.

Атаман, по слухам, был болен и лежал в своем кабинете.

На третий день, поздно ночью, на связь к Чарышеву пришел Азиз Ушурбаев — семнадцатилетний чекист, тот самый, который до поры жил вместе со своим старшим братом на пастушеской мызе.

Чарышев долго раздумывал: стоит ли его отправлять обратно в Джеркут. Никакой информации он передать Суворину не мог, а доложить о выполнении задания — тем более. Поэтому, решив, что лишний человек в самый последний момент может оказаться особенно нужным, он оставил Азиза при себе.

В комнатушке было душно, окна здесь не было. Чекисты во дворе караван-сарая не показывались, и к ним никто не заглядывал; хозяин постоялого двора был предупрежден, что в комнате — тяжелобольной человек.

А дни шли. Можно было предполагать, что Дулов и не болен вовсе; можно было предполагать, что он, запершись в своем штабе, заканчивает последние приготовления перед началом наступления на Советскую Россию.

Это предположение, в конце концов, оказалось истинным. Об этом и было сказано чекисту

Насыру Ушурбаеву — последнему из группы Чарышева. Суворин написал маленькую записочку, скатал ее в трубочку и передал Ушурбаеву.

Чекист спрятал ее в одной из незаметных дырочек своей стеганой шапки, попрощался с Сувориным и, вскочив в седло, поехал к границе. Он двинулся в Суйран самым коротким путем, через плавни и болота.

Ночь была безлунная и тревожная. Ветер, налетавший с высокогорных пустынь, приносил запах прелой травы: в этом году совсем не было снега, и трава на сорокаградусном морозе стояла желтая и от мороза словно бы стальная.

Ушурбаев приехал к Чарышеву около одиннадцати часов. Он бросил лошадь, задал ей корма и, переступая через тела спящих караван-баши из Китая, Индии и Афганистана, пошел в комнату к Чарышеву. Где-то рядом, чавкая, смеялся курильщик опия. Далеко выли собаки, и вой, скорбный и мятежный, уносился в черное небо к белому пятаку луны.

Чарышев полулежал на кошме и медленно курил, наблюдая за тем, как красный огонек раздирал сигарету. Сигарета была американская, с запахом диковинным и легким, будто медовым. Азиз, свернувшись калачиком, спал.

Ходжаров сидел у стены, рядом с братьями Байсымовыми. Они сидели, закрыв глаза, потому что им и спать не спалось, но и устали за эти дни от бессонницы сверх всякой меры.

— Замерз? — спросил Чарышев.

— Нет.

— Пей чай, он горячий.

— Спасибо. Вот — от Суворина.

Ушурбаев передал Чарышеву записку. Она была волглой от пота. Чарышев прочитал: «Он здоров. Надо кончать сегодня, в крайнем случае — завтра. Революция в опасности».

Чарышев затушил сигарету, откинулся на спину, заложил руки за голову и посмотрел в потрескавшийся потолок. «Дулов верит мне, потому что для него я — “чичмек”, для него я служу тому, кто больше платит. Слепец, сволочь! Никогда он не поймет моей правды — правды татарина, уйгура, казаха или узбека. Никогда не поймет той правды, которая пришла к нам из Петрограда. Труп он. Хоть пока и живой, а уже труп!»

Чарышев закрыл глаза и сказал:

— Может быть, Азиза отправим обратно. Он — мальчик.

Все молчали и смотрели на Насыра, потому что он был старшим братом: сейчас решал он, Насыр

допил чай и сказал:

— Рано или поздно мальчик должен стать солдатом. — Он осторожно тронул брата рукой за колено.

Азиз вздрогнул всем телом, будто конь, которого укусил слепень, быстро поднялся и — как и не спал.

Чарышев, по-прежнему лежа на спине, сказал:

— Сейчас мы пойдем туда.

Люди поднялись. Без команды.

— Нет, — сказал Чарышев, — вы сядьте пока — надо посидеть.

Все сели. Где-то рядом запел сверчок. Стало грустно и одиноко: сверчок на чужбине…

Касемхан достал карандаш и на маленьком кусочке рисовой бумаги написал: «Господин атаман! Хватит нам ждать — пора начинать, все сделано. Готовы. Ждем первого выстрела. Начнем вместе. Ваш Касемхан». Он подумал над запиской, хотел еще что-то написать, но не стал, свернул ее и протянул Ходжарову. Махмуд спрятал записку в карман.

— Азиз, — сказал Чарышев, — позови хозяина.

Тот пришел, поминутно кланяясь, потому что в глубине души он был уверен, что эти люди никакие не купцы, а контрабандисты или торговцы

опиумом.

— Спасибо, старик, — сказал Чарышев, — твой дом был добрым для нас. Наш друг выздоровел. Мы уходим.

— Мир дороге вашей, и пусть луна для вас будет солнцем, — ответил старик.

В полукилометре от караван-сарая, под могильной плитой Кудук недавно зарыл два кавалерийских обреза. У каждого в кармане было по нагану и по лимонке.

Обрез — он вернее нагана, он как лимонка, на крайний случай. Кудук вытащил два обреза, завернутые в мешок, и догнал товарищей, которые медленно ехали к восточным воротам Суйрана. Здесь все, кроме Насыра, спешились. Над миром лежала тишина, осторожная, зимняя, гулкая.

У ворот с лошадьми остались Казыров и Кудук Байсымов с Азизом.

По улице, ведущей к ставке Дулова, тихонько, сдерживая норовистую калмыцкую лошадь, поехал Насыр Ушурбаев. За ним шел Махмуд Ходжаров — первым. Чуть поодаль шел Чарышев, рядом с Мукаем Байсымовым.

Мукай — в широком халате, и обрез поэтому совсем не был виден. Ушурбаев поехал чуть подальше за крепость. Он видел, как на фоне белой

от лунного света стены медленно проходила тень часового и длинный штык как бы царапал камни все в одном и том же месте.

Ходжаров подошел к воротам, ведущим в ставку Дулова, — штык переместился сверху вниз, прикрывая дорогу к дверям. Ушурбаев сдержал лошадь. Лошадь стала. Штык снова поднялся, и Ходжаров скрылся в воротах.

Он прошел через темный двор, навстречу поднимавшемуся со скамейки казаку, оскалился ровной улыбкой, шепнув пароль. Казак козырнул. Охранник, который стоял в прихожей, отворил дверь дуловского кабинета — Ходжарова он видел не раз.

На столе горела большая восковая свеча. Дулов сидел в кресле, подломив под себя правую ногу, и барабанил карандашом по разложенной перед ним карте. Подле него стоял адъютант и что-то записывал в маленьком блокноте. Дулов поднял глаза, разглядывая в темноте пришельца. Узнал. Спросил хмуро:

— Ну?

Махмуд подошел к Дулову и достал из кармана записку. Дулов развернул ее, прочел первые два слова: «Господин атаман!», и что-то вдруг полоснуло его по самому больному — по страху,

по всегдашнему ужасу, который жил вместе с надеждой.

Стремительно поднял глаза. Махмуд стоял перед ним, вбив свое тугое тело в мягкий цветастый ковер. Дулов выдохнул, отчего-то сморщил лицо и стал дальше разбираться в быстрых, набегавших одна на другую, буквах чарышевского письма.

В это время Махмуд точным и незаметным движением вытащил из кармана наган и, прошептав ругательство, выстрелил в грудь атамана. Дулов упал.

На Махмуда бросился адъютант. Ходжаров выстрелил ему в лоб. Адъютант грохнулся на стол, свалив свечу. Где-то рядом раздался пронзительный крик.

Махмуд нащупал ногой Дулова, выстрелил в него еще раз. Бросился вон из комнаты. Прогрохотали выстрелы — один, другой, третий.

Мукай и Чарышев сняли часового и казака охраны, который метался с поднятым над головой наганом. Ходжаров поскользнулся на остром камне, упал, в колено вошла тугая рвущая боль.

Он закусил губу, почувствовал во рту соленый привкус крови, заставил себя подняться и побежал дальше. Выскочив за ворота, увидел, как Насыр Ушурбаев, гарцуя на лошади, стрелял то

вверх, то в ворота ставки.

В домах тушили свечи, а один-единственный шашлычник, который стоял над мангалом, в ужасе рассыпал угли, и они казались сейчас сотнями непотушенных сигарет на желтой, изорванной морозом земле. Ходжаров выскочил из ворот ставки, Мукай и Чарышев взвалили его на лошадь — все было кончено в мгновение.

Ночное дежурство

В тот вечер мне позвонил мой давнишний приятель. Он учился на юридическом факультете, а я вольным слушателем посещал исторический. Приятеля звали Славка.

Он сказал, что работает инспектором МУРа в центральной милиции на Петровке, 38, и пригласил провести сегодняшнюю ночь с ним — он был дежурным по уголовному розыску.

...Трое его помощников из оперативной группы играли в домино вместе с шофером дежурной машины. Один спал, свернувшись калачиком на диване. Мы сидели со Славкой на подоконнике и разыгрывали ферзевый гамбит.

Дежурство было спокойным — я ждал иного. Один из оперативников пошел в «Эрмитаж», там украли бумажник у артиста эстрады, и он бурно негодовал в комнате милиции; пожар, возникший в районе Измайлова, быстро потушили, и туда никто не поехал; ребенка, потерявшегося в парке культуры, нашли без помощи центральной милиции, так что можно было играть в шахматы.

В три часа утра, когда мы только-только легли

спать, позвонили из Быковского отделения милиции: на тридцатом километре вооруженное нападение на машину — с избиением и угоном. Славка взял двух помощников, мы сели в оперативную «Волгу» и понеслись под красные семафоры по пустой и прекрасной, очень чистой, умытой поливальными машинами Москве. Там, где встречались редкие пешеходы, шофер врубал сирену, и сразу тихие улицы ночного города становились тревожными. Уже светало, небо на востоке делалось сиреневым, а поверху было придавлено чернильно-синим, а уже после — лежала звездная ночь. Было все как у пророка Исаии: «Еще ночь, но уже утро». Изредка Славка включал рацию и спрашивал дежурного по уголовному розыску:

— Алло, алло, я — Воронеж. Ничего нового?

— Пока ничего, — отвечал дежурный, — быковская группа еще не вернулась с места происшествия.

— Чего ж они так возятся? — ворчал Славка. — Могли б и поскорей. Оружие-то у бандитов какое?

— Потерпевший говорит, что били его рукояткой «ТТ».

Славка выключил рацию, обернулся ко мне и

спросил:

— Слушай, старик, я на завтра взял билет. Пойду смотреть «Милый лжец». Это — хорошо?

Он не играл, спрашивая меня про спектакль, и про завтрашний день, и про веселую трагедию о Шоу. Ловить людей с пистолетами «ТТ», которые бьют рукоятью и угоняют машины, — его профессия, его труд. Как у детского врача. Или уборщицы. Или редактора.

Уже возле самого Быкова дежурный включил рацию и пророкотал в микрофон:

— Воронеж, Воронеж, я — Омск.

— Я — Воронеж, слушаю тебя, — ответил Славка. — Что-нибудь веселое?

— Нашли одного из банды — он был шестым, не влез в машину.

— Молодцы, — сказал Славка.

Он снова обернулся ко мне и сказал:

— Говорят, что мхатовский «Милый лжец» лучше, чем в Театре Моссовета. Ты там не смотрел?

…Парень, которого задержали, сидел на табуретке, а Славка — на краешке высокого стола с зеленым сукном и молча разглядывал его, изредка ударяя костяшками пальцев по дереву, закапанному разноцветными чернилами.

— Ну? — спросил наконец Славка.

Парень заерзал на стуле и стал быстро повторять:

— Я ничего не знаю, ничего не знаю я, не знаю я ничего…

Славка закурил, не отрывая от него глаз, а потом сказал:

— Имей в виду, если они напортачат на этой машине — ты пойдешь по делу вместе с ними. Если ты поможешь нам сделать так, чтобы они не нашкодили на той «Волге», тебе же будет лучше.

— Врете вы все.

— Врут, если боятся чего-то или если иначе станет скандалить жена. Ты мне не жена, а боишься меня ты — так что все выходит наоборот.

Парень поерзал на стуле, а потом отвернулся к стене и стал выбивать каблуком частую дробь. Славка сказал:

— Ну?

Парень помотал головой. Славка затушил окурок в старой консервной банке и вышел из комнаты. Я вышел следом за ним. Славка сел на деревянную скамейку, потянулся и сказал:

— Через десять минут все скажет.

— Почему думаешь?

— Тип такой. Пальцами хрустит. И каблуками постукивает.

— Ты, верно, возненавидел род людской, а?

— Наоборот.

— Брось… С такими — возненавидишь.

— Нет, — повторил Славка, — все наоборот, старик. Это сложно, но тем не менее я говорю правду. Я как собака: понимать — понимаю, а сказать про это не могу.

Через пять минут мы вернулись в комнату. Славка сел на краешек стола и засмеялся.

— Привет, глупенький, — сказал Славка, — сейчас с Длинным очную ставку получишь.

Потерпевший нам рассказал, что один из грабителей был длинного роста. Славка решил играть этими обрывками данных. Но сказал он эту фразу про Длинного так спокойно и уверенно, что парень встрепенулся и спросил:

— Взяли Серегу?

— Взяли.

— Где?

— Сам знаешь, куда они поехали.

— Свистишь, начальник. На пушку берешь.

— Храбрый ты, парень, как я погляжу. Взяли их всех, понял? — Славка уперся в парня глазами. — Всех взяли на промтоварном.

Машину угоняют, как правило, для того чтобы «взять» магазин продуктовый или промтовар-

ный. Жулики живут по законам, которые до сотой доли познаны сыщиками.

Парень дрогнул лицом и спросил:

— В Санарях?

— Тут я задаю вопросы, а не ты. На ручку. Пиши, пока их привезут.

— Зачем писать, если вы и так все знаете?

— Порядок такой. Ты что, новичок?

— Первый раз. Пьяный я был, Серега уговорил.

Славка спросил:

— Блинов, что ли?

Я понял, что Славка назвал первую пришедшую ему на ум фамилию. И снова он выиграл. Парень ответил:

— Да нет, Кизяков. Длинный.

Славка вышел в комнату дежурного и сказал:

— Пошлите людей в Санари, там, видимо, ограбили магазин. И установите Сергея Кизякова. По кличке Длинный.

— А его устанавливать нечего. Сволочь, недавно вернулся после хулиганства и снова, видишь, начал. Он с Дубков. Дом восемь. Мы же его знаем, как голого.

Славка поставил меня в простенке между окнами. Он и два его помощника на цыпочках пошли к крыльцу дома номер восемь. На углу,

в двух шагах от меня, стал третий. Он вытащил пистолет из заднего кармана брюк и сунул его в карман плаща.

Поднималось солнце. Речка, разрезанная солнечными лучами на яркие черные и желтые полосы, дымилась седым туманом. Деревня Дубки еще спала. В лесочке — зеленом, березовом, молодом — пели птицы. Казалось, что в мире ничего больше нет, кроме этого пронзительного весеннего пересвиста прилетевших с далекого юга птиц.

И казалось диким, что сейчас в это молчаливое, птичье, солнечное утро мы должны прятаться под окнами дома, в котором живет бандит, и хватать его, если он выпрыгнет из окна, и стрелять, если он начнет отстреливаться.

Славка долго прислушивался к тому, что было в доме. Он стоял, приложив ухо к двери, упершись руками в косяк. Потом осторожно поманил меня пальцем, я на цыпочках поднялся к нему, он налег плечом на дверь, и она, пронзительно скрипнув, отворилась. В деревнях не запирают дверей на ночь. Славка стремительно проскочил сени и распахнул дверь, которая вела в комнаты. На большой кровати, укрытый красным ватным одеялом, спал Длинный. Он улыбался во сне. На

печке взметнулась старуха и молча схватилась руками за побелевшие морщинистые щеки.

Славка ринулся через комнату к кровати, на которой спал Длинный, схватил его за шею, рванул на себя и сжал обе его руки своими железными пальцами.

— Где пистолет? — спросил он.

— В комоде, — быстро ответил Длинный, побледнев так же, как и старуха на печке: со щек — книзу.

— А вещи из магазина?

— В сарае, — так же быстро ответил тот, сглотнув слюну, и острый кадык черканул его горло. Славка отпустил парня и сказал:

— Одевайся, деятель. Сейчас поедем.

Длинный вдруг изогнулся, запустил руку под матрац и ринулся на Славку с финкой.

Но он запутался в одеяле и неловко упал на дощатый пол, ударившись лбом о стул.

Славка засмеялся и наступил ногой на финку. Парень взвыл:

— Суки, суки! Ненавижу вас…

— Думаешь, я тебя обожаю? — усмехнулся Славка — Я тебя тоже ненавижу. Хватит выть, не пес. Одевайся.

Старуха слезла с печки и, беззвучно плача, по-

дошла к Славке.

— Снова чего натворил? — спросила она. — Ирод проклятый, паразит…

— Натворил, мать, — ответил Славка. — Натворил.

— Эх ты, — сказала старуха, — на кого ж мать кидаешь? Зубов-то у меня нет, скрошилися, кто кормить станет?

— Замолчи, — сказал Длинный. — Прижми язык.

Оперативник достал из комода «ТТ» и передал его Славке. Славка вытащил обойму, пересчитал патроны, завернул их в тряпочку и все это — обойму, пистолет и патроны — сунул в карман пиджака.

Длинный открыл шкаф, достал синий бостоновый костюм и драповое новое пальто. Он надел костюм, повязал галстук, набросил на шею кашне и стал надевать пальто.

— Снимай барахло, — сказал Славка.

— Это мое, а не ворованное.

— Снимай, снимай, герой-одиночка. Матери оставь — продаст.

— Пущай об ней власть позаботится, — сказал Длинный, — у нас власть добрая.

— Ах ты, паразит, паразит, — тихо плакала

старуха, — чего же тебе в жизни не хватает, ирод окаянный? Всего тебе было в жизни… Всего…

— Ну! — крикнул Славка, покраснев. — Я что сказал!

Длинный дрогнул лицом, усмехнулся и стал снимать пальто, а потом синий бостоновый костюм.

— Мамаша, ватник ему принесите, — сказал Славка, — и старые брюки.

Пришел второй опер и доложил:

— Вещи в порядке, все цело, под дровами в сарае.

— Хорошо. Сиди здесь, я пришлю машину — заберут.

Когда Длинного увели, Славка задержался на минуту в доме и обратился к хозяйке:

— Мамаша, водички дайте, пожалуйста.

— Сейчас, сынок, — ответила старуха.

Она, плача, смотрела, как Славка пьет воду.

— Сынок, — сказала старуха. — За что ж мне мука такая?

Славка обнял старуху за плечи. Меня поразило его лицо — скорбное и мгновенно постаревшее и в то же время удивленно-обиженное, словно у младенца, который в первый раз столкнулся со злом и неправдой.

Мы вели Длинного по широкой, нескончаемо протяженной деревенской улице, к нашей оперативной машине. В сараях надрывно мычали коровы. Голосили петухи. Из труб валили дымы — штопорящиеся, прозрачные. По шоссе, что шло неподалеку, проносились машины и красные автобусы. Из домов выбегали ребятишки с портфелями.

Было слышно — откуда-то издалека по радио транслировали урок гимнастики. И через этот утренний, прекрасный покой шел жулик по кличке Длинный, подняв острые плечи и глубоко засунув руки в карманы старых брюк.

Возле машины Славка остановил Длинного и сказал:

— Обернись, парень.

Тот обернулся.

— Посмотри, что ты потерял. Посмотри на все это. Посмотри как следует.

Длинный молчал.

— Ты можешь все это вернуть, — сказал Славка. — Можешь. Только для этого надо стать человеком.

Ненаписанные романы

37–56
Летом тридцать седьмого

Нас тогда на Спасо-Наливковском осталось трое: Витек, Талька и я. (Раньше с нами всегда был Юрка Блюм, но после того, как забрали его отца, он переехал куда-то на Можайское шоссе.) По утрам мы собирались возле шестого подъезда, читали по складам «Пионерку», играли в классики или «штандер», а потом ходили по этажам — смотреть опечатанные квартиры. Каждую ночь в нашем доме опечатывали несколько квартир. Иногда их опечатывали сургучом, и тогда мы уходили ни с чем, но если сургуча не хватало, опечатывали воском или пластилином; мы осторожно соскабливали его, лепили солдатиков, опускали их в лужи, и они становились совсем как оловянные.

— Говорят, вчера маршала Буденного арестовали, — сказал я, — за то, что у него на даче жила японская балерина.

— Откуда знаешь? — сердито спросил Талька; он не любил, когда кто-нибудь из нас первым сообщал наиболее важные новости.

— Люди говорили, — ответил я уклончиво, потому что мама настрого запретила рассказывать про то, что я слышал дома. «Ты уже взрослый мальчик, — сказала она, — ты должен понять, что сейчас надо молчать». «Почему?» — спросил я. А она стала рассказывать про врагов народа, которые теперь, благодаря нашим успехам, со всех сторон окружают Родину, — будто я сам не читал об этом в «Пионерке». Родители вообще стали какие-то странные с тех пор, как отец начал меня брать с собой днем. Раньше-то он уезжал на машине к себе в редакцию, где у него были две красивейшие секретарши, которые давали мне печатать на машинке. Одна, тетя Роза, была дьявольски хороша, и я по ночам мечтал, чтобы она стала моей матерью. Я всегда мечтал о красивой матери, но свою я тоже любил. Раньше я редко видел отца, а теперь мы ходили с ним по улицам, и он расклеивал театральные афиши. А раз я крепко струхнул. Я в последнее время часто слышал, как он по ночам тихо говорил матери:

— Краснощекова забрали, а Курочкина поставили к стенке.

Я сначала не понимал, что значит «ставить к стенке». Мы, когда играли в «штандер», тоже ставили к стенке, чтобы удобнее было целиться

теннисным мячом в того, кто проиграл. А когда отец сказал про дядю Сашу, что его тоже «поставили к стенке», мать охнула и тихо спросила:

— Неужели Сашу тоже расстреляли?

Стало быть, «расстреливать» и «ставить к стенке» — одно и то же, понял я. Так вот, в воскресенье мы поехали с отцом в Парк культуры. А в вагоне метро ехал один пьяный в лыжных брюках с коричневыми штрипочками, на которые он то и дело наступал каблуками. Когда мы вышли из вагона на станции «Коминтерн», пьяный ударил отца по голове. Отец закричал:

— Перестаньте хулиганить! Я вызову милицию! Образовалась толпа.

Подошел милиционер и сказал отцу:

— Гражданин, не мешайте проходу, станьте к стенке.

Я заревел со страху, решив, что отца сейчас будут расстреливать. Я стал хватать его за руку и тащить вверх, на улицу, где было солнечно, и гудели машины, и не было этого страшного кафельного полумрака. Пальцы у отца сделались холодными, а еще я увидел, как у него затряслось колено, когда милиционер стал требовать паспорт. На улице отец взял меня на руки и прижал к себе, как будто я маленький. Я обнял его за шею,

а она у него тряслась, и мне стало стыдно, и я испугался, как бы все не заметили, что он дрожит.

...Витек начертил на асфальте новые классики с большим «огнем» и начал скакать первым. Он великолепно скакал — и «квадратиком», и «змейкой», и «через раз», и «вслепую». Он лучше всех играл в «штандер» и никогда не мазал мячом, если целился в проигравшего. Он был единственный из нас, кто не обижал девчонок и не скрывал, что влюблен в Алку Блат. Вообще, Алка была не по годам серьезным человеком и знала всю правду о семейной жизни. Когда я сказал ей, что у вождей нет пипиcек, она хохотала до слез.

— Вот что, — шепнула она, подойдя к нам. — Но дайте честное октябрятское, что никому не скажете.

Мы дали честное октябрятское.

— Мне стало известно, — сказала она, — откуда берутся дети. Они рождаются.

— Это понятно, — сказал Витек. — А как?

— Очень просто, — ответила Алка Блат. — Для этого надо очень крепко обнять друг друга и поцеловаться.

Мы с Талькой начали презрительно смеяться, а Витек подошел к Алке и сказал:

— Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка!

— Ну, пожалуйста, — ответила Алка Блат.

Витька обнял ее и поцеловал. Мы с Талькой стояли потрясенные. Потом Талька покашлял в кулак, полистал «Пионерку» и сказал:

— Я тоже хочу ребенка.

Алка вопросительно посмотрела на Витька. Тот сосредоточенно скакал в классиках и ни на кого не глядел.

— Он мне друг, — убежденно сказал Талька, — он разрешит.

— Давайте, — вздохнул Витек, — только побыстрей.

Но только наш Талик обнял Аллу Блат и начал примериваться, как бы ее поцеловать, Витек пустил камень, который гонял по классикам, прямо в Талькину ногу. Талька завыл, потому что камень попал в косточку, а она электрическая, в глазах темнеет от боли. Талька скакал на одной ноге и плакал. Алка смеялась и, уперев руки в бедра, говорила, как ее бабушка:

— Какой же ты мужчина, если плачешь?! Нет, только мы, женщины, умеем переносить боль!

…Вечером, после того как мама напоила меня чаем с малиновым вареньем, я сразу же уснул. А проснулся оттого, что в нашей квартире лаяла собака. Сначала я удивился, потому что у нас не

было собаки, сколько я ни просил родителей. Я мечтал воспитать ее и отправить на границу, товарищу Карацупе. Но потом, в перерывах между лаем, я услышал быстрый мамин голос. Как только она смолкала, сразу же начинал лаять пес. Я решил, что родители мне сделали подарок и ночью привели немецкую овчарку. Я поднялся с кровати, надел красивые меховые тапочки, которые привез из-за границы Николай Иванович, и потихоньку двинулся в ванную, где лаяла собака, а мама тихо говорила:

— Ну, не надо, не надо, успокойся… Не надо, прошу тебя, не надо…

Я чуть приоткрыл дверь и увидел в щелку, что папа сидел на табуретке и лаял, обхватив голову костистыми длинными пальцами, а мама одной рукой гладила его лицо, а другой прижимала к груди отцов маузер, который у него всегда был заперт в столе.

Я вернулся в комнату, оставив дверь приоткрытой, и сжался под одеялом в комок, чтобы не дрожать. Потом я увидел, как мама подошла к входной двери и долго слушала, прижавшись ухом к скважине. Она осторожно отперла дверь, вышла на площадку и постучалась в квартиру напротив. Там живет отец Витька, папин друг

дядя Вася. Я услышал, как отперли дверь, и мне сразу перестало быть так страшно. Я слышал, как мама что-то шептала дяде Васе, но он, перебив ее, громко сказал:

— Оставь меня в покое с провокационными просьбами! Никакого пистолета я у себя не оставлю! А если твой муж, запутавшись в связях с врагами народа, хочет уйти из жизни, — не мешай ему!

И захлопнул дверь.

Мама вернулась в комнату и стала плакать. Тогда из ванной пришел отец и начал гладить ее по голове. Мама плакала очень тихо и жалобно.

Кивнув на меня, отец сказал:

— Если бы не он, я бы знал, что делать.

— Тише, — прошептала мама, — прошу тебя, тише…

— Мальчика жаль, — повторил отец. — А то бы я знал, что надо сделать.

— Тише, — снова попросила мать, — неужели ты не можешь говорить шепотом?

— Я бы сделал то, что надо делать! — вдруг визгливо закричал отец. — Я бы сделал!

— Что ты говоришь?! — охнула мама. — Ты хочешь погубить ребенка?

— Я не сплю, — сказал я сонным голосом. — Я

только что проснулся, мамочка.

Мать подбежала ко мне; щеки у нее были мокрые, а губы сухие и воспаленные.

— А что такое «уйти из жизни»? — осторожно спросил я. Она вся затряслась, а потом стала меня баюкать. Отец поднялся и зло усмехнулся:

— Бардак, а в бардаке еще бардак.

В дверь постучались. Мать замерла, и я почувствовал, как у нее стало холодеть лицо. А отец засмеялся — весело, так, как он смеялся раньше, когда в нашем доме еще не опечатывали квартиры.

— Кто? — спросил он громко.

— Я, — так же громко ответил из-за двери дядя Федя, отец Тальки, чекист, комиссар госбезопасности.

Отец отпер дверь. Дядя Федя вошел в квартиру. Он был в полной форме, с золотой нашивкой на рукаве гимнастерки.

— Предъяви сначала ордер, — сказал отец.

— Дурак, — ответил дядя Федя. — Как только не стыдно, Семен… Давай я заберу оружие, Галя.

Мать дала ему маузер, и он сунул его в карман.

— Тебе лучше бы уехать сейчас, — сказал он отцу. — Куда-нибудь в деревню, в шалашик, — сено косить.

Он хмыкнул чему-то, потрепал отца по плечу и ушел.

...Утром Витек сказал мне:

— А папа мне с тобой больше не велит водиться.

— Почему? — удивился я.

— Потому, что ты сын пособника врага народа.

— Дурак, — сказал я. — Мой отец работает заместителем Чарли Чаплина.

(Это была правда; сам отец об этом сказал, когда мы с ним клеили афиши, а я досаждал ему вопросом: «Кто ты теперь, пап?» В нашем дворе все мы, дошкольники и октябрята, придавали большое значение постам, которые занимали наши родители. Это было важно потому, что определяло, какую должность ты сам получишь в военной игре: начштаба, комиссара или командира.)

Витек презрительно засмеялся:

— Никогда не говори неправды. Чаплина давно поставили к стенке.

— Он артист, — возразил я.

— Ну и что? Артистов тоже ставят к стенке. Всех можно поставить к стенке.

Пришла Алка Блат с нарезанным носом.

— В чем дело? — спросил Витек.

— Талька съябедил, что я вам буду рожать

детей.

— Да? — спросил Витек, ни на кого не глядя.

— Нет, — ответил Талька. — Я никому ничего не ябедил. Я просто сказал, что у нас скоро будет ребенок.

— Кому? — спросил Витек.

— Бабушке.

Витек коротко стукнул Тальку в грудь, а потом ударил ногой по заднице.

— Иди отсюда, — сказал он. — Я больше не стану играть с тобой в классики.

И мы стали играть в классики втроем, а Талька сидел возле парадного на скамеечке, сопел носом, но молчал, потому что боялся Витька.

К нашему шестому подъезду прикатила зеленая «эмочка», и из нее вышли три человека в кепках с длинными козырьками. Шофер не стал выключать мотор, из выхлопной трубы попыхивал голубенький дымок, солнце сверкало в полированной крыше, и в никелированных бамперах, и в ослепительных колпаках, на которых красным было выведено: «Завод имени Молотова».

Трое в кепках быстро вошли в подъезд. Мы удивились: куда это они так рано? Талькин отец, чекист дядя Федя, уезжает в двенадцать, и за ним приходит машина с номерным знаком МА

12–41. На шестом этаже никто не живет, потому что там всех забрали, на пятом этаже трубач из военного оркестра, но про него говорят, что он «родственник» и, потом, у него туберкулез, а на трубе он играет только по ночам. На четвертом этаже живем мы с Витьком, на третьем этаже всех забрали, на втором квартира Тальки, а на первый вселился домоуправ, — после того как увезли Винтера с женой, которые оказались японскими шпионами. Они вечно кидали нам леденцы из окна, когда мы играли в классики или в войну. После того как к ним приехала Надежда Константиновна Крупская, мы — в знак большого уважения — стали говорить Винтерам «гутен абенд». Но мы недолго говорили «гутен абенд», потому что вскоре их арестовали. Наутро, после того как их квартиру опечатали, Талька сказал:

— А я колики в животе почувствовал.

— Ну и что? — спросил Витек.

— Ничего. — Талька вздохнул. — Если не понимаешь, так подумай.

Мы начали думать, но так ни до чего и не додумались.

— Леденцы-то мы ели чьи? — помог наконец Талька.

— Винтеровские, — ответили мы.

— Вражеские, — поправил Талька. — Вражеские, троцкистско-бухаринские леденцы.

— Ерунда, — ответил Витек, подумав, — на них было написано по-советски.

— Маскируются, — грустно усмехнулся Талька. — Верьте не верьте, а леденцы были явно отравлены проклятыми Винтерами.

Трое в кепках вышли из подъезда вместе с Витькиным отцом и мамой.

— Витенька! — закричал дядя Вася. — Сынок!

— Сыночек! — крикнула мама. — Сыночка, дай я тебя поцелую! Витенька, дай я тебя поцелую!

— Мальчик остался один! — кричал Витькин папа, когда его сажали в машину. — Мальчик остался совсем один! Поймите, товарищи, мальчик остался один!

Шофер дал газу, и машина умчалась. Витек как стоял на месте, так и замер. Талька многозначительно подмигнул мне. На первом этаже открылось окно, и жена управдома внимательно на нас посмотрела. Потом открылась наша форточка, и мама крикнула мне:

— Быстренько поднимись домой!

— Сейчас, — ответил я.

Открылось окно и в Талькиной квартире.

— Таля, домой! — крикнула его бабушка. —

Быстро!

— Алла! — пробасила бабушка Блат из пятого подъезда. — Домой!

И мы пошли по квартирам. А Витька так и остался стоять на месте.

Их квартира была опечатана воском. Я сковырнул кусочек, чтобы потом вылепить солдатика. Воск был еще очень теплым и податливым.

Осень пятьдесят второго

Ах, какая прекрасная была та осень! Леса стояли тихие, золотые, гулкие. Над полями гудели пчелы. В маленьких речушках, прозрачных и медленных, опрокинувшееся небо казалось неподвижным и торжественным, словно заутреня. Кончался сентябрь, но было словно в июне: травы — зеленые, вода — теплая, ночи — светлые.

— Господи, — сказала старуха в белом платке, стоявшая рядом со мной, — благость-то вокруг какая, а?! Будто и греха нет.

Она оглянулась: очередь на передачу в Ярославскую пересыльную тюрьму тянулась с Волги вверх, прерывалась булыжной дорогой, где стоять не разрешалось, чтобы не было излишнего скопления возле тюрьмы, и плотно жалась на

деревянном тротуаре, который вел к маленьким зеленым воротам под сторожевой вышкой.

В очереди стояли старухи с серыми от загара лицами; руки их были коричневы, синие вены казались черными, а ногти были бугорчатые от копания в земле; стояли здесь молодые бабы с детишками, чаще всего грудными; на солнце детишки плакали, а в тень отойти нельзя, потому что очередь и есть очередь, к тюремным ли воротам, за сахаром ли: пропустил свое, на себя и пеняй.

И среди сотен женщин стояли в очереди двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Швец передвигался на тележке, к которой были приделаны шарикоподшипниковые колесики. Раньше он ходил на двух протезах — с громадным трудом, но все-таки ходил. Однако с тех пор, как арестовали его сына, аспиранта филфака, и по решению ОСО осудили на десять лет по пятьдесят восьмой статье за участие в антисоветской организации, преследовавшей «ослабление и подрыв существующего строя», безногий полковник запил, бросил свои хитрые протезы и стал передвигаться, как рядовые инвалиды, — на тележке.

Швец стоял под березой, в единственном месте, где была тень; он был как командир на параде — с

орденами и медалями на белом чесучовом кителе, а мимо него к тюремным воротам тянулась бесконечная тихая очередь.

…Приехав в Ярославль, я долго искал тюрьму и нашел ее только наутро, потому что сначала, когда еще ходили автобусы, было как-то стыдно спрашивать кондукторов, где пересылка: был субботний день, в автобусах ехали веселые молодые люди в белых рубашках и красивые девушки; они говорили тихо, нежно, о чем-то заветном. Словом, к тюрьме я добрался только ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка. Из открытых тюремных ворот попарно шли зэки с чемоданчиками и вещмешками. Они спускались к баржам, а по обе стороны тюрьмы, оттесненные конвоем, стояли женщины: все в белых платочках, похожие на птиц, с коричневыми лицами и громадными, натруженными руками. Заключенные шли быстро, стараясь не смотреть на своих баб, а те кричали, и невозможно было разобрать, что они кричали, потому что голоса их слились в один. Там были имена — в их вопле слились воедино десятки Николаев, Иванов, Петров. Шла волна, когда забирали колхозников, и поэтому имена были земные, прекрасные и многострадальные.

Когда наша очередь подошла вплотную к воротам, поджужжал на своей каталке Швец и, подтянувшись на руках, забрался на деревянный тротуар. Старуха, что стояла перед нами, спросила:

— А ты по ком страдаешь, убогонький?

— По России, — ответил полковник запаса. — По России, бабка, ети ее мать…

Нас запустили в ворота. Охранник сказал:

— Быстро, быстро, граждане, не задерживайтесь во дворе!

Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.

Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь старух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.

В приемной камере — в отличие от столичных Бутырок — стоял тяжелый запах карболовки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь.

Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом. Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.

Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:

— Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.

— Сургучевы? — тихо переспросили из окна.

— Да, Сургучевы.

— Какая статья?

— Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то, — быстро ответила бабка. — Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.

Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо — то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.

— Пониже поглядите, — сказал я.

Женщина опустила зеркальце, увидала насосанный синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.

— От гад, — вздохнула она грустно, — гадюка проклятая…

Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:

— Сургучевы выбыли на этап.

— Да что ты, батюшка, — оживилась старуха. — Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.

— Повторяю, они выбыли на этап.

— Ой, батюшка, — заговорила старуха быстро-быстро, — я ж лепешечек им напекла, яиц наварила, прямо с-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы ж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите, пожалуйста…

— Следующий, — сказал голос из окна.

— Батюшка, — тонко заплакала старуха, — лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яички с-под курочки?

— Следующий, — снова ответил голос из окна.

Русая красавица задумчиво сказала:

— Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?

Швец начал откашливаться, будто в горло ему

попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ, однако человек — такой организм, который во всех перипетиях жизни ждет. Бог его знает чего, а — ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.

— Батюшка, — дрожащим голосом сказала старуха, — что ж делать мне? Я ж лепешки не сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса вовнутрь не дают…

Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи желтую тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно. Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:

— Да что вы, мамаша?! — жалобно крикнул он. — С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.

Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.

— Следующий! — сказал младший лейтенант.

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

— Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

— Что за шутки? Заявитель, покажитесь!

— Не могу!

— Не можете, так покиньте помещение!

— Мальчишка! — крикнул Швец и, резко откинув потную голову, зажмурился.

— Что?!

— То самое. Молокосос!

Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил.

— Вниз посмотри! — исступленно прокричал полковник. — На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

В камере было тихо, а муха вокруг лампочки жужжала громко, словно трансформатор. Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:

— Следующий!

— Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

— Выбыл на этап.

— Когда?

— Вчера.

— Куда?

— По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

— А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку, Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

— Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

— А в чем дело? — тихо осведомился младший лейтенант.

— Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?! — И Швец шепнул мне: — Опускай!

Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.

— Следующий, — тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

— Тут у вас в лазарете мой отец.

— Фамилия?

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня — почти столько же, как Швец — на него.

— Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже нельзя, — сказал он наконец. — Только по прибытии к месту наказания…

Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.

— А записку? — спросил я. — Просто чтоб он знал.

Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

— Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

— Я не мракобес… Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.

Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» — и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл

оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить, — все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка, — становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.

Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Никто еще ничего толком не понял, а меня прижало к подоконнику. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели, и к горлу подступила тошнота.

— Ишь, балует, словно ребеночек воет, — сказала русая красавица.

Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем незнакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл.

Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

Я почувствовал, как кто-то мягко схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.

— Да что ты?! Да погоди! — слышал я снизу сопение Швеца, который держал меня за ноги.

— Миленький, миленький, успокойся, — шептала русая красавица, повиснув у меня на шее. — Ну золотенький мой, ну маленький, успокойся, — твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.

— Папа! — кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми, длинными голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!

Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали

басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы, — и меня затолкнули в камеру.

Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.

— Там и мой кричал, — шепнул он. — Константин. Я его голос узнал.

Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:

— Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание потерял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!

— Это он прав, — тихо согласился полковник Швец. — Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.

— Разговорчики! Кто получил справку — очистить помещение! — приказал младший лейтенант.

В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.

В оконце показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.

— Поди сюда, — сказал он мне. Я подошел.

— Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у

твоего батьки запрещение на свиданку.

— Как он сейчас?

— А ты что, не слыхал? — вздохнул седой капитан.

— Швец Константин, тридцать третьего года рождения, осужден Особым совещанием, — начал выкрикивать с пола безногий полковник.

— Знаю, знаю вашего Константина, — ответил капитан, — он в карцере за нарушение режима.

— Что он сделал? — спросил Швец.

— Да так, — ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу, — ничего особенного, только строптив, не сломался б…

Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.

— Ничего, — сказал он, — не сломается.

И как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.

— Продолжайте работу, товарищ Сургучев, — сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.

Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услышав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну. Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек

и спросила:

— А ты не Гришки ли сын, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?

Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.

— Кто следующий, граждане? — сказал он скороговоркой. — Вопросы прошу задавать по существу.

— Гришкин, — уверенно сказала бабка. — И нос, как его, — с горбой, и чуб с крутью, Господи, Господи, брат на брата и отец на сына, толь небо пока не раскололось, когда ж? Когда, Господи?!

И словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.

Та ночь в Ярославле

После того как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.

Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от

земли, чтобы быстрее катиться.

Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.

— Заполняйте бланк, — сказала она Швецу. — Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою — как орденоносца и инвалида.

— Мы вдвоем, — сказал Швец, кивнув на меня.

Женщина ответила:

— Я дам номер люкс из исполкомовской брони.

Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.

Напротив графы «С какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок?» я написал: «Прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня действительно приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про

те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.

И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.

Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом лесу», вздохнувши, как-то изумленно заметил:

— Кругом одни медведи — куда ни глянь…

Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:

— Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?

Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:

— С группой начинающих товарищей…

— А командировочка где?

— Идет по фельдъегерской связи, — ответил я туманно.

— Ах, так, — понятливо кивнула администраторша, — что ж, хорошо…

И — отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло просмотрела ее и — скорее для проформы — поинтересовалась:

— Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?

— Прибыл в ваш замечательный город, — начал рапортовать Швец, — надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме…

— Где-где?!

— В пересыльной тюрьме.

— Какая досада, — сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке, — оказывается, тот номер, который я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.

— То был свободен, а то заняли? — набычился Швец.

— Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться, — запутавшись, пробормотала администраторша.

— Верните документы, — рявкнул Швец.

И — выкатился на своих жужжалках из темного

холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветреную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.

— Где ночевать будем? — спросил я Швеца. — Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.

— Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим и спать с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что там тридцатка, все одно выйдет с точки зрения экономии. Не бойсь, найдем, где отдохнуть.

В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской, три салата, селедку, щи и блинчики с мясом. Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:

— Ну-ка, придвинь меня, а то я на китель буду крошки ронять, неопрятно.

Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цыкнул зубом и возгласил:

— Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им Бог…

Запрокинув голову, он вобрал в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:

— Анекдот есть такой. Один командировоч-

ный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в гостелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле «Метрополя», — у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них, смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не б…?» Что плешка у «Метрополя», что здешний вокзал… Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметало…

— Она ж служит, зря вы на нее.

— Нет, не зря! Скрывать правду — значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!

— Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим…

Швец грохнул кулаками по столу:

— Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!

— Вы действительно верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?

— А кем же еще?

— Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?

— Как кто?! — Швец изумился. — Товарищ Сталин.

— Тухачевский, Сталин и Троцкий, — тихо ска-

зал я, оглянувшись невольно.

— Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! — Швец разъярился. — Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от скверны японо-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!

Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:

— Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?!

А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который донесся через открытые тюремные окна и его пронзительный крик: «Сынок!»

— За что такое горе, Косинька?! — Швец сокрушенно качал головой. — Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!

К столику подошла официантка:

— Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?

— Ладно, — сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой». — Валяй сборную.

Он демонстративно отвернулся от меня и стал

смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине — тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались. Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, большом и любимом счастливые песни слагает народ…»

В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшениями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом лесу». Я посмотрел на мишек, тронул Швеца за руку:

— Простите меня, я, видно, что-то не так сказал…

— Да уж, — посветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне, — я еле сдержался, чтоб не отправить тебя, куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут…

Он снова разлил водку по фужерам, мы вы-

пили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались такими жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый фрейлехс.

Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали меряться силами — у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.

— Если нет одного, — комментировал Швец свою победу, — тогда обязательно много другого…

Эти слова мне показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:

— Смех без причины — признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног — руки сильные!

Швец вздохнул, начал перемаргиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:

— Мадам, не выпьете ли немного портфейна?

— Вы, случаем, не одессит? — спросила пиа-

нистка, опускаясь на стул. — Одесситы говорят «портвейн» через «ф».

— Какой с меня одессит? — Швец засмеялся. — С меня одессит, как с вас балерина.

Пианистка предложила:

— Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем…

Швец достал из кармана кителя тридцатку:

— Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.

Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:

— Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

— Опошляют героику, — заметил Швец. — Всего семь лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты — ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.

Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:

— По берлинской мостовой кони шли на во-

допой!

Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:

— Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!

Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:

— Ой, не могу, не могу, не могу! Как жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!

До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал таксист в старой «победе» да время от времени прохаживался железнодорожный милиционер в малиновой фуражке.

— Где же ваши проститутки? — спросил я. — Пошли лучше на лазку, всё соснем…

— Ты хоть одну свободную видел? — рассердился Швец. — Сам виноват — я уж договорился с пианисткой.

— Ей же сто лет.

— Не важно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем желанней.

— А скрипач?

— Скрипач? — передразнил меня Швец. — Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму и только!

Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.

Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер — попеременно.

Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам бессильные стариковские слезы…

Милиционер наконец откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.

— Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера, — отчеканил он. — Но тут одна должна подойти к часу, Роза, — на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи…

И вот мы в комнате у Розы. На стенах — вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленых прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках. И почти на всех фото — Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые книзу брови и рваный шрам на щеке.

— Это ему миной рассадило, — объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью.

Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада «У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужски, резко запрокинув голову; напудренное, дряблое лицо ее покраснело; она взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:

— Вы меня оба будете или безногий не может?

— Оба, оба! — Швец развеселился. — Безногий может, будь спокойна.

— На широкой ляжем или будете переходить ко мне по одному?

— По одному, — сказал Швец. — Чтобы в движеньях не смущаться.

Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтобы не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.

— Чего сюда приехали-то? — спросила она. — В командировку?

— В тюрьму, на свиданку к родным, — браво ответил Швец.

— Эх-хе-хе, — вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней, — вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет…

— Что, муж погиб в боях за нашу Советскую родину? — деловито поинтересовался Швец, расстегивая китель.

— Да нет, — ответила Роза, — я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.

— И — давно?

— Через полгода, как ушел, — и начала. Снача-

ла-то думала его вернуть добром — и начальству писала, и к знакомым ходила… А он не дрогнул… Ну и пошло…

— Заработок маленький? — поинтересовался Швец.

— Да нет, — задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула, — можно б прожить… Детишек профсоюз в детсад определил… Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров полон воз наломала… Отомстишь, а ведь аборт денег стоит, где взять? Вот и пошло-поехало…

Она достала из комода старенький патефон, поставила пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:

— Шпи, шенщин много на швете, шпи, твоэ сэрдцэ тош-куэт…

Роза сняла платье, пояснив:

— Надо, чтоб все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.

— Не надо. Баловство это. Нескромно, — отрезал Швец и попросил меня: — А ну подними на кровать, я сам не заберусь.

Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его

на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика, — колючие и морщинистые.

Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.

— Какой же ты маленький, — ласково засмеялась Роза, — как ребеночек.

— Тише ты, — сказал Швец.

— Бородой не щекочись, — шепнула Роза. — Я не могу, если смешно.

— Ну вот! — Швец рассердился. — Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не Лига Наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.

Я отвернулся к стенке. Прямо на меня — в упор — смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.

Я проснулся оттого, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:

— Проспали! Подымайся, мне на работу пора.

Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел. Все равно тридцатку плати. Или пусть он вносит, я не виновата.

…Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.

Роза подвела нас к автобусной остановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:

— Все так… Ночью — «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.

— Не сердись, — сказал я.

— А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки…

Она села в автобус и уехала.

— Сука, — пробормотал Швец.

— Зря, — сказал я.

— Нет, не зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.

Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.

— Где тут областное управление? — спросил

Швец.

Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.

И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело — получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.

…Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зэка, — он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок, — обсмотрев меня, жарко зашептал он, — пиши товарищу Сталину, одна надежда, его обманывают враги!

Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой, кашлянул:

— Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!

Константин Швец усмехнулся, снисходительно, но ласково погладив моего старика по седой шевелюре:

— Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к съезду… Он ведь предлагал сместить с поста генсека пар-

тии Сталина…

— Разговоры! — испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.

— Какое письмо?! — закричал полковник Швец. — Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин — самый близкий друг и соратник Ильича!

— Сынок, родной, запомни, — вновь зашептал мой отец, — если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!

Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием.

— Ты приходил в мой институт, папа? — спросил он полковника.

— Да, — ответил Швец.

— Ты говорил, что я тайком читаю вражеские, клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»? Там ведь замалчивалась выдающаяся роль Сталина в Октябрьской революции, так?

— Да, говорил, — отчеканил Швец. — Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли помочь тебе в беде.

— Вот они и помогли, — усмехнулся Константин. — Написали — с твоих слов, — что я

занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо…

…Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину «двадцать писем к другу».

«Судьба солдата в Америке»

В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей. Сто отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.

После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал на тахте и читал книгу Юлиуса Фучика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.

Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары» — так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа.

Мы тогда выработали особую походку, — точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в фильме «Судьба солдата в Америке» бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.

Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил, и правильно решил, конечно же, — что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны иллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того как его посмотрели человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.

В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой

тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.

— Поедем на Бауманскую, — предложил Лева, — там сегодня в церкви танцы.

— Поедем, — согласился я.

И мы поехали.

Это было апрельской весной 1953 года. Сталин уже умер, Берия стал первым заместителем председателя Совета министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт», кровавыми убийцами в белых халатах.

…На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к Почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в неделю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкаль-

ные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали проповеди, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками а-ля Нерон, юные работницы окружных фабрик с толстыми, по-спортивному вывернутыми икрами, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Миши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь спортинвентарь, стояли два дежурных оперативника — на случай чего-либо непредвиденного.

Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость, именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края были багровы от зашедшего солнца, и поэтому казалось, что над столицей реет черно-красный траурный стяг.

— Ринемся, — предложил Лев, — а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.

— Дождя не будет, — сказал я, — ветер сильный.

Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом

зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией — и начался весенний грохочущий ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.

Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяучил. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.

— Куда, старик? — спросил Лева. — Искать русалок?

— Вывелись они теперь, — ответил дед с услужливой готовностью, — одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.

— Какой же он пес? Он кот.

— Если б… Он — кошка. Вырастет, мяучить станет, кавалеров требовать, сон бередить.

— Перспективно смотришь, — сказал Лева, — трудно тебе, дед.

— Да уж нелегко.

— Давай котенка, — сказал Лева.

— Зачем?

— Заберем.

— Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.

Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка и посадил его к себе на плечо.

— Мурлычет, — сказал Лева. — Очень щекотно.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви — оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.

…Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению падеграсы и падеспани соседствовали с запрещенными буги-вуги, являвшими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы семнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры — выпить чая в маленькой комнатушке вместе с оперативниками, — как

джазисты, фанатики ритма и синкопы, ломали тянучий па-де-грас, трубы начинали реветь, страстно ухали саксофоны и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись и румянились наивным и чистым весельем.

Трубач — горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким длинным черным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь, — подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата».

Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд донь би блю,
Сайл май хани дир,
Смайл антил вил би ин лав,
Ор эле шел би меланколи ту…

Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все танцевали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на

манеже.

Видимо, почуяв неладное, начальник спорт-церкви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули падеграс. Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы семнадцатого века в эпоху предреволюционной Франции. Начальник церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу американского солдата».

Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.

— Как будешь танцевать? — спросил я Кочаряна.

— Ничего. Котенок не помешает.

В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече — выгнувшись, подняв хвост трубой; все

оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на па-де-де. Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга, — очень плотно прижиматься, но молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посредине ложбинка.

— Если вы раз врежете, — сказал я девушке, — не поздоровится.

Она ничего не ответила, будто не слыхала.

— Вы очень крепкая, прямо стальная, — продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке. А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра, очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.

— Видимо, вы — баскетболистка? — прокашлявшись, спросил я. — Первый разряд? Или мастер?

— Можете не болтать? — сердито откликнулась девушка. — Танцевать трудно.

Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть не назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка — так она отвернулась от меня. Но я не успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери, оцинкованной, как в мясном магазине, — толпу, которая стремительно росла. А посредине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.

— Вы не умеете себя вести, — говорил один. — Додумались — котенка принести на танцы!

— Распоясались тут! — говорил второй.

Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.

— В чем дело? — спросил я.

— А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову, — сказал первый парень, — и не хулиганьте в общественном месте!

— Кому мешает котенок? — холодно допытывался Лева. — У вас есть заявитель?

— Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!

— Где это записано? — спросил я.

— Да! Где это записано?! — оживился Лева. — В правилах это есть?

— Есть!

Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.

— Предъявите правила! — потребовал Лева.

— Хватит с ними валандаться! — сказал первый и, взяв Леву за рукав, попросил: — Очистите помещение, гражданин.

— Не применяйте силу, — попросил Лева. — Вы не в Америке, а в Москве!

Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке, и что у нас нельзя допускать произвол в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло — парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь. Котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение, точно как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом — его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.

Лева ринулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок — замша с лаком — и котенка с желтыми глазами.

А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки, — это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохорями и микропорками на кистях, — лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и наносил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла

развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.

Лева умудрялся отмахиваться от самых грозных банд, потому что вел себя, как Джим Кегни: «Самое страшное, что может случиться, — перо в бок. А кто в наше время гарантирован от этого?»

Но здесь, в спортцеркви, Лева допустил ошибку: он не учел, что люди не простят ему такой разнузданности, — котенка, видите ли, принес на танцы! Люди культурно отдыхают, а этот припер животное, надо ж так презирать общество?! Поэтому, повалив, его били по-черному, не оставляя шанса подняться. Если б вел себя, как все, не выдрючивался, поучили б сколько надо, раз заслужил, и — все. Но здесь был случай особый, высшее проявление индивидуализма, такое прощать нельзя, до добра не доведет…

…А потом была милиция, трехчасовое составление протокола за нарушение общественного порядка, перенос Левы в машину «Скорой помощи», потому что ему переломали три ребра и ключицу, а после — раннее утро, перезвон колоколов на Елоховском соборе и отчаяние, потому что двести рублей, отложенные для передачи отцу, пропали во время драки. Денег нет. Лева в больнице, никто не поможет достать две сот-

ни, а в тюрьму разрешалось пересылать двести рублей раз в полгода и одно письмо в год, и если я завтра не перешлю деньги, отец останется без курева, маргарина и мыла, а завтра — последний срок, потом надо ждать еще шесть месяцев, во владимирском изоляторе зорко следили, чтоб вражинам не было поблажек.

Я шел по рассветающему городу. На стендах уже расклеили утренние газеты. В передовице «Правды» сообщалось, что еврейские врачи-убийцы и отравители в белых халатах — профессора Виноградов, братья Коганы, Вовси — не были агентами тайной организации «Джойнт», а представляли цвет многонациональной советской медицины. Сообщалось также, что на самом-то деле «Джойнт» — это английское слово «объединенный», а народный артист Михоэлс — никакой не враг, а гордость советского народа. И еще в передовице говорилось, что бывший заместитель министра Рюмин грубо нарушал пролетарский интернационализм и социалистическую законность — за это он освобожден от занимаемой должности и арестован.

Вернувшись домой, я заметил в почтовом ящике конверт со знакомым штемпелем.

Я даже похолодел от внезапно возникшего

чувства отчаянной радости. Наверняка на этот-то раз сообщат, что отец освобожден, что никакой он не член «запасного правого центра», а настоящий большевик, надо срочно ехать за ним во Владимир, — ходить старик не может, видимо, хотят, чтобы я привез его в свою комнату тихо и незаметно, зачем разжигать ненужные страсти, даже в семье бывают ссоры и неприятности, а тут такая огромная страна, всякое могло случиться… Я вскрыл конверт; там был узенький листочек бумаги: «Ваша жалоба рассмотрена, отец осужден Особым совещанием правильно, оснований для пересмотра дела не имеется».

Канун Первомая

Я долго ждал возле зеленых ворот Бутырской тюрьмы. Наверное, часа два, не меньше. Утром позвонил следователь, полковник Меньшиков, который пересматривал дело старика. Он сказал, чтобы я подъехал к воротам Бутырок. Сказал — и глухо засмеялся. Мы с ним познакомились два месяца назад. Он вызвал меня на Лубянку, и мы просидели часа три: он рассматривал бумаги, которые я принес. Одной он очень обрадовался: в ней говорилось, что Серго награждает старика

машиной за организацию выставки «Наши достижения к XVII партсъезду».

— Это хорошая бумага, — сказал Меньшиков, — ты даже сам не понимаешь — какая это хорошая бумага. Ему клеили этот «фордик» в вину, что, мол, он получил его совсем от другого человека.

Я видел, что полковник радовался. Он, следователь, который должен радоваться доказательству вины, радовался доказательству невиновности.

Потом он провожал меня к выходу. Я сказал:

— Товарищ полковник, я тут ему принес яблочек, передайте, а?

— Ты с ума сошел, — сказал полковник, — это же связь с арестованным.

— А передачу не велят.

— Ты с ума сошел, — повторял полковник, — этого делать никак нельзя, а то меня знаешь как взгреют?

Я попрощался с ним и пошел к двери.

— Погоди, — сказал он негромко, — поди сюда.

Я подошел к нему:

— Что?

— Давай свои яблоки, только быстро.

Он рассовал яблоки по карманам, быстро огляделся и, не прощаясь побежал вверх по лестнице.

И вот я хожу возле ворот тюрьмы и жду, жду, жду. Потом ворота открылись и выехала серая «Победа». Впереди, рядом с шофером, сидел старик в ватнике и ушанке, а сзади — полковник Меньшиков. Он открыл дверцу, подмигнул мне и сказал:

— Садись быстро, парень.

У старика были ледяные руки. От этого они казались необычайно сильными.

Когда мы подъезжали к нашему дому на Можайке, шофер свернул в переулок. Там было грязно и ухабисто. Старик начал ругаться:

— Три года прошло, а не могли порядка навести, бардак! Трудно, что ли, замостить? Школьников надо было поднять, ремесло — в порядке субботника.

— Не ворчи, — сказал Меньшиков.

— Погоди, я еще завтра в исполкоме скандал устрою.

— Сначала отдышись, — посоветовал полковник и чуть толкнул меня ногой.

Во дворе Меньшиков пожал отцу руку, а потом они как-то неловко и не глядя друг на друга обнялись.

— Поднимемся? — предложил отец.

— В другой раз, — ответил полковник, — а то

телегу накатают.

Он сел в машину и уехал. Старик стоял на пороге и раскачивался. Потом шагнул к дверям и упал. И стал весело смеяться. Я занес его в лифт, и мы поднялись на пятый этаж. Соседи, которых к нам поселили после его ареста, заперлись в комнате и стали заводить патефон.

— Выпьешь? — спросил я.

— Я тогда помру.

— Отчего? Наоборот, оттянет.

— Ну-ка, подвинь мне телефон.

— Зачем? Отлежись, потом позвонишь.

— Сегодня канун праздника.

— Ну и что?

— Ничего. Просто надо позвонить.

— Куда?

Он ответил, осторожно улыбнувшись, произнося буквы смущенно и нежно:

— В партком. Доложусь им.

Дверь на балкон была открыта. Было слышно, как на Можайке гремело: в канун Первомая через репродукторы гоняют любимые народом песни. Наверное, в репродукторах было что-то несинхронное, потому что казалось, будто через каждый репродуктор проигрывалась своя пластинка — одна и та же, но поставленная на

секунду позже. Только одна строка закончится, как десятки других ее многоголосо повторяют, и от этого казалось, что уже утро, и начался парад на Красной площади, и маршал едет на ЗИС-110 и здоровается с замеревшими квадратами солдат, а через микрофон его голос кажется многослойчатым, а это еще больше подчеркивает размах Красной площади и холодящую торжественность самого чистого на земле праздника.

Старик полулежал на кровати и ждал, пока ему ответят. В дверь с балкона неслась музыка — передавали «Утро красит нежным светом». Он смотрел куда-то в одну точку, в расщелину между тоненькими желтыми паркетинами, а потом начал подпевать:

— Кипучая, могучая, никем непобедимая.

Страна моя, Москва моя, ты самая любимая.

Продолжая держать трубку возле уха, он сказал;

— Вообще-то, конечно, сообрази четвертинку.

Пропел еще один куплет и — сломался. Голос у него задрожал, и он тихонько заплакал, но и плача, продолжал петь первомайскую песню — как молитву. И трубку все к уху прижимал, ожидая, когда ему ответят его товарищи из парткома.

Они такие, наши старики. Дай им Бог. Они

честно уверовали в семнадцатом, честно верили в тридцать седьмом, честно помирали в сорок первом и честно выживали в трудном пятьдесят втором — только потому, что верили. Они были такими. Это правда. Мы их такими запомним и примем их такими — какими они имели мужество быть.

Первый день свободы

Он сидел в кресле у парикмахера. Половина его лица была намылена, а половина уже гладко выбрита. Он шмыгал носом и кривил губы, разглядывая себя в зеркале.

— Привет, старик! — сказал он, заметив меня. Он сказал это спокойно и просто, будто мы расстались вчера, а не пять лет назад. — Что будем делать? Хорошо бы пойти куда-нибудь к женщинам и слегка попить, а?

Он был смешным парнем до ареста. Его считали главным хохмачом во дворе. На спор он снимал брюки и, перекинув их через плечо, как плащ, гулял в длинных синих трусах и накрахмаленной рубашке по Можайскому шоссе. А еще он умел смешно говорить в рифму. Особенно это нравилось продавщицам из рыбных магазинов.

Вечером, отсидев часок в обществе интеллигентов, которые, включив радио на полную мощность, жарко говорили о трагедии художника в наш век, он прочитывал им свои новые стихи и потихоньку сваливал к девицам: болтать в рифму, есть свежую рыбу и развлекаться в постели. Раздевая очередную продавщицу, он плел:

— Жил на свете милый Блюм, положили Блюма в трюм, попросили не блевать и не какать на кровать!

Его все звали Блюмом: и рыбные девицы, и мы, друзья. Никто не звал его по имени. Даже участковый, составляя протокол за то, что он купался ночью в фонтане, где воды было по щиколотку, записал: «Означенный Блюм плескался в фонтане и кричал, как Тарзан, изображая из себя обезьяну Читу».

Однажды Блюм пошел на первомайскую демонстрацию.

Ему доверили нести портрет Лаврентия Павловича. Блюм шел в правой колонне и должен был, проходя мимо трибуны, провозгласить лозунг в честь нашего родного правительства. А он, подняв что было сил портрет Берии, выкрикнул:

— Да здравствует наше родное ваше величество!

Он был напичкан историями, которые знал от матери и помнил от отца, расстрелянного в тридцать восьмом году с группой писателей. Особенно много историй он знал про Лазаря Моисеевича, потому что его мать работала в Театре революции, а Каганович часто туда ездил. Блюм рассказывал, как однажды в тридцатых Каганович приехал смотреть спектакль «Самоубийца», поставленный по пьесе Эрдмана. Каганович сидел в зале один, а возле всех проходов, где горели синие и красные фонарики, стояли сотрудники НКВД, охранявшие жизнь ближайшего соратника товарища Сталина.

Лазарь Моисеевич смеялся до слез. Эрдман написал злую и веселую комедию. За кулисами бедные актеры сжимали друг друга в объятиях и шептали:

— Все-таки правда торжествует! Ты видел, как он добро смеялся?

Они теперь были убеждены, что Каганович разрешит этот запрещенный спектакль. Когда занавес опустился, Лазарь Моисеевич сунул в карман неизменные четки и начал аплодировать, продолжая весело смеяться. За кулисами был праздник. К Кагановичу подбежал директор.

— Это великолепно и зло, — сказал Лазарь

Моисеевич, — прекрасная, мужественная и разящая сатира, бьет наповал. Немедленно снять, немедленно. Разве это нужно показывать москвичам? Кому нужны зловещие тени, выведенные талантом выдающихся художников на сцену? Никому, — закончил он, подтвердив свои слова округлым жестом левой руки — точно таким же, какой был у гениального зодчего нашего счастья, когда тот закуривал неизменную трубку.

…После двух лет знакомства я привык к веселому Блюму, который бродит по улицам без брюк, спит с продавщицами и, ошалев от водки, купается в пересохших фонтанах. Но, узнав о расстреле секретаря ЦК Кузнецова, который честно дрался всю Ленинградскую блокаду, Блюм зачитал:

Ныне юродствуете во Христе,
Но ваша лояльность сомнительна.
Партию вам не распять на кресте,
Товарищи, будьте бдительны!

Это было так непохоже на все сказанное им за два года нашего знакомства, что я опешил и быстро оглянулся по сторонам. Мы гуляли по еврейскому кладбищу. Оно тогда было на берегу Москвы-реки, где теперь стоят красивые новые дома и школа-одиннадцатилетка. Там была одна

поразительная могила, мы очень любили ее. На сером камне по-русски и еврейски было написано под синим фарфоровым портретом хорошенькой девушки: «Илька Дэмон, которую убили при погроме. Прощай, доченька, твой папа Хайм Мойша Цырульникь».

Я оглянулся еще раз; на кладбище было пусто и тихо. По Москве-реке картинно плыли баржи, гулко басили катерки; на другой стороне реки, в парке Красной Пресни, высверкивала иллюминация. Там сегодня было народное гулянье, посвященное очередному снижению цен. Тогда каждый год снижались цены на галантерею, бриллианты и крахмал, но одновременно на всех заводах повышались расценки, выходило так на так, но про расценки не печатали, а о снижении цен радио говорило с шести утра, а уж в девять начинали объяснять комментаторы, приводя отклики буржуазной прессы. Мы шли молча, а потом Блюм возгласил голосом диктора Юрия Левитана:

— Цены на куриный помет снижены на семнадцать процентов!

Однажды, гуляя по улице Горького, он начал жечь свои волосы, поднося к ним свечку, и при этом громко кричал: «А вот идет космополит.

Еврей Иваныч Айболит!»

Это было в дни, когда печатались статьи про безродных космополитов, продавших Родину за иностранные самописки.

Это бы все ничего, за это бы, наверное, Блюма не посадили. Но в милиции, куда его забрали из-за свечки, — явное нарушение порядка, — он стал метаться по дежурной комнате, а когда его скрутили, чтобы успокоить и отправить в медицинский вытрезвитель, он заорал: «Ну что ж! Смейся, хохмач! Кулаком меня в рожу бей! Но, ети вашу мать, все-таки я еврей!»

На беду, в это время в дежурку зашел один из руководителей районной милиции Павел Федорович Гроднер, подполковник. Он всем говорил, что по национальности литовец. Услыхав стихи Блюма, он закурил «Герцеговину Флор» и стал молча расхаживать по дежурке.

— Пьяный дурак, — сказал наконец Гроднер, — что ты болтаешь, что?

— Иуда, ты откуда? — тут же ответил Блюм в рифму. Лицо Гроднера стало скорбным. Дежурный лейтенант фыркнул и сказал старшине, который доставил Блюма в отделение:

— Литовцы, одно слово…

Гроднер бросил папиросу в зеленую деревян-

ную урну и, став совсем серым, сказал дежурному:

— Оформляйте протокол и позвоните в аппарат товарища Абакумова.

Оттуда приехали и забрали Блюма. А через месяц, посидев в Сухановке, он начал говорить все, что хотел его следователь. Он сказал про многих из нас. Часть ребят забрали, часть оставили — «на разживу». Тех, кого забрали, судили в трибунале за попытку покушения на жизнь товарища Сталина. Руководителем «террористической группы» следователь уговорил стать Блюма, гарантировав ему хороший лагерь и дополнительное питание в тюрьме. Все ребята получили по смертной казни с автоматической заменой на двадцать пять лет каторжных лагерей. Самому старшему «террористу» Блюму было девятнадцать лет.

Гроднера, который сдал Блюма, тоже вскоре забрали, как «язычника», очищая кадры органов от «литовцев». Сидя в камере с Блюмом перед этапом, Гроднер поучал его:

— Чудак, тебя обработали, как куренка. Разве можно колоться и сдавать людей? Надо было брать на себя анекдот, получать пятерку по Особому совещанию и мотать в лагерную само-

деятельность.

— Сука, — сказал Блюм грустно, — жидовская морда. Пусть твой папа Гроднер вертится в гробу пропеллером, сука. Ему будет плохо за такого просексоченного сына…

…Блюм вышел из парикмахерской красивым, хотя несколько ссутулившимся. Он сильно полысел за эти годы. И потом, у него изменилась походка: она стала какой-то суетливой, непомерно быстрой.

— Ты чего семенишь? — спросил я. — Идешь как балерина…

— Там были деревянные колодки, — ответил он, шмыгнув носом, — соскакивали, заразы. Ну, ты придумал, куда двинем?

— Да. Нас ждут редакторши кино.

— Старухи?

— Что ты… Выпускницы ГИКа, они боготворят тебя заочно, с моих слов.

Мы сели в троллейбус. Блюм прилепился к стеклу и начал вертеть головой, как птица.

— Слушай, а сколько стоит мороженое? — спросил он.

— Смотря какое.

— Мне там часто снилось шоколадное эскимо на палочке. — Вдруг, просветлев лицом и став

прежним Блюмом, он возгласил — Ешьте зернистую икру, это питательно и вкусно!

— Ты что? — удивился я.

— Ничего. Просто читаю объявление. Вон, видишь на стене дома.

Он помолчал немного, а потом выкрикнул на весь троллейбус:

— Ешьте мороженое, оно холодное и вкусное, и не ешьте дерьмо, оно невкусное, хоть питательное!

Пассажиры, слышавшие его реплику, стали смотреть в разные стороны, будто ничего не произошло. Блюм внимательно оглядел их и скорбно заметил:

— Все в порядке, ничего не изменилось. Люди по-прежнему хорошо воспитаны. Хоть бы один сказал, что я подонок! Нет, молчат, как мыши.

Редакторши, у которых я пасся в тот год, увидев Блюма, стали молчаливо-торжественными. Они быстро затащили его в комнату, чтобы Блюма не увидели соседи, и стали просить, чтобы он рассказал им свою одиссею. Они теребили его, трогали за руки и смотрели на него влажными глазами. Блюм поначалу улыбался, лицо его стало жалким, а потом на скулах выступили красные пятна:

— Девочки, какая, к черту, одиссея, когда у вас

тут эдакий цветничок!

И залился идиотским смехом, — похрюкивая и брызгая белой слюной. Редакторши недоуменно переглянулись. Тогда Блюм, юродствуя, перецеловал каждую, приговаривая:

— Ах, девочки, вы себе не представляете, какое это счастье — прикасаться к гибкому женскому стану!

Бедные редакторши стали поочередно выскакивать в коридор. У девушек вообще есть манера выскакивать в коридор, а особенно если их трое, а нас двое, да еще один из лагеря. Они там консультировались, как быть дальше. Одна из редакторш, Мика, вернулась первой, села возле Блюма и сказала:

— Вы, наверное, ужасно устали, милый…

— Почему? — удивился Блюм. — Я ничуть не устал, крошка, — и он положил ей ладонь на грудь.

— У вас в глазах столько горя. — Мика осторожно отодвинулась.

— Какое там горе, — хихикнул Блюм, подсаживаясь еще ближе к Мике. — Нет никакого горя, когда рядом такая крошка, как ты!

— Сейчас я принесу кофе, — сказала Мика и вышла.

— Сколько у них станков? — спросил меня Блюм. — Где мне с ней примоститься?

— Не гони картину, они ж не проститутки.

— Какая жалость. А долго надо с ними разводить матату?

— Ты что — забыл?

Блюм внимательно посмотрел на меня:

— Да. Потому что там мы онанировали не на разговоры, а на репродукции с Рембрандта, где были изображены толстые женщины. Нам было не до разговоров, надо было поскорей управиться и сразу спать, мы ж начинали валить лес в шесть…

Вошли редакторши. Они несли поднос. На подносе были две бутылки водки и маленькие бутербродики, сделанные на западный образец.

— Ого, — сказал Блюм, — пожрем, девочки!

И он начал запихивать в рот бутерброды, поправляя их указательными пальцами обеих рук.

— Кир! — возгласил он торжественно. — Да здравствует кир водяры!

Бедные редакторши старались на меня не смотреть. Блюм налил себе стакан водки и начал медленно пить, иногда, замирая, он полоскал горло, будто это вовсе не водка, а боржоми с молоком. Выцедив стакан, он, зажмурившись, рыгнул:

— Девочки, давайте музыку.

— Вы, наверное, там совсем не слышали музыки, — сказала Мика, включая магнитофон.

— Почему же? — обидчиво ответил Блюм. — Я там играл в джазе.

— Где?!

— В джазе. Контрабасистом.

— У вас был джаз?

— В каждом лагере был свой джаз.

— Вы там изголодались, — сказала Мика, — берите бутерброды, они сделаны специально для вас.

— Почему это я изголодался? Я воровал, я был сыт.

Я понял, что Блюм завелся. Наверное, он обиделся, когда редакторши крадучись вели нас по коридору, чтобы не слышали соседи. Не зря, видно, Блюм тогда громко заметил мне, что он реабилитированный, а не амнистант.

— У кого воровали? — допытывалась Мика.

— У большевиков, — усмехнулся Блюм, — они доверчивые…

— Что вы такое говорите, Блюм?! — ужаснулась Мика.

— Правду, — ответил он, — только правду и ничего, кроме правды!

— Но…

— Хватит, — сказал Блюм. — Мне надоело кудахтанье. Пора перейти к телу.

Редакторша Лиля сказала:

— Я должна поработать в фундаменталке.

— А я к Юткевичу, — поднялась редакторша Надя.

— Счастливо, — сказал Блюм. — Только возвращайтесь попозже, а то мы с Микой не управимся.

— Вы не умеете себя вести, — сказала Мика.

— А вы разве девица? — осведомился Блюм.

— Я не девица, а вы совсем не умеете себя вести.

Надя и Лиля вышли. Мика выключила магнитофон и встала к двери.

— Иди ко мне, цыпочка, — сказал Блюм, дожевывая бутерброды, — я сделаю тебе больно и хорошо.

— Уходите прочь, — сказала Мика. — Мне совестно за вас.

— Сейчас, — ответил Блюм, — минуточку.

Он выпил еще один стакан водки и потер лицо пятерней так, что появились красные полосы.

— Дура, — сказал он, поднявшись. — Ты хотела, чтобы я говорил о красивых страданиях? Стра-

дания всегда уродливы, а я не клоун. Или плати мне, как проститутке, тогда я буду выдавать тебе сюжеты про муки интеллигентов в каторжных лагерях.

— Блюм, — тихо сказала Мика, и глаза ее засияли, — простите меня, Блюм.

— Я вам не Блюм, — ответил он. — В миру меня зовут Юрой.

— Сволочи, — говорил он, пока мы ехали в парк культуры, — им хотелось аттракциона: страдалец на файф-о-клоке. Хрен в сумку.

Он прижался лбом к стеклу, надолго замолчал, а потом выкрикнул:

— Хорошо по первопутку на санях барать якутку!

И снова в троллейбусе все, словно по команде, стали смотреть в разные стороны.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ничего. Просто там я стал истериком. Оказалось, что это даже удобно — быть истериком. Я, когда орал и бился на земле, мог думать о чем хотел, а потом еще выцыганивал освобождение на день.

Мы нашли двух девушек перед самым закрытием парка. Одна из них была продавщицей. Я понял, что Блюма ждет счастье. Но он, вместо

того чтобы сочинять в ее честь рифмы вроде прежних «жил на свете старый Блюм, положили Блюма в трюм», начал читать стихи из цикла «Город», написанные им в одиночке. Мы шли к Новодевичьему монастырю — в те годы там находили себе пристанище не только покойники, но и влюбленные. Блюм читал:

Друг другу протянув мосты,
Уснули берега.
Опавших с неба звезд цветы
Куда-то мчит река.
И заглядевшись с высоты
До утренней зари
Глядят ревниво фонари
Во влажные черты.

Девушки переглядывались, потому что не знали, как себя вести. Блюм смотрел на толстую продавщицу влюбленными, сияющими глазами.

Уже много дней и сегодня опять
Облака вроде сколотых льдин,
Шалый ветер бросает листву умирать
К равнодушным ногам машин,
Уже много дней дожди без конца,

Полотняных туманов надрыв.
Как будто Бог-Сын потерял Отца
И плачет, лицо закрыв.

Девушки стали весело смеяться, и Блюм тоже начал смеяться вместе с ними, то и дело поглядывая на меня. Он смотрел на меня, будто школьник, забывший урок.

— Как вас зовут? — откашлявшись, спросил Блюм продавщицу.

Та игриво поинтересовалась:

— А зачем?

— Хотите выйти за меня замуж? — предложил Блюм.

— Ой, Маш, не могу, — засмеявшись, сказала девушка.

Ночь разламывалась рассветом, которого еще не было. Но рассвет угадывался во всем: и в том, как почернела вода в реке, пожелтели фонари на набережной, и в том, как прозрачны и прекрасны сделались наши лица, в весеннем предрассветье лица людей всегда прекрасны и трагичны.

— Что же будем делать, девочки? — тихо спросил Блюм. — Я хочу, чтобы вы шли рядом с нами по набережной, а я бы читал вам стихи всю ночь, а если захотите, все утро и весь день…

— А работать когда? — спросили девочки.

— Я бы читал вам самые нежные стихи, какие только знаю, — исступленно продолжал Блюм. — Я бы рассказывал вам про то, на каком страшном и мучительном разломе мы живем, я бы пел вам буддистские гимны, которые уверяют, что середина столетия всегда приходит с добром и возрождением.

Девушки испуганно переглянулись. Я заметил, как продавщица тихонько толкнула локтем подружку. Та чуть заметно кивнула головой и стала оглядываться по сторонам.

— Ты понимаешь, девочка, — говорил Блюм продавщице, — что скоро станет утро, которое, по пророку Исаии, всегда приходит с радостью, и мне очень хочется, чтобы эта радость коснулась и тебя!

Мы поравнялись с двумя такси. Наши спутницы ринулись в первую машину и стали испуганно кричать шоферу:

— Скорей гони, шеф! Гони скорей, он псих ненормальный!

Тогда и второй шофер дал газу, и обе машины унеслись.

— Ты испугал девочек, Блюм, — сказал я. — Ты стал в лагере придурком.

— Я стал в лагере не только придурком, но еще электромонтером, контрабасистом, жуликом и импотентом, — ответил Блюм. — Правда, вешаться я пока погожу, потому что мне очень хочется посмотреть корриду, которая все-таки будет до того, как взойдет солнце.

…Он позвонил ко мне ранним утром. Его голос грохотал в трубке счастьем и добротой. Он кричал:

— Скорей приезжай! Сейчас я тебе дам адрес. Я нашел колоссальную чувиху. Она старая, живет в подвале, и окна у нее зарешеченные! Такая прелесть, честно, такая прелесть! Я почувствовал себя на свободе, понимаешь? Я почувствовал себя на свободе!

Я знал его хорошо. Со мной он никогда не играл. Если он говорил так — значит, он говорил правду.

Да здравствует Вл. Ворошилов или Размышления уставшего человека

Моего первого начальника, товарища Веденина, сместили в пятьдесят седьмом году.

Я тогда работал в отделе финансирования предприятий сельского хозяйства, только-только окончил институт, оклад положили царский, тысячу триста пятьдесят, это вам не сто тридцать пять, на полста мог пригласить девушку в ресторан — без коньяка, конечно, но хорошую закуску и пару бокалов вина с кофе и мороженым заказывал без желудочного замирания, мол, не хватит расплатиться, придется оставлять паспорт в залог…

Веденин приезжал на службу первым, уезжал последним, днем из кабинета не выходил, только если вызывали наверх, даже обедал у себя, — у него плитка была, чай заваривал, а бутерброды ему делала жена, почему-то всегда с селедочным маслом и плавленными сырками.

Совещания он собирал крайне редко, но всегда с оргвыводами; не понимал, когда ему отвечали: «невозможно», «нереально», «не получится».

— Значит, не умеете работать. Пишите заявление и подыскивайте другую службу. Я живу по закону: получен приказ — надо выполнить. И точка.

После двадцатого съезда, когда во всех отделах прочитали речь Хрущева, он осунулся, заметно постарел, а потом с ним произошла странная метаморфоза: начал собирать нас чуть не ежедневно, попивал густой чай, помешивая его мельхиоровой ложечкой, разгоны давать перестал и все больше предавался воспоминаниям про то, как его учили делу, начиная с тридцать седьмого, когда взяли с пятого курса сельхозинститута и назначили заместителем начальника отдела: тогда каждый начальник — на случай изобличения врагов народа в аппарате — был обязан впрок готовить трех-четырех заместителей, чтобы не было (если снова начнутся аресты) перебоев в работе.

Лена Розанцева, наш экономист, — она была на два года моложе меня, всего двадцать три, — както задала ему вопрос:

— Так, значит, ваш начальник знал, что его арестуют, если получил приказ готовить себе замену?

Наш босс горько усмехнулся, долго качал го-

ловою, словно бы удивляясь чему-то, а потом с горечью ответил:

— Наивный вы человек, Леночка! Любой начальник мог оказаться жертвой террористического акта, вот почему надо было готовить замену.

— А кто из ваших начальников пал от рук врагов народа? — не унималась Леночка. — Нам говорили, что трех ваших начальников арестовали…

— Так, милая моя, они не были троцкистами!

— Значит, они вас по-троцкистски и готовили? Чтоб вы делу вредили?

— Ах, Леночка, Леночка, доверчивая душа, до чего же вы все доверчивые, как легко прошлое предаете…

Грубин, наш плановик, во время этих исповедей-совещаний ненароком отхлебнул чай из стакана шефа и поменялся в лице: оказывается, никакой это был не чай, а самый настоящий коньяк…

Ясное дело, вскоре после этого случая нашего начальника перевели инспектором отдела кадров, что называется, пятью ступенями по лестнице вниз, а уж оттуда с честью проводили на пенсию.

На его место прислали бывшего секретаря исполкома Уралова.

Тот начал с того, что вызвал каждого из нас поодиночке, угостил чаем — настоящим, без коньяку, — и обстоятельно побеседовал, записывая каждое слово в красный блокнот: ты говоришь свои соображения как улучшить работу, а он все пишет, пишет, пишет…

Так прошел месяц, мы все напряженно ждали, что произойдет.

Наконец Уралов собрал нас и произнес речь о том, что необходимо раз и навсегда покончить с бюрократизмом и волокитой, надо смело принимать решения, вы же взрослые люди, прекрасные специалисты, пора научиться мыслить широко, по-государственному, с огоньком.

Говорил он хорошо, искренне, нашел для каждого из нас доброе слово, хоть и критиковал круто, но делал это уважительно, без привычного костоломства.

Выходя из кабинета шефа, мы радостно переглядывались: «Вот что значит новое время, пахнуло иным ветром, чувствуешь себя человеком…»

И действительно, поначалу пошло дело! Люди перестали перекладывать бумажки с места на место, особенно Леночка загорелась, она у нас

курировала капиталовложения в обустройство свиноферм, а тут ей из Легпрома перебросили письмо из Италии от какого-то партизана. Итальянец этот после войны крепко разбогател, начав выпуск рабочей одежды, джинсов, попросту говоря, но остался другом нашей страны, потому что у него в отряде сражались два русских, украинец и грузин. Вот он-то и прислал дарственную на патент и «пульку» этих самых джинсовых костюмов для сельскохозяйственных рабочих.

Леночка, как всякая молодая женщина, обладала прекрасным вкусом, джинсы эти ей очень понравились, она показала нам фотографии и выкройки, объяснила, что мы получаем в подарок примерно двести тысяч инвалютных рублей, что называется, с неба упали, да еще этот самый партизан пообещал финансировать строительство первой опытной мастерской.

Словом, Леночка написала заключение в Легпром, что такого рода спецодежда будет подарком для сельскохозяйственных рабочих, горько за наших женщин, одетых в ужасные ватники, срам смотреть, какие-то горы, а не представительницы прекрасного пола.

Левин, пришедший в отдел в сорок пятом, после демобилизации, предложил Леночке завизиро-

вать документ у начальника. Леночка только плечиками пожала: «Но ведь он сам просил нас брать ответственность и принимать самостоятельные решения!»

Левин убеждать ее не стал и углубился в свои бумаги, над каждой колдовал неделями; где запятую переставит, где слово уберет, — бумага сверкала, каждую строку можно было толковать вариантно: «После Григорьича можно визировать не читая, комар носу не подточит».

Через три недели меня вызвал начальник.

Протянув Леночкино заключение с прикрепленной к нему бумажкой из инспекции, попросил меня ознакомиться с документом, подождал, пока я прочту, поинтересовался моей точкой зрения на качество заключения, поморщился, когда я дал ему несколько витиеватый ответ, и сказал:

— Мы же уговорились: полное доверие друг к другу и товарищеская взаимопомощь во всем… А вы юлите, какие-то местоимения, а не фразы… Вы бы такое заключение в Легпром подписали? Отвечайте: да или нет?

— А что в нем плохого, в этом заключении? — ответил я, превозмогая давящее ощущение собственной малости и неизвестно почему родившегося во мне страха.

Уралов только развел руками:

— Ну, если вы считаете, что вступать в деловые отношения с итальянцем, который совершенно не проверен, вполне нормальное дело, тогда, значит, я чего-то не понимаю… А представьте себе, если после того, как мы примем от него этот самый патент на джинсы, он обратится к нам с требованием такого свойства, которое мы не сможем удовлетворить? Такой оборот вы допускаете?

— Но он же прямо пишет, что делает безвозмездный дар, — возразил я.

— Так ведь он итальянец! — Уралов даже растерялся. — Они живут своими законами, товарищ дорогой! Мы не вправе диктовать им свои нормативы! Другое дело: отчего наши модельеры столь преступно относятся к рабочей одежде?! Почему они так равнодушны к труженикам полей? — вот как надо ставить вопрос! А пригласил я вас бот почему: вы и товарищ Розанцева — самые молодые работники отдела, наша, как говорится, опора и надежда. Поэтому мне Розанцеву критиковать не с руки, надо бережно относиться к подрастающему поколению, а вам следует поправить ее на собрании, тем более я имею на вас виды: удалось выбить штатную единицу старшего экономиста.

Думаю, вы справитесь и с этим объемом работ…

О новой штатной единице в отделе говорили уже полгода — сто восемьдесят, самостоятельный участок, конечно, заманчиво.

Словом, на собрании я выступил, задав тон критике; Леночка смотрела на меня с ужасом; Левин поддержал меня: «Мы все за самостоятельность, но ведь не зря же родилась пословица: один ум хорошо, а два — лучше».

Леночке объявили выговор без занесения в личное дело, но она повела себя странно, написала заявление об уходе по собственному желанию, перевелась куда-то в НИИлегпром.

С тех пор, конечно, никто самостоятельных предложений не вносил, все вернулось на круги своя, без десяти виз ни один документ из отдела не выходил: каждая строка выверена, согласована с пунктами инструкций и постановлений, нпкто не придерется.

Однако старшим экономистом Уралов меня не утвердил; пригласив в кабинет после окончания рабочего дня, объяснил, что ряд сотрудников приходили к нему, сетуя, что тон моего критического выступления был слишком резким, это травмировало молодую женщину, мое повышение поэтому может сыграть против меня, в конце

концов, на вакансии старшего экономиста свет клином не сошелся, предвидится еще одна штатная единица, консультанта, очень престижно, оттуда прямой путь в заместители начальника, поймите меня правильно…

И действительно, через год начальник выбил эту штатную единицу: сто девяносто, прогрессивка, престижно, самостоятельный фронт работы.

Именно тогда Левин передал мне бумагу, пришедшую из отдела сводного планирования; речь шла о мерах по директивному расширению посевных площадей под кукурузу. Я знал отношение северян к «царице полей» — люди стоном стонали. Конечно, дурство это было — понуждать архангельского мужика возделывать то, что хорошо для Аризоны и Краснодара, но план есть план, сказано — выполняй, хоть каждому ясно, к чему эта барская прихоть может привести.

Как раз тогда были созданы совнархозы — в расчете на то, что уравновесят централизованную министерскую бюрократию, для которой ничего, кроме отчета, не существует: свалил итог, отрапортовал — и гуляй себе спокойно до следующего года! (Хотя ничего из этого не вышло, совнархозы создали свою бюрократию, вот и пошла стенка на стенку: местные власти — на министерства, те —

на местных, бьются все, бьются, а за что, с кем и во имя чего — понять совершенно невозможно!)

…Те, кто приезжал ко мне из совнархозов с Севера, впрямую-то ничего не говорили, но глазами молили: «Помоги!»

А — как?

Долго я крутил этот документ, отправил его на согласование и в Минсельхоз, и плановикам, и снабженцам — словом, по двенадцати адресам, собрал девяносто три (как сейчас помню!) визы и отправился с этим к шефу.

Тот пролистал папку, посмотрел на меня с удивлением, пожал плечами.

— Неужели по каждому пустяку вам нужно указание сверху? — спросил он меня несколько раздраженно. — Боитесь принять самостоятельное решение? У вас есть согласования, имеете свою точку зрения, так действуйте! А если не уверены в чем-то — так и скажите. Составьте записку, обоснуйте несогласие, я готов поработать вместе с вами…

Я тогда ощутил свою крохотность и расплющенность — не человек, а какой-то червь раздавленный! Откуда я знаю, как отнесутся к моему заключению наверху? Вдруг кому-то не приглянется?! Бумагу вернут, шеф решит, что я не готов к

работе консультанта, пропади ты все пропадом!

Папку я забрал, сказал Левину, что у моей сестры именины, пригласил на воскресенье, накрыл роскошный стол, пировали до двух часов, отвез его домой на такси и, прощаясь уже, попросил пробежать свежим взглядом мою записку.

В понедельник Левин забрал ее, пообещал за два дня «повертеть», а через три дня меня вызвал Уралов:

— Вот как надо делать серьезный материал, — сказал он, протягивая мне странички, исчерканные Левиным. — Учитесь у старых кадров, не зазорно.

Я долго сидел над документом и только диву давался, как ловко все повернул Левин: все вроде бы можно, но при этом ничего нельзя без согласований и утрясок. Это было высочайшее искусство совмещения категорического «да» со столь же однозначным «нет». И стало мне тогда совершенно ясно, что место консультанта отдадут Левину, и я не ошибся.

В шестьдесят пятом году, когда начался щекинский эксперимент, я и припомнил на собрании нашему начальнику и Левину то, что они вытворили с моим документом, который хоть как-то тщился сохранить минимальную самостоя-

тельность совхозов в планировании посевных площадей, — им-то видней, что у них пойдет, а что погибнет!

Поскольку новая метла по-новому метет, Уралова переместили на пост заместителя начальника главка — вроде бы повышение, а на самом деле крах, потому что участок ему дали боевой, строительство шоссейных дорог местного значения, а это дело тухлое, без реального интереса совхозов и торговли с места не сдвинуть, о шабашниках и думать нечего — уголовники, значит, года через три-четыре погонят взашей: Левин сам ушел на пенсию, потому что более высокооплачиваемой штатной единицы у нас не предвиделось; пришел новый начальник, Лебедев, молодой инженер, мужик крутой и смелый. Он сразу же посадил меня на консультантскую должность, поручил разработать проекты о повышении роли руководителя и о праве местных властей на корректировку спускаемых планов. В общем, надо было изложить то, что, честно говоря, очевидно каждому здравомыслящему человеку. Когда мой первый начальник Веденин повторял, как «Отче наш», что лишь «максимальными вложениями мы дадим толчок интенсификации сельского хозяйства», бедной Леночке и мне было совер-

шенно ясно: сколько ни вкладывай, сколько ни отправляй в совхозы удобрений, техники, стройматериалов, ничего не изменится, мертвому припарки! Пока у человека нет свободы, пока он должен просыпаться и засыпать по команде, пока его труд не дает ему реальных благ — делу не поможешь! Удобрения будут гнить, техника ржаветь, стройматериалы уходить налево. Говорить об этом в открытую было равнозначно тому, чтобы плевать против ветра, сам же и осрамишься, обидно. Я к этому пришел сам, никто мне этого не вдалбливал, голос логики; американские фермеры начальников не имеют, живут своей головой, оттого мы у них хлеб и покупаем, а не они у нас. А введи они над фермером министерства, плановые комиссии, Госснабы — все бы полетело вверх тормашками, это как Чайковскому или там Пушкину давать указание, что сочинять, — бред, бессмыслица! Но ведь не зря написано: «Мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь!..» А нашему Веденину не «втемяшилось», ему страхом «втемяшили», его «кулаком» пугали, «мироедом» и «анархистом», он с этим двадцать лет прожил, как свое мнение на старости лет менять?! Конечно, стыдно! Самого себя — в первую очередь.

…Лебедев мои проекты одобрил, заметив: «Если не будешь против — я ветерка подбавлю, ты чуть осторожничаешь, а в общем — молодец».

В отличие от прежних боссов он умел писать сам, причем получалось у него лихо, я впервые ощутил радость настоящей работы — не плесневел, а был причастен к идее!

Он отправил бумагу за своей подписью наверх, я в нем с радостью растворился, потому что ощутил наконец жизнь, а не прозябание, особое, угадывающее прозябание, когда ты вроде бы существуешь, а на самом деле — нет тебя и в помине…

Ответ пришел через полгода, когда мы вконец истомились ожиданием. В общем-то ответ был благожелательным, но тем не менее Лебедева попросили скоординировать все детали наших предложений с министерствами и ведомствами, включенными в орбиту наших проектов.

Лебедев показал мне резолюцию, походил по кабинету (мы за это время переехали в новое здание, помещение прекрасное, тихо, мягкая мебель, очень комфортно) и яростно постучал себя кулаками по голове:

— Ну откуда, откуда в нас эта страсть к согласованию?!

Я ответил:

— Никакая это не страсть. В каждом из нас сидит страх. Если у проклятых буржуев какой чиновник не согласен с шефом, он выходит в отставку и ему пенсию кладут — зне зависимости от возраста, а за голову! Открывает он там какую адвокатскую контору или бюро услуг и начинает вкалывать на себя, выполняя заказы частных фирм, все в выгоде! А куда мы с вами денемся, если турнут коленом под зад?! Я сижу в отделе тринадцать лет, а потолок зарплаты — даже если сделаете заместителем — двести двадцать. И все! Жди пенсии! Не наследи! Не ошибись! Турнут! Нишкни! Тихо! Цыц!

Лебедев вздохнул:

— Это надо понимать, что ты испугался? Думаешь, не прошибем?

— А вы?

— А я думаю, что надо попробовать! Надо, понимаешь?! Если хоть один шанс есть — за него и следует биться!

И начали мы биться за этот шанс. В течение десяти месяцев я обошел все ведомства. Обошел, заметьте себе, а не обзвонил! Поскольку люди аппарата получают не процент с прибыли, а то, что им спланировали. и по безликому штатному

расписанию, которое дело имеет с единицами, а не талантами, звонком не отделаешься: надо лично, глядя в глаза, убеждать, теребить, расстилаться, сулить помощь, грозить, делать подарки, играть падучую: Несчастливцев, да и только!

Кое-как, — с оговорками, правда, — но мы добились прав для директоров оставлять себе часть денег на соцбыт и дорожное строительство, замахнулись и на то, чтобы не повышать каждый год объем поставок по достигнутым рекордам, обговорили, что количество премий зависит не от районной разнарядки или мнения местных властей… И вдруг — ба-бах! — спускают нам инструкцию, что больше двух месячных окладов не давать, сколько бы планов предприятие ни выполнило! Снова потолок! А в чем прелесть старых квартир, отчего в них вольготно дышится? Да оттого, что потолок не давит, воздух чувствуешь…

Лебедев крутит телефон, спрашивает начальство: «Ну почему? В чем резон, объясните?!» А ему: «Настоящим руководителем должна двигать не корысть, а высокая сознательность!» И — точка.

Сначала-то Лебедев воевал, доказывал, ярился, ну и довоевался: инфаркт хватил. Вернулся из клиники через три месяца, тихим вернулся, все о лекарственных травах говорил, как, мол,

пустырник восстанавливает работу сердечной мышцы. Я было сунулся к нему с проектами, а он только рукой махнул: «Сидишь в дерьме — и не чирикай, я вот дочирикался».

Но — странно! Когда в державе настала мертвая тишина, во мне произошло какое-то озарение, честное слово! Я перестал быть расплющенным червяком. Наоборот, как-то рельефно увидел всю страну, четко увидел, поняв, что нас губит. До ужаса явственно я ощутил, что мы гибнем: весело, беззаботно, да и не очень-то голодно, собственно говоря! Понял я тогда, что покудова не будет разорван порочный круг абсолютнейшей незаинтересованности всех членов общества в том, что происходит, — разве что за исключением артистов да писателей, те славу добывают, жизнь за нее кладут, — мы обречены на постепенное, но безостановочное погружение в болото. Поскольку в нашей истории было только два вида чиновников — либо думные дьяки, либо приказные, — постепенно выработался стереотип государевых людей: или размышляют без толку, или приказы шлют, один дурнее другого, оттого что никогда не было у нас в державе уважения к интересу отдельной личности. Немцы, что нами правили чуть не триста лет, принесли

в Россию жажду порядка, а мы из самого понятия «порядок» уцепились за дебет-кредит, а деньги платить — не моги, пусть у соседа Ивана сдохнет корова, себе не возьму, но и тебе не дам! Сколько я, помню, бился, чтобы заложить — между строк, понятно, — указание местным Советам, чтобы не запрещали косить траву по обочинам дорог тем крестьянам, кто еще не разучился козу за вымя дергать, — так ведь нет, пусть погибнет трава эта самая, а — не дам мужику! Ну ладно, верно пишет большой русский литератор, что, мол, в тридцатых годах в Советах правил чужекровный элемент, понятно, что они запрещали, но ведь с сороковых-то — все свои! Так отчего ж не дают?! А сколько парников подавили тракторами — мол, на совхозной земле воздвигнуты! Сколько садовых домиков посносили?! Кто давал приказы? Чужие? Свои, родимые! Так кого ж теперь-то винить?! Кого?!

С отчаяния написал докладную записку наверх. Через месяц вызвали: «Сползаете к кулацкой идеологии».

И Лебедев в одночасье помер. Некого было на его место ставить, мое это было место, по правде мое, так ведь не утвердили, погрозив еще при этом пальцем: «Будешь впредь вольнодумство-

вать — отправим на периферию, а то и вовсе уволим по сокращению штатов!» Ну, с тех пор я со страху и запел аллилуйю, всё «ура» да «ура», жить-то надо!

И как же я возликовал весной восемьдесят пятого! Старый уже, полста пять, а ощутил себя мальчишкой! Достал свои прежние прожекты, переписал заново, ушел с головою в Ленина — раньше-то экзамены по «избранному» сдавал, — и такое мне там открылось, что ощутил второе дыхание.

Поскольку вскорости речь зашла о выборности руководителей, — а у нас до сих пор не было начальника отдела, — я перемолвился парой слов с Ниной Павловной, нашим экономистом: «А почему мне не рискнуть выдвинуть себя?» Спросил смехом, но, однако, Нина Павловна отнеслась к предложению с энтузиазмом: «Вам и карты в руки, вы же во время щекинского эксперимента предложили так много нового и смелого! Выдвигайтесь, лично я поддержу». Легко сказать — «выдвигайтесь»! Я ж не американец какой, у нас не принято пялить собственное «я», нескромно, вроде бы думаю только о том, как бы персоналку получить… Решил посоветоваться там и с теми, как всегда было заведено. Выслу-

шали меня доброжелательно: «Идея хороша, но ведь речь идет о выборности руководителей предприятий, товарищ дорогой! Что получится, если каждый отдел в министерстве станет выбирать себе начальника?! Как руководитель ведомства сможет работать с аппаратом, если не он его подбирал, а штат, грубо говоря, самообразовался?! Анархисты вызывают улыбку только в кинофильмах, на деле она, анархия, куда опаснее застойных явлений — полная неуправляемость». Я возразил: «Но ведь предполагаются конкурсы на замещение вакантных мест! Руководитель — наравне с коллективом — сохраняет право выбора! Пусть министры называют свои кандидатуры, а коллектив отдела — свои, это же демократично!» «Что ж, — ответили мне, — пробуйте! Но вам нужно разработать свою, грубо говоря, предвыборную программу — во-первых, представить ее коллективу — во-вторых, обсудить — в-третьих, а потом уж поэкспериментируем».

Я ночи не спал, разрабатывал свою «предвыборную платформу», обошел всех сотрудников отдела, собрал их мнения, горел, а не жил, крылья начал чувствовать, выстраивая экономическую схему, во главе угла которой все явственнее вырисовывалась действующая личность, а не

безликая масса чиновников. Бюрократия — ужасная штука, спору нет, но ведь если бюрократию разделить на бюрократов, рассматривая каждого в отдельности, то — поскобли ногтком — откроются прекраснейшей души люди, которые думают точно так же, как те журналисты, которые бюрократию эту самую хлещут.

Конечно, если затянуть привычную волынку, что, мол, надо поболее духовности, — дело погибнет, на этот раз окончательно. Мыслители прошлого века потому были духовными, что земли имели вдосталь, она их и кормила, оставляя время на творчество. Коли бюрократа, то есть государева чиновника, заинтересовать реальной выгодой от результатов его каждодневного труда, то и он перестанет быть бездушным бюрократом, завидующим чужому успеху. Какое ж это равенство, если я буду пахать на директора завода, тот станет премии лопатой грести, а мне — вымпел с рукопожатием?! Одернут: мол, прежде всего духовность и сознательность! А я в ответ: «Скажите об этом моей супруге, она и в очередях стоит, и дочке на зимнее пальто целый год откладывает! И семь лет отказывала себе во всем, собирала на столовый гарнитур!» Оттого в чиновном человеке много темного и злоотказного, что не дают ему

летать, он — пешка, раб бумаги, червь, от этого копится в нем злоба, зависть и темное желание запустить козу соседу: как-то он, голубь, начнет корячиться, если ему ноготь дверью защемить?!

Одним словом, платформа получилась неплохая, главный смысл прост как мычание: чем выше прибыль отрасли, тем ты, государственный посредник, больше получаешь. Допусти бюрократа-чиновника до мечты о том, что его труд будет вознаграждаться по результатам прибыли той отрасли, что он курирует, — назавтра волокита исчезнет! Каждый будет вкалывать, как конь, — на себя пашет, не на дядю! «Наше — это значит ничье» — мудрая присказка, не оспоришь!

Закончив написание платформы, я решил действовать. Предложил коллегам задержаться после шести, зачитал основные пункты, а Нина Павловна, союзница, возьми да и заяви первой: «Только надо Леночку Розанцеву на выборы пригласить, пусть она расскажет коллективу, кто ее — за инициативу и смелость — разжевал и выплюнул двадцать с лишним лет назад и жизнь ей искалечил».

Я и обмяк, заново ощутив свою безнадежную малость: за кем греха нет, каждый темное в себе носит, будем друг дружку за ноги в болото

тащить — скопом и захлебнемся… Махнул я на все рукой, кандидатуру свою снял, но Леночку решил разыскать. Нашел. А она рассмеялась: «Витя, зачем же вы раньше ко мне не пришли?! Я против вас зла не держу. На вашем месте я бы, видимо, поступила так же… Нине Павловне отказали в вашем месте, если бы вас избрали начальником, — вот она и рассердилась, неужели не ясно?»

…Нового начальника к нам вскорости прислали, как говорится, с больших высот, старик уже: почему на пенсию не отправили, ума не приложу?! С чем к нему ни придешь — похвалит, попросит переставить абзацы, очень чувствовал букву, терзал всех нас этими переделками по целым неделям. Иной раз отчаешься, подержишь у себя бумагу три дня, принесешь ее, нетронутую, а он довольно улыбается: «Разве сами не чувствуете, как сейчас заиграло! Вы уж не сердитесь на старика, обожаю тщательность…»

А еще он ввел новшество: сам в субботу работает и нас понуждает. Это он так министру свою страсть к работе выказывал. А я думал: «Если бы у американцев уик-энд отобрали, они б столько потеряли в производительности труда! Уставший человек — не работник, у него ум вялый и

мышцы слабые… Да и потом, как у них отберешь уик-энд?! Закон есть: попробуй переступи! А у нас — показуха! Раз сижу за столом в субботний день, — значит, стараюсь, хороший я… Отдыхаю как положено — лодырь».

…И постепенно родилось у меня ощущение, что все вокруг бегут, а я стою на месте, и только перед глазами спины мелькают с номерками — так по телевизору марафоны показывают… Поговорил с людьми из других отделов, а те: «У нас то же самое, не горюй! К нам тоже тех понасажали, что раньше на “чайках” летали… Теперь им “Волги” предоставили, мы ж добрые — за чужой-то счет…»

И такое, скажу честно, отчаянье во мне родилось, что ни в сказке сказать ни пером описать…

…А тут еще приезжает ко мне председатель колхоза из Краснодарского края — я там отдыхал в прошлом году. Первую неделю загорал, а потом соскучился, начал оглядываться окрест, как-ни-как моя стихия, просидел на финансировании сельского хозяйства больше четверти века, не дуб же я стоеросовый, хоть помочь делу не могу, но сердце-то болит… Мы тогда только-только разрешили хозяйствам реализовывать тридцать процентов продукции на рынке, с большими

боями проект проходил, радовались все, когда утвердили: уж теперь-то председатель станет истинным хозяином, пойдет сельское хозяйство в гору!

Вызвал он меня из той комнаты, где сижу, — нас там трое, не поговоришь, — устроились в коридорчике, ну, он и излил душу:

— Виктор, говорит, Сергеевич, что ж это такое творится?!

— А что? — спрашиваю. — Перестраиваемся, болезнь роста, ломка привычного…»

Даже с хорошим знакомым осторожничаем, боимся невесть чего… Хотя вру! Знаем, чего боимся, мы приучены бояться, с молоком матери страх всосали, традиция это у нас такая, ничего не попишешь…

— Какая «болезнь роста»?! — застонал председатель. — Какая ломка?! Я выполнил план, по всем показателям выполнил, а меня вызывают на бюро: «Отдай пятьдесят тысяч Савельеву, он в прорыве!» Я отвечаю: «Как же мне своим колхозникам в глаза смотреть?! Я ж их мобилизовал только тем, что про новый закон растолковал, закон-то в их пользу!» А мне: «Не выполнишь указания — не жить тебе в районе и с областью простишься! Москва далеко, мы здесь власть!

А заодно уплатишь двадцать тысяч на премии РАПО! Пожалуешься куда — положишь партбилет на стол!» А я: «Это еще за что?!» А мне: «За то самое! Тару доставал напрямую — в обход РАПО? Доставал. Вот тебе и статья, три года лес повалишь как миленький!» А я: «Так РАПО ж мне отказало в помощи!» А мне: «Изыскивай местные ресурсы!» А у меня степь, ни одного деревца нет, где ж тару достать? Фрукты погибали, на сотни тысяч был бы убыток, не договорись я напрямую с лесхозом. А это — запрещено! Ничего не имеешь права делать напрямую, все надо утвердить и согласовать, на каждый шаг — резолюцию, плевать на интересы потребителей, лишь бы форма была соблюдена! Словом, Виктор Сергеевич, если можешь — помоги, замолви слово, иначе гибель!

Как же у нас все привыкли, чтоб слово за них молвили! Сами — будто мыши какие! С другой стороны, тоже понять можно: район-то и поныне живет не реальным делом, а спущенным нами, мною сиречь, планом. С районного начальства — в свою очередь — областное семь шкур снимает, ему тоже Москва план спустила, попробуй не выполни! По логике вещей обкомам надо искать руководителей по всей стране, так ведь варягов боятся, он, варяг, не повязан тысячами нитей с

районом, не обжился, свободный человек, снялся да и ушел, если видит бардак и тьму непролазную… Чем умного варяга искать, лучше своих покорных давить до кровавого пота, пусть попробуют пикнуть!

— У нас третьего директора мясокомбината посадили, — продолжал между тем мой знакомец. — Третьего — в течение двух лет. И четвертого посадят, потому что люди на мясокомбинатах как получали по сотне в месяц, так и поныне получают, вот и воруют — иначе не проживешь. С колхозами не связаны, с торговлей тоже, бултыхаются посередь ведомств, ну и тащат, кто сколько может! Отдали б эти мясокомбинаты колхозам, совхозам или торговле — был бы толк, а так… На суде последнего директора спрашивают: «Ты почему скот не принимаешь у совхозов и колхозов?» — «А потому, что склады забиты!» — «Реализовывай то мясо, что хранишь, вот тебе и будут склады!» — «Не имею права. По закону я сначала должен забить государственный фонд!» — «Ну и забивай!» — «Там тоже все склады полны!» — «Реализовывай через торговлю!» — «Не имею права! За это вы мне еще одну статью навесите!» — «Почему загодя не расширял складские помещения?» — «Фондов не спустили,

рабочих нет, средства откуда взять?» Закатали бедолагу на два года, дали б больше, но ведь он молчал про то, как надо бы путем хозяйствовать, не сердил попусту районное начальство, поэтому те дали указание суду, мол, ограничиться исправительно-трудовыми работами… Эх-хе-хе, — заключил мой гость, — как жило районное руководство бумагой, так и поныне живет, сытый голодного не разумеет…

— Ну и какое же слово мне нужно замолвить?

— Пусть начальство разгонят, Виктор Сергеевич! Не стронемся мы иначе… Только рынок и торговля могут дисциплинировать хозяйственника, только выгода сделает из него настоящего руководителя, а из колхозников — творцов, а не горьких молчунов… А так…

Ну, я, конечно, ответил, что районное звено — наша главная опора, на что, мол, руку поднимаешь, откуда такой пессимизм, надо уверенней смотреть в будущее… А что ж еще прикажете говорить?! Не враг же я себе, право, не дитя, лишенное охранительного рефлекса… Да я, может, во сто крат лучше него понимаю трагедию, но ведь молчу! А тут еще началась эпопея с «нетрудовыми доходами»: подвез шофер бабку — плати штраф, хапуга! Но вскорости начались разговоры

об индивидуальном труде. Вышел наконец закон: теперь хоть сервис стронется с мертвяка.

А новый шеф нас собрал и заявил:

— Именно теперь, товарищи, в условиях закона об индивидуалах от нас зависит все: либо мы дадим разгуляться темной частнособственнической стихии, либо введем ее в подконтрольные государственные русла…

Ну что ж это такое?! Левая рука не ведает, что делает правая? Или над нами специально таких дубин ставят, которые прежде всего боятся, как бы народ не зажил по-человечески?! Одни контролеры, честное слово! Скоро вообще работяг не останется, только учетчики чужих заработков…

Словом, депрессия у меня началась, черная, безысходная депрессия… В пятьдесят четвертом реформу начали — в шестидесятом задушили… В шестьдесят четвертом начали — в шестьдесят восьмом задушили… Неужели и сейчас ждет нас повторение пройденного?! Зачем тогда заглушку с вражеских голосов сняли?! Зачем попусту нервировать людей?!

И вот однажды в субботу, гуляя по городу, увидел я вывеску: «Кооперативное кафе — 20 метров». И — стрелочка, куда идти. И стало мне вдруг интересно: там живые люди работают,

сами себе хозяева, живут без указки бестолочей, не знают, бедненькие, что наш шеф более всего озабочен, как бы их задушить и ввести в берега! Если что и вводит в берега, так жизнь, а не наши дурьи запреты! Будет частник драть несусветную цену — к нему и драная кошка не пойдет, родится конкуренция между обдиралой и умным — этот драть не станет, он свое добром получит, трудом и добром!

Да… Зашел я в кафе-квартирку. Три комнаты, малогабаритка вроде моей, в двух комнатах столики, музыка играет, муж с женой блинчики разносят, разварную гречку, котлеты, и такая во всей этой семейной идиллии открылась мне благость, что даже в носу засвербило. Сел я — у окна столик был свободный, о двух стульях, места, конечно, мало, — заказал блины и чаю, начал слушать, о чем говорят другие, и нашло на меня такое сладостное успокоение, что я даже испугался — не уснуть бы. Давно не было такого спокойствия в душе, честное слово! В столовку-то зайдешь, так ведь ужас, ей-ей: буфетчицы в грязных халатах, пузатые, руки неухоженные, черт-те какие косынки навернуты на бигуди, на клиентов им семь раз плевать — зарплату платят, — сыты да еще домой каждый вечер добро

волокут, а за ними ОБХСС гонится, чтобы свою долю получить, а здесь, в кооперативном-то, маникюрчик у хозяйки, юбочка в обтяжку, а хозяин в косовороточке, улыбка с лица не сходит, летают по комнаткам — с шуткой и добром в лицах, вот они, хозяева!

Да… Никогда в жизни я столько блинов не ел, как в тот день, а потом возьми да и полюбопытствуй: «Как, мол, у вас дела? Не трудно ли? Кто мешает? Чего нет? Что необходимо для развертывания дела?»

Хозяин поинтересовался, кто я по профессии. Я ответил, что бюрократ, кончил экономический, заочно посещал юрфак. Ну он мне и начал изливать свои беды: то запрещают, то согласовывают, то выносят на исполком, ужас! А где хорошую плиту получить в кредит — неизвестно! Никто совета не даст, как взять в аренду землю под свиноферму или, на худой конец, кур разводить, дед с бабкой рвутся в бой…

А я свое думаю: «Это надо пробивать в райплане, можно прижать: “саботируют, явное нарушение закона”, тут — общепит, нарушение инструкции семьсот семь, вопрос с печкой решаемый, можно взять списанную, в рассрочку, было разъяснение за номером две тысячи сто дробь семнадцать».

Завертелось у меня в голове живое дело, я увидел картину возможного, прекрасного, доложу я вам, возможного! — надо только отказаться от той дури, которую с тридцатого года вбивали в голову народа: «Раз хорошо живет — значит, кулак и мироед!» А ты сам поработай, как эти кулаки! Всем даны равные права, только лентяй их бежит и дрыном машет над головой — «растим буржуя!» — а истинных тружеников снова берут на мушку… Если и на этот раз перебьют — грядет гибель страны, конец русской нации, одни горлохваты и бездельники останутся на нашей многострадальной земле…

Назавтра я — неожиданно для самого себя — отправился в финотдел исполкома и поинтересовался, имею ли право открыть посредническое бюро.

— Это как? — спросили у меня.

Я объяснил, что могу помогать индивидуалам и кооперативам в развертывании производства, направленного на удовлетворение потребностей народа.

Мне ответили, что такого рода активности в законе не предусмотрено.

А у меня в голове уже сложилась вся схема деятельности — прямо как компьютер какой, точно

и выверено!

Тем не менее я поинтересовался, что надо сделать, чтобы получить патент. Ответили, что разговор бесперспективен, потому что закон не разрешает посреднической деятельности. Тогда я про частного таксиста: что ему надобно представить для получения патента? «Справку из больницы, справку с основного места работы, справку из милиции...» Справка, справка, справка... Ох и пахнуло же на меня болотной тиной — тьма, прель, омут...

Настроение жуткое, вернулся домой, разделся, лег на диван, включил ТВ, передавали «Что? Где? Когда?» Вл. Ворошилова — сражение знатоков в Болгарии. Смотрел, думая о своем, и вдруг как ударило: когда архангельский мужик-страстотерпец спросил про кооперативы, про то, отчего его и поныне мучают сонмы бюрократов, почему нет окончательного разъяснения к закону об индивидуалах и кооператорах — что им можно, что нельзя, — а ему в ответ цитату: «То, что не запрещено, — разрешено!»

Я вскочил с дивана — вскочил, а не поднялся, — суставы не скрипели, нога не болела, завертелся по комнате, а потом пошел в ванную и начал бриться. Никогда я так не скоблился, как в тот

вечер, честно, только разве когда двадцать семь лет назад шел на первое свидание к дражайшей ныне половине…

Потом я надел крахмальную сорочку, выходной синий костюм, повязал галстук и сел к столу. Я не сразу понял, отчего я сел к столу и почему так. вырядился — посреди ночи. Я понял это, когда рука потянулась к бумаге и я каллиграфически вывел текст: «Экономист и правовед дает консультации и оказывает посреднические услуги трудящимся, желающим организовать кооператив или же начать работу в сфере индивидуальной инициативы. Оплата услуг по договору. Обращаться по телефону…»

Написав это, я ощутил себя новым человеком. Я знал, что мне предстоит обращаться на службу за справкой о разрешении совместительства, отдавал себе отчет в том, что вряд ли я такую справку получу, но никогда в жизни я еще не чувствовал себя хозяином самого себя! А сейчас — ощутил! Я есть я! И — точка!

…Когда наутро я заново прочитал свое объявление и машинально подумал, что бумаге надо дать вылежаться, — все равно решение принято, днем раньше, днем позже, какая разница, — я с тоскливой отчетливостью признался себе, что

никогда не решусь просить справку для совместительства, никогда не брошу бессмысленную, постылую работу, никогда не пойду на риск… Жизнь прожита, я сломан и расплющен… Но, слава богу, появилась мечта, не так страшно доживать последние годы… Буду тешить себя постоянной надеждой, что начну свое дело, когда выйду на пенсию, — всё не так безнадежно существовать…

Дюкло

…Все чаще и чаще я ощущаю в себе натужно-звенящий звук острого топора. Его не существует — самого по себе: он рождается из яростного угара бело-синего металла по медовой обнаженности беззащитной сосны…

«И так неистовы на синем разбеги огненных стволов…»

Автор этих слов был сосною, и его методично, с хряпом, рубили те, которые ныне роняют слезы по нем, Пастернаке, по-прежнему восседая в привычных им президиумах, — с гусей вода…

Звук — первооснова бытия, он рождает предчувствие: до ломящей боли в сердце, явственно и близко, я вижу крепкие, ухватистые пальцы, упирающиеся в ствол, слышу сопение, вижу фрагменты ватников, обтягивающих плечи, натужно толкающие ствол смертельно раненной сосны, и — за мгновение перед тем, как наступит момент расщепления живых тканей, — слышу рождающийся стон дерева, а потом ужасаюсь медовой ране, месту летального перелома…

…Что есть горше памяти? Никогда не забуду, как на свадьбе сына В. Семичастного, бывшего

комсомольского вождя, а потом шефа КГБ, дочь его — милая, курносая девушка — пригласила отца на белый танец; звучала мелодия Лары из «Доктора Живаго»; Семичастный неумело вальсировал, а я вспоминал его слова про то, что Пастернак — хуже свиньи, та хоть не гадит под тем деревом, желуди с которого жрет…

Там же, на этой свадьбе в «Праге», Шелепин, закуривая одну сигарету от другой («Новость», очень дешевые, есть в каждом киоске, «но эти специально для меня выпускают»), добро улыбаясь, рассказал мне, как на девятнадцатом съезде ВКП (большевиков) в список членов ЦК не была внесена фамилия героя войны маршала Л. Говорова. (Во время обыска у нас в квартире бригада подполковника Кобцова забрала фотографии Говорова — отец был рядом; Подмосковье, декабрь сорок первого; сожгли в одночасье).

Пять дней Говоров не находил себе места (отец-то ведь его был отнюдь не пролетарием), потом написал письмо Вождю. Тот разослал всем делегатам, уехавшим из столицы, по бюллетеню: «По техническим причинам в список для голосования в члены ЦК не попала фамилия Говорова Л.А. Прошу проголосовать. Секретарь ЦК И. Сталин».

Гарантированная тайна голосования. Говоров

прошел единогласно.

— Все же решительность — первооснова политики, — задумчиво, размышляя о чем-то своем, затаенном, заключил Шелепин. — Когда запрещали спектакль «Большевики» в театре «Современник», я приехал к ним… хорошая вещь, понравилась. Единственная газета, которая поддержала театр, была наша, профсоюзная, «Труд»… Я принял решение, потому что был готов за него отвечать… Отвечу, если придется…

…Когда сейчас пошел вал о Сталине, когда наши правые ультра угрожают смертью тем, кто поднял голос против «великого Вождя, с именем которого прошла вся наша жизнь, а мы не макаки, мы бы тирану не поверили, не пальцем сделаны, Сталин и коммунизм неразделимы», я все чаще вспоминаю мои встречи с Жаком Дюкло и Луисом Корваланом, руководителями Французской и Чилийской компартий, — отчего же они встретили решение Двадцатого съезда как освобождающее облегчение от страшного груза безответных вопросов, разрывавших им сердце и мозг? Почему Долорес Ибаррури, когда я спросил ее в Мадриде об этой трагедии, горько повторила свою крылатую фразу времен войны против фашизма: «Лучше умереть стоя, чем жить

на коленях»? Отчего Пальмиро Тольятти, когда меня, молодого журналиста, отправили к нему за коротким интервью, сухо ответил: «От *лжи* умирают медленно. От правды гибнут — слабые и самовлюбленные. Или выздоравливают — сильные, те, кто жаждет знания, а лишь только знание есть первооснова прогресса».

...Я постоянно слышу в себе звонкие удары топора о тугой ствол сосны. Значит, надо записывать то, что живет в тебе, — пусть это будут наметки, они, возможно, помогут тем, кто идет следом... Впрочем, следом идут и штурмовики из власовской «Памяти», им это не нужно — это против них... Что ж, значит, тем более надобно записать то, с чем засыпаешь и просыпаешься...

...Хаммер и начальник личного штаба Гимлера СС обергруппенфюрер Карл Вольф, великий танцор Серж Лифарь и любимец фюрера — министр военной экономики третьего рейха Альберт Шпеер, сын Шаляпина — Федор Федорович и помощник Аллена Даллеса мистер Пол Блюм, художник Марк Шагал и Эдвард Кеннеди, замечательная актриса Симона Синьоре и лидер Баварии Франц Йозеф Штраус, Дэвид Рокфеллер и министр Франко сеньор Фрага Ирибарне, барон Фон Фальц-Фейн и профессор Клаус Менарт,

команданте революционной Никарагуа Томас Борхе и Омар Кабесас, Пабло Неруда и Луис Мигель Домингин — великий тореадор века, друг Хемингуэя и Пабло Пикассо, Каганович и маршал Конев, Галина Уланова и Самуил Маршак, Отто Скорцени и Молотов…

Сколько же людей живет во мне. Сколько слов, которые хранят в себе жизни. А звук топора все конкретнее, звонче, отчаянней, ближе…

«Все мое ношу с собой»? Значит, я волен унести это свое?

…Завидуйте умению терять.

Терять и отдавать — в определенной мере — синонимы.

…Что же меня потрясло в Жаке Дюкло?

Это было в самом начале семидесятых, я летел в Чили, в страну Народного фронта. Дюкло тогда был вторым человеком во Французской компартии, мы встретились в подземном гараже ЦК, где его шофер парковал машину: он вернулся с обеда, от него пахло терпким крестьянским вином и чесноком, лицо было красным, глаза — словно маслины, череп крутой, вмещающий.

Но потряс меня его рост — совсем маленький человечек, невероятно стремительный, катышек

какой-то, право.

Он начал говорить на ходу; не шел — несся колобком; жестикуляция — типическая, только французы так жестикулируют, будь то де Голль, Ив Монтан или Кокто; поразительны руки; движение плеч, губы, подбородок — все подчинено слову; абсолютная раскованность, никаких комплексов; человек утверждает то, во что верит; дипломатия, даже если она и сокрыта во фразах, дозирована заранее, никаких видимых прикидок — сплошной поток сознания…

— Франция есть Франция, — похохатывая, рубил Дюкло. — Наш великий предшественник Анри Рошфор более ста лет тому назад легко пробросил, — всё великое подобно гениальной архитектуре, абсолютная легкость, никакого менторства: «Во Франции тридцать шесть миллионов душ плюс постоянный душок недовольства». Сейчас поводов для недовольства прибавилось, а люди остались прежними, всему ищут привычное оправдание: «Ничего не попишешь, такова жизнь»… Мы противники такого рода фатальной покорности: в любой социальной беде повинны реальные силы, будь то диктатор, партии, банки, покорная пассивность или чрезмерная крикливость ультрарадикальных групп…

Мы поднялись в его кабинет: из окон был виден Монмартр, освещенный типичным для осеннего Парижа осторожным, сиреневым, в чем-то очень женственным, нежным солнечным светом; хорошо виден громадный храм Сакре-Кёр, воздвигнутый в честь тех, кто разгромил Коммуну; рядом — площадь Сталинграда.

На столе Дюкло — последний выпуск «Юманите»; во всю полосу — реклама новому изданию солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича».

Я спросил:

— Нет ли противоречия в том, как мирно соседствует имя Сталина и солженицынская трагедия тех, кого именно Сталин бросил в концлагеря?

— История не выбирает себе удобных имен, которые порождают гармонию. Сталинград для нас — не Сталин. Это подвиг Красной армии, это мужество великого народа, положившего на алтарь человечества двадцать миллионов жизней, чтобы спасти мир от кошмара национал-социализма. У вас книги Солженицына не в почете, это ваше право, но мы, французские коммунисты, считаем правду лучшим лекарством. Маркс и Ленин правды не боялись…

Черчилль справедливо утверждал: «Нельзя

перепрыгнуть пропасть в два приема». Гарантия обновления социализма — в его решительной борьбе против возможных рецидивов террора. Вне и без правды гарантии будут очередной утопией. «Никто не даст нам избавленья: ни царь, ни бог и ни герой»… Но ведь богов создают люди, разве нет? В вашем новом гимне было записано: «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил»… Не было ли затаенного вызова Интернационалу в утверждении этого гимна, столь легко утвержденного в трагические годы войны?

(Глядя на Дюкло, я вспомнил моего товарища, седоголового доброго писателя-фронтовика; тот рассказал историю об очень хорошем человеке, имя которого широко известно в стране, поэтому я и не называю его. Во время визита Мао Цзэдуна в Москву Сталин — неожиданно для всех — дал указание устроить прощальный прием в «Метрополе». Охрана не могла понять: отчего именно в «Метрополе»? Им было невдомек, что Сталин часто бывал здесь, тогда еще и не «Метрополе», а «доме Советов», где в маленьких номерах жили Бухарин, Рыков, Енукидзе — после перенесения столицы в Москву в восемнадцатом. Тот человек, которого я не называю, был в опале, о будущем

думал, как и все в ту пору, с затаенным страхом, стыдясь, конечно же, признаваться себе в этом, а точнее, страшась: люди тогда жили не с раздвоением, а с **растроением** личности, супершизофрения, носившая массовый характер; освобождение, внутреннее раскрепощение наступало только после ареста; в лагере наступал кайф, главное — приладиться, сообщество единомышленников; колючая проволока разъединяла свободных зэков от несвободных свободных; парадокс, какого в истории не было еще.

...Человека того — совершенно неожиданно — пригласили на прием. Вернулся он из «Метрополя» в состоянии невероятного возбуждения, коротко бросил жене: «Накрывай стол!» — и тут же бросился к телефону, обзванивать самых верных друзей; первым пригласил легендарного начальника тыла Красной армии времен войны Хрулева Андрея Владимировича: после того как жену его, «еврейскую буржуазную националистку», арестовали, числился в резерве, от дел был устранен; затем набрал телефоны двух бывших министров: «Срочно приезжайте, событие огромного значения!»

Когда все собрались за праздничным столом, человек тот — прошедший Гражданскую вой-

ну, герой первых пятилеток, самородок, норова крутого, но справедливого — поднялся и, подняв фужер, тихо, проникновенно, не стесняясь слез, сказал:

— Друзья, прошу выпить за великую душу нашего дорогого Иосифа Виссарионовича… За его доброе сердце, за поразительную память его и человеческую щедрость… Во время приема в честь товарища Мао я стоял в отдалении, чувствовал себя одиноким, никому не нужным, в чем-то даже случайным в этом собрании славнейших сынов нашей великой Родины… Поэтому, постояв маленько, я потихоньку двинулся к выходу, воистину в чужом пиру похмелье. И вдруг меня догоняет один из охраны: «Вас зовет товарищ Иосиф Виссарионович Сталин»… И меня пропустили к вождю… Он посмотрел на меня, потом по-отечески потрепал по щеке, добро улыбнулся и проникновенно, с тихой лаской в голосе, сказал: «Ну что? Жив еще, старый мудак?» За товарища Сталина, друзья! За нашего великого товарища Сталина! За то, чтобы он всегда вел нас от победы к победе! Видели б вы, как ко мне бросились все те, кто за минуту до этого не замечал меня! Как они обнимали меня, чокались, в глаза заглядывали… Эх (человек тот утер слезы), как же мало нам

надо! Одно ласковое слово — и жизнь переменилась, начался новый отсчет…

…Я вспомнил об этом, глядя на Дюкло, потому что горестно ощутил всю несовместимость того, что было у нас, с абсолютнейшей невозможностью чего-либо подобного здесь, и дело вовсе не в том, что мы — скифы, а они — европейцы, в ином здесь дело, совсем в ином…

…И в который раз я тогда подумал: отчего же Сталин, защищавший летом семнадцатого Каменева от обвинений в том, что тот был «агентом охранки» (сфабриковали люди Керенского), не разыграл эту карту в тридцать шестом, на процессе? Почему он заставил большевиков (особенно евреев) признаться в том, что они агенты гестапо (такое исключалось самой практикой государственного антисемитизма Третьего рейха), но не побудил их взять на себя и провокаторство, службу на царскую полицию? Почему?

Мне-то понятно почему, но не хватает еще двух-трех документов, чтобы подвести черту под этим вопросом, который все равно безответным не останется.)

Дюкло отошел к письменному шкафу, достал несколько папок, колобково подкатил к столу,

несколько раздраженно отказавшись от предложенной помощи, развязал пожелтевшие тесемочки, показал крохотные номера «Юманите», издававшиеся в подполье: «Красная армия освободила Моздок, наступление развивается, настало время объединения! К оружию, граждане! На борьбу с врагами!»

— Я ведь все время войны провел здесь, — Дюкло ткнул пальцем в стол, — во Франции…

Господи, — подумал я, — такой крошечный, его же могли отловить по росту — примета, бросающаяся в глаза всем, не только фликам гестапо…

Словно поняв меня, он достал удостоверение, выданное ему 14 августа 1941 года, когда Красная армия сражалась под Ельней и, истекая кровью, пыталась удержать днепровские переправы:

«Лебек Франсуа, рожден пятого февраля 1894 года в Бресте, профессия — администратор»…

На удостоверении — фотография Дюкло: бородатый мужчина с висячими усами, только глаза не изменились, прищуристые, полны юмора и холодного, несколько отстраненного спокойствия; выбор сделан; переход в состояние небытия страшен тем, кто не обрел уверенности в себе, и не определил позицию, — в конечном счете все мы там будем, вопрос в том, кому суждено

бессмертие, то есть память, кому — беспамятное бесславье…

Дюкло показывает фотографию молодого человека:

— Это Артур Далидэ. Очень красив, верно? Когда его схватили гестаповцы, мне предложили срочно поменять явку, — Артур бывал у меня довольно часто. Я отказался подчиниться решению ЦК: Далидэ не знает слова «предать». Его пытали неделями, он перенес нечеловеческие страдания… Когда его тащили на казнь, он шептал слова нашей Марсельезы. Он не открыл адреса моей конспиративной квартиры… Он был настоящим коммунистом… Советские друзья, прошедшие сталинские застенки, говорили, что коммунисты хорошего закала были самыми мужественными узниками, это верно? Если вам трудно отвечать на этот вопрос — не мучайте себя, промолчите. Все равно рано или поздно откроется вся правда, будет великое очищение… Это говорю я, который произносил имя Сталина с восторгом — особенно в те дни, когда русские стояли насмерть против наци…

Дюкло поднялся, отошел к окну; его маленькая фигурка на фоне осеннего Парижа казалась непреклонно-воинственной.

— Какая красота, — сказал он, кивнув на вечный город, — как хочется жить и работать, а?!

Глаза-маслины лучились добротой; он знал, что жить ему осталось совсем немного; никто не догадывался об этом, тем более я.

Почему же для него, героя-антифашиста, прошедшего пять лет подполья, произносившего в сорок втором имя Сталина с восторгом, доклад Хрущева о сталинском ужасе был очищающим облегчением, а для многих у нас продолжает быть трагедией — особенно для тех, кто и поныне уповает на «твердую руку», добавляя при этом: «иначе с нашим народом нельзя»?

Впрочем, истинные коммунисты никогда не запрещали основополагающего жизненного принципа Маркса: «Подвергай все сомненью».

Сталин делал все, чтобы запретить любое сомнение, превратив идею революции в догму новой религии.

Увы, в чем в чем, а в этом он преуспеет.

…Когда я уходил, Жак Дюкло положил свою маленькую, коротенькую ручку на мое плечо:

— Что загрустили, товарищ? Жизнь — это надежда. Движение — компромисс. Логика сильнее фанатизма. Слепцы ходят по равнинам, горные пики им недоступны, не так ли?

Отчеты по командировкам

Люди штурмуют небо (Восточная Сибирь, 1958)
Я знаком с Бетховеном

Вернее, даже не с одним, а со многими. Они живут в тайге: в палатках, избах, двухэтажных домах. Они все молоды и сильны. Они любят Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, Василия Сурикова и Винсента Ван Гога, Михаила Шолохова и Эрнеста Хемингуэя, Николая Черкасова и Симону Синьоре.

Лица у моих знакомых Бетховенов вечно загорелые, потому что сибирское солнце ласково к тем, кто исповедует любовь к этому краю бело-вспененных рек, синей тайги и высокого, бесконечно светлого и чистого неба.

Руки у них крепки, мускулисты и мозолисты. «Это руки творцов — так они вдохновенны и выразительны», — говорил я моему соседу в самолете, шедшем из Абакана в Москву.

Руки, вдохновение и Бетховен

— Подождите, — весело удивился мой собесед-

ник, — но при чем здесь Бетховен? Мускульность рук и вдохновение? Помилуйте, это ж нелепица! Вдохновение — удел немногих. Это счастливый и грозный удел творцов, создающих прекрасное, то, чему поклоняется человечество.

— В вашем возражении, — сказал я, — только одно слово неверно.

— Одно слово — частность.

— В данном случае эта частность решает всё. Вы сказали, что вдохновение — удел немногих. В этом ваша главная ошибка. Сегодня у нас вдохновение — удел миллионов.

Несколько вопросов и одна иллюстрация к ним

Что заставляет Дмитрия Шостаковича просиживать у рояля долгие часы напролет в поисках мелодии? Кто заставляет Михаила Шолохова проводить у письменного стола многие дни — разительно короткие так же, как и нескончаемо длинные? Кто заставляет физика Ландау годами искать решения проблемы — одного, самого верного, самого истинного решения?

Лев Толстой говорил: «Если можете не писать — не пишите». Если бы Шостакович мог не

творить — он не творил бы! Творчество — это веление сердца и разума, это жажда, это вечное спринтерство мыслей и чувств.

Но когда я думаю о творчестве, вспоминается мне не только светлая лаборатория физика, не Вешенская станица — вся в распахнутом весеннем цветении, не строгая молчаливость клавиатуры рояля. Нет.

Вспоминается мне то, чему я был свидетелем три года тому назад. Это было в тайге, около поселка Балыксу, на железной дороге Абакан — Сталинск, построенной комсомолом.

Ребята прораба Виталия Зимина стояли около моста, сделанного ими за три дня вместо двадцати семи по плану. Они стояли по пояс в снегу вдоль железнодорожного полотна, проложенного через тайгу, через скалы и болота.

Ветра не было. В воздухе стыл леденящий, тугой мороз. Сухо перезванивали заиндевелые провода, и от этого казалось еще холоднее, чем было на самом деле.

Над тайгой лежала тишина, властная и хищная.

Ожидание было долгим, слишком долгим, но никто не говорил ни слова, все стояли молча, не глядя друг на друга. И вдруг где-то далеко-далеко

прокатился раскатистый гудок. Гудок паровоза.

А когда по рельсам, одетым голубым плюшем мороза, пронесся первый состав с абазинской рудой, люди стали бросать в воздух шапки, люди прыгали в снегу, люди обнимали друг друга и кричали хриплыми, сорванными голосами слова радости и победы.

А потом, не сговариваясь, запели:

Это есть наш последний
И решительный бой!

Комсомолята имели право петь эту песню отцов, потому что они сделали невозможное, потому что они пробили наикратчайший путь от абазинской железной руды к кузнецкому углю, а соединение угля и руды — это есть сталь.

А сталь — основа основ могущества и благосостояния Родины.

Смотрел я на то, как ликовали эти молодые ребята — обветренные, кряжистые, сильные, смотрел я на их подруг — хрупких, маленьких девчат, сжимавших свои фасонистые ушанки в пальцах, покрасневших на морозе, смотрел я на них и думал: «Что же привело их сюда? Кто заставил их прийти сюда?»

Но чем дольше я смотрел на их ликование, тем

яснее становилось, что никто и ничто не могло их заставить. Они пришли сюда сами, потому что они — творцы, вдохновенные и дерзкие.

Что такое вдохновение?

Вопрос поставлен в лоб. Отвечать на него надо так же — а ни один толковый словарь не дает исчерпывающего объяснения. Может быть, происходит это из-за того, что составлял справку о вдохновении человек, никогда не сочинявший симфонии, не писавший рассказа, не строивший дорогу в тайге.

Не знаю, из-за чего это происходит, но объяснения вдохновению я нигде не нашел. И право же, если составители будущих словарей и энциклопедий поставят в объяснение вдохновению две фамилии, одна из которых будет фамилия композитора Бетховена, а вторая — тракториста Зайкова, строителя Южсиба, — право же, это будет самое лучшее и самое истинное объяснение тому состоянию человеческого духа, которое еще со стародавних времен называют вдохновением.

Я не голословен

В подтверждение буду рассказывать только то, что было. О трактористе Зайкове и о тех ребятах, с которыми меня сводила жизнь в Балыксу и Казынете, Бискамже и Курагине, Кордове и Каспе, Березовске и Кошурникове — словом, по всей трассе Южсиба, там, где люди штурмуют небо.

Это утверждение мое не есть тяга к пустой красивости.

Высшие точки Восточных Саян, по которым пройдут рельсы, скрыты облаками, здесь свой небесный микроклимат — в августе двадцать три дождливых дня, а в феврале двадцать пять вьюжных, и морозы здесь «небесные»: они доходят до пятидесяти четырех градусов ниже нуля.

И скалы здесь неприступны, а тоннели все же должны быть пробиты сквозь их твердь. И реки здесь своенравны и несказанно быстры, а мосты через них должны быть переброшены.

И троп в горы не было и нет, а придется завезти пятидесятитонные экскаваторы и путеукладчики.

Но не эти трудности и не преодоление этих трудностей позволило мне назвать тех, кто

строит Южсиб, людьми, штурмующими небо. Вспоминаются слова Маркса о героях Парижской коммуны. Маркс назвал коммунаров людьми, которые были готовы штурмовать небо.

Всякий штурм немыслим без подготовки. Штурм Саян начался давно, он начался почти семьдесят лет тому назад, в пору весенней, неистовой распутицы…

Ссыльный в мечту

Он был молод. Он сидел на подводе, спрятав руки в карманы легкого пальто, и что-то негромко пел. Два жандарма, сидевшие рядом с возницей, курили, исподволь посматривая на ссыльного.

Возница кряхтел и, сжимая в кулаке поводья, чертыхался: грязь была жирная, по-весеннему непролазная, колеса то скользили по косогору, то проваливались в ямы, а то и вовсе скрывались в стылой, тяжелой воде.

— У, хворая! — кричал возница и размахивал над головой вожжами, когда лошадь, с трудом выбравшись из грязи, останавливалась.

— Чего орешь? — лениво спрашивал жандарм. — Видишь, устала животина. Ей тоже спокой нужен.

— Всем спокой нужен, — подтвердил второй жандарм и, затушив цигарку о подошву сапога, бросил ее на землю.

— В лужу бросил бы, — сказал возница, — в земле у нас клады зарыты, а ты как на обыкновенную кидаешься.

— Один лях…

— А не один! — быстро возразил возница. — Говорю ж, у нас клады зарыты в земле, клады!

— Давай, давай, клад, — усмехнулся жандарм, — вези знай.

Ссыльный вдруг рассмеялся. Смех у него был звонкий, заливистый и беззаботный.

Услыхав смех этот, жандармы вздрогнули, а возница снова замахал поводьями, зажатыми в кулак.

Ехали дальше молча. В высоком небе, чуть потемневшем к вечеру, родился тоненький язычок месяца.

Зыбкий, он то появлялся, то совсем исчезал, будто растворялся в сине-золотистом воздухе.

— Я почему говорю, что клад у нас в земле, — обернувшись к ссыльному, негромко сказал возница. — У нас тут богатств не перечесть. Один ссыльный говорил еще родителю моему об этом. Только Россия — она держава такая, что в ней

кладами заниматься некому. Мне вот кобыла хлеб дает, до кладов дел никаких нету у меня. Им, — он кивнул на жандармов, — тоже делов нет, их ружья кормят.

— Винтовки, — поправил жандарм.

— Винтовки, — повторил возница. Помолчав, он добавил: — *Я* так полагаю, что не бывать в России богатству, потому как у нас к им дорог нету. А без дорог куда путь?

— Ты это, — сказал первый жандарм, — давай знай, дорога…

— Я даю, — ответил возница, — только ты моему слову не перечь: нет в России дорог к богатству и не будет. Кто их в нашу глухоманию сибирскую потащит? Из-под плети разве? А дорогу из-под плети не построишь: работа, она зуд в руках любит.

Ссыльный откашлялся и сказал:

— Будут дороги, отец.

— Больно ты прыткий, — рассердился возница, — и молодой. А потому и несешь напраслину. Много я вашего брата повозил — те хоть молчали, а ты вон песни поешь да сказки мне сказываешь.

Ссыльный повторил:

— Дороги будут, отец. И богатство в России будет. И счастье…

Возница досадливо поморщился и снова принялся размахивать над головой вожжами. Вскоре вдали показалось большое село.

— Шушенское, — сказал жандарм.

Ссыльный — Владимир Ульянов — спрятал руки в карманы пальто и негромко запел песню.

Его продолжатели

Свершилась революция, отгрохотали бои Гражданской войны, пронесли красные солдаты серпастое и молоткастое ленинское знамя до Тихого океана, сухо прощелкали кулацкие пули, загремели песни комсомольцев, ворвавшихся в приамурскую тайгу, прошли первые испытания отечественные автомобили Горьковского автозавода, выдали на-гора первую плавку металлурги Магнитки, сквозь сухой зной пустыни прошли стальные рельсы Турксиба.

Сомкнутыми рядами люди Страны Советов шли штурмом на будущее, люди сражались за счастье. Рожденное в муках особенно дорого человеческому сердцу.

Июнь сорок первого года. Этот месяц сделал мягких — суровыми, ищущих — нашедшими, молодых — повзрослевшими.

В военкомат приходили мальчишки с пионерскими галстуками на груди. Люди просили оружия, Родина была в опасности, жизнь была в опасности, человечество было в опасности. Одни получали винтовки, другие — лопаты трудфронта, третьи — станок, четвертые — циркуль и рейсфедер, а пятым говорили: «Вот тебе солдатский паек, вот тебе, товарищ, одна худая плащ-палатка — иди в тайгу, найди наикратчайший путь от угля Кузнецка и руды Абазы к заводам Сибири и Дальнего Востока. Там куется победа».

Коммунист Александр Кошурников, комсомольцы Леша Журавлев и Костя Стофато в начале октября тревожного 42-го года, в дни, когда судьбы мира решались на истерзанном клочке Сталинградской земли, пришли в таежное тофаларское селение Верхняя Гутара.

Сумерки приходили рано, словно подгоняя и без того короткий день. Ночи стояли безлунные, теплые, не по-октябрьски душные.

Трое жгли коптилки, заново изучая потрепанные географические карты.

Предстоящий Кошурникову и его помощникам поход был отчаянно рискован, а снаряжение — крайне бедно.

Сухари, перловка, одно ружье на троих да острога, чтобы бить хариусов и тайменей в стремительном Казыре. Ни консервов, ни радиостанции, ни медикаментов у изыскателей не было. Да и вообще экспедиция в неизведанную тайгу осенью, накануне лютой сибирской зимы, — происшествие чрезвычайное. Что же заставило людей пойти на такой риск?

Окончание строительства Южносибирской магистрали, соединение Южсиба с Транссибирской магистралью были завтрашним днем страны. И трое мужественных и скромных людей ушли в тайгу, чтобы провести трассу будущей дороги, чтобы исчезло с географических карт еще одно белое пятно.

Люди пробирались сквозь чащи, брели по ледяной, стеклянной воде Казыра. А вокруг лежала тайга, безмолвная, словно сама вечность. Сначала экспедиция двигалась на оленях, потом мох кончился. Тогда Кошурников отправил проводника-тофалара вместе с оленями обратно в Верхнюю Бутару.

Шли по бурелому, прокладывая путь топором и пилой. Потом срубили плот и поплыли по Казыру. Таежная река порожиста. Белая вода бьется на порогах, превращаясь в голубую радужную пыль.

Не раз приходилось бросать плот, спускаться по берегу вниз и там рубить новый плот. За три с лишним недели изыскатели прошли сто восемьдесят километров по дебрям. До жилья оставалось всего пятьдесят два километра…

…Передо мной странички из дневника инженера Кошурникова. Дневник был найден рыбаком на дне реки.

Дневник был написан геологическим карандашом, и вода не смогла уничтожить слова мужества…

«13 октября, вторник…

Ниже Завалихи через всю реку залом, и лишь с левого берега мелкий косой перекат. Пришлось через этот перекат стяжками, по колено в воде, перегонять плот. Конечно, вымокли, но зато прошли без аварий…

Вся река с шумом на повороте идет под залом, и вряд ли кому-либо удалось бы… выцарапаться благополучно. На всем протяжении берег более удобен для ж.-д. трассы, так что линия камерального трассирования по правому берегу намечена неверно. Жалею, что не захватил пару пикетажных книжек.

У нас на плоту один человек свободный и мог бы составить прекрасную глазомерную лоц-

манскую карту… Вчера провели плохую ночь. С вечера до утра шел снег, и нас изрядно вымочило. Виноват, конечно, я.

Нужно было сделать балаган, а не полагаться на милость Божью. При всем моем опыте просто поленился, а в результате промокли.

18 октября, воскресенье…

Видели на берегу медведя. Костя стрелял в него, но промазал. Медведь очень большой, черный, вероятно, не менее 15–18 пудов. Обидно, что такой лакомый кусок ушел от нас.

20 октября, вторник… Ночь… Порог “Щеки”… Рельеф и ситуация в этом месте изображены неверно. Для трассирования линий место не представляет никакого труда.

Ход по террасе по своей сложности ничем не будет отличаться от других участков трассы, а я при камеральном трассировании представлял себе это место исключительно сложным и вынужден был уйти с левого берега на правый. В натуре этого не требуется…

23 октября, пятница…

Весь день делали плот. Леса под руками нет, приходится рубить далеко от берега и на себе таскать бревна, а кедровые бревна очень тяжелые…

29 октября, четверг…

Сухарных крошек осталось на один день… Табак кончился… Стофато… идет очень плохо, сильно устает, все время падает…

31 октября, суббота…

Дело плохо, очень плохо, даже скверно, можно сказать. Продовольствие кончилось… Идти нельзя. По бурелому, по колоднику… и при наличии снега глубиной 70–80 см, да вдобавок еще мокрого, идти — безумие. Единственный выход — плыть по реке… пока она еще не замерзла совсем.

1 ноября, воскресенье…

Я с трудом надел сапоги и решил их больше не снимать, так как еще раз мне их уже не надеть. Все погорели… Нет ни одной несожженной одежды. И все рваные. Все мокрые до нитки…

Безыбай — большая река, впадает в Казыр справа, в одном уровне. Воды несет много.

3 ноября, вторник…

Пишу, вероятно, последний раз. Замерзаю. Вчера… погибли Костя и Леша. Плот задернуло под лед, и Костя сразу ушел вместе с плотом. А Леша выскочил на лед… но на берег его я вытащить не смог… Я иду пешком Очень тяжело. Голодный, мокрый, без огня и без пищи. Вероятно, сегодня

замерзну...»

...Знаменосец, подкошенный пулей, в минуты предсмертной тоски думает о том, кто подхватит знамя — символ того, чему отдал жизнь.

Погибая, Кошурников думал о тех, кто должен прийти сюда, в тайгу. Он не мог не думать о продолжателях. Иначе весь подвиг его был бы бессмысленным.

Продолжатели

Кто же они, построившие первое звено Южсиба, соединившие Сталинск с Абаканом? Кто они, эти люди?

Листаю свои записи и дневники поездок. Перечитывая наброски, сделанные с ходу, сразу же после того, что увидел сам или услыхал, — скупо, телеграфно, из первых уст, просматриваю и то, что написал уже позже, вернувшись в Москву.

Я расскажу о тех, кто пришел сюда, не только языком репортажа, но и языком киносценария и рассказа.

Как они шли?

Стена леса. Стучат топоры, визжат пилы. С треском и кряхтением падает огромная пихта. Пихта упала, и, как бы падая следом за ней, на поляну выходит прораб Зимин. За ним — остальные ребята. Гитара у Лехи, словно ружье, висит за спиной. Фасонистый чемодан поистрепался.

Босьян похудел, щеки у него ввалились. Все рабочие обросли, обветрились, забурели на шальном ветру, под снегом и дождем.

— Привал! — оборачиваясь, кричит Зимин.

— Котелок ставить? — спрашивает Жора.

— Ставь. Босьян, займись едой!

Серго Босьян старательно открывает банки со сгущенным молоком. Слизывает густые капли с банок. Это замечает Леха.

Он берет у Серго банку и говорит:

— Ну ты, предприниматель. Поделись с ближним.

И начинает слизывать капли молока сам.

Жора никак не может укрепить в снегу треногу. Она заваливается то вправо, то влево. Жора сердится, норовит взять силой.

— Погоди, — останавливает его Зимин.

Он вытаптывает в снегу яму, складывает дрова, срубленные Силиным, уже потом ставит треногу и подцепляет к ней котелок со снегом. Зажигает спичку, осторожно подносит ее к хворосту, и костер загорается.

— Понял? — спрашивает Зимин.

— Понял, — сердито отвечает Жора.

К костру, почти совсем в огонь, протягивает свои ноги Влас. Зимин смеется:

— Ты б в босоножках пошел.

— Он тогда всех медведиц с ума сведет, — ворчит Леха.

— Чего ты к нему пристал? — говорит Силин. — Он думал, что здесь девицы будут.

— В течение пяти месяцев девушек не предвидится, — обещает Зимин, — вот построимся — тогда другое дело.

Босьян достает пятак и кидает его на чет-нечет.

— Чет! — кричит он радостно. — Значит, построимся! Я на это загадал!

— Ты что, курсы гадалок проходил? — интересуется Зимин, разливая по кружкам кипяток, присаливая его и заливая сгущенным молоком.

Рабочие уходят дальше в тайгу — привал уже кончился.

Влас с трудом поднимается. Зимин пропускает всех вперед, останавливается рядом с Власом и говорит:

— Снимай сапоги.

— А что?

— Снимай, говорю!

И Зимин достает из рюкзака мягкие хакасские пимы, подшитые кожей.

— Держи.

— Да что вы, Виталь Николаевич…

— Ну! Обмотай ноги газетами, положи травы, если где откопаешь, — и все в порядке…

— Спасибо вам, — говорит Влас и лихорадочно, танцуя на одном месте, стаскивает сапоги.

— На здоровье.

— Как доберемся — я рассчитаюсь.

— Ну? — улыбается Зимин.

Влас, прыгая на одной ноге, повторяет:

— Точно. Расплачусь!

Зимин оставляет Власа и бежит вдогонку. Он обгоняет всех рабочих, выходит вперед, возглавляет цепочку.

Потом останавливается, потому что снег идет беспрерывно и намело уже огромные сугробы. Остановившись, он спрашивает:

— Кто знает, что такое топтун?

— Разновидность слона, — пытается шутить Леха.

— Человека, — весело поправляет его Зимин. — Сейчас снега еще больше наметет, пурга тянет — по всему видно.

— Замела метель дорожки, запорошила, — пропел Темкин.

Рабочие невесело посмеялись.

— Придется чередоваться, — продолжает Зимин. — Кто идет первым, тот будет топтуном для всех. Топтун — это человек, который бьет тропу. Ясно? Делается это так. — И Зимин, падая в сугроб боком, начинает трамбовать снег своим телом.

Люди идут медленно, не глядя друг на друга. Тайга стонет тоскливо, гулко…

Сумерки. Босьян достает из кармана монетку, подкидывает ее, загадывая при этом:

— Орел!

Смотрит, радуется:

— Орел вышел! Значит, сегодня придем!

— Врет твой орел, — говорит Зимин, — не будем мы там сегодня.

У Босьяна вытягивается лицо. Зимин видит это. Отойдя в сторону, он пропускает людей, а Босьяна задерживает.

Когда все прошли, он говорит пареньку:

— Снимай рюкзак.

Босьян вытирает со лба пот и отрицательно качает головой.

— Тебя как зовут-то? Серго?

— Серго.

— Вроде Орджоникидзе, значит?

— Вроде.

— Ну, снимай рюкзак, «вроде». А когда я устану — ты поможешь мне. Я ведь привычный, геолог, сам понимаешь…

— Я не сниму рюкзак, — медленно отвечает Босьян.

— Чудак, ты ж белый весь, с непривычки упадешь…

— Нет, — сердито повторяет Босьян и уходит следом за людьми.

Зимин смотрит ему вслед и качает головой.

Ночь. Ребята спят в палатке, тесно прижавшись друг к другу.

Зимин осторожно поднимается с еловых веток, которыми застлана земля, и идет к выходу. Луна стынет высоко в небе. Тайга залита белым, мертвенным светом. Зимин зажигает фонарик, достает из планшетки карту и начинает высвечивать тот квадрат, в котором они сейчас находятся.

Все ребята, которые только что спали, сразу же открывают глаза и внимательно следят за Зиминым.

Он что-то пишет на кромке карты карандашом, считает, вздыхает и резко оборачивается, услыхав какой-то шепот. И видит, что все ребята не спят, а смотрят на него с ожиданием и затаенным испугом.

— Отбой! — говорит Зимин устало. — Послезавтра к вечеру придем.

Вечер. Зимин стоит в окружении рабочих в узкой лощине, поросшей синим лесом. Все стоят по пояс в снегу. Ветер рвет из рук Зимина коричневый лист типового проекта таежного поселка.

— Там, — показывает Зимин, — во-он у того дерева будет клуб. На двести мест. С биллиардом и библиотекой. Здесь, на берегу Томи, — столовая, детсад, жилые коттеджи. А во-он там, у двух кедров, будет магазин и фонтан.

— Где? — спрашивает Леха.

— Да вон же, у двух кедров.

— Ага. Понял и пошел.

— Куда?

— В магазин. Салаку в масле куплю…

Палатка. Рабочие сидят вокруг Зимина.

Лица людей сосредоточенны, напряженны.

Взгляды всех устремлены в угол, где колдуют два связиста.

— Завтра с утра, — говорит Зимин, не отрывая взгляда от связистов, — начнем распиловку. Мы должны срубить дом за неделю. К нам выйдет техника, к нам выйдут люди.

— А со жратвой как? — спрашивает Жора. — Консервы-то на исходе.

— Я бы дайваляй срубал бы под ваше общее удовольствие, — мечтает Леха.

— Кого? — басит Жора.

— Гигант, на людоеда больше похож ты, чем я. Не «кого», а «чего»…

— Не «кого», а «что», — негромко поправляет Зимин.

— Рабочий класс говорит «чего», товарищ прораб, — улыбается Леха.

— А ты за весь рабочий класс не говори. Он обидится…

Леха собирается возразить, но в это время в палатку врывается треск, писк, а потом музыка.

— Есть связь, — устало оборачивается связист.

Звучит и ширится Первый концерт Чайковского. Люди сидят молча, крохотные в этом огромном царстве молчаливой тайги. Но они, эти люди, пришли сюда, чтобы победить, и они — победят.

По льду Томи

Это случилось как раз посредине новой трассы, примерно на 160-м километре от Сталинска.

Бульдозер осторожно спустился с берега на ледяной покров только недавно ставшей Томи.

Под гурийцами расходилась белая паутинка, синий лед трещал, прогибался. Дул коварный ветер сивус — понизу стремительная колючая пороша и такой мороз, что плевок застывает в воздухе.

У бульдозериста Петра Невмываки мерзли щеки, но он не мог отпустить рычаги, чтобы растереть лицо снегом: каждая секунда грозила неожиданностями.

Конечно, Невмывака не имел права ехать по такому льду, но и не ехать он не имел права: в занесенном снегом таежном поселке Колтас в пекарне, бане, столовой, в общежитиях не было дров.

Десантникам железнодорожной стройки, заброшенным далеко в тайгу, надо было помочь.

Задание это поручили ветерану стройки Петру Федоровичу Невмываке.

И он повел свой бульдозер по Томи с драгоцен-

ным грузом — пятью здоровенными кедрами. До берега каких-то десять метров. И вот именно здесь лед треснул. К небу хлынул пар, и Невмывака почувствовал, что ноги его по колено в воде. Валенки сделались мягкими, лодыжки застыли, стали бесчувственными, чужими.

Бульдозер захлебывался. Невмывака до отказа выжал газ, поднял нож бульдозера и начал пробиваться к берегу, кроша лед. Подвигался медленно, шаг за шагом.

У берега, когда лед стал крепче, стальной нож бульдозера треснул и половина его ушла под воду.

Невмывака рванул бульдозер назад, стараясь поднять машину из воды, опираясь на кедры. Но стволы деревьев скользили под обледеневшими гусеницами, уходили назад, проламывая лед.

Когда Невмывака выбрался на берег, валенки его стали твердыми, как стекло. Окутанный паром, заиндевевший, бульдозерист прибежал в поселок, переобулся и помчался обратно к своей машине. Вернувшись на Томь, он вбил в стылую землю мертвяк, установил полиспаст, и вскоре тягач, пробившийся сюда по следам Невмываки, втащил на берег огромную махину вросшего в лед бульдозера.

В Колтас был доставлен лес. Люди получили помощь, строительство продолжалось.

Плот идет через порог

Тайга клиньями сбегает с сопок к Томи и, кажется, хочет пригвоздить реку к месту: «Стой! Будь подобной мне — такой же безмолвной, спокойной, величавой!»

Но река неудержимо мчится вдаль, перекатываясь через каменистые пороги.

Минувшей весной на стройке размыло дороги, нарушилась связь с передовыми группами строителей в поселках Балыксу, Казынет.

В Балыксу стала лесопилка (сгорели подшипники), кончилась провизия, не было стекла, лампочек.

Петр Леонтьев получил задание: провести по бешеной, разыгравшейся в паводок Томи свой плот.

В Топчуле плот надо было нагрузить всем необходимым для стройки и возвращаться в Балыксу.

В Казырской выемке русло Томи сужается, река мчится вся в пене, как загнанная лошадь.

Леонтьев направил плот на середину реки.

Нарастал грохот. Плот ударился днищем о

камни, подскочил, скрылся в водяной пыли, завертелся на булыжниках, подгоняемый со всех сторон свирепым напором воды, и вдруг через какую-то долю минуты очутился в тихой заводи за порогом.

Леонтьев отер пот со лба, сплюнул в воду, улыбнулся.

Обратно он гнал плот полным, с семьюстами килограммами груза. Около проклятой Казырской выемки пришлось стать. Вода отшвыривала плот всякий раз, как только Леонтьеву удавалось подвести его к порогу.

А в Балыксу люди ждали драгоценный груз: баббит для подшипников на пилораме, стекла для жилых домов, рабочие спецовки, без которых в тайге пропадешь.

— Э-э-эй, браток! — крикнул Леонтьев, завидев проезжавший по берегу МАЗ.

В тайге у людей слух острый, особенно когда товарищ в беде. Шофер останавливает машину, подходит к берегу.

— Тебе что?

— Будь другом, затащи ты меня на порог!

Помощник Леонтьева Саша Прокунин бледнеет.

Виданное ли дело, на порог, встречь течению,

забираться! Сомнет ведь, разнесет в щепы…

Шофер привязывает плот тросом к своей машине, садится за руль, включает газ. Леонтьев разделся, стал на корме. Встречный поток захлестывает, подсовывает под днище острые булыги. Вот порог уже в метре.

Леонтьев хватается за руль, налегает на него всем телом. Нос задирается почти вертикально, корма скребет по камням. Первый порог пройден! Но впереди второй, самый страшный.

Снова плот исчезает в облаке водяных брызг, зарывается в буруны, корма его поднимается высоко вверх, потом с размаху ухает о камни. Шофер жмет на всю железку, трос дрожит, как тетива. Пройден и второй порог.

Леонтьев смеется, кричит громко, радостно:

— Э-э-эй! Взяли!

И эхо в горах многократно повторяет голос, словно приветствуя мужество человека.

Сильнее стихии

Ночь ложится на поселок. Пламенеют в последних багряных лучах солнца огромные кедры на вершинах сопок. А внизу в долине домики выстроенного поселка уже погружены в серые

сумерки.

С реки поднимается туман, плотный, как шелк, и такой же дрожащий. Он режет пополам деревья, маленькие холмики у берега. Шуршат камыши, ставшие из темно-зеленых синими, словно воронье крыло.

Ярко освещенное помещение почты. Зотов и Гостев стоят около окошечка.

Они отправляют телеграмму:

«Начальнику штаба “Тайгастрой” Арсеньеву. Строительство таежного поселка завершено три месяца раньше срока. Новички размещены новых домах. Мост будет закончен через десять дней. Вся необходимая техника здесь имеется. По поручению рабочих прораб Зотов комсорг Гостев».

Зотов молча передает бланк телеграммы в окошечко. Сонный телеграфист, что-то недовольно бормоча себе под нос, начинает высчитывать стоимость телеграммы. Зотов просит:

— Будьте любезны, дайте мне еще один бланк.

Телеграфист отвечает:

— С вас две копейки.

Зотов хмыкает:

— Могу пять уплатить.

Получает бланк и большими печатными бук-

вами пишет: «Новокузнецк, Красноармейская, 10, Светлане Громовой. Приезжай, люблю тебя».

Зотов перечитывает написанное и передает телеграмму связисту. Тот выписывает квитанцию, получает деньги и сердито захлопывает окошечко.

Зотов и Гостев выходят на улицу. Луна висит над миром — белая и огромная.

— Духотища… — говорит Гостев.

Зотов оглядывается. Маленькие пристанционные постройки, в окнах нет света.

— Тут и воды нигде нет, — говорит Зотов.

— Связисты отстали от нас… — смеется Гостев.

— Поедем, — предлагает Зотов. — Через два часа будем у себя в поселке.

…Над тайгой — тишина. Ночь укутала поселок одеялом сна. Тишина осязаема.

Все спят, и никто не видит, как откуда-то с востока начинает двигаться к поселку красное марево. Оно ширится, освещает вершины сопок, делает ночь зловещей.

— А-а! — кричат в одном из домиков. Звенит разбитое стекло.

Сейфуллин вскакивает с кровати. По стенам его комнаты мечутся отсветы багрового пламени. Сейфуллин подбегает к окну и видит, что сверху

от сопок к реке расширяющимся клином наступает пожар.

Сейфуллин в майке и трусах выскакивает на улицу и несется по поселку. Он проносится мимо криков, мимо плача, мимо разбитых стекол, раскрытых дверей. Он вбегает на крыльцо прорабовского дома, открывает дверь.

В комнате никого нет.

Пожар разгорается все сильнее и сильнее.

…Зотов и Гостев едут на мотовозе. Гостев поет песню. Он поет о любви, о девушке и еще о чем-то очень хорошем. Зотов слушает его.

Перестав петь, Гостев неожиданно спрашивает:

— Виталий Николаевич, а как вы думаете, сердце сколько весит?

— Не взвешивал. — Зотов улыбается, покачивает головой. — Что это тебе такое взбрело?

— А я так, безотносительно…

Вдруг Гостев настораживается:

— Виталий Николаевич, чуете, гарью пахнет?

— Это ты голодный просто.

— Да нет, серьезно, пахнет гарью.

Зотов тихо смеется.

— Голоден ты, говорю. Возьми у меня в кармане колбасу.

Но вот Зотов приподнимается. Он весь — напряжение.

— А ведь верно…

Зотов оглядывается и видит над тайгой красное марево.

— Наддай! — кричит он Гостеву. — Это пожар!

Мотовоз набирает огромную скорость, несется навстречу мареву. Чем скорее несется, тем явственнее слышен гул и сухой треск. И вдруг мотовоз начинает замедлять ход. Зотов, стоящий впереди на площадке, удивленно оборачивается.

— Ты что? — спрашивает он Гостева.

— Не проедем…

— Скорость давай!

— Не проедем, Виталий Николаевич. — Голос у Гостева осипший.

Зотов подходит к рулю. Легко плечом отодвигает Гостева и выжимает скорость до предела.

По горящей тайге несется мотовоз. С шипением и треском рушатся деревья. Одно из них начинает медленно нагибаться, словно кто-то невидимый хочет свалить его и преградить путь мотовозу. Вот, кажется, пламя обрушится на людей, но в последнюю секунду четырехколесная тележка проносится, и могучий кедр ухает на полотно железной дороги.

Огромным клином идет на поселок пожар.

Около бензосклада, около врытых в землю цистерн стоит плотник Леха, рядом с ним молодой паренек.

Курносое лицо растерянно. Горящий лес пылает яростно, с треском и шумом. Прогоревшие пихты разбрасывают вокруг себя головешки. Вот одна из них, описав в воздухе огненную дугу, шлепнулась рядом с цистернами.

Леха подскочил к головешке, отбросил, затоптал ее. Но вот снова громадные головешки падают на землю, их все больше и больше.

— А не взорвет нас? — спрашивает Леху паренек. — Этот бензин закупорен, он ведь как бомба сейчас…

Леха откидывает ногами головешки, не отвечает. Паренек просит:

— Давайте бензин в реку спустим потихонечку. Она быстрая, унесет… А мы останемся…

— Иди ты… знаешь куда…

Земля трескается, дымится.

Прямо среди моря огня останавливается мотовоз. Зотов и Гостев, обгоревшие, черные, скатываются с мотовоза и несутся вниз, к поселку.

Зотов на площади.

— Леха! Хатиб! Сергей! — кричит он. — Ко мне!

Вокруг Зотова люди. Странно выглядит его улыбка на обожженном черном лице. Как приказ, звучат слова:

— Каждый из вас сейчас должен держать дом. Я у моста…

Зотов около моста.

— Сваи, сваи поливайте! — кричит он.

Люди льют из ведер на горящие сваи, бьют ладонями, обмакивая их в воду. Но пожар все больше и больше охватывает мост.

Зотов оглядывается, словно ища поддержки у кого-то. Он видит Леху около бензосклада и кричит ему:

— Давай сюда!

Леха говорит своему напарнику:

— Слышишь, ты тут потанцуй у головешек, а я к Зотову слетаю.

Он бежит к Зотову. Потом, вспомнив, что не взял лопату, оборачивается и видит, как его напарник — бледный, с остановившимися от страха глазами, начинает отвинчивать слив цистерны.

— Стой! — кричит Леха. — Стой, сволочь!

Парень ничего не слышит и продолжает отвинчивать слив. Ему осталось совсем немного… И бензин хлынет в реку, пожжет людей, стоящих у моста. Без бензина останется и техника, которая

сейчас может стать главным спасителем людей.

— Стой! — орал Леха.

Подбежав к напарнику, подминает под себя и бьет его по лицу кулаком. Потом отталкивает парня, завертывает слив. Он опускается у цистерны и говорит:

— Уходи отсюда прочь!

Парень дрожит, он не в силах вымолвить ни слова. Вдруг лицо Лехи как-то смягчается, он даже пытается улыбнуться:

— Ну ладно, не дрожи, чудак, обойдется как-нибудь. Только трусить нельзя…

Тайга горит, словно плохой бенгальский огонь, — снизу вверх, и от этого делается светло, как днем. Зотов там, где собрана вся техника.

— Что же делать? — спрашивает он.

Кто-то из шоферов:

— Грузовики спасать.

— Правильно! Но как их спасти? — Он смотрит на мост, объятый пламенем. — Кто сможет по мосту проехать на ту сторону? Там машины останутся целы; мы огонь туда не пустим…

Шоферы, не отвечая, кидаются к машинам.

— Бульдозеристы, — приказывает Зотов, — гоните к пожару — рвы копать! Скорее!

Бульдозеры уходят к линии пожара в поселок

копать рвы, а машины, выстроившись в цепочку, идут к мосту. Но в то время, когда первая машина въезжает на мост, один из пролетов проваливается.

— Назад! — машет руками Зотов.

— Товарищ Зотов! — кричит кто-то. — Пусть с самолетов тушат…

— Что? — переспрашивает Зотов. — Какие самолеты?

…Задыхаясь в дыму, Босьян сидит около передатчика, стараясь наладить связь. Но связи нет. Он видит, как языки пламени лижут стену дома. Босьян выскакивает из комнаты. Человек, который должен был обливать стену дома водой, в ужасе пятится назад.

— Трус! — кричит Босьян. — Трус! Трус!

Он хватает у парня из рук ведро и пытается вылить воду в огонь. Одной рукой трудно управиться, вода расплескивается. Тогда Босьян хватает ручку ведра зубами и выплескивает оставшуюся воду на горящую стену дома. Он поворачивается, чтобы бежать к реке за водой, но сталкивается с Ниной.

— Держи, — кричит он, подавая ведро, — держи! Скорей за водой!

…По поселку неторопливо идет Зотов. Он ви-

дит, как люди сражаются с пожаром, топчут растрескавшуюся, дымную землю, растаскивают головешки, заливают водой языки пламени, которые лижут дома, и видит, как огонь неудержимо прорывается вперед, как люди отступают перед ним. Это уже ясно — огонь сожрет верхнюю улицу, потом перебросится вниз к бензоскладам. Люди погибнут.

«Как преградить дорогу огню? — думает Зотов. — Надо поджигать поселок, образуется мертвый выжженный участок, и пожар пойдет на убыль. Мы спасем людей. Спасем технику. Нужен встречный пал… Только встречный пал. Но, значит, люди снова будут жить в палатках?»

Зотов видит Нину, которая с ведром в руках бежит к поселку. Он останавливает Нину, берет у нее ведро и бежит рядом. Вот они около Босьяна, который орудует большущим поленом, стараясь сбить пламя.

— Брось, — говорит ему Зотов. — Беги к бульдозеристам, пускай уходят к реке и забирают с собой людей.

— Зачем?

— Пусть уходят, — повторяет Зотов. — Так надо.

Зотов выплескивает воду на землю, остав-

шуюся льет себе на голову, отбрасывает со лба налипшие черные волосы и добавляет:

— Сейчас поселок жечь будем…

— Трудов-то сколько, Виталий Николаевич, — шепчет Нина. — Всю зиму ведь строили.

— Нина, — просит ее Зотов. — Не надо.

Нина и Зотов бегут от дома к дому, собирают людей и уводят их *к* реке. Через поселок проходят бульдозеры. Все люди собраны на маленьком пятачке около бензосклада, там, где стоят грузовики, экскаваторы и бульдозеры.

Зотов отвинчивает слив бензоцистерн, подставляет ведро. Следом за ним подставляют ведра Сейфуллин, Гостев, Босьян, Леха.

Они бегут с ведрами в поселок к дымящимся домам, еще не охваченным огнем. Они выплескивают бензин на стены, и дома сразу же вспыхивают факелами. Вот Леха неудачно выплеснул свое ведро и сам вспыхнул, как факел. Зотов видит это, видит и Гостев. Они бросаются *к* Лехе, сшибают его с ног, наваливаются на него, срывают горящую одежду и тащат вниз к реке.

Поселок горит как свеча. И вот пламя таежного пожара сталкивается с пламенем подожженного людьми поселка. Два огня срослись, на секунду все как бы замерло, а потом в небо отчаянно

взметнулся огромный, раскаленный столб пламени.

Секунду он стоит недвижно, этот огненный столб, а потом враз, будто по мановению волшебной палочки, падает на землю и стихает. Только по черной растрескавшейся земле ползают белые и голубые язычки огня.

Но они уже бессильны, эти последыши пожара.

Тишина. Люди смотрят на сожженный поселок.

С реки поднимается белый туман. Глухо звучит голос Зотова:

— Кто хочет уйти, может уходить. Сейчас будет очень трудно. Будем заново строить…

Люди молчат, и никто не уходит. Потом постепенно бульдозеристы и экскаваторщики расходятся к машинам. А Зотов стоит, крепко сцепив кулаки, и глаз его не видно под нависшими бровями.

Клад

Неподалеку от Балыксу сто лет назад открыли золотоносную жилу. До сих пор там находят кандалы и простреленные черепа: на прииске

работали каторжане.

И вот сегодня старик старатель Никандр Собакин, приблизив ко мне морщинистое, изъеденное оспинами лицо, шепчет на ухо:

— Они, каторжане-то, и зарыли от начальства слиток золота весом в двенадцать пудов. А потом — обвал… С тех пор и ищут люди клад — дьяволово это золото.

Старик щурится, качает головой, отрывая дрожащими пальцами от газетного листа клочок бумаги, чтобы свернуть цигарку. Газета многотиражная, здешняя.

Рядом с названием лозунг: «Смонтируем мост через реку Шора за 10 дней!»

Да, здесь умели строить мосты и за десять, и за три дня. Здесь умели не спать сутками. Умели не мерзнуть в палатках в сорокаградусный мороз.

…Мы едем по таежной железной дороге. В сторону от полотна и шага не сделаешь: высоченные сугробы. Около Казынета наш мотовоз останавливается — идет балластировка пути. Работает молодежь — парни и девушки, прибывшие по комсомольскому призыву.

Едем дальше, вдогонку несется песня:

Наш паровоз, вперед лети!

В Коммуне остановка.

Идет по тайге первый состав с абазинской рудой. В снегу по обеим сторонам стоят люди, кричат:

— Руды бросьте кусочек, посмотреть!

Серую, скромную на вид руду люди держат в руках так нежно, как будто это самое хрупкое, самое дорогое вещество на свете.

Никандр Собакин искал клад — золото, дьяволов металл, зарытый каторжанами. Ныне клад найден и нет цены ему — это замечательные человеческие характеры.

Штурм продолжается

Закончили трассу Абакан — Сталинск.

Одолели топи, болота, скалы. Что теперь — отдых? Нет отдыха. Стройпоезда и мехколонны передислоцируются на новую трассу — на Абакан — Тайшет, на последний, заключительный участок Южсиба.

Здесь, в Восточных Саянах, трудностей больше, чем на прошлой стройке. И раздался клич, перекликающийся с героическим кличем Первой конной: «Даешь!»

Даешь Абакан — Тайшет! Даешь Краснокордонский тоннель! Даешь Козинский перевал!

Взрыв

Земля на узкой таежной поляне была теплая и мягкая. Федька Кольцов вдавился в эту землю. Только левую руку он выбросил далеко вперед, чтобы удобнее было смотреть на секундную стрелку часов.

Стрелка передвигалась, цепляясь за каждое деление на циферблате. Раскаленный диск солнца стоял высоко в небе.

«Шею сожжет. Почему белый шарфик не надел?» — досадливо подумал Федька и замер: сейчас, через пять секунд, должен был произойти взрыв.

— Федь, — шепнул Серегин, лежавший в соседней траншее, — что-то не рвет.

— Рванет, — пообещал Федька и легонько дунул перед собой. Сразу же поднялся ленивый фонтанчик пушистой пыли.

«Грязный я, наверное, — подумал Федька, — просто ужас. Вернемся в поселок, дорвусь до реки». Прошло лишних пятнадцать секунд, а взрыва все не было.

— Федь, — снова шепнул Серегин, — не рванул.

Кольцов оторвал голову от земли. Потом приподнялся и посмотрел перед собой. Проклятая кряжистая, похожая на бычий лоб сопка торчала по-прежнему как раз на линии будущей просеки.

Надо было проложить путь для тракторов и машин. Федька, Серегин и лесорубы продирались сквозь знойную, душную тайгу, рвали маленькие сопки, а с этой, бычьей, возились уже третий день, и все без толку.

А машины и тракторы ждали в поселке. И прораб ругался: Серегин и Федька до зарезу были ему нужны на трассе…

Прошла минута. Бикфордов шнур наверняка сгорел. А взрыва все не было.

Федька крикнул лесорубам, лежавшим позади Серегина:

— Братки, давай бегом в тайгу!

— Зачем? — спросил Серегин.

— А что им тут, кадриль хороводить? Вдруг рванет…

— Вдруг! — передразнил его Жора. — А вдруг не рванет? Что, мне так и лежать в земле?

— Убегай с ребятами.

— Убегай, — снова передразнил Жора. — А ты?

— Я! Я! — обозлился Федька. — Я взрывник. Мне видней. Убегай! — крикнул он, обернувшись к Серегину.

Жора не двинулся с места. Он смотрел на Федьку и улыбался.

— Убегай! — снова крикнул Кольцов. — Не Богом же тебя просить!

— Никуда я не побегу.

— Побежишь!

— Нет. Без нервов. Я же сказал: нет.

Тогда Федька легко выскочил из траншеи и встал во весь рост на маленьком бруствере, обложенном дерном.

Бычья сопка, последняя преграда на пути к руде, последняя задержка к возвращению на трассу железной дороги, торчала по-прежнему, зло, упрямо выпятившись круглыми каменными глыбами.

— Ты что, сдурел? — спокойно спросил Серегин из своего укрытия.

Федька ничего не ответил. Жора повторил свой вопрос, но уже тише. Федька опустился на корточки и сказал:

— Не говори глупостей, Жора. Туда ведь все равно идти придется. Шнур-то новый надо про-

ложить? Или нет?

С опушки закричали лесорубы:

— В чем дело?!

— Да так, ничего! — ответил Кольцов, прижав ко рту ладони, чтобы было слышнее.

— Вместе пойдем шнур прокладывать, — сказал Серегин и осторожно выполз из своей траншеи. — А страшно, черт его дери!

— Переживем. У тебя махорка есть?

— Ты же некурящий.

— Ладно, сверни цигарочку.

Серегин снова опустился в траншею и свернул там две цигарки.

— Иди сюда, покурим, — предложил он.

— Иди ты сюда, — ответил Федька с бруствера, — там душно. Пыль.

— Ты не форси, Федька. Тоже мне Чапай. Лезь ко мне, говорю! Вдруг рванет?

Воздух в тайге был синий, хвойный, напитанный терпким запахом отцветшей черемухи. На каменистом склоне сопки, поросшем желтой травой, как раз на том, который надо было взорвать, надрывались цикады.

Изломанные жарой кусты подняли к желтому небу кривые, страшной формы ветки и словно застыли в мольбе о влаге, дожде, который несет с

собой цветение и прохладу.

«У меня вроде нарыв на пятке, — рассеянно подумал Федька, — бежать трудно будет».

Жора из траншеи не вылезал. Курил он неторопливо, пуская синие колечки. Федька рвал цигарку тяжелыми затяжками, покашливая.

— Ну я пошел, — сказал он, затянувшись напоследок. — С пламенным приветом!

— Дурак! — убежденно заметил Жора и вылез из траншеи. — Вместе ведь пойдем.

— Нельзя, Жорик, — ответил Федька и вздохнул. — Мне, думаешь, одному охота?

Федька посмотрел на Жорку, улыбнулся ему и, прихватив с земли круг бикфордова шнура, побежал к сопке, туда, где в камнях лежала взрывчатка. Жора, низко согнувшись, побежал следом за ним. Федька услышал шаги, обернулся и, выхватив из-за ремня красный флажок, поднял его над головой.

Этот мандат у взрывников открывает любые двери так же легко, как и закрывает их. Красный флажок над головой — все обязаны лежать в укрытии.

И Жора остановился: он не мог не подчиниться приказу.

Федька бросился вперед, больше не обора-

чиваясь. Бычья сопка вырастала в глазах, она неудержимо приближалась к нему, она наваливалась на него, молчаливая, настороженная, готовая каждую минуту взорваться, раскидав вокруг огромные глыбы.

Воздух в тайге был синий, хвойный, напитанный терпким запахом отцветшей черемухи. Вдыхая этот воздух, Федька чувствовал в нем вкус первых сосулек, которые мальчишки в Саратове сосали вместо шкиперских трубок. В этом хвойном воздухе Федька вдруг почувствовал особенный, неповторимый запах отцовской бороды.

Огромные хищные кусты подняли к небу изломанные жарой ветви. В тайге звенели птицы. Солнце было ласковое и совсем не жгло шею.

Федька бежал, мягко ступая на носки, чтобы не тревожить землю, в которой лежала взрывчатка. При каждом его шаге потрескивали скользкие, ломкие сосновые иглы.

Это потрескивание Федьке каждый раз слышалось грохотом. Таким же сильным, как и удары сердца. Около сопки, там, где начались камни, Федька остановился на секунду, страшась обернуться: позади была жизнь, а впереди лежала взрывчатка, которая прорубает дороги, усмиряет реки, дает руду и убивает людей.

Капли пота катились по лбу и щипали глаза. Подошвы сапог скользили по камням, и Федька каждый раз замирал, весь сжимался, но лез все выше и выше.

«Нет, нет! — думал он. — Ничего не может быть. Жорка, тайга, птицы, солнце, пыль на земле — все это вокруг меня! Нет, нет! Все будет хорошо!»

Лучи солнца стали холодными, по спине ползли мурашки, затылок был в испарине. В тайге по-прежнему пели птицы.

Федька все ж таки поскользнулся. Упал. До взрывчатки оставалось всего несколько метров. Федька побоялся встать. На какую-то долю минуты ему захотелось подняться и побежать прочь, в траншею, к Жорке.

Он вытер со лба пот и пополз, завороженно глядя на камни, за которыми начиналась маленькая, совсем неглубокая штольня.

Федька подполз к камням, прижался всем телом к сухим, желтым травинкам, замер на секунду, а потом рывком поднялся. Заглянул в штольню и сразу же опустился на корточки.

Потом лег на спину и судорожно, со всхлипыванием рассмеялся. Шнур выскочил из детонатора и сгорел, не дойдя до него примерно на сантиметр.

Солнце нещадно жгло шею. Надрывались ци-

кады, вспарывая своим криком томительную тишину полдня.

Федька обернулся, и лицо его сморщилось в растерянной улыбке: позади, метрах в десяти от него, стоял Жорка Серегин.

— Что? — спросил Жора.

— Все в порядке, шнур выскочил, — хрипло ответил Федька.

— Пошли обратно?

— Погоди. Дай отдышусь малость.

— Закурим?

— Не хочу. Во рту пересохло.

Серегин сел на камни и сказал:

— Ну и натерпелся я страху!

Федька вздохнул и ответил:

— А я — ничего. Профессия, понимаешь, такая…

Как спасали цемент

Думать, что покорение тайги возможно без трудностей, — досужая фантазия.

В тайге можно все предусмотреть, все, кроме капризов сибирской природы.

От Тайшета по зиме в тайгу затащили на тракторах восемьдесят семь вагонов, в которых жили

строители.

Сгрузили вагоны с салазок в снег. Место это торжественно называли: железнодорожная станция Бирюса.

И сразу же начали несуществующую пока станцию строить.

К рекам Большая и Малая Тайшетки, на 35-й и 47-й пикеты, завезли четыреста тонн цемента, чтобы заключить эти беспокойные речушки в бетонные трубы.

Зимой, в стужу, подняли семнадцатиметровую насыпь. Сжатый график работ выполнялся комсомольцами изо дня в день.

Весной Большая и Малая Тайшетки вышли из беретов, разлились по пойме, образовали километровое озеро.

Цемент, а значит, и все материалы оказались под угрозой. Пробраться к 35-му и 47-му пикетам не было никакой возможности, даже тракторы буксовали в топкой снежной жиже.

Но комсомольцы пробились к пикетам, протащили тракторы. С каждым часом воды становилось все больше и больше, она прибывала на глазах, весело плескалась у деревянных ступенек цементного склада.

Тогда бригадир Иван Ширяев и его ребята

пошли на отчаянный шаг. Они раскидали бульдозером семнадцатиметровую насыпь, чтобы спасти цемент.

Трижды рушили насыпь, трижды возводили дамбы, сдерживая воду. Работа шла круглосуточно: на пихтах укрепили прожекторы, и кинжальные лучи света резали кромешную мглу таежной ночи, освещая парней, стоявших в воде, перемешанной с битым льдом…

Сейчас Большая и Малая Тайшетки уже одеты в трубы и пропущены под насыпь. На станции Бирюса рядом с вагончиками выросли коттеджи. Все это сделано в тайге волей, силой и страстностью комсомольцев.

В палатке над Кизиром

Тайга молчалива и безбрежна. Пихты и кедры, кажется, опрокинулись в прозрачную воду Кизира.

Похож Кизир на своего брата — на порожистый Казыр. Такое же быстрое течение ворочает на дне камни, и чудится, будто галечник о чем-то сердито разговаривает с водой. Ночью от реки поднимается туман.

Вдруг ночную тишину буравит трезвон будиль-

ника.

— Ребята, подъем! — возвещает чей-то голос.

— Уже четыре.

Из палатки, которая стоит прямо на берегу реки, выскакивают семеро. Заводят грузовик и уезжают в тайгу рубить просеку. И снова тишина плывет над рекой.

А в шесть часов утра, когда кедровый гребень на вершинах сопок из синего делается красным от первых солнечных лучей, вот тогда будильник звонит во второй раз и остальные пятнадцать ребят уходят в тайгу.

Иному кажется, что штурм тайги — это массированный удар техники, натиск металла. Это верно и в то же время неверно. Бульдозеру и экскаватору предшествует труд лесоруба, землекопа и плотника.

И комсомольцам, работавшим на новейшей технике, пришлось сначала взять в руки лопату, пилу и топор.

— На пиле можно вальсы играть, не то что лес валить, — сказал Толя Костин, — так что будем к этому инструменту относиться, как *к* музыкальному. На гитаре и в день играть не выучишься, а на пиле нам придется научиться «играть» за одну смену.

Звенят топоры, пронзительно визжат пилы, и огромные пихты валятся на землю, раскидав свои зеленые косы по буйной таежной траве.

Двадцать два жителя палатки — молодые москвичи, приехавшие по призыву Ленинского комсомола строить дорогу Абакан — Тайшет. Бригадир Толя Костин, тракторист Эдик Зайков, профгрупорг Гена Черенков — каждый в свои двадцать пять лет имеет за спиной почти десятилетний трудовой стаж, и у всех у них высшие разряды рабочей квалификации.

Есть здесь ребята с Автозавода имени Лихачева и других предприятий столицы.

У каждого над кроватью на плечиках висит пиджак (брюки, чтобы не мялись, лежат под матрацами), у каждого выглаженная сорочка, начищенные ботинки. И в тайге комсомольцы остаются опрятными, подтянутыми.

Живут ребята в палатке, фундаменты для домов еще только вырыты, а будущая железная дорога лишь угадывается по просеке. Но комсомольцы думают о будущем.

Профгрупорг Черенков — человек практического склада ума.

— Вот я Джека Лондона читал, — говорил он, отодвигаясь от белых языков костра, — так там

золотоискатели в каждом поселке бар себе строили. Нам, правда, бар не очень нужен, а вот без клуба не обойтись.

И я не знаю, обязательно ли нужно каждый клуб в тайге заранее в смете проектировать. Леса кругом — тьма!

— Строить сами будем, без всякой оплаты, ну а стекла в складчину купим. Так ведь?

…Шумит ветер в верхушках сосен, звенят топоры, идет работа комсомольская, дружная.

…Пионеры стройки, комсомольцы, ушли далеко вперед, будоражить безбрежный океан тайги. Они на передовой. А за ними около Красного Кордона уже лязгают гусеницами бульдозеры, вгрызаясь в толщу земли, прокладывая кизирский тоннель.

В Курагине всего за несколько месяцев вырос великолепный поселок, и линии домов прошили приенисейскую степь ровной строчкой нарядных улиц.

И в Минусинске, в старом сибирском городе, который раньше прятал жителей за бревенчатыми крепостными стенами и узкими бойницами окон, сейчас вовсю развернулась стройка: возводится насыпь, высятся фермы, ложатся пахучие, просмоленные шпалы.

Ночью тайга светится глазищами автомобильных фар: машины идут вперед, в тайгу, к пионерам стройки, к тем, кто продолжает дело Кошурникова, Журавлева и Стофато…

Через год

Это всегда очень здорово — ехать в тайгу и знать, что там много добрых знакомцев и жизнь их за тот год, что прошел, наполнилась необыкновенно важными событиями.

На трассе Абакан — Тайшет каждый день насыщен интересным, не говоря уже о месяце или годе. Здесь нет простоя ни в работе, ни в формировании человеческих характеров.

С московскими ребятами я расстался жарким августовским днем в палатке на берегу Кизира. Они тогда ходили в тайгу рубить просеки и рыть ямы — 50 на 50 и столько же в глубину — под фундаменты домов, которые надо было построить на разъезде Кизир.

Будущий разъезд был весь в черничном пряном аромате, в тишине и спокойствии.

Ребята тогда еще оставались горожанами: они ненасытно ежевечерне отправлялись на охоту, просиживали часами в заводях, поджидая хари-

уса, со вздохом вспоминали столицу, спорили о новых модах и последних событиях в мире кино.

Они еще продолжали быть подданными тайги, а не хозяевами ее.

В один из вечеров мы нагрузили машину деталями сборно-щитовых домов и поехали вдоль по Кизиру, через высокие, фантастические камни Каспийских ворот, в тайгу, к Артемовску.

Там, в двенадцати километрах от городка, на берегу Джеби, в тайге, машину разгрузили, сложили детали домов около одной-единственной палатки и вбили в сухую землю колышек, на котором повесили табличку: «Ст. Кошурниково».

Бригадир Толя Костин отошел на несколько шагов, внимательно осмотрел надпись и, рассердившись что-то, снял ее. Присев на корточки, он достал из кармана огрызок чернильного карандаша и стал писать наново.

Через несколько минут он водрузил надпись на прежнее место. Только теперь вместо скупой «Ст. Кошурниково» было написано: «Железнодорожная станция коммуниста Кошурникова, которую построит комсомол».

— Так лучше? — спросил Костин у Гены Черенкова.

Тот сощурил глаза, рассматривая надпись так,

как оценивают живопись, и сказал:

— Да, так лучше.

Когда я рассказывал об этом эпизоде в Москве, один из молодых скептиков заметил:

— Вы преувеличиваете, в обыденной жизни такого не бывает…

…Нет ничего более смешного, чем вид молодого скептика, который жалуется на головные боли, скорбно ломает брови, безапелляционно судит по всем кардинальным вопросам, предрекает и пророчествует.

Смешно мне было слышать слова этого скептика о нежизненности того, что жизненно и повседневно у нас сегодня.

И нечего держать самого себя за руку, не надо бояться писать о происходящем в Стране Советов на самых высоких тонах, потому что происходит сейчас великое и небывалое: растут новые люди, люди коммунистического завтра.

Встреча со старым знакомым

С Толей Костиным на этот раз я встретился в Курагинском райкоме комсомола, в штабе комсомольской стройки, поздним вечером. Он теперь член бюро райкома, секретарь комитета комсо-

мола головного поезда 38, легендарного поезда, первым ворвавшегося в тайгу.

Загорелый, голубоглазый, стремительный крепыш, он ворвался в штаб с ветром. С места в карьер он предложил:

— Слушай, борода, может, сразу на трассу махнем, а?

— Едем.

— Вы что, филины оба или как? — спросил начштаба Миша Сивенко.

Ночь лежала над Сибирской землей — непроглядная, безлунная, морозная ночь.

— Ладно, — сказал Костин, — айда ко мне, говорить есть о чем. А посмотрим все завтра.

И мы пошли к нему.

Он – хозяин

— Ну почему, скажи ты мне на милость, — сердито говорит Толя, — мы делаем на трассе одну колею?! Грузов пойдет черт-те сколько — разве одна колея потянет? А сейчас вторую колею проложить ничего не стоит: насыпь ведь уже отсыпана! Техники у нас теперь знаешь сколько?! С такой техникой пять колей можно проложить.

Он смотрит на меня и начинает смеяться.

— Ты что? — удивляюсь я.

— Да ничего, — по-прежнему смеясь, говорит Толя, — просто, понимаешь, техника здорово прет — вот и смеюсь. Но, — он поднимает палец, — почему же тогда выемку под тоннель мы делаем на один путь? Я тут прикинул, как увеличатся перевозки по Абакан — Тайшету через десять лет. Что ты?! — Он сам совершенно искренне, чуточку даже по-детски изумляется. — Тут как на улице Горького движение будет. А как тогда?

Насыпь в крайнем случае и тогда подсыпать можно, а тоннель так просто не расширишь, рвать придется.

Или вот прижимы возьми. Их тоже под один путь делают — это же неэкономно! По принципу «скопи домок, разори хозяйство». Сэкономим сотню тысяч, а потеряем потом миллиард.

Костин закуривает и обещает:

— Ну, ничего, это дело, думаю, пробьем. Будет как надо, это уж точно.

Я слушаю его и верю: будет как надо, это уж точно.

И убеждаешься в этом, не столько веря интуиции, сколько наблюдая плоды творчества ребят, комсомольским вожаком которых является Толя

Костин, человек, рассуждающий категориями государственными, по-настоящему хозяйскими.

Наутро, когда солнце еще не изорвало сонную хмарь серого, морозного, предрассветного неба, мы выехали с Толей на попутной машине на трассу.

Дорога здесь похожа на прифронтовую. Машины, машины, бесконечный поток машин. Вдоль всей трассы — экскаваторы, тракторы, бульдозеры. Их рев раздирает недвижимый коленкор стылого воздуха.

В дымном борении сумерек и утра фигуры рабочих кажутся расплывчатыми и смазанными. Они расходятся от машин, привезших их к месту работы, словно солдаты к исходным рубежам атаки.

Но когда пришло солнце, настороженность, ощущение таинственности и расплывчатости исчезло. Фигуры людей сделались четкими, рельефными, могучими. Солнце смеется, снег искрится мириадами бликов, радостны человеческие лица. Если и ведут они сейчас бой — так это радостный бой, бескровный, поразительный в красоте своей.

Едем мы по дороге, а вокруг гремит этот великолепный бой — вдоль по всей трассе, по нескончаемой трассе мужества.

А палатки-то уж нет

— Я из нее последним ушел, — говорит Толя, когда наша машина остановилась, одолев Краснокордонский перевал.

Шоферу непонятно, о чем говорит Толя, а мне понятно: внизу, под нами, лежит Кизир, схваченный льдом.

Здесь, на берегу Кизира, неподалеку от Красного Кордона, стояла палатка, в которой жили московские комсомольцы, приехавшие на стройку.

Скажем прямо, романтика первых дней стоила ребятам простуд и ангин: палатку они поставили на самом берегу. По ночам поднимался густой августовский туман, спальные мешки делались *к* утру волглыми. Костин, тогда бригадир московской бригады, расселил ребят у сибиряков, живших поблизости в Кордове — разлапистой деревне с непонятным андалузским названием. Сам он переехал на квартиру к началу октября, когда по утрам вода в стакане делалась льдом.

Мы спускаемся с перевала, и я вижу: стоило Толе мерзнуть в палатке, стоило! Там, где ребята копали ямы под фундаменты, стоят аккуратные, красивые дома. Там, где валили лес, — огромная

насыпь, протянувшаяся уже на многие десятки километров.

Это же надо только подумать! За полтора года научиться властвовать над тайгой, а не подчиняться ей, оседлать ее, подчинить своей воле, а не только исповедовать благоговейное уважение, где-то в самых сокровенных глубинах души смешанное со страхом.

Горят глаза у Толи Костина, он то и дело посматривает на меня, словно спрашивая: «Ну, каково?» Он видит мое изумление и сам изумляется и радуется тому, что создали его ребята и сам он.

Эдик Зайков

Он такой же, как и год тому назад, когда мы только познакомились: улыбчивый, тихий, с удивительно добрыми глазами.

Смотришь на него, слушаешь его быструю, чуть окающую речь и невольно дивишься: этот ли парень выделывал здесь, в самые трудные, первые дни, такие чудеса, он ли был добрым гением всех заброшенных на самые трудные, авангардные участки стройки? Он ли первым проходил по непроходимым местам, чтобы провести за собой ребят в самые глухие углы тайги? Он ли, этот

Эдик Зайков? Он, тот самый.

Эпопея с козой

В тридцати с лишним километрах от Кошурникова, на перевал, именуемый здесь кратко и непоэтично — Коза, — были заброшены комсомольцы.

Хотя «заброшены» слово здесь явно неподходящее. Никто их туда не забрасывал. Шел по тайге трелевочный трактор, шел, замирая на обрывистых глинистых склонах, отчаянным рывком вырывался вперед, вскарабкивался на неприступные, казалось бы, скалы, а сзади, растянувшись в цепочку, нагруженные нехитрым скарбом землепроходцев и путешественников, вышагивали по мерзлой октябрьской земле комсомолята.

Долог и труден был их путь. Это был путь на небо в прямом смысле этого слова, потому что ребята забрались за облака. Они стояли на перевале, а к земле, к их ногам, — словно давно не мытые и не стриженные белые пудели — ластились облака.

Забрались ребята на него и поставили палатку, укрепив ее колышками, вбитыми все-таки в

землю, а не в облака, и начали работу. Строили дом, подготавливали плацдарм для наступления, рубили просеки.

Работали по десять часов в сутки, не думая ни о сверхурочных, ни о премиальных. Приходили в палатку и, жарко растопив печку, валились с ног от усталости. Засыпали мгновенно.

Морозы крепчали. Морозы рвали лицо. Земля превратилась в чугун, луна тоже мерзла в небе, окруженная сине-желтым ореолом — символом грядущих, еще более сильных морозов.

Поздно ночью, когда начинали трещать стволы деревьев и тишина от этого становилась особенно ощутимой, снизу доносился негромкий рокот трактора: это ехал Эдик Зайков с продуктами и бензином для пил «дружба».

Ездка вверх — десять часов и вниз — восемь. Сна — три-четыре часа на капоте работающего дизеля. Спал Эдик, укрывшись ватником, опустив уши шапки, замотав горло шарфом. Спал он тревожным сном совсем недолго и пускался в обратный путь за тем, что было необходимо ребятам.

В ту ночь мороз был особенно лютым, землю припорошило снегом. Эдик сгрузил канистры, продукты, новые топоры и пилы. Зашел в па-

латку.

Ребята спали. Было душно: печь была раскалена докрасна — иначе бы съел мороз. Эдику захотелось лечь здесь в тепле и уснуть.

«Трактор, — подумал он сердито, — чертова машина. Забарахлит — потом не заведешь».

И он пошел в мороз и лег на теплый капот. Он уснул сразу же, как только положил под голову охапку новой ветоши. Ему приснился футбольный матч.

«Спартак» проигрывал, и Эдик что-то кричал обидное игрокам и особенно Нетто, своему любимцу. И его соседи тоже кричали. Громче, яростней, страшней!

А потом Эдика стали пинать и толкать в спину и в голову. Он в ужасе открыл глаза и увидел ребят на снегу: в трусах и майках. Они стояли там, где только что была палатка.

Но палатки не было: она сгорела — уставшие ребята даже не заметили, как она вспыхнула. А теперь они стояли кто в чем был и толкали Эдика.

Зайков протер глаза, ошалело замотал головой, натер лицо снегом и кинулся в кабину. Ребята облепили трактор — все пятнадцать человек должны были спуститься вниз, чтобы не померз-

нуть.

Зайков спустился вниз за три часа. Он не сидел в кабине, он стоял на рычагах и педалях. От этого все тяжелей и тяжелей затекали ноги, тряслись колени, деревенели икры. Он был весь в зрении: один неверный сантиметр — и машина с людьми рухнет в обрыв. И скорость, все время скорость!

…Он привез ребят в Кошурниково. Комсомольцы быстро переоделись, взяли новую палатку, все необходимое для дальнейшей работы, и Зайков повез их обратно, на Козу, «на небо».

Он привез их, и они спросили:

— Эдик, а спать когда?

— Завтра, — ответил Зайков. — А то мне сегодня всякая ерунда снится.

Мост

Одолели-таки Козу. Навели «на небе» порядок, организовали жилье. Не ахти какое, но зато с потолком, полом, дверями, окнами и настоящей печкой. Спустились после этого на землю, передав свой «козий» дом ребятам из стройпоезда 241.

Спустились на землю, а Кошурниково, которое пять месяцев тому назад было лишь в вообра-

жении строителей, уже приобрело вид поселка. На сопке выросли улицы домов. Ребята сразу же вошли в кошурниковский ритм работы: здесь торопились закончить поселок к лету, этой задаче было подчинено все: каждый час, каждая минута.

Девятого мая выпал снег: пушистый, нежный, совсем октябрьский снег. Он осторожно опускался на землю всю ночь и все утро. А днем пришло солнце: отнюдь не октябрьское, а по-настоящему жаркое майское солнце.

И на следующее утро река Джебь вышла из берегов и грозила каждую минуту снести мост: так неистово она билась о сваи…

Вода перехлестнула через настил, вода выгнула деревянный мост, как прутик, вот-вот собираясь унести его напрочь.

Ребята, которые уже поселились в Кошурникове, и те, которые еще ездили в строящийся поселок из Артемовска и с Седьмого километра, бросились в ледяную воду, обмотали тросами ряжи и привязали потом тросы к деревьям, к могучим, кряжистым стволам кедров, способных единоборствовать с весенним паводком.

Но все равно перебираться по мосту не было никакой возможности. А кошурниковцы задыха-

лись без людей, дома стояли, собранные только наполовину, а они не могли не быть собранными к середине, самое позднее, к концу мая.

Людей и грузы надо было переправлять через Джебь немедленно, сейчас же, не дожидаясь окончания паводка.

Эдик Зайков стоял на берегу и покусывал травинку — желтую, иссохшую, оставшуюся еще с прошлого лета. Он долго стоял так и рассеянно, без всякого интереса разглядывал буруны на воде, вертевшие белые штопоры то тут, то там.

Потом он выплюнул травинку, повернулся и пошел к своему трактору. Люди на той, некошурниковской стороне Джеби насторожились.

А когда Зайков развернул трактор и двинул его к берегу, все поняли, что он сейчас будет форсировать Джебь. И он начал форсировать Джебь, этот тихий, улыбчивый Зайков.

«Ну, давай, дизелек, — думал он, — давай, родной, вывози. Осторожно иди, смотри не провалились в этот чертов бурун, под ним яма. Ну, давай, дружище, давай. Молодчина, хорошо идешь, очень хорошо идешь».

Вода поднялась выше гусениц и стала заливать кабину. Она была уже вровень с сиденьем, она поднялась к груди Зайкова. Теперь через Джебь

перебиралась крыша трактора и лицо тракториста. Эдик стоял по горло в воде.

Буруны, белые, красивые, будьте вы трижды неладны! Какую яму вы скрываете под собой, проклятые белые буруны?!

Еще ниже ухает трактор. Вода теперь у самого подбородка. Повернуть назад? Нет. Самое главное — не оборачиваться! Не оборачиваться, когда страх трогает сердце, ни за что не оборачиваться!

...В тот день Зайков перевез на крыше своего трактора рабочих. Строительство не остановилось ни на миг, строительство продолжалось.

Что же это такое?

Человек, живущий лишь одним, узким, только своим делом, не смог бы — даже при самом большом желании — сделать того, что сделал и ежедневно делает Зайков. Он мог бы честно работать, но лишь «от» и «до». Не больше.

А то, что делает Зайков, под силу человеку широкого, всеохватывающего, вдохновенного и поистине творческого диапазона.

Зайков мыслит по цепочке: трактор — Кошурниково — Южсиб — Сибирь — Союз — комму-

низм — человечество.

Таков диапазон мышления Зайкова, человека, сражающегося за звание УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Ночью в комнате для заезжих

Она похожа, эта маленькая комната в Кошурникове, в поселке, только что отбитом у тайги, на горницу в прифронтовом штабе, где отдыхают часок-другой командиры, вернувшиеся с передовых позиций.

Люди приезжают сюда далеко за полночь, когда луна светится отчаянным, злым блеском, и снег холодно искрится, и на небе расплескался нескончаемый Млечный Путь, и ветер раскачивает огромные стволы кедров, и тайга шумит тихо, но величаво, словно море в часы прибоя.

Люди приезжают далеко за полночь, входят в маленькую, жарко натопленную комнату и раздеваются, не зажигая света, а уходят в предрассветных сумерках, тоже не зажигая света, чтобы не тревожить тех, кто приехал позже.

Долго не мог уснуть я после первого дня, проведенного в Кошурникове. Лежал, прислушиваясь к шуму тайги, и задремал поздно, когда первый

шальной петух сонно заголосил, возвещая середину ночи.

Вскоре проснулся. Кто-то вошел в комнату. Заскрипели пружины кроватей. Укрывшись одеялами, люди стали говорить шепотом, стараясь не потревожить спящих. По голосам я определил главного инженера стройки Клячко и начальника комсомольского штаба Мишу Сивенко.

Изредка разгорался огонек папиросы, выхватывая из темноты лица с колючими, заросшими скулами и — глаза, спокойные, чуть сощуренные, наполненные тем же радостным блеском, каким горели глаза Толи, когда мы проезжали по трассе.

Говорили о дислокации, о фронте, о направлении главного удара. И это лишний раз дополняло в моем воображении сходство нашей тихой комнаты в поселке, отвоеванном у тайги комсомольцами, с прифронтовой хаткой при штабе армии, ведущей яростное наступление.

Только говорили сейчас о фронте работ, о дислокации стройпоезда и о направлении главного удара во взрыве скальных грунтов на Каспе.

Познакомьтесь: Черняков

У механика автоколонны 241-го стройпоезда сидит человек с обветренным, усталым лицом. Калмыцкие глаза полуприкрыты тяжелыми веками, большие рабочие руки со следами машинного масла на сгибах пальцев лежат на острых коленях. Этот человек — Леонид Черняков, инспектор Курагинского ГАИ.

Механик сердится, лихорадочно перебирает на столе какие-то мятые бумажки, вымазанные в машинном масле, ломает пальцами карандаш и говорит при этом:

— Ты же сам шофер, Черняков. Пойми, у меня план сорвется. Я ж не смогу людей на трассу вывезти.

— Я тебе их не разрешу вывозить, — отвечает Черняков, — разве можно?! Тенты укреплены плохо? Плохо. Дырявые? Дырявые. Люди с работы поедут горячие — просквозит, заболеют, и потом — у вас народ возят шоферы третьего класса. Нельзя так. Первый класс нужен — людей ведь возят. И потом, машины-то грязные, неприличные, прямо говоря, машины. Тут у нас все новое, рабочие — все молодые, а машины — как старые

бабы с базара.

— Ну, ты, знаешь, не того, — возражает механик, но сам не может удержаться от улыбки. — Вымоем машины, мороз-то, сам видишь, какой.

— А что мороз? На то и зима, чтобы мороз был. А машины в таком виде на трассу не выпущу. Ясно?

— Ясно, — отвечает механик, — сейчас вымоем и тенты наладим. Тогда пустишь?

— А шоферов первого класса поставишь?

— Поставлю.

— Тогда пущу.

И Леонид Черняков устало поднимается со стула и идет к выходу: надо еще сегодня успеть в семидесятую и семьдесят первую мехколонны. Там работы до ночи.

Так он и проводит дни и ночи на трассе — придирчивый, строгий инспектор с усталыми калмыцкими глазами, прикрытыми тяжелыми веками.

Почему я пишу о нем?

Казалось бы, инспектор как инспектор. Это ведь обязанность его — следить за состоянием машин, не так ли? Да, это так. Но нечего греха

таить, часто ведь еще у нас встречаются люди, относящиеся к работе только как к выполнению необходимой обязанности.

Грязные машины? Надо бы вымыть. А почему вымыть? Как почему?! В правилах так говорится! Положено так!

А для Чернякова все дело не в правилах. Все дело для него в том, что под тентами ездят на работу ребята и девчата — комсомольцы, сражающиеся с тайгой. Все дело в том, что здесь, в молодом краю, в краю будущего, уже с самого начала должно быть все красиво — и не только сами люди, но и машины, которые им, людям, служат.

Черное море на Козинском перевале

В автобусе 20 комсомольцев. Они возвращаются в Кошурниково с просеки. Там они — как шутят ребята — рубят сучья, на которых сами сидят, потому что просека идет по обрывам и по горным кручам. Работа трудная, изматывающая, отважная работа…

Вечер. Мороз пощипывает уши и носы. Люди устали. Домой в Кошурниково ехать примерно час по тряской скользкой дороге. Первые десять минут в автобусе было тихо.

Все молчали. А потом кто-то из девчат запел песню о Черном море. Песню подхватили остальные. Едет по ночной тайге автобус — гремит, плещется песня о самом синем Черном море.

И — дело здесь, конечно, не в песне — я вдруг почувствовал тепло. Оно шло не изнутри, оно вдруг появилось в автобусе, оно шло от ребят и девчат, которые так великолепно пели песню, делая пением своим и музыку, и слова безыскусными и правдивыми.

Песня в устах ребят звучала так же правдиво, как бывает правдив художник, пишущий картину с натуры.

Казалось, из окон автобуса ребята видели не молчаливую настороженную тайгу, а теплое и ласковое Черное море. И я поначалу позавидовал их блестящему воображению, потому что так петь можно, только все время видя море рядом, чувствуя, что вокруг не молчаливая морозная тайга, а теплое и ласковое море.

А потом я подумал: «Да полно, воображение ли это? Ведь если им захотеть по-настоящему, так они вот здесь, на Козе, Черное море сделают. Ненамного это труднее, чем пробить Козинский двухкилометровый тоннель, который пробить придется и который пробьют».

Идет автобус по ночной тайге, и уже совсем не так холодно.

Веришь — теплей стало от песни, которую здесь умеют петь совершенно по-особому, я бы сказал, творчески, с вдохновением.

Вершина Козинского перевала

Идет снег. Дует колючий ветер. Здесь зимой всегда идет снег и всегда дует ветер. Говорят, что снег — вестник тепла. В этом правиле есть исключение: на Козу это правило не распространяется. И вообще Коза — это исключение из всех правил.

Здесь даже в сорокаградусный лютый мороз машины буксуют, потому что вершины Козы — это сплошное болото. Жидкая синяя глина, похожая на мыло. Здесь на каждом шагу свищи, осадки.

Но здесь, в этом болоте, в этой глине, нужно сделать портальную выемку — ввод в тоннель.

Здесь, на отсыпке глины, на фронте по борьбе с болотами, работают шоферы и экскаваторщики 70-й мехколонны, или, как говорят здесь, ребята из хозяйства Раецкого.

Тридцатилетний Раецкий уже шесть лет — после окончания института — руководит

мехколонной, «ударным кулаком», сгустком мощной техники. Коллектив у него подобрался великолепный: только двадцать процентов «стариков» — людей чуть старше тридцати лет.

На Козе — рев моторов. Экскаватор черпает жидкую глину — несмотря на страшный мороз, она дымится, согретая неистовым теплом земных глубин. Резкий поворот стальной шеи — и самосвал оседает, крякает, как силач под тяжестью огромных гирь.

Колеса самосвала сразу же погружаются в глину. Мотор отчаянно ревет, земля вдруг начинает зыбко сотрясаться, и делается страшно: не провалиться бы совсем в эту трясину.

Молоденький шофер, только второй день как прибывший на Козу, стоит на подножке весь в мыле и отчаянно газует. Колеса разбрызгивают грязь, воздух делается синим от дыма.

— Гадюка, черт! — кричит шофер в бессильном отчаянии.

«Старичок», шофер в возрасте 31 года, улыбается и осторожно, мягко подгазовывая, подает свою машину назад. Не говоря ни слова, он спрыгивает на пружинистую землю и берет потерпевшего на буксир.

«Старичок» знает, когда нужно поддать газу,

как поставить колеса, как вертеть баранку. Он все знает — ведь работает уже не первый месяц, — и через минуту он лихо выдергивает самосвал «новенького».

«Новичок» вытирает со лба пот, быстро закуривает и несется что есть силы по дороге — догонять товарищей. «Старичок» смотрит ему вслед, улыбается и незаметно подмигивает мне: мол, все в порядке.

Так они и работают: один застрял, другой помогает. Просить о помощи здесь просто в голову никому не приходит: засмеют. Один-то ведь за всех, и все за одного!

Имеет ли он право давать пощечину?

Кошурниково. Полдень. Солнце. Прозрачный перезвон капелей. По улицам проносятся машины, где-то под горой ревет трелевочный трактор, мерно гудит пилорама, смеются дети, играя в снежки, — словом, идет обыденная, но в то же время совершенно необыкновенная и удивительно многозвучная жизнь растущего городка.

Выделить кого-то одного или что-то одно в этом динамичном напористом движении — дело довольно трудное. Поселок живет настолько, если

можно так сказать, компактной жизнью, что уследить за отдельным, частным просто никак невозможно.

Я завидовал живописцам: они могут сидеть часами на одном месте, рисуя весеннюю рощу, строящийся дом или группу людей. Они поэтому могут видеть все: и в деталях и целиком.

И вот я решил последовать примеру живописцев: несколько часов кряду стоял около строящегося двухэтажного дома и — в который раз! — поражался слаженности и вдохновенности человеческого труда.

Около кучи кирпичей, сваленных почти на дороге, неподалеку от фундамента нового дома, стоит паренек в ватнике и в беличьем треухе. Он перетаскивает кирпичи от дороги к дому — машина туда проехать не смогла из-за снега.

Паренек устал, нос и лоб в бисеринках пота. Мимо, грохоча, проезжает бульдозер.

— Эй! — Парень в треухе машет бульдозеристу рукой.

Бульдозер останавливается. Из кабины вылезает долговязый веселый парень в кепочке. Очень лихо выглядит эта его кепочка в лютый мороз, когда уши прохватывает острыми иголочками холода даже в меховой шапке.

— Чего махаешь дланями-то? — спрашивает он парня в треухе.

— Помоги, Петька, замаялся я с проклятым кирпичом.

Бульдозерист, не говоря ни слова, впрыгивает к себе в кабину, опускает огромный нож и, развернувшись в долю секунды, кидает свою машину на кучу кирпичей. Грохот, лязг, нож начинает тащить кирпичи: бульдозерист, видно, хочет одним махом помочь своему приятелю отбросить кирпич с дороги к фундаменту дома.

Парень в треухе бледнеет, на лице его при этом сразу же обозначается несметное количество веснушек всех оттенков и размеров, под кожей начинают прыгать желваки, и, кинувшись к бульдозеру чуть ли не под нож, он растопыривает руки и кричит что-то высоким рвущимся голосом.

Бульдозерист останавливает машину так резко, что она аж подпрыгивает. Нож бульдозера в десяти сантиметрах от ног парня в треухе.

— Ты что, сдурел? — орет бульдозерист, выскочив из кабины на гусеницу.

Парень в треухе подбегает к бульдозеристу и, подпрыгнув, бьет его по щеке. Бульдозерист спрыгивает на землю и спрашивает:

— Ты что ж дерешься?

Веснушчатый в треухе, отдышавшись, вытер лоб.

— Кирпич шестьсот рублей стоит за грузовик, понял, дурень? Я тебя руками просил помочь, а ты, как чумной, с ножом на кирпич полез…

Бульдозерист — здоровенный парень, на голову выше веснушчатого своего обидчика, стоит сбоку, не двигаясь, а потом вдруг, смутившись, машет рукой, залезает в кабину и уезжает.

Я подхожу к веснушчатому и предлагаю:

— Давай помогу.

Парень кивает, и мы начинаем работать вдвоем. Потом я спрашиваю его:

— За кем кирпич записан?

— Не знаю, — отвечает парень, — важно, что ли, за кем? За мной, за тобой, за ним, — кивает вслед ушедшему бульдозеристу, — один черт, наш он, кирпич-то. А знаешь, сколько машина стоит?

— Знаю, — отвечаю я, — шестьсот рублей.

— Не-е, — поправляет меня парень, — пятьсот. Это я ему для стыда большего сказал. — И парень весело смеется, вытирая пот со лба и с носа.

…Кошурниково. Полдень. Прозрачный перезвон капелей. Веснушчатый парень в треухе перетаскивает от дороги к фундаменту нового

дома кирпич, который он считает своим и за который может дать пощечину, потому что кирпич все-таки общий.

Масленица. Костры. Меч

Провожают здесь зиму расплесканным будоражным весельем. Жгут громадные шипучие костры, ходят из дома в дом семьями, вкусно едят, поют, радуются весне, которая пока что угадывается только в середине дня, когда солнце плавит прозрачные сосульки.

Масленицу меня пригласил отпраздновать Иван Ковалев, главный инженер тоннельщиков.

В тот вечер я познакомился со многими его друзьями. И что греха таить — разные люди поразному праздновали Масленицу.

Были и такие, кто к концу вечера и лыка вязать не мог, переусердствовав в количестве поднятых тостов во здравие красавицы-весны.

Человек, сидевший рядом со мной за столом, — высокий, очень спокойный.

На голове у него — фронтовые шрамы, а уши оттопырены — и в этом что-то неизбывно детское и в то же время задиристое. Человек этот веселился вровень со всеми, пел голосистей, задушевней

многих.

Шутил так, что все мы смеялись до упаду, он умел вовремя положить свою руку на руку товарища, чрезмерно часто тянувшегося к чарке, он был неким стержнем нашего праздничного стола.

Это чувствовалось, и поэтому все к нему тянулись, а он шутил, веселился, пел, рассказывал великолепные истории — словом, по определению Зураба Топурии, был самым настоящим тамадой.

В конце вечера я спросил Ивана Ковалева:

— А кто он?

— Меч, — ответил Ковалев. — Наш бригадир коммунистического труда. Он и там такой. — Ковалев кивнул головой туда, где рыли Каспийский тоннель. — И здесь. — Он показал глазами на стол. — Меч — всюду Меч.

На следующий день я видел, как Меч руководил бригадой. Его работа была так же весела, спокойна, тщательна и добротна; он был здесь таким же стержнем, к которому тянулись все, как и вчера за праздничным столом.

…Это очень здорово, но, к сожалению, так бывает не всегда: глядишь, на работе человек — орел, а за праздничным столом — мокрая курица. А Ми-

хаил Меч, как здорово сказал Ковалев, — всюду Меч: и в радости стола, и в радости труда. Здорово это? По-моему — очень.

Зарисовки с натуры

С первым из них мы с Толей Костиным встретились в кузове попутной машины, шедшей из Кордова в Каспу.

Он — взрывник, возвращался из кордовского штаба взрывников на трассу. Был он очень молод и очень сердит.

— Ты что, дружище? — спросил его Костин.

— Ничего, — в сердцах ответил парень и отвернулся.

С полчаса ехали молча. Вдруг, придвинувшись к Костину, он спросил:

— Ты мне объясни, секретарь, гагановцем у нас каждый может быть или только по специальностям?

Толя опешил. Парень усмехнулся и сказал:

— То-то и оно, что по специальностям. Я вот взрывник, я под уставом хожу, под единым правилом безопасности. Бригады у меня нет, я в одиночку рву, понял? Пришел к начальству, попросил: «Пустите, говорю, где труднее, чтобы к

Гагановой приблизиться». А они: «У взрывника всюду трудно, иди обратно, не дури, рви свой гранит».

Толя Костин засмеялся и сказал:

— Точно, не дури. Хоть ты в коммунизм с динамитом входишь, но тебе там тоже почет будет, как Вале. У тебя не станок под рукой, а гибель. А ты эту гибель на жизнь обращаешь. Так что, я полагаю, ты тоже гагановец, если только рвешь на всю железку. Как думаешь? — спросил Толя меня.

— Я думаю, гагановец, — сказал я.

Взрывник долго изучающе рассматривал нас, а потом зло махнул рукой и отвернулся.

А машина мчалась все дальше, мимо огромного, ревущего, смеющегося, громыхающего фронта работ…

…21 января 1960 года. В Кошурникове ударил мороз: 54 градуса ниже нуля. Воздух, густой, стылый, аж трещал, единоборствуя с холодом. Мороз властвовал в Кошурникове: на улицах не было ни одной живой души, все сидели в домах около печек, раскаленных докрасна.

Топили беспрерывно, дрова катастрофически шли на убыль. К завтрашнему дню могли остаться без дров столовая, детсад, ясли, клуб, общежитие.

Первым из дому вышел секретарь комсомольского бюро, мастер Михаил Воротников.

Он не бежал по улице, чтобы люди не подумали: «Сдрейфил секретарь». Он шел неторопливо и спокойно.

Перед входом в общежитие он задержался и немножечко дольше, чем нужно было, отряхивал веником валенки.

Потом он вошел к ребятам и сказал:

— Сегодня никто не работает. А дров в поселке с гулькин нос. Если завтра будет такой же мороз, дров не останется вообще. Кто пойдет в тайгу добровольно?

Ребята неторопливо закурили, покашляли, быстро посмотрели друг на друга. Первым поднялся член комитета комсомола тракторист Эдик Зайков.

За ним поднялись остальные. Никто не говорил красивых слов о мужестве. Вообще никто ничего не говорил. Просто вышли из дому, сели в машину и поехали в тайгу и заготовили дров.

И в яслях, в клубе и в столовой было и завтра тепло так, как будто никакой пятидесятиградусный мороз не рвал воздух, не ломал стволы деревьев и не делался сухим и хрустящим, как пережженный черный сухарь.

Это ли не лучшая иллюстрация к девизу: «один за всех»?

Этим «одним» здесь были комсомольцы Воротникова, а «всеми» — жители Кошурникова, замечательного поселка строителей, взрывников и шоферов — дерзостных землепроходцев, отважных мечтателей, вдохновенных творцов.

Комсомольцы головного ремонтного поезда 38 создали свою футбольную команду. Ответственная встреча была назначена на воскресенье.

В Кордове, где жил центр нападения, в субботу задержались с работой. Был аврал, в общежитие вернулись поздним вечером. Ни одной машины около чайной — своеобразного перевалочного пункта — уже не было.

Что делать? Центр нападения мог бы лечь спать, и его совесть перед товарищами по команде была бы чиста.

Но центр нападения не стал ложиться спать. Он выпил чая, съел два бублика с маслом и отправился в Курагино пешком. Он прошел по тайге 60 километров за ночь и утром вышел на футбольное поле. Он забил два гола.

Ответственная встреча была выиграна. И тогда форвард ушел *к* реке, постелил пиджак, лег и уснул. Он проспал семь часов кряду. Открыв

глаза, он увидел незнакомого шофера, который сидел неподалеку и удил рыбу.

— Ты что? — спросил форвард.

— А ничего, — ответил шофер. — Тебя жду. В Кордово еду. Мы попутчики. Ты, между прочим, здорово бьешь с левой.

Шофер поднялся, взял двенадцать ершей, нанизанных на прутик, бросил их в кузов и сел за руль.

— Айда, — сказал он, — а то поздно. Я тебя часов пять уж караулил…

— Откуда узнал, что я здесь?

— Ребята сказали.

— А отдыхать тебе когда?

— Ладно, давай садись, Бесков…

…По прежним временам его бы на работу не взяли: он не имеет постоянной жилплощади, и справку из домоуправления для кадровика никто ему не выдаст.

Его знают все на трассе: и начальство, и ветераны, и те рабочие, которые только что прибыли сюда с «запада». Ну как же его не знать, когда он начштаба всей стройки — Михаил Сивенко, выпускник МГУ, филолог и романтик.

Месяцами он ездит по трассе, вникая во все и во вся. Он спит у ребят в общежитиях и палатках,

ходит вместе с ними на работу, вместе с ними ловит рыбу, вместе с ними танцует в клубе, вместе с ними жарко выступает на собраниях, он живет их жизнью, их планами и мечтами.

И хотя у Сивенко нет постоянного жительства — найти его совсем нетрудно. Спросите любого комсомольца на протяжении всей двухсоттридцатикилометровой трассы: «Где начштаба?» — и вам обязательно ответят.

Он молодец, этот Сивенко, хотя и нарушает устав. Штаб наступающей армии должен быть в тылу, а здесь штаб на самом переднем крае. И право же, очень он хорошо делает, что нарушает устав. Рабочие стройки одобряют это нарушение.

Что видно весной?

Особенно ярко — поросль молодой травы. Зеленая, яркая, сочная, она сразу же бросается в глаза, она запоминается, она — самая великолепная иллюстрация *к* предстоящему цветению.

Почему форвард из Кордова шел 60 километров через ночную тайгу? Почему комсомольцы Кошурникова в пятидесятиградусный мороз добровольно уходят за топливом для всех? Почему Зайков перевозил людей на тракторе по горло в

воде? Почему парень в беличьем треухе может ударить в лицо другого, крошащего кирпич?

Всмотритесь внимательно в этих людей, проанализируйте их поступки. Учтите: их работа качественно отлична от работы металлурга, от продуманной работы доярки, отлична их работа от творчества и тех, кто стоит у станка-автомата. Что это — противопоставление? Нет, это констатация факта.

Творчество ребят Южсиба находится в непосредственной связи с окружающей их природой, той самой суровой сибирской природой, которая не очень-то жалует людей тайги своими благами. У здешней сибирской природы блага берут с боем, с трудным, подчас кровопролитным боем.

На Южсибе штурм ведут тысячи.

В основном это люди, у которых слева на лацканах пиджаков комсомольский значок, эти люди — гвардейцы Ленина, они сражаются против природы за природу. Они — я не устану повторять — вдохновенные творцы.

Они пришли сюда, в этот трудный край, не ради личных благ, не в поисках высокого заработка (заработок у них был достаточен в Москве, Киеве, Ленинграде и Уфе), нет, они пришли сюда по велению сердца, они пришли сюда как коммуни-

сты, они пришли сюда для того, чтобы победить. И они побеждают уже сейчас.

Уже сейчас они радуются своим победам. То, во имя чего они трудятся, — не отдаленная мечта.

Они видят плоды своего труда уже сегодня.

В тайге следом за ребятами благодаря их вдохновенному творчеству вырастают институты, студентами которых они становятся; строятся клубы, где они вечерами лихо отплясывают или затаив дыхание смотрят спектакль — театра, приехавшего на гастроли.

Радостна их жизнь, ими созидаемая. Еще вчера жили в палатках, а сегодня справляют комсомольские свадьбы в чудесных квартирах; еще вчера ездили за книгой в Абакан, а сегодня ходят в свою кошурниковскую читальню и библиотеку; еще вчера покорялись тайге, а сегодня властвуют над ней.

И потому, что труд сегодня свободен и радостен, так много песен поют парни и девчата. Они поют песни о счастье, потому что счастье они делают сами, потому что нет большей радости, чем жить и работать так, как живут и работают наши ребята сегодня.

И потому, что жизнь их радостна, и потому, что сегодня они строят счастье, побеждая суровые

трудности сибирской природы, можно видеть то, что будет. Скоро, очень скоро будет…

И видится

…тот день, когда по Южсибу пройдет первый поезд. Будет много солнца и песен.

Будут развеваться знамена, будет радость и счастье совершенного подвига. И никому не известная веснушчатая, курносая, радостная девчонка будет передавать в эфир с радиостанции солнечного города Кошурниково:

— Раньше срока комсомольцами сдана народу трасса Южсиба, трасса мужества, трасса коммунизма.

Эти слова услышат все радиостанции мира. Эти слова напечатают газеты мира. Эти слова услышит вселенная.

Вся планета наша будет внимать этому голосу.

И за простыми словами человечество увидит мужество тех, кто штурмом взял небо, кто построил трассу коммунизма, кто построил трассу Ленина.

Вавилон, здравствуй! (Египет – Сирия – Ливан – Ирак, 1960)
Потный парень из Бонна

Около пирамиды Хеопса бегает молодой парень, увешанный фотоаппаратами. Он весь в мыле, рубашка промокла, по лбу катится пот. Нос обгорел, и цвет у него уже сейчас отчаянно-свекольный.

— Надо бы сказать, чтобы он смазал одеколоном нос-то, — говорю я моему спутнику господину Хамиду.

— Ну его к черту! Пусть бы он весь обгорел, этот молодчик из Бонна.

Почему добрый господин Хамид в традиционной красной феске и в синем, с иголочки, костюме от лучшего портного так неожиданно груб? Спрашивать неудобно. Надо наблюдать.

Долго ждать не приходится. Вижу, как немец подходит к арабу, одетому в национальный костюм, и пальцем манит его за собой. Араб, дежурящий у пирамиды вместе со своим верблюдом — приезжие любят делать экзотические снимки и неплохо платят за это удовольствие, —

идет следом за немцем. Тот манит его еще дальше, к маленькому кусочку земли, обнесенному колючей проволокой: это чей-то крохотный огородик, проволока здесь условна, как в общем-то и сам огородишко. Но собственность есть собственность — ее пристало обносить чем-то. Колючей проволокой лучше всего. Тем более что во времена империалистического господства в Египет завозилось слишком много колючей проволоки — отнюдь не для того, чтобы обносить огороды. Сейчас она ржавеет без дела… А немец, конечно, хочет показать араба за колючей проволокой. Фальсификация совершенно явная. И очень грубая.

Немец ставит араба около проволоки, падает на колено, прикидывает кадр сразу из трех аппаратов и просит араба смотреть на пирамиду, сурово сжав губы и нахмурившись. Он так и говорит, жестикулируя, нещадно перевирая слова.

— Плохо смотри, зло смотри, пирамида смотри.

Араб внимательно разглядывает немца, а потом говорит:

— Бахшиш!

Немец отвечает:

— Потом.

— Бахшиш, — спокойно повторяет араб.

Немец лезет в карман, достает деньги и протягивает арабу несколько фильсов. Тот внимательно пересчитывает деньги, опускает их в карман и принимает позу. Только смотрит он на пирамиду, весело улыбаясь.

— Плохо смотри! Плохо! — сердится немец.

— Зачем плохо? — удивляется араб. — Мне приятно смотреть на пирамиду, я очень люблю смотреть на нее, я вот уж тридцать лет любуюсь ею.

Задуманного кадра не получилось у немца…

Когда он отошел к своей машине, господин Хамид сказал арабу с верблюдом:

— Э, дружище, ты бы сказал ему, кстати, что в пирамиде много камней с Асуана, а я бы тем временем сбегал за врачебной каретой: немец наверняка сбесился бы…

— Зачем? — удивился араб. — Он же глупый. И потом, у него обгорел нос. У всех европейцев обгорают носы, и они глупеют из-за этого до конца.

Господин Хамид смущенно покашливает.

— Я тоже европеец, — говорю я арабу.

— Из Германии?

— Из СССР.

Араб улыбается, подходит ко мне, пожимает

руку и, тщательно выговаривая все буквы, произносит:

— Никита — ха-ра-шо!

Потом он отходит от колючей проволоки подальше и предлагает снять его вместе с верблюдом на фоне пирамиды.

— Бахшиша не надо, — говорит он, — это мой подарок человеку из России.

Пустяк, казалось бы. Ну, предложил араб сфотографировать его «в подарок», без бахшиша. А вдуматься — человек ведь живет этим позированием, он кормит этим себя, семью и своего верного помощника — верблюда. И вот, поди-ка, решил сделать подарок человеку из Советского Союза, а кто знает, придет ли сегодня еще один иностранец с фотоаппаратом?

Значит, много хорошего известно этому простому арабу о нашей стране и о наших людях, если он готов сделать такой подарок — очень дорогой и очень трогательный…

Отец, мать, он и его дети

Моросит дождь. Мелкий, словно процеженный сквозь рваное решето низких туч. Капли дождя о чем-то быстро шепчутся с накрахмален-

ной листвой пальм. Далеко-далеко внизу море. Рассерженное непогодой, оно хлещет тугими зелеными волнами в прибрежные камни. Серая водяная пыль висит в воздухе тяжелым облаком. Оно растет, ширится, оно поднимается вверх, окутывая маленький ливанский городок Джунию, оно ползет по виноградникам сюда, в горы, к храму Нотр-Дам-де-Либан.

Облокотившись локтями о балюстраду, окружающую храм, смотрю вниз, на море. За моей спиной кто-то кашляет. Оборачиваюсь и вижу человека в черной сутане. Волосы с проседью, густая, коротко подстриженная бородка, удивительно мягкие глаза. Смуглость кожи подчеркивается ослепительно белой полоской рубашки, стягивающей шею.

— Добрый вечер…

— Добрый вечер, — отвечаю я.

Мурад, мой маленький спутник, шепчет:

— Эго отец Морис, настоятель храма.

Отец Морис спрашивает:

— Вы пришли молиться? Сейчас начнется служба. Брат Фрер-эль-Нугри не приглашал вас?

— Спасибо, но я неверующий.

— Простите?

— Я неверующий.

— Вы мусульманин?

— Нет, я не верю совсем. Я атеист.

Вокруг мягких глаз собираются морщинки. Губы трогает чуть заметная улыбка:

— Как же вы можете жить без веры, сын мой?

— У меня есть вера.

Отец Морис кивает:

— Да, я знаю о вашей вере. Но вера без Бога — какая же это вера? Вы несчастны без Бога, вам не к кому обращать молитвы. Разве можно быть счастливым без Бога?

— Можно. Я счастлив.

Он смотрит на меня недоверчиво. Потом так же недоверчиво улыбается:

— А мальчик?

Видимо, он решил, что Мурад — мой сын. Я не успеваю ответить — за меня отвечает Мурад.

— Я мусульманин, — гордо говорит он, — я не верю Христу! А ваши дети, — с великолепной непосредственностью ребенка интересуется он, — они тоже христиане?

— Все мои дети — христиане.

Я спрашиваю:

— У вас обет безбрачия?

— Да.

— У вас нет семьи?

— И вы счастливы?

— О да!

— Но как же можно быть счастливым, когда нет детей?

— Все люди, — спокойный жест руками, словно обнимающими мир, — мои дети. Моя Мать, — глаза подняты к огромной скульптуре Богоматери, — здесь, а Отец — Бог. Он несет людям счастье и спокойствие. Люди, которые верят в Бога, — чистые люди светлой души…

У ворот храма скрипят тормоза. Почти упершись радиатором в решетку, останавливается голубой «шевроле». Кутаясь в легкие меховые пелерины, из автомобиля выскакивают две молоденькие женщины и, прикрывая руками пышные прически, бросаются к храму. Следом за ними идет пожилой мужчина в визитке. Он идет медленно, ступая по лужам, тяжело дыша. Лицо у него белое, испитое, под глазами — отеки.

Мурад знает все; он осторожно трогает меня за рукав и шепчет:

— Это господин из казино.

Совсем неподалеку от храма — огромное казино, а попросту говоря, игорный дом.

— А этот ваш сын тоже чист душой? — спрашиваю отца Мориса. — Он что, приезжает в храм

просить у Бога выигрыша? Или, быть может, удачи в шулерстве?

Отец Морис смотрит на меня и молчит.

— Там, — я киваю на казино, — ваши дети тоже проводят время богоугодно, а?

С лица отца Мориса сходит улыбка. У глаз собираются добрые морщинки рано состарившегося человека. И он тихо отвечает:

— Знаете, я никогда не смотрю в ту сторону…

Моросит дождь. Мелкий, словно процеженный сквозь рваное решето низких туч. Капли дождя о чем-то быстро шепчутся с накрахмаленной листвой пальм. Далеко-далеко внизу Средиземное море… Отец Морис поворачивается и идет в храм следом за теми тремя, из казино, за своими «детьми», у которых есть бог — золотые кружочки, на которые, как им кажется, можно купить все: и любовь, и отпущение грехов.

Две точки зрения

— Будьте любезны, пачку сигарет.

— «Кент»? «Кэмэл»? «Лаки страйк»?

— Нет, спасибо. Я не хочу американских сигарет. Дайте ливанских, пожалуйста.

— Каких?

— Ливанских.

Продавец удивленно смотрит на меня. Выражение лица у него меняется. Если, предлагая «Кент», он весь так и светился любезностью, то сейчас, когда я попросил ливанские сигареты, в его глазах пропал всякий интерес ко мне. Человек, покупающий ливанские сигареты, которые в три раза дешевле американских или английских, — явно несостоятелен, он не настоящий покупатель.

— Простите, — говорю я, положив на прилавок деньги, — но мне кажется, вам должно быть приятно, когда приезжий просит именно ливанские сигареты…

— Больше всего мне приятен хороший оборот.

— Но ведь вы ливанец?

— Месье, я торговец.

Лучшая иллюстрация к словам Маркса о том, что деньги не имеют родины…

Этот продавец, имея дело с иностранными фирмами, как выяснилось, преуспевает. А вот другой коммерсант, торгующий ливанской обувью, жаловался мне:

— Подумайте только, я вынужден продавать свои товары, мало в чем уступающие французским, в два-три раза дешевле. Что же делать? Я хочу увеличить свой бизнес, расширить ма-

стерскую — и не могу свести концы с концами. Бросить все и стать перекупщиком у французов? Обидно. Ведь я ливанец, вы понимаете…

Это представитель национальной буржуазии, дела у которой исключительно трудны: иностранная конкуренция давит местную промышленность и ремесла. Великолепные ливанские товары сплошь и рядом не находят сбыта.

Соседний балкон

Портье в отеле, где я остановился, очень молод, очень красив и подчеркнуто элегантен. Его зовут месье Жоржи. Каждый день недели он встречает новым галстуком. Месье Жоржи общителен. Он знакомится со всеми иностранцами.

— Добрый вечер, месье, — улыбается он из-за своей конторки, — как вы отдохнули с дороги? Хорошо? Я рад. Вы идете смотреть Бейрут? Месье, будьте внимательны и запоминайте все, чтобы ночью увидеть во сне жемчужину Востока. Бейрут видят во сне все — уверяю вас! Вы слишком тепло оделись — сейчас все-таки тридцать. Ах, у месье нет белого пиджака? Французы говорили: «Человек без белого пиджака может быть либо финансистом, либо честным человеком». Почему

говорили? Потому что сейчас у нас говорят по-арабски. Простите, вы издалека? О, из России?! Салам ва ахлан! Тогда вы явно честный человек, ведь в России нет финансистов! Месье приехал провести в Бейруте отпуск? Ах, вы пишете?! О, я обожаю художников. Ах, не живопись? Литература! Я знаю Толстого, я читал его рассказы о ковбоях.

— Вы имеете в виду «Казаков»?

— О-ля-ля, какая разница, месье, казаки или ковбои — и те и другие ездят на лошадях и любят женщин!

Навстречу по холодной мраморной лестнице поднимаются двое — парень и девушка. В руках у девушки цветы. Парень вертит цепочку с автомобильным ключом на указательном пальце. На руках, а особенно на сгибах пальцев видны черные точечки въевшегося в кожу машинного масла.

— Салам! — весело говорит парень. — Мы пришли!

— Салам! — отвечает месье Жоржи. — Поздравляю. Ваш номер 503. Э, Ахмед! — кричит он своему помощнику. — Дай ключ Лиону, он только что из церкви.

Лион и его жена садятся в лифт.

Месье Жоржи качает головой и прищелкивает языком. Он видит мое удивление. И он говорит:

— Знаете, французы говорили: «Жизнь похожа на цирк…» Увы, это истина. Не спрашивайте меня больше ни о чем, месье, я и так сказал слишком много, месье, счастливой прогулки, месье… Вам не понятно? У него нет денег на квартиру — он пришел к нам провести свадебную ночь, ясно?

…В отель я вернулся поздним вечером. Город светился отчаянным разноцветьем реклам. Бело-красные электрические кони заученно поднимали ноги, рекламируя виски «Белая лошадь»; вертелись колеса сине-желтых автомобилей, предлагая купить «форд» или «Волгу»; подчеркнуто скромная красная реклама приглашала посетителей заглянуть в публичный дом «Катиа». И все это море огней образовывало великолепный рисунок ночного города — сказочный и фееричный рисунок. Бейрут засыпал, а реклама бесновалась по-прежнему. Для кого?

В кинотеатре «Палас» закончился фильм «Террор варваров» — американский псевдоисторический боевик с мускулистыми скифами, чуть прикрытыми кусочками шкур с убитых ими леопардов, и с девицами, ничем не прикрытыми, но зато тщательно наманикюренными.

Люди разошлись, и стало совсем тихо. Пронеслась желтоглазая машина, дробно простучали каблучки — и снова ни звука в городе, залитом мертвенным светом реклам. И даже лимонная долька месяца кажется рекламой.

...И вдруг совсем рядом я слышу плач. Осторожно открываю дверь в холл — там никого нет. Возвращаюсь в номер — явно кто-то плачет. Выглядываю в окно: через балкон от меня сидит мужчина. Он без пиджака. Видно, как у него трясется спина. В дверях, позади мужчины, стоит женщина. Я присматриваюсь: это та самая пара, молодожены, которым негде было провести свою первую ночь.

Осторожно закрываю окно и звоню вниз, к месье Жоржи. Он быстро поднимается в номер. Лицо у него усталое, а глаза смотрят грустно и очень спокойно.

— Да, я все знаю, — говорит он, — я знал это и тогда, когда он только решил идти с ней в церковь. Я знаю о ней кое-что. Не ее вина — как-то нужно было кормить семью. И потом оккупация. Вы не знаете, что такое оккупация, что такое пьяные солдаты и офицеры с карманами, набитыми деньгами. Она знала это. А он только что узнал.

По холлу быстро простучали каблучки.

— Все, — сказал месье Жоржи, когда их стук на лестнице стих. — Все. Конец замужеству…

Утром я проснулся от криков зеленщиков: прямо под моим балконом базар. У зеленщиков веселые, звонкие голоса.

Солнце, пробившись сквозь жалюзи, вьет на ковре затейливый рисунок. Я открываю окно и вижу на балконе парня, который сидит в той же позе, что и ночью. Он услыхал, как я открыл окно. Обернувшись, он смотрит на меня.

Лицо у него осунувшееся и постаревшее. Он долго смотрит на меня, а потом говорит:

— Ничего. Добрый день, сосед. Ничего.

И поднимается со стула. Толкает рукой дверь. Оборачивается еще раз, хочет улыбнуться, но улыбки не получается. Парень уходит.

А Бейрут, умытый солнцем, шумит, звенит — веселый, красивый город, настоящая жемчужина Востока.

Пристегнувшись к креслу…

…На щитке вспыхивают слова: «Внимание! Не курить! Привяжитесь к сиденьям». Молоденькая стюардесса объявляет:

— Мы покидаем Бейрут, столицу Ливана…

Всего три дня я провел здесь. Десять часов в Египте, остальные — в Ливане. Ведь основная цель — Ирак: Багдад, Вавилон, Басра…

В суматохе поездок, в знакомствах с новыми людьми не успеваешь толком обдумать увиденное. Поэтому к самолету относишься, словно к письменному столу — здесь можно спокойно полистать записи, разобраться в некоторых впечатлениях и, как говорится, подвести под чем-то черту.

…Бейрутские журналисты рассказали мне, что во время пребывания в Ливане шестого американского флота некоторые правые газеты восторженно захлебывались, приветствуя этот визит. Свой восторг они мотивировали следующим образом: в составе флота около шести тысяч человек. Каждый матрос, сходя на берег, получал восемьдесят долларов на «гулянку». 6000 × 80 = 480 000 долларов. Полмиллиона. Не считая денег, оставленных более состоятельными офицерами в казино, ресторанах и публичных домах. «Приток иностранной валюты — основа процветания государства!» — утверждали правые газетчики. А перед моими глазами вставал шофер Лион и его жена, которая должна была кормить семью. Одна ли она такая? Плата за обучение в школах

и колледжах огромная, работу женщине найти необычайно трудно. Где же выход, если в семье пять маленьких, отца нет, а мать больна?

Так кому же несут процветание эти «флотские доллары»?

…Огромный холл бейрутского аэропорта отделан фресками. Фрески эти, конечно, не имеют ничего общего с классической настенной живописью. Рисунки на стенах рекламируют то, что ждет человека в Ливане. Рулетка, баккара в казино, ночное кабаре с девочками из «Мулен Руж», охота, катание на лыжах, купание в лазурном море — словом, бездумное, веселое времяпрепровождение. Были б деньги: доллары, франки или фунты — не важно! Обменный банк и бесчисленные менялы к вашим услугам.

Рекламируются отдых и развлечения только на двух языках: на английском и французском. Очень обидно было, что эту замечательную страну трудолюбивых, честных и добрых людей рекламируют, как товар для заезжих иностранцев. Очень это обидно и неприятно, хотя те, кто кричит о процветании нации благодаря «флотскому полумиллиону», и те, по чьему указанию пишутся фрески в аэропорту, не устают колотить себя кулаком в грудь и уверять, что именно такой

путь Ливана самый верный и благополучный.

Я вспоминаю одного журналиста. Сердясь, закуривая одну сигарету за другой, он говорил мне:

— Мы выпускаем пиво, лучшее на Востоке. Это пиво месье Джалляда. Мы строим замечательные дома. Строим по нашим проектам, с нашими рабочими. Мы шьем хорошие костюмы и выращиваем отличный табак. Неужели мы не можем ездить на автомобилях, которые будут сделаны на нашем заводе, и применять на строительстве наши краны?

Я слушал моего собеседника и молча соглашался с ним. Вслух соглашаться не хотелось, потому что жупелом «коммунистической опасности», к сожалению, начинают очень часто размахивать именно тогда, когда предлагаются разумные, деловые вещи. Но жизнь есть жизнь, и она сама заставляет думать о будущем тех, кто зависит сегодня от всяческих приезжих «дядей». Проблема машин и станков — такая проблема, о которой все больше и больше людей начинает задумываться. И особенно на Арабском Востоке.

...На щитке вспыхивают слова: «Не курить! Пристегнитесь к сиденьям — идем на посадку!»

Молоденькая стюардесса ослепительно улыбается в объявляет:

— Под нами — Багдад!

Багдад, Багдад — волшебный город! Как много знают о тебе, Багдад! Как много людей восхищались твоей великой историей, как много людей проклинали само имя твое в те черные дни, когда над Востоком нависла зловещая тень Багдадского пакта, и как много людей во всем мире рукоплескали революции, свершившейся здесь, — революции, свалившей ненавистный режим кровавого Нури Саида, прихвостня западных империалистов!

Багдад, Багдад — волшебный город! Как много дорог идут отсюда во все концы Иракской Республики! Идут дороги на север — в промышленный Мосул и Киркук, идут дороги на запад — к Сирии, идут дороги на юг — в Басру, к берегам Персидского залива.

Идут дороги по шумному Багдаду. Мимо строгого памятника Неизвестному Солдату, мимо празднично расцвеченного павильона советской выставки, которая с таким успехом прошла в Багдаде месяц тому назад, ведут дороги по тем местам, где багдадцы восторженно встречали дорогого советского гостя — Анастаса Ивановича Микояна, ведут дороги в пустыни и в оазисы, к новостройкам и к памятникам седой старины.

Манит дорога: она сулит встречи с людьми, она сулит новое, то, к чему так лежит человеческое сердце, она ведет в даль, неведомую, а потому всегда интересную…

К югу от Багдада

Старик сидел на солнце. Он грел ногу. У него сильно болело колено — так бывало всегда перед переменой погоды. А сейчас с Персидского залива дул жаркий ветер.

«К вечеру будет гроза, — подумал старик и осторожно потрогал узловатыми, костистыми пальцами опухшую ногу. — Когда оттуда несет жаром и летит песок, всегда бывает гроза».

— Э, Дауд! — негромко позвал старик.

Никто не ответил.

«Мальчишка заигрался, — решил старик, — он ничего не слышит. Дети ничего не слышат, когда играют. И ничего не видят. Это хорошо, когда дети так играют…»

— Э, Дауд! — крикнул старик еще раз, громче.

Снова никто не отозвался.

Тогда старик осторожно согнул ногу, морщась от боли. Потом он уперся руками в теплую сухую землю и поднялся, по-прежнему морщась от боли

в колене.

— Э, Дауд! — сердито и громко закричал старик.

«Зачем я сержусь? — вдруг, улыбнувшись, подумал он. — Ведь мальчик заигрался! Нельзя сердиться на детей, которые играют».

Прихрамывая, старик пошел к дому. Там тоже никого не было: все с утра работали на финиковых плантациях. Старик прошел через дворик и спустился к маленькому каналу, прорытому от Шатт-эль-Араба почти к самому дому. Он сел на берег и опустил больную ногу в воду.

«Вода все лечит, — подумал старик, — сейчас боль уйдет».

Он верил в то, что вода может вылечить все болезни. Он поверил в это давно, лет шестьдесят тому назад, когда шел с караваном от Басры в Багдад через великую пустыню. Тогда его звали Наср, а не старик, как сейчас. Он тогда отстал от каравана, погнавшись за огромной ящерицей. Он долго гнался за ящерицей, которая то неслась со всех ног, то, резко остановившись, замирала, оборачиваясь на своего преследователя. Когда ящерица останавливалась, Наср тоже останавливался, потому что зверек исчезал, сливался с песком. Тогда Наср начинал идти осторожно,

высоко поднимая ноги: он боялся наступить на ящерицу. Он шел, размахивая руками и время от времени покрикивая. Ящерица подпускала его вплотную, а потом убегала дальше и снова останавливалась, сливаясь с песком.

Наср не заметил, как наступил вечер. Ведь дети ничего не видят и ничего не слышат, играя! Пустыня из раскаленно-белой сделалась сначала желтой, как яичный желток, а потом розовой. И солнце, поначалу белое, стало желтым, а потом ослепительно-красным. Небо стало синим. А когда пески становятся розовыми, а небо синим, а солнце ярко-красным, тогда приходит вечер.

Наср обернулся и не увидел каравана. Сначала он испугался. А потом подумал: «Ничего, я догоню караван по следам». И, прокричав вслед убегавшей ящерице ругательство, он повернул назад.

Но прошло полчаса, не больше, и небо стало черным, песок стал черным, и нельзя было идти по следам, потому что все потонуло в молчаливой, непроглядной темноте. Ночью подул ветер. И наутро следов вообще не осталось. Вокруг лежала пустыня — хищная, спокойная, безмолвная, без конца и без края…

Мальчика нашли через два дня. Он лежал, наполовину засыпанный песком. Он не мог открыть

глаз и не мог пошевелиться — от усталости, жажды и страха. Сквозь звенящую, невесомую дрему он услыхал голос караван-баши. Тот сказал:

— Принесите бурдюк с водой. Надо облить мальчика водой — из него уйдет болезнь и страх.

Насра окатили водой, и он открыл глаза.

— Пить, — попросил он.

Караван-баши засмеялся, а потом ударил его кулаком по лицу.

— Не смей отходить от каравана! — сказал он и еще раз ударил Насра кулаком по лицу.

Наср вытер кровь, которая пошла носом, и тоже засмеялся от счастья и еще оттого, что совсем прошел страх. Потом его напоили, и дали немного поесть. И караван пошел дальше.

…Старик держал ногу в воде. Боль постепенно исчезала. Старик улыбнулся и подумал вслух:

— Все плохое боится воды. Боль боится воды. Я же знаю. Вода лечит всё.

Второй раз он убедился в этом, когда его ранили. Англичане из «Басра петролеум» напились по случаю какого-то праздника и стали ездить по городу на своих джипах. А потом, ближе к вечеру, они начали стрелять в воздух, в землю и в воду. И они ранили Насра в плечо. Наср сел на корточки и заплакал — не от боли, а от обиды. Его друг,

Саид эль-Фаиз, тоже грузчик, сказал:

— Не надо плакать, Наср. Тут слезами не поможешь. Сначала давай промоем рану. А слезами тут не поможешь. Тут надо винтовками помогать.

Он сходил к реке и принес в плошке воды. Потом разорвал свой платок, намочил его водой и приложил к плечу Насра. Боль успокоилась, а через неделю рану затянуло белой кожей. Саида эль-Фаиза старик больше не видел. Пока он лежал дома, Саида арестовали, а потом убили в тюрьме у Нури Саида.

В порту Наср работать не смог. Он не мог таскать мешки на пароходы: не позволяло плечо. Руки были по-прежнему сильными, а плечо болело, когда поднимал тяжести. И Наср начал работать на финиковой плантации у помещика. Сначала он не умел лазить по пальмам. А потом его научил надсмотрщик. Он учил его, как лошадь, — кнутом. И Наср стал лазить по стволам быстро, словно обезьяна, потому что внизу стоял надсмотрщик с кнутом и пел английские песенки. А Насру хотелось петь арабские песни — о дальних караванных путях в пустыне, о воде, которая исцеляет, о небе, которое кажется нарезанным длинными дольками, если смотреть

снизу, через стрельчатую листву пальм. Ему хотелось петь о счастье, которого не было, но которое должно было прийти, потому что в это верил Саид эль-Фаиз.

…Боль в колене совсем прошла.

Старик вынул ногу из воды, вытер ее ладонями и пошел по тропинке к финиковой плантации. Там теперь не было надсмотрщика, там теперь никто не щелкал кнутом и не пел английских песен, и поэтому старик любил ходить туда. На старой плантации звенели детские голоса: ребята играли, лазая по пальмам наперегонки. Старик остановился в тени дерева, наблюдая за ними. Старик долго смотрел на ребят. Он увидел своего внука Дауда. Мальчик лазил быстрее всех остальных. Старик вышел из тени дерева и подошел к ребятам.

— Салам! — сказали ребята.

Старик ответил им кивком головы.

— Что же вы перестали лазить по пальмам? — спросил он. — Я хочу посмотреть.

И старик сел под деревом, а ребята снова начали свою игру. Старик долго наблюдал за ними, а потом сказал:

— Вы все не умеете лазить по пальмам. Вы все торопитесь и поэтому не можете понять, какая

это радость — лазить по нашим пальмам.

Старик поднялся с земли и сказал:

— Вот смотрите, как это нужно делать!

Мальчишки переглянулись. Но никто не засмеялся. Только внук старика Дауд отвернулся, потому что ему стало стыдно за деда. Старикам нельзя лазить по пальмам: это очень смешно — смотреть на них, когда они лазят.

Старик обхватил пальцами теплый пахучий ствол дерева и полез вверх, переступая босыми ногами по толстым выступам на коре. Пальма была высокая, и поэтому кора на ней загрубела и стала как камень. Пальма пахла зноем. У нее был запах пустыни — сухой, пряный и резкий.

— Смотрите, — сказал старик, поднявшись метра на три, — смотрите, вы лазите, как обезьяны, вы торопитесь и ничего поэтому не чувствуете: ни запаха дерева, ни ветра, который становится прохладным, когда забираешься повыше, — вы не смотрите на землю, которая сверху всегда кажется красивее, чем есть на самом деле.

И старик полез дальше. Движения его были плавными, спокойными и поэтому сильными. Правая рука — вверх, следом за ней — еще выше — левая. Быстро подтягивается все туловище, а потом переступают ноги, тоже сначала правая,

а потом левая. Не надо прижиматься к коре: это — свидетельство страха. Надо держать тело, как держит наездник, — чуть откинув назад, потому что пальма, как и конь, — друг человека: конь возит, пальма кормит.

Старик лез все выше, совсем не чувствуя усталости. Старик посмотрел вниз: мальчишки стояли молча, задрав головы, и никто не смеялся.

«Значит, я хорошо лезу, — подумал старик. — Дети всегда смеются над тем, что смешно. Они не умеют скрывать своих чувств...»

Он лез свободно, как бы совсем не прилагая усилий, откинувши корпус и подняв голову, чтобы все время видеть небо через стрельчатую крону пальмы. И старик, чувствуя, как он красиво и легко лезет, негромко запел. Он запел ту песню, которую мечтал петь тогда, давно, когда на плантациях стояли надсмотрщики с кнутами.

Забравшись на самую вершину, старик почувствовал, как сильно он устал.

С залива шли черные низкие тучи, и в них, как что-то неведомое и грозное, глухо ворочался гром. Казалось, он подгонял тучи, торопил их и сердился из-за их медлительности.

Когда старик спустился вниз, на руку упала первая капля.

«Вот и хорошо, — подумал он, — будет ливень, он снимет боль в ноге, он напоит землю, а то земля стала настоящей пылью. И воздух станет чистым».

— Ты хорошо лазишь по стволу пальмы, — сказал Дауд, внук Насра, — я даже не знал, что ты умеешь так лазить.

Старик ответил:

— Ты не знаешь многого из того, что знаю я. И — не узнаешь…

Молния резанула потемневшее небо, высветлив воду в канале и сделав листву пальм бело-голубой. Все окрест на мгновение замерло, а потом, заглушая высокий голос муэдзина, который возвещал в селении время намаза, хлынул ливень — шумный, веселый, по-весеннему щедрый…

Она будет балериной

Ночное варьете в Басре. Прокуренные стены, тусклые, засиженные мухами лампочки, духотища, толчея, смех, крик. Вокруг эстрады, выложенной прямо посреди зала разноцветными стеклянными плитками, тесно прижавшись друг

к другу, сидят посетители. Кто побогаче — расположился за столиками; пьют виски с содовой, закусывая миндалем, обжаренным в соли. У входа стоит наряд полиции.

Ревет джаз. Танцовщица очень красива и очень молода. Запрокинув руки за голову, она вся в стремительном и неистовом народном арабском танце. Глаза полузакрыты, волосы распущены по плечам. Лицо настолько юное и свежее, что краска кажется ненужной, оскорбляющей красоту девушки.

В дальнем углу, там, где почти совсем нет света, сидят четыре американца. Это моряки с корабля, зашедшего с грузом в Шатт-эль-Араб. Лица у моряков медные от загара. Все они в рубашках с закатанными рукавами, без галстуков. Только у одного старого, долговязого моряка воротник стянут бабочкой. Ботинки тоже обуты на босу ногу. Непосредственность, граничащая с полным пренебрежением к окружающим, потому что все остальные посетители, арабы, одеты в пиджаки, крахмальные воротнички стиснуты галстуками, а ботинки начищены до антрацитового блеска.

Ритм музыки все убыстряется. Девушка на сцене кружится в неистовом вихре. В зале нарастает восторженный гул. Моряки лихорадочно

напиваются, не спуская глаз с танцовщицы. У входа стоят равнодушные полицейские и меланхолично жуют чуингам.

Все сейчас захвачены танцем. Танцовщица — настоящая, очень талантливая балерина. Ее искусство, великое искусство пластики — то женственно-вкрадчивой, то вызывающе-дерзкой, — заставляло всех собравшихся в этом маленьком варьете чувствовать, если можно сказать так, религиозную, чистую красоту человеческого тела.

Мой спутник, господин Мохаммед, осторожно толкает меня в колено и показывает глазами на американцев. Те уже успели напиться, лица у них побагровели, а глаза стали водянистыми, белыми.

Я вижу, как они поднимаются и идут к эстраде. Впереди — самый молодой, двое по бокам. Старик, спрятав руки в карманы, заключает шествие. Расталкивая зрителей, они выходят на эстраду, и молодой парень хватает танцовщицу за руку. Джаз по-прежнему ревет, хотя музыканты настороженно переглядываются. Юноша, сидящий в первом ряду, кричит:

— Позор! Вон отсюда!

Долговязый американец в бабочке замахива-

ется на юношу. Начинается драка. Танцовщица убегает за кулисы. В драку вступает полиция, и через минуту воцаряется порядок: американцы возвращаются в свой угол и продолжают пить. Долговязый старик безуспешно пытается застегнуть рубашку — все пуговицы оторваны. Молодой парень держит под глазом платок, намоченный содовой водой…

Поздно ночью, когда звезды стали особенно яркими и такими крупными, словно кто-то подтянул небосвод к воде Персидского залива, я снова увидел давешнюю танцовщицу. Она сидела в маленьком зале, отгороженном от остального помещения фанерной стенкой. Она была одета в скромное серое платье, наглухо застегнутое под подбородком. Девушка устало пила чай и ела бутерброд с сыром и помидорами.

— Вы испугались? — спросил я ее.

Она удивленно посмотрела на меня и переспросила:

— Испугалась? Чего?

— Ну, когда к вам подошли моряки…

— Нет, — ответила девушка, — просто очень противно. Они скоты.

— Зачем же вы здесь выступаете?

— А где мне еще выступать?

— В театре. Ведь вы танцуете великолепно!

— Откуда вы? — спросила девушка и улыбнулась. — Наверное, из Москвы?

— Угадали.

— Хотите чаю?

— Спасибо.

— Э, Фауд! — крикнула девушка усталому официанту, собиравшему пустые бутылки с соседнего стола. — Дай господину чаю!

Фауд принес чай. Девушка выжала в мой стакан целый апельсин, посмотрела, как я отхлебнул глоток, и спросила:

— Вкусно?

— Да. Спасибо. Очень вкусно.

Сейчас она была совсем иной, эта танцовщица. Без грима она была еще лучше и красивей.

— Так вы спрашивали, почему я выступаю здесь? Потому что пока у нас нет театров. Но они, наверное, скоро откроются. Как вы думаете?

— Думаю, да.

— Когда побеждает революция, тогда всегда открывают театры, так ведь?

— Так.

— Вот видите. Я же знаю. Я читала, что у вас, в России, очень много театров.

— У нас очень много театров. И еще есть клу-

бы.

Я хотел ей рассказать про нашу самодеятельность, но не успел: к столику подошел молодой американец с синяком под глазом. Парень облокотился о стол и сказал:

— Я стою двадцать долларов на сегодня.

— Отойдите, — сказала девушка очень спокойно, — не то я плесну вам в лицо горячим чаем.

— Я стою сорок долларов…

К парню подошел долговязый старик в бабочке и растерзанной рубашке. Он сказал:

— Пойдем отсюда. Пойдем, она просто дура…

И он оттащил парня.

— Очень противно, да? — спросила девушка, когда американцы отошли.

— Очень.

— Неужели они все такие?

— Не думаю.

— А у вас такие есть?

— У нас таких нет.

— Совсем?

— Совсем.

Девушка улыбнулась и спросила:

— Знаете, какая у меня есть мечта?

— Не знаю.

Она рассмеялась.

— У меня есть вот какая мечта… Я хочу накопить здесь денег и поехать к вам, в Москву, учиться танцу. А когда я от вас вернусь, здесь уже будут театры, да? Вот это и есть моя мечта.

— Хорошая мечта.

— Я тоже так думаю…

…Когда она ушла в душную, непроглядно-темную ночь, мой спутник Мохаммед сказал:

— Эго революция. Раньше ее, эту танцовщицу, просто продавали бы здесь. А теперь она думает о том, как нести свое искусство народу. Ясно вам, что это значит для нас? Для нашего Ирака?

На рейде тоскливо, словно во сне, перекликивались пароходы. Трещали цикады. Сонно плескалась река. Басра, город, в котором скоро будет театр, сейчас спал, одетый душным одеялом ночи…

Здравствуй, Вавилон!

…Весь мир знает о революции, свершившейся в Ираке. Весь мир знает, что революция несет возрождение.

Я видел студентов, пришедших в Багдад, в колледжи, из самых маленьких селений — раньше

этого не было никогда. Я видел поэтов и художников, которые теперь творят для народа, — раньше этого тоже никогда не было. Я видел, как советский инженер пожимал руку иракскому рабочему, инженер — рабочему; раньше этого никогда не было и не могло быть.

Сейчас в Ираке особенно распространена в языке категория будущего времени. Очень часто здесь говорят:

— Мы построим. Мы сделаем. Мы научимся. Нам помогут. Мы добьемся.

И этому будущему времени веришь. Начинаешь верить, не только ознакомившись с планами, которые сейчас разрабатываются в Багдаде. Очень веришь будущему, сталкиваясь с великим прошлым этой страны.

Из шумного, своеобразного Багдада, города, где все дышит историей, и даже центральная улица называется именем Гарун аль Рашида, дорога в Вавилон — недолгая дорога. Через спокойный желтый Тигр, через оазис и пустыню, мимо пальмовых рощ и песков лежит путь в Вавилон. Едешь и думаешь: «Каков же ты, отец культуры?»

...Первая мысль, которая возникает после осмотра Вавилона: «Как же несовершенна еще фотография, и особенно книгопечатание! Разве

похожи серые рисунки из учебников по истории на Вавилон настоящий?!»

Каждая фигура, выложенная из обожженных кирпичей на огромных вавилонских стенах, — шедевр искусства.

Если на стенах вы видите неведомое чудовище, вы забываете, что оно кирпичное. Вы видите, как это чудовище крадется, приседая и пробуя остроту когтей. Если вы видите царя, вам не нужно объяснений, каков он был. Он и сейчас грозен, спокоен и царствен. Если на стенах изваяна царица, то она прекрасна, скромна, ее взгляд сосредоточен и умен — она женщина, но она царица!

Смотришь на вавилонские стены и убеждаешься: древние не любили многоточий в искусстве так же, как и не любили они многословия в поэзии. Искусство должно быть выразительным. Оно должно быть понятным с первого взгляда, с первого слова, с первого движения.

Поражает Вавилон размахом архитектурного ансамбля, мощью и вместе с тем легкостью стен. Поражает Вавилон величием дворцов и дерзостью седьмого чуда мира — сказочных висячих садов Семирамиды. Трудно описывать Вавилон — для этого надо быть архитектором и скульптором. Я лучше закончу свои репортажи

описанием встречи, которая произошла не в самом Вавилоне, а рядом с ним, около его полуразрушенных стен.

Рабочие берут анализ почвы — нет ли здесь воды. Их трое. Лица лоснятся от пота, ослепительно сверкают зубы, веселыми морщинками собраны обгоревшие под солнцем переносицы.

— Добрый день! — говорю я.

— Добрый день!

— Что делаете здесь, друзья?

— Ответим в зависимости от того, кто спрашивает. Вы не англичанин?

— Нет. Я из Советского Союза.

Улыбки становятся еще ослепительней.

— Что мы делаем, спрашиваете вы? Мы делаем новые сады Семирамиды. Их разрушали тысячи лет. Нам нужно восстановить их за три года. Здорово, а?

— Здорово!

Мне ясен смысл их ответа. Сады Семирамиды — обобщенное понятие государственности. Той, которая попиралась колонизаторами. Той, которая воспрянула после революции. Народ, покончивший с империалистическим гнетом, народ, который хочет мира, может многого добиться. Не за столетия, нет! За годы!

Поиск-891. Опыт театральной журналистики

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СТЕПАНОВ
ФОРСТ
ФРАУ ФОРСТ — его жена
ОПИТЦ — их родственник
ГРАФИНЯ ДЕДХОФ — редактор газеты
ДЕПУТАТ РЕГГЕР
БУНВЕХАВЕН
ПОЛЬ — служащий у БУНВЕХАВЕНА
ДОРН — начальник отдела тайной полиции Мюнхена
ВАЛЬТЕР, СОТРУДНИК, НЕКТО — люди из тайной полиции
КРОС — прокурор
АРХИВАРИУС
СВЯЩЕНИК
ШТАУБЕ-МАЙЕР
СУЗИ
АУКЦИОНЕР
ЖОРЖ НАХ, СЕЖО, КОЛЛЕР, ДЕ ГРООП — свидетели

ЧИНОВНИК
ЖУРНАЛИСТ

Пролог

Идет хроника: «С речью, одной из последних, выступает Гитлер».

На сцене эсэсовцы БУНВЕХАБЕН, ШТАУБЕ, ДОРН, ПОЛЬ, ФОРЕТЦ — в нацистской форме.

ШТАУБЕ. Шарфюрер Поль!

ПОЛЬ. Я!

ШТАУБЕ. Штурмбаннфюрер Бунвехавен!

БУНВЕХАВЕН. Я!

ШТАУБЕ. Штурмбаннфюрер Дорн!

ДОРН. Я!

ШТАУБЕ. Мои дорогие товарищи по партии великого фюрера, сегодня, 20 апреля сорок пятого года, в день рождения Адольфа Гитлера, запомните: военное поражение не есть идейный разгром. Мы восстанем из пепла… Наша задача: исчезнуть и раствориться! Нам надлежит ждать того момента, когда придет время вновь сказать нации об исторической миссии национал-социализма.

Вы — люди легенды, за вами будущее, и во имя этого будущего бесценные картины и иконы из Киева, Пскова, Харькова, Риги, Вены, Парижа,

которые мы продадим за золото — в нужный момент и в необходимом месте, — дадут нам свободу маневра в борьбе за лидерство. Я молю Провидение об окончательном торжестве дела фюрера! Хайль Гитлер!

Свет еще не снят с гитлеровцев, а уже на просцениум выходят люди в штатском — мужчина и женщина; предъявляют документы полицейским, садятся к пультам слежки — диктофонным и телевизионным, — и начинают свою работу: это секретная полиция Мюнхена, наши дни.

Бюро советской газеты. Сейчас здесь СТЕПАНОВ и СУПРУГИ ФОРСТЫ. Работает телетайп; слышен стук пишущей машинки.

СТЕПАНОВ (*расхаживает с трубкой у уха, разговаривает с кем-то*). Нет, отчего же, я готов передать вам материалы советской прессы о трудностях, которые мы переживаем, — мы о них пишем не меньше, а больше, чем вы, только давайте уговоримся: не печатайте того, что мы не пишем, и не купируйте то, что мы считаем важным, о'кей?! (*Закрывает трубку телефона, поясняет Форстам.*) Простите, пожалуйста, это гамбургский издательский концерн, очень важный разговор!

ФОРСТЫ понимающе машут руками, раскладывают на столе какие-то документы, вопрошающе указывают на проекционный аппарат, мол, можно ли включить. СТЕПАНОВ, слушая собеседника по телефону, согласно кивает головой. ФОРСТЫ налаживают проекционный аппарат, начинают проекцию каких-то документов на задник.

Нет, только так не надо! Я готов на пальцах доказать, что ваша пресса печатает примерно на девяносто процентов больше негативных материалов о нас, чем мы о вас. Вы мыслите заданными схемами, вы спорите не с нами о нас, а с самим собою — это наивно! Увы, я прав. Да нет же, прав… Спросите на улице сто человек у вас, кто такой Довженко или Эйзенштейн, — ни один не ответит. Спросите наших о Ремарке или Феллини — разница будет в нашу пользу… Хорошо, проведем эксперимент, согласен… Попробую пробить, хотя, конечно, советская бюрократия — самая бюрократическая в мире… (*Смеется.*) Да нет, я и в Москве так же шутил бы, только, может, еще злей! Чус! До встречи. (*Кладет трубку, обращаясь к Форстам.*) Ну, я в вашем распоряжении. Начнем?

ФРАУ ФОРСТ. Мы-то готовы. Первый документ, которому мы придаем чрезвычайное значение,

был обнаружен Фрицем двадцать лет назад…

ФОРСТ. Вы сядьте, господин Степанов. Вам будет удобнее смотреть с этого кресла.

ФРАУ ФОРСТ. Фриц чуть было не поплатился за этот документ головою…

Звонит телефон. ФОРСТЫ разочарованно переглядываются.

СТЕПАНОВ. Степанов. Слушаю. Цюрих? Давайте сюда Цюрих. Алло, вы писали, что готовы распространить документы о спекуляции серебром на бирже, господин Делоне… Я могу надеяться, что ваш материал не минует красную прессу? Да, я русский. Вот как? А демократично ли это? Вы убеждены? А как же свобода обмена мнениями? Что ж, простите… (*Оборачивается к Форстам.*) Вот скотина, а?! Дает объявление в газете и…

ФОРСТ. А зачем вы ему сказали, что вы русский?

СТЕПАНОВ. Я ведь рассчитывал оставить ему мой адрес. Написать: «Дмитрий Степанов, корреспондент тайваньского телевидения», что ль? Извините, одна минута, ладно?

ФОРСТЫ (*вновь разочарованно переглядываясь*). Да, да, конечно…

СТЕПАНОВ (*набрав номер*). Барышня, добрый

день, соедините меня с шефом бюро «Ассошиэйтед пресс». Степанов, Россия, спасибо. Алло, Джон, привет тебе, главный противник! Ничего… А ты? Ну и слава богу. Слушай, Джон, да здравствует свобода прессы и журналистская корпоративность: словом, гад из Цюриха, ты знаешь его фирму, отказался дать мне материал о биржевиках. Закажи у него два, а? Один на мою долю. Спасибо, классовый враг, привет тебе, обнимаю!

СТЕПАНОВ (*Форстам*). Ну слава богу… Я весь внимание…

ФОРСТ. Меня не очень-то пускают в архивы… Нет, нет, меня не имеют права не пустить, каждый может работать там, но если за тебя никто не хлопотал, если нет рекомендательных писем и финансовых гарантий, это всегда и всюду трудно… У вас наверняка тоже… Но я смог обхитрить всех. Я сказал, что занимаюсь уголовниками ганзейских городов и поэтому ищу архивы Нарвы и Ревеля — эти города активно торговали с Гамбургом.

ФРАУ ФОРСТ. Потом во Фрица влюбилась главный архивариус…

ФОРСТ. Ах, Эва, прошу тебя…

ФРАУ ФОРСТ. Ради дела мне пришлось закрыть на это глаза…

ФОРСТ. Словом, через полгода работы я смог подкрасться к архивам не ганзейских уголовников, а нацистских…

Звонок телефона.

СТЕПАНОВ (*снимает трубку*). Степанов. Алло, громче! Погоди, я подключу запись! (*Налаживая запись по телефону, объясняет Форстам.*) Звонит коллега, ведет прямой репортаж. (*Включает запись на всю мощность, запись идет на зал, слышен голос журналиста: «Я веду этот репортаж с улицы, где молодчики с кастетами, в черном, с портретами Гитлера на лацканах демонстрируют перед зданием бюро компартии, требуя…»*)

Резкий обрыв записи.

Алло, алло, Пауль, алло! (*Форстам.*) Ну, дальше…

ФОРСТ. Господин Степанов…

ФРАУ ФОРСТ. Фриц, подожди. Мы, господин Степанов, конечно, все понимаем, но мы никак не можем пробиться к вам… Фриц, лучше-ка расскажи о Париже…

ФОРСТ. Господин Степанов, в прошлом году мы хорошо продали яблоки из нашего сада и потому смогли съездить в Париж… Может быть — чтобы

вы поняли нас, если, конечно, захотите понять, — стоит послушать ряд записей?

СТЕПАНОВ (*рассеянно*). Да, да, с огромным интересом… Что ж там с Паулем, черт возьми… (*Стучит по рычагу телефона.*)

ФРАУ ФОРСТ включает запись своего диктофона.

Звучит голос.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Я Эрика Кубенмаххер, узница Равенсбрюка, работала в калийных штольнях Фольприхаузена и могу показать, что туда были привезены и спущены в период с лета сорок четвертого по весну сорок пятого…

Звонит телефон.

СТЕПАНОВ (*снимает трубку*). Я занят.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС…Двенадцать железнодорожных составов с произведениями искусства, вывезенными из России. Большинство заключенных были нейтрализованы после того, как разложили по полкам эти ценности. «Нейтрализованы» на языке СС означало «расстреляны». Насколько мне известно, среди оставшихся в живых, знающих о судьбе этих русских ценностей, большинство людей больных и пожилых уже. Мне думается, что француз Нах, с которым я

встречалась на пересылочном пункте по дороге в лагерь, знает больше других… (*Голос умолкает. Пауза.*)

ФРАУ ФОРСТ. Следующая запись особенно важна…

ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Я Жорж Нах, владелец ателье в Париже… Пожалуйста, пожалуйста, господин Форст, я готов ответить, хотя не очень понимаю, почему вас, немца, так интересуют русские ценности…

Появляется мужчина. Это ЖОРЖ НАХ.

НАХ. Я Жорж Нах, владелец ателье в Париже… Пожалуйста, я готов дать показания, господин Форст, хотя под присягой их не подтвержу… Почему? Ну, в конце концов, какое это имеет значение… Да, я был в Дахау и Маутхаузене… Я попал туда достаточно случайно. Тогда, в 40-м году, мое ателье находилось в двух шагах от бульвара Распай. Большое ателье, хотя мне едва исполнилось двадцать, — я угадал моду… Мы угадали: я и моя подруга Колетт. Это была самая красивая женщина в мире, не было женщин ее красивее…

Телефонный звонок в бюро Степанова.

СТЕПАНОВ. Я отключу телефон… (*Отключает.*)

НАХ. О том, что она связана с Сопротивлением, я узнал после того, как нас обоих арестовали в моем ателье. Она молчала, а ее били страшно — при мне. Меня били при ней… Я тоже молчал, может быть потому, что действительно ничего не знал про ее работу в подполье… А потом гестаповцы связали нас спиной к спине и бросили в камеру. И мы так и лежали на полу две недели… Понимаете? Мы не могли подняться. Можете представить: спина к спине с любимой, самой красивой женщиной на каменном полу? В зловонии, жидкой грязи — две недели кряду? Словом, когда я попал в лагерь, жизнь показалась мне прекрасной… Я рисовал транспаранты к гитлеровским праздникам. Писал портреты жен эсэсовцев… Сначала я пытался выразить характер, но меня за эту попытку лишили пайка и выпороли, и с тех пор я стал писать с фотографий, делая жен красивыми, даже черных рисовал голубоглазыми — это особенно ценилось… И чтобы всюду на фоне развевались черно-красно-белые знамена со свастикой… Так вот, по поводу икон… Штаубе, эсэсовец, велел мне отреставрировать две иконы из России, которые пострадали во время транспортировки — их везли вместе со скотом, кажется, с коровами… Я опознаю эти иконы из тысячи: семнадцатый век,

греческая школа… Я, католик, молился на эти православные иконы из киевского собора, — нам ведь не позволяли молиться в лагере, Бог не для отверженных… Куда потом отправили эти иконы, я не знаю… Знаю только, что Штаубе перед гибелью передал их по списку рейхсминистра Розенберга своим партийным товарищам Бунвехавену и Дорну.

ЖОРЖ НАХ исчезает.

ФОРСТ. Таких показаний за 20 лет мы собрали более тысячи. Но здесь никто не хочет нами заниматься, поэтому мы и решили обратиться к вам за помощью…

СТЕПАНОВ (*после паузы*). Вы понимаете, что вам станет еще труднее жить, если я передам материал о вашем поиске в Москву?

ФОРСТ. Кто знает… Здесь считаются с мнением прессы. Может быть, наоборот, искать станет легче.

ФРАУ ФОРСТ. Да, но жить, конечно, будет труднее, Фриц…

ФОРСТ. Что ж… Я готов… А ты?

ФРАУ ФОРСТ. Иначе я бы не пришла с тобой…

СТЕПАНОВ (*снимает телефонную трубку*). Барышня, Москву, пожалуйста…

Бюро газеты ГРАФИНИ ДЕДХОФ

ДЕДХОФ. Соедините меня, пожалуйста, с депутатом бундестага Реггером, — если мне не изменяет память, он идет на выборах от Гамбурга, значит, эти самые супруги Форст должны будут голосовать именно за него… Алло, добрый день, дорогой господин доктор Реггер, здесь Эдит Дедхоф.

Бюро ДЕПУТАТА РЕГГЕРА

РЕГГЕР. Добрый день, Эдит, рад вашему звонку.

ДЕДХОФ. Как ваша предвыборная драка, мой друг? Ничего нового?

РЕГГЕР. Новое — это хорошо забытое старое…

ДЕДХОФ. Послушайте выдержку из корреспонденции русского журналиста Степанова… Я раньше что-то не обращала на него внимания, теперь к нему стоит присмотреться — зубаст, чувствует минуту… Так вот, некие супруги Форст ищут какие-то культурные ценности, вывезенные из России в сорок пятом году. Степанов этим очень заинтересовался. Выражает удивление, почему этим до сих пор не интересуемся мы…

РЕГГЕР. Полагаете, что во время предвыборной кампании этот материал можно обыграть в интересах коалиции?

ДЕДХОФ. Бесспорно. Наведение мостов, от-

рицание гитлеризма, уважение к памятникам русского искусства — это все на пользу нашего диалога с Кремлем; там чутко реагируют на нашу позицию в отношении культурных контактов…

РЕГГЕР. Степанов, говорите… Обязательно посмотрю…

Мы совершенно не читаем русскую прессу, жаль.

ДЕДХОФ. «Мы»? Я против обобщений, мой друг. Вы — да, но я — нет. Я их прессу читаю. Вас бы не обременила моя просьба, если, конечно, вы со мною согласны, — сделать запрос федеральному правительству о его позиции в связи с поиском Форста, а ответ, я думаю, мы как-то заранее обговорим с постоянным заместителем министра культуры…

РЕГГЕР. Ну что ж, попробуем, если убеждены, что это поможет нам в предвыборной кампании…

Бюро тайной полиции, которое возглавляет «криминаль-директор» ДОРН. Сейчас здесь ДОРН и его СОТРУДНИК.

СОТРУДНИК. На запрос депутата Реггера постоянный заместитель министра культуры ответил следующее: «Федеральное правительство с ин-

тересом и симпатией относится к индивидуальному поиску, проводимому господином Фрицем Форстом. Однако входить в детальное обсуждение его работы мы не можем до той поры, пока он не предоставит достаточно аргументированную архивную и свидетельскую документацию, которая позволит затем экспертам приступить к исследованию всех аспектов этой проблемы».

ДОРН. «Индивидуальный поиск». Они все-таки открещиваются от него! Что о Степанове?

СОТРУДНИК. Русский, женат, имеет двух детей, коммунист, живет здесь один, материалы передает три раза в неделю…

ДОРН. Очень интересно — справка подобрана просто-таки исчерпывающе, спасибо. А теперь сделайте по моему шаблону, пожалуйста. Женщины — сластолюбец, холоден? Гомосексуал — актив, пассив? Алкоголик? Наркоман? Библиофил? Филателист? Игрок? Скорость, которую соблюдает на дорогах? Отношение к детям, старикам, коллегам? Мера завистливости? Алчность? Манера одеваться? Это в общих чертах, посчитайте потом на компьютере, за что можно зацепиться… Дело в том, что я увидел возможность комбинации… (*Подходит к стене, достает фотографии, прикладывает их к стене.*) Итак,

Степанов. Графиня, директор газеты. Депутат бундестага Реггер. Министерство культуры, семьи и здравоохранения. Понимаете мою мысль?

СОТРУДНИК. Не совсем…

ДОРН. Поясняю: русское проникновение в высшие этажи власти; их влияние через депутата бундестага Реггера на федеральное правительство, поскольку отлажен постоянный контакт с заместителем министра… Любопытно, не так ли? Над такой схемой стоит поработать, стоит — до поры — помочь Степанову укрепить этот контакт, не находите? Нет? Да! По глазам вижу — вы за! Спасибо, мне приятна поддержка молодых коллег.

СОТРУДНИК. Но я не вижу в конструкции будущей операции Фрица Форста, господин Дорн…

ДОРН. О Форсте не беспокойтесь… Позаботьтесь лучше о моей встрече с прокурором Кросом. Благодарю вас, вы свободны.

Спускается на просцениум в бюро Вальтера, где идет телевизионная слежка и прослушивание.

(*Вальтеру*.) Начинайте работать со Степановым вплотную. Прослушивание и наблюдение по всем параметрам. Тотально.

На всех экранах слежения возникает лицо Сте-

панова. ДОРН с любопытством разглядывает его.

Он рыжий?

ВАЛЬТЕР. Блондин.

ДОРН. Какие сигареты курит?

ВАЛЬТЕР. «Честерфилд».

ДОРН. Сколько пачек в день?

ВАЛЬТЕР. Пока не установлено.

ДОРН. Установите, это тоже интересно — в нашем деле мелочей нет… (*Поднимается, идет из просцениума в свой кабинет.*)

Кабинет ДОРНА.

Сейчас здесь ДОРН и прокурор КРОС.

КРОС. Он переступает черту закона?

ДОРН. Пока — нет, господин прокурор Крос.

КРОС. А как же тогда я обращусь в МИД с протестом? С чем они вызовут пресс-атташе советского посольства? Или самого Степанова? С чем?

ДОРН. С чем-нибудь да вызовут.

КРОС. С чем-нибудь?! Мы живем в демократической стране, и журналист — в пределах закона — волен заниматься тем, чем ему хочется. Это ведь сенсация — поиск похищенного… Кстати, о Форсте… Господин Степанов платит ему?

ДОРН. Этого установить не удалось. Часть тех счетов за копировку документов в архивах, куда

его сейчас допустили, оплатила графиня Дедхоф.

КРОС. Почему?

ДОРН. Если Форст действительно сможет что-либо отыскать, тогда публикация сенсационных документов из архива рейхсляйтера Альфреда Розенберга даст еще большую популярность ее газете. Видимо, только так можно объяснить этот ее шаг.

КРОС. А нет ли у нее каких-либо экономических интересов в России?

ДОРН. Хм… Я изучу такого рода возможность.

КРОС. Что еще?

ДОРН. Я считал совершенно достаточным факт доказанной связи Форста и Степанова, чтобы просить вас дать санкцию на их разработку — прослушивание телефонов, постоянное наблюдение, сбор компрометации.

КРОС. Я пока что не вижу ничего предосудительного в их совместной работе.

ДОРН. Тогда мой дальнейший доклад бесцелен.

КРОС. Экий вы женственный и ранимый… Возрастное? Или все невидимки страдают комплексом ущербности?

ДОРН. Видимо. Только никто из нас не страдает бестактностью, которая есть первый признак шизофрении.

КРОС. Полагаете меня шизофреником?

ДОРН. Да что вы?! Разве бы я стал говорить с ненормальным?

КРОС. Стали бы. В свое время вы не просто говорили с психом, вы одухотворенно выполняли приказы параноика, восторгались им, превозносили до небес великого фюрера немецкой нации…

ДОРН. Стоит ли корить меня ошибками юности?

КРОС. Это так, заметка на полях, к слову пришлось… Больше ничего интересного?

ДОРН (*закаменев*). Догадки, господин Крос, одни догадки… Прокуратура ими, видимо, не интересуется?

КРОС. Да, что касается догадок, то это не по моей части. Звоните, если появится что-либо существенное.

ДОРН провожает КРОСА к выходу, возвращается, нажимает кнопку селектора. Луч прожектора высвечивает ВАЛЬТЕРА и НЕКТО, сидящих у аппарата прослушивания.

ДОРН. Что-нибудь новое, Вальтер?

ВАЛЬТЕР (*его голос усилен микрофоном*). Я пишу разговор русского с Форстом, очень любо-

пытная беседа.

ДОРН. Иду…

Бюро СТЕПАНОВА. Сейчас здесь СУПРУГИ ФОРСТ и СТЕПАНОВ. ФОРСТ меняет в диапозитиве архивные документы.

ФРАУ ФОРСТ. После вашей статьи работать стало легче, как никогда… Поддержка графини, запрос в бундестаге! Смотрите, какие нам открыли архивы! Уму непостижимо! За три дня мы просмотрели пятнадцать фондов!

ФОРСТ. Смотрите — вот невероятный документ! Я поражаюсь, как мне его дали! Штаб-квартира рейхсминистра Розенберга, строго секретно! Транспорты с картинами и иконами из русских музеев и храмов, подлежащие вечному хранению в рейхе. Опись номер семь, девять тысяч триста двенадцать картин и икон. Живопись русских художников, вывезенная из музеев Смоленска, Харькова и Вильнюса. Васнецов, Репин, Айвазовский, Левитан, Суриков… Смотрите, как все классифицировано… Картина номер тысяча девятьсот три, Куинджи… Полтора метра на восемьдесят один сантиметр. Масло. Ночной пейзаж с тремя деревьями на переднем плане, вдали высвеченный светом погост… Что такое «погост»?

Очень поэтическое слово. Что-то вроде ярмарки?

СТЕПАНОВ. Почти… Это кладбище… Слушайте, но по такому тщательному описанию можно сразу же найти похищенное…

ФРАУ ФОРСТ. Ни в одном из музеев Европы этих картин нет…

СТЕПАНОВ. А где они?

ФОРСТ. Изучению этого вопроса я и посвятил жизнь…

ФРАУ ФОРСТ. Фрицу удалось узнать, что офицер, который составлял эти списки — Адельберт Форетц — сейчас живет в Эрлангене, под Нюрнбергом, он профессор теологии в отставке… Вот его подпись, видите?

СТЕПАНОВ. Сколько же ему лет?

ФОРСТ. 82 года 3 месяца 2 дня…

СТЕПАНОВ. Мумия!

ФРАУ ФОРСТ. Но зато прекрасно сохранившаяся мумия…

СТЕПАНОВ. А здесь чья подпись? Тоже Форетц?

ФОРСТ. Нет, это Фриц Штаубе. Офицер СС. После войны исчез, как в воду канул. Второй — Бунвехавен… Купил замок Голомберг во Франконии у бывшего посла Германии Форетца, дяди, кстати, вышеупомянутого Адельберта… А замок этот не простой… Гитлеровский рейхсминистр Розен-

берг свозил туда большую часть награбленных в России картин и икон. А потом все это исчезло. Бесследно. В архивах, которые мы сейчас открыли, эта проблематика словно обрезана. Создается впечатление, что Розенберг только вывозил краденое из России, а кто-то другой распоряжался судьбой этих ценностей… (*Переключает фото в проекционном аппарате.*) Вот он, Бунвехавен, правда очень плохой портрет, времен войны…

Замок Голомберг.

Входит СТЕПАНОВ, его сопровождает мужчина: это старый эсэсовец ПОЛЬ, служащий БУНВЕХАВЕНА; этих людей, как и ДОРНА, мы видели в прологе пьесы в апреле 1945 года.

ПОЛЬ. Я с трудом разбираю ваш канадский акцент. Я имел дела с американцами; начиная с сорок пятого их бригада стоит у нас в Ансбахе. Хорошие ребята… Так что я не до конца понял: какой у вас интерес к моему музею?

СТЕПАНОВ. Меня интересует не только музей, меня интересует весь ваш замок, господин Бунвехавен. В туристском проспекте написано, что вы купили земли и замок у бывшего посла Германии в Китае господина Форетца — вместе с музеем восточной живописи и зоопарком…

ПОЛЬ. Вы, случаем, не из пишущей братии?

СТЕПАНОВ. Не любите?

ПОЛЬ. Бесы. Как были, так и остались наймитами европейского капитала и большевистского НКВД.

СТЕПАНОВ. Браво! Люблю литые формулировки… Нет, ваш замок интересует меня, поскольку он уникален. Сами же пишете в проспекте: «Здесь расположен единственный в своем роде музей…»

ПОЛЬ. Очень хотите посмотреть? Завтра. Сегодня поздно, зверей надо кормить…

СТЕПАНОВ. Я заплачу.

К ним медленно и неслышно подходит человек; это БУНВЕХАВЕН.

БУНВЕХАВЕН. Не надо платить. Я покажу вам музей. Что вас интересует?

СТЕПАНОВ. Все.

БУНВЕХАВЕН. Вы — благодатный посетитель. Поль, принесите каталог.

ПОЛЬ уходит.

Как правило, слуги подозрительнее хозяев… Это помощник моего повара, он любит изображать из себя владельца замка… Я не мешаю

ему — до тех, понятно, пор, пока это не переходит границы допустимого… Прошу вас, садитесь в это уникальное китайское кресло…

ПОЛЬ возвращается, приносит каталог. СТЕПАНОВ рассматривает его.

Я вижу, вы заинтересовались… Наши химики просили у меня право на исследование состава старых китайских красок — я отказал им. Зачем открывать секрет того, что невозвратимо умерло?

СТЕПАНОВ. Не вижу логики.

БУНВЕХАВЕН. Логика очевидна: более всего меня страшит девальвация прекрасного.

СТЕПАНОВ. Не столько краска создает прекрасное, сколько глаза мастера, его рука и сердце.

БУНВЕХАВЕН. Попробовал бы Дюрер поработать современными низкопробными красками — в условиях безнравственного авангардного малярства… Или Гоген… Или Верещагин…

СТЕПАНОВ. Дюрер — с его рукой, глазом, разумом — сам бы сделал краски, растер их, наладил…

БУНВЕХАВЕН. Видите, какова сила консерватизма немецкого мышления?! Я отделил краску и кисть от руки и глаза…

И вы… Один — ноль. Кстати, эти китайские картины принадлежат крысиному перу Ли Тай-бо, восьмой век…

СТЕПАНОВ. Династия Сун, острова возле Кантона… У вас есть подлинник?

БУНВЕХАВЕН. У меня четыре подлинника…

СТЕПАНОВ. Я преклоняюсь перед этим художником. Он жил на маленьком островке Сяо, сбежав от императора, который слишком уж любил его. Любовь императора тяжела, не каждому по плечу, особенно таланту, который обычно свободолюбив и сугубо индивидуален… Кстати, художник Ли краску себе делал сам… По-моему, у японцев есть рецепт…

БУНВЕХАВЕН. Я бы с удовольствием заплатил вам, получи мы его у японцев.

СТЕПАНОВ (*смеясь*). Сколько положите?

БУНВЕХАВЕН. Я должен связаться с фирмой «Гербис», которая проявляла интерес к этим картинам…

СТЕПАНОВ (*после долгой паузы*). Я бы не взял с вас денег за рецепт, расскажи вы, что стало с теми русскими иконами и картинами, которые были привезены в этот замок рейхсминистром Розенбергом — в сорок четвертом.

БУНВЕХАВЕН. Вы думаете, меня не интересовал

этот вопрос?! Все иконы и картины были отданы русским зимой сорок шестого.

СТЕПАНОВ. Вы тщательно исследовали судьбу русских картин?

БУНВЕХАВЕН. Нет… Зачем? Просто здесь об этом говорили… На серьезное исследование нужны деньги… А я купил замок восемь лет назад, всю жизнь копил деньги и до сих пор в долгу, какое уж тут исследование.

СТЕПАНОВ. Прежний хозяин замка умер?

БУНВЕХАВЕН. Да. Это был достойный человек, господин Форетц, бывший посол Германии в Китае. Он великолепно провел здесь денацификацию, выступил вместе с американцами против гитлеровцев на процессе в Нюрнберге.

СТЕПАНОВ. Антифашист?

БУНВЕХАВЕН. О да!

СТЕПАНОВ. Родных у него не осталось?

БУНВЕХАВЕН. Кто-то есть, но я стараюсь с ними не встречаться, я понимаю, как им больно все это… Ведь с этим замком их столько связывает… Мы, немцы, сентиментальны… А отчего вас интересуют русские картины? Хотите начать бизнес в сфере искусства?

СТЕПАНОВ. У каждого свой интерес…

БУНВЕХАВЕН. Я могу показать вам несколько

документов — это описания ряда русских икон и картин… Вы кто по профессии?

СТЕПАНОВ. Востоковед.

БУНВЕХАВЕН. Когда вы рассказали о художнике Ли больше, чем я мог вычитать во всех энциклопедиях, мне сразу стало ясно, что вы — ученый.

Бюро ВАЛЬТЕРА.

ВАЛЬТЕР (*докладывает в радиодинамик*). Из замка русский поехал не по автостраде, а по девятой дороге. Скорость 85 километров в час. На бензоколонке «Шелл» залил полный бак «супера», уплатив 68 марок 44 пфеннига. Хозяин бензоколонки — герр Пропст — по нашим картотекам не проходил. Телефон — 253418. Степанов едет по направлению к Ремагену. В контакт ни с кем не входил.

Бюро СТЕПАНОВА.

ФОРСТЫ рассматривают через проектор документы Бунвехавена — описания картин и икон.

СТЕПАНОВ. Фриц, это грандиозно, а?! Теперь мы с вами вооружены суперсенсацией, разве нет?!

ФОРСТ. Сейчас. (*Меняет кадр.*) Погодите… Интересно…

СТЕПАНОВ. А через неделю в Базеле начинается

аукцион русских икон! Следовательно, именно через неделю фирма «Сотби» будет торговать иконой, которая значится в списках рейхсминистра Розенберга под номером 891.

ФОРСТ. Вы хотите сказать, что фирма «Сотби» будет торговать иконой, сворованной гитлеровцами в русском музее и переправленной кем-то из замка Голомберг в Базель?

СТЕПАНОВ. Именно это я и хочу сказать. И мы сможем объявить об этом там же, на аукционе, и потребовать объяснения, кто торгует этой иконой, когда, как и от кого она попала в аукционную фирму «Сотби»! Номер 891 говорит сам за себя! И начнется расследование!

ФОРСТ. Но если расследование будет не в нашу пользу, нам придется уплатить миллионный штраф за клевету или сесть в тюрьму.

СТЕПАНОВ. У нас на руках описание иконы 891, документ Розенберга, косвенное свидетельство Бунвехавена и, наконец, неопровержимое — номер!

ФРАУ ФОРСТ. Отчего Бунвехавен никогда никому не показывал эти документы и вдруг отдал их вам, русскому?

СТЕПАНОВ. Я говорил с ним по-английски.

ФОРСТ. Бунвехавен, как человек СС, должен был

выяснить вашу национальность, ему плевать на язык, ему важно, какая кровь течет в ваших жилах.

СТЕПАНОВ (*смеясь*). А в манию подозрительности мы не впадаем?!

ФОРСТ. Мне не очень-то хотелось посвящать вас в наши домашние дела, но имейте в виду: в течение всех тех лет, что я занимаюсь поиском, тайная полиция обходит моих соседей, опрашивает людей; видимо, слушает все мои телефонные разговоры, перлюстрирует корреспонденцию.

СТЕПАНОВ. Вам кажется, что они смотрят за вами, или вы убеждены в этом?

ФОРСТ (*переключает новый кадр в проекторе — там гитлеровские документы*). Если приходят соседи и говорят шепотом: «Фриц, ты что затеял?! Перестань, не надо, власть зазря не интересуется человеком, значит, ты дал какой-то повод, могут быть неприятности, подумай о детях, не будь идеалистом!»

СТЕПАНОВ. Можете познакомить меня с этими соседями?

ФРАУ ФОРСТ. Вы полагаете нас мерзавцами? Как же мы посмеем подвести людей? Да и потом, эта слежка не мешает нам. Вот если бы у нас не было сада, которым мы живем, если бы Фриц работал

за зарплату — учителем или журналистом, — тогда действительно конец жизни, безработица и голод. А так — пусть себе. Яблоки, которые растут на наших деревьях, плевать хотели на тайную полицию…

ФОРСТ (*по-прежнему разглядывая документ в проекторе*). Вам не кажется, что страница, где дано описание иконы номер 891 — пятнадцатый век, новгородская школа, девяносто сантиметров на семьдесят, — чуть отличается от других страниц?

СТЕПАНОВ. Чем?

ФОРСТ. Не знаю. Чем-то.

ФРАУ ФОРСТ. Двадцать лет работы в архивах что-то значат…

СТЕПАНОВ. Надо сделать экспертизу.

ФОРСТ. У вас есть лишняя тысяча марок?

СТЕПАНОВ. Так дорого?

ФРАУ ФОРСТ. А как же иначе? Заключение экспертизы Фриц должен застраховать, а это очень дорого, затем надо оплатить адвоката, что еще дороже, и лишь тогда мы сможем оперировать экспертизой как официальным документом.

СТЕПАНОВ. Погодите, погодите, погодите… Вам кажется, что меня нарочно хотят вытащить на аукцион в Базель?!

ФОРСТ. Как и когда вы узнали об этом аукционе?

СТЕПАНОВ. Кто-то сказал…

ФОРСТ. Кто?

СТЕПАНОВ. Не помню.

ФОРСТ. Надо вспомнить.

СТЕПАНОВ. Не могу.

ФРАУ ФОРСТ. Если вы переключитесь на что-нибудь смешное — сразу вспомните.

ФОРСТ. Не до смешного. (*Смотрит в проекционном аппарате следующий документ.*) Смотрите-ка, в левом верхнем углу должен быть шифр канцелярии рейхсминистра Розенберга… Почему его нет? По этому шифру я бы мог начать поиски в других архивах… Шифр выведен очень профессионально… Кем? Почему? Зачем Бувенхавен отдал вам документ без шифра? Ну так кто сказал вам об аукционе в Базеле?

СТЕПАНОВ (*рассеянно*). Господин Данг… Хм… Браво! Эк ловко вы заставили меня вспомнить — переключили вполне профессионально!

ФОРСТ. Поиск и не тому научит… Итак — кто он, этот Данг?

СТЕПАНОВ. Мой сосед…

ФОРСТ. В связи с чем он пришел к вам?

СТЕПАНОВ. Почтальон случайно сунул мне его

корреспонденцию…

ФРАУ ФОРСТ. Он пришел к вам после того, как вы вернулись из замка Голомберг?

СТЕПАНОВ. После…

ФОРСТ. Кто он?

СТЕПАНОВ. Я не знаю. Вы же мало общаетесь друг с другом, как в целлофане живете… Это только у нас о соседях знают все…

ФОРСТ. Сколько ему лет?

СТЕПАНОВ. За шестьдесят.

ФОРСТ. Он постоянно ходит в галстуке, разве нет?

СТЕПАНОВ. Да, это верно… А почему вас это интересует?

ФОРСТ. Я верю чувствам, господин Степанов, это, конечно, женское качество и все такое прочее, но в Базель ехать не надо… А в галстуке и белом воротничке ходят те старики, которые любят выправку и привыкли повиноваться… Вам не надо ехать…

СТЕПАНОВ. Доказательства?

ФОРСТ. Я же говорю: доказательств нет, одно чувство… В этом месяце предстоит восемнадцать аукционов: четыре в Западной Германии, три — в Англии, два — в Штатах, три — во Франции, два — в Швейцарии…

ФРАУ ФОРСТ. По-моему, два в Италии и один в Бельгии…

ФОРСТ. Да, верно… Но отчего Степанову позволили узнать именно про тот, который связан впрямую с вашим визитом в замок Голомберг?

СТЕПАНОВ. Случайность исключается?

ФОРСТ. Мы как нация всегда стремились исключать даже вероятие случайности… Повторяю: мне кажется странным это совпадение — листки из архива Розенберга, которые я не мог получить все эти годы, отданы вам в руки; икона 891, что должна продаваться в Базеле, упоминается в этом же архиве…

Что вы намерены делать в Базеле?

СТЕПАНОВ. Арестовать икону, как краденую! Скандал на весь мир. А пока надо обратиться через газету, чтобы читатели включились в поиск…

ФОРСТ. Господин Степанов, это наивно! Люди заняты заботами насущными, кого волнуют иконы?!

СТЕПАНОВ. Кто из нас христианский идеалист — вы или я?!

ФРАУ ФОРСТ. Фриц, не мешай ему, каждый человек имеет право на мечту…

СТЕПАНОВ подходит к телефону.

СТЕПАНОВ. Алло, барышня, Москву, пожалуйста… Спасибо! Алло, редакция?! Сколько пришло откликов на первый материал о Форсте? Сорок два? Очень хорошо. Я добавлю. Давайте врезочку… Открыть кавычки: «Выполняя пожелания читателей, мы поручили нашему корреспонденту рассказать в очередном репортаже о продолжающемся поиске Фрица Форста». Далее — текст: «Летом сорок пятого года доктор Роде, ведущий специалист по янтарю, посетил в бывшем Кенигсберге советского ученого профессора Барзова и сказал ему: “Я готов открыть вам все, что мне известно о янтарной комнате. Я был ее смотрителем после того, как она была украдена из России…” Однако доктор Роде ничего не успел открыть: назавтра рано утром он был обнаружен в своей квартире мертвым, он и его жена.

А именно у Роде работала Анна Форст, сестра Фрица, расстрелянная в сорок четвертом нацистами за участие в антигитлеровском заговоре Гердлера — Штауфенберга… В пятьдесят седьмом году в Киле один из работников порта рассказывал во время застолья в пивной, что его дядя был в Кенигсберге ответственным за судьбу сокровищ гауляйтера Коха. Назавтра и этот человек, и его дядя были убиты. Поиск преступников не дал

ничего, Фриц Форст вышел — по тем архивам, которые попали ему в руки после нашей публикации, — на некоего профессора фон Андрэ. Тот многое знал о янтаре и русских музеях. Последние годы безобидный старичок учил химии студентов в Геттингене. Форст позвонил к Андрэ и попросил встречи. Тот отчего-то испугался. А потом — вовсе выяснилось, что при Гитлере фон Андрэ был штандартенфюрером СС и возглавлял партийную группу в Кенигсбергском университете… Был ли он убит, отравлен или покончил с собою — ответить трудно, но с Фрицем Форстом он так и не увиделся… Ему не позволили увидеться — быть может, так точнее сказать… Поиск Форста продолжается. Именно поэтому каждый, кто хочет помочь ему, может сделать это через нашу газету: любая гипотеза будет с благодарностью рассмотрена и проверена».

В луче прожектора возникает ПАУЛЬ КОЛЛЕР.

КОЛЛЕР. Я, Пауль Коллер, профессор из Берлина, прочитав репортаж о поиске, прошу напечатать мой отклик; полагаю, что Фриц Форст должен направить максимум усилий на исследование архивных материалов, связанных с намерением Гитлера открыть свой музей в Линце. Именно

в связи с этим решением Гитлера была создана секретная «прерогатива фюрера». Из этого документа явствует, что Гитлер присвоил себе — начиная с осени 33-го года, — неограниченное право распоряжаться всеми произведениями мирового искусства. Сейчас предпринимаются попытки обелить Гитлера, переложить всю вину на Розенберга, Геринга, Риббентропа, Гиммлера, начинают говорить, что «фюрер, конечно, отнюдь не святой, но он был идеалистом, его нельзя обвинять в корысти…». Полагаю, что Фрицу Форсту следует — если, конечно, удастся, — просмотреть архивы под кодовой цифрой 1100: там могут храниться материалы, неизвестные еще исследователям. Где спрятан этот архив, мне неизвестно.

КОЛЛЕР исчезает, появляется СЕЖО.

СЕЖО. Я с интересом слежу по русской прессе о поиске Форста… Мне сдается, что в апреле сорок пятого года, незадолго до разгрома нацистов Красной армией, в наш лагерь при таинственных обстоятельствах прибыла колонна грузовиков швейцарского Красного Креста во главе с каким-то ответственным лицом из Берна… Говорили, что эти грузовики вывозили русские ценности

в горы… Думаю, что необходимо выяснить, кто был этот человек и зачем он приезжал в наш лагерь. Это поможет продолжать работу… А то, что доктор Колер прав по поводу «прерогативы Гитлера», у меня нет сомнений… Однако я не знаю, в каком архиве прячут этот фонд.

Исчезает. Появляется ДЕ ГРООП.

ДЕ ГРООП. Я, доктор де Грооп из Антверпена, прочитав отклики профессоров Коллера и Сежо, могу и должен засвидетельствовать: фонд «1100» хранится в архиве Зайсбурга. Именно в этом архиве я искал и находил документы, связанные с фашистским прошлым нынешнего генерального секретаря НАТО Лунса…

Бюро ВАЛЬТЕРА.

ДОРН. Вальтер, еще раз проверьте: Бунвехавен подготовил заявление прессе о том, как его шантажировал Степанов?

ВАЛЬТЕР. Подготовил.

ДОРН. Интерпол в Базеле предупрежден?

ВАЛЬТЕР. Предупрежден.

ДОРН. С аукционом все оговорено?

ВАЛЬТЕР. Оговорено.

ДОРН. Итак, длительность ареста Степанова бу-

дет зависеть лишь от амбиций фирмы «Сотби»… Я еду на аукцион! Скандал будет грандиозным, там надо присутствовать лично!

А вы — максимум внимания Форстам! И хотя они без Степанова ничего не стоят, тем не менее глаз с них не спускать!

Архив.

ФРИЦ ФОРСТ и ФРАУ ФОРСТ. Разглядывают через проектор документы фонда 1100.

ФОРСТ. Постарайся совместить материал Бунвехавена и этот, подлинный, из фонда 1100.

ФРАУ ФОРСТ. Трудно.

ФОРСТ. Поэтому я и говорю постарайся. Спасибо. Можно оставить так, мне не важна правая половина, меня интересует левый угол. Видишь разницу?

ФРАУ ФОРСТ. Пока нет.

ФОРСТ. В документе Бунвехавена об иконе 891 не было номера фонда. А здесь он стоит: «1100». Видишь?.. А каковы размеры иконы? В фальшивке — девяносто сантиметров, а в оригинале — метра на два! Ну-ка, подними чуть-чуть подлинник… Спасибо… «Указанные ящики перевезти в подвалы кирхи в городе Заксенштадте и не вскрывать до особого распоряжения фюрера.

Борман». Борман… Где этот Заксенштадт?!

ФРАУ ФОРСТ. Не знаю. Посмотрим карту в отеле.

ФОРСТ. Не в отеле, а сейчас же. Или это самый большой блеф, или мы на пороге открытия! И узнай телефон аукциона в Базеле: Степанова взяли в капкан, мы должны его предупредить… Он намерен арестовать краденое, а арестуют его за клевету! Этот фонд запиши на меня. Я жду тебя наверху. Торопись, может быть беда!

Уходит.

ФРАУ ФОРСТ (*архивариусу*). Будьте добры, запишите этот архив на Фрица Форста.

Уходит.

Появляется СОТРУДНИК.

СОТРУДНИК. Добрый день. Я из городской библиотеки Бремена, мне надо просмотреть материалы из фонда «1100» — он ведь у вас хранится, не так ли?

АРХИВАРИУС. Вы — уже второй человек за сегодняшний день, кто интересуется этим завалящим, пыльным, безвестным фондом… Он на руках, я не могу вам дать его…

СОТРУДНИК. Господин Форст работает с ним,

не так ли?

АРХИВАРИУС. Я не обязана отвечать на этот вопрос.

СОТРУДНИК. Простите, что оторвал вас от дел.

Подходит к телефону на стене, опускает несколько монет и звонит.

Вальтер, я опоздал! Форста здесь уже нет. Он что-то готовит. Его надо найти хоть под землей…

ВАЛЬТЕР. Вас понял. Объект 8, передислоцируйтесь в квадрат 196, объект 10 в 15а, вас прошу выйти на связь в пятнадцать ноль-ноль!

Мгновенная темнота.

Аукцион в Базеле. На трибуне АУКЦИОНЕР. В зале полно гостей и журналистов, которые слепят гостей вспышками блицев. Гости самые разные: негры, малайцы, латиноамериканцы, китаец в маоистской форме, чинные дамы и гангстерского вида юноши, затянутые в кожаную форму, здесь и заросшие хиппи, и бритые наголо, словно каторжане. Среди этих странных людей — СТЕПАНОВ, в дальнем углу — ДОРН.

АУКЦИОНЕР (*на трибуне*). Дамы и господа, мы живем в трудное время, когда угроза девальвации грозит нам каждый день. Поэтому-то так возрос-

ли цены на картины, проверенные временем, а что более проверено временем, чем иконы, особенно русские, — цена на них постоянно растет в последние четверть века! Думаю, вы согласитесь со мною, что нет более надежного капитала, чем вложение капитала в русские иконы: достаточно сказать, что коллекция мистера Хана была распродана в Нью-Йорке более чем за три миллиона, а это, дамы и господа, деньги не очень-то малые. Я надеюсь, вы простите мой варварский немецкий, я обещаю разговориться, аукцион и есть аукцион, нечто вроде тотализатора, будоражит и бодрит!

Итак, мы начинаем с иконы семнадцатого века, московская школа, прекрасно выполнено лицо, особенно глаза, думаю, что мы поведем торг с пяти тысяч марок, нет возражений? Или четыре пятьсот? Четыре? Господин предлагает четыре? Раз четыре тысячи, два… Дама предлагает четыре сто? Четыре пятьсот? Ага, слева пять тысяч. Пять тысяч пятьсот, мой господин!

Шесть тысяч! Шесть тысяч пятьсот! Что? Шесть тысяч сто? Шесть сто — раз, шесть сто — два, ага, шесть тысяч двести, шесть тысяч двести — раз, что? Шесть тысяч пятьсот? Кто больше? Раз, два, три, продано. Поздравляю, икона хороша, право.

Предлагается к продаже икона шестнадца-

того века, школы Феофана Грека, начинаем с объявленной цены в двадцать тысяч марок. Кто предлагает двадцать тысяч? Пожалуйста, моя дама, двадцать тысяч раз, двадцать тысяч — два, двадцать одна тысяча, нет, не согласен, мой господин? Двадцать две? Нет? Тридцать? Пожалуйста, кто больше, тридцать тысяч — раз, тридцать тысяч — два, продано.

Предлагается к продаже икона XV века, размер 90 на 70, цена 30 тысяч марок… Пожалуйста, моя дама, вы что-то хотите спросить? Вас интересует номер с обратной стороны иконы, которую мы предлагаем к продаже? 891? Право, не знаю! Видимо, это означает принадлежность чьей-то коллекции… Итак, икона пятнадцатого века, размер девяносто сантиметров на семьдесят. Тридцать тысяч, господа, тридцать тысяч! И она стоит этих денег. Тридцать тысяч сто марок? А, тридцать одна тысяча? Пожалуйста, моя дама. Тридцать две? Условимся, что речь во время этого экстраординарного торга идет не о сотнях, а о тысячах, итак, тридцать две тысячи. Кто больше? Тридцать две тысячи — раз, тридцать две тысячи — два… Пожалуйста! Тридцать три тысячи. Кто больше? Тридцать три тысячи — раз, тридцать три тысячи — два…

Телефонный звонок.

Момент, дамы и господа! Да? Слушаю. Вы хотите включиться в торг иконы 891?! Что ж, я не возражаю!

Мгновенная темнота.

ФРИЦ ФОРСТ и его жена в кирхе Заксенштадта. С ними разговаривает СВЯЩЕННИК. Слышен детский смех, кто-то играет на органе рок-н-ролл под Баха.

СВЯЩЕННИК. Почему вы думаете, что я должен выполнить вашу просьбу?

ФРАУ ФОРСТ. Потому что в подвале вашей кирхи спрятано краденое, а мы воспитаны в вере Божьей и справедливость почитаем главным, что должно объединять людей.

СВЯЩЕННИК. Слишком часто в наши дни эти слова повторяют в угоду суетным, сиюминутным целям, забывая о том извечном и великом, что в них заложено.

ФОРСТ. А в этом я вижу определенную вину церкви.

СВЯЩЕННИК. То есть?

ФОРСТ. Патер, мы очень торопимся…

СВЯЩЕННИК. Но я должен до конца понять

цель вашего визита…

ФОРСТ. Патер… Время… Поймите, научно-технический прогресс родил новое качество времени… Я утверждаю — качество. Люди не готовы к нему, что делать, в этом нет их вины.

СВЯЩЕННИК. А чья вина?

ФРАУ ФОРСТ. Церкви!

СВЯЩЕННИК. Уже в том, что церковь открыто, сказала освоей неправоте в деле Галилея, очевидно желание быть угодным новому времени.

ФОРСТ. Церковь сформулировала это иначе! «Галилей реабилитирован». О вашей вине речи не было…

СВЯЩЕННИК. Унижения хотите? Стоит ли? Как мы потом будем говорить с паствой?

ФРАУ ФОРСТ. Патер, послушайте же, у нас нет времени, от вашего ответа зависит судьба человека, — вы обязаны выполнить нашу просьбу…

СВЯЩЕННИК. Обязан?

ФРАУ ФОРСТ. Обязаны, видит Бог!

СВЯЩЕННИК. Я должен снестись с Мюнхеном…

ФОРСТ. Если вы снесетесь с Мюнхеном, вам порекомендуют отложить решение этого вопроса до приезда авторитетной комиссии, ящики из подвала заберут, и они затем исчезнут, их затеряют.

ФРАУ ФОРСТ. Мой муж пришел к вам с документами, из которых явствует, что в подвале вашего храма лежат ящики с архивами и ценностями, украденными в России. Что угодно Господу: вернуть награбленное законному владельцу или же продолжать прятать похищенное?

СВЯЩЕННИК. Но ведь нельзя же вскрывать ящики без указания!

ФОРСТ. О мой несчастный и прекрасный народ! Даже вы, патер, хотите жить по предписанию сверху! Ну отчего так, отчего?! Я понимаю — был бы спорный вопрос, но здесь все явно: я пришел к вам с документами о тех ящиках, которые лежат здесь, начиная с апреля 1945 года. Вы ведь не отрицаете этого? Нет? Вы, поскольку предписаний не было, не вскрывали ящики все эти годы, вы же не можете без предписаний! Вам противна мысль укрывать краденое в храме, это ясно, как же иначе, но вы не можете преступить в себе старого, прежнего немца времен фюрера и поэтому перечеркиваете Господа!

СВЯЩЕННИК. Идемте…

Аукцион.

АУКЦИОНЕР. Неизвестный господин называет по телефону сумму в 75 тысяч марок. Дамы и

господа, вы слышали, нет? (*Передает трубку девушке.*) 75 тысяч марок, в такую сумму оценивает икону номер восемьсот девяносто один наш телефонный друг, итак, 75 тысяч — раз, 75 тысяч — два…

ГОЛОС МУЖЧИНЫ. 76 тысяч.

К Степанову подходит ДЕВУШКА-ОФИЦИАНТКА: «Простите, вы господин Степанов? Вас просят к международному телефону».

СТЕПАНОВ поднимается, выходит.

АУКЦИОНЕР. 76 тысяч. 77 тысяч? 78 тысяч, так оценивает икону наш телефонный друг. Итак, 78 тысяч — раз, 78 тысяч — два…

ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Восемьдесят.

АУКЦИОНЕР. Восемьдесят.

ДЕВУШКА показывает ему что-то на пальцах.

Сто тысяч — такова цена нашего неизвестного друга.

ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Сто пять тысяч!

Возвращается СТЕПАНОВ. Закуривает.

Нагнетение истерики в зале тихой истерики затаенного молчания. Только вспыхивают блицы фоторепортеров и — тишина, торгуют икону.

ДОРН все это время не отрываясь смотрит на СТЕПАНОВА, пытаясь прочесть его. Медленно поднимается и еще медленнее идет вдоль по стене мимо журналистов, не отрывая взгляда от Степанова.

АУКЦИОНЕР. Наш телефонный друг объявил 120 тысяч! Сто двадцать тысяч — раз, два, сто двадцать тысяч — три… Продано! Хочу поздравить неведомого телефонного друга с великолепным приобретением уникальной иконы XV века из России!

СТЕПАНОВ. Это не пятнадцатый век и не Россия! Это подделка, сработанная совсем недавно — здесь, на Западе!

ГОЛОСА. Что сказал этот господин?! Почему подделка?!

АУКЦИОНЕР. Вы можете подтвердить это под присягой?

СТЕПАНОВ. Я готов заявить под присягой: подлинная икона под номером 891 была выкрадена в Киеве нацистами по приказу Розенберга для музея Гитлера и сейчас, двадцать минут назад, обнаружена в подвале церкви города Заксенштадта супругами Форст!

Церковь.

ЧИНОВНИК. Я, как представитель закона, хочу от всей души поздравить вас, господин Форст, с этой великолепной находкой! Согласно параграфу 57 и разъяснениям 341 и седьмого «а», вы становитесь владельцем всех этих картин, икон и архивов и, таким образом, вправе распорядиться по своему усмотрению судьбой уникальной коллекции…

ЖУРНАЛИСТ. Что вы намерены сделать с этим сокровищем, господин Форст? Обратите в деньги на аукционе или же откроете музей?

ФОРСТ. Я передам иконы законному владельцу.

ЖУРНАЛИСТ. Вы намерены отдать Москве эти миллионы?!

ФРАУ ФОРСТ. Это не миллионы, а иконы.

ЧИНОВНИК. Закон не принуждает вас к этому, господин Форст. Поскольку срок давности вывоза этих ящиков из страны принадлежности истек, вы вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

ФОРСТ. Я знаю. Поэтому я так торопился завладеть этим сокровищем. И я хочу, чтобы пресса опубликовала официальное сообщение: я передаю все иконы тем русским музеям и церквям, откуда они были похищены. Мое решение без-

условно, господа. Благодарю вас за то, что вы приехали сюда.

ЖУРНАЛИСТ. Чем вы мотивируете этот свой несколько экстравагантный поступок?

СВЯЩЕННИК. Разве желание господина Форста жить по Богу экстравагантно?

Кабинет ДОРНА.

Входит бывший эсэсовец ФРИЦ ШТАУБЕ (ныне он — МАЙЕР).

ДОРН. Могли бы подождать до вечера — стоит ли обнаруживать наши связи?

ШТАУБЕ. Наши с вами? А с Макговерном?

ДОРН (*переходя на шепот*). Вы с ума сошли…

ШТАУБЕ. Если бы… Знаете, где находятся остальные иконы и картины, упомянутые в списках, которые Форст нашел в подвале кирхи?

ДОРН. В ваших хранилищах?

ШТАУБЕ. Тогда бы я подождал до вечера, а не обнаруживал наши с вами связи… Иконы находятся в коллекции Макговерна, ясно? А что будет, если Форст с помощью русского раскрутит дело Макговерна и скандал окажется неуправляемым?

ДОРН. Будет плохо.

ШТАУБЕ. Браво! Вы — провидец! Но и это не все! Судя по тем материалам, которые открыл Форст,

он вполне может выйти по ним не только на швейцарский Красный Крест, но и на покойника Пьера Сузи. А это удар по нашим с вами ребрам! Потянув за одну нитку, они выйдут на всю нашу парижскую операцию во время автогонок. А эго нокаут, от которого мы вряд ли оправимся… И наконец, последнее обстоятельство: вывоз культурных ценностей из России и сегодня стоит перед нами сугубо значимо. Вы представляете себе, какого уровня политический скандал разыграется, если здесь, на Западе, выйдут на мой сегодняшний бизнес с русскими иконами и картинами?.. Поэтому ответьте мне: какого черта вы хлопали ушами все эти дни?!

ДОРН. Мы живем не под фюрером! Сейчас не сорок второй год! Я не могу арестовать Степанова и расстрелять Форстов — вы, к сожалению, лишены права отдавать приказы!

ШТАУБЕ. Повторяю свой вопрос: почему вы дали этому делу разрастись?

ДОРН. Я давал делу вызреть! Я не мог предположить, что пойдет цепная реакция!

ШТАУБЕ. Что значит — «вызреть»? В чем ваш просчет? С чего все началось?

ДОРН. Я был просто-напросто не вправе пройти мимо того, как в сферу моего интереса попал

русский, который смог втравить в дело Форстов не только Дедхоф и Реггера, но и…

ШТАУБЕ. Я в курсе! Дальше…

ДОРН. Бунвехавен был введен мною в комбинацию в нужный момент, он всучил русскому липу, красиво всучил, породив некоторое отчуждение между Степановым и Форстами по поводу иконы 891… Сосед Степанова — наш человек — красиво намекнул об аукционе… Я был убежден, что Степанова уничтожат во время торгов: был придуман телефонный звонок, мои люди нагнетали ажиотаж, но кто мог представить, что после очередной статьи Степанова о поиске Форста возникнет этот профессор Коллер и скажет о «прерогативе фюрера», потом француз Сежо назовет архив «1100», а голландец укажет на Зайсбург. Кто мог допустить, что Форсты найдут Заксенштадт и смогут открыть ящики в кирхе?! Да еще предупредят Степанова о ловушке по телефону, разыскав его на аукционе в Базеле?! Кто мог предположить, что Степанов сломает свой план, о котором мы знали: «Я обвиняю фирму “Сотби” в продаже краденого», и вместо этого обвинит их в продаже нашей фальшивки!

ШТАУБЕ. Предложения?

ДОРН. Ждать.

ШТАУБЕ. Это невозможно по двум обстоятельствам: первое — в случае если эта старая сволочь действительно выйдет по архивам кирхи на узел с покойным швейцарцем Сузи, вас арестуют…

ДОРН. Вас тоже.

ШТАУБЕ. Конечно. И Бунвехавена. Вам от этого будет легче?! Мне — нет… Бунвехавен кричит и стонет по ночам, у него ярко выраженная мания преследования… Второе обстоятельство… Макговерн намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора… Если вы не сможете…

ДОРН. «Мы», почему «я»?

ШТАУБЕ. Нет, не «мы», а «вы», ибо вы здесь сидите, а не я… «Наше» — значит «ничье», «мы» — это стадо, все решает «я»… Продолжаю… Если Макговерна обольют помоями накануне выборов, это заденет интересы ряда мюнхенских друзей, а этого они вам не простят — более того, они не простят этого детям ваших детей…

ДОРН. Какое-то безумие, право…

ШТАУБЕ. Именно так — безумие…

ДОРН. Безумие… Безумие? Погодите, а почему нет?.. Безумие… Спасибо за идею… Безумие — сумасшествие — клиника — опека… Хм! Я доложу вам о результатах завтра в восемь.

ДОРН стремительно прощается с Штаубе-Майе-

ром, спускается на просцениум в «зал наблюдения и прослушивания», смотрит за работой, включает селектор: «Зайдите ко мне с документами на всех родственников и друзей Форстов…» Потом возвращается к себе, там его уже ждет СОТРУДНИК, стоя возле черной стенки, на которой так удобно иллюстрировать свои замыслы, прикрепляя фотографии к стенке.

ДОРН внимательно разглядывает фотографии.

СОТРУДНИК. Фрау Форст. Подступов нет. Фанатично любит мужа. Первый сын, Ганс, предан отцу, подступов нет. Младший сын, Франц, предан отцу, подступов нет.

ДОРН. С коммунистами по-прежнему никаких контактов?

СОТРУДНИК. Нет… Господин Опитц из Кобленца, брат фрау Форст, 62 года, участник войны, унтершарфюрер дивизии «Дас Рейх», кавалер Железного креста, пенсионер, в средствах весьма ограничен, определенно здравых взглядов, в беседах с агентурой высказывался в том смысле, что Форст не думает о семье, другой бы хоть сыновьям машину купил, имея столько земли, сколько он, а этот идеалист тратит все деньги на копирование каких-то паршивых архивных документов.

ДОРН. «Идеалист»? Мне лично «псих» нравится

больше.

СОТРУДНИК (*продолжает доклад*). Это племянница фрау Форст, дочь ее покойной сестры Габи Лутц.

ДОРН. А что она говорит о любимом дяде?

СОТРУДНИК. Она молчит.

ДОРН. Надо разговорить.

СОТРУДНИК. Не выйдет.

ДОРН. Я не знаю такого слова.

СОТРУДНИК. Фрейлейн Эва Лутц глухонемая, врожденный порок.

ДОРН. Значит, так, завтра на тринадцать часов закажите стол на две персоны в ресторане, неподалеку от дома, где живет господин Опитц. Скажите, что беседовать он будет с представителем страховой компании, которая готова защищать интересы семьи его сестры…

СОТРУДНИК. Но он может быть занят завтра в тринадцать часов…

ДОРН. Важно, что я выбрал для него это время…

Мгновенная темнота.

Бюро прокурора КРОСА. ОПИТЦ и ПРОКУРОР КРОС.

ОПИТЦ. Господин прокурор Крос, я пришел

к вам по делу чрезвычайной важности. Моя единственная сестра — я имею в виду фрау Форст — находится под угрозой постоянной гибели, ибо господин Форст тяжело и, по-моему, безнадежно болен психически. Его навязчивая идея состоит в том, чтобы передать русским культурные ценности безвозмездно, но зато, когда будут найдены главные хранения, он потребует с Кремля сто миллионов марок. Родные, понятно, скрывают от всех его болезнь, но она подтверждается бюджетом семьи — Форсты на грани финансового краха, об этом говорят их доходы и расходы: нормальный человек на вырученные с урожая сада деньги мог бы в несколько раз увеличить хозяйство, в то время как дела моего несчастного зятя крайне плохи — он не уплатил положенный взнос в страховое общество, и сегодня там приняли решение лишить его страховки. А вы понимаете, что если визит врача к застрахованному больному стоит ерунду, то посещение человека, лишенного страховки, да еще психически больного, исчисляется сотнями марок. Где их взять? Поэтому, господин Крос, я пришел к вам с просьбой об установлении опеки над несчастным Фрицем Форстом.

КРОС. Я не могу фиксировать просьбы, госпо-

дин…

ОПИТЦ. Опитц, Герхард Опитц… Простите, не понял вас…

КРОС. Я могу принять к рассмотрению лишь заявление, господин Опитц.

ОПИТЦ. Вот оно. (*Кладет на стол несколько страниц бумаги.*)

КРОС. Я рассмотрю ваше заявление.

ОПИТЦ. Но пока оно будет рассматриваться, Форст отправит в Россию то, что принадлежит всей нашей семье!

КРОС. Ваша сестра, супруга господина Форста, согласна поддержать просьбу об опеке?

ОПИТЦ. Тихий помешанный страшнее буйного… Она затравлена им… И по-моему, тоже начинает сдавать психически…

КРОС. Следовательно, пока лишь один вы изо всей семьи печетесь о здоровье господина Форста и его финансовых делах. Вот если бы к вам присоединились дети несчастного, это могло бы гарантировать успех вашего предприятия…

ОПИТЦ. Как же детям — и против отца? Даже больного? Надо пощадить их сердца… Речь ведь пока идет только о том, чтобы оградить семью от безумства несчастного с передачей русским ценностей из кирхи на два миллиона марок — в

больной горячечной надежде получить с них потом в сто раз больше…

КРОС. В пятьдесят.

ОПИТЦ. Простите?

КРОС. Вы сказали, что Форст намерен потребовать с Москвы сто миллионов. Два, умноженные на сто, — двести миллионов, двести, а не сто. Точность — вежливость королей.

ОПИТЦ. Простите… Я так расстроен…

КРОС. Словом, как я понимаю, вы хотите, чтобы я арестовал найденные Форстом русские иконы, архивы и картины? Вплоть до того, как врачи установят меру его вменяемости?

ОПИТЦ. Именно этого хочет его семья…

КРОС. Этого хотите вы, господин Опитц. У меня нет заявления от других членов семьи.

ОПИТЦ. Мои адвокаты сказали, что и это мое заявление имеет юридическую силу, вполне достаточную для того, чтобы поднять вопрос об опекунстве над Форстом и, так сказать, заморозить его действия — на время разбирательства.

КРОС. В какой мере юридическая сила вашего заявления достаточна, решать не вашим адвокатам, а мне, прокурору. Я уведомлю вас о нашем решении.

ОПИТЦ. Простите, господин прокурор Крос,

но я что-то не пойму: несчастный Фриц может по-прежнему заниматься своим делом, несмотря на мое заявление?

КРОС (*после тяжелой паузы*). Нет.

Дом ФОРСТОВ.

ФОРСТ. Чем дальше, тем больше я боюсь не успеть закончить наше дело…

ФРАУ ФОРСТ. Все время вспоминаю, как нас заставляли учить философию: «Человечество разделено на две расы…»

ФОРСТ. «Раса благородных — индивидуалисты, чувствующие призвание властвовать, и раса рабов — стадо недочеловеков, покорных предрассудкам и пропитанных завистью к тем, кто над ними. При паршивых демократиях чернь торжествует, людьми правят зайцы. Великий человек, титан, не знает, что такое добро и зло, закон не для него, его право есть право высшего…»

ФРАУ ФОРСТ. «Не щади ближнего… Остерегайся доброго…»

ФОРСТ. Конечно, с позиции этой морали мы с тобою законченные психи… Страх, страх был нашим вторым «я»… Знаешь, о чем я не жалею? Что отдал 20 лет русскому искусству: «по каплям выдавливать из себя раба…» Обидно, что Сури-

кова, Верещагина, Репина до сих пор не знают толком ни в одном нашем музее…

ФРАУ ФОРСТ. Как будто русские знают Дюрера?

ФОРСТ. Но они же держат во всех кабинетах портреты нашего Маркса…

ФРАУ ФОРСТ. Знаешь, я сейчас подумала, что фашизм — это тишина: не думай, не говори и тебе обеспечена жизнь, как корове… Сена подбросят, только жуй тихо.

ФОРСТ. Когда нацисты расстреляли Анну и отца, когда я чудом избежал виселицы, оттого что лежал раненый в госпитале, тогда только я понял ужас этой гитлеровской орущей тишины…

Звонок. Входит СТЕПАНОВ.

СТЕПАНОВ. Простите, что без предупреждения! А вы почему не звоните?..

ФОРСТ. Прокаженные должны жить в лепрозории.

СТЕПАНОВ. Простите, не понимаю…

ФРАУ ФОРСТ. Нам теперь неловко навязываться кому бы то ни было… Психи. Ждем решения судьбы — кто нам сможет помочь? Никто… Надо ждать…

СТЕПАНОВ. Значит, сложили крылышки?

ФРАУ ФОРСТ. Что значит «сложить крылыш-

ки»?

СТЕПАНОВ. Это значит поднять руки вверх.

ФОРСТ. Эва, включи, пожалуйста, радио… Погромче! Милый Степанов, если вы сумеете узнать что-нибудь о человеке по имени Сузи… Он живет в Швейцарии… Больше я не знаю о нем ничего… Это может спасти меня и помочь нашему делу. Вы вправе отказать моей просьбе… Я пойму вас… Дело чрезвычайно рискованное, но…

СТЕПАНОВ. Нет вопроса — я еду! А как же иначе?!

ФРАУ ФОРСТ. Возможно иначе, очень возможно…

СТЕПАНОВ. Нельзя поддаваться — не имеете права. Это даже нечестно, извините за резкость.

ФРАУ ФОРСТ. А в чем выразилась ваша резкость?

ФОРСТ. Славяне обычно боятся обидеть собеседника, дорогая, они ранимы больше нас, поэтому чаще нас извиняются, очень ранимы…

СТЕПАНОВ (*усмехаясь*). Ну, это смотря кто… Фрау Форст, вы еще не разговаривали с вашим братом, с Опитцем?

ФОРСТ. Мы не унижаем себя до торгов с наймитами… Эва, включи, пожалуйста, музыку еще громче! Господин Степанов, отдайте себе отчет:

все очень серьезно! Я кожей ощущаю опасность! Слушайте меня внимательно! (*Звучит музыка.*)

Бюро ВАЛЬТЕРА.

ВАЛЬТЕР. Господин Дорн! Извините, что беспокою вас дома. Степанов был у Форста. Я не смог снять, очевидно, важную информацию. Они включили музыку… Слушаюсь!

Швейцария.
СТЕПАНОВ и СУЗИ.

СУЗИ. Как вы нашли меня?

СТЕПАНОВ. Через ведомство прессы вашего МИДа.

СУЗИ. Они дали вам мой телефон? Странно. Что вас интересует?

СТЕПАНОВ. Господин Сузи, ваш отец был министром Швейцарии?

СУЗИ. Полагаете, что я должен отвечать на ваши вопросы?

СТЕПАНОВ. Полагаю — да.

СУЗИ. А я полагаю, что нет… Я не скрываю своего отношения к вашей стране.

СТЕПАНОВ. В данном случае речь идет не о моей стране, а о судьбе вашего брата, так что отвечать — в ваших интересах.

СУЗИ. Ах, вот как?

СТЕПАНОВ. Именно так. Продолжим: ваш отец был министром?

СУЗИ. Был.

СТЕПАНОВ. Он ездил в рейх в апреле 1945 года для переговоров с Гиммлером, чтобы попытаться спасти узников из лагерей смерти?

СУЗИ. Ездил. Гиммлер потребовал пятьсот золотых франков за каждого заключенного.

СТЕПАНОВ. После соглашения с Гиммлером ваш отец отправил в рейх колонну грузовиков Красного Креста с продуктами и медикаментами?

СУЗИ. Да. Колонну вел мой брат Пьер.

СТЕПАНОВ. Ему тогда было двадцать три года?

СУЗИ. Двадцать два.

СТЕПАНОВ. Я могу с ним увидеться?

СУЗИ. Он разбился.

СТЕПАНОВ. Во время гонок на парижском аэродроме?

СУЗИ. Да.

СТЕПАНОВ. Десять лет назад? Накануне гонок именно он дал интервью французской «Суар»? Или у вас есть еще один брат?

СУЗИ. Братьев у меня больше нет.

СТЕПАНОВ (*достает из портфеля газету, протягивает ее Сузи*). Это Пьер Сузи, ваш брат?

СУЗИ. Да.

СТЕПАНОВ. Вам не кажется странным этот вопрос журналиста… Я подчеркнул, смотрите… О том, кого ваш брат особенно запомнил во время поездки в рейх?

СУЗИ. А почему этот вопрос должен казаться странным?

СТЕПАНОВ. Потому что он был задан спустя двадцать пять лет после событий в рейхе. Задан неведомым спортивным журналистом, которому 19 лет и который раньше никогда не интересовался этой проблемой. А если заинтересоваться серьезно и глубоко, то обнаружится, что на машинах швейцарского Красного Креста, которые ваш брат привез в рейх, в течение нескольких часов, пока узников концлагеря приводили в порядок, чтобы продать за деньги, люди СС, гестаповцы, вывезли в горы сокровища, награбленные в России: иконы, картины, архивы, Янтарную комнату…

СУЗИ. Вздор! Зачем им потребовалась такая маскировка? Они могли нацепить на свои машины номера Швейцарии и нарисовать красные кресты.

СТЕПАНОВ. Могли. Они всё могли. Только не могли залить машины бензином. Бензина в рейхе

не было… Им нужны были машины швейцарского Красного Креста.

СУЗИ. Считаете, что они для этого использовали моего отца и брата?

СТЕПАНОВ. Я ни в чем их не виню, они пытались помочь несчастным. А ваш брат сказал в интервью, что он помнит трех людей из лагеря и что одного из них, который попросил у него грузовики «в долг», на пару часов, якобы для того, чтобы привезти больных, он только что встретил в Париже — накануне гонок… Смотрите, что говорил ваш брат: «Я крикнул ему “Привет, Фриц!” Он, однако, не ответил мне, вздрогнул, повернулся и ушел, чуть не убежал. Я удивился, спросил тех, кто был рядом, что с ним, это же Фриц Штаубе. А мне ответили, что это не Фриц Штаубе, а Майер, он занимается бизнесом, связанным с произведениями культуры… Но это был Штаубе, и я догадываюсь, отчего он не захотел говорить со мной». Штаубе не захотел говорить с вашим братом оттого, видимо, что живет под чужой фамилией и убежден, что уже нет никого в живых, кто знает, что именно он вывозил русские ценности из концлагерей в эсэсовские тайники. А его опознал ваш брат! И сказал про это в интервью, подосланному Фрицем Штаубе

мальчику. И через день ваш брат погиб во время гонок… Погиб, потому что помнил…

СУЗИ. Считаете, что катастрофа была организована?

СТЕПАНОВ. Да.

СУЗИ. Доказательства?

СТЕПАНОВ. Это ваше дело. Меня интересует: к вам не обращались те, кто знал Пьера по его поездке в рейх?

СУЗИ. Обращались…

СТЕПАНОВ. Кто?

СУЗИ. Мне кажется, Майер…

СТЕПАНОВ. Его карточка у вас, конечно, не сохранилась?

СУЗИ. Его карточка должна была сохраниться, я ведь был генералом разведки, официальное лицо, все мои контакты с иностранцами фиксировались…

Мгновенная темнота.

Проекция фото ШТАУБЕ-МАЙЕРА.

В луче прожектора — ЖОРЖ НАХ.

НАХ. Я, бывший узник Дахау Жорж Нах, знаю человека, фото которого мне предъявил к опознанию русский журналист Степанов. Но это не Майер, а обершарфюрер СС Фриц Штаубе. Под

присягой, однако, я это не подтвержу…

Мгновенная темнота.
Бюро прокурора КРОСА.

СТЕПАНОВ. На основании доноса старого нациста Опитца вы вправе унижать Форста принудительной экспертизой?

КРОС. Экспертиза не есть унижение, господин Степанов, а одна из форм установления истины.

СТЕПАНОВ. Но везти в клинику несчастного человека, подвергать его принудительному обследованию…

КРОС. А вы возражайте, господин Степанов, возражайте… Начните кампанию протеста… У нас это не запрещается.

СТЕПАНОВ. Вы же понимаете, что это обернется против Форста: «Защищают красные, значит, он их человек»…

КРОС. А профессиональная корпоративность? Я слышал, журналисты живут в Бонне достаточно дружно: коммунисты, капиталисты, левые, правые… Так что я ничем не могу помочь вам, господин Степанов, кроме того, что согласился ответить на ваши вопросы.

СТЕПАНОВ. Спасибо. Но это не все, господин Крос. У вас есть данные, что господин Опитц —

старый нацист? Или нет? Если нет, то интересует ли вас эта информация?

КРОС. Меня интересует истина…

СТЕПАНОВ. Я хочу передать вам документы — свидетельские показания о работнике фирмы «Антиквариат Европы» Майере, в прошлом обершарфюрере СС Штаубе.

КРОС (*смотрит показания*). Чего вы добиваетесь?

СТЕПАНОВ. Возбуждения уголовного дела.

КРОС. Во-первых, вы, как иностранец, не вправе поднимать этот вопрос. Во-вторых, даже если бы ко мне пришел немец, я бы отказался принять дело к рассмотрению, потому что дела пока еще нет: Штаубе-Майер был, видимо, судим, наказан, затем освобожден… Дело, я думаю, закрыто…

СТЕПАНОВ. Но эти новые показания Жоржа Наха позволяют вам…

КРОС (*перебивает*). Эти показания позволят вашим противникам, а значит и противникам Форста, — начать против вас атаку и загнать в угол… А несчастный старик окажется в одиночестве…

СТЕПАНОВ. Вам жаль Форста?

КРОС. Я прокурор, господин Степанов, я служу закону, я прокурор. А вот вам стоит подумать

о себе.

СТЕПАНОВ. Ознакомились с моим делом?

КРОС. Дела пока еще нет. Меня ознакомил шеф с вашими данными…

СТЕПАНОВ. Я в чем-то нарушил закон?

КРОС. Если бы вы решились на это, то отвечать бы вам пришлось по всей строгости: мы не делаем привилегий ни знаменитым иностранцам, ни высокопоставленным лицам нашей республики. Мы пасуем лишь перед депутатами бундестага… Лишь перед ними… В деле Форста — тоже…

СТЕПАНОВ. А вот теперь мне ясно, как следует поступить. Можно вопрос?

КРОС. Пожалуйста.

СТЕПАНОВ. Отчего вы помогли мне этим советом?

КРОС. Оттого, что нашу вину перед русскими надо еще отмаливать, господин Степанов… Честь имею.

Бюро ГРАФИНИ ДЕДХОФ.

ДЕДХОФ. Объясните мне, господин Степанов, почему вас так заботит дело Форстов?

СТЕПАНОВ. То есть как?! Человек в беде, он попал…

ДЕДХОФ (*перебивая*). Он никуда не попал! Он

сунулся в драку, а в этой драке надо уметь стоять насмерть. Ему еще, может быть, придется столкнуться с тем, что жену обвинят в содержании подпольного борделя для наркоманов, а его самого, в конце концов, объявят внуком Мао Цзэдуна… Либо пусть умеет драться, либо надо сидеть в саду и разводить помидоры…

СТЕПАНОВ. Он разводит яблоки…

ДЕДХОФ. В будущем году цена на помидоры вырастет примерно на восьмую часть пфеннига за фунт, так что выгоднее заниматься томатами… И потом, психам опасно лазать по лестницам, с которых опыляют яблони…

СТЕПАНОВ. Если псих упадет с такой лестницы — не страшно, они живучие. А вот коли грохнется редактор газеты, которая раньше поддерживала психа, — тогда смеху будет хоть отбавляй, не так ли?! А что может быть страшнее смеха в политике?! Хорош редактор, восхвалявший ненормального идиота и маньяка!

ДЕДХОФ. Вы шантажируете меня?

СТЕПАНОВ. Что вы! Просто я лишний раз убедился, как вы правы: коли сунулся в драку, надо стоять насмерть…

ДЕДХОФ. Я с самого начала угадала, что у вас крепкие зубы… (*Снимает трубку телефона.*) Со-

едините меня, пожалуйста, с депутатом Реггером. Благодарю. Добрый день, мой дорогой доктор Реггер.

РЕГГЕР. Добрый день, дорогая Эдит, как поживаете?

ДЕДХОФ. Прекрасно. Вы, конечно, знаете, что нашего с вами архивариуса хотят упрятать в дом убогих и установить над ним опеку.

РЕГГЕР. Впервые слышу!

ДЕДХОФ (*СТЕПАНОВУ*). Врет. Но иначе ему нельзя! (*РЕГГЕРУ*.) Да, мой дорогой друг, увы, это так. Думаю, нам будет не очень-то приятно, если накануне выборов оппозиция раздует кампанию в своей прессе, что вы — кандидат маньяков, что именно вы запрашивали федеральное правительство по поводу индивидуальной деятельности умалишенного. Это, я боюсь, обернется против вас, доктор Реггер.

РЕПЕР. Против НАС, моя дорогая…

ДЕДХОФ. Увы, против вас, хотя я готова к бою. Я ведь не запрашивала парламент, я лишь выдвинула идею, которую вы столь великодушно и стремительно подхватили…

РЕГГЕР. Я и впредь готов подхватывать ваши идеи, мой друг…

ДЕДХОФ. Ну и договорились…

РЕГГЕР. Думаете, мой визит к шефу прокурора Кроса может помочь несчастному… э…. как же его имя?

ДЕДХОФ (*СТЕПАНОВУ*). Про прокурора Кроса он откуда-то знает, а несчастного Форста, видите ли, забыл… (*РЕГГЕРУ*.) Я тоже запамятовала, но это нетрудно восстановить: стоит только поглядеть ваш недавний запрос и ответ вашего коллеги по федеральному правительству…

РЕГГЕР. Видимо, я так и поступлю. До свидания, дорогая.

СТЕПАНОВ. Неужели Реггер войдет в драку?

ДЕДХОФ. Он же хорошо понимает перспективность русского фактора в мире!

Мгновенная темнота.

Бюро ПРОКУРОРА КРОСА.

КРОС. Дорогой Дорн, я чувствую, чьи уши торчали из-под берета господина Опитца! Спасибо депутатам бундестага — защитили Форста! Я полагаю, что продолжение мучений инвалида войны Фрица Форста будет неверно понято общественностью Федеративной республики… У вас ничего нового в связи с этим делом?

ДОРН. А почему у меня должно что-то быть? Не я начал дело против Форста, а вы… Я теперь

ничего не предпринимаю, не посоветовавшись с вами… Ваш шеф звонил сегодня утром моему шефу, тот вызывал меня, я ответил, что слыхом не слыхал о Форсте после того, как прокурор Крос однажды щелкнул меня по носу и потребовал фактов, а не догадок…

КРОС. Подготовьте мне, пожалуйста, справку — подробную, объективную справку. А что у вас еще есть по этому самому Опитцу? Скользкий тип?

ДОРН. Опитц? А кто это? Впервые слышу от вас это имя…

КРОС. Рассказать?

ДОРН. Был бы весьма признателен…

КРОС (*подходит к стенке, вешает на нее портрет Штаубе-Майера*). А этого человека вы знаете?

ДОРН. Очень стертое лицо. Как монета в пятьдесят пфеннигов…

КРОС. Я рассчитываю на определенный ответ, господин Дорн.

ДОРН. Уж не хотите ли вы задать мне этот вопрос как прокурор?

КРОС. Именно так.

ДОРН. Господин Крос, вы достаточно серьезно продумали комплекс сложностей, которые могут последовать вслед за такого рода решением?

КРОС. Да.

ДОРН. В таком случае я был бы рад получить от вас официальное приглашение на допрос.

КРОС. Считайте, что получили.

ДОРН. Тогда разрешите и мне поставить вам вопрос: вправе ли вы оперировать материалами, полученными от красного журналиста?

КРОС. От кого к вам пришла информация о визите ко мне красного журналиста?

ДОРН. Я не приучен открывать имена своих информаторов.

КРОС. Хорошо… Меня устроит определенный ответ по поводу Штаубе-Майера — в любой удобной для вас форме…

ДОРН. Заявление типа «Я становлюсь старым, память может мне изменить» вас удовлетворит?

КРОС. На данном этапе — да… А в принципе меня бы вообще устроил ваш выход на пенсию.

ДОРН (*после долгой паузы*). То есть вы хотите дать мне понять, что выход на пенсию оградит меня от дальнейшей нервотрепки?

КРОС. Нервотрепка — на вашем языке — судебный процесс?

ДОРН. Хотите напугать меня? (*Пауза.*)

КРОС. Мистера Макговерна вы тоже не знаете?

ДОРН. Я знаю мистера Макговерна, знаю, как

и вы. Это истинный патриот европейско-американского оборонительного содружества, борец за свободу и демократию, наш большой друг…

КРОС. Все верно. Только я еще знаю его как человека, вывезшего из Кельна и Мюнхена в сорок пятом году сто двенадцать наших наиболее талантливых ученых…

ДОРН. Вы верите слухам, сработанным Советами?

КРОС. Среди этих ученых был мой отец… Всего доброго…

ДОРН и ШТАУБЕ.

ШТАУБЕ. Я освобождаю вас впредь от дальнейших забот о Форсте. Советую подумать о своей дальнейшей судьбе — срочном уходе на пенсию… А пока не откажите мне в любезности: попросите вашего секретаря заказать мне билет в Сицилию — без палермской мафии мы не разрубим узел… Я вернусь сегодня с последним рейсом… До моего возвращения оставьте Форста в покое. Есть вопросы? (*Пауза.*) Ну и прекрасно…

Кафе.
ФОРСТ и СТЕПАНОВ.

ФОРСТ. Вы понимаете, что случилось, мой

друг?

СТЕПАНОВ. Отчего так драматичен вопрос? Ваше дело закрыто, Опитц сник, впереди работа, жизнь прекрасна!

ФОРСТ. Вы всегда так веселы?

СТЕПАНОВ. Если я плачу, то по ночам, чтобы никто не видел… Зачем доставлять радость завистникам?

ФОРСТ. Преклоняюсь перед оптимистами. Вы — аномалия… В принципе-то, человек с младенчества боится другого человека. Я замечал, как плакали мои дети, прятали лица на груди Эвы, когда к ним подходил чужой… Человек рожден для того, чтобы быть одиноким, — увы, это генетический код мыслящих двуногих… Но при всем этом человек — будучи явлением парадоксальным — постоянно тянется к другим людям. Аномалия. Вы не понимаете, что случилось… Эва, кстати, шлет вам привет… Встанет через неделю… Окончательно сдали нервы у бедняги, она не верила, что вы сможете включить в наше дело такие силы… Спасибо вам…

СТЕПАНОВ. Да будет, право… Еще пива хотите?

ФОРСТ. Я бы водки с удовольствием выпил…

СТЕПАНОВ. Наконец-то! Что значит наше влияние!

ФОРСТ. Все эти трудные недели я не раз проклинал тот день, когда поддался уговорам Эвы и пришел к вам, в бюро. Нам было горько, что нас не слышат на родине, но мы хоть знали тогда, что наутро проснемся… Впрочем, сейчас я не смею жалеть… Я ведь тогда очень боялся, что вы, как и все, откажетесь писать о нашем поиске… Почему, кстати, вы решились?

СТЕПАНОВ (*после паузы*). Знаете, Фриц, у американцев, славных в общем-то людей, нет еще своей культуры, слишком молоды: всего 200 лет им…. Так они культуру всего мира скупают, везут к себе в музеи… А нам — больше тысячи лет, и культура поразительна. А как мы знаем свою культуру? Как храним ее? Как ценим? Поэтому я о вас и написал… А вы? Отчего вы начали свой поиск?

ФОРСТ. Укрывание краденого — такое же преступление, как и само воровство… Да… но вы еще не понимаете, куда привел нас поиск иконы 891, еще не понимаете, что любым следующим шагом мы можем разворошить весь улей…

СТЕПАНОВ. Ну и прекрасно…

ФОРСТ. Я подчас теряюсь! Вы себя играете или вы такой на самом деле?

СТЕПАНОВ. Наверное, немного играю…

ФОРСТ. Зачем?

СТЕПАНОВ. Чтобы дразнить недругов…

ФОРСТ. Смысл?..

СТЕПАНОВ. Черт его знает…

ФОРСТ. Слушайте. Это запись моей беседы с начальником личного штаба рейхсфюрера СС генералом Карлом Вольфом — он начинал переговоры с Даллесом в Швейцарии весной сорок пятого… Может быть, вы слыхали о нем?

СТЕПАНОВ (*рассеянно*). Карл Вольф сейчас живет в Дармштадте. Его телефон 291287. Обедает в ресторане «Трес эстрелас». Жалуется, что ему платят всего 300 марок пенсии в месяц…

ФОРСТ. Вас обязательно посадят…

СТЕПАНОВ. Жаль. За что?

ФОРСТ. Не знаю, но за что-нибудь да посадят… (*Задумчиво*.) Почему Вольф лгал мне о замке Голомберг? Он очень много знает об этом замке. Почему он мне лгал? А это — запись беседы с рейхсминистром вооружения Шпеером. Он, наоборот, предупреждал меня: «Бойтесь Вольфа… Он и его люди не простят вам вашего интереса… Я виноват перед немцами, перед русскими — поэтому я так говорю вам… Гуманизму, ощущению вины я учился в тюрьме Шпандау, начав читать русскую литературу…»

СТЕПАНОВ. Вы в растерянности… Почему? Я вас

впервые таким вижу…

ФОРСТ. Потому что я сейчас почувствовал, что смогу доказать наличие таинственной цепи. Все эти форетцы, бунвехавены, вольфы и многие другие связаны в единую цепь, понимаете?.. Законспирированную, мощную, ждущую своего часа… И упирается эта цепь в то имя, которое… Словом, профессор Коллер прав — я нашел документы о том, что именно Гитлер был владельцем всех культурных ценностей, похищенных Розенбергом, именно он, «идеалист Гитлер»…

К Степанову подходит ОФИЦИАНТКА.

ОФИЦИАНТКА. Вас просят к телефону.

СТЕПАНОВ выходит.
Выстрел. ФОРСТ падает. Гремит музыка.

«Бюро НАБЛЮДЕНИЯ».
ДОРН стремительно проходит посты полиции, молча пожимает руки своим сотрудникам.

ДОРН. Кто бы мог подумать, что таинственные силы извне вторгнутся в это дело?! Красные бригады из Италии — их почерк… Спасибо за то, как вы выполняли свой долг, друзья… Мы найдем тех, кто убил Форста… С русского наблюдение снимайте, он нам теперь неинтересен, его работу

можно считать оконченной… Все связанное с поиском и попыткой вывоза коллекций картин, икон и архивов нас более не интересует, ибо этим заниматься отныне некому…

Мониторы, посредством которых шло наблюдение за СТЕПАНОВЫМ гаснут.

Бюро СТЕПАНОВА.

СТЕПАНОВ (*включает диктофон, начинает диктовать*). А вообще-то, что я знал о Форсте? Что мы вообще знаем друг о друге? Где наша пристальность? Подробность — удел таланта. Пристальность — это и есть подробность… А сколько их, талантливых, на земле? Только нечестный ответит: «много». Нет, талантливых, то есть особо пристальных, ранимых, добрых, — куда как мало… Фриц был талантлив — только поэтому он делал свое дело. А талант — это справедливость… И еще… он научил меня принимать решения, потому что сам принял свое главное решение — помнить… Память только тогда деятельна, когда она обращена в будущее…

Затемнение.

Голос АВТОРА и его проекция на мониторе, если монитора нет — на фотографии.

АВТОР. Эта история не выдумана, по вполне понятным причинам в ней лишь изменены некоторые фамилии… Выявление русских ценностей, похищенных нацистами, — архисовременная проблема.

В январе и феврале 1981 года в Лондоне, Мюнхене, Лозанне, Гамбурге и Лихтенштейне прошли переговоры, в результате которых создан Комитет Честности по отношению к русскому искусству, похищенному нацистами.

Слово Жоржу Сименону. (*Звучит голос Сименона.*) «Я как член Комитета настаиваю на возвращении русских ценностей, награбленных гитлеровцами в Советском Союзе…»

…В работу Комитета включились Джеймс Олдридж из Лондона и Фридрих Хитцер из Мюнхена…

Слово видному общественному деятелю барону Эдуарду фон Фольц Фейну. (*Звучит голос барона.*) «Москва. Театр “Современник”. Дорогие русские друзья!

От всего сердца приветствую Ваш вклад в создание Комитета Честности, идею создания которого так искренне поддержал Марк Шагал, когда я и мой друг Юлиан Семенов были у него в гостях в Сан-Поль-де-Ванс в сентябре 1980 года, обсуждая

вопрос о необходимости сохранения произведений русского искусства, оказавшихся на Западе.

Передаю в день премьеры пьесы “Поиск-891” в дар вашему театру уникальную картину старинного художника “Петр Великий”. Мне удалось спасти ее во время аукциона в Париже в 1979 году, уплатив 15 000 франков, чтобы не дать ей бесследно исчезнуть».

Из архива писателя

Начало начал. Первая книга
Начало начал
1

Время отстукивало минуты мудрости. С каждым часом Степан все явственней ощущал разницу между тем, что мыслилось вчера и сегодня. Причем разница эта измерялась не критерием длительности периода. Каждая минута несла с собой новое и в восприятии, и в реакции на него. Было много-много сложного в том, как Степан воспринимал идущую со временем ломку установившегося — и — поэтому необходимого. Иногда он отчаянно цеплялся за былое, а иногда, особенно в последнее время, с ясностью неимоверной понимал, что, в сущности, цепляться-то не за что.

И самое главное — невозможно. Убедился он в этом сразу.

Случилось это в последние дни февраля. Мела поземка, дул колючий, как щетина на бороде, ветер. Степан вернулся домой из университета вместе с Федором. Было часов восемь. Сидели и молча пили новинку — советское виски. Сухой

трескотней вздрогнул телефон.

— Стеша, я подойду, наверное, тебя.

Снял трубку.

— Да… Нет, его нет… Когда будет? — Федор посмотрел на Степана и, закрыв трубку ладонью, спросил, что ответить.

— Не будет меня сегодня.

Федор кивнул головой.

— Он будет сегодня поздно. Завтра позвоните. А что передать? А… Хорошо, скажу.

Осторожно повесил трубку.

— Стешенька, ваш одноклассник помер. Владик просил позвонить.

Бутылка виски была наполовину пустой, и, может быть, поэтому Степан незаметно прореагировал на слова Федора.

— Первый наш…

Потом они уехали в город, мотались там допоздна, и, когда Степан вернулся домой, он, как подкошенный упал на кровать и тревожно заснул.

Наутро он пытался представить себе, кто же из ребят умер, — и не мог. Вечером позвонил старый учитель немецкого языка Артур Иванович и сказал, что застрелился Сергей Винов. Степан даме зажмурился — настолько это было нелепо и

неожиданно. Сережка?!

Степан знал, что медики делят людей на холериков, флегматиков, и на что-то еще, столь же непонятное и туманное. Сергей не подходил ни к одной из этих групп. Просто он был очень мягким, застенчивым и добрым человеком…

На следующий день с утра за Степаном зашли ребята. Пошли на Киевский вокзал — Сергей жил в Очакове. Юрка Фалеев нес венок. По красному сатину — черным: «Сергею от друзей».

У белого домика на горке толпился народ. О чем-то вполголоса переговаривались, бегали мальчишки, а те, что поменьше, испуганно прижавшись к материнским юбкам, смотрели на дом. Ребята подошли ко гробу. Сергей лежал спокойный и, как показалось Степану, злой. Степан осмотрелся. Усмехнулся, вспомнив, как в день окончания школы они приехали к Сергею и он, теперь уже не таясь, доставал из-за старенького пианино бутылки. В них тогда была радостная водка…

А теперь на том же месте стояли бутылки с водкой тоскливой, как стон женщин у дома. Бабка Фрося вся сморщилась, руки ее дрожали, и, наверное, из-за красных, напухших глаз вся она казалась красной и опухшей.

Она тихо рассказывала ребятам:

— С вечера, как телевизор кончили смотреть, он мать-то попросил его завтра разбудить пораньше… В комнату к себе вошел, дверь закрыл, да как бабахнет… И записку оставил: «Прощайте, люди. Сергей».

Пришел поп. На руке у него были наколоты корабли, нимфы и слова «Маша, я люблю тебя». Несуразно высоким голосом он затянул:

— Го-осподи-и, прими душу самоубиенного раба Сергиа-а… — тянул он долго, повторяя одно и то же. Старухи плача крестились.

Когда гроб несли на кладбище, ребята часто останавливались, по очереди подменяя друг друга. Попик поторапливал — было холодно, ветер пробирал до костей. Самое страшное случилось у могилы. Отец Сергея все время дергался, и только мелко дрожавшие руки выдавали его волнение. У самой могилы, когда попик предал Сергея земле — и Степан увидел, как у Сергея сразу же посинели уши и подглазники, — это не мистика, действительно так и было, — отец Сергея закричал, бросился ко гробу и схватил обеими руками лицо сына.

Его оттащили. Мать стояла спокойно, глаза ее были неподвижны, как вода в стакане. Тихо,

почти шепотом, она спросила:

— Зачем вы его хороните?

Громче:

— Не смейте хоронить моего сына…

Потом закричала:

— Не смейте хоронить Сереженьку!

Оттолкнув всех, подошла к мужу, обняла его и строго заговорила:

— Не плачь. Он придет сегодня, полежит, отдохнет немного и придет. Ты слышишь, что я говорю! Не плачь!

Гроб опустили в могилу и начали засыпать землей. Мерзлые комья гулко ударялись о крышку гроба. Подумалось: «А мальчик-то был? А может, мальчика и не было?» — Не было — утвердительно возвышался могильный холмик.

На поминках выпили горестной водки из-за пианино.

Попик долго и со смаком крестил стол, что-то бойко распевая. Он был уже навеселе. Кто-то из ребят, слушая попа, сдавленно засмеялся и тут же перебил смех на кашель. Все как-то сразу прояснилось.

Водка всегда водка — горестная она или радостная — результат от нее один. Ребята начали шуметь, рассказывать истории, и только вспом-

нив, что сейчас поминки, кто-нибудь вздыхал: «Эх… Серега…»

Сказано это было не к месту, и все замолкали на время, чтобы выпить водки, а потом в комнате снова вырастал нестройный, липкий гул голосов.

Дома Степан выпил еще водки и сразу подумал: «Фарс».

Выругался.

«А я ведь тоже помру. И черви будут. Наша жизнь в калейдоскопе столетий не больше, чем вспышка магния в Федькином аппарате. Чего-то хотим, ждем, любим. Черви… До двадцати лет ни черта не понимаем, потом жизнь начинает под микитки бить, — родился, так на тебе, на тебе! К тридцати годам — морщинки, проседь и в глазах холод… А там, гляди, всё поняв — пора! Время! В том-то и штука вся, что живем мы в цейтноте — осмысливаем случившееся после, когда ход уже записан. Ничего не поделаешь — срок истек, вексель отсрочке не подлежит, пора в другую комнату — в двухметровую. Нет, и обязательно черви! — Степан усмехнулся. — Так какого же черта переживать, любить, надеяться? Переживать нужно только то, что мы есть. Значит, скоро не будем. Скоро. Вот в чем мудрость».

Степану стало плохо, и он пошел на вокзал пить водку.

2

Вечером стало тяжко. Закат навевал тоску. Особенно тяжко встречать этот закат из окна. Рождаются и тут же гаснут желания. Тоска пеленает нас трезвостью.

Чтобы не захандрить совсем, Степан вскочил с кровати, выключил приемник и, накинув на плечи пиджак, вышел из комнаты. Решил ехать кататься на речном трамвае. На трамвайчик сел у Киевского моста. Солнце, только что спрятавшееся за сутулые спины домов, разливало вокруг нежный розовый свет, постепенно растворявшийся в свинцовости Москва-реки. Степан любил сходить на остановке, следующей за Бородинским мостом. Если сразу пойти от пристани налево, то совсем забываешь, что ты в городе, — кажется — в хорошем подмосковном лесу.

У пристани было еще светло, а в парке, совсем по-пастернаковски, струился кафедральный мрак. Степан выбрал место под усталым, мудрым дубом, расстелил пиджак и сел. Тоска прошла. Он смотрел на далекие подслеповатые огни города,

на тяжелую реку. Думал.

Своеобразно и необычно сложилась у него жизнь в последние месяцы. Арестовали отца — человека, который с детских лет мотался сначала по революции, потом по стройкам 20-х годов. Куда только не бросала его партия — и паровозы, и печать, и фронт, и партизанский край… И сколько помнит Степан, отец — это шаблонно, конечно, — горел на работе. Его поджарая фигура, резкий профиль, копна черных кудрей на голове — всё это гармонировало духу времени — чудесного времени борьбы и строительства. Часто он говорил сыну: «Отец с матерью переспали — и — как следствие — я. Заявился на свет — а на кой черт? В деревне босяком бегал. Читать учился у старого деда — школы не было. О городе думать было нечего: в гимназию неверных не принимали, да и жить нам было не по карману — дед плотовщиком был».

Беседы отца никогда не носили характер нравоучения или, еще хуже, политбеседы. Андрей Алексеевич учил Степана спокойно взвешивать и обсуждать каждое явление и потом уж, не торопясь, делать вывод… И действительно, взвешивая и рассуждая, Степан не мог не видеть, что партия и Советское государство дали его отцу

настоящую жизнь. А он в свою очередь отдавал искренне и самозабвенно своего рода дань государству — свою жизнь. Сначала в школе, потом в комсомоле, в институте, в беседах с отцом у Степана, может быть, независимо от него самого, выработалась беспредельная, подчас, как и у отца, фанатичная преданность режиму, тому режиму, который дал жизнь отцу, следовательно, и ему, Степану… Не одно это, конечно, обуславливало преданность Степана тому, что мы называем советским… Живя в коллективе, а без коллектива он не мог прожить и дня, в нем выработалось замечательное чувство, порождаемое только коллективом, — дружба и вытекающая отсюда вера в друзей. А друзья у Степана были замечательные. Веря и любя друзей своих, простых, веселых, немного хулиганистых по-мальчишески ребят, Степан видел в них советских людей, а поскольку друзей у него всегда было много, то он, естественно, любил в миниатюре советское, окружавшее его сначала мальчишеское, а потом юношеское общество. Из любви к друзьям выросла любовь к миллионам других подобных им людей… Это была вера в советских людей вообще.

Иногда в среде его друзей оказывались плохие ребята — или нечестные, или жадные, или хит-

рые. С такими Степан переставал здороваться, потом забывал их, и они не оставляли в памяти его никакого следа. Но это не была ложка дегтя в бочке меда. Это была какая-то сотая доля грамма, которая ни в коем случае не портила мед.

Когда взяли отца, Степан сразу решил, что взяли отца люди, подобные тем, с которыми Степан переставал здороваться в детстве из-за их нечестности. Такие люди у Степана не входили в категорию тех, кого он считал советскими.

И анализируя случившееся, Степан решил, что так же, как и мать — нежная и любящая — не может зря обидеть своего ребенка, так и Советское государство не могло обидеть своего ребенка — его отца Андрея Гриля. Значит, обидели его нечестные, дрянные, несоветские люди… И самое главное, что понял и почувствовал Степан, заключалось в том, что после ареста отца — самого любимого и дорогого человека — он, Степан, остался таким же верным и преданным делу партии человеком, каким его учили быть комсомол, друзья, отец.

Степан встал с земли, отряхнул прилипшие к пиджаку листья и Нескучным садом пошел к Парку Горького. Было часов десять вечера. В парке народу не протолкнешься. Особенно много

на танцплощадке, хотя играли какую-то несуразную кадриль или что-то в этом роде. У силомера толпился народ. Стрелка, выявляющая мощь «индивида силы», взлетала над головами, вызывая гул одобрения или презрительные похихикиванья. Степан уплатил 50 копеек, снял пиджак и поплевал на руки. Крякнул, взмахнув над головой молотом, и — стрелка застряла под 100.

— Ну, малый дает… — одобрительно зашумели вокруг.

А скептик — такого сорта люди обязательно бродят по парку — одинокие и желчные — сказал:

— Силомер небось испортился, пусть еще раз!

— Ты за меня заплати, товарищ, так я еще раз.

— А если не выбьешь?

— С меня десятка, выбью — с тебя.

Ударили по рукам. Степан снова выбил 100 и получил мятую, теплую десятирублевку. Мальчишки вокруг закричали: «Дядь, купи мороженое!»

И когда Степан купил им пять эскимо, они, радостные и шумливые, побежали куда-то, на ходу обмениваясь мнениями — «Новак, Новак, это точно… Да нет, Куценко…»

Степан улыбнулся и пошел к выходу.

3

Москва была сиренева. Солнце еще не оживило брызгами своих лучей улицы и чудные переулки ее, и поэтому она была вся как немытый ребенок — сонная, зевающая и ласковая. Второе июня… В июне Москва необычна. Когда идешь рано утром по ее улицам — пустынным и тихим — кажется — она устала.

Часов в пять утра Степан вышел из «Метрополя». В ушах еще шумели визги джаза, а в мозгу начинала ворочаться и вздыхать ехидная девка-совесть. Спрашивала — ну и что? Еще ночь прошла. Пил, да? А зачем? — Иди к черту, — устало отпихивалась мысль. — Нет, ты отвечай: дальше что? Кому нужен ты? А? И засмеялась беззлобно. — Никому, наверно, — шепнула и замолчала.

Степан устало шел вниз, к Манежу. Когда проходил мимо университетского садика — увидал спящую женщину, она свернулась в комочек — видно, холодно было ей. Степан зашел и сел рядом. Она почувствовала кого-то рядом, зачмокала губами, потянулась, и удивленно раскрыв глаза, взглянула на Степана. Сразу испугалась.

— Вы кто?

— Человек.

— Да это я вижу. А что, мне нельзя здесь?

— Что ты, спи себе.

— Время-то сколько?

— Пять.

— Значит, выспалась.

Степан смотрел на нее. Была она молода, лицо худенькое и очень усталое, глаза хорошие — голубые, как это утро. Старенькое платьице облегало стройную фигурку.

— Ты чего не дома спишь?

— Я ж за городом живу, в Балашихе. Опоздала на поезд, ну и пришлось здесь…

— А на вокзале что ж?

Она засмеялась, и это испортило ее лицо:

— Так здесь спокойней спать-то.

— Идем ко мне досыпать?

Она устало и безразлично согласилась. Шли рядом — она в стареньком, но милом платьице — хрупкая и стройная, и он — здоровый, массивный, в модном светлом костюме. Внешне — контрастно. А если внимательно вглядеться в них, то можно было увидать внутреннее какое-то сходство. И он — давно небритый, с заплывшими глазами, и она — маленькая и грустная — были

частью чего-то одного, большого и гнетущего. Степан обнял ее за шею — как маленького ребенка, и они медленно шли наверх, к Арбату. То ли сказывалась усталость последних дней, то ли он чувствовал в ней такое же задерганное и усталое существо, как и он сам, но Степан совсем не думал о ней как о женщине.

Взяли какое-то шальное такси и поехали к нему домой. В комнате у Степана было не прибрано — кровать он не убирал дней пять, на столе и шкафах гуталинным слоем лежала пыль. Она мягким женским чутьем поняла все — и что он одинок, и что очень устал, и вообще ему плохо. Присела на маленький столик, оставшийся еще от Степановых детских атрибутов, и ласково посмотрела на него.

— Что смотришь?

— Да так…

— Выпить хочешь?

— Ага.

Степан сходил на кухню и принес бутылку какой-то дагвиновской дряни.

— Знаешь, у меня только закусить нечего.

— Ничего.

Выпили из любимых его чашечек — хитрые японки щурили азиатско-умные глаза и обмахи-

вались веерами, но — судя по рисунку — им не было жарко.

В комнате было сумрачно, а солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь шторы, вили на ковре рисунок — по-импрессионистски яркий… Степан, выпив вина, опьянел — до этого было слишком много принято. Она поняла и сказала:

— Может, хватит тебе?

— Глупая. Спать хочешь?

— Что, надо?

Он закрыл глаза и кивнул.

— Ты спишь?

— Нет.

Она поднялась на локте, вглядываясь в его лицо.

— Ты думаешь, я всегда такая?

— Давай спать…

Она повернулась спиной к нему и, спрятав голову под подушку, заплакала.

— Ты что?

— Да отойди.

— Куда отойти?

— К черту, — зло и тихо сказала она и повернула к нему заплаканное лицо. — Думаешь, шлюху подобрал? Ведь вижу я, плохо тебе… как и мне… ну и пошла с тобой, думаешь я со всеми так…

Эх, ты…

Говорила и глотала горошины-слезы.

Степан взял ее голову в руки и стал целовать глаза. Потом положил себе на грудь и начал гладить лохматую, кудрявую беспутно-добрую головенку.

— Спи, глупышка, а если обидел — прости…

Так говорил он простые слова, которых так недостает в жизни…

Она уснула у него на груди, согретая простотой человеческой ласки.

А Степан не мог спать. Вот — еще одна трагедия человеческая, а сколько их…

На ковре играли безалаберно веселые и яркие лучи солнца.

4

Двор дома был большой и серый. Маленькие деревья, посаженные год назад, тоже казались серыми, из-за того, что листья их были покрыты сухой пылью. На скамейке около фонтана, из которого никогда не била вода, сидел Леша Панков и пускал в воздух кольца дыма. Увидев Степана, он поднялся и пошел навстречу:

— Здорово, Степан!

— Привет. Все пишешь?
— А как же!
— О чем?
— О счастье.
— Дак счастья нет… Ладно, будь здоров…
— Подожди, разговор есть.
— Я занят.

Степан поднялся на пятый этаж, открыл дверь. В большой квартире тихо, сумрачно. На столике у телефона лежало письмо. Степан включил свет, взял конверт. На сложенном угольником конверте чужим, неровным почерком был напитан адрес Степана и обратный — п/я 98…

Степан тяжело опустился на стул, сглотнул комок.

Страшным почерком отец писал о том, что он находится сейчас на пересыльном пункте в Ярославле, что в Москве у него парализовались ноги, но в общем все хорошо и волноваться не следует.

Степан прочел письмо и закрыл глаза рукой.

Ночью Степан собрал для отца вещи (когда Грилля арестовали, он был в легоньком пыльнике, без джемпера, в и легоньких туфлях), а наутро поехал на вокзал.

В вагоне было пусто, он притулился головой к стеклу и уснул.

Когда Степан открыл глаза, за стеклом моросил дождь, леса стояли понурые и озябшие.

В Ярославле, на вокзальной площади, среди шума и криков, Степан подошел к стоянке машин:

— Кто до пересылки едет?

— Садись. — предложил молоденький шофер разболтанного трофейного «опеля» и открыл Степану дверцу. Они доехали до огромного деревянного забора, там шофер затормозил и, вздохнув, сказал:

— Здесь.

Степан протянул ему десятку, и шофер начал было отказываться, но, решив, что десятка — деньги небольшие, взял мятую бумажку и сунул ее в карман.

— Счастливо, браток! — крикнул он, разворачиваясь.

У деревянных ворот стояла очередь: в тюрьму несли передачи, крайней оказалась молодая женщина, которая ласково, по-волжски окая, сообщила Степану все тюремные распорядки и даже пригласила его пить чай вечерком…

Вошли в приемную камеру. Хотя Степан и в Москве носил отцу передачи, но каждый раз, входя в тюремное помещение, он испытывал что-то вроде страха. В тюремной приемной камере все

не так, как на воле: люди говорят шепотом, но полетнему жухлый свет пробивается сквозь грязное решетчатое окно, и забывается, что рядом, на улице, люди смеются, смотрят на солнце, ездят в трамваях, пьют газированную воду, именно газированную, и вечерами гуляют по набережной.

Эти незаметные мелочи рождают страшное и великое понятие — то, что принято называть свободой.

В ярославской пересылке, в отличие от московских тюрем, в приемной камере было еще тяжелее: облезлые деревянные лавки, мятый бак с привязанной никелированной кружкой и запах, непередаваемый, специфический запах тюрьмы — карболка, смешанная с каким-то приторно-сладким запахом.

Здесь, в приемной камере, была слышна жизнь тюрьмы. Кто-то надрывно кричал:

— Санек! Завтра этап!

— Колька, где буханка, гад?

— Еще передачи не приносили!

— Смотри!

Женщины долго передавали передачи, и, когда подошла очередь Степана, в камере остался только он и молодая, смешливая женщина, что приглашала его пить чаёк. Сержант, принимав-

ший вещи, на минуту закрыл окошко. Потом, вернувшись откуда-то, он крикнул:

— Кто следующий?

— Товарищ сержант, здесь мой отец должен быть.

— Фамилия?

— Гриль, Андрей Алексеевич.

— Как-как? — переспросил сержант, пристально посмотрев на Степана.

— Гриль. Он по пятьдесят восьмой…

— Подожди маленько, — тихо сказал сержант и, закрыв окошко, позвал: — Товарищ лейтенант!

Потом Степан услышал ого удаляющиеся шаги…

Прошло минут десять. Снова шаги…

— Вот что, отец ваш здесь, но свидание с ним невозможно, он транзитный. Записку можно написать и передачу.

— Ага. Спасибо.

Степан быстро черкнул записку и передал вместе с ней вещи. Сержант снова ушел. Воцарилось молчание… И вдруг Степан вскочил со скамейки. Он услышал голос отца.

— Степка, сынка мой родной! — громко и страшно закричал отец.

Степан бросился к решетчатому окну, схватил-

ся за прутья:

— Папочка, я здесь! — И потом совсем по-детски, высоко: — Папочка!

Тюрьма молчала. И вдруг прорвалось: кричали и топали ногами все этажи тюрьмы:

— Гады, дайте увидеться людям! Паразиты!

Степан стоял у окна, и слезы, теперь уже тяжелые и злые мужские слезы, катились по щекам.

Кто-то сзади мягко гладил его по спине. Степан обернулся: женщина, утирая слезы платком, стояла сзади и шептала:

— Не надо, не надо, так хуже будет, не кричи на них.

Потом она взяла его за руку и отвела от окна. В это время вбежал молоденький лейтенант.

— Что же вы делаете с людьми? Знаете, кто вы!..

— Да не могу я вам свидания дать, голову с меня снимут! Мы-то в чем виноваты. Самим, думаешь… — лейтенант махнул рукой. — Пойдите в управление, к Галкину, он поможет… И отца-то успокой в записочке…

Лейтенант говорил быстро, и, когда он поднял глаза, Степан поразился — такие были они горькие и не по-мальчишески морщинистые.

Утро следующего дня выдалось спокойное и

тихое.

Степан часа два прождал Галкина в прокуренной приемной облМГБ.

На стене висела газета «За бдительность» — в статьях пестрели фамилии сотрудников, приводились факты, которые посторонние, да тем более жалобщики, знать не должны были бы.

Когда вошел к Галкину, первое, что бросилось в глаза, был огромный, во всю стену, портрет Берии. Галкин встал из-за стола, перевернув перед этим какую-то бумагу, лежавшую перед ним.

— Товарищ полковник, у вас находится мой отец, Гриль, он…

— Знаю, — перебил Галкин. — Свидания дать не могу, он транзитный.

— Он больной, — тихо сказал Степан и опустил голову.

— Садитесь, — предложил Галкин и, выйдя из-за стола, прошелся по комнате. — Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Учитесь?

— Пока да…

— Почему пока?

— Всякое ведь может быть…

— Так. — Галкин остановился около Степана,

вздохнул. — Мать есть?

— Да.

Галкин возвратился за стол, хрустнул пальцами и крикнул:

— Да не могу я тебе свидания дать! Не могу, понимаешь?!

Степан встал и, сгорбившись, пошел к выходу. У самой двери он остановился и обернулся на полковника. Галкин смотрел прямо на него. Встретившись со Степаном взглядом, он как-то странно сморщил лицо и позвал:

— Иди сюда.

Степан, улыбнувшись сквозь слезы, подошел к нему.

— Заявление есть?

Он взял протянутый лист и, не глядя, надписал сверху: «Свидание на пятнадцать минут». Секунду подумал, нахмурив лоб, потом тихо сказал:

— Так… Ладно… Иди…

На базаре Степан купил всего, что можно было унести в двух больших авоськах. Купил он много совершенно не нужных Андрею Алексеевичу деликатесов, консервов, которые портятся, как только их откроешь, деревянную, с петухами ложку и что-то еще, столь же бестолковое. Но Степан представлял себе радость отца от этого,

как всегда у них обоих, немного смешного и трогательного проявления любви и заботы.

Свидание им дали, когда в приемной камере не осталось уже ни одного человека. Дверь еще не открылась, но Степан услыхал голос отца:

— Где Степка мой?

Голос был с хрипотцой, дрожащий, но все так же знакомый и родной. Его вынесли на руках двое заключенных, осторожно посадили на скамью и вышли, рядом осталась сестра в белом, с рыжими пятнами, халате и офицер-охранник.

Степана отделяла от отца стена из железных прутьев. Окон не было, и маленькая лампочка под потолком освещала плохо штукатуренные стены, окурки на полу и размашисто трясущуюся фигуру Андрея Алексеевича. Отец был совсем седой, разбитые очки подвязаны веревочкой, оторванный ворот рубахи открывал сухую грудь, с выпирающими ключицами.

Отец смотрел на Степана огромными, добрыми своими глазами и улыбался. Он протянул Степану через решетку руку, и Степан бросился к сухой и немытой отцовской руке, схватил ее и прижался к ней губами.

Потом отец подтянулся, и они поцеловались через решетку.

— Ну как ты, Степка?

— Хорошо, а как ты, родной?

Андрей Алексеевич махнул рукой и затрясся еще сильнее, так, что вторая решетка за его спиной зазвенела.

— Как твоя учеба?

— Хорошо, хорошо, а что у тебя, папочка?

Отец, изредка усмехаясь, рассказал о «следствии» по делу «контрреволюционера» Гриля.

— Били?

Офицер, до этого стоявший у стены, обернулся и попросил:

— Не надо таких вопросов.

— А что же будет, папа?

— Не знаю… Но большевиком я остался! — громко и, как показалось Степану, чуть устало сказал отец и снова улыбнулся. — Не вешай носа, сынка, всё будет хорошо. Все… будет.

Потом он достал из-за пазухи мятую коробку «Спорта».

— Жулики помогают, — он мягко улыбнулся, — хорошие ребята попадаются. Я здесь в законе…

Степан выбежал в соседнюю камеру и принес сумки.

— Куда ты мне кремлевский паек притащил? Хотя ладно, поделюсь. Слушай, Степка, еда — черт

с ней! Как только вернешься в Москву, иди в ЦК и расскажи, что в тюрьмах сидят ни в чем не виноватые люди. Передай вот это заявление, — и он протянул Степану через решетку свернутый трубочкой листок бумаги.

Офицер покосился, но ничего не сказал.

— Сразу же пойди, слышишь?!

— Да, отец.

Лязгнула дверь, и в камеру вошел другой офицер:

— Время! Полтора часа говорите.

Степан и отец заторопились, начали говорить что-то невпопад и быстро, перебивая друг друга. Потом отец снова подтянулся к решетке, и они поцеловались. Вошли заключенные и подняли отца на руки. Он обернулся, постарался улыбнуться, сказать что-то, но это не получилось. Он махнул мукой и, отвернувшись, положил седую, трясущуюся голову на плечо одному из заключенных. Спина его судорожно дергалась.

...Ночью Степан ехал в поезде, в каморке у проводницы, и, глядя в окно, думал об отце. Вспоминалось детство в Малаховке, приезды отца поздно ночью из редакции, обязательно с каким-нибудь подарком. Вспоминал, как болел дифтеритом и как во время кризиса, когда терял

сознание, отец уходил на кухню и, возвращаясь, читал ему что-то смешное. Читал, а глаза у него были красные, в сухих морщинках. Когда Степану стало очень плохо, он тихо сказал:

— Папочка, умираю…

Отец схватил его, прижал к себе и начал судорожно гладить по голове… Потом Степану стало легче, упала температура, и отец радостно смеялся и протирал для Степана яблоки… Вспоминал, как отец прилетел в Саратов, в интернат. Степан очень гордился, что отец в морской форме и с пистолетом. Вспоминалось и многое другое, далекое и близкое, но безвозвратно утерянное.

У Лосиноостровской часа в четыре утра проводница попросила Степана сойти, опасаясь контроля. Были утренние сумерки. Потом стало светать и откуда-то со стороны Ярославля, заливая все светом, выползло кровавое, мясистое солнце.

<Вор>

Фрагмент ранней редакции новеллы «Судьба солдата в Америке»

— Сколько уплатишь? — спросил я.

— Десятку.

— Ладно. Что разгружать?

— Цитрусы.

Я вытащил из багажника четыре тяжеленных мешка и отволок их к воротам. Потом они передали мне из машины еще шесть ящиков, и я тоже сложил их горочкой прямо возле ворот, чтобы парни вошли первыми, как только откроется рынок.

Эти парни в плоских кепи были, видно, с крепкого похмелья. Движения их были замедлены и ленивы. Один из них вытащил из кармана кучу денег. Там были смятые десятирублевки, сотенные, полусотенные купюры. Из этой громадной пачки денег парень вытащил смятый рубль и протянул мне.

— Мы уговаривались на десять.

— Бери, бери, — отрыгнув чесноком, сказал он, — бери, пока дают. С твоей разбитой рожей больше не заработаешь…

Я смотрел на его лицо, заросшее колючей щетиной. Глаза были оплывшие, усталые, он часто закрывал их, как тот маленький черный котенок, из-за которого все началось.

— Мне очень нужно, чтобы вы уплатили десять, — сказал я тихо.

— Э, отваливай, дарагой, слушай! Не хочешь

брать — не бери, — сказал тот, что сидел сзади, — только дверь автомобиля закрой с обратной стороны.

И засмеявшись, сказал что-то своему приятелю, сидевшему за рулем. Тот ответил ему — тихим ленивым голосом. Я все стоял в двери машины и ждал. Тогда парень, сидевший сзади, откинулся на спинку и, вытянув ногу, хотел оттолкнуть меня. Но он был очень уставшим, поэтому нога у него не поднялась так высоко, как надо бы; он засмеялся и, перегнувшись вперед, толкнул меня в грудь. В одной руке его была зажата мятая пачка денег. Мне не было больно, но в одно стремительное мгновение я увидел желто-красный политический централ во Владимире, услыхал вороний крик в голых осенних ветвях, скрывавших слепые громадины тюремных стен, я увидел котенка, брошенного в оцинкованную дверь и услышал его крик, потом я увидел книги отца, вышвырнутые при аресте в коридор, и услыхал его отчаянный крик, когда я прорывался к нему на свиданку в Ярославской пересылке. А потом я перестал всё видеть и слышать и ударил в мягкое лицо с черными усиками — прямо в переносье.

Его рука разжалась, и пачка денег упала прямо на сиденье, я схватил эти деньги — и побежал.

Я ринулся в подворотню, услыхал позади себя автомобильный протяжный гудок и пронзительные крики: так могут кричать только русские бабы и нерусские мужчины. А после я услышал милицейские свистки. Я пронесся через подворотню дальше и — стал. Я был во дворе. Со всех сторон были стены, а в окнах красно-розовыми отблесками рождался новый солнечный день. Бежать отсюда, из этого кирпичного колодца, было некуда, а сзади гремели милицейские свистки и кричали люди, которые топали сюда, чтобы поймать меня, схватить, завернуть назад руку и увести — с завернутой назад рукой — мимо колхозниц, мимо зеленого забора с объявлениями о наборе рабочей силы, и все будут смотреть мне вслед с жадным интересом, радостью и состраданием, и будут шептать: «За что его, а? За что?» А им будут что-то быстро отвечать запыхавшиеся люди, то и дело заглядывая мне в лицо, чтобы не пропустить того момента, когда оно станет пепельно-серым:

— Вор!

«Вор!» — вдруг родилось во мне оглушающее слово. «Вор!» — забило меня дрожью. «Вор» — заломило в ушах и стиснуло виски. «Вор!» — смеялся Попов с Мордвиновым в комитете комсомола.

«Вор?» — пожимали плечами на кафедре Среднего Востока. «Вор» — говорил я обступившим меня лагерникам с головами, стриженными под нулевку, лица у них пепельно-серые, глаза — запавшие, в синяках, на ватниках — белые номера.

Я огляделся. Двор был небольшим. Парадных было два, и они были заколочены крест-накрест толстыми нестругаными досками. Я ощутил, как занозы вонзаются в мои ладони, и ладони пухнут как оладьи на молоке, а все равно без толку — не отдерешь их. Пожарной лестницы тоже не было. Всё. Никуда не денешься.

«А если я отдам деньги? — подумал я. — Скажу, что пошутил. Стану смеяться и скажу, что зло пошутил. Но в милиции все равно спросят, где я живу. И я отвечу, они запросят мое отделение, а там обязательно скажут, что я ЧСВН — член семьи врага народа. И — всё. Вор».

Я слышал свистки совсем рядом. Оглянулся и увидел возле ворот, через которые вбежал, кучу угля, а рядом маленькое оконце. Я даже не стал думать, куда оно ведет. Я ринулся к этому оконцу, открыл его и прыгнул вниз. Я упал на кучу угля, больно ударился локтем, вскочил, огляделся и кинулся за большой клепаный котел. Там я лег на трубы, обшитые колючей паклей, и натянул

на себя какую-то вонючую клеенку со следами масляной краски.

— Он здесь! — услышал я голос сверху, возле оконца, через которое сиганул сюда. — Куда ему, гаду, больше деться?

— Высоко, не спрыгнешь, — сказала женщина.

— Они на все идут, проходимы проклятые, — сказал один из парней в плоских кепках, — паразиты на народной крови.

— Надо к дворнику пойти за ключом, — предложил кто-то.

— Ключ у истопника.

— А где истопник?

— Водку жрет, где ж еще. Они зарабатывают хорошо…

— Откуда знаешь?

— Знаю.

— Болтает языком, благо бесплатно, дурак моченый.

— Повыражайся еще, повыражайся! Сдам в милицию, будешь знать.

— А где жулик-то?

— Какой жулик?

— Которого ловим.

— Петь, пошли, я пивка достал и закуски…

— А сам-то жулик какой?

— А-а-акуратный такой старичок, только без глазу.

— Он протезный, чего зазря говоришь. В нашем парадном живет, Сидоров Санька.

Они еще долго говорили наверху. А потом ушли, потому что началась торговля. Я пролежал в котельной до ночи, ожидая, когда они все-таки придут за мной. Я слышал, как во двор пришли ребята и стали играть в салочки, как ругались две женщины — видимо, прямо из окна в окно, кто-то разбил бутылку, потом где-то завели музыку, в другом окне затянули песню — пьяными, истощенными и добрыми голосами.

Я ждал весь день. Но за мной не пришли. Когда стало темно, я сбросил клеенку и пошел по лестнице вверх, к двери, ведущей на улицу. Я ударил ее плечом и чуть было не вывалился на прохожих. Дверь не была заперта. Если бы утром хоть один из преследователей легонько потянул ее на себя — дверь бы отворилась.

Первая повесть

Над городом повисла жара. Серо-синие небо дышало зноем. Раскаленный асфальт перрона жег

ступни через тонкую кожу тапочек, и поэтому Алексей переступал с ноги на ногу, как журавль. Мать, торопясь, продолжала поучать:

— И далеко не заплывай, а то дельфины защекочут. Фрукты если где купишь — помой обязательно.

— Ладно, ладно, мам. Ты не забудь на Шиллерато подписаться.

— Помню. А еще…

Прозвонил третий звонок, и Алексей вспрыгнул на подножку. Он долго махал матери рукой, а она все шла и шла следом за поездом. Потом паровоз начал набирать скорость, стараясь поскорее увезти людей из раскаленного города в холодок рощ и перелесков.

В вагоне все быстро перезнакомились, и после неразберихи, которая всегда сопутствует первым часам в поезде дальнего следования, пассажиры разбились на группы. За стенкой пели, кто-то гремел костяшками домино и рокочущим басом доказывал:

— Я плюю на аллопатов! Они меня в течение года сумеречным психом делали. Кусаться начал!

Вдруг за перегородкой что-то упало, и Алексей, улыбнувшись, подумал, что это начал кусаться человек, измученный аллопатами. Рядом с

Алексеем сидела молодая женщина, коротко, совсем под мальчика подстриженная, и пожилой мужчина, неизвестно когда и где успевший переодеться в полосатую, цитрусового цвета, пижаму. Перед тем как углубиться в чтение большущей пачки журналов, он ехидно заметил, обращаясь к настольной лампе:

— Впервые вижу женщину, которая возит с собой меньше десяти чемоданов.

— Я остальные восемь в багаж сдала, — засмеялась женщина и подтолкнула Алексея локтем.

Алексей смутился. Мужчина закашлялся и сдвинул очки на нос.

Отбивая чечетку, вздрагивая и громыхая на стыках, поезд несся к морю. Солнце пряталось за острые верхушки деревьев, и яркие лучи насквозь просвечивали вагон, делая особенно заметными высохшие следы вчерашнего дождя на стеклах.

Перед ужином, рассматривая огурец, купленный на станции, Алексей долго размышлял, стоит ли его мыть, но в конце концов решил, что бояться дизентерии — просто мнительность.

Один был мнительный поэт,
Хотел прожить он до ста лет,

Он ел на ужин винегрет,
А утром избегал котлет!
Вот, значит, был какой поэт…

«Извольте, экспромт!» — и где-то проскользнула мысль: «Черт, а здорово выходит. Сразу… Наверно, профессиональное».

Когда в вагоне включили свет, стало немного одиноко и грустно — первый раз уехал из дома, как там старики? Алексей заснул под быстрый разговор колес… Ночью снились кошмары: поезда остановились и, смешно кивая друг другу трубами, разговаривали о нехорошем.

Проснулся Алексей рано, когда рассвет еще только занимался. За окном все казалось серым и зловещим… Знобило. Алексей укрылся тоненьким одеялом с головой и начал считать до ста, пытаясь снова уснуть. «Черт, хоть термометр покупай! — подумал Алексей, слезая со своей полки. — Неужели простудился?» Знобило все сильнее и сильнее…

Проснувшаяся соседка взглянула на Алексея и всплеснула руками:

— Боже мой, что с вами?

Алексей только поморщился и махнул рукой.

— Да что хоть болит?

Алексей показал рукой на живот.

— Подождите, сейчас я вам дам желудочное что-нибудь.

В это время резкая боль свела все внутри, и, побледнев, Алексей выбежал из купе. Когда он вернулся, еще более ослабевший, с трясущимися коленками, весь вагон уже знал о случившемся и каждый наперебой предлагал свое средство.

— Только гомеопатия! — рокотал бас и предлагал Алексею какие-то крошечные шарики: — Гарантирую выздоровление в час.

Алексей с трудом забрался на верхнюю полку, лег головой к окну и забылся. Очнулся он весь в липком поту. В голове шумело, он свесился вниз и тихо попросил:

— Пожалуйста, запишите адрес… На случай смерти…

Женщина засмеялась.

— Да будет вам! Тоже мне, герой…

Но Алексей живо представил свою смерть, вздохнул и… потерял сознание…

На станции Славинской к десятому вагону подбежали три человека в белых халатах, с носилками, через несколько минут они вылезли на перрон и понесли Алексея в вокзальный медпункт.

Высоко под потолком горела лампочка. Вокруг нее, смешно ударяясь крылышками о тонкое стекло, вились ночные бабочки. За окном теплый воздух играл с кустом сирени.

Алексей открыл глаза. Ночь. Где-то тикают часы. Вздыхает старик, что лежит у окна. «Значит, жив…»

Проснулся он днем, когда старенькая медсестра разносила градусники. В теле чувствовалась слабость и вместе с тем радость начавшегося выздоровления. Приподнявшись на локтях, Алексей огляделся. Кроме него в палате лежали еще два человека. Старик, сидевший на кровати у окна, подмигнул:

— Ну что, очухался, сынок?

— Вроде да.

— Ну и слава богу.

Старик вылез из-под одеяла, подтянув сползавшие кальсоны, пошел ко второму окну и распахнул его.

— Так-то лучше. А то душно.

— Отошел бы от окна — продует, — посоветовал старику второй сосед.

— А, нет! — бойко возразил старик. — Со степей дует, он мягкий ветер-то, с полынью, от него ревматизм лечится.

Старик заметил недоверчивую улыбку Алексея:

— Старику не веришь? Серьезно говорю.

Потом он вернулся к себе на кровать, вздохнул и лег поверх одеяла.

— Ну и тоска… И еще шесть дней маяться.

— Почему?

— Так дизентерия. — Старик постучал себя по животу. — Брюхо, оно, говорят, карантина требует…

Алексей насторожился:

— Какого карантина?

— Двенадцать дней, как один.

И сразу радость выздоровления омрачилась. Алексей почувствовал себя, как в детстве, — одиноким и заброшенным, и кругом незнакомые люди, чужой город, глушь. А как отец с матерью радовались, когда достали ему путевку!

Алексей повернулся на живот и спрятал голову под подушкой. Старик покачал головой и, снова поддернув кальсоны, подошел к алексеевой койке:

— Сынок, а сынок… Ты на грусти. С нами не пропадешь, мы народ веселый… Хочешь кисельку? Вкусный… Из дому мне принесли. А?

— Спасибо.

— На спасибо-то сыт не будешь. На-ко вот.

Алексей взглянул на худенького, согбенного старика и улыбнулся: «Добрый какой…»

К вечеру он подружился со своими соседями, и особенно с Сергеем Лукичом Максимовым. Молчаливый, чуть угрюмый Сулицын хоть и меньше понравился Алексею, но был человеком тоже, по-видимому, приятным. День пролетел быстро. Вечером, когда в палате выключили свет, Алексей разговорился с Максимовым. Старик говорил медленно, и в тот момент, когда он замолкал, в темноте ярко вспыхивала красная точка папиросы. Максимов осторожно пускал дым в щелочку окна и продолжал:

— Это-то хорошее дело, что с медалью… Почетное дело. В инженеры пойдешь небось?

— Нет, — застенчиво ответил Алексей, — на факультете журналистики учиться буду.

— Где-где?

— Ну, на писателя, что ли…

— А-а… — неопределенно протянул Максимов. — Годков-то тебе сколько, писатель?

— Восемнадцать скоро будет.

— Ишь ты!

Помолчав немного, Максимов ухмыльнулся и весело спросил:

— На Горького, значит, учиться будешь?

— Попытаюсь, — скромно ответил Алексей.

Максимов крякнул и замолчал. Огонек папиросы вспыхивал теперь все чаще.

Наконец, Максимов затушил цигарку, выкинул ее в окно и, устроившись поудобнее на койке, неестественно сонным голосом проговорил:

— Давай-ка спать, лаурьят…

* * *

Властное желание творить теперь всецело владело Алексеем. Ночью ему снились стихи — звучные и удивительно хорошие. Порой стихи снились ему в цвете: когда он слышал тихие слова, проникнутые сентябрьской грустью Подмосковья, ему виделось то высокое синее небо, то красная шапка рябины, тронутой первым лихим морозцем. А когда Алексею снилась девушка — необычайно красивая, умная, ласковая и певучая, — то после обязательно появлялась радуга — вестник радости.

После таких снов Алексей резко просыпался, как будто кто толкнул его, и кидался к подоконнику — там у него была оборудована «литмастерская». Слова ложились уверенно и точно, как бы в заранее приготовленные лунки, мысль не пу-

талась и не ускользала. Кончив писать, Алексей читал вслух, и написанное порой так нравилось ему, что он, радуясь и ерзая от нетерпения на шатком стуле, писал до утра.

В станы он приходил одним из первых, счастливый и весь напряженный от пережитого и написанного. Радость творчества так захватывала Алексея, что он даже не так сильно, как раньше, реагировал на злые шуточки Орлика, работавшего теперь простым рыбаком. Бригадиром вместо него был Алик Салин — человек еще молодой, но в Крыму известный. Одесситбеспризорник, наизусть шпаривший Бабеля и Багрицкого, человек, прошедший партизанскую школу, он быстро завоевал симпатии бригады, а когда было Орлик попытался подшучивать и колоться, Алик загнул минут на пять такого, что все покатились со смеха, а посрамленный Орлик ушел на нос сейнера и до конца дня в рубке не появлялся…

Бригадиром Салин стал и случайно, и закономерно — одновременно.

Лутовинов прекрасно понимал, что вместо Орлика, который, естественно, после всего случившегося бригадиром оставаться не мог, должен стать человек, в этих краях известный, сильный,

с хитрецой и юмором. Подобрать такого человека — задача не из легких. И как Лутовинов ни перебирал в памяти всех своих знакомцев — или те работали в других колхозах, или не были хорошими рыбаками, или, хотя и слыли людьми принципиальными, вроде всем подходящими, но суховатыми, без соли… Как дальновидный руководитель, Лутовинов преследовал и еще одну цель — «рентабельную», как он в шутку называл ее. Нужно было сбить с Орлика гонор, который после собрания не поубавился, и этим самым сначала сделать его просто хорошим рыбаком, каким он и был до бригадирства, а потом, со временем, можно снова выдвинуть на руководящую работу, так как все задатки руководителя у него имелись. Беда заключалась в том, что слишком много таких «руководящих» задатков было у Орлика.

Долго мучился Лутовинов, но наконец нашел нужного человека. И нашел совершенно случайно. Как-то утром, развернув непонятно как в правление попавшую керченскую газету, Лутовинову бросилась в глаза заметка: «Почему плохо обстоит дело с ремонтом судов?». Вина за плохо обстоящие дела возлагалась на и.о. начальника ремонтных мастерских А.В. Салина.

Лутовинов даже рассмеялся от радости, в тот же

день взял себе командировку на три дня, одолжил у Птицы пятьсот рублей и срочно выехал в Керчь. Дело в том, что Алик Салин был старинным знакомцем Лутовинова еще по партизанским временам. После получения сразу четырех орденов и трех медалей Салина вызвали в горком и стали назначать на всяческие начальственные должности, не имевшие никакого отношения к его основной и любимой профессии. И вот назначают бывшего рыбака, героя-партизана начальником горкомхоза. Единственное, что в этой должности понравилось Алику, так это трофейный «мерседес», полученный им в индивидуальное пользование. После года муторной и тягучей работы Салину поставили на вид и перевели сначала зам. нач. гортопа, а оттуда в отдел промышленности, но уже с выговором…

Вот этого человека и привез Лутовинов с собою. Вдыхая всей грудью необыкновенно чистый после недавнего дождя воздух, Салин весело щурил глаза:

— Да пойдем в станы, старик! Там лежат куски моего сердца.

Лутовинов только хмыкал и шутил: чудо, от тебя не водкой несет? Зайдем ко мне — чайку дам пожевать, а то неудобно с подчиненными…

Появившись на следующий день в станах, Алик встретил старых знакомых, мигом перезнакомился с остальными и через два дня он, казалось, всю жизнь только что и делал, как бригадирствовал в первой «орлинской».

Питая необычайное уважение к людям пишущим, а особенно печатающимся, Салин с любовью и нежностью смотрел на Алексея, узнав о нем от Лутовинова, который охарактеризовал будущее Алексея весьма коротко: «Пропрет малый. С черепом».

Когда акустик захворал, Салин взял к себе в рубку Алексея и, сверкая на него глазами, заводил беседы о том да о сем, постепенно переходя к поэзии.

Когда Салин был в особенно хорошем настроении, он читал Алексею стихи. Самым любимым его был «Арбуз» Багрицкого. Иногда он просил Алексея: почитай, братишка? Свое чего-нибудь. И Алексей читал ему. Салин покачивал головой и улыбался.

Еще шире он улыбался, когда видел, как Алексей, замерев с карандашом в руке и позабыв про эхолот, что-то напряженно обдумывал.

— Писать, что ль, тянет?

Алексей кивнул головой.

— Раньше, Александр Васильевич, я, когда в море шел, только о нем и думал. А сейчас — тянет писать. Хоть бы моря и не было.

— Ну, это ты зря, — не соглашался Салин, — как это так не было? Не надо так.

Нагнувшись к переговорной трубке, Салин громко рявкнул:

— А ну, к бережку давай! Там рыбка есть!

Сдавленный голос сверху отвечал:

— Опасно, Алик, камушки.

— Так на то ты и капитан, — сердито отвечал Алик и обернулся к Алексею. Подумав о чем-то с минуту, он озорно улыбнулся и, почему-то перейдя на шепот, доверительно сказал: — Я, понимаешь, сам стихами грешил. Да не вышло ни черта. Бросил… А тебя, говоришь, тянет? Это хорошо. Молодец, Леха… Если тянет, — продолжал Салин, — бросай рыбалку — иди в писатели. Чего там!

Алексей рассмеялся:

— Там не берут, Александр Васильевич.

Салин удивился, и от этого брови его высоко поднялись, коснувшись рыжих кудрей, выбивавшихся из-под кублики.

— То есть как не берут? Печатают и не берут?

И снова Алексей, как взрослый и искушенный

литератор, ухмыльнулся:

— Внештатником предлагают.

Салин протянул Алексею папиросы:

— А… это что такое — внештатником?

— Зарплаты давать не будут. Что напишу, за то и заплатят.

— Ах так… ясно… Куда, куда прете?! — вдруг закричал Алик в переговорную. — На камни прешь, Уленшпигель чертов.

Когда сейнер отошел от опасного места, Салин снял шапку, взлохматил свои кудри и, открыв дверцу, длинно сплюнул за борт:

— Никак не могу… «Беломор» курить. Говно они, что ль, вместо табака ложат?.. Да… Так внештатным, говоришь?

Салин задумался, а потом, как-то озорно, по-своему улыбнулся и спросил:

— А вот ты небось в порту видел судно «Юрий Шокальский»?

— Видел. А что?

Салин снова ухмыльнулся:

— Шокальский этот большим ученым был. Географом.

* * *

Дернацкий считал, что завлитотделом газеты — величина немалого значения. Наверное, поэтому он приходил в редакцию к двум часам, тогда как остальные собирались к одиннадцати.

Еще издали, только завидев маленькое двухэтажное здание, обсаженное стройными кипарисами, Дернацкий пожимал плечами и, вздохнув, думал: «Ну вот, начинается свистопляска…»

Свистопляской казалась ему неторопливая читка рукописей. Бумаги, сложенные в нижнем ящике стола, раздражали Дернацкого даже одним видом — разноцветные, написанные корявыми, неразборчивыми почерками — ну что в них могло быть интересного? Описание героического труда уборщицы Маши с первого комбината? Подвиг какого-нибудь Сережи, что спас овцу во время грозы? Чертовщина какая-то! А здесь-то, здесь какое раздолье для чего-то большого и значительного!

Мельком кивнув уборщице, Дернацкий отпер дверь и вошел в свой кабинет.

— Опять форточку на ночь открыли… Черт его знает, бардак какой-то, а не редакция.

Потом он долго снимал калоши, стряхивал

водяную пыль с дождевика и аккуратно развешивал его на красненькой деревянной вешалке, заботливо хранимой в столе.

— Валентин Иванович! — звонко закричала Галка, свесившись со второго этажа. — Вас Полмачев зовет!

Дернацкий обвел глазами комнату, припоминая, что нужно с собою взять, встал, одернул пиджак и пошел наверх.

…Вернулся он через час, еще более сердитый, чем утром. В углу, неловко примостившись на краешке стула, сидел паренек в телогрейке.

— Вам кого?

Паренек встал и затоптался на месте, пытаясь разорвать свою кепку.

— Кого вам, отвечайте же! — рявкнул Дернацкий, сердитый после разговора с Полмачевым.

— Я… я сдал, и вы велели…

— Сегодня разве?

— Ну да, товарищ Дернацкий.

«Откуда он знает меня? — подумал Дернацкий и вдруг улыбнулся. — Наверное, читал мой рассказ…»

— Что ж, давайте посмотрим… Давайте.

Дернацкий открыл ящик и вытащил на стол целый ворох бумаг.

— Так, так. Значит, рассказ?

— Нет. Стихи.

— Стихи? Все мы стихами грешили в юности. Дань возрасту, так сказать. Вам сколько?

— Что сколько?

— Лет, естественно…

— Двадцать, — бойко соврал Алексей и в первый раз за сегодняшнее утро улыбнулся, заметив тщательно закрытую редкими волосиками лысину Дернацкого.

— Двадцать, двадцать, двадцать, — повторял завлит, просматривая листы. — А фамилия какая?

— Павлов.

— Куда же я вас задевал, Павлов? — взглянув на Алексея, спросил Дернацкий и снова начал листать бумаги, быстро и ловко, как кассир в сберкассе.

— Вот они! — воскликнул Алексей и почувствовал, как быстро забилось сердце.

— Эти?

— Да.

— Помню, помню, — скороговоркой сказал Дернацкий, хотя стихов этих он и в глаза не видел. Да и вообще, приехав в этот маленький, но союзного значения курортный городок, он

считал, что заниматься воспитанием местных талантов — чисто редакторское дело. Сам он, мучаясь и страдая, всю зиму писал несколько злободневных, как ему казалось, рассказов для того, чтобы опубликовать их летом, ко времени отдыха «больших людей».

Он был уверен, что, прочитав его нужные рассказы, им, Дернацким, не могли не заинтересоваться. Да тем более если бы узнали, что он, москвич, добровольно уехал на периферию.

— Ну что ж, хотите начистоту? — спросил он Алексея, бегло пробежав страницу.

— Конечно, — тихо ответил Алексей и снова начал терзать свою кепку.

— Тогда начнем, пожалуй.

Плохо разбирая Алексеев почерк, Дернацкий начал читать:

Яростью брызг в гра…нит с размаха –
– Бах!
И вдребезги
солона
волна.
Искристая, как черт знает!
Со всеми, смеясь, играет.

Дернацкий покачал головой и взглянул на смущенного Алексея.

– О чем ты, курортник в шляпе?
О дамочке или подагре?
Р-раз! И весь парапет
Как шторм в Гаграх
И шляпа в соли вся
И вот, пожалуйста –
улыбнулся.

— Под Вэвэ работаете, молодой человек?
— Под чего?
— Под Маяковского, — усмехнулся Дернацкий. — Никуда не годится… Ну-с, что дальше?

Рыбак – пьян. Год-то ведь новый!
Шатается, как шлюп в шторме.
Со злости волна стала лиловой –
Рыбак и пьян! Раз его!
Рыбак в форме!
Вытрезвел сразу.
Хоть в море сейчас же.
Ну, полакался, товарищ, заразы…

Дернацкого начинали злить эти стихи и этот

нелепый, вихрастый парень у входа. Он пожевал губами и продолжал:

Краля стоит – шляпа как улей!
Краски – пуды на лице.
Волна и ее взяла на прицел.
С размаху,
с подходцем,
Да… что есть силы!
– Р-раз! И шляпку с собой укатила!
Безобразие! Где милиция! Уймите
волновью силу!
Ну и волна!..
Как с фифи подшутила…

— Да вы что, смеетесь, что ли? — заговорил Дернацкий, отложив листы в сторону. — Ни одной своей мысли. О чем вы пишете? О шляпах? Это что, тени для стиха? Нет, нет, простите, но это бумагомарательство. О волне и о пьяных рыбаках?! Хороши себе герои… Если и остальное, — Дернацкий постучал указательным пальцем по рукописи, — в том же духе, то я и читать не буду. Держите. — И он протянул Алексею синенькие, измятые с краев листочки бумаги.

…Выйдя от Дернацкого, Алексей долго бродил по городу. На набережной — людно. Море — далекое-далекое. Голубое, вспененное. Отец поднял на руки махонькую, весело смеющуюся девчушку, и огромная волна, разбившись о гранит, обрызгала и отца, и дочку. Смеются оба, рады… Алексей грустно усмехнулся, и может быть впервые за все время работы здесь ему стало тяжко от внезапно нахлынувшего чувства одиночества.

Он зашел в маленькое, удивительно уютное кафе. Было что-то особенно трогательное в вешалках, стоявших у входа. Люди сами раздевались и шли к тому углу, где стояла елка, обсыпанная ватой, долженствующей, по-видимому, означать снег.

Алексей сел к окну, оперся локтями о гранитный столик и закрыл глаза. Почему-то вспомнился запах московской квартиры. Не обстановка комнаты, не обитая газовая плита на кухне, не сломанный холодильник Сергеевых, что стоял под телефоном в коридоре, а именно запах. Чуть-чуть затхлый, непередаваемый запах большой коммунальной квартиры. В этом запахе — кухня, рухлядь бабушки, запихнутая на верхнюю полку где-нибудь около ванной, детские пеленки и масляная краска.

Алексей смешно сморщил лицо. Невесело усмехнулся. За окном — набережная. Множество людей. Непонятно откуда взявшиеся в этом маленьком городке. они шли и шли к елке, к живой, наряженной елке у Пироговской.

Это необычайно любопытное и очень трогательное зрелище — Новый год в морском городке, где снег можно видеть лишь на вершинах гор, прижавших улицы к морю.

Люди раздеты, в легких пиджаках. Непонятно и смешно! А в Москве будет поземка, снег нафталином искрится на усталых и пустынных после праздника улицах.

— Покушаем?

Алексей вздрогнул. Нет, он не в Москве. Он у моря. В кафе «Весна». И девушка-официантка, чем-то похожая на змею, смеется и спрашивает, что он будет кушать. Не все ли равно? Можно даже и выпить. Можно. Потому что очень грустно и одиноко.

Представив себе лицо Дернацкого, Алексей скрипнул зубами. «Ух, собака, “литературный гений”. Тоже мне, Белинский».

И вдруг вся злоба Алексея перешла в радостный, заливистый смех. «Да вот оно в чем дело! Это ж мои слова он говорил. Честное слово, мои!

Я старику тоже выкладывал. Я про эпоху, а он про одуванчик! Я про волну — а тот про эпоху! Значит, все прекрасно, Леха! Все прекрасно!»

— Так вот что, девушка. Во-первых, с Новым годом, а во-вторых, дайте мне чего-нибудь закусить к ста пятидесяти и бутылке пива. Ладно?

Решив, что Алексей — один из многих случайных ухаживателей, девушка подернула плечами и, нахмурившись, заметила:

— Пожалуйста, без этого.

— Без чего?

— Вам лучше знать, без чего.

Алексей не удержался и радостно, в голос, захохотал. Официантка сердито отвернулась и пошла к буфету.

* * *

На людей, впервые с ним встречавшихся, Анатолий Сергеевич Полмачев производил странное впечатление. Длинный, в очках, скрывавших беспомощные маленькие глаза, с детским пушком на голове, он никак не обладал необходимой представительностью заместителя ответственного редактора.

В этот южный город Полмачев попал недавно и считал свое пребывание здесь ссылкой. До того

времени он работал в Москве членом редакционной коллегии крупной комсомольской газеты. Месяцев восемь назад у него открылся процесс в легких, и врачи категорически потребовали уйти с напряженной газетной работы. Уйти из газеты? Полмачев считал это цинизмом.

Еще мальчишкой, работая на «Электростали» подручным мастера, он мечтал о судьбе писателя. Жизнь сделала его комсомольским работником. Потом он был направлен на работу в печать. После четырех лет работы в газете Полмачев не представлял себе, как можно жить без летучек, выездов в области, шума, торопливости и специфических газетных шуток. Каждый раз, беря в руки гранки будущего номера, он испытывал что-то вроде чувства благоговения.

Но процесс в легких угрожающе разрастался, и Полмачев был вынужден оставить Москву. По его просьбе, он был направлен на работу в газету в курортный городок, славящийся своим целебным воздухом.

В редакции народ сразу отметил два главных качества нового зама — он мягко улыбался и непрерывно кашлял, так ласково смотрел на людей из-под своих «лупоглазых», как их называла секретарша Галочка, очков, что те, кому хоть раз

приходилось говорить с ним, надолго сохраняли симпатию к этому веселому, чуть нескладному человеку…

…А из Алексея стихи и новеллы просто лезли… Всерьез опасаясь графоманства, он заставлял себя вечерами выходить гулять. Постепенно ему полюбилось бродить по набережной, особенно в непогожие, дождливые вечера, когда люди прятались в домах, клубах или маленьких кафе. В такие вечера море чувствовало себя хозяином. Злые волны, с размаху ударяясь о гранит набережной, дробились на тысячи брызг и с грохотом обрушивались на беззащитные плиты тротуара.

Алексей садился на скамеечку и поднимал воротник пальто.

— К вам можно?

Алексей обернулся. Высокий мужчина в модном, заграничного покроя пальто вопрошающе смотрел на него.

— Конечно, что вы!

— Некоторые любят и одиночество.

— Меланхолики или гении, — пошутил Алексей.

Хмыкнув, Полмачев присел рядом. Минут десять они сидели молча. Днем гребешки волн казались то искристо-зелеными, то прозрачными,

как утренние льдинки, а сейчас, в быстро наступавшей темноте, вода была черной, зловещей, и волны уже не были такими радостно-веселыми, как утром.

— Здорово, а? — спросил Полмачев.

— Да…

— Силища-то какая…

Алексей посмотрел на смешного человека и доверчиво улыбнулся:

— Я здесь стихи выдумываю.

— Да ну?! — весело удивился Полмачев. — А что за стихи?

— Обыкновенные…

— Если обыкновенные, то плохо, — засмеялся Полмачев.

— Нет, не совсем, конечно, обыкновенные, — быстро поправился Алексей.

— Прочтите.

То ли слишком прекрасно было грозно рвущее море, то ли Алексей все еще обижался на Дернацкого, но он снял шапку и, ни капельки не смущаясь, начал читать все свои стихи подряд.

Когда он замолчал, Полмачев снял очки и начал тщательно протирать их маленьким, с розовой каемочкой, платочком.

— А знаете, это неплохо.

Алексей смутился и опустил глаза.

— Другие-то не так считают…

— Почему? Кто же это?

— Да вы не знаете. Тут в газете один…

— В газете?

— Ну да.

— Кто же?

— Дернацкий. Такой…

Полмачев кивнул.

— Послушайте, а вы мне эти стихи не дадите? Серьезно?

— Это почему? — удивился Алексей и инстинктивно взялся за грудь. — И… и зачем они вам?

— А вот секрет! — засмеялся Полмачев. — Давайте, давайте!..

Потом он встал и протянул Алексею маленькую, очень теплую руку:

— Я здесь каждый вечер брожу. Будет время — приходите. Тогда и стихи верну.

Уже из темноты он услыхал голос Полмачева, относимый сильными порывами ветра:

— А вы кто?

— Я? Рыбак.

— Давно?

— Порядком, — ответил Алексей и, желая избежать дальнейших вопросов, пошел к парку.

Улыбаясь в темноте, он вспоминал своего собеседника. Алексею понравился этот человек…

…Вернувшись домой, Полмачев разделся, открыл форточку и сел к шаткому, в прошлом ломберному столику. Чернильницей ему служила пепельница, и это всегда раздражало Полмачева. Он все время собирался купить настоящую, да никак не находил времени сходить на базар.

<Павел Северцев>

В доме шла уборка. Окна были раскрыты настежь, и в комнатах, особенно когда открывалась входная дверь, озорничал душистый весенний ветерок. И такая радость была в воздухе, что люди, шедшие по улицам, улыбались, забыв оставленные в квартирах горести. Деловитые ручьи не слушались дворников и прокладывали себе пути, несмотря на метелки, лопаты и прочие, далеко не романтические атрибуты городского коммунального хозяйства. Окна открывались как-то сразу, и казалось, что дома тоже здороваются с весной.

Влюбленные, позабыв о вечере, с утра ходили по городу, целоваться они почему-то шли на Сивцев Вражек.

В комнате у Павла ветер ворошил бумаги, исписанные наполовину формулами, а наполовину изрисованные деревьями и рожицами. Тетя Саша, шлепая старыми галошами Северцева, мыла пол. Она пыталась протереть тряпкой у него под кроватью — он всегда туда стряхивал пепел, — но мешали чемоданы. «Откуда здесь чемоданы, — удивлялась она, — и тяжелые какие. Уж не бежать ли задумал Пашенька. Вот ведь в кино показывают, как пионеры бегут на границу шпионов ловить». Тетя Саша никак не хотела признавать Павла двадцатилетним студентом университета.

— Галина Сергеевна!

— Ау!

— Подите-ка сюда!

— Иду, Сашенька.

— Галина Сергеевна, вы не ругайтесь только, здесь у Пашеньки вещи какие-то под кроватью.

Вдвоем они подвинули кровать и вытащили два чемодана. Открыли и увидели эскизы. Худенький и слабый Паша все это время рисовал, тайком, чтобы не обидеть отца.

…Северцев сидел в комнате, не зажигая света. Москва была вся в дымке; в домах лукаво перемигивались огни. Северцев думал. «Неужели я

был неправ? Нет, пожалуй, все же прав. Нельзя рисовать с детства. В живописи вундеркиндов нет… А Пашка, Пашка! Молодчина какая! А! Все это время рисовал. Хороший мой мальчик…»

Северцев два года назад запретил Павлу рисовать: «Ты хочешь быть обезьяной, что ли? Ну как ты можешь рисовать, ничего не повидав в жизни?»

Конечно, Северцев думал правильно. Как можно заниматься живописью, автоматически повторяя манеру и тему старшего? Сам Северцев пришел к мастерству, к мышлению в живописи, после долгих, порой мучительных исканий. «Пусть пойдет поучится в университет, ничего, ничего. Если в нем живет художник — он им всегда станет», — говорил Северцев Галине Сергеевне.

И вот сейчас он понял, что Павел будет художником. И наверное, большим и интересным.

Северцев подошел к окну. Стемнело. Зажглись фонари. «Ишь, как целуются, черти, — усмехнулся Северцев, глядя на влюбленных у деревца. — И деревцо молоденькое, и они… Гармония… Что-то Пашенька все один. Хотя, может, скрывает».

Тетя Саша приоткрыла дверь в комнату и тихо сказала:

— Пал Палыч, пришел.

— Зови его ко мне.

Вошел Павел. За последнее время он осунулся, на шее взбухли железы, только в глазах искорки веселые. Раньше Северцев не понимал, в чем дело: учится плохо, худой, а — радуется. Сегодня понял. И вспомнив один из рисунков — цветы, лежащие на полу — подумал, что надо будет увезти сына сейчас на дачу.

— Где был, сынка?

— Да в университете, лекции переписывал.

— Скучно, наверное?

Павел недоверчиво посмотрел на отца и нерешительно ответил:

— Нет, почему же…

Северцев засмеялся, подошел к сыну и обнял его за плечи:

— Брось ты свои лекции к черту!

Павел недоумевающе посмотрел на отца:

— Как?

— Брось, говорю, брось!

— А что же мне делать, папочка?

— Рисуй!

— Нет… ты правда?..

— Святая!

Павел подпрыгнул на месте от восторга, кинул-

ся к отцу, схватил его за шею и начал целовать большое, доброе лицо.

Все лето Павел жил на даче и с упоением работал. В его картинах было очень много цвета — порой слишком яркого. Северцев осторожно подсказывал ему, поправлял. Как-то в августе, когда моросил дождик, Павел не работал — он признавал только солнце и только красочность. С утра он пошел наверх, открыл окно и начал читать книгу о Северном море. Увлекся. А назавтра он писал картину — буря на Северном море.

Когда Северцев вернулся из Москвы и увидел ее, он рассердился:

— Неужели нет других тем? Почему Север, когда ты там не был? Ты имеешь право писать только то, что тобой увидено и понято. Понято! А как ты можешь писать Север? Я против примысливаний. Авенариус и тот толком ничего примыслить не мог. Нет, нет, никуда не годится!

Сначала Павел обиделся, но дня через два он понял, что отец прав.

И снова он рисовал солнечные цветы, деревья, поле, а вечером зачитывался Уитменом.

Осенью он блестяще сдал экзамены в Суриковский институт и был принят сразу на третий курс. А через год о его картинах заговорили. В

1939 году в числе лучших студентов он был послан в Италию.

* * *

— Э, батенька… талант — это чересполосица в поколениях… Сын таланта — как правило, бездарь. Внук таланта — гений…

— А все же позвольте мне с вами не согласиться. Нет, нет, я подтверждаю свой бунт примерами: ведь масса — хотя бы музыкантов — сын и отец — талантливы в равной мере.

— Сергей Сергеевич, дорогой! Это другое дело… Блестящее исполнительство — это просто одна из форм трактовки. Трактовки, а не творчества.

В печке жар ломает дрова. Все ушли гулять. В доме — Засс и Полонский да тетя Саша, готовящая ужин. У маленького столика с гнутыми, как в замысловатом танце, ножками сидели двое. Маленький, с гривой пегих волос, в старомодной визитке, Марк Самойлович Засс — «критик по необходимости, дилетант по призванию». Полонский — толстый старик с розовым лицом двадцатилетнего юноши — один из старейших профессоров МГУ. Сейчас они обсуждали Пашу — сына хозяина дома, художника Северцева. Засс ругал его, Полонский пытался высказать свою

точку зрения, но Засс замахивался на него руками — нет, нет, дайте мне договорить!

Можно было подумать, что говорить ему не дают, хотя он был самым отъявленным трепачом в доме у Северцева. Здесь собиралось много интересных людей — совершенно различных по своим наклонностям, привязанностям и характерам. Старики ругали Маяковского, благоговейно говорили о Шекспире, вздыхали о далеком Коненкове. Молодежь до одури зачитывалась Маяковским — не даром во ВХУТЕМАСе воспитывались, — подтрунивали над Шекспиром и искали смысл жизни в замысловатостях кубизма. Всех этих столь разных людей сближало главное, что может сближать людей искусства, — творчество. И пожалуй, лишь один Засс был человеком говорящим, а не творящим. Он и сам подтрунивал над собой:

— Я — Сулержицкий при Северцеве.

Эрудит, увлекающийся абсолютно всем, он не мог отдать предпочтения чему-либо одному — и поэтому не мог делать ничего. В его статьях, как и в разговоре, мысль порхала, не останавливаясь на определенном («На Западе ругают наши проселки, не понимая их прелестей. Да и машины у нас вровень дорогам. ГАЗ — не “роллс-ройс”, а

“ройсь-копайсь”!). Начав читать остроумную по форме статью, нельзя было не дочитать ее до конца. В разговоре — а беседовать с ним было очень интересно — было намного легче тем, кто хорошо знал Засса: иногда он поднимал брови, как бы удивляясь, и пенсне, только этого и дожидавшееся, падало ему в руку. Он начинал протирать стекла замшевой тряпочкой. На это время он замолкал, вернее, не говорил, а мычал: э… э… э… — давая понять, что сейчас он закончит начатую мысль. Вот тут его и надо было перебивать и говорить самому. Потом его брови поднимались еще выше, глаза делались совсем беззащитными, он подкидывал пенсне, бодал головой воздух и глаза становились блестящими и воинственными. Когда Павел был совсем маленьким, он сказал Зассу: «Дядя Марк, ты похож на ученого тюленя». Засс рассердился.

Полонский, несмотря на предостерегающее мычание Засса, перебил его:

— Да нет, вы не правы, Марк. Он прекрасно может заниматься и быть хорошим химиком. Беда, что не химия у него в голове. Отвечает он мне на экзамене, а сам черт знает о чем думает, по глазам вижу.

— Почему черт знает, я знаю — о девах…

— Вы думаете, в этом дело?

— А в чем же, по-вашему?

Полонский развел руками, улыбаясь. Он явно был сломлен жесткой логикой Засса.

— Может быть, молод?

— Кто молод? Он молод? Его отец в восемнадцать лет впервые выставлялся и получил первую премию! В восемнадцать лет! Я помню…

Хлопнула входная дверь. За шумом голосов застучали каблуки на кухне — счищали снег вернувшиеся с прогулки.

Засс поднялся:

— Не надо при Пал Палыче — это его больное место.

Вошел Северцев, и в комнате сразу стало меньше места. Даже Полонский по сравнению с ним казался маленьким и тщедушным. Северцев хитро улыбался и грел свои большие и красные с мороза руки в седой бороде.

— Чего здесь сидеть, надо было в лес идти! Наверно, он заморил тебя, Сереженька, беседами?

— Что ты, мы прекрасно провели время.

— Да-да, знаю я…

Сергей Сергеевич смутился, Засс нахохлился, а Северцев рассмеялся.

— Ну, Марк, будет, дорогой. Ведь ты заговоришь

кого угодно… Будь моя воля, я рекомендовал бы тебя в Лигу Наций…

Расстегивая куртку, в комнату вошел Павел. Увидев Полонского, он нахмурился.

— Добрый вечер, Сергей Сергеевич, добрый вечер, дядя Марк.

Подошел к горячим изразцам печки и приложил к ним руки.

— Сереженька, — продолжал Северцев, — между прочим, мы скоро свадьбы 30-летие с Галей будем отмечать, не золото и не серебро. Выдумай сплав какой-нибудь.

— И даже кольца закажу…

Оба вздохнули.

— Стареем?

— Отнюдь! Что ты в пессимизм ударился? Тут наверняка без Марка не обошлось. Паша, отойди от печки, простудишься. Как он у тебя, Сереженька?

* * *

Иногда ему казалось, что в дни войны рисовать солнечные цветы, воплощение мира и человеческой радости, просто нельзя. И Павел, перечитывая по нескольку раз корреспонденции с фронта, пытался сделать картину боя.

Но, работая, он чувствовал, что тема боя, сама по себе его не волнует.

Павел был уверен, что его гораздо больше вдохновил бы вид изорванного воронками поля, израненных деревьев и уставших после боя солдат… Но на фронт попасть ему не удалось, а сидеть на даче, получая рабочую карточку и ничего не делая, он не мог. Павел пытался пойти работать на какой-нибудь оборонный завод, но в парторганизации Союза на него прикрикнули:

— Сиди и работай! И не валяй дурака! Сейчас картины как никогда нужны!

* * *

Земля была вся в трещинах — от зноя и, наверное, еще потому, что очень тяжело ей было — от танков, их гусениц и многих тысяч кованых, пропотевших до подошв солдатских сапог. И оттого, что был зной, и оттого еще, что посевы были пожжены минами и снарядами — не солнцем, оно все же щадит всё живое, хотя бы на ночь уходя отдыхать; а мины и снаряды — дети войны, не знающие отдыха, как и люди, подносящие их к орудию и дергающие шнур; всё вокруг казалось широким и уставшим.

Только люди, шедшие вперед, казались не

усталыми — хотя гимнастерки их были белее Баскунчака — так много горькой соли осело на их спинах, и ноги они с трудом ставили в мягкую пыль.

Лица людей — загорелые и обросшие — казалось, жили иной жизнью, чем их тела. И столько силы и гнева было в лицах людей, что даже редкие облака на небе, казалось, замерли, любуясь величием идущих по земле.

В паре с человеком, лицо которого пряталось от палящего солнца в бороде и усах, шел Павел. И что за существа эти люди! Раньше — быть ему всю жизнь под надзором врачей и жены, грудь угольником и в глазах тоска, а глядишь — в трудностях забурел, аж складки на шее, особенно яркие от загара и грязи, появились. И в глазах-то искорки бегают. Павел не был под врачебным надзором, да и женой обзавестись не успел, но физически, как теперь он говорил — на гражданке, — был он, надо прямо сказать, слабоват. А — увидели бы его здесь московские знакомые — не узнали бы. Вот разве очки, привязанные веревочками к правому уху (дужку отбил, прыгая в воронку во время бомбежки), выдавали прежнего Павла.

— Да вот я и считаю, что картошку на жаре есть — преступно. Хоть какую-нираскакую пе-

ченую. От нее в брюхе — ком. А ком опять же в тенечке переварить надо. Да… Поспать, значит. А там на водичку потянет. А водички хлебнул — пиши пропало.

— Ох, Тихон, ну и охоч же ты о жратве поговорить. В кого ты гурман такой?

— Уж кто я там, не знаю, немецкому не обучен, а русский человек об еде поговорить любит. А вот мне Маланья — это у нас в колхозе старуха такая была, — так та говорила…

Тихон не успел развить свою мысль — рота входила в деревушку. Странно — дома пожжены не были, наверное, внезапным ударом взяли. Солдаты расположились в школе. Вскоре задымил вкусный дымок походной кухни, и солдаты, серокрасные от пыли и зноя, уставшие и голодные, звонко стуча ложками, очищали котелки.

Потом они натащили в школу сена и, осторожно сдвинув в угол оставшиеся парты, занавесили окна портянками и легли поспать — на войне приучаешься ценить минуты, а минуты сна — особенно.

Вечером спал зной и закат красил небо жирным и ярким цветом уходящего солнца, сверху придавленного сиреневыми сумерками. Солдаты разбрелись по селу. Многие до войны были

колхозниками и сейчас помогали жителям, истосковавшись по родному им труду. Тихон во дворе школы что-то стругал, отходил, прищурив глаз, и снова благоговейно начинал работу.

Павел, глядя на него, подумал: как папа, работает. И обрадовался точности своей мысли. Действительно, было в работе Тихона что-то от работы художника.

С тех пор, как он оделся в солдатскую форму и в руке, вместо изящной и привычной кисти, ощутил тепло винтовки, Павел ни разу ничего не рисовал. Иногда, пораженный увиденным, он невольно тянулся за карандашом и блокнотом. Но, вспоминая лицо женщины с ребенком там, у магазина, и шквал в поле, он еще сильнее сжимал ставшую уже привычной и родной шейку своей винтовки.

Но сейчас, когда он увидел этих людей, своих друзей, в святом деле, солдатами которого были все они, — людей, которые вчера, разорвав рот криком, стремительные и страшные в своем гневе, шли насмерть, на острие пуль, он понял, что шли они на смерть для того, чтобы вот сейчас, отложив в сторону винтовку, направить топор стругать бревно или сколачивать стульчик для малыша. Павел пошел в дом, принес блокнот,

сел в стороночке и осторожно, как бы советуясь с бумагой, начал рисовать. У него не было масла, не было спокойствия холста, не было кисти — а было только одно чувство большой любви и уважения к этим людям, понять которых из окна городской квартиры — нельзя.

Когда вечером, при свете свечки Павел показал свои зарисовки Тихону, тот, молча посмотрев их, обнял Павла и сказал:

— Да ты силища какая… Знаешь, ты кто — ты, брат, художник настоящий…

У Павла затряслись губы, и он выбежал из школы.

Говорят — русские глазам не верят. Трудно спорить с мудростью пословицы, но в роте, где служил Павел, «глазам поверили». И так поверили, что в разговорах с другими бойцами батальона нос задирали: «как фотоаппарат, рисует».

Тихон сердился, когда так говорили:

— Дура, да нешто он как аппарат. Он с душой рисует, а ты — аппарат. Аппарат купить можно. А ты вон душу попробуй купи…

А Павел рисовал все свободное время. Он уже закончил третий альбом. На первой странице была нарисована девочка — худенькая, носик

жалобный такой — с книжкой сидит, свесив ногу в воронку от бомбы. А рядом привязанный к колышку козленок.

Однажды комбат Сидоров вызвал Павла и сказал ему, что его переводят в штаб. (Он не сказал, конечно, что к нему приходили солдаты и просили поберечь художника — уж больно настырный он — как куда, так он вперед, неровен час — пуля дура, а художник такой один.)

Сидоров немного удивился, когда Павел снова, как год назад, в военкомате, рассерженно размахивая руками, — так у него эта привычка и осталась, — категорически отказался.

— Я воевать шел, а не писарем быть. И как художник — каллиграфией не отличаюсь.

Сидоров хитро спросил:

— Ну а если приказ, Северцев?

Павел подумал секунду и ответил:

— Не может такого приказа быть.

Так и остался в роте — солдатом.

Ночь была темная, и хотя на глаз нельзя было увидать, но по запаху чувствовалось, что дом был старый. Кто-то из солдат осветил вокруг фонариком. Пусто… Окна изнутри заколочены досками, на стенах светлые пятна от картинок и фото. Павел подумал, что, наверное, здесь висели

репродукции с картин Шишкина. Подумал и улыбнулся.

— Поспим, что ль? — спросил Тихон.

— Придется…

Солдаты легли в рядок, для того чтобы было теплее, и вскоре в горнице стало слышным тонкое с замиранием посвистывание: солдаты уснули. От дыхания людей стало теплее и на печи заверещал сверчок.

— Слышь, воркует, — прошептал Тихон и вздохнул.

Павел молча кивнул — совсем как по Диккенсу…

Первое, что увидел Павел, проснувшись, были ослепительно яркие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь доски, которыми были заколочены окна. Это пробудило в Павле далекие воспоминания детства, самые дорогие воспоминания. В этих солнечных бликах были руки отца, смех матери, маленькая церковь над рекой и тишина утра ранней осени. Тихо, чтобы не разбудить солдат, Павел подошел к окну. Он посмотрел в щелку и ахнул, окно выходило в цветущий, но уже чуть тронутый багрянцем осени сад. Тихие деревья грелись в лучах солнца, шелестя листвой и кивая головой восходящему солнцу.

И только сейчас Павел радостно понял, что он имеет право писать цветы в дни великой и страшной войны. И писать такой сад — огромное счастье для художника! Потому что эти цветы и деревья, это солнце — символ любви всякого, кто живет в России, к своей Родине, потому что такое солнце, цветы, сад, люди есть только у нас…

* * *

У деревни Бурылихи — выдумать же такое название — лавина дивизии остановилась. И не потому, что иссякла мощь наступающих — немец, ощетинившись стволами пулеметов и пушек, не давал не то чтобы пройти, а и лежать, влипнув в землю, и то нельзя было спокойно. Батальон отошел в лесок.

Машина размеренно работает тогда, когда слиты воедино все еесоставные части. Стоит задержаться одной или другой — начать движение раньше времени, — машина останавливается.

Так получилось и у Бурылихи. Споткнулся о свинец пуль и встал один батальон — задержалось движение всей дивизии. Дивизия волей-неволей мешала наступлению армии. А четыре армии — полфронта. И вышло так, что у Бурылихи решалась судьба фронта.

Комбат Сидоров вышел на передовую — передовой был мелкий березняк на опушке леса — и сказал:

— Через два часа Бурылиху мы должны взять.

И после того, как кончили кричать гвардейские минометы и свистеть пузатые мины, батальон, растянувшись в цепь и ощерившись синевой штыков, пошел в атаку. Размахивая тупым стволом пистолета, бежал Сидоров, бежал Тихон, крича протяжное «А-а-а-а-а...», и рядом молчаливо и сосредоточенно бежал Павел. И уже у самой околицы, когда было видно, как немцы, выбегая из домов, вскидывали автоматы, Павел наткнулся на что-то жесткое, сделал несколько шагов вперед, и вытянув руки, упал.

* * *

Последний раз перед тем, как уйти дальше, в бурный поток наступления, ребята принесли Павлу в госпиталь огромный букет полевых цветов, тронутых чуть заметным увяданием осени.

— Догоняй, Пашка, ждать будем, — сказал Тихон и, приподняв корявой рукой своей с гнутыми, как у беркута, ногтями подушку Павла, поцеловал его в губы. Солдаты передали маленькой и острой, как фруктовый ножик, сестре-хозяйке

шоколад и консервы для Павла.

— Шоколадом подкармливайте, от него зрение лучше. А ему колер в глазу надо иметь, чтоб — «шла — играла босиком» — было…

Павлу было лучше, чем в первые дни, когда он бредил и, сердясь, говорил с кем-то о цвете и красках. Через три дня он очнулся — удивленно посмотрел вокруг себя и уснул.

В палате он лежал вдвоем с Егорычем — пожилым, хитрым донельзя сержантом — в прошлом колхозным конюхом. Когда Павел стал поправляться, Егорыч, исподволь прощупывая его щелочками острых глаз, стал заводить с ним разговоры о том да сем. Был он осторожен — солдаты, приходившие справляться о здоровье Павла, говорили ему об уме и большой умелости раненого и просили опекать художника — человека в высшей мере душевного, но житейски — совсем неопытного. Егорыч хотя и был, как всякий русский, философом, но человеком практическим. Во всяком случае, в нем гармонично сочеталась эдакая отвлеченная философия (вроде того, почему стул стулом называют, а не иначе) с практическим, смекалистым умом.

Они подружились. Во-первых, потому, что Егорыч всегда был весел, не охал и не жаловался на

свои болячки, и, во-вторых, оба они страстно любили природу и понимали ее. Егорыч мог часами рассказывать о лошадях, причем так мастерски, что Павел просто ощущал запах лошадиного пота, навоза — ядреный, вкусный запах конюшни.

Первые шаги Павел сделал с помощью Егорыча. Он засмеялся, когда увидел раскрашенные осенью леса, голое поле, прикрытое кое-где стогами сена, и маленькие избушки деревни. И совсем по-довоенному рассмеялся, когда, обняв Егорыча за шею, он нагнул их головы и увидел в зеркале лужи два бородатых крестьянских лица.

Дней через пять в Бурылиху приехал Тихон. Дивизия стояла в райцентре — маленьком городишке в пятнадцати километрах от Бурылихи. Там пополняли резервы и отдыхали после непрерывного двухмесячного наступления.

Он вошел в палату и, волнуясь, стоя у двери, сказал:

— Паша, разреши мне по поручению всего батальона передать тебе наш подарок.

Павел удивился — что еще ребята выдумали? Тихон вышел на минуту и вернулся, неся в руке кисти и ящик с красками — старенький мольберт.

Павел сел на кровати.

— Егорыч, помоги…

Подошел, поддерживаемый им, к Тихону, взял у него из рук кисти, потрогал их и отдал Егорычу. Потом осторожно — как будто это были осенние цветы, взял мольберт и краски — прижал их к груди.

— Спасибо, дружки мои дорогие…

Потом они сидели у Павла на кровати, Тихон, тайком в рукав куря самокрутку, рассказывал про ребят разные новости. Говорили они тихо и ласково.

Егорыч деликатно покашливал, давая знать о себе, но друзья не поняли, а может быть, не слышали его тактичного намека и продолжали беседовать. Когда Тихон ушел, Егорыч сумрачно посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. А на следующий день с утра Павел, поскандалив немого с врачом, получил разрешение рисовать на воздухе.

Он писал Егорыча три дня. Работал восторженно и напряженно и потому сильно уставал к вечеру. Егорыч в гимнастерке стоял над досками, сняв ремень. В руках он держал топор, пробуя его остроту. И вокруг — милые сердцу перелески, овраги и низкое, взлохмаченное как после грозы, небо.

Вечером, лежа в палате, Егорыч говорил Павлу:

— Мастер ты, между прочим, хороший. Но не для зазнайства твоего говорю. Потому как зазнаешься — голову себе наверняка сломишь. Вот у меня сын Васька, тоже вроде тебя, по этой линии специалист. Только он писатель, значит. Да назначили его редактором районной газеты, гордится, на машине ездит. Мне все завидуют. Да. А у нас район со скотским уклоном, между прочим. Крупный рогатый скот растим. И начальник райплана — Сидоров Сергей Никифорович — большой знаток скота был. Сам всюду ездил, руководил, словом. А мой Васька возьми и напиши в газете — что, мол, начальник райплана Сидоров принимает личное участие в повышении поголовья крупного рогатого скота. Да. Сняли Ваську за это дело. Ну, пришел он ко мне, к отцу, значит. Я ему говорю — от зазнайства это в тебе. Серчал он тогда сильно. А потом послали его на учебу. Васька мой… — Егорыч мягко улыбнулся, — сейчас тоже воюет…

Раз Павел, глядя на Егорыча, сказал ему:

— Ну и красив же ты, старик!

Тот, ухмыльнувшись, ответил:

— Ты это бабе моей скажи — она меня индюком

называла, дуреха…

Вскоре Павел выписался из госпиталя, попрощался с врачом, расцеловался с Егорычем, обменялся с ним адресами — может, после войны свидимся и в кургузой шинели, с мольбертом в руке и мешком за спиной (там было больше красок, чем еды), по октябрьской, утром твёрдой, как железо, земле, пошел догонять свой батальон.

…Он присел на обочину дороги и задумался. Вернусь домой, обязательно про тишину картину сделаю. Сидит солдат в лесу, мешок с плеч снял, подпер голову и задумался. Интересно, а тишина, наверное, женщина? Или спящий ребенок? Нет, пожалуй, все же спящий ребенок… Тишина — это рост. Ночью даже видно, как сосны растут… и цветы. И дети.

Строгая улыбка тронула его губы. Ни одного портрета до войны не написал! Балерина не в счет — только ноги и получились. Закономерность — что понял, то и получается… Сейчас я бы иначе сделал: только голову… Хотя нет. Сидит и руки на коленях сложила… устала.

И так стало хорошо Павлу, что аппетит даже разыгрался. Он достал из мешка сало, спрятал его в два толстых ломтя хлеба, пахнувшего госпиталем, и глотнул терпкую горечь спирта из фляги.

От спирта, выпитого на воздухе, закружилась голова.

Вспомнился Егорыч — экий старик чудный… Перед выпиской из госпиталя Павел сказал ему:

— Отвоевался, старик, хватит! Домой пора.

Егорыч обиделся:

— Ты что, сдурел?

Павел вскинул мешок на плечи и пошел дальше. Он шел мимо деревушек, пожженных войной, мимо лесов, ставших меньше ростом, оттого что верхушки их были срезаны снарядами, шел к райцентру, туда, где стояла его дивизия. За спиной тонко зазвенел мотив лихой солдатской песни:

Краснознаменная, смелее в бой,

Смелее в бой!

Вырвавшись из лесу, песня догнала Павла.

Шли солдаты — вдоль поля, оттененного траурной лентой черного осеннего леса.

Павел вспомнил сразу бойца Половинченко, который, подыгрывая себе похлопыванием по груди, особенно если до этого хлебнул горилки, пел «Тоску по родине» и говорил: «Подлюга, какую песню поет!» Вообще, Половинченко был не согласен с замполитом, который убеждал его, что Лещенко — это вульгарность и подделывание под

русские песни. Половинченко темнел и говорил вслед уходящему замполиту:

— Сухарь… Таких на флоте нет.

Вздыхал…

…Очнувшись от воспоминаний из-за протяжного гула, Павел увидел, что люди рассыпались по обе стороны дороги, бросались в канавы, забежали в лесок.

Павел прыгнул в канаву, но спохватился и, пригнувшись, побежал за мольбертом, оставшимся на дороге.

Гул разрастался; около самой земли, выходя из пике, самолеты родили еще более пронзительные и визгливые звуки. Земля вскинула локти взрывов, самолеты взмыли наверх и повернули назад. К ним, зло выплевывая медленные тире трассирующих пуль, стремительно неслось звено Яков.

…Павел лежал на сломанном мольберте. Когда его повернули на спину, он спокойно смотрел в высокое русское небо.

Примечания

Исход

Над повестью «Исход» автор работал с ноября 1965 по май 1966 года. В сокращенном виде повесть опубликована в газете «Московский комсомолец» в 1966 году, № 184–190. Экранизирована в 1968 году (совместное производство киностудий «Мосфильм» и «Монгол-кино», постановка Анатолия Бобровского, в главной роли — Владимир Заманский). В 1983 году в сборнике «В исключительных обстоятельствах», Владивосток, Дальневосточное книжное издательство, в еще более сокращенном виде (фактически дайджест) был опубликован литературный сценарий фильма. В полном виде повесть «Исход» публикуется впервые.

Шифровка для Блюхера

Пьеса написана в 1963–1964 годах, в период работы над романом «Пароль не нужен», и развивает отдельные сюжетные линии романа. Премьера — 30 марта 1966 года, Хабаровский краевой театр драмы, постановка В. Иокара. В 1960–1970-е годы неоднократно ставилась в театрах страны. Публикуется по изданию Всесоюзного управления по охране авторских прав (ВУОАП), 1966.

Провокация

Пьеса написана в 1967 году. Наиболее известные постановки — Севастопольский русский драматический театр им. А. Луначарского, 1985; Центральный академический театр Советской армии, 1987. Публикуется по изданию ВУОАП, 1969, экземпляру с авторской правкой, выполненной в 1984 году.

«Держись за облака!»

Работа над повестью была завершена писателем в ноябре 1967 года. В сокращенном виде повесть опубликована в газете «Московский комсомолец» в январе 1969 года, перепечатана газетами «Советская молодежь» (Рига), «Тихоокеанская звезда» (Владивосток), «Молодой дальневосточник» (Хабаровск), «Ленинец» (Иваново). Экранизирована в 1971 году, совместное производство Киностудии им. Горького и «Мафильм» (Венгрия), режиссеры П. Сас, Б. Григорьев, в ролях Г. Цилинский, И. Дарваш, С. Светличная, М. Кононов, А. Миронов, Г. Польских, В. Шукшин, Н. Михалков, С. Никоненко, Л. Меншарош. В ходе работы над фильмом Ю. Семеновым было написано несколько вариантов литературного сценария, однако в результате П. Сас изменил сценарий настолько, что он фактически перестал иметь отношение к повести, в связи с чем Ю. Семенов снял свою фамилию из титров фильма и в дальнейшем отказался от переиздания повести. В авторском варианте публикуется впервые.

Господин большевик

Повесть написана в 1959 году, последняя редакция — 1961. Предлагалась к печати газете «Московский комсомолец» (1959), издательству «Советский писатель» (1961 и 1969), журналу «Наш современник» (1962), но так и не была издана, несмотря на положительные оценки рецензентов. В 1966 году Ю. Семенов использовал фрагмент повести в романе «Майор Вихрь» (глава «Одиссея сорок четвертого года»), сделав героя повести Степана Богданова одним из персонажей романа — участником группы Вихря. Публикуется впервые по машинописи последней редакции с авторской правкой.

Жизнь комиссара Иванова

Первая часть повести написана в начале 1967 года. Повесть продолжена не была, в дальнейшем мотивы функционирования теневой экономики в СССР были разработаны автором в повести «Огарева, 6». Публикуется впервые.

Буниятов Зия Мусаевич (1923–1997) — востоковед, академик Академии наук Азербайджана, Герой Советского Союза. В 1953 году, будучи аспирантом Московского института востоковедения, выступил в защиту Ю. Семенова и не допустил его исключения из комсомола в связи с арестом отца. История присвоения З. Буниятову звания Героя Советского Союза также рассказана Ю. Семеновым в романе «Аукцион».

Казнь атамана

Впервые: журнал «Огонек», 1963, № 33, под заголовком «Казнь белого атамана». Публикуется по изданию: Семенов Ю. Новеллы. М.: Знание, 1966. Первая в советской печати публикация, раскрывающая подробности операции спецслужб РВС Туркестанского фронта по убийству атамана Оренбургского казачьего войска А.И. Дутова в Синцзяне в 1921 году. Написана по документальным свидетельствам участников покушения, однако при публикации подлинные имена были заменены на прозрачные псевдонимы. В дальнейшем тема была развита другими авторами (кинофильм «Конец атамана», сценарий А. Михалкова-Кончаловского, А. Тарковского, Э. Тропинина, постановка Ш. Айманова, Казахфильм, 1970).

Ночное дежурство

Публикуется по изданию: Семенов Ю. Новеллы. М.: Знание, 1966. В рукописи новелла заканчивается следующим текстом: «Я провел в МУРе несколько месяцев, а потом уехал в горы вместе с режиссером Андреем Тарковским — он только что закончил свой великолепный фильм “Иваново детство”. Он готовился к поездке на фестиваль в Канны, а я писал повесть “Петровка, 38” (РГАЛИ, ф. 2875, оп. 1, ед. хр. 24). В образе Славы автором выведен сотрудник МУРа *Кривенко Вячеслав Александрович* (род. 1931), впоследствии ставший прототипом Костенко в повестях и романах «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Противостояние», «Репортер», «Тайна Кутузовского проспекта».

37–56

Цикл новелл «37–56» написан автором в 1961–1964 годах. По цензурным соображениям не мог быть опубликован до 1988 года. Рассказы «Летом тридцать седьмого» и «Осень пятьдесят второго» опубликованы в газете «Неделя», 1988, № 11. Полностью цикл — в журнале «Детектив и политика», 1989, № 1, за исключением новеллы «Канун Первомая», публикуемой впервые.

Да здравствует Вл. Ворошилов или Размышления уставшего человека

Рассказ опубликован в журнале «Москва», 1988, № 4.

Дюкло

Последняя часть мемуарно-публицистических эссе «Ненаписанные романы», над которыми автор работал в 1988–1990 годы. Публикуется впервые.

Люди штурмуют небо

Публикуется по изданию: *Семенов Ю*. Люди штурмуют небо. М.: Молодая гвардия, 1960.

Вавилон, здравствуй!

Очерки опубликованы в журнале «Смена», 1960, № 11, 12.

Поиск-891. Опыт театральной журналистики

Пьеса написана в 1979–1980 году на основе реальных событий. Поставлена в Московском театре «Современник», премьера 13 февраля 1981 года. Постановка Галины Волчек, Валерия Фокина, Михаила Али-Хусейна. В ролях — В. Шальных, В. Никулин, Е. Миллиоти, Р. Суховерко, М. Жигалов, К. Райкин, А. Вокач, А. Леонтьев и другие. Публикуется по изданию ВААП, 1981.

Начало начал. Первая книга

В папке с таким заголовком (хранится в Доме-музее Юлиана Семенова в Крыму) автором были собраны его первые опыты в прозе. Рассказы автобиографического характера (о периоде 1952–1953 годов, когда по обвинению в антисоветской деятельности был арестован отец писателя, С.А. Ляндрес), написанные в 1954–1955 годах, в дальнейшем послужили основой для цикла новелл «37–56». «Первая повесть» написана в Ялте в 1956 году, не завершена автором. Другая неоконченная повесть, с главным героем — художником Павлом Северцевым, датируемая 1955–1957 годами, сохранилась в виде рукописных и машинописных фрагментов. Все тексты публикуются впервые.

А. Репин

Библиография

Основные прижизненные книжные издания Юлиана Семенова на русском языке

Семенов Ю. Дипломатический агент. Повесть. М.: Молодая гвардия, 1959.

Кончаловская Н., Семенов Ю. Чжунго, нинь хао! М.: Детгиз, 1959.

Семенов Ю. Люди штурмуют небо. М.: Молодая гвардия, 1960.

Семенов Ю. 49 часов 25 минут. Повесть. М.: Молодая гвардия, 1960.

Семенов Ю. Уходят, чтобы вернуться. Рассказы и повесть. М.: Советский писатель, 1961.

Семенов Ю. При исполнении служебных обязанностей. Повесть. М.: Молодая гвардия, 1962.

Семенов Ю. Петровка, 38. Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1964.

Семенов Ю. Пароль не нужен. Роман. М.: Советский писатель, 1966.

Семенов Ю. Новеллы. М.: Знание, 1966 (серия «Прочти, товарищ!»).

Семенов Ю. Майор Вихрь. Роман. М.: Воениздат, 1967.

Семенов Ю. Вьетнам. Лаос. 1968. М.: Политиздат, 1969.

Семенов Ю. Семнадцать мгновений весны. Роман. М.: Воениздат, 1970.

Семенов Ю. «Он убил меня под Луанг-Прабангом». Повести и рассказы. М.: Советский писатель, 1970.

Семенов Ю. Маршрут СП-15 — Борнео. М.: Молодая гвардия, 1971.

Семенов Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Пароль не нужен. Романы. М.: Советская Россия, 1972.

Семенов Ю. Бомба для председателя. Семнадцать мгновений весны. Романы. М.: Воениздат, 1973.

Семенов Ю. Огарева, 6. Повести. М.: Молодая гвардия, 1973. (Серия «Стрела»).

Семенов Ю. На «козле» за волком. Записки. М.: Советский писатель, 1974.

Семенов Ю. Тайная война Максима Максимовича Исаева. Романы и повести. М.: Советская Россия, 1974.

Семенов Ю. Бомба для председателя. Романы. М.: Воениздат, 1975 (серия «Военные приключения»).

Семенов Ю. Возвращение в фиесту. М.: Совет-

ская Россия, 1975 (серия «Писатель и время»).

Семенов Ю. Альтернатива. Политические хроники. Т. 1–4. М.: Московский рабочий, 1975–1978.

Семенов Ю. Горение. Роман-хроника. Кн. 1. М.: Советский писатель, 1977.

Семенов Ю. Схватка. М.: Советская Россия, 1977.

Семенов Ю. Каприччиозо по-сицилийски. М.: Советская Россия, 1978 (серия «По ту сторону»).

Семенов Ю. Горение. Роман-хроника. Кн. 2. М.: Советский писатель, 1979.

Семенов Ю. Испанский вариант. Семнадцать мгновений весны. Бомба для председателя. Романы. Кишинев: Лумина, 1979, переизд. 1984.

Семенов Ю. ТАСС уполномочен заявить… Роман. М.: Советский писатель, 1979.

Семенов Ю. Весна 1941 года. Романы. М.: Воениздат, 1980.

Семенов Ю. Дождь в водосточных трубах. Повести и рассказы. М.: Современник, 1981.

Семенов Ю. Противостояние. Огарева, 6. М.: Советская Россия, 1982.

Горбовский А., Семенов Ю. Без единого выстрела. Из истории российской военной разведки. М.: Молодая гвардия, 1983. (Серия «Стрела»).

Семенов Ю. Лицом к лицу. М.: Политиздат, 1983.

Семенов Ю. Горение. Роман-хроника. Кн. 1, 2. М.: Советский писатель, 1983.

Семенов Ю. Собрание сочинений в 5 т. М.: Современник, 1983–1985.

Семенов Ю. Приказано выжить. Роман. М.: Воениздат, 1984.

Семенов Ю. Пересечения. М.: Правда, 1984. (Серия «Библиотечка “Огонек”», № 40).

Семенов Ю. Пресс-центр. Пересечения. Версия 1. Версия 2. М.: Советский писатель, 1985.

Семенов Ю. Позиция. Т. 1–4. М.: Международные отношения, 1985–1988.

Семенов Ю. Аукцион. Приказано выжить. Романы. М.: Современник, 1986.

Семенов Ю. Псевдоним. М.: Молодая гвардия, 1986. (Серия «Стрела»).

Семенов Ю. Отчет по командировкам. Л.: Лениздат, 1986.

Семенов Ю. Экспансия. М.: Советская Россия, 1986.

Семенов Ю. Экспансия. Т. 1–3. М.: Современник, 1987–1989.

Семенов Ю. Межконтинентальный узел. Романы. М.: Воениздат, 1987.

Семенов Ю. Горение. Роман-хроника. Кн. 3, 4. М.: Советский писатель, 1987.

Семенов Ю. Лицом к лицу. изд. 2-е, испр. и доп. М.: Политиздат, 1988.

Семенов Ю. Аукцион. Лицом к лицу. Л.: Лениздат, 1988.

Семенов Ю. Репортер. М.: ДЭМ, 1988, 1989.

Горбовский А., Семенов Ю. Закрытые страницы истории. М.: Мысль, 1988.

Семенов Ю. Пресс-центр. М.: Известия, 1988. (Серия «Библиотека современного романа»).

Семенов Ю. Аукцион. М.: Советская Россия, 1989. (Серия «Политический роман»).

Семенов Ю. Версии. М.: Международные отношения, 1989.

Семенов Ю. Ненаписанные романы. Отчаяние. М.: ДЭМ, 1989.

Семенов Ю. Отчаяние. Самоубийство (версия). М.: ДЭМ, 1990.

Семенов Ю. Ненаписанные романы. Процесс-38. М.: ДЭМ, 1990.

Семенов Ю. Тайна Кутузовского проспекта. М.: Новости, 1990. (Приложение к журналу «Детектив и политика»).

Семенов Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Репортер. М.: Художественная литература, 1991. (Серия «Библиотека советского детектива»).

Семенов Ю. Собрание сочинений. Т. 1–19. М.: ДЭМ, ЭГСИ, 1991–1998.

Издания в составе сборников, альманахов, «роман-газеты»

Семенов Ю. Петровка, 38 // Петровка, 38. Сборник. М.: Воениздат, 1971. (Серия «Военные приключения»).

Семенов Ю. Заговор Локкарта // Неотвратимое возмездие. М.: Воениздат, 1974, переизд. 1979, 1987.

Горбовский А., Семенов Ю. Закрытые страницы истории // Мир приключений. М.: Детская литература, 1984.

Семенов Ю. Исход // В исключительных обстоятельствах. Владивосток: Дальневосточное книжное издательство, 1983.

Семенов Ю. Семнадцать мгновений весны // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1970, № 2.

Семенов Ю. Бомба для господина председателя // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1971, № 5.

Семенов Ю. Бриллианты для диктатуры проле-

тариата // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1972, № 4.

Семенов Ю. Пароль не нужен // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1973, № 3.

Семенов Ю. ТАСС уполномочен заявить… // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1980, № 4.

Семенов Ю. Приказано выжить // Библиотека героики и приключений «Подвиг». Приложение к журналу «Сельская молодежь», 1986, № 2.

Семенов Ю. ТАСС уполномочен заявить…// Роман-газета, 1980, № 20.

Семенов Ю. Приказано выжить // Роман-газета, 1984, № 13.

Семенов Ю. Экспансия. Кн. 1 // Роман-газета, 1986, № 17, 18 (1047–1048).

Семенов Ю. Экспансия. Кн. 2 // Роман-газета, 1988, № 19, 20 (1097–1098).

Семенов Ю. Экспансия. Кн. 3 // Роман-газета, 1990, № 15, 16 (1141–1142).

Основные публикации в периодической печати (проза)

Семенов Ю. Пять рассказов из жизни геолога Н. Рябининой // Знамя, 1958, № 12.

Семенов Ю. Песчаная дорога в лесу // Пионер, 1958, № 11.

Семенов Ю. Будни и праздники // Знамя, 1959, № 3.

Семенов Ю. Шторм восемь баллов // Знамя, 1959, № 8.

Семенов Ю. Мина // Огонек, 1959, № 40.

Семенов Ю. Лахме вернется в 8.00 // Знамя, 1960, № 2.

Семенов Ю. Из Забайкальской тетради // Знамя, 1960, № 9.

Семенов Ю. Запах скошенных трав // Молодая гвардия, 1960, № 1.

Семенов Ю. РРТ-454 // Молодая гвардия, 1960, № 7.

Семенов Ю. Вавилон, здравствуй! // Смена, 1960, № 11–12.

Семенов Ю. 49 часов 25 минут // Смена, 1960, № 17–20.

Семенов Ю. Кони и люди. Хозяин // Знамя, 1960, № 4.

Семенов Ю. Из рассказов об Одессе // Юность, 1961, № 12.

Семенов Ю. При исполнении служебных обязанностей // Юность, 1962, № 1, 2.

Семенов Ю. Бирюсовая коса // Знамя, 1962, № 9.

Семенов Ю. В горах мое сердце // Москва, 1963, № 1.

Семенов Ю. Товарищи по палатке // Юность, 1963, № 5.

Семенов Ю. Петровка, 38 // Москва, 1963, № 8–9.

Семенов Ю. Казнь белого атамана // Огонек, 1963, № 33.

Семенов Ю. Дождь в водосточных трубах // Москва, 1964, № 10.

Семенов Ю. Пароль не нужен // Молодая гвардия, 1965, № 2, 3.

Семенов Ю. Дунечка и Никита // Молодая гвардия, 1966, № 1.

Семенов Ю. Исход // Московский комсомолец, 1966, № 184–190.

Семенов Ю. Майор Вихрь // Смена, 1966, № 20; 1967, № 4.

Семенов Ю. Вьетнамский дневник // Знамя, 1968, № 10.

Семенов Ю. «Держись за облака!» // Московский комсомолец, 1969, № 1–17.

Семенов Ю. Семнадцать мгновений весны // Москва, 1969, № 11, 12.

Семенов Ю. «Он убил меня под Луанг-Прабангом» // Огонек, 1970, № 17–22.

Семенов Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Главы из романа // Советский воин, 1970, № 18–20.

Семенов Ю. Бомба для председателя // Москва, 1971, № 9, 10.

Семенов Ю. Бриллианты для диктатуры пролетариата // Октябрь, 1971, № 1–2.

Семенов Ю. Огарева, 6 // Октябрь, 1972, № 11.

Семенов Ю. Нежность // Неделя, 1973, № 17.

Семенов Ю. Испанский вариант // Сельская молодежь, 1973, № 5–9.

Семенов Ю. Еще не осень // Огонек, 1973, № 8, 9.

Семенов Ю. Как это порой полезно — пользоваться вагонами второго класса // Литературная Россия, 1973, № 17.

Семенов Ю. Альтернатива // Дружба народов, 1974 № 7–9.

Семенов Ю. Прощание с любимой женщиной // Неделя, 1974, № 21.

Семенов Ю. Старик в Мадриде // Огонек, 1974,

№ 47.

Семенов Ю. Третья карта // Огонек, 1975, № 37–52.

Семенов Ю. Вожак // Охотничьи просторы, 1976, № 33.

Семенов Ю. Горение // Пограничник, 1976, № 1–3, 9–12.

Семенов Ю. Португальский репортаж // Октябрь, 1977, № 3–5.

Семенов Ю. Пиренеи, лето 1976 // Смена, 1977, № 1, 3, 5.

Семенов Ю. Особо опасный преступник // Смена, 1977, № 17–22.

Семенов Ю. Горение. Кн. 2 // Огонек, 1977, № 36–52; 1978, № 1–8.

Семенов Ю. ТАСС уполномочен заявить… // Дружба народов, 1979, № 7, 8.

Семенов Ю. Когда женщина становится красивой. Размышления на грузинской свадьбе. Рассказы // Литературная Россия, 2 февраля 1979.

Семенов Ю. Противостояние // Огонек, 1980, № 22–33.

Горбовский А., Семенов Ю. Без единого выстрела. Главы из книги // Дон, 1983, № 6.

Семенов Ю. Приказано выжить // Москва, 1983, № 7–8.

Семенов Ю. Пересечения // Огонек, 1983, № 1–5.

Семенов Ю. Версия 1 // Студенческий меридиан, 1983, № 6–8.

Горбовский А., Семенов Ю. Разоблачение // Смена, 1984, № 3.

Семенов Ю. Версия 2 // Студенческий меридиан, 1984, № 8–11.

Семенов Ю. Пресс-центр // Дружба народов, 1984, № 3–5.

Семенов Ю. Псевдоним // Знамя, 1984, № 11, 12.

Семенов Ю. Аукцион // Дружба народов, 1985, № 7, 8.

Семенов Ю. Экспансия // Знамя, 1985, № 7–10.

Семенов Ю. Экспансия. Кн. 2 // Знамя, 1986, № 8–11.

Семенов Ю. Экспансия-2. Главы из романа // Огонек, 1986, № 4–9.

Семенов Ю. Межконтинентальный узел // Дружба народов, 1986, № 8, 9.

Семенов Ю. Три перевода из Омара Кабесаса // Огонек, 1986, № 45, 46.

Семенов Ю. Непримиримость // Смена, 1987, № 20–24.

Семенов Ю. Экспансия-3. Главы из романа // Советский воин, 1987, № 1–3.

Семенов Ю. Экспансия. Кн. 3 // Молодая гвардия,

1987, № 9–12.

Семенов Ю. Да здравствует Вл. Ворошилов! или Размышления уставшего человека // Москва, 1988, № 4.

Семенов Ю. Версия-4 // Нева, 1988, № 3.

Семенов Ю. Репортер // Урал, 1988, № 6, 7.

Семенов Ю. Ненаписанные романы // Нева, 1988, № 6; 1989, № 4, 8.

Семенов Ю. 37–56 // Детектив и политика, 1989, № 1.

Семенов Ю. Отчаяние // Детектив и политика, 1989, № 2.

Семенов Ю. Процесс-38 // Детектив и политика, 1989, № 3.

Семенов Ю. Синдром Гучкова // Детектив и политика, 1989, № 4.

Семенов Ю. Тайна Кутузовского проспекта // Детектив и политика, 1990, № 2, 3.

Издания пьес

Семенов Ю. Иди и не бойся. М.: Всесоюзное управление по охране авторских прав (ВУОАП), 1963.

Семенов Ю. Петровка, 38 (Трое из уголовного розыска). М.: ВУОАП, 1964.

Семенов Ю. Шоссе на Большую Медведицу. М.: ВУОАП, 1964.

Семенов Ю. Шифровка для Блюхера. М.: ВУОАП, 1966.

Семенов Ю. Провокация. М.: ВУОАП, 1968.

Вайнер А., Семенов Ю. Ощупью в полдень. М.: ВУОАП, 1969.

Семенов Ю., Токарев В. Семнадцать мгновений весны. М.: ВУОАП, 1969.

Семенов Ю. Огарева, 6. М.: ВУОАП, 1973.

Семенов Ю. Поиск-891. М.: Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП), 1981.

Семенов Ю. Реквием по Гренаде. М.: ВААП, 1985.

Семенов Ю. Процесс-38 // Детектив и политика, 1989, № 3.

Семенов Ю. Процесс-38 // Ненаписанные романы. М.: ДЭМ, 1990.

Семенов Ю. Процесс-38 // Неизвестный Юлиан

Семенов. Разоблачение. М.: Вече, 2008.

Семенов Ю. Дети отцов // Неизвестный Юлиан Семенов. Разоблачение. М.: Вече, 2008.

Семенов Ю. Два лица Пьера-Огюста Бомарше // Неизвестный Юлиан Семенов. Разоблачение. М.: Вече, 2008.

Публикации литературного наследия

Семенов Ю. Крымские версии. Повести, дневники, стихи / Сост. О. Семенова. Симферополь, 2003.

Семенова О. Юлиан Семенов. М.: Молодая гвардия, 2006. (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго… Письма, дневники, путевые заметки, статьи и интервью, воспоминания близких и друзей / Сост. О. Семенова. М.: Вече, 2008.

Неизвестный Юлиан Семенов. Разоблачение. Повести, рассказы, стихи, пьесы / Сост. О. Семенова. М.: Вече, 2008.

Семенова О. Юлиан Семенов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 2011. (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Крым Юлиана Семенова / под ред. О. Семеновой. Симферополь, 2011.

Крым Юлиана Семенова. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. О. Семеновой. Симферополь, 2016.

Составил А. Репин